

ВОЙНОВИЧ

В **В** О Й Н О В И Ч

1



Владимир Николаевич
ВОЙНОВИЧ

МАЛОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

Владимир **В**ОЙНОВИЧ



МАЛОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
в 5 томах

Том 1



повести
и рассказы

Москва
«ФАБУЛА»
1993

ББК 84.Р7
В 65

Войнович В. Н.

В 65 Повести и рассказы. — М.: ООО «Фабула», 1993. — 704 с. — (Малое собр. соч. Т. 1).
ISBN 5-86090-155-0

В первый том собрания сочинений Владимира Войновича вошли повести и рассказы, написанные автором при жизни в СССР и тогда же опубликованные (кроме «Путем взаимной переписки» и «В кругу друзей»). Уже первые публикации незаурядного писателя вызвали внимание и одобрение писателей и критиков, а также злобную хулу советских критиканов — ведь настоящее творчество никого не оставляет равнодушным.

4700000000 — Без объявл.

ББК 84 Р7

- © Владимир Войнович, 1993
- © Художественное оформление.
П. Храпцов, 1993
- © Издание ООО «Фабула», 1993

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Перед нами первое — объемное, но, к счастью для автора, далеко еще не полное — собрание сочинений Владимира Войновича. Структура пятитомника отражает главные вехи творческого пути художника во всем его содержательном, жанровом, стилистическом богатстве и многообразии, которое при этом объединено твердой авторской установкой, выраженной в названии ранней повести Войновича «Хочу быть честным».

Первый том составили повести и рассказы 60-х — начала 70-х годов, с самого дебюта принесшие Войновичу непреходящее признание в широкой читательской среде. После того как писатель, один из немногих вступивший в открытую и бескомпромиссную борьбу с советской тоталитарной системой, в 1980 году вынужден был покинуть Россию, куда, принудительно лишенный гражданства, смог вернуться лишь в 1988-м, — все издания ранней прозы Войновича были изъяты из отечественных библиотек и на родине не перепечатывались. Тем интереснее и важнее вновь обратиться к ним теперь, обнаруживая в этих новеллах, повестях, притчах Войновича и уникальный жизненный материал, и ярчайшую художественную самобытность, внутри которой получили новаторское развитие традиции Гоголя и Чехова, а также зерна его дальнейших сюжетов, поисков, открытий. Особый интерес представляет в этом ряду малоизвестная историческая повесть Войновича о Вере Фигнер «Степень доверия» (первоначальное ее название «Деревянное яблоко свободы» по непознаваемому-абсурдным соображениям было советской цензурой отвергнуто).

Второй том полностью отдан «Жизни и необычным приключениям солдата Ивана Чонкина (1963—1975) — шедевру Войновича в двух книгах (пока в двух: с работой над этим повествованием он не расстается и сейчас), написанным до отъезда за рубеж, но, говоря образно, при полном внутреннем переходе за рубежи подцензурной отечественной словесности. Иван Чонкин давно стал всемирно известным, а здесь, в России, и попросту народным героем, именем нарицательным, не нуждающимся в подробной издательской аттестации.

Основа третьего тома — роман-антиутопия «Москва 2042». Созданный Войновичем уже в эмиграции (1982—1985), он представляет собою потрясающий по остроте и пронизательности сатирический анализ потенциальных угроз постсоветского тоталитаризма. Пророческий заряд этого романа-предупреждения, увы, неизменно актуален в нашей стране: многие образы и символы «Москвы 2042» прочно вошли в массовое критическое сознание и повседневный речевой обиход. В этом же томе напечатаны повести «Иванькиада» (написанная до отъезда, впервые она была опубликована за рубежом) и «Шапка».

Четвертый, самый пестрый, том собрания сочинений открывается книгой очерков «Антисоветский Советский Союз», составленной из выступлений, которые Войнович с начала 80-х годов писал для радиостанции «Свобода» (порою — в жанре современной сказки) и которые прорывались к нам сквозь эфирные заглушки и помехи как свежее, сильное, парадоксальное слово правды. Сюда вошли и публицистические статьи писателя, и его избранные эссе, беседы, интервью 80-х — начала 90-х годов. В этом же томе помещены написанные в эмиграции короткие рассказы и пьесы Войновича. Мало кому из читателей известно, что этот знаменитый прозаик начинал как поэт и всю жизнь, порой с большими интервалами, пишет «на полях прозы» стихи, — в четвертом томе нашего издания они публикуются впервые.

В заключительный том собрания сочинений Войновича войдет его новый роман «Замысел» — книга преимущественно мемуарная и в то же время основанная на причудливом вымысле, где былое и думы, автобиографический документ и иррациональная фантазия сплелись в нерасторжимый художественный узел. Одна из важнейших линий этого повествования — продолжение рассказа об Иване Чонкине, своеобразном альтер-эго писателя.

Итак, читаем Владимира Войновича.

Январь 1993 г.



**МЫ
ЗДЕСЬ
ЖИВЕМ**

Повесть

Было раннее утро, и трава, облитая обильной росой, казалась черной. Слабый ветер шевелил над Ишимом тяжелые клубы тумана.

Ваня-дурачок гнал через мост колхозное стадо и пел песенку. Губы у Ивана толстые, раздвигаются с трудом, поэтому в песенке нельзя было понять ни одного слова.

Я ехал на своем самосвале и уже собирался въехать на мост, но увидел на нем теленка. Задняя нога его застряла меж двух бревен, теленок лежит на брюхе, мычит, на том его борьба за жизнь и кончается. Я остановил машину и помог потерпевшему.

— Ну что ж ты, — сказал я Ивану, — губы-то распустил? Видишь теленок провалился! Так ему и ногу недолго сломать.

— Пускай ломает. — Дурачок беспечно махнул рукой. — Прирежем... Хлопцам на стане три дня мяса не давали. А меня не дразни. Гошке скажу.

И пошел, волоча по траве свой длинный бич, который здорово щелкает в умелых руках.

Я медленно въехал на мост и забуксовал как раз на том месте, где провалился теленок. Я давил на газ, колеса крутились, еще больше раздвигая бревна, но машина не двигалась с места. Увидев это, Иван вернулся.



— Ну что? — спросил он, подходя, и хлопнул бичом.

— «Что, что», — передразнил я его. — Видишь, забуксовал.

— Ну давай тогда тебя прирежем. На шашлык.

— Брось ты эти шутки, — сказал я ему. — Ты лучше возьми мою телогрейку, вот так сложи вдвое, чтоб изнутри не запачкалась, и подложи под колесо.

Я благополучно переехал через мост и остановился. Иван подал мне мою телогрейку. Она была совсем чистая, а у него на правом боку через рукав шел грязный рубчатый след от ската.

— Ты сам, что ли, ложился под колесо? — спросил я.

— Нет, свою телогрейку подложил, а то твоя новая — жалко.

Выехав на грейдерную дорогу, ведущую на Кадыр, я в третий раз остановил машину и подошел к желтому дорожному щиту, на котором прямыми крупными буквами было написано только одно слово:

«ПОПОВКА»

Много людей ездит мимо этого щита и видит то, что на нем написано. Но разве запомнишь название каждой деревни?

А я здесь часто бывал. Знал Гошку, знал и других. Вот об этих людях я и написал свою повесть.

1

Кусты ивняка стояли над суженным руслом Ишима. Санька и Лизка нагрузили глиной высокий самосвал Павла Спиридонова, прозванного Павло-баптист, и Павло, надвинув кожаную фуражку по самые уши, уехал. Подруги, бросив лопаты, легли отдохнуть. Лизка сняла с себя выгоревшую кофточку, и тень от листьев пятнами упала на ее загорелую спину.

— Не умеешь ты, Санька, работать, — сказала Лизка. — Лопату криво держишь, и все у тебя высыпается.

В кустах жужжали шмели и трещали кузнечики. Нискосок через небо почти невидимый самолет тянул извилистый волокнистый след. Лизка перевернулась на спину и посмотрела на небо.

— Смотри, самолет летит и дым пускает. Как все равно облако, — сказала она.

— А это облако и есть. Самолет сам его делает.

— Как это он делает? — недоверчиво спросила Лизка.

— Не знаю как, а знаю, что делает. Инверсией это называется.

— Ишь ты — инверсия, — почтительно повторила Лизка незнакомое слово. — Инверсия. А ты откуда знаешь?

— Так, знаю. Летчик один знакомый рассказывал.

— Летчик? У тебя есть знакомые летчики?

— Были.

Лизка немного помолчала, потом пошутила:

— Вот видишь, жила ты в городе, летчиков знакомых имела. А то ведь в Поповке их нету. Здесь какой ни то комбайнер и тот уже нос дерет — не подступишься. Поживешь-поживешь, да и выйдешь за Ивана-дурачка.

Санька, ничего не ответив, лежала, смотрела на небо и старалась ни о чем не думать. Ни вставать, ни тем более работать не хотелось.

— Слушала я вчера, как ты пела в клубе, — сказала Лизка. — Хорошо у тебя получается. Прямо как у артистки. «Парней так много холостых...» — начала было Лизка, но одумалась. — Это ты тоже в своем городе научилась?

— Тоже.

— Все в городе, — вздохнула Лизка. — Летчики в городе, артисты в городе. А у нас... — Лизка поднялась на локте и посмотрела на дорогу. — Ой, никак Гошка едет! — сказала она радостно.

— Гошка?

— Ага, — Лизка торопливо застегивала кофточку.

— Ну что, мне опять идти цветочки собирать? — Санька поднялась и вытянула в стороны онемевшие руки.

— Сходи, Саня, — попросила Лизка. — Последний раз сходи. Сегодня что ни то да будет. Сегодня я у него добыю ответа.

— Что ж делать, — сказала Санька и пошла, раздвигая кусты, к Ишиму.

Гошка затормозил у самого обрыва и стал медленно подавать машину назад.

— Ну что, работать будем? — спросил он, стоя на подножке и глядя на Лизку через кузов.

— Будем, — сказала Лизка, — немного погодя.

— Погодя некогда, Лиза, там строители ругаются.

— Поругаются на пять минут больше. Санька умиралась, пошла умыться.

Гошка был в майке. Солдатская гимнастерка, придавленная учебником литературы, лежала рядом на сиденье. Лизка, влезая в кабину, отодвинула все это в сторону и сказала:

— Ты чего это костяной подворотничок носишь? От него шея портится. Надо тряпочный носить...

— Стирать его да подшивать, — сказал Гошка. — Некогда.

— Хорошо женатому, — вздохнула Лизка сочувственно. — Жена и подошьет, и постирает, и вон дырку на рукаве залатала бы.

— Чего там латать? Выбрасывать пора.

— Чего ж не выбросишь? — насмешливо покосилась Лизка.

— А вот до плеча разорвется — выброшу.

Замолчали. Гошке хотелось спать, глаза слипались — не до разговоров. Сегодня в шесть утра он приехал из Актабара, а в восемь прискакал на лошади бригадир Сорока, заставил ехать за глиной. Лизка взяла в руки учебник, развернула посередине, долго смотрела, не читая, и снова положила на место.

— Учишься?

— А? — Гошка с трудом разомкнул веки.

— Учишься, говорю?

— Учусь.

— И долго тебе еще учиться?

— Не знаю, Лиза. Вот экзамен сдам, а там видно будет.

— В техникум пойдешь?

— Не знаю.

— Я летошний год тоже училась, — помолчав, сказала Лизка. — На кройки и шитья. Экзамены тоже сдавала. У меня и диплом есть.

Гошка не ответил.

— Я и вышивать умею. Что гладью, что крестом... Вот Мишка-тракторист увидел мои вышивки. «Кабы я не был женат, говорит, Лизка, на тебе б женился. А то, говорит, у меня не жена, а одно название. Так только, сготовить чего или постирать, а чего ни то сшить или вышить не может. Вот, говорит, коврик на стенку или подзор на кровать — все, говорит, купленное, за все денежки плачены». Ты б себе какую жену взял, а?

— Не знаю, Лиза. Какая попадется, — устало пошутил Гошка.

— Небось тоже хочешь покрасивше да ученую, — грустно сказала Лизка. — Вон как у Васьки. Ученая, учительшей работает, а некультурная. Придет с работы: «Я, говорит, устала, ты, говорит, должен за мной ухаживать». А чего она там устала? Чай, не кирпичи таскает. А когда Васька на курсы ездил, письмо ей придет, а она красный карандашик в руки, ошибки отметит и назад посылает.

Гошка открыл дверцу:

— Пойдем, Лиза, пока вдвоем поработаем.

— Еще посидим, — нерешительно попросила Лизка.

— Нет, нет. Некогда. Там строители небось рвут и мечут.

Он вытащил из-за кабины лопату с короткой кривой ручкой и пошел к заднему борту. Лизка неохотно пошла следом.

— Гоша, а ты вчера на собрании был? — спросила она, становясь рядом.

— Нет, я в Актабар ездил.

Лизка оперлась на лопату и сказала, как о большом секрете:

— Председатель выступал. Пятница. Говорил: «Как построим дома, женатым по полдома дадим, а у кого двое детей, так тому, говорит, и по цельному».

— Ладно, Лиза. Это нас с тобой не касается.

«Как бы ты схотел, так касалось бы», — печально подумала Лизка и со вздохом швырнула в кузов первую лопату. Работали молча. Подошла Санька, встала рядом с Лизкой и посмотрела ей в глаза. Лизка отвернулась, и Санька все поняла.

— Ну что? — спросила она, когда Гошка уехал. — Опять ничего не вышло?

— Нет, — Лизка отшвырнула лопату. — Не вышло.

— Ну а что ты ему говорила? Опять на полдома намекала?

— Намекала, — призналась Лизка.

— Ах, Лизка, Лизка! Кто ж так делает? Разве такого парня заманишь этим?

— А чем же его замануть?

— Не знаю, — вздохнула Санька. — А если б знала, так не сказала бы.

— Это почему?

— Самой пригодилось бы, — тихо сказала Санька. Лизка испуганно посмотрела в глаза подруге.

Санька отвернулась. Она долго смотрела в сторону Поповки, туда, где скрылась Гошкина машина, и не сразу услышала тихие всхлипывания.

— Ты что, Лизка? — кинулась она к подруге.

Лизка уткнулась мокрым лицом в траву и ничего не отвечала. Санька легла рядом.

— Ну что ты, Лиза? У меня ведь тоже ничего не получается. Ты хоть ему говоришь. А я и этого не умею.

Лизка села, утерлась подолом и, все еще всхлипывая, улыбнулась широкой улыбкой:

— Помнишь, Саня, я тебе рассказывала, сколько у меня парней было? Так все это неправда. Только один парнишка был, Аркашка Марочкин, Тихоновны сын. Билеты в кино покупал. А потом на службу ушел. Так с тех пор никого и не было.

Лиза замолчала и, сорвав желтый цветок одуванчика, стала рассеянно обрывать мягкие лепестки.

— Ну и что, ты уже забыла Аркашу? — тихо спросила Санька.

— Я-то не забыла, он забыл. Как первый месяц служил, одно письмо прислал — и все. Я ему еще штук шесть посылала, а от него ни ответа, ни привета. Да чего говорить! Им, мужикам, лишь бы обмануть, а наш брат — баба — всегда страдает.

— А может, у него времени нет письма писать? Может, с ним что случилось?

— Нет, — сказала Лизка и молоком, выступившим на обрыве стебелька, стала писать на руке слово «Аркадий». — Матери-то он пишет. Вчера иду мимо, а Тихоновна: «Зайди, говорит, на момент. Чего покажу». Фотокарточки показывала. Аркашка прислал. На танке сфотографированный, на котором ездит.

2

В этом году колхоз заложил двадцать два дома для переселенцев и молодоженов. На стенах некоторых домов уже лежали пожелтевшие от солнца стропила, для других домов еще только заложили фундамент.

На строительной площадке никто не работал. Возле четвертого справа дома стояла голубая «Волга» пред-

седателя колхоза Петра Ермолаевича Пятницы. Восемнадцать строителей (в Поповке их называли «шабашники») окружили председателя и слушали своего бригадира Потапова, высокого и худого мужика с усиками.

Гошка поставил машину возле растворного корыта и крикнул строителям, чтобы шли разгружать. Никто не отозвался. Только рыжий и рыхлый, похожий на женщину каменщик Валентин, не оборачиваясь, махнул рукой — подождешь. Гошке тоже нужен был председатель, и он вылез из кабины.

Полукруглая желтая тень от широкополой соломенной шляпы падала на лицо председателя. На парусиновом пиджаке темнел потускневший и облупившийся за долгие годы орден Красного Знамени. Этот орден эскадронному командиру Пятнице вручил в 1921 году Буденный.

Председатель колхоза Пятница, прикрывая время от времени старческие веки, слушал бригадира Потапова. Голос у Потапова была глухой и ровный.

— Наше условие, Ермолаевич, простое, — говорил он. — Сто рублей в день на рыло — или порвем договор. Нам работа везде найдется.

— Не смею задерживать, — сказал председатель.

— Ты это, Ермолаевич, брось. Мы с тобой обое старые и лысые, и притворяться нам нечего. Тебе нужны дома, нам — деньги, друг без дружки нам не обойтись.

— Попался б ты мне лет сорок назад, Потапов, — задумчиво сказал председатель, — развалил бы я тебя шашкой на две половинки.

— Не развалил бы. Я костистый. Ты лучше скажи, будем перезаключать договор или ругаться будем?

— Ладно, отстань, — сказал Пятница. — Скажи лучше своим, пусть работают, а то за такую работу я вам и по десятке не заплачу. А насчет нашего разговора подумаю.

— А когда ответ дашь?

— Завтра.

Строители не спеша разбрелись по своим местам. Двое с лопатами через плечо пошли разгружать Гошкину машину. Петр Ермолаевич повернулся к Гошке:

— Ну, как дела, Яровой? Что это ты такой сонный ходишь?

— А чего ж мне не сонным ходить? — сказал Гошка. — Два часа всего спал.

— Тяжело, — согласился председатель. — Всем сейчас тяжело. Время такое. Зато осенью премии будем давать — тебе первому.

— Вы бы мне лучше отпуск дали.

— Зачем тебе отпуск?

— А вот, — Гошка вынул из кармана сложенную вчетверо бумажку.

В этой бумажке было написано, что выпускник десятого класса районной заочной школы Яровой Г. И. имеет право на отпуск за счет государства на время выпускных экзаменов.

Председатель перечитал бумажку два раза.

— Не могу, — сказал он, возвращая бумажку.

— Как это вы не можете? — возмутился Гошка. — Мне по закону положено.

— Какой тут, милая моя, закон, — вздохнул председатель. — Мне вот каждый день звонят из района: «Почему задерживаешь строительство? Почему опаздываешь с посевной?» А я что им скажу? Скажу, что я всех шоферов в отпуск отправил? Так, по-твоему?

— Но мне же...

— Что — тебе же? Экзамены надо сдавать? Знаю. А как на войне? Я в Отечественной, конечно, не участвовал, а вот в гражданскую у нас знаешь как было?

— Знаю, — сказал Гошка, — вы по трое суток с коней не слезали.

— Откуда ты знаешь? — удивился председатель.

— Это вы мне десять раз рассказывали.

Гошка огорченно махнул рукой и пошел к своему «ЗИЛу».

3

Возле облитой маслом кирпичной стенки стояли машины. Из-под крайнего слева самосвала торчали ноги в легких парусиновых сапогах.

— Толька, убери ноги! Оттопчу! — крикнул Гошка, ставя машину к стене.

Из-под машины с тавотницей в руках вылез лохматый шофер в синем комбинезоне. Из бокового кармана достал измятую пачку «Беломора».

— Дай прикурить, — сказал он.

Гошка приехал в Поповку два года назад, после де-

мобилизации. Анатолий приехал в пятьдесят четвертом году, после десятилетки: он считался среди новоселов почти старожилом. Гошка и Анатолий были друзьями, но в последнее время встречались редко.

— Пойдем, что ли? — спросил Гошка, закрывая машину.

— Пойдем.

По дороге домой Гошка рассказал Анатолию о своем разговоре с председателем.

— Какой ты дурак, — разозлился Анатолий. — На тебе скоро воду будут возить. Подумаешь, у него шоферов нет! А тебе какое дело? Тебе государство отпуск дает. А оно больше знает, нужен ты или не нужен. Ты же завалишь экзамены.

— Не завалю.

— А я тебе говорю — завалишь. С таким дураком даже разговаривать не хочется. Отойди от меня. Вот так.

Некоторое время они шли молча. Гошка долго сдерживался и наконец хмыкнул в кулак.

Анатолий тоже засмеялся.

— Когда у тебя сочинение? — спросил он, перестав смеяться.

— Через три дня.

— А шпаргалки у тебя есть?

— Нет. Я думаю без шпаргалок.

— Чудак ты, Гошка. Кто же сочинения без шпаргалок пишет? Ты когда-нибудь такого видал?

— Нет, — сказал Гошка.

— Я тоже.

— Ну а первый все-таки кто-то писал сочинения сам?

— Первый! А кто был первый человек на земле, ты знаешь? Адам! Вот, может, он первый и писал сочинения, а все, кто потом жил, сдували. И ты сдувай. Это надежней. Так все делают. А насчет устного экзамена я тебе вот что скажу. Самое главное — это уметь отличать положительного героя от отрицательного.

— А как же их отличать?

— Это очень просто. Вот ты, например, отрицательный. Ты, правда, не пьешь, не воруешь, не делаешь фальшивые деньги, но дураки — они тоже отрицательные.

— А ты положительный?

— Я положительный.

— Из чего это видно?

— А вот считай! — Анатолий стал загибать пальцы. — Комсомолец не хуже тебя. После окончания средней школы откликнулся на призыв. Добровольно поехал осваивать целинные земли. Имею почетную грамоту и медаль за освоение. Ну что? Съел?

— Ну а еще что?

— Куда больше? Хватит.

— А вот Яковлевна говорит, что ты, когда в хату входишь, ноги не вытираешь.

— Насчет ног — это верно, — признался Анатолий, — но зато... зато я приехал сюда после десятилетки. У меня не было жизненного опыта. Я уже шесть лет на целине.

— Много, — сказал Гошка. — А Яковлевна вон шестьдесят лет живет на целине — и ни одной медали. И вообще, — Гошка, сам не замечая, перешел на серьезный тон, — вот сейчас все говорят о десятиклассниках: им семнадцать лет, у них нет опыта, у них трудности. А когда я начинал работать, мне было двенадцать лет. У меня не было ни опыта, ни десяти классов. Почему же обо мне тогда ничего не говорили?

— Наверное, такое время было, — тоже переходя на серьезный тон, сказал Анатолий. — Не до тебя было.

— И тогда было не до меня, и сейчас не до меня.

— Да, — сказал Анатолий неопределенно и махнул рукой. — Ну, мне сюда. Пока.

4

В день экзамена Гошку все-таки освободили от работы. До города по грейдеру было двадцать два километра. Гошка долго ждал попутной машины, в школу приехал за пятнадцать минут до начала. Все заочники уже собрались. Они сидели на скамейках, на крыльце, просто на траве перед школой. Одни лихорадочно листали учебники, другие сортировали шпаргалки, третьи ожидали своей участи пассивно. Сутуловатый парень с пышной прической и металлическими зубами тасовал в руках пачку фотографий-шпаргалок.

— Навались, подешевело! Полный комплект сочинений за один червонец.

Парень был местным фотографом. Сегодня его продукция пользовалась небывалым спросом. Гошка тоже

решил запастись новинками фотоискусства. На всякий случай. Он вынул деньги.

— Дай.

— Все, — сказал фотограф, — пива нет, ресторан закрыт. Осталась одна пачка — самому пригодится. Я тоже сдаю.

Вышел толстый учитель в чесучовом пиджаке и неожиданно тонким голосом сказал:

— Заходите.

Все пошли. В коридоре фотограф догнал Гошку и тронул его за рукав:

— Четвертной дашь?

Раздумывать было некогда, Гошка сунул ему двадцатипятирублевку. Рассаживались долго. Взрослые люди с трудом помещались за детскими партами. Гошка сел за третью парту. Фотограф сел рядом.

— Вдруг чего, дашь мне сочинение, — сказал он.

Гошка не ответил. Ученики замороженными глазами следили за учителем, пухлые пальцы которого слишком медленно разрывали пакет. Но вот он написал на доске первую тему, и Гошка облегченно вздохнул. «Молодая гвардия». Эту книгу Гошка знал хорошо.

Всего было четыре темы. Фотограф долго думал, на какой из них остановиться, и не остановился ни на одной.

— Слышь, дай мне Тургенева, — шепнул он Гошке.

— Полсотни, — сказал Гошка.

— Я ж тебе за двадцать пять.

— Подорожали.

Фотограф помолчал, подумал, но пятьдесят рублей пожалел. Он заглянул в Гошкину тетрадь.

— За два одинаковых сочинения оба автора получают по двойке, — глядя в потолок, сказал всевидящий учитель.

Гошка отодвинулся. Фотограф почесал в затылке и — делать нечего — взялся за сочинение. Некоторое время молча скрипел пером, потом ткнул Гошку в бок:

— Слышь, как пишется «патриот» — через два «т»?

— Пять рублей, — предложил Гошка.

— Шкура, — сказал фотограф и обиженно отвернулся.

В начале июня неожиданно приехал досрочно демобилизованный Аркаша Марочкин. Уезжал простым человеком, а вернулся ефрейтором. Привез Аркаша матери подарки: полушалок чисто шерстяной, отрез на платье и еще кое-чего по мелочи. Было чего рассказать. Когда выключили электричество, Тихоновна засветила керосиновую лампу, и долго еще желтели два окна в доме Марочкиных.

Утром Аркаша не торопясь умылся, позавтракал и, приведя себя в порядок, вышел на крыльцо.

Лизка, которая вот уже полтора часа ковыряла мизинцем трухлявую штaketину в Аркашиной калитке, кинулась к долгожданному:

— Аркаша!

И обомлела. На Аркаше все сверкает. Сапоги, пуговицы, бляха. На груди значков штук шесть. Все большие, как ордена, и тоже сверкают.

— Аркадий Алексеевич, — поправилась Лизка и отступила на два шага в сторону.

— Здорово! — Аркадий двумя пальцами расправил гимнастерку под ремнем и, выбросив вперед левую руку, долго смотрел на циферблат часов.

— Сколько время? — почтительно спросила Лизка и сама смутилась от нелепого своего вопроса.

— Полчаса десятого, — значительно ответил Аркаша и между прочим поинтересовался: — Ну как жизнь?

— Ничего, спасибо.

— Замуж еще не вышла?

— Нет еще.

— Чего ж так?

— Куда спешить-то? — сказала Лизка, приблизилась и тревожно посмотрела в Аркашины глаза. — А ты... А ты не женился?

— У солдата в каждой деревне жена и в каждом доме теща, — сказал Аркаша и опять посмотрел на часы. Потом вынул из кармана сверкающий никелем портсигар, щелкнул крышкой, постучал по крышке мундштуком «Беломора».

— Опять в колхоз пойдешь или как? — робко спросила Лизка.

— Не знаю. Посмотрю, что председатель скажет. Найдется что подходящее — останусь. А нет, так... Ме-

ня теперь где хочешь примут. Механик-водитель. На любой завод без разговору. — И заторопился: — Ну ладно, пойду, чего тут зря разговаривать!

Лизка одним пальцем тронула наглаженный рубчик Аркашиного рукава:

— Вечером в клуб придешь?

— Не знаю. — Аркаша убрал локоть. — Чего там делать? — Но, поглядев ей в глаза, смягчился: — Может, и приду. Видно будет. — И пошел по тропке мимо соседских дворов, стройный, подтянутый.

Лизка тоже пошла было, но на крыльцо, гремя ведрами, вышла Тихоновна. Поздоровались. Тихоновна внимательно посмотрела на Лизку, спросила:

— Ждешь кого?

— Да нет... так просто стою.

— Аркашу видела?

— Видела. — Лизка пожала плечами: дескать, было б на что смотреть.

Тихоновна поставила ведра на землю.

— Ну и как?

— Да чего — как? Парень как парень. Две руки, две ноги — ничего особенного.

— Это как сказать — ничего особенного. На службе-то девки за им знаешь как бегали.

— Девки бегали? — насторожилась Лизка.

— И-их, милая, еще как бегали-то. — Тихоновна для чего-то наклонилась к самому Лизкиному уху и понизила голос: — Фотокарточек привез цельную пачку. Вот такую. И все девки. Мне уж больно одна там понравилась. Из себя такая видная, и родинка на этом месте, возле глаза. Симпатия. На фершалку учится.

— На фершалку?

— На фершалку, милая, на фершалку, — охотно подтвердила Тихоновна.

— Ну, я пойду, — неожиданно заторопилась Лизка. — До свидания вам.

— До свидания, милая. Заходи как-нибудь, — радушно предложила Тихоновна. «Когда нас дома не будет», — добавила она про себя. Ей не нравилась Лизка. Она считала, что сын ее достоин лучшей пары.

А Лизка шла, задевая пальцами штaketник, и не глядела под ноги. «Фершалка, — думала она, — подумаешь, фершалка».

До последнего экзамена оставалось шесть дней. Немецкий язык — предмет несерьезный, и про учительницу, которая вела его, ходили в школе хорошие слухи. Говорили: если знаешь все буквы — тройку поставит. Алфавит Гошка мог прочесть без подготовки. Поэтому он решил отдохнуть и сходить в кино.

Все знали, что в клуб привезли фильм про шпионов. Поэтому задолго до начала все скамейки были заняты. Завклубом Илья Бородавка продавал билеты прямо у входа и сразу отрывал контроль.

Гошка увидел на одном подоконнике свободное место и пошел туда.

— Гоша, — услышал он Лизкин голос и обрадовался. Подумал: «Значит, и Санька здесь».

Но Саньки не было. Лизка сидела во втором ряду, а рядом с ней — Аркадий Марочкин. Он уже снял с себя военную форму и сейчас сидел в похрустывающей кожанке и хромовых сапогах. Время от времени он небрежно выбрасывал вперед согнутую в кисти левую руку и смотрел на светящийся циферблат своих часов. Лизка была в шелковой косынке, в синей жакетке, с искусственной розой на груди.

— Садись, Гоша. — Она подвинулась к своему кавалеру и двумя пальцами подтянула подол праздничного платья. — В кино пришел? — спросила она и улыбнулась уголком рта, чтоб показать металлическую «фиксу», вставленную недавно. Лизка смотрела на Гошку, счастливо улыбалась, и глаза ее говорили: «Вот не хотел ты со мной, а я не хуже нашла».

«Где ж Санька?» — подумал Гошка и хотел спросить о ней у Лизки, но почему-то не решился и сказал:

— Что это ты зуб вставила?

— Болел, — сказала Лизка, и видно было, что врет, — купила за три рубля в Актабаре.

В первом ряду, прямо перед Гошкой, сидел завскладом Николай Тюлькин со всем своим семейством: женой Полиной, трехлетней дочкой Верочкой и тещей Макогонихой. Девочка вдруг расплакалась. Полина трясла ее на руках и успокаивала:

— Зараз зайцев покажут. Багато, багато зайцев побытых!

— А воны з рогамы? — спросила девочка, вытирая слезы.

— З рогамы, з рогамы.

Бабка Макогониха сидела рядом и не обращала на дочку и внучку никакого внимания.

Когда-то хорошая хозяйка и рукодельница, в последние годы Макогониха чувствовала себя все хуже и хуже. У нее часто кружилась голова, тряслись руки, а в ногах была такая слабость, что даже поболтать с соседками старуха выходила редко. Она жаловалась дочери на недомогание и удивлялась:

— Николы такого нэ було.

— Шо вы, мамо, удивляецеся? Восемьдесят годов вам тож никола нэ було.

В последнее время старуха почти ничего не помнила и не понимала. Полина давно уже отстранила ее от хозяйственных дел. Старуха, отчасти потому, что не привыкла сидеть без работы, отчасти из чувства обиды и противоречия, хваталась за все, но ничем хорошим это никогда не кончалось.

Макогониха сидела рядом с дочерью и, недоверчиво поджав губы, смотрела на экран, как будто видела его впервые.

Лизка толкнула Гошку в бок и, имея в виду Макогониху, шепнула:

— Сейчас будет плакать.

И правда. Как только погас свет и на экране появились борцы, старуха завздохала:

— Боже ж мий, таки молоди. За шо их? — И, не получив ни от кого ответа, она заплакала от жалости к борцам и плакала потом, когда после журнала люди с собаками полтора часа гонялись за молодым шпионом.

Лизка сидела, скрестив руки на груди, и смотрела равнодушно. Она видела фильм раньше и все знала наперед. Поэтому, когда в самом захватывающем месте Марочкин вскрикнул: «Вот, елки-моталки, опять ушел!», она прижалась к нему:

— Не бойсь, пымают.

— Тише ты — «пымают», — сказал кто-то в заднем ряду.

Лизка испуганно съежилась и сильнее прижалась к своему кавалеру.

Трещал аппарат. В клубе кто-то курил. Было дымно и душно. На туманном экране бродили шпионы. Гош-

ка закрыл глаза. Его разбудила Лизка. Она протянула ему горсть семечек:

— Будешь лускать?

— Что? — спросил Гошка, открывая глаза.

— Спишь, что ли?

— Нет, — сказал Гошка и опять задремал.

После кино все расходились кучками. Возле крыльца целой толпой стояли ребята и, ослепляя выходящих электрическими фонариками, искали своих попутчиц. Анатолий, который во время сеанса сидел у дверей, вышел первый и дождал Гошку на улице. Они пошли вместе. Впереди них шли Тюлькины. Глава семьи шагал посредине, неся на руках девочку.

— Ну как картина? — спросил Анатолий. — Понравилась?

— Понравилась, — ответил Гошка, зевая. — Спать хорошо.

— Ты что, спал? Зря. А я люблю такие вещи. Вот я читал книжку «Охотники за шпионами». Не читал?

— Нет.

— Про контрразведчиков. Интересно. Ты хотел бы стать контрразведчиком?

— Раньше хотел, — сказал Гошка.

— А теперь что ж?

— Не знаю. Некогда думать об этом. Своей работы хватает. Они свернули на тропку и пошли по одному — Анатолий впереди, Гошка сзади. Слева чуть слышно журчала река, и вода, отражая неяркие звезды, неясно мерцала сквозь редкий камыш. Было совсем темно.

— Да, — сказал Анатолий, — ты Саньку не видел?

— Нет. Не видел.

— Когда картина началась, она пришла в клуб, все кого-то высматривала, а потом ушла.

7

Шесть дней, данных на подготовку к немецкому, прошли незаметно. К исходу шестого дня Гошка знал не больше, чем в первый день. Вечером, придя с работы, он сел у окна и раскрыл книгу.

За столом в ватных брюках и валенках сидел дядя Леша и набивал солью патроны для своего ружья. Иногда Гошка отрывался от учебника и смотрел, как старик

сыплет в патрон щепотку серой, как весенний снег, соли и утрамбовывает ее желтым от самокруток пальцем.

Надвигались сумерки, но возле окна было еще довольно светло.

— Слышь, Гошка, — спросил хозяин, — у тебя ноги на погоду не крутит?

— Нет, — рассеянно ответил Гошка, — не крутит.

— А у меня крутит, — сказал дядя Леша и вздохнул. Ему очень хотелось поговорить с Гошкой, но Гошка, видимо, не был расположен к разговору. Дядя Леша почесал в затылке и снова принялся за свое дело.

С ведром в руках вошла Яковлевна.

— Так ты ще сыдышь! — возмутилась она, стаскивая у входа резиновые сапоги. — Я вже корову подоила, порося накормыла. Ой, Лешка, растащат у тэбэ склад — скажешь, шо я брэхала.

— Ладно тебе, — примирительно проворчал дядя Леша. — Иду.

Но пошел он не сразу. Сперва ссыпал патроны в парусиновый мешочек, потом перемотал портянки, надел тулуп и долго искал свою шапку. Наконец перекинул через плечо централку и пошел к дверям.

— Ну я пошел, — сказал он, остановившись.

Яковлевна промолчала. Гошка был занят и тоже промолчал.

— Ну я пошел, — повторил дядя Леша. И так как его никто не задерживал, он вздохнул и вышел на улицу.

Яковлевна вкрутила лампочку. Гошка пересел к столу.

В окно постучали. Гошка подумал, что это дядя Леша. Видно, забыл что-нибудь. Гошка выглянул в окно и увидел всадника. Это был бригадир первой бригады Сорока. На лошади он напоминал модель памятника Юрию Долгорукому, что украшала собой чернильный прибор председателя.

— Гошка! — Сорока откинул руку с нагайкой в сторону. — Гошка, гони до правления. Там тебя председатель ждет.

Он резко опустил руку. Лошадь испуганно шарахнулась и унесла его в сумерки.

На столбе перед конторой горела лампочка. Она освещала кусок двора и высокое крыльцо с покосившимися перилами. Возле крыльца на земле лежал старый дам-

ский велосипед. По нему Гошка сразу определил, кто находится в конторе. Это был велосипед бригадира строителей Потапова. Велосипед был старый-старый, и, когда хозяин ехал на этой штуке, по всей Поповке был слышен скрип.

Восемнадцать строителей сидели в конторе вдоль стен. Восемнадцать папирос мерцали в полумгле. Дым, слоями развешанный в воздухе, колебался. Мутный свет лампочки едва проходил через эти слои. За широким столом, малозаметный в дыму, сидел председатель и вертел чернильницу, украшенную бронзовым Юрием Долгоруким, который напоминал бригадира Сороку.

Председатель недавно бросил курить. Он кривился и морщился, испытывая искушение, и, отставив чернильницу, отмахивался от дыма руками. Перед ним стоял Потапов и убеждал председателя в том, что лучшей бригады, чем та, что сидит в этой комнате, ему не найти во всем районе, и поэтому председателю нужно согласиться платить строителям по сто рублей на брата.

— Отстань, — сказал председатель устало. — Лучше отстань, Потапов. — И постучал пересохшей чернильницей по пружинящей крышке стола.

Потапов покосился на чернильницу, но, не отступая, спросил:

— Значит, не дашь?

— Не дам, — решительно сказал Пятница.

— Не дашь?

— Не дам.

— Дай закурить, — Потапов откинул в сторону руку.

Каменщик Валентин бросился к нему и с готовностью развернул портсигар. Некурящий Потапов закашлялся с непривычки и выпустил облако дыма в лицо председателю.

— Ладно, — сказал Потапов, покурив. — Последний раз спрашиваю: дашь или нет?

— Нет, — сказал председатель.

— Ладно. Тогда порвем договор. Завтра утром чтоб был полный расчет. Пошли, хлопцы.

Строители ушли.

— Георгий, открой окно, — попросил председатель, а сам пошел открывать другое.

Свежий ветер качнул сероватые занавески. По ступенькам крыльца вразнобой стучали сапогами строите-

ли. Потом раздался режущий ухо скрип и визг. Это ехал на велосипеде Потапов.

— Сволочь, — тихо сказал председатель и повернулся к Гошке. — Знаешь, зачем я тебя вызвал?

— Не знаю, — сказал Гошка.

— Завтра в Актабар эшелон с лесом приходит. Все машины туда бросаем.

— Меня не бросайте. Не поеду.

— Почему ж это?

— У меня завтра экзамен. По немецкому.

— Ну и что? Нагрузишь там, это недолго... минут пятнадцать. Потом в школу поедешь.

Глаза у председателя были грустные и красноватые. Гошке вдруг почему-то стало его жаль, и он согласился:

— Ладно, поеду.

Утром, выезжая из гаража, он подобрал Анатолия. Машина Анатолия стояла в Актабаре на ремонте, и он ездил в город на попутных. Ехали молча. Анатолий на-свистывал какую-то песенку. Гошка крутил баранку, вспоминая про себя правила спряжения глаголов.

Выехали за околицу. Высокое солнце било в глаза. Впереди показалось кладбище.

— Вот смотри, ходим тут, ездим, а потом все равно туда, — сказал Гошка.

— Боишься умирать? — спросил Анатолий.

— Боюсь.

— А чего бояться-то? Умрешь — не надо ни о чем заботиться, ни о чем думать. Немецкий учить не надо. Зачем жить хочешь?

— Не знаю, — сказал Гошка. — Наверно, из любопытства. Хочется знать, что завтра будет.

— Завтра дождь будет. Смотри, — Анатолий вытянул шею, — никак покойники.

При приближении машины с кладбища поднялся высокий и худой человек и, ведя в руках дамский велосипед, вышел на дорогу. Это был бригадир Потапов. А за ним потянулись к дороге остальные шабашники, каждый со своим инструментом, как оркестранты. Остановившись посреди дороги, Потапов поднял руку, словно приветствовал проходящие перед ним войска. Гошка остановился.

— До Тимашевки подвезешь? — спросил Потапов и поставил на ступеньку ногу в белом от пыли кирзовом сапоге.

— Уезжаете? — спросил Гошка.

— А чего ж делать? — Потапов тронул пальцем стриженные свои усы. — Председатель договор перезаключать не хочет, а нам что? Мы люди вольные, дефицитные, нас где хотишь возьмут. А оно ведь, как говорится, рыба ищет где глубже... Каждый свой интерес понимает.

— Не повезу, — сказал Гошка, выжимая сцепление.

— Как — не повезешь? — Потапов одной рукой ухватился за дверцу. — Мы же не задаром. По трояку с брата заплотим. Трижды восемнадцать — пятьдесят четыре. Заработать не хочешь, что ль?

— погоди! — Анатолий выключил зажигание. — Давай по пятерке — повезем.

— Много больно, — замылся Потапов.

— Не хочешь, как хочешь. Поехали, Гошка.

— По четыре, — набавил рыжий и рыхлый каменщик Валентин. Он был в милицейских галифе и в белых тапочках.

— По четыре с половиной, — предложил Анатолий. — И то себе в убыток.

— Ну и дерешь, — возмутился Потапов.

— Каждый свой интерес понимает, — процитировал его Анатолий.

— Ну и жох, — сказал, сдаваясь, Потапов. — Ладно, хлопцы, поехали, а то тут машины не дождешься.

«Дефицитные люди» горохом посыпались в кузов. Открыв дверцу, Гошка сказал:

— Садитесь все вдоль бортов, а то еще выпадаете, отвечай за вас.

Проехав с полкилометра по грейдеру, машина свернула вправо на едва заметную степную дорогу и остановилась. Анатолий вылез на подножку и сказал, не обращаясь ни к кому в отдельности:

— Сейчас заскочим в бригаду. Там подборщик с осе-ни остался, захватить надо. Мы бегом.

— Валяйте, — махнул рукой Потапов.

Машина снова тронулась в путь. По этой дороге машины ходили обычно только два сезона в году: во время уборочной и во время посевной. В остальное время дорога была пуста. Справа и слева, колеблемая тихим ветром, пыльно-зеленая, волновалась пшеница. Скоро шабашникам стало скучно, и они решили петь песни.

Когда б имел золотые го-оры, —

начал Валентин, и все подхватили:

И ре-еки, полные вина...

Шабашники пели нестройно, каждый старался всех перекричать. Анатолий прислушался.

— Поют? — спросил он.

— Поют, — подтвердил Гошка.

Когда спидометр отсчитал двадцать километров, Гошка посмотрел на Анатолия:

— Пожалуй, хватит.

— Давай еще, — сказал Анатолий. — Что тебе, бензину жалко?

— Нет, хватит, — сказал Гошка.

Машина медленно взбиралась на большую гору, похожую на верховое седло. Шабашники, сидя вдоль бортов, пели. Валентин, покраснев от натуги, вытягивал шею, и его писклявый бабий голос выделялся среди всех остальных. Потапов одной рукой придерживал велосипед, который лежал посредине и подпрыгивал на ухабах. Вдруг мотор зачихал, захлопал, и машина остановилась, немного не доехав до вершины сопки. Гошка и Анатолий выскочили из кабины и открыли капот.

— Карбюратор, — сказал Гошка.

— Трамблер, — возразил Анатолий. — А ну-ка ты, — обратился он к Валентину, — у тебя силы много. Покрути ручку.

Валентин крутил до тех пор, пока не взмок от пота. Потом крутили все остальные.

— Придется толкать, — сказал Анатолий, забираясь в кузов. — Я буду командовать. Раз-два, взяли!

Шабашники облепили машину, как мухи горшок со сметаной.

— Еще — взяли!

У Валентина от напряжения вздулись на шее жилы, и конопатое лицо его омылось румянцем. Бригадир Потапов шел бочком, упираясь в кузов одной рукой, осторожно, словно боялся прилипнуть.

— Ты, начальник, не стесняйся, — сказал ему Анатолий, — здесь все свои. Вот видишь, сама идет, только толкай.

Подталкиваемая тридцатью шестью руками, машина медленно перевалила через гребень сопки и, быстро набирая скорость, покатила под уклон.

— Стой, — устало махнул рукой Потапов. — Стой! — крикнул он, видя, что машина все удаляется.

— Стой! — заорали хором шабашники, и бабий голос Валентина снова перекрыл все остальные.

Валентин первый понял, что их обманули, и, работая локтями, побежал за машиной. Его рыжие волосы упали на лоб, придавая лицу выражение свирепости. За Валентином, широко расставив руки, бежал Потапов. За ними валили толпой все остальные.

Анатолий, стоя в кузове, поднял над головой измятую кепку.

— Привет бригаде коммунистического труда!

Впрочем, вряд ли те, к кому он обращался, могли его услышать.

У подножия сопки Гошка остановил машину и, вскочив в кузов, помог Анатолию сбросить на землю вещи шабашников. Они торопились и один ящик бросили неосторожно, из него вывалились на дорогу топор, рубанок, ножовка и прочий плотницкий инструмент.

Последним полетел с кузова велосипед бригадира. Он ударился о землю, высоко подпрыгнул и, свалившись набок, прочертил рулем полосу в дорожной пыли.

— Поехали, — скомандовал Анатолий. — А то догонят, накостыляют по шее.

Шабашники, размахивая руками, бежали с сопки, и уже совсем близко мелькали белые тапочки Валентина, когда машина тронулась и, обогнув сопку снизу, ушла по направлению к грейдеру.

— Небось рады, что мы с них денег не взяли вперед, — сказал Анатолий.

8

Несмотря на то, что Гошка приехал на станцию рано, там уже была очередь на погрузку. Гошка поставил машину в хвост колонны и сел на подножку читать учебник. Просмотрев все страницы, он понял, что уже все равно ничего не успеет выучить, и ему оставалось только надеяться на учительницу, которая, по слухам, ставила тройки за одно только знание алфавита. «Как-нибудь, — думал Гошка. — Все сдал, а уж немецкий...»

Когда подошла Гошкина очередь, он поставил машину под погрузку и отдал накладную хромому заспанно-

му мужику. Тот долго держал накладную в корявых пальцах, рассматривал ее и, возвращая Гошке, сказал:

— А почему не подписано?

— Как не подписано?

— А вот не подписано. Видишь: «Подпись руководителя учреждения» — председателя, значит. Где она?

— Что ж делать?

— За подписью надо ехать. Давай освобождай место, другие ждут.

— Слушай. Ну председатель потом придет, подпишет.

— Потом и получишь. Освобождай место.

Он был неумолим.

Гошка плюнул, заехал в ближайший переулок и нарисовал на накладной несколько крючков и закорючек. Вышло довольно убедительно. Гошка вернулся на станцию.

— Так быстро? — удивился завскладом.

— Встретил его, ехал в райком, — сказал Гошка.

— Ну вот видишь, как хорошо получается. Открывай борт.

Хотя грузчики работали быстро, в школу Гошка все-таки опоздал. Экзамены уже кончились. Гошка встретил учительницу, когда она с маленькой сумочкой и букетом цветов выходила из класса. Это была не та учительница, о которой ходили такие добрые слухи, а другая — молодая, высокая, с пышной прической. Несмотря на свою молодость, учительница была закоренелой пессимисткой. Все ученики, по ее мнению, были неисправимыми лодырями.

— Экзамен уже окончен, — сказала она.

— А как же быть? — спросил Гошка.

Учительница равнодушно пожала плечами:

— Надо было раньше думать. Для чего-нибудь другого вы бы нашли время. А для экзаменов у вас его нет.

— Ну как же, я ведь готовился-готовился, — сказал Гошка идя следом. — Может, примете, а?

То ли голос его звучал очень жалобно, то ли была для этого другая причина, но учительница остановилась и сказала:

— Не знаю, что с вами делать. Я уже ключи отдала уборщице.

— Я сейчас возьму, — сказал Гошка и, не дожидаясь ответа, побежал искать уборщицу.

Учительница вошла в класс, положила на стол цветы, сумочку, достала из сумочки папиросу и сунула Гошке словарь:

— Переведите отсюда досюда.

Сама закурила и села на краешек парты у окна. Гошка трудолюбиво листал словарь.

— Ну что? — спросила учительница через несколько минут.

— Сейчас.

— Хорошо.

Подождала еще минуты три.

— Кончили? Нет? Сколько же вы перевели? Четыре строчки? Можно бы и больше, если вы усердно готовились. Ну хорошо, читайте. Так. Так. Это слово читается так: лейбен. Читаете вы, надо прямо сказать, неважно. Ну а что вы еще знаете из области немецкого языка? Основные формы модальных глаголов знаете? Не знаете? Скажите основные формы глагола «лерен».

— Лерен, лерте, гелерт.

— Правильно. Немен?

— Немен, немте, генемт, — охотно сказал Гошка и доверчиво посмотрел на учительницу.

— И это называется, вы знаете предмет, — с горечью вздохнула учительница. — Неправильно. Немен, нам, генёмен. Не понимаю, зачем государство дает вам месячный отпуск.

— У меня не было отпуска.

— Ну да, вы — исключение.

Учительница взяла со стола цветы и сумочку и направилась к выходу, торжественно неся свою красивую голову с пышной прической.

— Может, я пересдам? — идя за ней, нерешительно попросил Гошка.

— Конечно, пересдадите. Осенью, — ответила учительница, не оборачиваясь.

9

Звездный вечер стоял над Поповкой, и луна, расколовшись, лежала в Ишиме. Гошка осветил спичкой часы и пошел домой. Он шел вдоль берега, раздвигая кусты, и пушистые листья скользили по его щекам. У песчаной излучины против бани Гошка хотел свернуть к

дому, но услышал девичьи голоса. Гошка раздвинул кусты и увидел Лизку, которая, сцепив руками колени, сидела на бугре. Кто-то барахтался на середине реки.

— Эй, Лизка! — услышал Гошка Санькин голос. — Давай купаться!

— Холодно! — отозвалась Лизка.

— Глупая! — плывя к берегу, крикнула Санька. — Вечером вода всегда теплее!

Она подплыла к берегу и, все еще разводя руками, стала выходить из воды.

Гошка хотел выйти к девушкам, но передумал. Санька спросит, с чем поздравить. А с чем его поздравлять? Он притаился в кустах. Санька вышла и остановилась возле Лизки.

— Боишься? — спросила она. — А мне хоть бы что. Нисколечко не холодно.

— У тебя кровь горячая, — сказала Лизка.

Санька не спеша вытиралась. Осыпанная светом луны, она видна была смутно и в то же время отчетливо. Настолько отчетливо, что Гошке казалось: он видит, как с ее ступней сбегают в песок нестойкие капли воды.

— Красивая ты, Санька, — вздохнула Лизка. — С таких, как ты, наверно, картины рисуют.

— Правда, красивая?

— Правда, — сказала Лизка.

Санька тихонько засмеялась, а потом сказала грустно:

— Красивая, да смотри для кого.

— Все об Гошке своем переживаешь, — сказала Лизка. — А чего об нем переживать? Мало разве других парней?

— Парней много, — сказала Санька, — а Гошка один.

— Все они одинаковые, — сказала Лизка. — Вот Аркаша у меня... Вчера сидим на крылечке, он вот так взял за плечи: «Поцелуй, говорит, меня». — «А я, говорю, не умею целоваться». — «Ну, говорит, я тебя поцелую. Можно?» — «Можно, говорю, только осторожно». — «А больше, спрашивает, ничего не можно?» — «Ишь ты, говорю, какой быстрый. Ты, говорю, это брось, не на ту напал». — Лизка усмехнулась. — Они ведь, мужики, все такие. Лишь бы обмануть. А ты ходи потом мать-одиночкой, это его не касается. Но меня не обманешь. Я ведь таких насквозь вижу. — Лизка засмеялась, потом сказала: — С ихним братом знаешь как надо? Сначала

ты его замани. Делай вид, будто на все согласная. А как до чего дойдет, придерживай.

— И долго? — насмешливо спросила Санька.

— Долго, — деловито ответила Лизка, — до самого загса. И вся любовь.

— Это не любовь, — вздохнула Санька. — Это морока. Пойдем, что ли? Завтра рано вставать.

Санька натянула на себя прилипающее к телу платье и пошла впереди, неся в руках белые тапочки. Гошка подождал еще немного и вышел из кустов.

10

Как-то после обеда Иван ходил по деревне и, показывая всем большой екатерининский пятак, хвастался:

— Вот поеду в Акмолинск. Машину куплю, буду ездить, как председатель.

Оказалось, что за этот пятак Иван продал цыганам колхозную корову. Цыган догнали, корову отобрали, а пятак остался у Ивана. Только с того дня мальчишки не давали пастуху прохода. Они ловили его где-нибудь на улице, и кто-нибудь самый бойкий допрашивал: «Иван, ты зачем продал цыганам корову? Вот я возьму тебя за верхнюю губу и отведу в милицию». Иван прятал верхнюю губу за зубы. «Ничего, я тебя за нижнюю отведу». Иван пытался спрятать и нижнюю, но это ему не удавалось, и он, сжав кулаки, молча бросался на своих обидчиков. Те, визжа и хохоча, разбегались врассыпную.

Но потом эту историю забыли даже мальчишки, и единственный, кто ее помнил, был Тюлькин.

В этот день Тюлькин открыл склад поздно и, сидя за деревянной перегородкой, ожидал, не придет ли кто за продуктами. Но никто не шел. Тогда Тюлькин повесил на двери склада большой висячий замок и присел на оглоблю поломанной брички, что стояла во дворе. На свежем воздухе сидеть было приятно. Тюлькин вытащил из бокового кармана четвертинку и стограммовый стаканчик, поболтал остатки, выпил, не закусывая, и бросил бутылку на кучу опилок, чтобы не разбилась. Закурил. Глядя на черную свинью, что рылась в корыте посреди двора, он думал о смысле жизни. «Вот, — думал он, — жрет свинья. А зачем жрет? Чтоб жирней быть. Разжиреет, скорей зарежут. А ведь небось тоже

жить хочет». Не хотел бы Тюлькин быть свиньей. Ведь свинья только для того и живет, чтобы ее зарезали. Подрастет, откормится, потом ее под нож и за заднюю ляжку на крюк. У Тюлькина таких крюков двенадцать штук в балку вбито.

Тюлькин перевел взгляд со свиньи на дорогу и, увидев на ней Ивана, понял: коров пригнали, значит, — время уже — обед. Увидев, что Иван идет к складу, догадался: тридцатое число. Пастуху кроме трудодней выписывали на каждый день литр молока и сто граммов сала. За салом Иван приходил в последний день каждого месяца, брал сразу три килограмма.

— Тюлькин, сало есть? — спросил он, подходя.

— На что тебе сало?

— Кушать буду.

— Куша-ать. У тебя вон губища какая — за все лето не сжуешь.

Иван, насколько это было возможно, поджал губы и, помолчав, напомнил:

— Тюлькин, давай сало.

— Ну ладно, — согласился Тюлькин. — Спляши ба-рыню, тогда получишь.

Иван стоял не двигаясь.

— Ну чего ж ты? Давай, давай, а то останешься без сала.

Иван постоял, подумал и стал нерешительно перебирать ногами.

— Ну, ну, быстрее, — подзадоривал Тюлькин.

Иван задвигал ногами быстрее. Это была не пляска, а какие-то нелепые прыжки, лишённые смысла и ритма. Иван уже полдня гонялся в поле за коровами и особенно за телятами, которые чуть что поднимали хвосты трубой и разбегались в разные стороны. Поэтому сейчас он быстро уморился. Пот струйками тек с висков, со лба, затекал в глаза. Не останавливаясь, Иван скинул с себя казахскую лохматую шапку, расстегнул гимнастерку и продолжал подпрыгивать на месте, широко открыв рот и бессмысленно пуча глаза. Тюлькин угрюмо подбадривал:

— Давай, давай, работай, зарабатывай на сало.

Он смотрел на ноги Ивана и думал: «Хорошо быть дурачком, было бы чего поесть да где поспать, а там хоть трава не расти. И обижай его — не обидится, потому что дурак».

Гошка шел мимо склада в магазин за папиросами. Он случайно увидел пляшущего Ивана и подошел поближе.

— Давай, давай, — подбадривал Тюлькин, — вот и Гошка хочет посмотреть. Хватит барыню, давай русско-го. Вот так, да побыстрей, а то сало не получишь.

— Опять балуешься, Тюлькин, — сказал Гошка и вернулся к Ивану. — Иван, перестань плясать.

Иван перестал. Поднял с земли шапку и дышал тяжело, по-рыбьи. Тюлькин посмотрел на Гошку, потом на Ивана и после некоторого молчания спросил:

— Ну, чего стал?

— Давай сало, — сказал Иван.

— А чего стал?

— Гошка сказал.

— Ну и проси у него сало, — подумав, посоветовал Тюлькин и, поднявшись, пошел прочь.

Гошка схватил его за рукав:

— Дай человеку сало.

— Вот ты и дай. Ты ведь начальник. Министр!

— Дашь сало?

— Не дам.

После выпивки Тюлькин становился храбрым.

У Гошки задрожали пальцы, и кровь отошла от лица. Он сжал пальцы в кулак и двинул им Тюлькину в подбородок. Тюлькин прошел спиной вперед шага четыре и, споткнувшись, сел в пыль посреди двора возле свиного корыта. Свинья, испуганно хрюкнув, отбежала в сторону, потом зашла с другой стороны и снова принялась чавкать.

— Ну ладно, — сказал Тюлькин, трогая рукой подбородок. — Я тебе, Гошка, это припомню.

Он поднялся, сплюнул кровь с прикушенного языка и пошел прочь.

— Пойду скажу Петру Ермолаевичу, пусть он тебя на пятнадцать суток оформит.

— Сначала дай Ивану сало, а потом пойдешь жаловаться.

Тюлькин, не отвечая, прошел мимо. Гошка опять схватил его за рукав:

— Открой склад.

Тюлькин посмотрел Гошке в глаза и понял: надо открывать. Вечером к Гошке зашел Пятница. Сняв шапку и приглаживая ладонью пушок на голове, он сказал:

— Ты что ж это, Яровой, рукоприкладством занимаешься?

— Каким рукоприкладством?

Гошка сделал вид, что не понимает, о чем речь.

— Ну как — каким? Вот Тюлькин жалуется, что ты его по физиономии съездил. Говорит: «В суд подам». Как же это получается? Я, конечно, на Отечественной не был, врачи в армию не пустили, но у нас в Первой Конной за это знаешь что делали? Не знаешь? А я вот тебе скажу: у нас за это... — он долго думал, что в таких случаях делали в Первой Конной, но, так и не вспомнив, закончил: — У нас за такие дела по головке не гладили.

Гошка нахмурился:

— А что у вас делали в Первой Конной, если кто-нибудь издевался над раненым или больным?

— То есть как это — издевался? Что мы, деникинцы, что ли? У нас такого не было.

— А у нас было.

— Что было? Расскажи.

Гошка рассказал. Теперь нахмурился председатель.

— Да, брат, — сказал он, — в Первой Конной за такие дела, пожалуй, к стенке поставили б. Ну а как сейчас время не военное, то по морде, наверно, хватит.

Уходя, Пятница остановился в дверях и на всякий случай сказал:

— А вообще, Георгий, ты руки-то не особенно распускай. Не боксер.

Утром возле правления к Гошке подошел Иван и, протянув свой знаменитый пятак, сказал застенчиво:

— На, возьми.

— Зачем? — удивился Гошка.

— Машину себе купишь. Ездить будешь, как председатель.

11

В следующую субботу Илья Бородавка повесил на щите перед клубом афишу, извещающую всех проходящих мимо, что в девять тридцать вечера в клубе начнется вечер молодежи. В программе — танцы под радиолу. Из всех видов культурно-просветительной работы Илья Бородавка пользовался в основном двумя: танцами и кино.

На должности заведующего клубом Илья оказался совершенно случайно. В прошлом году бывшая завклубом неожиданно вышла замуж за городского учителя и уехала. Полторы недели клуб был закрыт, и как раз в ту пору, когда с полевых станов все уже съехались в село. Из района никого не присылали. Молодежь роптала. Тогда председатель на очередном собрании колхозников спросил, не хочет ли кто занять освободившуюся должность. Все молчали. Знающих это дело людей не было, да и маленькая зарплата заведующего никого не устраивала. Наконец поднял руку счетовод Илья Бородавка и сказал тихо, но решительно, как будто шел добровольцем в опасную разведку:

— Я. Разрешите мне пойти.

Ему разрешили. Все были довольны. Правда, председатель сказал, что Илья на должность назначается временно, пока не пришлют кого-нибудь с образованием, — однако всем было ясно, что с образованием никого не пришлют.

Илья взялся за дело со всей решительностью. Отремонтировал сцену, кинобудку, поставил несколько новых скамеек, а самое главное — потребовал у колхоза денег на покупку нового рояля. Рояль купили. Но так как никто не умел на нем играть, инструмент стоял без дела в глубине сцены. Илья сам стирал с него пыль, а чтобы никто без толку не стучал по клавишам, положил на крышку табличку: «Руками не трогать!» Эта заповедь была священной, и никто не решался прикоснуться к дорогому инструменту, кроме самого Ильи, который изредка, когда в клубе никого не было, открывал крышку, трогал наугад какой-нибудь клавиш и, приложив ухо к роялю, долго прислушивался к затихающему звучанию струн.

В этот день Гошка поздно вернулся из Актабара и, не заезжая ни домой, ни в гараж, остановился возле клуба. Так, в замасленных брюках, гимнастерке, кое-как очистив сапоги о скобу, прибитую возле крыльца, он вошел в клуб. Танцы были в полном разгаре. Вся молодежь была в клубе. Хромовые сапоги Аркаши Марочкина осторожно поскрипывали рядом с Лизкиными танкетками. Среди танцующих были две девушки-студентки, приехавшие из города на каникулы. Девушки эти танцевали только вдвоем и только «стилем». Во всяком случае, они сами так говорили. Должно быть, в городе,

где они жили, девушки никогда не были «стилягами», но уж очень заманчива перспектива выглядеть в родной деревне по-иностранному.

— Гошка, привет!

Это крикнул Анатолий. Он танцевал с фельдшерницей Азалией, женой тракториста Степана Дорофеева. Сам Степан возле стены играл на маленьком столе в бильярд. Когда подходила его очередь, Дорофеев прикладывался к кию небритой щекой, долго целился, как из ружья, и бил каждый раз мимо. Потом отдавал кий напарнику, а сам ревниво глядел туда, где его жена танцевала с Анатолием.

Потом стали играть в почту. На блузках и пиджаках танцующих появились бумажные номерки. К Гошке подошел Илья Бородавка и тоже вручил номерок. Гошка приколот его к гимнастерке и почти тут же получил анонимку: «№ 27 в личные руки. Вам шлет чистосердечный пламенный привет молодая и прекрасная принцесса».

Гошка посмотрел в глубину зала. «Молодая и прекрасная принцесса», отворачиваясь, смущенно сверкнула «фиксой».

Гошка танцевать не умел, и делать ему в клубе было нечего. Он пришел с единственной целью — увидеть Саньку. Но Саньки не было. Гошка, постояв еще немного возле бильярда, стал пробираться к выходу. Именно в это время он увидел Саньку. Она вбежала в клуб в светлом платье, раскрасневшаяся и запыхавшаяся. И тут же к ней подлетел незнакомый парень из строительной бригады, недавно присланной из района. Он хотел, видно, пригласить Саньку на танец, но неожиданно между ним и Санькой встал Анатолий. Он что-то сказал Саньке, потом парню. Санька улыбнулась и положила руку на плечо Анатолию. Все это Гошка видел издалека. Он стоял возле стены и смотрел, как легко и свободно кружит Анатолий Саньку, и в это время завидовал своему другу. Вот они прошли почти полный круг и подошли к Гошке. Анатолий взял Саньку под руку и, подведя ее к Гошке, сказал:

— Ну а теперь вы станцуйте вдвоем, а то у меня нога что-то заболела.

— Я не умею танцевать, — сказал Гошка и покраснел, сам не понимая почему.

— Врет, — сказал Анатолий Сэньке. — Танцует лучше всех. Балеймейстер.

Они прошли два круга. Гошка танцевал первый раз в жизни. Он держал Саньку за талию, стараясь это делать легко и свободно, и все-таки ему казалось, что держится он за горячий утюг. Кроме того, не получалось самое главное. Его кирзовые сапоги казались ему огромными, как пароходы. Он все время боялся наступить Саньке на ногу и смотрел вниз.

— Не смотри под ноги! — сказала Санька.

Но не смотреть он не мог. Ему было страшно. Его спасла сама Санька. Когда они проходили мимо дверей, она сказала:

— Выйдем на улицу. Жарко.

Минут через двадцать из клуба вышла Лизка. Утираясь платком, она увидела стоявшую в стороне машину. В кабине кто-то сидел, кто-то смеялся, кто-то целовался в кабине. Лизка из любопытства прислушалась к смеху и узнала Гошку и Саньку. Лизка вернулась в клуб. Аркаша пригласил ее на танго. Лизка танцевала, и выражение грустной задумчивости не сходило с ее лица.

— Ты чего? — вглядываясь в ее лицо, спросил Аркаша.

— Ничего, — сказала Лизка, — ничего. — И вздохнула.

«Нешто так можно, с первого вечера», — подумала она осуждающе.

12

— Ну чего, хватит, что ли, месить? — Лизка вышла из круга и выставила вперед вымазанную в глине ногу. — Саня, слей-ка ноги помою. Да не сильно лей-то, а то еще раз к колодцу бежать...

Санька осторожно наклонила ведро. Струйка воды побежала по Лизкиной ноге и, смешиваясь с глиной, стекала на землю.

— Вчера Степан Дорофеев меня на мотоцикле катал. Только из-за магазина выскочили, и свет в акурат на мельницу попал. А там двое как вскочат да как ша-рахнутся за мельницу! Парень с девкой. Кто б это, ду-маю, был, а? — Лизка скосила глаза на Саньку.

— Что у тебя за шпионские замашки, — поморщи-

лась Санька. — Знаешь, что мы с Гошкой были. Ну и что?

— А чего это вы там делали?

— Да ничего не делали. Сидели и разговаривали.

— Девушки, скажите, пожалуйста, как пройти к правлению?

На дороге с чемоданом в руках стоял незнакомый, городской, судя по одежде, парень. На нем были простроченные из простой ткани брюки, которые в городах называют джинсами, желтая в клеточку рубашка навыпуск.

— А вам кого надо? — полюбопытствовала Лизка.

— Ну кого... председателя, что ли.

— А-а. Ну, пойдешь, значит, прямо, потом налево, потом опять прямо, тут тебе по праву руку и будет правление.

— Спасибо.

Парень пошел.

— А председателя-то в конторе нету. Его раньше вечера не поймаешь! — крикнула Лизка вслед приехшему и посмотрела на Саньку. — Кто такой, как думаешь?

Санька пожала плечами. Лизка проводила парня долгим взглядом и опять повернулась к подруге:

— Значит, вы там сидели и разговаривали?

— С кем?

— Ну с Гошкой-то.

— Не веришь? Честное слово, сидели и разговаривали.

— На мельнице? — усомнилась Лизка. — Поговорить, я думаю, и возле хаты на лавочке можно.

— Какая ты умная! — Санька вздохнула. — Ничего такого у нас не было.

— И не будет, — подставляя другую ногу, насмешливо поддержала Лизка.

— Будет или не будет, не знаю, а пока не было. Понимаешь, Лизка, боюсь я этого. Говорят, ребята после этого уже не любят. А вдруг Гошка меня разлюбит?

— Или бросит, — сказала Лизка.

— Нет, разлюбит.

— Ну это все равно, — сказала Лизка. — Что разлюбит, что бросит — все равно.

— Нет, Лизка. — Санька поставила ведро на землю. — Самое страшное — когда разлюбит. А там уж бросит или не бросит...

Утром Илья Бородавка пришел в клуб и заперся в библиотеке. От нечего делать занялся перестановкой книг. Каждую книгу он снимал с полки, обтирал байковой тряпкой и ставил на прежнее место. Увлеченный этим занятием, он не сразу услышал, что кто-то играет на его любимом рояле. Илья прислушался. Нестройные звуки неслись из клуба. Илья почувствовал, что внутри у него что-то оборвалось. С тряпкой в руках он вбежал в клуб. Какой-то парень в узких брюках и широкой клетчатой рубашке навывпуск («Должно быть, стилига», — подумал Илья) сидел за роялем и бойко барабанил по клавишам всеми десятью пальцами. Илье было бы легче, если бы его самого стукнули по голове. Он подошел к парню и вежливо сказал:

— Молодой человек, на инструменте разрешается играть только музыкантам, которые умеют.

При этом Илья поднес ко рту руку и кашлянул в кулак, должно быть для внушительности.

— А я немножко умею, — сказал неуверенно парень.

Илья с сомнением посмотрел на его короткие, пухлые пальцы и сказал.

— Что-то не верится. А ну исполните что-нибудь.

— А что именно?

— Полонез Огинского.

Это было единственное произведение из всей классической музыки, которое знал Илья.

Парень пожал плечами и ударил по клавишам. Сначала пальцы его ходили медленно, как бы нехотя, но потом они стали работать все быстрее и быстрее, и Илья уже не успевал следить за ними. Иногда парень высоко взмахивал рукой и с размаху ударял по клавишам.

— Да, — сказал Илья восхищенно. Он готов был прослезиться от умиления. — А я подумал, что вы стилига, — виновато признался он. Помолчал и спросил нерешительно: — А фокстрот какой-нибудь вы тоже умеете?

А потом в клуб пришел председатель. В последние дни его мучили приступы ревматизма, и он ходил опираясь на палку. Увидев незнакомого молодого человека, председатель решил, что это, должно быть, из обкома комсомола. «Опять какая-нибудь проверка», — недо-

вольно подумал он. Однако он никак своего недовольства не проявил и, протянув гостю руку, представился:

— Пятница.

— Корзин,— ответил парень. Потом подумал и уточнил: — Вадим.

— Культуру проверять? — полуутвердительно спросил Пятница.

— Нет.

«Заливает», — подумал Пятница и на всякий случай стал рассказывать приезжему, какая работа по части улучшения культурно-просветительной работы ведется в Поповке и в целом по колхозу.

— Вы меня, очевидно, принимаете за кого-то другого, — перебил Вадим. — Я приехал сюда работать. Мне посоветовали в ваш колхоз.

— В наш колхоз? А-а, — догадался председатель, — молодой специалист? Агроном?

— Нет.

— Зоотехник?

— Нет.

Пятница перебрал в уме еще несколько специальностей и посмотрел на гостя.

— Ну а кто же ты?

— Я? Так просто... человек.

— Ну а все-таки?

— Я из Москвы... Учился в институте...

— Исключили?

— Нет, сам ушел.

— Зачем?

— Не знаю. Хочу поработать.

— Понятно, — сказал Пятница. — Нужен жизненный опыт.

— Откуда вы знаете? — удивился Вадим.

— Знаю, — сказал председатель. — Не ты первый, не ты последний. К нам сюда многие приезжают. — Он выдержал паузу. — Потом уезжают. Я для них в конторе расписание поездов повесил. Будет нужда, заходи, посмотришь. А пока устраивайся, куда-нибудь определим.

14

Всей деревне было известно, что в свободное время Илья Бородавка пишет стихи. Писать Илья начал, можно сказать, по необходимости. Вот уже лет пять он был

бессменным редактором стенгазеты. А так как никому до газеты не было дела и никто не писал для нее заметок, Илья решил собственными силами сделать ее интересной и содержательной. Так с некоторого времени в газете стали появляться стихи за таинственной подписью «Фан Тюльпан». Илья вывешивал газету в коридоре клуба и в полуоткрытую дверь библиотеки ревниво следил за тем, как относятся к его творчеству читатели. Читатели читали, усмехались, а встречая завклубом, любопытствовали:

— Кто это у нас, интересно, поэт такой?

— Знаем, где взять, — отвечал Илья хотя и некстати, зато загадочно.

Примерно месяц тому назад Илья собрал несколько своих лучших, по его мнению, стихотворений и отправил в столичную газету с таким письмом:

«Дорогая редакция!

Я, Фан Тюльпан (настоящее фамилие Бородавка), посылаю вам несколько своих произведений на сельскохозяйственную тематику. Буду рад увидеть их на страницах печати вашей газеты. Сам я рождения двадцать седьмого года и заведую клубом в селе Поповка. Являюсь редактором стенной газеты. В заключение разрешите выразить надежду на ваше благополучное внимание.

Остаюсь Илья Ефимович Бородавка».

Как только приходила почта, Илья брал нужную газету, запершись в библиотеке, просматривал ее и оставался разочарованным.

Писал Илья будто глыбы ворочал — потел, пыхтел, но все-таки ухитрялся сочинять в день по два, по три, а то и по четыре стихотворения. Написанное складывал в бумажный мешок и хранил его под кроватью.

Вернувшись после разговора с Вадимом из клуба, Илья сел за стол и минут за пятнадцать написал стихотворение. Он даже сам удивился такой быстроте. Перечитав стихи и поправив на ходу одну строчку, Илья пошел за женой, которая при свечке чистила курятник.

— Слышь, Пелагея, — сказал он, встав в дверях, — иди в хату, стих расскажу.

Пелагея поставила в угол ведро и лопату, загасила свечу и послушно пошла за мужем.

— Вот, слухай, — сказал Илья, — «Подруге жизни Пелагее Бородавке — тебе, значит, — этот стих посвящает автор:

Я помню чудное мгновенье,
Я шел по улице тогда,
И ваши очи голубые
Взглянули ласково в меня.
И понял я, что жизнь наша
Всегда имеет два пути...

Пелагея легла на стол засаленным животом, подперла голову, смотрела в окно и думала о своем. Вот уже шесть лет, как они с Ильей расписаны, а детей все нет и нет. Соседка Татьяна восьмерых родила, троих рожать отказалась — лишние, видать. А тут хоть бы один... В прошлом году ездили в город к врачу специальному. «Ничего, говорит, у вас нет, дети должны быть». Татьяна вчера приходила, посидела, семечки поплевала. «Чего-то, говорит, хочется еще родить. Пузо поносить хочется». А Пелагее разве не хочется?

...И я сказал вам: «Здравствуй, Паша,
Я долго ждал вот здесь тебя...»

В дверь постучали. Илья недовольно поморщился и, закрыв тетрадку, пошел открывать. Вошла Яковлевна. Села к столу, развязала ситцевую хусточку:

— Дуже душно. Там, у клуби, якийсь чи поет, чи поёт, в общем, вирши читае.

— Вадим, на pewno? — встрепенулся Илья.

— Ну да, мабуть, Вадим. Той студэнт, шо прихав. Я ходыла грабли шукать. Мои вчора стоялы биля сарайчику, а сьогодни вышла сино сгрэбать, дывлюсь — нэмае. Чи пацаны утяглы, чи шо. Пишла я до Павла-баптиста. «Дай, кажу, Павло, грабли на пивчаса, бо мои дэсь дилысь». А вин: «С сожалением, каже, дав бы, но самому зараз нужни». Бреше як собака. Ни разу из хаты нэ выйшов. Пиду, думаю, до Гальченка, у нього попрошу. А Гальченка дома нэма, и собака коло двору бигае. Ну я повэрнулась тай назад. Трэба, думаю, в клуб зайты. Зайшла так, стала биля двэрэй, а той студэнт вирши читае. Шось такэ про любовь.

Илья схватил кепку и побежал к дверям.

— Ты куда? — спросила Пелагея.

— Сейчас приду, — сказал Илья.

В клубе возле сцены стоял окруженный колхозниками Вадим и, выбрасывая вперед правую руку, читал:

Мы в угольных шахтах потели,
 Пилили столетние ели.
 Мы к цели брели сквозь метели,
 Глотая махорочный дым.
 Фуфаек прокисшая вата
 Мне тоже знакома, ребята.
 Привыкли кирка и лопата
 К рабочим ладоням моим.

— Здорово протаскивает! — сказал восхищенно Марочкин.

— Я чего-то не понял, — сказал стоявший рядом с Марочкиным Анатолий. — Это кто там в шахте потел? Ты, что ли?

— Нет, не я, — смутился Вадим. — Нельзя так буквально понимать стихи. Я — это мой лирический герой.

— А я думал, ты — это ты и есть, — сказал Анатолий.

— Ну это все равно что я. Это мой внутренний мир.

— А я думал, ты и снаружи такой, — разочарованно сказал Анатолий, и все засмеялись.

Только Гошка дернул Анатолия за рукав и сказал тихо:

— Брось, зачем ты?

Илье стихи Вадима очень понравились. «До чего складно, — подумал он с завистью. — Мне бы так». С трудом протолкавшись к поэту, он попросил:

— Можно вас на минутку.

— Можно.

Они заперлись в библиотеке и в течение полутора часов вели секретный разговор, после которого Илья сбегал домой и, достав из-под кровати заветный лирический мешок, вернулся в клуб.

— Вот, — сказал он, передавая мешок Вадиму, — здесь все. Только смотри, чтоб ничего не пропало.

Илья шел домой, и настроение у него было хорошее. Ему было приятно оттого, что он поговорил сегодня с таким интересным человеком. Все-таки образованный и пишет. И печатался в четырех газетах и одном журнале. Когда они сидели в библиотеке, Илья прочел Вадиму несколько своих стихотворений. Вадим стихи по-

хвалил, но сказал, что на месте Ильи он писал бы прозу. Например, записки заведующего клубом.

— Опишите обычные свои трудовые будни. По-моему, это будет очень интересно и актуально.

Придя домой, Илья достал из тумбочки чистую тетрадь и написал на обложке:

«Д Н Е В Н И К

заведующего клубом

Ильи Ефимовича Бородавки.

Начат в селе Поповка 14 августа
1960 года».

Илья открыл первую страницу и своим красивым почерком написал: «Сегодня в наше село Поповка прибыл молодой поэт. Он охвачен патриотическим подъемом убраться казахстанский миллиард...»

Дальше ничего не писалось. Илья посидел, поскреб обратной стороной ручки в голове и, ничего не придумав, лег в постель, к теплому телу жены.

Когда Вадим шел с мешком по улице, встретился ему Анатолий и спросил удивленно:

— Что несешь?

— Илья Бородавка, — сказал Вадим, вытягивая руку с мешком. — Собрание сочинений в четырех мешках. Мешок первый.

16

В заливных лугах за Ишимом косили сено. Гошка вез сено в Поповку. Машина была перегружена, и Гошка с тревогой замечал, что на ухабах передние колеса отрываются от земли. Подъезжая к мосту, он сбавил скорость, но это его не спасло. Мост был горбатый, и на самом въезде машина задрала нос и поползла назад. Гошка выжал сцепление и тормоз. Машина встала на задний борт и покачивалась. Река, Поповка, горизонт ушли вниз. Над ветровым стеклом висели облака. Гошка выругался и вылез из кабины.

Машина стояла на заднем борту и сушила на солнце передние колеса.

Подъехал Анатолий. Он обошел машину и почесал в затылке.

— Дела! А у меня и троса буксировочного нет.

В кабине у него сидел Вадим.

— Эй, Вадим! — крикнул ему Анатолий. — Сбегай в правление, пускай трактор сюда гонят.

Вадим вылез из кабины и нехотя затрусил в гору.

— Бегун, — глядя ему вслед, проворчал Анатолий. — Слушай, Гошка, ты зачем Саньке разрешаешь с ним по вечерам заниматься.

— А что? У них же репетиции.

— Репетиции... Смотри, дело, конечно, не мое...

— А что?

— Да ничего! Часто у них репетиции.

— Отстань.

В последние дни он почти не видел Саньку. Работала она по-прежнему на стройке, где Гошка уже не бывал. А по вечерам Санька уходила в клуб и пела под аккомпанемент Вадима разные песенки. Времени для свиданий не было. Отчасти такое положение вещей Гошку даже устраивало — ему надо было готовиться к передаче немецкого. Но какая-то смутная, еще не осознанная тревога волновала и его.

Гошка поднял с земли щепочку и стал счищать налипшую на сапог глину. Потом разогнулся и увидел Саньку. Перепрыгивая через лужи, Санька бежала к реке. Косынка у нее развязалась, она на ходу сорвала ее с головы и бежала, размахивая косынкой, как флажком.

— Уф! — Санька перевела дыхание и посмотрела на Гошку. — А Вадим мне сказал, что ты совсем перевернулся.

— А ты испугалась?

Санька посмотрела ему в глаза.

Испугалась. Видно по ней. При чем здесь Вадим?

Гошка насмешливо взглянул на Анатолия.

— Чего ты на меня уставился? — спросил Анатолий.

— Ничего. Вон трактор идет.

От Поповки к реке торопился «ДТ-54». Из его кабины высывалась кудрявая голова Аркаши Марочкина.

«Как только начали убирать силос, Саньку перевели на новую работу — весовщицей на автомобильные весы. Теперь она часто виделась с Гошкой, потому что, перед

тем как везти силос к яме, Гошка должен был заезжать взвешивать машину. Время было горячее, перекинуться словом некогда, и все-таки, издав далеко завидев Гошкин «ЗИЛ» с покореженным левым крылом, Санька радовалась, что вот опять она сможет увидеть его.

В этот день Гошке не повезло. С утра он проколол заднюю камеру, и, пока менял колесо, другие сделали уже по две ходки, а Павло-баптист успел сделать три. Смонтировав колесо, Гошка гонял машину на полной скорости, чтобы догнать других, но тут новая неприятность — сломался комбайн.

Когда в конце дня Гошка подъехал к весам, на них стояла машина из Кадырской автобазы. Шофер, здоровенный парень с выпирающей под майкой грудью, размахивая руками, спорил о чем-то с Санькой.

— Вот, — сказал он подошедшему Гошке, — на принцип идет. Одну ходку, говорю. За свое, что ли, боишься?

Сев в кабину, он сердито хлопнул дверцей, так что веса ходуном заходили, и укатил.

«Здорово Санька его, — въезжая на весы, подумал Гошка, — какой умный, ходку ему».

Санька поставила рычаг весов на защелку и, посмотрев в свой блокнотик, сказала неуверенно:

— Гоша, я тут что-то напутала. У тебя шесть ходок только?

— Правильно, — сказал Гошка. — Шесть.

— Как же это? У других по восемь, по девять...

— Так получилось. Я много стоял.

— Ну ладно, — сказала Санька и стала заполнять путевку. — Восемь ходок хватит?

— Ты что? — Гошка вырвал путевку из ее рук. — Не надо.

— Ну а чего? Пускай, — просительно сказала Санька.

— Не надо, Саня, обойдемся.

— Как хочешь! — Санька обиженно поджала губы. — Я хотела как лучше.

— Разве так можно, Саня? — сказал Гошка и взял Саньку за локоть. — Ведь ты ему вон не приписала.

— Так то ж ему... — сказала Санька и расплакалась. — Так то ж ему... Проезжай давай. Не мешай работать.

Накануне концерта художественной самодеятельности Санька и Вадим поздно задержались в клубе. Ушли участники хора, ушли трое исполнителей одноактной пьесы про лодыря «Баранчук проснулся», а Вадим еще долго сидел за роялем и заставлял Саньку повторять то ту, то другую строчку «Подмосковных вечеров».

— Ты пойми, это твой коронный номер. Ты должна исполнить это с блеском. Ты должна исполнить это не хуже, чем... — он назвал фамилию известной певицы.

— Сравнил! — сказала Санька. — Она певица, а я кто?

— Горшки обжигают не боги, — сказал Вадим. — Надо работать! Способности у тебя есть.

Он закрыл крышку рояля, и они вышли в коридор. Санька смотрела, как Вадим возится с дверным замком, все никак не может закрыть его. Станный человек этот Вадим. Он ни к чему не приспособлен, ничего не может. Его сейчас поставили работать грузчиком на силосе, эта работа выматывает его, но вечером он аккуратно приходит на репетиции и занимается в клубе допоздна. Он не похож ни на Гошку, ни на Анатолия, ни даже на тех летчиков, которых она знала в своем городе.

Вадим говорит туманно и, наверно, поэтому красиво. И его хочется слушать. Он много знает. И совсем непонятно, зачем он сюда приехал и что ему здесь надо.

— Пойдем!

Вадим наконец справился с замком. Они вышли на улицу.

— Смотри, — сказал Вадим и остановился.

Санька оглянулась вокруг, но ничего не увидела.

— «Ночь тиха. Пустыня внемлет богу, и звезда с звездою говорит», — с чувством прочел Вадим. — Красиво. Люблю ночную степь. Ты знаешь, когда я учился в школе, мы ходили в турпоходы. Больше всего, Саня, я любил ночные привалы. Пылает огонь, трещит хворост, и искры уносятся в синюю тьму. Сейчас бы пойти в поход. Далеко. Километров за сто. И чтобы вокруг ни деревни, ни человека — никого и ничего.

По улице мимо клуба шли парни с гармошкой. «Увидят с Вадимом, сплетен будет...», — подумала Санька и заторопилась.

— До свидания, Вадим, я пойду.

— Уже уходишь? — грустно спросил Вадим. — Хочешь, я тебя провожу?

— Нет, нет, я сама.

Она пошла домой и думала о Вадиме. Зачем здесь живет этот парень? Хочет в поход ходить. На сто километров. Санька не слышала, чтобы у кого-нибудь из ее знакомых возникало такое желание. Вот хоть бы у Гошки. Гошка... Конечно, он прав в этой ссоре. Но Саньке тоже не хотелось сдавать позиции. И вот уже четыре дня они не разговаривают. И опять виновата она. Гошка раза три пытался заговорить, но Санька каждый раз становилась глухой. Гошка ездил злой и измученный. «Надо будет завтра мне помириться с ним», — подумала Санька и ускорила шаги. Пора было спать.

19

Над Поповкой плыли облака настолько тонкие и прозрачные, что сквозь них просвечивали звезды. Дядя Леша расправил в бричке слежавшееся сено и, улегшись на него, положил рядом с собой ружье-централку. Спать не хотелось. Сегодня было заседание правления, и на нем решили платить колхозникам от шестидесяти лет и старше пенсию, как на производстве.

Яковлевна, которая рассказала об этом дяде Леше, насчет размера пенсии ничего толком не знала. Вроде бы должны платить по тридцать трудодней в месяц, да еще надбавка за выслугу лет. За двадцать пять лет — десять процентов, за тридцать лет — не то пятнадцать, не то двадцать процентов. Дядя Леша сначала подсчитал, сколько получится, если надбавка будет двадцать. Вышло неплохо — тридцать шесть трудодней без всякой работы. А если пятнадцать? Дядя Леша снова стал подсчитывать, но тут же сбился со счета. Он плюнул с досады и стал пересчитывать еще раз, но на этот раз со сбили Гошка и Санька, которые шли мимо склада и разговаривали о чем-то. «Может, насчет пенсии», — подумал дядя Леша и прислушался. Говорила Санька:

— Ты, Гошка, хороший, только... ну я не знаю, как сказать. Вот смотри: ночь, степь... Ты хотел бы пойти в поход далеко-далеко, километров... на сто?

— Нет не хотел бы, — сказал Гошка. — Мы как-то в

армии ходили на двадцать пять километров, я портянку плохо намотал и ногу стер до крови.

— При чем здесь портянка? — вздохнула Санька.

— Как — при чем? Чтобы ходить в походы, надо уметь портянки наматывать.

— Вот видишь... портянки. А вот скажи, ты хотел бы совершить какой-нибудь подвиг?

— Зачем?

— Ну ни зачем. Просто так.

— Просто так не хотел бы, — сказал Гошка. — Вот если б для дела...

— А для меня?

— Для тебя?

— Да, для меня. Соверши для меня какой-нибудь подвиг.

— А какой? Ну хочешь, я тебя... на руках понесу?

— Понеси меня на руках, — упавшим голосом сказала Санька.

Дядя Леша не поверил своим ушам, приподнялся на локте и неодобрительно посмотрел вслед уносящему Саньку Гошке. Виданное ли дело — девок на руках носить! И вслух передразнил: «Хочешь, я тебя на руках понесу!»

Чудная молодежь пошла! Он вот свою жену никогда на руках не носил. Да и то сказать, в ней и смолоду пудов шесть было...

— Стой! Кто идет? — крикнул дядя Леша и на всякий случай потянул к себе заряженное солью ружье.

— Я, — ответила, приближаясь, расплывчатая в темноте фигура, и дядя Леша узнал в ней собственную сурругу.

— А я уж тебя хотел солью, — сказал дядя Леша. — Чего пришла-то?

— Та вот сметанки тоби прынэсла. Исты будэшь?

Дядя Леша только сейчас вспомнил, что он сегодня не ужинал. Он встал с брички и, разминая затекшие ноги, сказал:

— Пойдем, вон там на приступочках посидим.

— А ружье где?

— Там, в бричке. Нехай лежит.

Яковлевна размотала тряпку и вынула из нее маленький глечик со сметаной. Дядя Леша ел сметану долго, потом вымазал остатки хлебом и положил корку в глечик, потому что выбрасывать — грех. Вытер губы,

посмотрел изучающе на жену и поманил ее пальцем

— Поди-ка сюда.

— Чого тоби?

— Иди, иди не укушу.

И когда Яковлевна подошла, дядя Леша неожиданно обхватил ее руками и попытался приподнять. Яковлевна, вырываясь, размахивала руками и кричала полусердито:

— Пусты... Дурэнь старый... Тоже выдумал шутки...

С годами дядя Леша ослаб, а жена, видимо, еще прибавила в весе. Дядя Леша отпустил ее и, махнув рукой, сказал огорченно:

— Ладно, иди... бомба водородная.

Яковлевна ушла. Дядя Леша долго вздыхал, думая об ушедшей силе, но потом мысли его опять вернулись к вопросу о пенсии. Дядя Леша подумал, что, когда ему назначат пенсию, он вместе с женой уедет к сыну, который служит летчиком где-то на Кавказе. Он подумал о том, как обрадуется сын, и представил себе эту встречу в лицах.

— «Здравствуй, сынок», — сказал дядя Леша слабым голосом, обращаясь к воображаемому сыну, и сам себе ответил радостно: — «Здравствуй, батя! Очень радый вас видеть! Как доехали?» — «Ничего, спасибо...»

— С кем это ты разговариваешь?

Дядя Леша вздрогнул и увидел перед собой Гошку. Проводив Саньку, Гошка возвращался домой.

— С собой. Это мне по должности моей одинокой полагается, — пояснил дядя Леша. — Из-за скуки своей разговариваю. Дома хоть с бабой поговоришь, а здесь... — сторож махнул рукой.

С бабой! Вот живет человек всю жизнь со своей женой и всю жизнь зовет ее «баба». И, может, за всю жизнь ласкового слова ей не сказал.

— Дядя Леша, а ты свою бабу любишь?

— Чего?

— Ну, она у тебя хорошая?

— Да как тебе сказать... — задумался дядя Леша. — Ничего вроде бы. Тяжелая она, — вздохнул он, вспомнив недавнее.

Экзамен принимала старая Гошкина учительница, которая не была требовательной. Она заставила только прочесть несколько строк и проспрягать два глагола. И Гошка испытал то едва ощутимое чувство легкой обиды, когда требуют очень мало, а ты способен на большее. Потом Гошка пошел к директору, и ему тут же вручили хрустящий аттестат. Гошка пожал протянутую ему холодную руку директора.

«Ну вот, — подумал он, — среднее образование». Оно ему досталось с таким трудом, и он даже удивился, что особой радости по этому поводу не было. «Так, наверно, всегда, — подумал он, — когда добьешься чего-нибудь, уже не интересно». Сейчас все ему почему-то давалось очень легко. Даже машина завелась с полоборота.

Выезжая из брода, Гошка увидел на берегу человека. Человек поднял руку. Гошка затормозил.

— А, наше вам! — в восторге закричал человек и сверкнул стальными зубами. Это был тот самый фотограф, с которым Гошка писал сочинение. Фотограф был тогда первым из заочников, кто завалился.

— До Ивановки подвезешь? — спросил он.

— Садись.

— Свой парень, — сказал фотограф, влезая в кабину, но, когда немного проехал, вдруг спросил озабоченно: — А сколько возьмешь?

— Десятку.

Фотограф дернулся к дверце:

— Останови.

— Зачем?

— Ох ты — десятку! Другие и тройку рады.

— Ладно, сиди. Ничего я с тебя не возьму.

— Ха-ха, шутник! — радостно воскликнул фотограф и, удобно устроившись на сиденье, начал рассказывать, что кроме сочинения он завалил и геометрию с тригонометрией, и химию, но ему наплевать, потому что сейчас среднее образование — все равно как раньше четыре класса, и вообще на своей работе он обойдется без него.

Вылезая против Ивановки, он спросил:

— Может, все же возьмешь трешницу-то?

— Вылазь.

— Как хочешь, — сказал фотограф и, поправив на бедре фотоаппарат, пошел прочь.

21

В первый же день уборки Илья Бородавка отобрал десятка два книг из тех, что поинтересней, и, связав их стопкой, вышел на дорогу ловить попутную машину. Ему повезло. Не прошло и пяти минут, как на дороге появился Гошкин «ЗИЛ-150». Илья забросил книги в кузов, где лежал большой фанерный ящик с продуктами, и они поехали.

Было жарко. Хвостатое облако пыли тянулось за идущей впереди «Волгой».

— Хорошие книжки везешь? — спросил Гошка.

— А как же! Самые зачитанные выбрал.

— А когда же ты свою книжку дашь почитать? — пошутил Гошка?

— Свою? Да вот жду, чего из Москвы ответят. У меня, Гошка, грамотности не хватает. А стихотворения я писать могу. Талант у меня к этому делу есть, это я знаю. Вот насчет прозы не скажу. Тут я не силен. Захотел я описать нашего председателя, какой он есть. Ну и пишу: «Высокий, стройный, с умным взором в глазах». А он, может, и высокий, да толстый, как беременная баба. Какая уж тут стройность. Не получается, да и все. — Илья вздохнул. — А насчет стихов — это мне раз плюнуть. Другой раз, поверишь ли, идешь — и вдруг в голову чего стукнет. Приду домой, запишу. Через пятнадцать минут стих готов. А вот грамотность — да-а. Тут мне еще надо над собой работать. Говорил я Вадиму: «Исправь ошибки, а потом деньги и все такое на двоих». — «Некогда», — говорит. Не хочет заработать, что ли? А знаешь, я сегодня стих накатыл. Послушай: «Воспоминание о любви».

Стихи были длинные. Когда Илья поинтересовался Гошкиным мнением, Гошка ответил:

— Не знаю. По-моему, непонятно.

— Так это ж стихи, — снисходительно объяснил Илья.

На стане народу было полно, и все занимались разными делами: одни натягивали на кольца палатку, другие копали в земле печку, третьи перетаскивали вещи.

Гурий Макарович Гальченко, которого назначили на стан бригадиром, шел с Пятницей по краю поля и недовольно размахивал руками.

— Як тут косылы — нэ поймэшь. Тут навесной жаткой, там прыцепной. Тут ни одного валка, тут три валка сразу. А бы скосыть.

Потом Павло-баптист привез шефов — рабочих с консервного завода. Шефы сбрасывали на землю вещи, мешки, чемоданы, матрацы и тащили все это в палатку. Вместе с ними приехал на стан Вадим, который первую машину проспал. Вскочив на ящик с продуктами, Вадим торжественно произнес:

— Приветствую тебя, пустынный уголок!..

— Эй ты, уголок! — крикнул Микола. — Ящик проломишь!

Гурий Макарович собрал шефов в кружок за палаткой и проводил перекличку:

— Знаме́нский!

— Зна́менский, — поправили его.

— Це по-вашему, по-городскому, а по нашему Знаме́нский, — сказал Гурий Макарович, но в следующей фамилии сделал поправку на городское произношение. — Во́лынский!

— Во́лынский, — поправили его.

— А, вас нэ поймэшь! — Гурий Макарович махнул рукой. — Буду читать по-своему.

После переклички следовал инструктаж. Инструктаж был кратким и выразительным:

— Ну шо вас тут инструктировать? Це трактор, це комбайн, це копнитель. Прошлый год у нас тут тоже булы городские, так некоторые путалы. Ну, трактор и комбайн вам знать нэ надо, вы будэтэ работать на копнителе. Правильно вин называется чи соломополовокопнитель, чи половосоломокопнитель, вам це тоже знать нэ нужно. Шо вам трэба для работы? Дви руки, шоб дэржать выла, дви ноги, шоб нажимать на педали. Шо ще? Курыть на копнителе нэ положено, но хто курэ, все одно нэ вдэржится. Значить, шо? Курыть осторожно. Прыгать на ходу з копнителя нэ положено, но прыгать прийдеться. Значить, прыгать так, шоб нэ попасты лид колесо. Все ясно? Вопросов нэма? Пишлы розпысуваться за технику безопасности.

На поле выехали после обеда. Гурий Макарович рас-

ставил все семь комбайнов так, чтобы они были на одинаковом расстоянии.

Аркаша Марочкин хотел трогаться первым, но Гальченко его остановил:

— Нэ лизь попэрэд батька в пэкло.

Он еще раз прошел по краю поля, потом поднялся на свой комбайн и поднял руку:

— Поихалы!

И сразу загудели моторы, заработали приводы комбайнов, тронулись с места трактора. Первые метры валков потекли в молотилки.

Илья Бородавка, вернувшись со стана, вспомнил, что видел он за этот день, и написал в своем дневнике:

«Сегодня началась борьба за казахстанский миллиард! Наш бригадир Гурий Макарович Гальченко встал на своем любимом комбайне и своим свежим голосом сказал: «Поехали!» И сердца у всех задрожали в сладостном волнении, будто лопнула в них какая струна. И все закричали «ура».

Илья подумал и дописал:

«А на копнителях с вилами в руках стояли наши дорогие шефы. Они пели веселые песни».

Дальше ничего не получалось.

«Эх, был бы я писатель», — грустно подумал Илья и отложил дневник в сторону.

22

В этот день, когда на стане был Илья Бородавка, произошла некоторая заминка с распределением кадров. Закрепив комбайны за комбайнерами, трактора за трактористами и копнители за приезжими шефами, Гурий Макарович совсем выпустил из виду Вадима. Вадим подошел к нему:

— А мне что делать?

— Тоби? — Бригадир был явно озадачен. — А што ты можешь робыть?

— Вин на рояли грае, — подсказал Микола.

— Гм... на рояли... От беда. А в мэнэ сим комбайнив и ни одного рояля. Ну, а шо ще ты можешь робыть?

Вадим пожал плечами.

— Вин ще вирши пыше, — подсказал Микола.

— Значить, вирши... Так издательства в мэнэ тоже

нэмае. Щось в тэбэ такі спэциальности нэподходящи. А шо, як я тэбэ поваром назначу? Работа дуже проста и інтэлігэнтна. Бэрэшь відро воды, відро крупы і жменю соли. Казан е, кизяк е, солярка е. Работай.

Но очень скоро Гурию Макаровичу пришлось раскаяться в своей неосмотрительности. Вечером, когда комбайны пришли с поля и все, расхватав алюминиевые миски, кинулись к кухне, оказалось, что никакого ужина нет. Гречневая каша наполовину не доварилась, а наполовину пригорела.

— Шо ж ты так, а? — сетовал Гурий Макарович на незадачливого повара. — Можно ж було воды добавыць.

— Вы сказали — ведро, я ведро и налил. — Вадим был расстроен. Гальченко посмотрел на него и пожалел:

— Ну ладно. А як насчет чаю?

— Чай есть.

— Тягны сюды сахар, масло... Шо ще у нас есть... Колбасу. Хлопцы, сьгодні будэм вэчерять сухым пайком.

— Шо? — возмутился Микола. — Цілы дэнь робылы...

— Мыкола! — Бригадир повысил голос.

После этого случая Гальченко составил график, по которому пищу варили все в порядке очередности.

Вадим стал постоянным рабочим по кухне. В его обязанности входило залить котел водой, растопить кизяк, принести, если нужно, продукты.

Однажды очередной повар Степан Дорофеев стоял на кухне и огромной суковатой палкой помешивал кашу в котле. Вадим, кусая карандаш и изнывая от жары, лежал в палатке и сочинял очередное стихотворение. Потом встал и подошел к Степану.

— Хочешь, стихи новые прочту?

— Стихи? А чего ж, валяй, — поощрил Степан. Он оперся на палку и приготовился слушать.

Еще туманы бродят по земле,
Еще не встало солнце за спиною,
Но на комбайне, как на корабле,
Я отправляюсь в плаванье степное.

Пусть от жары в глазах круги рябые,
Дымит земля поземкой ковыля...
Земля, ты — покоренная рабыня,
Я — бог и повелитель твой, земля.

— Ну как?

— Ничего вообще-то. — Степан почесал в затылке. — Занятно. Слышишь, а как это все у тебя получается?

— Что — как?

— Ну вот так, чтоб складно было?

— Не знаю. — Вадим замялся. — Это трудно объяснить.

— Да-а... А зачем это ты все сочиняешь? Трудно небось голову ломать.

— Нелегко. Но, понимаешь, стихи помогают людям жить, работать...

— А-а, работать, — сообразил Степан. — Это я, значит, кашу варю, а ты мне помогаешь?

И Вадим не понял — то ли Степан шутит, то ли всерьез говорит.

23

Вторую неделю идет дождь. Постоянно, непрерывно он стучит по брезенту палатки и с шорохом скатывается на раскисшую землю. Дует ветер. В палатке холодно и сыро. Пахнет мокрыми телогрейками и тулупами. Каждый выбирает себе занятие по вкусу. Четверо режутся в домино. Степан Дорофеев и Микола играют в шахматы. У Миколы ангина. Поэтому он перевязал горло серым полотенцем и хрипит на всех, кто задерживается у входа.

Гошка лежит на постели в бушлате и читает книжку.

— Гошка, как ты думаешь, в этом, наверное, есть своеобразная романтика?

Это спрашивает Вадим. Он лежит рядом, натянув одеяло до самого подбородка.

— Что? Романтика? — Гошка долго не может сообразить, в чем дело. — Не знаю, Вадим.

— Ну а зачем же мы тогда сидим?

— Ну как? Ну... нужно так, вот и сидим. Урожай кому-нибудь нужно убирать.

— А-а, урожай.

В первый день дождя, когда сверкали молнии и грохотал гром, все стояли, скучившись в палатке, а Вадим шатался по полю и пел: «Будет буря, мы поспорим...» Теперь он тоже иногда ходит спорить с бурей, но редко.

— Хорошо бы сейчас домой. Присесть в теплом углу, посмотреть телевизор... Вот почему здесь нет телевидения?

— Будет, — отвечает Гошка. — В том году обещают построить станцию.

— Будет, будет... А знаешь, хорошо бы пойти сейчас в ресторан. В Москве я после стипендии всегда ходил в «Арагви». Там бывают поэты, художники... Да что «Арагви»... Мне бы сейчас стакан газированной воды без сиропа. Ты не хотел бы газированной воды?

— Не знаю. — Гошка пожимает плечами. О газированной воде он просто не думал.

Вадим поднимается и выходит из палатки.

В стороне от палатки выстроились в ряд трактора и комбайны. Возле крайнего трактора возится Аркаша Марочкин. У него заедает сцепление. Пользуясь непогодой, Аркаша решил устранить неисправность.

Каждому поэту хочется, чтоб его слушали. Вадим подошел к Марочкину:

— Аркадий.

— Чего тебе?

— Как сцепление? Получается что-нибудь?

— А чего ж не получится. — Аркаша сплевывает сквозь зубы. — Я ж механик-водитель. Танки, бывало, по кусочкам разбирал. А трактор...

— Аркадий, а у меня и про трактора стихи есть. Хочешь, прочту?

Вадим бьется, что его не дослушают, и торопится:

Облака лиловые висели,
Польхали синие ветра...
Вдавливая гусеницы в землю,
Медленно катились трактора.

— Да-а... — Аркаша задумался, — «Вдавливая в землю...» Слышь, Вадим, сбегай к Степану, возьми у него ключ на двадцать два. Скажи, Аркадий просил.

Вот так все. Никто не понимает, никто слушать не хочет. Хоть бы Бородавка приехал, что ли. Вадим приподнимает полог палатки, просовывает внутрь голову:

— Терем-теремок, кто в тереме живет?

— Залази, а то дует, — хрипит из своего угла Микола.

24

В один из дождливых дней Степан Дорофеев, который выходил на улицу по своим делам, вдруг приоткрыл полог палатки и сказал:

— Там кто-то скачет.

— Шо ты мэлэш? — сказал Гурий Макарович.

— Ну посмотрите.

Кто мог тащиться по степи в такую пору, да еще верхом на лошади? Любопытство было настолько большим, что даже Микола выскочил из палатки, обмотав вокруг шеи серое полотенце. Он взгляделся пристально в скакавшего от разъезда всадника и удивился:

— Так то ж баба!

— Шо?

— Та ни шо. Баба, кажу.

Это была Лизка. Возле самой палатки она, откинувшись в седле, натянула повод. Лошадь косилась на людей, раздувала ноздри и перебирала тонкими в забрызганных чулках ногами.

— Аркаша! — Лизка спрыгнула с седла чуть ли не в руки любимого.

— Ну, чего ты, — сказал Аркаша, отступая. — Чего приехала?

— Соскучилась, — сказала Лизка, не обращая внимания на посторонних. С рукавов, с капюшона ее брезентового плаща стекала вода. — Ну, чего встал-то? Аль не рад? Веди в свою хату, — она презрительно скользнула взглядом по палатке.

В палатке вытряхнула из складок капюшона остатки дождя, достала из-под полы привязанный к пояску большой узел.

— Вот, — сказала Лизка, развязывая узел прямо у входа, — пирогов тебе напекла. Носки вот привезла теплые. Сама вязала, — подчеркнула она.

Они сели на Аркашину постель. Лизка сняла резиновые сапоги и поджала под себя ноги. Смущаясь взглядов товарищей, Аркаша нехотя жевал испеченный Лизкой пирог.

— Холодно тут у вас, — сказала Лизка.

— Холодно, — подтвердил Степан. — Привезла бы ты лучше милому одеяльце ватное или тулупчик. Знаешь, как говорится: сейчас бы ружьишко, тулупчик и... на печку.

Все засмеялись. Аркаша отложил полпирога в сторону, поднялся.

— Ну, может, ты поедешь? — сказал он почти ласково. — Погостила — и будет.

— Ну и хозяин, — покачала головой Лизка. — Сейчас гулять пойдем. — И потянула к себе сапог.

— Гулять? Дождь на дворе.

— А мне двадцать пять километров ехать — не дождь? Пойдем, не сахарный.

— Ну пойдем, — покорно согласился Аркаша.

— Иди, иди. Она тебя захомутаёт, — сказал ему вслед Степан, но тут же поперхнулся под колючим Лизкиным взглядом. — Ну и баба! — сказал он, когда она вышла.

Уезжала Лизка перед вечером, когда надвигались тяжелые дождливые сумерки. Она отвязала лошадь от палатки и неловко, по-бабьи, влезла в седло.

Гошка подошел к Лизке и спросил, не передавала ли ему чего-нибудь Санька.

— Нет, не передавала. Но-о! — Она замахнулась на жеребца кулаком, и тот вихрем понес ее по дороге.

25

На другой день по Поповке пронесся слух, что Аркаша Марочкин дал твердое согласие расписаться с Лизкой, как только закончится уборка. Узнала об этом и Тихоновна. И самое обидное было в том, что узнала она об этом через сторонних людей. К тому, что теперь дети не спрашивают родительского благословения и даже не советуются с родителями, она уже привыкла. Но хоть бы сказал! А то приходит выжившая из ума старуха Макогониха и говорит — так, мол, и так. Тихоновна целый день ходила по комнате как неприкаянная, а вечером, когда вышла встречать корову, увидела на улице Лизку.

— Зайди в хату, — приказала она Лизке. — Подожди меня. Я сейчас, только корову в лабаз загоню.

Лизка послушно зашла в дом и сидела там в полутьме, пока не вошла Тихоновна.

— Чего ж свет не включаешь? — сказала она. — Привыкай, хозяйкой будешь.

Щелкнул выключатель, и Лизка зажмурилась от яркого света. Тихоновна села на стул и долго смотрела в упор на Лизку, которая, потупив глаза, нервно перебирала подол шелкового платья. Потом встала, вынула из

печи закопченный казанок, налила в тарелку борща, поставила перед Лизкой:

— Ешь.

Сложив на груди руки, опять смотрела на будущую свою сноху. Лизка очень хотела есть, но, боясь показаться обжорой, ела медленно.

— Ты что ж лоб не крестишь? — сурово спросила Тихоновна.

Лизка бросила ложку и в замешательстве поднесла ко лбу сперва правую, потом левую, потом опять правую руку.

— Ладно, это я так, — сказала Тихоновна.

Лизка, оставив для приличия полтарелки борща, отложила в сторону ложку.

— Еще насыпать? — спросила Тихоновна.

— Нет, благодарю.

— Кашу есть будешь?

Лизка промолчала. Тихоновна наполнила тарелку гречневой кашей, бросила сверху кусок масла. Масло таяло и растекалось по миске желтым пятном. Каша пахла так аппетитно, что Лизка, позабыв уже о всяких приличиях, уплетала ее за обе щеки, громко чавкала и каждый раз вылизывала ложку.

«Эко жрет», — подумала Тихоновна и еле слышно спросила:

— Значит, вы уже про все договорились?

— А? — очнулась Лизка.

— Договорились, говорю, про все? — повысила голос Тихоновна.

— Ага, — испуганно сказала Лизка.

Тихоновна смотрела на Лизку и долго вздыхала, собираясь с мыслями.

— Ну вот что, Лизавета... — начала она. Она хотела сказать Лизке, что раз уж та окрутила ее единственного сына, раз она отняла его у матери, так чтоб берегла его, чтоб смотрела за ним. И много еще кой-чего хотела она сказать Лизке, но ничего не сказала и вдруг расплакалась. Плакала громко, хлюпая носом.

Лизка, перепуганная и растерянная, отодвинула миску и вышла из-за стола. Она не знала, что делать. То ли успокаивать, то ли уходить.

— Спасибочка вам на угощении, — чуть ли не шепотом сказала она.

Тихоновна подняла к ней заплаканное лицо, что-то

хотела ответить, но разрыдалась еще пуще и только махнула рукой.

Лизка пулей выскочила на улицу.

26

В дни дождей Гурий Макарович развлекал подчиненных по-своему: проводил по разным поводам собрания или читки газет, когда приходила почта. Почту привозили вместе с продуктами. Письма получали только шефы-горожане и Вадим. Колхозникам обычно получать было не от кого, да и сами они никому не писали.

Но вот однажды пришло письмо Гурию Макаровичу. Гальченко долго и удивленно рассматривал синий конверт с довольно странным адресом, где после названий области, района и колхоза было написано: «Полевой стан. Бригадиру копнителей». Обратного адреса не было, но на штемпеле значилось: «Москва».

Сначала Гальченко подумал, что, может быть, это письмо вовсе и не ему, но, придя к выводу, что больше на стане никаких бригадиров нет, решительно распечатал конверт.

— Гурий Макарович, шо там такое? — Микола подошел сзади и заглянул через плечо.

— Нэ лизь.

Он долго читал это письмо, и чем дольше читал, тем больше хмурился и, сдвинув шапку на лоб, скреб затылок черными пальцами. Потом встал и вышел из палатки. Видно, письмо это его сильно озадачило. Степан, сидевший у выхода, видел, как бригадир широкими шагами ходил взад-вперед возле палатки и бормотал что-то себе под нос, чего раньше за ним не наблюдалось.

Через несколько минут он вернулся и приказал коротко:

— Все в кучу!

— Чего, опять собрание? — спросил Брынза.

— Митинг. — Гурий Макарович подождал, пока все устроились, кто на чемоданах, кто на концах матрацев, кто просто на корточках. — Вот тут я получил письмо. Из Москвы. — Гурий Макарович выдержал многозначительную паузу и обвел всех задумчивым взглядом. — Но тут шось такэ напысано, чого я нияк нэ понимаю. Якась така ерунда... Може, вмисти розбэрэмось. Хто у

нас самый грамотный? Гошка, в тэбэ среднее образование — читай.

— «Уважаемый товарищ бригадир!

Я, пожалуй, не стала бы Вам писать, если бы не самое серьезное беспокойство за судьбу моего единственного сына.

Вчера я получила от него письмо, из которого узнала, что он два дня болел и с высокой температурой лежал на сырой соломе в дырявой палатке.

Меня уже не удивляет то, что разносторонне одаренный мальчик занимается работой, мягко выражаясь, не совсем интеллектуальной. Меня удивляет невнимательное и, если говорить прямо, бездушное отношение к моему сыну со стороны товарищей и с Вашей стороны в частности. Неужели нельзя было вызвать врача и обеспечить больному нормальный уход? Уж Вам-то следовало об этом побеспокоиться не только из простого человеколюбия (об этом я даже не говорю), но и потому, что Вас к этому обязывает положение руководителя и, как я понимаю, воспитателя своих подчиненных.

Безотносительно к своему сыну хочу Вам сказать что, на мой взгляд, человек, который пренебрег личным благополучием и всеми удобствами, с которыми было связано его пребывание в Москве, достоин всяческого уважения и внимания. Но не много можно сказать хорошего о людях, которые оставляют своего товарища в беде.

Если Вы пожилой человек и если у Вас есть дети...»

— Ну ладно, — прервал чтение Гурий Макарович. — Тут дальше про мэнэ. Неинтересно. — Заложив руки за спину, он заходил по палатке. — Вот я тут шось ничего нэ понимаю. Якась болезнь...

Впрочем, остальные этого тоже не понимали.

— Про кого це? — удивленно спросил Микола.

— Про кого? — Гурий Макарович сощурился. —

А про тэбэ.

— Про мэнэ? Та вы чи здурилы, чи шо? — Микола даже заспел от негодования.

— Ну а про кого ж? Бач, тут напысано насчет температуры. В кого была температура? В тэбэ. Значить, про тэбэ и напысано.

Микола засмеялся, и всем стало весело. Все тоже засмеялись.

— Шо смеешься? Тут ничего смешного нэма.

Микола хотел обидеться еще пуще прежнего, но Гурий Макарович незаметно подмигнул ему.

— Эх, Мыкола, на шо ж так матир волноваты? Ну хай в тэбэ температура, погани товариши — промовчи. Нэ все ж трэба матери пысать! А шо до нашей роботы, то як тут про нэи напысано? — Гурий Макарович заглянул в письмо. — Не-ин-тел-лектуальная? Це так. Робота у нас неинте... ну, в общем, нэ така, шо и казать. Но шо робыть? Все одно комусь надо и сиять хлиб и убирать. Вот, може, колы диты наши та внуки повырастають, вывчатся, словамы заграничными, як ты, Мыкола, будуть балакать, тоди... тоди, може, и жизнь друга будэ. Може, и так будэ, шо нажмэшь кнопку — посиялось, нажмэшь другу — убралось, а третю нажмэшь — так и булка в роти... З кремом там, чи з повыдлой... Но зараз такого нэма. Нэма. Вот и прыходыться нам в зэмлі отой колупаться. И робота у нас неинте, и сами мы неинте. В общем, гусь свыни нэ товариш.

с
м

27

Вадим сам не знал, почему он написал матери о болезни, которой не было. Просто хотелось, чтобы его пожалели, а на что жаловаться — сам толком не знал. Вот и написал первое, что пришло в голову. И как глупо все получилось.

После этого Вадим как-то отдалился от всех. Он не решался заговаривать с другими, и с ним тоже никто не заговаривал. Но однажды во время обычного вынужденного безделья Гурий Макарович его подозвал:

— Вадим, ты б рассказав шо-нэбудь.

— А что рассказывать?

— Ну як — шо рассказывать? Расскажи, як там жизнь в Москви. Шо там вообще хорошего?

— В Москве все хорошее.

— Чого ж там хорошего? Так же люды живут, як и тут.

— Ну, не так, — сказал Вадим. — Там совсем другие условия. Библиотеки, театры...

— А правда, что в Москве сигналов нету? — спросил Павло-баптист.

— Давно уж.

— Ну, а ежели я, к примеру, еду, а на улице свинья лежит?

— Пидожды ты со своей свынёй, — сказал Гурий Макарович, поморщившись. — Ты, Вадим, мне от шо скажи: в Москве лучше жить, чим тут, так? В тэбэ там своя квартира чи як?

— Своя.

— Ну а в мэнэ своя хата. Яка ж разныця?

— Ну как? У меня в квартире паровое отопление. Ванная...

— Хорошо.

— Уборная...

— Хорошо.

— Телефон.

— А на шо тоби телефон? Кому звонить?

— Ну, например, с товарищем мне надо поговорить.

— Так, хорошо. Ну а ще шо?

— Все, — сказал Вадим. — Хочу я в кино сходить — иду туда, куда мне хочется. Пешком не хожу. Сел в метро или в троллейбус и доехал куда надо. Такси, выставки, музеи — все есть в Москве.

— В общем, в Москви хорошо, а в Поповки погано, так? — спросил Гурий Макарович.

— Ну, я так не говорю... — замылся Вадим.

— Ну а шо, тут ничего такого нэма. Шо погано в Поповки, то погано, я и сам це могу сказать. От дывысь. Утром я встаю, трэба дров наколоть, пичку розтопыть, тут тоби дым, копоть, вся посуда в сажи. Нэ то шо газ. Ты його включив, и вин нэ дымыть, нэ коптыть. У нас такого нэма. Погано? Погано. В бани трэба помыться, сам за водой сходы, сам опять пичку розтопы, поки всё зробышь, так пóтом умышься. Тож погано. Та шо там казать! Другой раз ночью, извини за выражения, на двир сходыть трэба, та як згадаешь, шо бигты через огород, а на вульци холодно — витэр, мороз, а ще хуже — грязь, та думаешь: хай воно всё провалыться! Шуряк в мэнэ в Кайнарах живэ, було б метро, на метри б дохав, а то пишки хожу. Погано. Трэба Мыколу обматэрить, взяв бы трубочку: «Алло, Мыкола!» А то пока чэрэз усю Поповку пройдэшь, так и зло пропадае. Да. Ну и музеев у нас, конечно, нэма. Погано у нас в Поповки, так?

— Ну так, — неуверенно подтвердил Вадим.

— А вот сказалы б мэни зараз: «На тоби, Гальчен-

ко, в Москви квартиру из чотырех комнат, на тоби ванную, на тоби телефон», — ни за шо б нэ поихав. Ты Москву за шо любышь? За ванну та телефон. А шоб в Москви ничего этого нэ було, а було в Поповки?.. А я вот нэ знаю, за шо я Поповку люблю. Всэ наче тут погано, а никуды нэ поиду. Як бы тут Москву построили, то дило другое.

Гальченко помолчал. Вынул из-за уха оставленную «на после обеда» папиросу, помял ее в замасленных пальцах.

— А вообще, Вадим, я тоби вот шо скажу. Наша работа нэ для тэбэ, хочь обижайся, хочь нет. Нэпрывыкший ты до нэи. Мы-то тут с самого детства. Для нас хоть бы шо. А для тэбэ... В общем, тут председатель казав, Бородавку в контору беруть. Клуб без хозяина остається. Може пойдешь?

— Мне все равно, — сказал Вадим. — Я согласен.

28

На четвертый день после возвращения в Поповку Вадим вывесил в коридоре клуба новую стенгазету.

Вечером возле газеты собрались любопытные. Все читали внимательно и смеялись над карикатурами, особенно над той, где верхом на лошади, в буденновском шлеме и с шашкой на боку, был нарисован Петр Ермолаевич Пятница. Под карикатурой были такие стихи:

Чтоб вперед работа шла,
Чтоб назад не пятиться,
Переносит он дела
Со среды на пятницу.

Пятница, узнав об этом, приходил в клуб, смотрел и, хотя ничего не сказал, ушел расстроенный.

Когда люди не очень заняты, они не прочь развлечься чем-нибудь.

Читателей становилось все больше. Читатели обратили внимание и на другие стихи, подписи под которыми не было. Но все понимали, что это не Фан Тюльпан.

Аркаша Марочкин, приехавший со стана за продуктами, долго стоял возле газеты и беззвучно шевелил губами. Прочтя стихотворение, он повернулся к Лизке и заметил:

— Протаскивает.

Лизка понимающе сверкнула «фиксой».

Илья Бородавка сидел в бухгалтерии за своим старым, в чернильных пятнах столом и барабанил по нему пальцами, как будто играл на рояле. Илья был очень огорчен тем, что его ostrанили от клубной работы, и даже тем, что Вадим не поместил в газете ни одного из представленных им стихотворений. Илья дал себе слово не ходить в клуб и все-таки не выдерживал, несколько раз на дню появлялся в коридоре клуба. Стоя у входа, он ревниво следил за тем, как относятся читатели к творчеству нового заведующего. При этом он чувствовал себя до крайности неловко: в каждом взгляде (во всяком случае, так казалось Илье) сквозили жалость и насмешка. В каждом взгляде он читал: «Что же ты, Илья? Эх ты...»

Но, несмотря на все это, Илья, который был человеком справедливым, понимал, что должность заведующего клубом Вадиму подходит больше.

Вадим посрывал со стен клуба половину плакатов, и от этого ничего страшного не произошло, в клубе стало даже светлее.

Кроме того, Вадим возобновил занятия художественной самодеятельности. По вторникам и четвергам шли репетиции драматического и хореографического кружков. Но особое внимание Вадим уделял вокальным номерам. Ежедневно он репетировал с хором современные песни, а потом отдельно занимался с Санькой. Они оставались в клубе до позднего вечера, и до позднего вечера слышны были звуки рояля и приглушенный двойными стеклами Санькин голос. И по поводу этого ходили по деревне разные слухи. Однако толком никто ничего не знал.

29

— Саня! — осторожно позвали за окном.

Санька отвела занавеску и разглядела желтое от электрического света лицо Вадима.

— Тебе что? — шепотом удивилась она, выйдя к нему. Было около одиннадцати, и Санька уже постелила.

Вадим улыбался умудренно и горько, как человек, у которого есть что сказать.

— Пойдем в степь, — сказал он.

«Пойдем в степь!» Так никто не говорит. Степь была всюду, и по этой причине в нее никто никогда не ходил.

Но Саньке это понравилось, и она сказала:

— Пошли.

Вадим хотел идти мимо правления, но Санька побоялась, что кто-нибудь увидит их вдвоем и мало ли чего подумает.

— Пойдем здесь, — сказала она. — Мне здесь больше нравится.

И они пошли по узкой тропинке к реке.

Перешли по гулкому настилу моста. Было тихо. Мерцали звезды. Если наклониться к земле, можно было рассмотреть вдали чуть просветленную линию горизонта.

— «Пути господни неисповедимы», — с чувством сказал Вадим. Он шел и давился дымом папиросы, считая своим долгом защищать Саньку от комаров. Впрочем, комаров в этот вечер не было.

— Это заглавие? — несмело спросила Санька, ожидая услышать стихи.

Вадим задохнулся, закашлялся и замотал головой:

— Я говорю образно, ты извини. Понимаешь, Саня, мы часто не знаем точки своего назначения. Не щадим себя, жжем топливо, летим на красный свет. А потом, оказывается, нам надо в обратную сторону.

Санька вежливо промолчала. Это было не про нее и не про тех, кого она знала.

— Я уезжаю, — сказал Вадим и остановился, посмотрел на Саньку.

— Уезжаешь? А как же репетиция? — спросила Санька, подумав, что Вадим уезжает на стан.

— Репетиция провалилась, Саня. Представление кончилось — я уезжаю домой. Домой, в дом, в те самые четыре стены, которые могут стоять где угодно. Но мои четыре стены стоят в Москве. Я уезжаю в Москву. Ну, что ты молчишь? Дезертирство, да? Малодушие, да? Да, я тряпка. Слюнтяй! Не выдержал. Осточертело!

— Не кричи на меня, — обиделась Санька.

— Извини. — Вадим понизил голос. — Понимаешь, Саня, Поповка не по мне. И самое главное не то, что она мне не нужна, а то, что я ей не нужен. И стихи мои никому не нужны. Анатолий все время язвит. Аркадий Марочкин думает, что я кого-то протаскиваю. Один поклонник у меня остался — Илья Бородавка. Этот готов молиться на меня. Да что я оправдываюсь? Разве ты не хотела бы в Москву? Не хотела бы, скажи?

— Не знаю, — тихо сказала Санька.

— Не знаешь? А я знаю. Тебе смешно, когда я гово-

рю: «Точка моего назначения». Я так привык говорить. Так вот, точки нашего назначения совпадают. Ты тоже не нужна Поповке. Ты хорошо поешь, у тебя природные способности, а ты сидишь на своей паршивой стройке и камушки перебираешь. Ты же здесь пропадешь. Разве тебе не страшно?

Было тихо и звездно. Санька наклонилась к земле и увидела вдали чуть просветленную линию горизонта.

— Нет, мне не страшно, — сказала она. — Как все, так и я.

— Да, но это всё обыкновенные люди.

— А кто необыкновенный? По-моему, необыкновенных людей нет.

— Все зависит от точки зрения, — сказал Вадим. — Но ты подумай. Вот ты работаешь на стройке. Ты делаешь простую, но тяжелую работу, которую другой на твоём месте мог бы делать лучше. Эту работу может делать любой. А вот петь, как ты, может не каждый. Человека по-настоящему ценят тогда, когда он что-нибудь умеет делать лучше других. Даже если он занимается прыжками в высоту, от которых никому никакой пользы нет. И каждый должен поднимать планку до тех пор, пока окончательно не убедится, что ни на полсантиметра выше он уже не прыгнет.

— Ты опять говоришь образно? — вежливо спросила Санька.

— Да, я опять говорю образно. Я, наверно, всегда буду говорить образно и потому смешно. Даже в этом я донкихот. Я... Ты куда, Саня?

— Домой. Спать пора, — сказала Санька.

30

Так получилось, что с наступлением хорошей погоды Гошку отозвали со стана возить картофель из Поповки в Актабар. Первые две машины он отвез по накладным на какую-то овощную базу, а третью машину нагрузили картошкой для детского сада.

Тюлькин, закрывая основной склад, где хранились сало, масло, сахар и другие ценные продукты, сказал стоявшему рядом дяде Леше:

— Вот я тебя уже знаю досконально. Ведь небось опять ночью дрыхнуть будешь?

— А как же? — удивился дядя Леша. — Ночь для того человеку и дадена, чтобы спать. Кто ж ночью не спит? Филин разве.

— «Фи-илин». — Тюлькин протянул через отверстие в специальной фанерке два шнурка, залепил их пластилином и разровнял пластилин большим пальцем. — «Фи-илин», — повторил он, вдавливая в пластилин бронзовую печать. — Пломбу кто-нибудь сорвет, будет тебе филин. Склад не приму.

— Не сорвут. У меня вот соль. — Дядя Леша похлопал по висевшему за спиной ружью.

Тюлькин махнул на него рукой и пошел к машине.

— Я тоже поеду, — сказал он Гошке.

Завскладом всю дорогу острил, рассказывал «медицинские» анекдоты и вообще вел себя так, как будто между ним и Гошкой никогда ничего не происходило и они всегда были лучшими друзьями. Когда доехали до города, Тюлькин стал показывать, куда надо ехать.

— Вот сюда свернешь. Так. Теперь налево. Прямо. Вон видишь ворота? Это и есть детский сад.

Тюлькин вылез из машины и, разминая ноги, не спеша пошел в маленькую калиточку. Вскоре он вернулся с молодой полной женщиной.

— А мы думали, вы уж не приедете, — сказала женщина, отпирая ворота.

— Как — не приедем? Раз Тюлькин сказал — значит, точка.

Женщина отперла ворота. Тюлькин стал на подножку. Остановились у правой стороны дома. У крыльца высокий мужчина в голубой майке, охая и крикая, колот огромный поленья. Увидев машину, посадил в полено топор и не торопясь пошел навстречу.

— Чего ж поздно-то? — хмуро спросил он.

— Где ж поздно, Петя? У нас рабочий день еще не кончился.

Картошку носили по узкой крутой лесенке в сырой, пропахший плесенью подвал. Тюлькин покрутил носом.

— Смотри, сопреет она здесь.

— Не твоя печаль, — сказал Петя.

Потом он пригласил гостей в дом. Заведующая детсадом и ее муж занимали в доме две комнаты. В первой комнате было тесно от мебели. Слева стоял большой книжный шкаф.

— Все покупаешь книжечки, — усмехнулся Тюлькин.

— Читаем, — сказал хозяин и вышел из комнаты.

Вошла хозяйка и поставила на стол горячую сковороду с яичницей и картошкой. Следом за ней Петя внес две запотевшие бутылки и тарелку с огурцами. Хозяйка вынула из шкафчика три граненых стакана.

— Я пить не буду, — сказал Гошка.

— Чего это? — удивился хозяин. — Больной, что ли?

— Человек за рулем, — пояснил Тюлькин.

— Твое дело.

— В Бельгии придумали такие машины, — сказал Тюлькин, — что если от шофера водкой пахнет, она не едет.

— А если кто рядом с шофером сидит выпивший? — спросила хозяйка.

— Будем живы-здоровы, — перебил Петя глупые речи жены и поднял стакан.

— Дай бог не последнюю, — поддержал Тюлькин.

— Поехали, — заключил хозяин.

Тюлькин долго морщился и с ожесточением нюхал черную корку.

Гошка вышел на улицу. Он завел машину и, выехав за ворота, стал ждать. Уже стемнело. Небо было звездное, без луны. Посреди двора висела на столбе под эмалированной шапкой неяркая лампочка. Она освещала двор, угол сарая и крыльцо заведующей детсадом. В доме слышался шум. Тюлькин пытался спеть «Вот кто-то с горочки спустился», но громкий голос хозяина каждый раз перебивал его. «Так они до утра пропоют», — подумал Гошка. Он придавил ладонью кнопку сигнала. Сигнал был слабый, хриплый, и в доме его, вероятно, не слышали. Гошка хотел было идти за Тюлькиным, но в это время дверь распахнулась и Тюлькин вместе с хозяином вышли на крыльцо. Тюлькина шатало из стороны в сторону. Хозяин тоже изрядно выпил, однако равновесие сохранял. Он даже поддерживал гостя, помогая ему сойти с крыльца. Тюлькин поочередно спускал со ступенек то левую, то правую ногу и молол несуразное.

— Кто Тюлькин? — вопрошал он. — Ты Тюлькин?

— Ты Тюлькин, — успокаивал гостя хозяин.

— Ну а раз я Тюлькин, то скажи, друг я тебе или нет? Скажи, Петя, друг тебе Тюлькин или портянка?

— Друг, друг, — уверял Петя, но целовать себя не давал.

Они подошли к машине. Тюлькин сел на подножку и хотел петь песни.

— Тише, Коля, — сказал хозяин, — там на углу милиция.

— Милиция! — обрадовался Тюлькин. — А что мне милиция? Я сам себе милиция.

— Оно, конечно, так, — согласился хозяин. — Но чтоб не было неприятностей.

Он наклонился к Тюлькину и что-то сказал ему на ухо, от чего тот как будто на миг протрезвел и полез в кабину.

— Гошка, ты здесь?

— Здесь, здесь он, — сказал хозяин. — Ты смотри, Георгий, не вырони его по дороге.

— Никуда не денется, — сказал Гошка, выжимая сцепление.

Фары с трудом разрывали густой сыроватый воздух, и дорога черной лентой ложилась под колеса. По обе стороны ее стояла непроглядная темнота, только изредка на фоне темного неба вырастали призрачные конические очертания сопки. Далеко в степи помигивали огоньки. Это работали комбайны.

Через несколько километров Гошка свернул в сторону и погнал машину по сырой траве, по едва заметному автомобильному следу. След шел по небольшому склону, машина все время кренилась влево, и Тюлькин валился на Гошку, мешая править. Гошка время от времени отталкивал Тюлькина плечом, но он был тяжелый, не давался и хватался за рычаг скорости. Но потом дорога сошла со склона, и Тюлькин стал валиться вправо. «Откроет дверцу — вывалится», — подумал Гошка. Он затормозил и, обойдя машину спереди, закрыл дверцу на ключ. Тюлькин проснулся.

— Гошка, ты?

— Я.

— А... а куда... ты меня везешь?

— В Поповку.

— В Поповку? А... поворачивай обратно, — он схватился за руль.

— Пусти!

— Поворачивай. У меня... в городе... баба осталась. Я у ней ночевать хочу. Поворачивай.

— Я тебе сейчас как повернусь, — сказал Гошка. — Сиди смирно.

Тюлькин отодвинулся, посмотрел на Гошку и вдруг захохотал:

— Опять по... по морде дашь, опять! Ой, не могу! — стонал Тюлькин. — Как ты меня тогда двинул. Ой, смешно-то! Слушай, — сказал он, перестав смеяться, — а это-то, он хитрый. На сотню меня надул.

— Кто надул? На какую сотню?

— А ничего... ничего... — Тюлькин помолчал. — Слышишь, Гошка, а баба-то твоя, Санька, спуталась с этим... с Вадимом.

— Что-о? — Гошка затормозил. — Ты что, пешком хочешь идти?

Тюлькин испуганно отодвинулся в угол.

— Да я чего... Я ничего, — забормотал он как сквозь сон. — Вся деревня знает. Кого хочешь спроси...

— Заткнись!

Высадив Тюлькина возле его калитки, Гошка поехал домой и по дороге вспомнил бессвязные слова Тюлькина о каких-то деньгах. Какие деньги? И вдруг понял: картошка, которую они отвезли в город, не для детского сада, Тюлькин продал эту картошку. Гошка резко развернул машину и остановил ее возле низкого заборчика. За заборчиком светилось окно. За окном сидел Анатолий.

Гошка постучал.

— Гошка?! Ты чего? — Анатолий открыл окно.

— Давай сюда.

— Сейчас обуюсь.

Он вышел в сапогах и в нижнем белье.

Потом они долго разговаривали в кабине. Гошка рассказал ему о Тюлькине и картошке. Анатолий посоветовал Гошке завтра же пойти к председателю.

— А то мало ли чего! Втянет тебя Тюлькин в какую-нибудь историю. — Анатолий открыл дверцу.

— Подожди. Понимаешь... Мне Тюлькин про Саньку что-то наговорил. Врет, конечно. Но все-таки...

Анатолий ответил не сразу:

— Знаешь, Гошка... Я тебе не хотел говорить... Не врет Тюлькин. Санька уезжает.

— Уезжает? Куда?

— В Москву за песнями.

А дело было так.

О своем разговоре с Вадимом Санька рассказала Лизке. Голова Лизки была занята мыслями о предстоящем замужестве, и Лизка, не разобравшись толком, решила, что Санька уезжает с Вадимом учиться на артистку. Об этой новости Лизка рассказала Полине Тюлькиной, та передала это Пелагее Бородавке, Пелагея — Яковлевне, а той только скажи!

Яковлевна стояла у колодца и, размахивая пустым ведром, говорила:

— Пишла я утречком корову выгонять. Ще остановылась, думаю: чи Иван до Каражар погонэ стадо, чи до Кайнарив. Дывлюсь: Санька со стэпу йдэ, а за нэю Вадим...

Бабы, окружив Яковлевну, молча вздыхали и осуждающе покачивали закутанными в платки головами: нехорошо.

Через два дня все в Поповке знали, что Санька с Вадимом уезжают в Москву.

Сама Санька узнала об этом позже всех.

Так вот почему Гошка не здоровается с ней! Вот почему, когда она пытается заговорить с ним, он молча проходит мимо!

Что же делать? Посоветоваться с Лизкой? Но что может посоветовать Лизка? «Я ему докажу», — подумала Санька и направилась к дому Яковлевны. Что она ему докажет и как докажет — Санька пока не знала.

Гошка стоял на улице возле калитки и курил. Капля упала на кончик сигареты и потушила ее. Пошел дождь.

Гошка вернулся в хату, одетый упал на кровать и, не снимая сапог, положил ноги на табуретку. Яковлевна, вытаскивая из печки казанок с борщом, посмотрела на Гошку неодобрительно и что-то проворчала себе под нос.

— Яковлевна, — попросил Гошка, — сбегай к продавщице, принеси пол-литра.

— Пол-литра? — удивилась Яковлевна и поставила казанок обратно в печку. Она долго думала, что бы это значило, потом сказала нерешительно: — Так вона ж тэ-

пэр дома нэ продае. Як ото рэвизия була.. Ще прыизжав такой товстючий мужчина...

— Яковлевна, сходи. А я тебе завтра сено перевезу.

— Зараз, — тут же согласилась Яковлевна. Закутавшись в платок, она вышла из хаты.

До дому продавщицы было ходу не больше пяти минут. Пять туда, пять назад, пять на разговоры. Прошло пятнадцать минут — Яковлевны не было.

В дверь постучали. Гошка не пошевелился. Дверь закрипела, и через зеркало он увидел, что в комнату просунулась голова Саньки, покрытая мокрой газетой.

— Можно?

Гошка вытащил из кармана сигарету и спички. Закурил.

— Гоша, мне надо с тобой поговорить.

— Поговорить? — Он стряхнул пепел. — Поговорить можно. Сейчас как раз такое время: дождь, делать нечего.

— Гошка, я знаю, что обо мне рассказывают...

В это время вошла Яковлевна. Покосившись на Саньку, она поставила бутылку на стол и положила сдачу — рубль с мелочью.

— Вот видишь, Яковлевна, я же знал, что у меня будут гости. — Гошка встал, подошел к буфету. — Так что про тебя рассказывают?

Санька посмотрела на Яковлевну и промолчала. Яковлевна дипломатично удалилась, однако не очень далеко, чтобы не пропустить чего-нибудь в этом любопытном разговоре.

Гошка достал два стакана, тарелку с солеными огурцами, кусок хлеба.

— Садись, пить будем.

Санька стояла.

— Ах да, ты не пьешь. Ну тогда я пить буду.

Он поднес стакан ко рту. Запах водки ударил в нос. Гошка поморщился и хотел поставить стакан, но Санька стояла рядом. Гошка задержал дыхание и выпил всю водку залпом.

— Значит, поговорить? Это интересно. Правда, поздно уже. Спать чего-то хочется, — Гошка потянулся. — Может, в другой раз, а? Или лучше так: ты мне напишешь письмо, я тебе отвечу, будем переписываться.

— Значит, ты не хочешь со мной говорить? — Глаза

Саньки были полны слез. Она рванулась к дверям, но тут же остановилась. — Я ухожу, — тихо сказала она.

Гошка, не оборачиваясь, ткнул вилкой в огурец.

— Я ухожу, — нерешительно повторила Санька.

— Ах, да... Тебя проводить? Желаю удачи. Заходи как-нибудь еще.

Выскочив из комнаты, Санька изо всей силы хлопнула дверь. Гошка долго смотрел на дверь, потом подошел к кровати и, уткнувшись в подушку, заплакал тихо и беспомощно, как плачут больные дети.

Яковлевна, изумленная, постояла в дверях, потом на цыпочках подошла к столу и унесла недопитую водку в буфет.

На другой день Санька не вышла на работу. Не дождавшись ее, Лизка решила зайти к ней домой, узнать, в чем дело. Посреди комнаты на табуретке стоял раскрытый чемодан. Санька укладывала вещи.

— Ты чего это? — спросила Лизка.

— Что?

— Ну вот это. — Лизка показала глазами на чемодан. — Уезжаешь, что ли?

— Уезжаю, — хмуро сказала Санька.

— Значит, едешь? — Лизка вздохнула. — С Вадимом, значит?

— А хоть бы и так, — не оборачиваясь, сказала Санька. — Тебе-то что?

33

На общем собрании Тюлькин признался, что продал машину картошки спекулянту из города. Но, сказал Тюлькин, это было с ним в первый раз и он возместит колхозу стоимость проданной картошки. Ему поверили и решили дело в суд не передавать. На собрании решено было в ближайшие дни провести на складе ревизию.

Когда комиссия, выделенная для этой цели, подошла к складу, оказалось, что на дверях нет пломбы. Очевидно, ее сорвал кто-то ночью во время дежурства дяди Леша. Тюлькин принимать склад отказался. Дядя Леша переминался с ноги на ногу и, время от времени поправляя висевшее за спиной ружье, растерянно хлопал покрасневшими веками.

Часа через два приехали в Поповку два милиционе-

ра с собакой. Синяя, с красной полосой машина стояла возле правления. Пожилой старшина-казак разговаривал с председателем. Молоденький, с черными усиками сержант держал овчарку на поводке и охотно рассказывал:

— Ведь это собака ученая. Полтора года на курсах была. Кого хошь поймают.

— А мясо ей дать — будет есть? — спросил Аркаша Марочкин.

— Что ты! — Милиционер снисходительно посмотрел на Аркашу. — Да ведь она ученая. У ей и медаль по этому делу есть.

— А если конфету? — спросил Анатолий. — Будет?

— Нипочем не будет. Тоже сказал — конфете-ту.

Видно, сержант не терпел невежества.

Анатолий вынул из кармана шоколадку и, сняв обертку, бросил конфету собаке. Собака, лязгнув зубами, поймала ее на лету.

— Цыц! — крикнул милиционер, но было уже поздно. Собака благодарными глазами смотрела на Анатолия.

Старшина, кончив разговаривать с председателем, подошел к сержанту и взял из его рук поводок. Он подвел собаку к дверям. Обнюхав дверь, собака бросилась в поле. Держась за поводок, старшина неуклюже бежал за ней.

Возле склада собирался народ. Люди насмешливо смотрели, как милиционер с собакой кружит по полю, а когда они повернули назад, Анатолий сказал сержанту:

— Ученая! Так и я бегать умею.

Сержант промолчал. Старшина и собака вернулись. И вдруг неожиданно для всех собака бросилась на Тюлькина. Старшина оттянул ее к себе, и быстро надев намордник, снова отпустил. Собака уперлась передними лапами Тюлькину в грудь, рычала и даже через намордник пыталась ухватить его за горло.

— Ты срывал пломбу? — грозно спросил запыхавшийся старшина.

— Я, — бледнея, признался Тюлькин.

Его посадили в машину.

— Он, понимаешь, зря признался, — пояснил молоденький милиционер, запирая снаружи дверцу. — Собака так и так должна была на него броситься. Ставил-то пломбу он.

Анатолий и Гошка шли по берегу Ишима. Дул холодный, порывистый ветер. Возле моста, стоя на большом плоском камне, голый по пояс, умывался Вадим. Он изображал из себя закаленного человека.

— Слушай, — сказал Гошке Анатолий, — почему бы тебе не дать этому, который в шахте потел, по шее?

— Зачем?

— За Саньку. Или просто из любопытства. Посмотреть, как это ему понравится. Надо ж ему знать, что иногда можно получить по шее. Пойдем? Я помогу.

— Да нет уж, не надо.

— Ну тогда я пойду один.

— Как хочешь. — Гошка повернул к дому.

Когда Анатолий подошел к мосту, Вадим уже умылся и растирал загорелую грудь мохнатым полотенцем. Анатолий подошел ближе.

— Приветствую тебя, пустынный уголок, — сказал он Вадиму.

— Привет.

— Ну как жизнь?

— Хорошо. — Вадим поежился и накинул полотенце на плечи. Кисточки бахромы затрепетали на его закаленной груди. — Ветер.

— Ничего, мне не холодно, — успокоил его Анатолий и застегнул верхнюю пуговицу телогрейки. — Значит, уезжаешь?

— Уезжаю, — сказал Вадим и сделал шаг в сторону дороги. — Извини.

— Ничего, я не тороплюсь, — сказал Анатолий, загроживая дорогу, — приятно иногда поговорить с образованным человеком. Между прочим, я сейчас советовался с Гошкой, дать тебе по шее или не надо. Мы решили, что один раз можно.

— Да? — Щеки Вадима стали принимать зеленоватый оттенок, но сам он держался довольно спокойно. — За что, если не секрет?

— Не секрет, — сказал Анатолий. — Ты что девке мозги крутишь? Куда она поедет? Что ее там ждет?

— Да я разве ее заставляю? Я ей дал совет, и ее личное дело, выполнять его или нет. По-моему...

— Ну что по-твоему? Сам не можешь здесь жить, так другим не мешай. Зачем ты сюда приехал?

Вадим задумался.

— Ну, видишь ли... мне кажется... Я приехал сюда... чтобы делать здесь то, что все. И ты, и я, и Гошка. Все мы здесь делали одно общее дело, и никакой разницы в этом между нами нет.

— Есть разница, Вадим, — сказал Анатолий. — Разница в том, что ты приехал сюда опыт получать, а мы здесь живем. Понял? — Неожиданно для себя самого он повысил голос. — Ты думаешь, я не знаю, как ты делал это общее дело? Я и про письмо знаю.

— С чем тебя и поздравляю. — Вадим криво улыбнулся.

Анатолий подступил ближе к Вадиму.

— Слушай, ты... — сказал он ему. — Я тебе не Гошка. Я больной, я нервный, у меня справка есть.

Вадим что-то хотел сказать, но в нужных случаях он умел быть благоразумным.

— В другой раз приходи умыться в тулупе! — крикнул вслед ему Анатолий. — Поговорим.

35

В воскресенье утром Гошка сидел у окна и видел, как к правлению подъехала машина. Это Анатолий собрался везти колхозников на базар. Со всех сторон с мешками и кошелками к машине торопились женщины. Потом подошли Санька и Вадим. Вадим сначала забросил в кузов чемоданы, а потом посадил Саньку. Прибежала Лизка. Она стояла возле машины, что-то говорила Саньке и время от времени проводила рукавом по лицу — должно быть, плакала.

Когда машина тронулась, Лизка долго еще стояла на дороге и махала рукой.

В это время в комнату вошла Яковлевна.

— Там шо робыться, шо робыться, — сказала она, стаскивая с головы платок. — Все вэщи опысують. Стоить Сорока...

— Что? Чьи вещи?

— Та я ж кажу: Тюлькиных. Стоить Сорока, всэ пыше, пыше. Всэ, каже, конфискуемо. Будэм, каже...

Гошка схватил в руки бушлат, поискал глазами шапку, но не найдя ее, махнул рукой и выбежал на улицу.

Возле хаты Тюлькина стоял самосвал Павла-бапти-

ста. Сам Павло в надвинутой на уши кожаной фуражке сидел в кабине и смотрел, как двое колхозников пытались втащить в кузов объемистый и тяжелый пружинный матрац.

— Осторожней, а то борт пошкрябаете! — Павло высунулся из кабины и еще глубже натянул на голову фуражку.

Гошке попался навстречу Микола, который вытаскивал спинки от кровати. В хате было еще несколько колхозников во главе с Сорокой. Сорока, раскрыв на подоконнике ученическую тетрадку, писал толстой авторучкой: «Опись имущества гр. Тюлькина Н. А.» Ручка писала плохо, Сорока встряхивал ее, разбрызгивая по крашеному полу зеленые чернила.

В соседней комнате безнадежно голосили Макогониха и Полина. Гошка подскочил к Сороке:

— Ты что делаешь? Зачем это?

— А я не знаю, — флегматично ответил Сорока. — Мне что сказано, то я и делаю.

Услыхав Гошкин голос, из соседней комнаты выскочила Полина. Она была в одной рубашке, распатланная. От злости Полина даже плакать перестала. Виновником всего она почему-то считала Гошку.

— Ага, прыйшов! — закричала она, раздувая ноздри и нелепо размахивая руками. — Прыйшов, да? Выслужився? На вот тебе! — Гошке в руки полетело зеленое плиссированное платье. — Може, ще шо-нэбудь визьмэш? Може, шифанер тебе дадут?

Гошка держал в руках легкое платье и смотрел, как бьется на покрасневшей шее Полины голубая жилка. Потом неожиданно сорвался с места и, швырнув в сторону платье, бросился к выходу.

Петр Ермолаевич Пятница болел. Возле кровати на стуле лежали какие-то порошки, стоял стакан воды. На спинке стула висел черный с потертым воротником пиджак. На левом борту пиджака — орден Красного Знамени с облупившейся местами эмалью.

— Лежите?! — закричал Гошка, врываясь в комнату. — Там у людей вещи описывают, а вы лежите и ничего не знаете!

— Погоди, погоди, не кричи, — поднимаясь на подушке, сказал Пятница. — Во-первых, на больных и старых не кричат. Во-вторых, я все знаю, и нечего паниковать.

— Знаете?.. — Гошка растерялся, посмотрел на вспо-

тевшую лысину председателя, на пиджак, на облупившийся орден. — Как же так, Петр Ермолаевич? — совсем тихо спросил он. — Знаете и лежите!

— Ты, Георгий, не смотри на меня так, — сказал Пятница, опуская глаза. — Тут дело серьезное. Я звонил в район. Говорил со следователем. Понимаешь, Тюлькин сам признался, что наворовал в колхозе тысяч на пятьдесят. Следователь говорит, что по суду вещи все равно конфискуют. Вот я и решил описать все это, пока Полина не припрятала.

— Петр Ермолаевич, а разве семья виновата, что Тюлькин — вор? Разве они должны за него отвечать?

— Ну, тут трудно сказать, кто за кого отвечает. Тюлькин ведь деньги домой приносил.

— Какие деньги он приносил? Вы ведь сами знаете, что у него баба была в городе. Да и пил он.

— Ну ладно, Яровой, — рассердился председатель. Нечего нам тут с тобой антимионии разводить. Я знаю одно — раз человек украл, с него надо получить. Вот так.

— Ну, как же...

— Не знаю, Яровой, ничего не знаю. На то есть законы, которые все мы должны выполнять.

Гошка посмотрел председателю в глаза, повернулся и, сгорбившись, пошел к выходу. Он уже взялся за ручку двери, но остановился:

— Петр Ермолаевич!

— Да?

— Петр Ермолаевич! — Гошка вернулся. — Вот вы часто рассказываете про Первую Конную. А если бы там так делали?

Пятница приподнялся в постели.

— Ты, Георгий, мне в душу не лезь, — сказал он хмуро. — Тоже заладил: в Первой Конной, в Первой Конной. Много ты понимаешь. Молод еще. Глуп.

Гошка ничего не ответил и опять направился к выходу.

— Погоди, — сказал Пятница.

Гошка остановился.

— Пойди-ка сюда. — Председатель посмотрел ему в глаза. — А может, ты и не глуп. Может, это я... не понимаю чего-то. Чего-то путается в голове... Старее, что ли... Ладно, Георгий, сейчас пойдем разберемся.

Пятница взял со стула брюки и просунул в них белые худые ноги.

Всю ночь шел снег. Но никто этого не знал. Люди спали, и снились им разные сны. А утром проснулись, выглянули в окошки и увидели — первый снег.

Утром прибежал Анатолий. В зимней шапке, с фотоаппаратом через плечо.

— Гошка, вставай! Пойдем фотографироваться.

Он тормозил Гошку до тех пор, пока тот не поднялся. Достал из шкафа тщательно отутюженный костюм. Анатолий нетерпеливо ожидал, пока Гошка оденется.

— Да кто ж так галстук повязывает! В Москве сейчас тонкие узлы носят. Ну чего ты опять хмуришься? Подумаешь — уехала девка. Ну и уехала, — другую найдешь. Сама ведь она виновата.

— Сама... А знаешь, что мне Лизка вчера сказала?.. Все это брехня. Ничего у Саньки с Вадимом не было. И вообще она не с Вадимом уехала, а в свой город, к родным.

Они вышли на улицу. Все было в снегу — поля, крыши, стога сена.

Фотографировали друг друга сначала у речки, потом возле мельницы, напоследок дома.

А вечером пошли они в клуб. В клубе играла радиола, кружились пары. Илья Бородавка сидел один в библистке и подбирал пластинки. Вступив в прежнюю должность, Илья снова задвинул в угол рояль и положил на крышку табличку «Руками не трогать». Но больше ничего менять не стал. Илья понимал, что сравнения с Вадимом ему не выдержать, и все-таки был несказанно обрадован тем, что клуб снова в его распоряжении. Кроме того, была у Ильи еще одна радость, которой он тут же поспешил поделиться с Гошкой:

— Слышь, Гошка, Пелагея-то моя ездила в город. А врач ей сказал: «Вы, говорит, на втором месяцу». На втором месяцу — повторил Илья и кашлянул в кулак, должно быть от смущения.

Они снова вернулись в клуб и долго смотрели на танцующих. Аркаша Марочкин, одетый в новенькое полупальто, кружил покрасневшую от счастья Лизку. Только позавчера они расписались, и на заседании правления было решено дать им полдома. Правда, Лизка хотела получить целый дом, но из этого ничего не вышло.

В перерыве между двумя танцами Лизка подошла к Гошке:

— Гошка, председатель сказал, что ты завтра со мной в город поедешь. Там гардеробы по тыще двести я видела.

— Ладно, — сказал Гошка, — съездим.

— Ну вот и хорошо, — обрадовалась Лизка. — Значит, прямо утречком и подъезжай. Четвертый дом от краю.

— Знаю, — сказал Гошка и подошел к Анатолию: — Пойдем домой.

— Побудем еще немного.

— Да чего тут делать? Пошли.

Вышли на улицу. Было совсем темно. Сквозь разрывы в облаках редкими кучками млели звезды. Гошка включил фонарик, и по снегу запрыгал широкий, едва заметный желтый круг.

— Надо сменить батарейку, — сказал Анатолий.

Гошка не ответил. Они шли, и каждый думал о своем.

— Ты, Гошка, я думаю, смог бы, — неожиданно сказал Анатолий.

— Что — смог бы?

— Подвиг совершить.

— Подвиг? Нет, наверно, не смог бы. — Гошка вспомнил, что когда-то об этом же его спрашивала Санька. — Где уж, — вздохнул он. — Даже с Санькой быть человеком не смог. А тут...

Возле дома Ильи Бородавки они попрощались, и Гошка один пошел домой.

— Стой! Кто идет? — грозно окликнули его возле склада.

Дядя Леша стоял у самых дверей и держал ружье наготове.

— Это я, дядя Леша, — сказал Гошка, подходя. — Стоишь?

— Стою, — неохотно сказал дядя Леша. — При блембе стою.

— Я около тебя посижу здесь, ладно?

Дядя Леша заколебался, но отказать не посмел:

— Посиди, чего уж.

Гошка смахнул со ступеньки снежок и сел.

— Слухай, Гошка, — нарушил молчание сторож, — вот если баба моя в пятьдесят годов работу бросила, пенсию ей будут платить? Ты не узнавал?

— Не узнавал, — сказал Гошка. — Дядя Леша, от тебя Яковлевна никогда не уходила?

— Уходила? Как это — уходила?

— Ну, может, ты ее обидел когда.

— Обидел? Зачем мне ее обижать? Ну бывало, конечно, в молодости, побьешь по пьяному делу, а чтоб обижать — нет, не обижал я ее.

— Ну ладно. — Гошка встал. — Пойду спать.

37

Основные работы в колхозе давно закончились, но на току еще шумели автопогрузчики и зернопульты. Колхозники счищали с буртов пшеницы тонкий слой снега и грузили зерно на машины.

Прямо с элеватора Гошка подъехал к хозяйственному магазину, где его ожидали Лизка и Аркадий. Они купили только шифоньер, а диван, который продавался в магазине, Лизке не понравился: он был без зеркала. А еще Лизка купила на базаре матерчатый коврик, на котором были изображены непроходимые джунгли и полсатый тигр с оскаленной пастью. Лизка показала коврик Гошке.

— Ничего. Хорошо бы еще сюда лебедя, — пошутил Гошка.

— Так тут же тигра. Она его съест. Картины понимать надо, — укоризненно заметила Лизка. — Слышь, Гоша, а я тут на почту ходила...

— Ну и что?

— Да ничего. Письмо от Саньки получила.

— Письмо? Что ж она пишет? — Гошке хотелось показать, что письмо его мало интересует, но это ему не удалось.

— Чего пишет-то? Да так... ничего особенного. Ребят, говорит, у нас много, и все больше летчики да инженера. — Лизка посмотрела на Гошку и пожалела. — Ладно, это я так просто, для шутки. Ты бы ей написал письмо — может, вернется. На вот адрес.

Лизка оторвала нижнюю часть конверта и подала Гошке. Гошка положил адрес в карман гимнастерки. Потом он открыл задний борт и влез в кузов, а Аркаша подавал ему шифоньер снизу. Шифоньер был тяжелый, ду-

бовый, и Аркаша никак не мог его осилить. Лизка, скрестив руки на груди, стояла в стороне и командовала:

— Да ты его споднизу, споднизу бери!

— Ты лучше подсобила б, — хмуро заметил Аркадий.

— Мне нельзя тяжелое подымать. Я женщина, — сказала Лизка.

Когда шкаф был погружен, Гошка получил последние указания:

— Гошка, ты там это... разгрузишь с кем-нибудь, а мы тут еще походим по магазинам.

Лизка взяла Аркашу под руку и повела по улице.

Гошка вынул из кармана обрывок конверта и еще раз посмотрел на адрес, который был написан Санькиной рукой. Значит, она и правда ни в какую Москву не поехала. Может, еще вернется...

Было тепло. Таяло. Следы автомобильных колес пожелтели. Гошка остановил машину возле дорожного щита, что стоял на обочине, и, подойдя к нему, долго смотрел на прямые крупные буквы, которыми было написано одно слово:

«П О П О В К А»

Потом нашарил в кармане угловатый осколок мела и написал внизу:

«МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ. Г. ЯРОВОЙ»

Впереди послышался шум моторов. Гошка посмотрел на свою надпись и стер ее рукавом. Шум нарастал. По дороге в сторону Актабара шли машины, груженные хлебом.

ДВА ТОВАРИЦА

Повесть



В субботний день после работы я получил повестку и уже во вторник, совершенно голый, стоял посреди актового зала педагогического института, где мы, призывники сорок такого-то года рождения, проходили медицинскую комиссию.

За окном было сыро и пасмурно. Порывистый ветер трепал деревья и раскачивал форточку, которая дергалась и скрипела, как бы напоминая о приближении осени.

Очередная врачиха, худая, как жердь, черная, похожая на цыганку, хриплым, прокуренным голосом заставляла меня присесть, повернуться, нагнуться и брезгливо дотрагивалась до моего посиневшего, покрытого «гусиной кожей» тела рукой, обтянутой резиновой желтой перчаткой вроде тех, какими пользуются электрики, имеющие дело с проводами высокого напряжения.

Наконец и эта процедура была закончена, и мне разрешили предстать перед главными членами комиссии, заседавшими за длинным, ничем не покрытым черным столом, на правой ножке которого блестела жестяная блямба с выбитым на ней инвентарным номером.

Их было трое: маленький щуплый старичок в белом халате, белой шапочке, из-под которой вылезали такие же белые волосы, полная жен-



щина, тоже в халате и в шапочке, и молодой майор с золотыми зубами, с красными просветами на зеленых погонах.

Маленький старичок задумчиво поглаживал мизинцем свои коротко подстриженные усики, смотрел в пространство мимо меня, и взгляд его не выражал ничего, кроме невыносимой скуки много прожившего и много повидавшего за свою жизнь человека. С тех пор как он впервые надел халат, перед его взором прошли тысячи, а может быть, десятки тысяч голых людей всех возрастов и рангов, и все они, в сущности, мало чем отличались друг от друга. Он мог под любой одеждой распознать голого человека, поэтому все, что происходило сегодня в этом большом и холодном зале, мало интересовало его.

Другое дело майор. Он смотрел весело на меня, на старичка, на полную врачиху, на всех остальных врачей и на моих товарищей, которые тряслись от холода перед этими врачами. И весь его цветущий веселый вид говорил, что майор — оптимист. В конце концов одни и те же вещи можно видеть по-разному, все зависит от точки зрения. Можно смотреть на лужу и видеть лужу, а можно смотреть на лужу и видеть звезды, которые в ней отражаются. Человек-то, конечно, гол, но если при этом он будет неуклонно соблюдать воинскую дисциплину, выполнять требования уставов, приказы вышестоящих начальников и постоянно совершенствовать свое воинское мастерство, то сможет стать отличником боевой и политической подготовки, ведь отличники в конце концов тоже голые люди.

Майор только поинтересовался:

— Что это у тебя под левым глазом?

— В темноте на что-то наткнулся, — сказал я.

— На кулак? — спросил майор и подмигнул мне, довольный своей догадливостью.

Что касается женщины, сидевшей между старичком и майором, то она, по-моему, ни о чем таком вовсе не думала и каждый голый индивидуум интересовал ее только в определенном смысле: годен он или не годен к строевой службе.

— Годен к строевой, — сказала она и тут же, потеряв ко мне интерес, перевела взгляд на следующего по очереди, который мелко постукивал зубами у моего затылка.

Майор отметил что-то на лежавшем перед ним листке бумаги и протянул мне повестку:

— Отдашь на завод как основание для расчета. Два дня на расчет, два — на пропой, один — лечить голову после пьянки, в понедельник — отправка. Все. — Майор формулировал свои мысли кратко и четко.

Я пошел в угол, где лежали на скамейке мои вещи, и поспешно натянул на себя холодное белье и все остальное, кроме плаща — плащ я надел в коридоре.

В коридоре шла совершенно иная жизнь, не похожая на ту, что осталась за дверью. На подоконнике, поставив на батарею парового отопления ноги в забрызганных грязью желтых ботинках, сидел мой бывший друг Толик, рослый парень в синей «болонье», с рыжей челкой, вышедшей из-под кепки. Он был, как всегда, в центре внимания.

Многочисленные зрители, обступив Толика, торопливо и дружно докуривали папиросы, а потом отдавали ему. Собрав штук десять или больше окурков, Толик аккуратно оборвал изжеванные мундштуки, а остальное высыпал в широко разинутый рот.

Все восхищенно замерли. Парень в кожаной куртке нагнулся и смотрел Толику прямо в рот, а другой парень, в желтом плаще, присел на корточки и смотрел на Толика снизу. Толик трудолюбиво жевал окурки, они шипели у него во рту и полыхали бледными искрами. Потом он сделал глотательное движение, опять широко раскрыл рот, в нем ничего не было, только язык, зубы и десны почернели от пепла. Наступила минута молчания.

— Потрясающе! — не выдержал парень в желтом плаще. — Первый раз вижу живого человека, который жрет горящие окурки. И не горячо?

— Ничего, — скромно сказал Толик, вытирая платком почерневшие губы, — я привык.

— А ты керосин пить умеешь? — спросил парень в кожаной куртке.

— Не знаю, не пробовал, — уклонился Толик. — Граненый стакан съесть могу. Есть у кого граненый стакан?

Граненого стакана ни у кого не оказалось. Была только железная кружка, прикованная цепью к питьевому бачку, но железо Толик не ел.

Заметив меня, Толик спросил:

— Ты домой?

Я ответил:

— Домой.

— Подожди, пойдем вместе. Я только рот сполосну.

Он побежал в туалет, находившийся в конце коридора.

Я ждать его не стал и пошел один.

Когда пришел, мать в коридоре мыла полы. Она бросила к порогу тряпку, я вытер ноги и прошел в комнату. Мать подняла тряпку и прошла следом за мной.

— Ну что? — спросила она.

— А где бабушка? — спросил я.

— Пошла в магазин за хлебом.

— А, — сказал я и посмотрел на маму.

Она смотрела на меня с тревогой и надеждой на то, что все обошлось.

— Все в порядке, — сказал я беспечно. — Годен к строевой. — И протянул ей повестку.

Мама бросила тряпку на пол, вытерла о халат мокрые руки. Когда она брала повестку, руки ее дрожали. В повестке было написано, что мне, Важенину Валерию Сергеевичу, к такому-то числу необходимо получить на производстве полный расчет, включая двухнедельное пособие, и явиться в райвоенкомат, имея при себе кружку, ложку, смену белья, паспорт и приписное свидетельство. Мать прочла все от первого слова до последнего, а потом села на стул и заплакала.

Я зашел сзади и обнял ее за плечи.

— Мама, — сказал я, — я же не на войну.

Наш город делился на две части — старую, где жили мы, и новую, где мы не жили. Новую чаще всего называли «за Дворцом», потому что на пустыре между старой частью и новой строили некий Дворец, крупнейший, как у нас говорили, в стране. Сначала это должен был быть крупнейший в стране Дворец металлургов в стиле Корбюзье. Дворец был уже почти построен, когда выяснилось, что автор проекта подвержен влиянию западной архитектуры. Ему так намылили шею за этого Корбюзье, что он долго не мог очухаться. Потом наступили новые времена, и автору разрешили вернуться к прерванной работе. Но теперь он был не дурак и на всякий случай пристроил к зданию шестигранные колонны, которые стояли как бы отдельно. Сооружение стало называться Дворец науки и техники, тоже крупнейший в стране. После установки колонн строительство снова законсервировали, под крупнейшим в стране обнаружили крупнейшие под-

почвенные воды. Прошло еще несколько лет — куда делись воды, не знаю, — строительство возобновили, но теперь это уже должен был быть крупнейший в Европе Дворец бракосочетания.

Вообще в нашем небольшом городе было много чего крупнейшего. Крупнейший бондарный завод, крупнейший мукомольный комбинат и крупнейшая фабрика мягкой тары, где делали мешки и авоськи. Шестиэтажный дом, в котором мы жили, был когда-то крупнейший в нашем городе, потом появились новые, покрупнее.

Квартира наша была не крупнейшая — она состояла из двух смежных комнат. В ней мы жили втроем. Мой отец с нами не жил. Он оставил нас, когда мне было лет шесть или семь, а он работал в редакции городской газеты и учился заочно в Московском университете. Однажды после сессии он привез из Москвы новую жену и ушел от нас. Сам я этого момента не помню, да, собственно говоря, такого момента, наверное, и не было, потому что он несколько раз уходил и возвращался, и еще неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы мама однажды не сказала:

— Хватит. Либо оставайся здесь, либо там.

Отец остался там. С новой женой Шурой они долго мыкались по частным квартирам и только недавно получили собственную в кооперативе.

Он давно уже ушел из редакции, потому что стал за это время писателем — писал для цирка репризы. Кроме того, с самого детства я слышал, что отец задумал и пишет грандиозный роман, на который возлагает большие надежды.

Сначала он к нам приходил часто — каждое воскресенье. Приносил конфеты, подарки, расспрашивал, как я живу, как учусь. В последнее время, когда я стал уже взрослым, отец бывал у нас реже (я сам к нему ходил иногда), но все-таки бывал и давал матери деньги. Мать деньги брать не хотела (я ведь на себя уже сам зарабатывал), но боялась обидеть отца и брала.

Вообще она, несмотря ни на что, относилась к отцу хорошо и жалела его.

Почти каждый день после работы под надзором мамы и бабушки я готовился к поступлению в институт.

За год до этого я пытался попасть в Московский энер-

гетический, но сделал в сочинении три ошибки (две стилистические и одну грамматическую) и провалился. Был зверский конкурс. Мама была огорчена больше меня.

Она считала, что я по призванию энергетик, наверное, потому, что мне иногда удавалось починить перегоревшие пробки или сменить спираль в утюге. Я в своем призвании не был уверен и по совету Толика поступил работать. К великому маминому неудовольствию.

Моя мама, женщина умная и образованная (она имела высшее экономическое образование и работала старшим нормировщиком на заводе), могла понять все, что угодно.

Она не могла понять одного — моей странной, на ее взгляд, дружбы с Толиком.

— Я понимаю, — говорила она, — когда людей связывают общие интересы или когда они дружат по идейным убеждениям.

Я был бы не прочь дружить с Толиком по идейным убеждениям, но, насколько мне помнится, таковых в ту пору ни у него, ни у меня не было, и мы дружили просто так, потому что были всегда вместе. Мы жили на одной улице, в одном доме, а теперь еще работали на одном заводе и в одном цехе. Так что общие интересы у нас все-таки были.

На нашем заводе делались очень серьезные, очень важные вещи. Настолько важные, что мы сами толком не знали, какие именно. Не то ракеты, не то скафандры — в общем, что-то космическое.

Что касается нас с Толиком, то мы сами важных вещей не делали. Мы делали ящики для этих важных вещей. Мы их сколачивали из досок, и профессия наша называлась «сколотчики». Размеры ящиков считались секретными, потому что, как нам объясняли, по размерам ящиков можно определить размеры изделий, а по размерам изделий их назначение и характер. Мы с Толиком, как ни думали, ничего по этим размерам определить не могли. Толик в глубине души, по-моему, надеялся, что в космос запускают просто ящики как таковые. Поэтому внутри ящиков он иногда писал карандашом свою фамилию «Божко» в расчете на то, что какой-нибудь из них попадет на другую планету и таким образом фамилия эта станет известной не только на земле, но и за ее пределами.

Утро мое начиналось всегда с небольшого скандала. Сначала звонил будильник на стуле возле кровати, но я его выключал. Потом из соседней комнаты на помощь будильнику спешила бабушка, которая, к сожалению, не выключалась.

Маленькая сухонькая старушка в белоснежном передничке, бабушка носила увеличительные очки с толстыми стеклами, делавшими ее глаза большими и страшными.

— Валерик, тебе пора вставать, — сообщала она таким сладким голосом, будто поздравляла меня с днем рождения.

Я лежал, уткнувшись лицом в подушку.

— Валерик, ты слышишь: уже половина восьмого.

Это было сильно преувеличено, потому что будильник с вечера я ставил всегда ровно на семь.

— Валерик, ведь ты не спишь. Я же вижу, что ты притворяешься.

На такие мелкие провокации я не поддавался.

Бабушка переходила к угрозам:

— Валерик, я все равно не уйду, пока ты не встанешь.

Я бы не встал, пока она не уйдет, но тут в комнате появлялась мама с решительным выражением на лице. Не тратя времени на разговоры, она стаскивала с меня одеяло. Дальнейшее сопротивление было бесполезным, я вскакивал и тащился в трусах в уборную.

Там мне тоже очень-то задерживаться не позволяли, приходила мать и грохотала по двери кулаком.

— Валера, если ты там решил накуриться, пеняй на себя.

— Катя! — кричала из комнаты бабушка. — Скажи ему, чтобы он, когда выйдет, выключил свет, вчера лампочка горела всю ночь.

В девятнадцать лет меня опекали, как маленького. Ни о каком куренье не могло быть и речи. Не говоря уже о питье. С девушками гулять разрешалось, но не позже чем до половины двенадцатого.

— Если девушка хорошая, — говорила мама, — она поймет, что у тебя дома будут волноваться. Ты можешь привести девушку сюда, и сидите здесь сколько угодно.

Девушки, даже хорошие, предпочитали сидеть с парнями на лавочках или обниматься в подъездах. У меня никакой девушки не было. У меня были только мама и бабушка, которым для полного спокойствия хотелось, чтобы все процессы моей личной жизни протекали на их

глазах. В девятнадцать лет я понял, что ограничение свободы личности — тяжкое наказание, даже если оно следствии чьей-то безмерной любви.

Я выходил из дому примерно в половине восьмого, когда народу на улице было уже полно. В такое время все куда-нибудь да торопятся. Кто на работу, кто в детский сад, кто в магазин.

На перекрестке возле сквера маячит долговязая фигура парня в сандалиях на босу ногу, в синей рубашке с закатанными по локоть рукавами. Он один никуда не торопится и стоит просто так, равнодушно глядя на дома, на прохожих, на идущие мимо автомобили. Я подкрадываюсь к парню сзади и хлопаю его по плечу.

— Здорово, Толик!

Толик, вздрогнув от неожиданности, оборачивается, и конопатое лицо его расплывается в глупейшей улыбке.

— Привет! — Он небрежно сует мне руку дощечкой.

Я достаю сигареты, мы садимся на заборчик, ограждающий сквер, курим.

Толик вынимает из кармана шариковый подшипник, вертит его на пальце, лукаво поглядывая на меня. Ему явно хочется, чтобы я спросил, зачем ему этот подшипник, и, хотя меня подшипник совершенно не интересует, я спрашиваю:

— Зачем он тебе?

— А ты догадайся.

— Делать мне нечего — буду еще догадываться.

— На мотороллер, — великодушно объясняет Толик. — Когда куплю, пригодится. Запчасти сейчас днем с огнем не найдешь. Эх, и ездить с тобой будем! — Толик кладет руки на воображаемый руль, наклоняется, словно в крутом вираже. — Вррррр.

Время подходит к восьми, людей на улицах все прибавляется. Машин тоже. Медленно проскрипел автобус, скособоченный на правую сторону: на нем нависло столько народу, что кажется странным, как это он не перевернется. Прогромыхал «МАЗ» с длинным, метров в двадцать, прицепом на многих колесах. За ним, припадая на передние колеса, прошелестела черная «Волга».

— А ты вчера что делал? — спрашивает Толик.

— Ничего. Лежал, книжку читал.

— Что за книжка?

- «Над пропастью во ржи...».
- Про шпионаж?
- Нет, про жизнь.
- А почему ж пропасть?
- Не знаю, не дочитал еще.
- Может, дальше про шпионаж? — надеется Толик.
- Может быть, — говорю я. — Смотри — Козуб едет.

Витька Козуб — наш старый знакомый. Он жил когда-то в нашем доме, и я с ним даже учился вместе в школе, в четвертом классе. Я бы с ним учился и дальше, если бы остался на второй год. За двенадцать лет упорной учебы Козуб кое-как одолел семилетку и четырехмесячные курсы шоферов третьего класса. Теперь он ездит на стареньком сером «ГАЗ-51» с полустершейся надписью на левом борту: «Будьте осторожны на перекрестках!»

Сейчас осторожность надо проявлять больше всего ему самому. И он ее проявляет, потому что заметил нас. Бдительно вытянув длинную шею, он приближается к перекрестку, выключив скорость.

Мы с Толиком сидим, курим, делаем вид, что ни сам Козуб, ни его машина нас совершенно не интересуют. Мы даже совсем отворачиваемся и смотрим в другую сторону.

Но вот машина вписалась в поворот.

— Пошел! — командует Толик.

На повороте Козуб переключает скорость и дает полный газ, но уже поздно. В два прыжка настигаем мы беззащитную жертву, и вот уже наши пальцы крепко вцепились в задний борт кузова.

Козуб начинает бросать машину из стороны в сторону, мы раскачиваемся, как обезьяны на ветках. Очень трудно удержаться. Но вот я нашел уже точку опоры и одну ногу перекинул в кузов. Толик тоже. А враг не дремлет. Он применяет новый маневр. Визжат тормоза, и в полном соответствии с законом Ньютона наши тела довольно активно стремятся сохранить состояние равномерного прямолинейного движения. Словно две торпеды на параллельных курсах, мы летим вперед, рискуя пробить головами кабину.

— Что, ушиблись? — Козуб вылез на подножку и смотрит на нас через борт с лицемерным сочувствием.

— Ничего. — Толик потирает ушибленное колено. —
Валяй дальше.

— Слезайте.

— Как же, слезем, — ухмыляется Толик.

— Хуже будет. — грозит Козуб.

— Куда уж хуже? Милицию позовешь?

— Зачем милицию? Он шайку свою соберет, — говорю я.

— Да уж найду кого позвать, — обещает Козуб.

Он стал таким храбрым после того, как подружился с Греком. Этой дружбой Козуб гордился, как будто Грек его был академиком или министром. Но Грек не был ни академиком, ни министром — он был просто хулиганом, достаточно, однако, известным в масштабе нашего города.

Козуб при случае намекал нам, что, стоит ему мигнуть Греку, тот из нас сделает блин, но намеки оставались намеками, потому что Грек был чаще всего далеко, а мы близко.

— Последний раз спрашиваю: не слезете?

— Последний раз отвечаю: не слезем. — Толик плюнул мимо Козуба на дорогу.

— Ну, ладно, я вас теперь покатаю.

— Покатай, будь другом, — просит Толик смиренно.

Едем дальше. Посреди кузова подпрыгивает запасное колесо. Мы садимся на колесо и подпрыгиваем с ним вместе.

Проехали железнодорожный переезд, пересекли пустырь с недостроенной громадой Дворца бракосочетания, потом район наших местных Черемушек. Вот стадион «Трудовые резервы», а за ним уже и наша проходная. Я заглянул в кабину через плечо Козуба на щиток приборов.

Мы живем в век больших скоростей. На спидометре семьдесят. Со спидометра я перевожу взгляд на дорогу, потом на Толика. На лице Толика полное уныние. Если мы покинем машину на этой скорости, наши тела слишком долго будут сохранять состояние прямолинейного движения. Тормозить брюхом об асфальт не очень приятно.

— Постучи ему, — предлагает Толик, хотя в действительность этой меры ни на секунду не верит.

Я тоже не верю, но — другого выхода нет — стучу. Сначала тихонько, потом кулаком, потом в это дело

включается Толик, мы громим кабину четырьмя кулаками — никакого эффекта. А колеса крутятся, и наше родное сверхважное предприятие осталось далеко позади.

Козуб злорадно смотрит назад, и лицо его вытягивается от злости и удивления. Мы подкатили к заднему борту запаску и пытаемся перевалить ее через борт. Снова визжат тормоза, наступает состояние относительного покоя. Козуб вылезает на подножку.

— Вы что делаете?

— Да вот, — с невинным видом отвечает Толик, — хотим поставить небольшой опыт: сможет колесо ехать отдельно от машины или не сможет.

— Ладно, слезайте.

— Слезать? — Толик смотрит на меня, и я отвечаю ему глазами: ни в коем случае.

— Никак не выходит, — вздыхает Толик и садится на борт.

— Далеко, что ли?

— Далеко.

— Как хотите. — Козуб достает сигарету, закуривает. — У меня почасовой график, я не спешу.

— Тебе хорошо, — завидует Толик. — А вот у нас сдельщина. Помогите, Валера, будь другом, — обращается он ко мне, склоняясь опять над запаской.

Двум человекам сбросить с машины колесо легче, чем одному поднять его на машину. Закон всемирного тяготения. Это знает даже Козуб. Он для этого слишком долго учился.

Произнеся короткую речь, полную негодования и угроз, он разворачивает машину и подвозит нас прямо к проходной.

— Спасибо, — говорит Толик, слезая. — И не забудь, Витя: мы кончаем работу в четыре.

Вплотную к нашему цеху примыкает склад тары из-под оборудования — беспорядочное нагромождение ящиков на большом пространстве.

Толик, раскинув руки, лежит на траве под ящиком. Я стою рядом. Курим. Светит солнышко. До начала работы еще минут двадцать. Делать нечего.

— Не хочется на работу идти, — вздыхает Толик. — Ты бы рассказал что-нибудь, что ли?

— Стихи хочешь?

Толик стихи не любит, но тут соглашается.

— Давай стихи.

— Ну, ладно. — Я взбираюсь на один из ящичков. Толик принимает удобную позу, смотрит на меня снизу вверх.

В пустыне чахлой и скупой
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит один во всей вселенной.

Вокруг, насколько хватает взгляда, стоят эти большие заграничные ящички. Они громоздятся друг на друга и кажутся каким-то странным пустынным городом...

...А царь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.

— Ну как? — спрашиваю я.

— Здорово! — искренне говорит Толик. Он залезает на ящик и садится на край, свесив ноги. — И как ты все это помнишь? Не голова, а совет министров. Я даже в школе когда учился, никак эти стихотворения запомнить не мог. Не лезут в голову, да и все. Слушай, а вообще вот эти, наверное, которые стихи пишут... поэты... ничего себе зарабатывают.

— Наверно, ничего, — соглашаюсь я.

— Работа, конечно, не для всякого, — задумчиво говорит он. — Не с нашими головами. А я вот читал в газете: один чудака нашел в пещере... забыл чего нашел. Деньги, что ли. Ты не читал?

— Нет, не читал.

Толик вздыхает.

— Мне бы чего-нибудь такое найти, я б матери платье новое справил. Джерси.

— Да зачем ей джерси?

— Ну так, знаешь. Слушай! А что, если мы с тобой вдруг проваливаемся сквозь землю и перед нами... — он закрывает глаза мечтательно покачивает головой, — куча золота.

— Да ну тебя, — говорю я. — Нужно тебе это золото.

— А что? — говорит Толик. — Зубы вставил бы.

— Зачем тебе? У тебя и свои хорошие.

— Золотые лучше, — убежденно говорит Толик.

Разговоры мы вели, может, и глупые, но в то время я мало думал об этом.

Я относился к Толику хорошо до тех пор, пока не про-

изошла эта история, которая помогла мне понять и Толика, и себя самого.

Но расскажу по порядку.

Однажды в субботу я сидел в большой комнате за обеденным столом и под надзором мамы готовился к новому поступлению в институт — учил русский язык. Мама лежала у окна на кушетке и читала «Маленького принца» Экзюпери, который в последнее время стал ее любимым писателем, оттеснив на второй план Ремарка. Все, что писал Экзюпери, казалось маме очень трогательным. В самых трогательных местах она доставала из-под подушки давно уже мокрый платок и плакала тихо, чтобы мне не мешать. Напротив нее за своей швейной машинкой сидела бабушка. Она перешивала мою старую куртку: наверное, думала, что я эту куртку буду еще носить. Треск машинки меня раздражал.

— Мама, — сказал я, — я пойду к себе в комнату.

Мама подняла ко мне заплаканное лицо и твердо сказала:

— Нет, ты там ляжешь на кровать.

— Но ты же лежишь, — сказал я.

— Я лежу, потому что отдыхаю. Работаю я всегда сидя.

Мама вытерла слезы и снова уткнулась в книгу, давая понять, что разговор окончен.

Делать было нечего, я снова взялся бубнить эти проклятые правила. Я старался делать это как можно громче, чтобы заглушить раздражавший меня стрекот швейной машинки.

— «Слова, — читал я, — нужно переносить по слогам, но при этом нельзя отделять согласную от следующей за ней гласной, например: люб-овь, кров-ать, пет-ух».

Когда я это прочел, бабушка остановила машинку и насторожилась. В воздухе повисла зловещая тишина. Я сразу почувствовал, что что-то произошло, перестал читать и повернул голову к бабушке. Она не отрываясь смотрела на меня и молчала. Я, не зная, что сказать, тоже молчал.

— Что такое «хетуп»? — строго спросила бабушка.

— Хетуп? — переспросил я заискивающе. — Какой хетуп?

— Только что ты сказал «хетуп».

— А-а, — сообразил я. У меня даже отлегло от сердца. — Я сказал не «хетуп», а «петух».

Я думал, что на этом инцидент будет исчерпан, но я забыл, с кем имею дело.

— Валера, ты сказал «хетуп».

— Бабушка, я не говорил «хетуп», я сказал «петух». И даже не сказал, а прочел вот здесь в учебнике: «любовь, кров-ать, пет-ух».

— Нет, ты сказал «хетуп».

Мать подняла голову от книжки, посмотрела сперва на бабушку, потом на меня, пытаюсь понять и осмыслить происходящее.

— Что еще за спор? — сурово спросила она.

— А чего ж она говорит, — сказал я, — что я сказал «хетуп».

— Не она, а бабушка, — поправила мать.

— Все равно. Я сказал «петух», «петух», «петух». — Мне было так обидно, что я еле сдерживал себя, чтоб не заплакать.

— Господи! — всплеснула руками бабушка. — Ну зачем же так волноваться? Если ты даже ошибся и сказал «хетуп», в этом же нет ничего...

— Я не ошибался, я сказал «петух».

— Ну, хорошо, пускай я ошиблась, пускай мне послышалось «хетуп», хотя на самом деле ты сказал «петух».

— Да, я сказал «петух».

— Ну и ладно, пожалуйста, успокойся. Ты сказал «петух». — Бабушка пожевала губами и все-таки не сдержалась: — Хотя, если бы ты старался быть объективным...

Этот разговор мог кончиться плохо, но в это время в коридоре раздался звонок, и я побежал открывать.

За дверью стоял Толик. Он был в коричневом, сшитом на заказ костюме, в белой рубашке с галстуком. Сбоку на ремешке, перекинутом через плечо, болтался транзисторный приемник.

— Вытирай ноги и проходи, — сказал я.

Толик нагнулся и стал развязывать шнурки на ботинках.

Из комнаты выглянула мама.

— Толя, что за глупости? — сказала она. — Зачем ты снимаешь ботинки? Вытри ноги, и все.

— Ничего, ничего, — сказал Толик.

Он снял ботинки и, подойдя к маме, протянул ей руку.

— Здравствуйте, Екатерина Васильевна.

У него были черные эластичные носки с красной полоской.

Он вошел в комнату, огляделся, подошел к бабушке и, протянув руку ей, сказал громко:

— Здравствуйте, бабушка.

— Здравствуй, Толя, — сказала бабушка и посмотрела на него с нескрываемым восхищением. — Ты куда это так вырядился?

— Так, — сказал Толик, — просто переоделся.

— Садись, — сказала мама, подвигая к нему стул.

— Благодарю. — Толик подтянул штаны, — чтоб не вытягивались, положил руки сначала на стол, потом его смутила белая скатерть, он снял руки со стола и положил на колени.

— Толя, — спросила бабушка. — Кто тебе гладит костюм?

— Да я, соответственно, сам глажу.

— Почему соответственно? — спросила мама.

— Просто слово такое, — пояснил Толик.

— Какой аккуратный мальчик, — вздохнула с завистью бабушка. — Ты, наверное, в брюках в постель не ложишься?

Толик смущенно кашлянул, шмыгнул носом и посмотрел на меня.

— Да ведь вообще не положено.

— Бабушка хочет сказать, — объяснил я, — что бывают счастливые люди, у которых такие вот аккуратные лнуки.

Толик сидел красный от смущения и от галстука, давившего шею. Он не знал, как реагировать на мои слова, и промолчал.

— Чаю хочешь с вареньем? — спросила мама.

— Благодарю, — сказал Толик, — что-то не хочется. — Он многозначительно посмотрел на меня, я понял, что светские манеры даются ему с трудом.

— Сейчас пойдем, — сказал я.

— Куда это вы собрались? — спросила мама.

— Надо подышать воздухом.

Толик солидно кашлянул.

— Опять будете шляться до часу ночи, — сказала мама.

— Ладно, — сказал я, — никуда не денемся.

Я пошел в другую комнату и переоделся. Конечно, ко-

стюм мой был не так уж выглажен, но какие-то складки еще оставались.

Когда я вошел, бабушка посмотрела на меня, потом на Толика и вздохнула. Сравнение было явно не в мою пользу.

— Пошли, что ли, — сказал я.

Толик чинно встал, подошел к маме, протянул руку.

— До свиданья, Екатерина Васильевна, — сказал он громко.

Потом подошел к бабушке и протянул руку ей.

— До свиданья, бабушка, — сказал он еще громче.

Я пропустил его вперед. Пока Толик зашнуровывал ботинки, мама стояла в дверях комнаты и, насмешливо усмехаясь, смотрела на нас обоих.

Выйдя на лестницу, Толик облегченно вздохнул и снова стал самим собой. На площадке он подошел и посмотрел вниз.

— Слушай, а ты бы отсюда за миллион рублей прыгнул?

Я посмотрел вниз и отказался немедленно.

— А я бы, пожалуй, прыгнул, — сказал Толик.

— И ноги сломал бы.

— Зато миллион рублей, — сказал Толик. — Знаешь, я на эти деньги чего купил бы?

— Костыли, — сказал я.

— Зачем костыли? — обиделся Толик. — Можно «Москвич» с ручным управлением.

Мы вышли на улицу. Вечерело.

Солнце еще не зашло, но его не было видно. Оно просто пряталось где-то за домами, и его лучи лежали под крышами самых высоких зданий. Мы шли в сторону парка.

— Слушай, — неожиданно спросил Толик, — у тебя отец — хороший человек?

Вопрос был сложный. У меня самого отношение к нему было смутное. Точнее, я к отцу своему относился по-разному. Но одно дело, что думал я сам по этому поводу, и другое дело, что отвечал другим.

— Хороший, — сказал я, и это была правда, потому что отец мой был, может быть, и не совсем хорошим, но скорее хорошим, чем плохим.

— А почему же он мать твою бросил?

— Он не бросил, просто они не сошлись характерами.

— А чего там сходитья-то? — усомнился Толик. —

Чего сходиться? У меня вот отец с кем хочешь сойдется характерами. Мать ему чего не так скажет, он ей как врежет, она летит из угла в угол.

Отец Толика дядя Федя работал в бане пространщиком. Что значит это слово — я не выяснил до сих пор, знаю только, что дядя Федя сторожил в бане одежду клиентов, подавал желающим полотенце, похлопывал по спине и приносил из буфета пиво в стеклянных кружках. За это он получал в зависимости от объема услуг и щедрости клиента десять — пятнадцать копеек. Некоторые давали больше, но таких было мало. Он работал через день по двенадцать часов, но готов был работать и каждый день, если бы разрешили, не из любви к профессии, а из-за этих самых гривенников, которых к концу смены набиралось довольно много. Мать Толика несла эту мелочь в магазин к знакомой кассирше и обменивала на бумажки, а когда бумажек набиралось достаточно, дядя Федя шел в сберкасса и делал очередной вклад.

— А много у твоего отца денег? — спросил я у Толика.

— Много, — вздохнул Толик. — Я точно не знаю, но там, наверное, машины на три уже наберется. И все мало ему. Я получку принесу, он все до копейки пересчитает и по расчетной книжке проверит. А чуть недосчитается — сразу по шее.

— А как же ты на мотороллер собираешь? — спросил я.

— Выкручиваюсь, — сказал Толик. — Я говорю, что мастеру даю по десятке с каждой получки... Слушай, — оживился он, — а ты своего отца не спрашивал, сколько вот поэты или писатели зарабатывают?

— Не спрашивал. А зачем тебе?

— Так просто. Мне один чудак говорил: рубль за строчку. Это можно, знаешь, сколько строчек написать.

— Сколько? — спросил я.

— Много, — ответил Толик и остановился. — Что это там такое?

На спортплощадке во дворе красного кирпичного здания школы возле турника толпились какие-то люди.

— Может, соревнования? — предположил я.

— Не похоже, — усомнился Толик. — Пошли, поглядим.

Мы подошли ближе. Там к турнику было подвешено какое-то сооружение из арматурной проволоки, как я потом понял — макет купола парашюта. От купола шли стропы, соединявшиеся у брезентовых лямок с блестящими замками. Возле турника толпилось человек пятнадцать ребят нашего с Толиком возраста. Рядом на параллельных брусках возвышался худощавый человек лет тридцати (по нашим тогдашним представлениям, пожилой), в кожаной куртке на молниях и в старой летной фуражке с облезлой кокардой. К куртке у него был прикручен большой значок с изображением белого парашюта на синем фоне. Наискось через значок шла блестящая металлическая цифра «600», а на цепочке болтался еще треугольник, и там тоже было выцарапано какое-то число, не то «15», не то «45» — я точно не разглядел.

Человек этот сидел на одном бруске и упирался левой ногой в противоположную стойку, удерживая равновесие. Мы с Толиком сразу догадались, что это инструктор по парашютному делу. Догадаться было, конечно, нетрудно.

Держа в руках авторучку и раскрытый блокнот, инструктор следил за ребятами, которые поочередно влезали в лямки, разворачивались влево, вправо и спрыгивали на землю, уступая место следующим по очереди.

— Следующий! — выкрикивал инструктор и отмечал в блокноте очередную фамилию.

Когда мы подошли, в лямках болтался высокий парень в клетчатой ковбойке. У него были очень длинные ноги, и парень поднимал их, чтобы они не волочились по земле.

— Развернись влево, — скомандовал инструктор.

Парень положил на грудь правую руку, потом левую, потом, подумав, поменял их местами, потянул лямки на себя, и его длинное неуклюжее тело послушно повернулось влево.

— Вправо, — сказал инструктор. — Да побыстрей. Если ты и в воздухе будешь так долго соображать, тебе до самой земли времени не хватит.

— Что это вы делаете? — шепотом спросил Толик у остроногого парня в синем берете.

— Тренируемся, — тоже шепотом ответил парень. — Прыгать с парашютом будем.

— С турника, что ли? — насмешливо спросил Толик.

— Почему ж с турника? С самолета. Нас от военко-

мата направили, — сказал парень и пошел к турнику, потому что подошла его очередь.

Пока он разворачивался вправо и влево, Толик зашел сбоку и внимательно наблюдал. Парень расстегнул лямки и сполз на землю.

— Следующий, — сказал инструктор.

Следующих не оказалось.

— Все, что ли? — спросил инструктор.

— Как все? А я? — неожиданно сказал Толик.

— А чего ж ты стоишь? — рассердился инструктор.

— Задумался, — объяснил Толик.

Он стащил с себя транзистор, сунул его мне и вышел вперед. Влез в эти лямки, застегнул замки и стал болтать ногами, ожидая указаний инструктора.

— Не болтай ногами, — строго сказал инструктор. — Это тебе не качели. Развернись влево.

Толик решительно потянул за обе лямки, но у него почему-то ничего не получилось, и он стал раскачиваться, пытаясь развернуться.

— Ты что? — закричал инструктор. — Не знаешь, как разворачиваться?

— Забыл, — сказал Толик, глядя на инструктора.

— Если забыл, надо спросить. В воздухе спрашивать будет некого. Положи левую руку на грудь. Сверху правую. Берись за лямки. Тяни. Теперь вправо.

Вправо у Толика получилось совсем хорошо.

— Молодец, — похвалил инструктор. — Слезай. Как фамилия?

— Божко, — четко сказал Толик.

— Божко? Что-то я такой фамилии не помню.

— Пропустили, — нагло сказал Толик.

— Да? — Инструктор покорно пожал плечами и отметил что-то в блокноте. — Может быть. Есть еще кто-нибудь?

Толик стал мне усиленно подмигивать и призывать знаками последовать его примеру, и мне очень хотелось поступить так же, как он, но я не решился.

Инструктор спрятал блокнот и ручку в карман и спрыгнул на землю.

— Сегодня в три часа ночи чтобы все были на бульваре у кинотеатра «Восход». Ровно в три придет машина, поедем прыгать. Ясно?

— Ясно! — нестройным хором закричали парашютисты.

— Можете расходиться, — сказал инструктор и первым направился к выходу.

Мы вышли на улицу. Я отдал Толику транзистор, он его на плечо вешать не стал, а держал в руках и размахивал. Потом он его включил и стал размахивать еще больше. Передавали Эдиту Пьеху по заявкам передовиков Саратовской области.

— Выключи ты его, — попросил я. Настроение у меня было паршивое.

Толик посмотрел на меня и все понял.

— Слышь, Валера, ты не огорчайся, — сказал он. — Утром придем и вместе прыгнем.

— Как же, прыгнем, — сказал я. — Тебя-то он в блокнот записал, а меня нет.

— А чего ж ты растерялся? — сказал Толик. — Я же тебе подмигивал. В общем, придем, а там видно будет. Ему все равно, есть ты в списке или нет. Ты думаешь, он мне поверил, когда я сказал: пропустили? Да ему лишь бы план. Понял? Я это точно знаю.

В этом смысле Толик действительно знал больше меня. И умел многое из того, чего я не умел.

Мы идем по парку. Все аллеи запружены бесчисленными толпами желающих убить длинный субботний вечер.

Уже стемнело. Включили электричество. В дальнем конце парка грянула музыка — начались танцы. Мы прошли из конца в конец парка, постояли у танцплощадки, попили из автомата воды с мандариновым сиропом, заглянули в Зеленый театр, где шел концерт художественной самодеятельности гарнизонного Дома офицеров.

Идем дальше. Дошли до главного входа, опять повернули в сторону танцплощадки, но уже по другой аллее, по параллельной. Толик идет чуть впереди, заложив руки в карманы, раздвигая прохожих плечом. А меня все затирают, оттесняют от Толика, я отстаю, потом догоняю. Толик оборачивается, замедляет шаг, поджидая.

— Что ты все отстаешь? — ворчит он. — Не можешь ходить по-человечески? Будешь всем уступать дорогу — далеко не уйдешь.

На улице, в парке, везде, где много народу, Толик чувствует себя как рыба в воде. Он идет, уверенно выбрасывая вперед длинные ноги, вертит головой, здорова-

ется с какими-то людьми, которых я даже не успеваю заметить, и обращает внимание на всех девушек, идущих нам навстречу. И все они, или почти все, поражают воображение Толика. Вот он схватил меня за руку.

— Гляди, вон кадришка какая идет.

«Кадришками» по моде нашего времени Толик называл всех девчонок. Были у него в словаре и другие названия — «кралы», «курочки» или просто «бабы».

Я не чувствую в себе достаточного интереса, и мне очень стыдно. Мне кажется, что во мне чего-то не хватает, раз я не испытываю при этом такого же восторга, как Толик. Мне не хочется казаться в его глазах дураком, и, вызывая в себе ложное возбуждение, я кричу с предельной заинтересованностью:

— Где кадришка?

— Прошла уже, — сердится Толик. — Пока ты тут чухался...

Не успев договорить фразы, он кидается за обогнавшей нас девицей на длинных, словно ходули, ногах:

— Девушка, а девушка, вы не из баскетбольной команды?

— Иди ты к... — не оборачиваясь, ответила девушка.

Толик вернулся сконфуженный.

— Что она тебе сказала? — спросил я.

— Да ничего, — сказал Толик. — Дура длинная.

Идем дальше. Толик сопит, молчит, переживая только что перенесенный позор.

— Толик, — спрашиваю я, — у тебя есть идейные убеждения?

— Чего? — удивился Толик.

— Я спрашиваю: у тебя есть идейные убеждения?

— Маленько есть, — подумав, ответил Толик.

— А какие у тебя убеждения?

— Разные, — отмахнулся Толик и опять насторожился. — Пошли.

— Куда? — не понял я.

— Потом поймешь.

Он схватил меня за руку, увлекая вперед. Мы почти побежали. Свернули на боковую безлюдную аллею. Впереди нас шли две девушки в красных платьях с красными сумочками в руках.

— Понял — куда? — сказал Толик, сбавляя ход; теперь мы шли с той же скоростью, что и девушки. — Давай что-нибудь говори.

— А что говорить? — спросил я.

— Неважно что, лишь бы громко. — И тут же повысил голос: — Ничего себе крали идут, а?

— Ничего, — сказал я еле слышно.

— Громче, — шепнул Толик и снова во весь голос: — Тебе какая больше нравится? — И, не дождавшись моего ответа, почти прокричал: — Мне крайняя... Что ж ты молчишь? — снова прошептал он.

Видно, поняв, что со мной каши не сварить, он стал вести игру сам.

— Девушки, вы здешние? — спросил он.

Девушки молча свернули направо.

— Гляди, — громко воскрился Толик, — попутчицы.

Мы свернули следом за девушками. Тогда они неожиданно развернулись и пошли в обратную сторону.

— Куда мы, туда и они, — бодро прокомментировал этот маневр Толик, и мы, пропустив их вперед, опять пошли следом.

Наше преследование кончилось безрезультатно. Возле главного входа девушек ждали двое парней. Когда они шагнули навстречу девушкам, мы с Толиком сделали по шагу в обратном направлении. Физическое превосходство парней было очевидным.

— Ну что, теперь погонимся за другими? — спросил я удрученно.

— Зачем гоняться? — сказал Толик. — Пускай они за нами гоняются. Вон на лавочке две сидят, пойдем с ними поговорим.

— Да ну их, — сказал я. — Бегаем как дураки по всему парку, а толку чуть.

— Ну, пошли, сейчас познакомимся.

— Как же, познакомимся, — усомнился я.

— Точно тебе говорю: познакомимся. Пошли.

— Ну, ладно, пошли, — сказал я.

Толик обрадовался.

— Ты себе какую берешь?

— Никакую, — сказал я сердито.

— Ну, ладно, я себе беру блондинку, а твоя будет рыжая. Ты рыжих любишь.

Я и сам не знал, каких я люблю.

Наши очередные жертвы, ни о чем не подозревая, сидели на лавочке и разговаривали.

— Здрасьте, — сказал Толик.

— До свиданья, — сказала блондинка.

— Спасибо, — сказал Толик и сел рядом с блондинкой. — Прощу вас, — пригласил он меня.

Я подчинился и сел рядом с рыжей.

— Знакомьтесь, — сказал Толик, кивая в мою сторону, — мой друг Валерий, очень большой человек, лауреат Международной премии за укрепление мира между народами.

— А вы кто? — с любопытством спросила блондинка.

— Я? Я поэт Евтушенко, — сказал Толик скромно.

— А я думала: Маяковский, — сказала блондинка.

— Маяковский — это он.

— А если серьезно? — спросила блондинка.

— А если серьезно... — Толик встал и представил торжественно меня и себя: — Валерий Важенин, Анатолий Божко.

Это прозвучало солидно. Довольный произведенным впечатлением, Толик сел на место и уже тихим, вкрадчивым голосом спросил:

— А вас как прикажете?

— Ее Поля, — сказала блондинка, — а меня... вы только не подумайте, что я нарочно... так у нас получилось... меня зовут Оля.

— Очень хорошо, — сказал Толик, — запомнить легко, а забыть еще легче. Ну что, Оля и Поля, может, пойдём туда-сюда пошляемся?

— Что это вы так говорите? — подала голос Поля. — Что это за слова такие — «пошляемся»?

— Это я по-французски, — оправдался Толик. — В смысле погуляем.

Поля посмотрела на Олю.

— Мне все равно, — сказала Оля.

— Может, пойдём потанцуем? — спросила Поля.

— Блестящая идея, — согласился Толик.

Мы встали, пошли. Запас шуток у Толика истощился, некоторое время мы шли молча. Молчание грозило стать затяжным, и Толик нашел выход из положения.

— А что это мы идем и молчим? — сказал он. — Может, поговорим о чем-нибудь?

— А о чем? — деловито спросила Оля.

— Мало ли о чем. Валера, расскажи девочкам стих. Вот этот... про дерево.

— А вы любите книжки читать? — заинтересовалась Поля.

Я смутился.

— Да так. Иногда.

— Я книжки ужасно люблю, — сказала Поля. — Особенно жизненные. Вот я недавно прочла «Сестру Керри».

— Драйзера. — Я проявил эрудицию.

— Не знаю. Так там мне больше всего понравилось, что все, как в жизни. Когда я жила в Днепропетровске, у нас была одна соседка, капля воды — сестра Керри. А еще недавно я читала «Красное и черное»...

— Стендаля, — подсказал я.

Поля остановилась и посмотрела мне прямо в глаза.

— Учтите, Валера, — строго сказала она. — Я авто-ров никогда не запоминаю.

— Мальчики, а билеты у вас есть? — вдруг вспомни-ла Оля.

— В самом деле, — сказал я и посмотрел на Толика.

Толик похлопал себя по карману и сделал кислую рожу.

— Так надо купить, — сказала Поля.

— Правильно, — обреченно сказал Толик.

— Может, у вас нет денег?

— У нас? — Толик скривился презрительно. — У нас денег мешок. Валера, отойди на минутку. — (Мы отошли с ним в сторону.) — У тебя хоть что-нибудь есть?

— Тридцать копеек.

— Это не деньги, — сказал Толик. — Это слезы. Посиди пока с ними, чтоб не сбежали. Я скоро вернусь.

Он ушел, а я остался. Говорить было не о чем, мы молчали. Первой заговорила Оля.

— Жарко сегодня, — сказала она, вытирая шею платочком.

— Да, действительно жарко, — согласился я. — Мо-жет, хотите воды?

Надо было как-то растянуть время.

— Лучше мороженое, — робко сказала Оля.

— Эскимо? — бодро уточнил я и потрогал в кармане свои тридцать копеек.

— Пломбир, — возразила Поля.

В этот момент я ее ненавидел. Мы встали в хвост длинной очереди за толстой теткой в цветастом открытом платье. Не знаю, на что я рассчитывал. Может, на то, что, пока подойдет очередь, появится Толик. Или разразится стихийное бедствие.

Очередь двигалась довольно быстро. Небо было чи-стое, звездное. Стихийного бедствия пока не предвиде-

лось. Что делать? Может, просто сбежать? Очередь катастрофически приближалась. Спасение пришло неожиданно.

— Смотрите, — сказала вдруг Поля. — Спутник летит.

— Где спутник? — спросил я, выходя на всякий случай из очереди.

— Вон, прямо над головой, смотрите.

Я отошел еще дальше.

— Нет, это не спутник, — сказал я, — это самолет.

— Откуда вы знаете? — не поверила Оля.

— Вс-первых, — сказал я, — это можно определить по шуму двигателей. Во-вторых, по огням. Они называются «БАНО» — бортовые аэронавигационные огни.

— Вы что, — сердито спросила Поля, — все знаете?

— Не все, — сказал я, — но это знаю. В школе я занимался в авиамodelьном кружке, и мы там кое-что проходили.

— Братцы, — сказала Оля, — а очередь-то мы пропустили.

— Неужели? — всплеснул я руками.

И в самом деле. Тетка в цветастом платье, которая стояла впереди меня, отходила в сторону, торжественно, как факел, неся перед собой эскимо на палочке.

— Все ваша эрудиция, — упрекнула Поля.

— Ну, ничего, постоим, — сказал я в расчете на то, что теперь нам мороженого просто не хватит. — Время у нас еще есть.

— Какое же время? — сказала Оля. — Вон ваш товарищ уже идет.

Наконец-то. Беспечно размахивая транзистором, к нам приближался Толик.

— А если вы все знаете, — не унималась Поля, — скажите, это правду говорят, что дельфины — мыслящие существа?

— Чего? — спросил подошедший Толик.

Поля повторила вопрос.

— Не думаю, — сказал Толик. — Если б они были мыслящие, они бы в трусах плавали.

Мы пропустили девчонок вперед, а сами немного отстали.

— Достал? — шепотом спросил я у Толика.

— Достал два билета, — сказал Толик, — толкнул частнику подшипник за рубль.

— Что же делать?

— Придумаем что-нибудь... Девочки, — сказал он, подходя к Оле и Поле, — вот вам два билета, вы идите, а мы сейчас придем. У нас тут еще одно небольшое дельце есть.

— Что это у вас все дела какие-то? — недоуменно сказала Поля, но билеты взяла.

Они ушли, а мы остались. Играла музыка. Над освещенной, забитой людьми танцплощадкой стояла пыль.

— Ну что ты еще придумал? — спросил я у Толика.

Мне это уже все надоело, я бы с удовольствием ушел домой, чтобы, лежа на диване, подремать над какой-нибудь книжицей.

— Пойдем через служебный вход, — сказал Толик, — Больше делать нечего.

Возле оркестрового купола в заборе, ограждающем танцплощадку, кто-то выломал железные прутья, получилась дыра, не очень большая, но для нас с Толей в самый раз. Эту дыру Толик и называл служебным входом. Возле дыры, опершись на забор, стояли два парня в одинаковых синих рубашках, здоровые и плечистые, должно быть спортсмены. Они о чем-то между собой разговаривали.

— Ребята, милиции нет? — деловито спросил Толик.

Парни перестали разговаривать, повернулись к нам.

— А что, пролезть хотите? — с любопытством спросил тот, который загораживал дыру.

— Может быть, — уклончиво сказал Толик. — А что?

— Да ничего, — парень подвинулся к своему товарищу, освобождая дыру. — Откуда тут милиция? Валяйте.

— Как бы не вляпаться, — засомневался Толик.

— Как хотите, — сказал парень, — мы вот не вляпались.

Толик посмотрел на парней, потом на меня.

— Ну, ладно, — решил он, — давай, Валера, ты первый, а я за тобой.

Только я пролез на ту сторону и разогнулся, как сразу заметил красную повязку на рукаве парня, стоявшего возле дыры.

— Вот и хорошо, — сказал парень. Он сжал мою руку выше локтя так сильно, что я понял: вырваться бессмысленно.

Толик сразу все сообразил и отпрянул от забора.

— Так вы дружинники, — сказал он укоризненно.

— Так уж получилось, — сказал тот, что держал меня за руку. — Чего ж ты не лезешь?

— В другой раз, — пообещал Толик.

— Ну, смотри, дело твое, — сказал дружинник и обратился к своему товарищу: — Пойдем, что ли?

— Пойдем, — сказал тот, почесывая затылок. Ему, видно, очень не хотелось со мной возиться.

— Пошли, — сказал тот, что держал меня за руку.

— Пусти руку, — сказал я, — тогда пойду.

— А не побежишь?

— Не бойся, — успокоил я, — не побегу.

Пробираясь между танцующими, я столкнулся с Олей и Полей. Они танцевали вдвоем.

— Валера, — обрадовалась Оля. — А Толя где?

— Сейчас я его найду, — сказал я.

— Вы не ждите, — сказал дружинник, — он его долго будет искать.

Мы вышли с танцплощадки и направились по аллее к выходу.

Сзади на почтительном расстоянии двигался Толик.

— Ты, может, с нами хочешь? — обернулся дружинник.

— А чего это мне с вами идти? Я через забор не лез, — сказал Толик. — Валера, что матери передать, если надолго задержат?

— Ничего, — сказал я сердито.

— Валера, ты на меня не сердись. Если бы я первый полез, они сцапали бы меня.

— А почему же ты не полез первым?

— Кому-то же надо быть первым. А теперь что ж — нам двоим пропадать?

— Ну и сволочь у тебя дружок, — заметил дружинник, шедший ближе ко мне. — Возьми его тоже, — сказал он своему товарищу.

— Иди сюда, — сказал второй дружинник и сделал шаг к Толику.

— Сейчас, разбежался, — сказал Толик и на шаг отступил.

— Догоню ведь, — сказал дружинник и сделал еще один шаг.

— Как же, догонишь, — сказал Толик, отступая к кустам. — У тебя по бегу какой разряд?

— Черт с ним, — сказал тот, что был возле меня. — Хватит нам на первый раз одного.

— Ты можешь пойти на танцы, — сказал я Толику. — Дырка свободна.

— Ладно, — оборвал дружинник, — хватит разговаривать. Пошли.

Дежурный по отделению милиции, молодой белобрысый сержант, при моем появлении не проявил ни малейшего удовольствия.

— Вы еще мне танцоров будете водить, — сказал он дружинникам. — Дали бы под зад пинка — и пускай себе катится на все четыре. А теперь протокол на него составлять, начальству докладывать.

— Мы еще одного хотели взять, — сказал дружинник, приведший меня, — да он убежал.

— Ладно, идите. — Сержант недовольно махнул рукой. — А ты садись на скамейку, посиди.

Я сел на желтую, с облупившейся краской скамейку, а дружинники все еще стояли, переминаясь, перед барьером, отделявшим их от дежурного.

— Ну, чего стоите? — сказал дежурный. — Сказано вам: свободны.

Они-то, наверное, думали, что им вынесут благодарность за их выдающийся подвиг. Обиженные, они повернулись и направились к выходу.

Сидевший на табуретке у входа толстый милиционер в надвинутой на глаза фуражке посторонился, дружинники вышли.

— Так, может, я пойду, если я вам не нужен, — сказал я и встал.

— Отдохни пока, — сказал дежурный и обратился к стоявшей перед ним девице примерно моего возраста, а может, чуть-чуть постарше: — Так как твоя фамилия?

Девушка стояла, положив руки и подбородок на барьер, и смотрела на милиционера преданными глазами.

— Иванова, — сказала она охотно.

— А может, Петрова?

— Может, Петрова, — согласилась девушка.

— А правильно как?

— Правильно Иванова.

— Ты где-нибудь работаешь?

— Нет. Работала в столовой, потом уволили по сокращению. На самообслуживание перешли.

— В какой столовой?

— В какой столовой-то? Ну, в обыкновенной столовой. Знаете, где едят.

— Ты мне голову не морочь. Номер столовой?

— А я, чего-то не припоминаю.

— И где находится не помнишь?

— Нет.

— Ну, хорошо. А родители у тебя есть?

— Нет.

— А у кого ты живешь?

— У тетки.

— А как фамилия тетки?

— Иванова.

— А зовут как?

Девушка перевела взгляд с сержанта на меня, потом опять на сержанта, пожалала плечами и вздохнула.

— Не помню.

Сержант вздохнул тоже.

— Ну, хорошо. А где живет твоя тетка?

— А она не живет. Она померла.

Дежурный вышел из себя.

— Слушай, что ты мне голову морочишь. Вот сядь здесь и сиди до утра. Начальник придет, он сам с тобой будет разговаривать.

— Как же сидеть? — возмутилась девушка. — Мне на троллейбус надо и спать охота.

— Сидя поспишь. Ну-ка, танцор, подойди сюда.

Я подошел.

— Как фамилия?

— Важенин.

— Зовут?

— Валерий.

— Где работаешь?

— В почтовом ящике. — Я решил напустить туману.

— Что ж ты, ящик, без билета на танцы лазишь? Денег нет? — (Я промолчал.) — Раз денег нет — сиди дома. А теперь будешь здесь сидеть. До утра. А утром к судье — и на пятнадцать суток. Понял? Вот. Садись... Крошкин, — сказал он толстому милиционеру. — Ты тут погляди за ними. Я сейчас вернусь.

Сержант ушел.

Девушка сидела на лавочке, обхватив руками колени и глядя в пол. Когда я садился с ней рядом, она быстро вскинула на меня глаза и снова опустила их к полу. Я исподволь к ней пригляделся. Беленькая такая, с красивы-

ми ногами. Глаза у нее, насколько я успел заметить, были большие, темные, только слишком подкрашены в уголках. Темная юбка в обтяжку слегка открывала круглые колени.

— Тебя правда Валеркой зовут? — шепотом спросила девица.

— А что ж я — врать буду? — ответил я тоже шепотом.

Она убрала руки с колен и подвинулась ко мне вплотную.

— А я им все вру, — сказала она. — Им хоть правду говори, хоть неправду — все равно не поверят, так я вру нарочно, пускай работают, пишут свои протоколы. Или вообще не говорю ничего. Спрашивает: «Как зовут?» А я говорю: «Не помню». — «Что, говорит, тебе память отшибло?» А я говорю: «Не отшибло, а я такая и родилась беспамятная». Ну, он злится! А вообще-то меня Татьяна зовут.

— «Итак, она звалась Татьяной...»

— Чего это ты сказал?

— А это стихи такие, — сказал я.

— Стихи? — переспросила она мечтательно. — Я стихи ужас как люблю. Прямо до смерти. — И прочла, откинув в сторону правую руку: — «Вино в бокале надо пить, пока оно играет, жизнь дана, надо жить, двух жизней не бывает».

Милиционер на табуретке очнулся, сдвинул фуражку на затылок, посмотрел на Татьяну.

— Ты чего? — спросил он зловеще. — Самодеятельность устраиваешь?

— Проснулся? — обрадовалась она. — С добрым утром, дядя. Физкультпривет!

— Я вот тебе дам физкультпривет, — лениво проворчал милиционер.

— Какой сердитый, — скривила губы Татьяна. — Тебя что, работа испортила?

— У меня работа нормальная, — сказал милиционер. — Не то что у тебя.

— А сколько тебе платят за твою работу, а?

— С меня хватает.

— Я вижу, что хватает. Небось, когда здесь по коридору идешь, ушами за стенки цепляешься.

— Замолчи! — повысил голос милиционер.

— А чего мне молчать-то? Свобода слова. Понял? Чего хочу, то говорю.

— Замолчи, а то встану, — сказал милиционер. И встал.

— Ну, чего встал? — Татьяна тоже встала. — Думаешь, я тебя испугалась, да? Да мне на тебя плевать. Тьфу!

Милиционер двинулся к ней. Я вжался в стенку. Сейчас что-то будет. Татьяна, протянув вперед руки с растопыренными пальцами, продолжала дразнить приближавшегося к ней милиционера.

— Ну, подойди сюда, — перешла она на завораживающий полусшепот. — Подойди, бегемот проклятый, подойди еще. А-аа! — закричала она неожиданно пронзительным голосом, вскочила на лавку и прижалась спиной к стене.

— Чего орешь? — растерялся милиционер.

— А что, испугался? — Татьяна заплясала на лавке. — Чего ору, да? А вот хочу и ору. А-аа! — закричала она еще пронзительней.

Расстегивая на ходу кобуру револьвера, вбежал дежурный сержант. Остановился посреди комнаты.

— В чем дело? — спросил он, переводя взгляд с Татьяны на милиционера.

— Спроси у нее. — Милиционер отошел к своей табуретке, сел и снова закрыл глаза козырьком.

— Чего вопила? — спросил с любопытством сержант у Татьяны.

Татьяна села на место, оправила юбку, сложила руки между колен и сказала жалобно:

— Сержант, он меня изнасиловать хотел.

— Тебя? — насмешливо переспросил сержант.

— Меня, — сказала она еще жалобней и для убедительности шмыгнула носом. — Вот, пожалуйста, свидетель сидит, — показала она на меня. — Он может подтвердить.

— Бедная ты, — сказал сержант, заходя за свою загородку. — Несчастливая. Беззащитная. — И стукнул неожиданно кулаком. — Будешь у меня тут хулиганить — я тебя живо на пятнадцать суток оформлю. Ясно?

— Ясно, — покорно согласилась Татьяна.

Зазвонил телефон. Сержант снял трубку.

— Дежурный по отделению милиции слушает, — сказал он в трубку. — Да. Алкоголики? Ну, ладно, поме-

стим где-нибудь. Я думаю, им отдельной жилплощади не требуется? — Он повесил трубку, раскрыл какую-то книгу и отметил в ней что-то.

— Сержантик, — ласково сказала Татьяна, — отпусти меня домой, а? А то я на последний автобус опоздаю, тетка волноваться будет.

— Тетка, которая померла? — поинтересовался сержант.

— Да она не то чтобы померла, а так — и померла, и не померла, и живет еще.

— Отпустить ее, что ли? А, Крошкин? — обратился сержант к толстому милиционеру.

— Крошкин, — попросила Татьяна. — Крошечка, скажи, пусть отпустит.

— А ты чего обзывалась? — обиженно сказал Крошкин.

— Да я ж пошутила. Я просто так. Характер у меня дурной. Тетка говорит: «Тебя с таким характером ни один дурак не возьмет замуж».

— Ладно, пусть идет, — махнул рукой сержант.

— Пусть идет, — согласился Крошкин. Отодвинулся, освобождая проход, и снова закрыл глаза козырьком.

— Вот спасибо. — Татьяна вскочила и направилась к выходу. Обернулась: — Спасибо, сержантик. И тебе спасибо. Слышь, Крошечка. — Она постучала пальцем по козырьку.

— Иди, — махнул рукой Крошкин.

— И больше не попадайся, — добавил сержант.

— В ваше отделение, — сказала Татьяна, — ни за что в жизни.

Мы остались втроем. Сержант посмотрел на меня.

— Ну, а с тобой, орел, что будем делать?

Я пожал плечами:

— Дело ваше.

— Ладно, — сказал он весело, — я сегодня добрый. Валяй и ты.

Я не заставил себя долго упрашивать.

Татьяна стояла на улице. Она рассматривала прикnuвшиеся к бровке тротуара милицейские мотоциклы. Увидев меня, обрадовалась, как родному.

— Ой, — сказала она, разведя руки в стороны. — Те-

бя тоже выпустили? А я так и знала, что выпустят. Куда ж им нас девать? Некуда. Тебе куда идти?

— Некуда, — ответил я в тон ей.

— Как некуда? — всполошилась она. — Тебе что, нигде ночевать? — Она подошла ко мне ближе и посмотрела мне прямо в глаза.

— Что ты, — поспешно сказал я, — я пошутил. У меня все есть. У меня есть квартира с мамой, бабушкой и швейной машинкой.

— Да? — сказала она разочарованно. — А где ты живешь?

Я сказал. Она вздохнула.

— Тебе близко. А мне аж за Дворец переть. Автобусы спатки легли.

— Пошли провожу, — предложил я.

— Далекое ведь.

— Ничего, — сказал я беспечно.

Она взяла меня под руку, и мы пошли. Никогда до этого я не ходил под руку с девушкой. На улице было тепло и тихо. Шелестели листья на ветках деревьев. По улицам только что прошли поливальные машины, и звезды отражались неясно на мокром асфальте.

Мы шли рядом. Я посмотрел на нее сбоку и засмеялся.

— Ты чего смеешься? — спросила она удивленно.

— Вспомнил, как ты Крошкина воспитывала, — сказал я.

— А! — Она засмеялась тоже. — Здорово я ему выдала. Вообще-то он ничего, толстячок потешный. Правда?

— Правда, — сказал я, остановился и посмотрел на нее. — Послушай, а за что тебя забрали в милицию?

— А ты разве не понял? — тихо спросила она.

— Не понял.

Она выпустила мою руку, отошла в сторону и сказала вызывающе:

— За легкое поведение.

— Правда? — спросил я упавшим голосом.

— Конечно, правда.

Она опять оживилась, схватила меня за руку, и мы пошли дальше.

— Понимаешь, я с мальчишкой одним на лавочке целовалась. Я вообще-то целоваться не люблю. А он пристал ко мне, прямо чуть не плачет. А у меня харак-

тер такой дурной: жальливая я очень. Думаю: «Ну, если ему так нужно, что мне, жалко, что ли? Не убудет ведь меня. В крайнем случае потом умоюсь». А тут этот Крошечка. «Вы чем, говорит, занимаетесь в общественном месте?» А я говорю: «Не твое дело, проходи себе стороной». А он говорит: «Ах, не мое дело...» И свисток в зубы. А я говорю: «Выплюнь ты этот свисток, он разный». Мальчишечка-то убежал, а мне бежать не на чем, у меня и так каблук еле держится. А ты думаешь, я правда нигде не работаю? Это я им нарочно сказала. А я вообще-то работаю в парикмахерской. Вот приходи, я тебе любую стрижку сделаю, польку молодежную, польку простую, канадскую, бокс, полубокс, что хочешь. У нас работа художественная. Наш бригадир говорит: «Парикмахер — все равно что скульптор. Он из обормота произведение искусства делает».

На пустыре было тихо и темно. Неуклюжая громада Дворца, освещенная единственной лампочкой, мрачно темнела на фоне звездного неба и косилась на нас пустыми проемами окон.

— Страшный какой, — сказала Таня. — Кто ж, интересно, будет в таком жениться?

— Может, мы с тобой, — пошутил я.

— Не надо насмехаться, — строго сказала Таня.

Пустырь сразу переходил в широкую улицу. Потом мы пересекли площадь, прошли еще немного вперед и повернули направо в темный глухой переулок, в конце которого горел фонарь на столбе. Мы до этого фонаря не дошли и остановились возле крупнопанельного пятиэтажного дома. Было только половина первого, но ни одно окно в доме не светилось, все подъезды тоже были темны.

— Как в войну во время затемнения, — сказал я.

— А откуда ты знаешь, как было в войну? — спросила она.

— Я не знаю, мне рассказывали, — сказал я, — а потом еще я видел кино.

— Чего-то я к тебе за какой-нибудь час так привыкла, — грустно сказала она. — Как будто сто лет тебя знаю. Даже расставаться не хочется.

Я подумал, что она врет, но все равно было приятно.

— Мне тоже не хочется, — сказал я.

— Может, еще погуляем? — спросила она.

Легко сказать — погуляем. Мама с бабушкой, наверно, уже сходят с ума, обзвонили уже все милиции, больницы, «скорую помощь» и бюро несчастных случаев. Я постеснялся ей это сказать, я сказал:

— Не могу. Мне на работу рано вставать.

Она поежилась то ли от холода, то ли просто так.

— На работу? Мне вообще-то тоже. Ну, ладно, пока.

Она издали протянула мне руку. Рука у нее была маленькая и холодная.

— А когда мы с тобой встретимся? — спросил я.

— Никогда. — Она вырвала руку и скрылась в темном подъезде.

Я постоял немного на улице, потом тоже вошел в подъезд. Ничего не было видно. Я нащупал рукой шершавую полоску перил и остановился, прислушался, слышал ее шаги. Она тихо, словно крадучись, поднималась по лестнице. Я думал: сейчас откроется дверь и я на слух определю, на каком этаже она живет. Сейчас она была, как мне казалось, на третьем. Пошла выше. Четвертый. Еще выше. Значит, она живет на пятом. Остановилась. Сейчас откроется дверь. Не открывается. Я посмотрел наверх. Ничего не было видно, только чуть обозначенное синим окно на площадке между третьим и вторым этажами. Может, Татьяна тоже пытается разглядеть меня и не видит? Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я ступил на первую ступеньку лестницы. Потом на вторую. Тихо-тихо, ступая на носках, я поднимался по лестнице. Вот и пятый этаж. Лестница кончилась. Татьяна была где-то рядом. Я слышал, как она прерывисто дышит. Я вытащил из кармана спички и стал ломать их одну за другой, потому что они никак не хотели загораться. Наконец одна спичка зашипела и вспыхнула, и я увидел Татьяну. Испуганно прижавшись к стене, она стояла в полушаге от меня и смотрела, не мигая. Потом ударила меня по руке, и спичка погасла. Потом она обхватила мою шею руками, притянула к себе и прижалась своими губами к моим.

Я позабыл о маме, о бабушке, о себе самом.

Вдруг она громко зашептала:

— Убери руки, обижаться буду! Руки! — Она резко меня оттолкнула.

Я зацепил ногой мусорное ведро, оно загремело.

— Тише! — шепнула она.

Глаза мои привыкли к темноте, в слабом свете, про-никавшем сквозь окно на площадке между этажами, я различал смутно ее лицо. По-моему, она усмехалась. Усмехалась потому, что я дышал, как загнанная лошадь, и ничего не соображал.

— Ты что, сумасшедший? — спросила она.

— Нет, — сказал я, переводя дыхание.

— А чего ж ты?

— Чего «чего»?

— Чего руки распускаешь, говорю? — сказала она громко.

Я не знал, что ответить.

— Ты всегда так делаешь? — спросила она уже тише.

— Всегда. — Я рассердился и полез в карман за сигаретами.

— Дай закурить, — сказала Таня.

— А ты разве куришь?

— А как же.

Прикуривая, она смотрела на меня с любопытством. Я поспешил прикурить сам и погасил спичку. Некоторое время курили молча. Потом она спросила:

— Ты раньше с кем-нибудь целовался?

— всю жизнь только этим и занимаюсь.

— Что-то не похоже, — усомнилась она.

— Почему?

— Почему? — Она затянулась и пустила дым прямо мне в нос. — Не умеешь. Хочешь, научу?

Я ничего не ответил. Она взяла у меня окурочек и вместе со своим бросила в лестничный пролет. Окурочки, ударяясь о ступеньки и рассыпая бледные искры, полетели зигзагами вниз, то встречаясь, то расходясь, и пропали.

— Ну, учись, — сказал Татьяна и пригнула меня к себе.

Назавтра мы договорились встретиться снова. В восемь часов возле универмага.

Приближалось утро, небо бледнело, на улицы вышли дворники и громко шаркали метлами.

Пустырь я пересек напрямую и вышел к площади Победы. За площадью свернул на бульвар и пошел по аллее. Редкие фонари рассеивали конусы света, на темных скамейках блестела роса.

Я шел, не торопясь. Торопиться мне, собственно говоря, было уже просто некуда. Бабушка с мамой, конечно, обегали все, что можно обегать ночью, и теперь си-

дят при свете, ждут. Приду — будут попрекать, будут демонстративно глотать сердечные таблетки и капли. Хоть совсем не приходи.

Потом я услышал какие-то голоса и смех и посмотрел вперед. Впереди меня под фонарем расположилась группа каких-то людей. Они сдвинули вместе две скамейки, некоторые сидели на этих скамейках, а те, кому не хватило места, стояли.

Я несколько сбавил шаг и стал смотреть себе под ноги. Потом нашел кусок кирпича, хотел положить его в карман, но в карман он не влез, я прижал его к бедру и пошел немного правее, подальше от скамейки, на всякий случай. Мало ли чего может случиться, когда на улице нет ни милиции, ни прохожих — никого, кроме меня и этих парней.

О чем они разговаривали между собой — я не слышал, но когда я поравнялся с ними, они замолчали и уставились на меня, я этого не видел, но чувствовал. Я шел, напрягшись, и держал кирпич так, чтобы его не было видно.

— Валерка! — услышал я знакомый голос и обернулся. Ко мне приближался Толик.

И я сразу вспомнил двор школы, турник, тренирующихся парашютистов и приказ инструктора в кожаной куртке собраться в три часа ночи на бульваре у кинотеатра «Восход».

Я незаметно бросил кирпич в кусты.

— Ты откуда? Из милиции, что ли?

— Из санатория, — сказал я сердито. Я никак не мог простить ему, что он ушел, когда дружинники тащили меня в милицию.

— Ну, я так и знал, что до утра выпустят, — сказал Толик. — У них и без тебя работы хватает.

— Ну да, — сказал я, — ты все знал заранее. А чего ж тогда ты со мной не пошел?

— А зачем нам вдвоем идти? — сказал Толик. — Тебе разве легче было бы, если б меня тоже забрали?

— Морально легче, — сказал я. — Вместе лезли, вместе надо и отдуваться. Я на твоём месте ни за что не ушел бы.

— Ну и зря, — сказал Толик. — Зря не ушел бы. Ты прыгать будешь?

— Ну да, прыгать, — сказал я. — Ты-то выпался, а я из-за тебя всю ночь глаз не сомкнул.

— А я, думаешь, спал? — обиделся Толик. — Я этих провожал. Как их? Олю и Полю.

— Ну и что? — спросил я.

— Да ничего. Они в общежитии живут. Я хотел с Олей в подъезде постоять, а эта зараза рыжая тоже стоит, не уходит. Ну, я плюнул и ушел. Поехали, а?

— Да я не знаю, — заколебался я. — Мать волноваться будет.

— Не будет, — сказал Толик. — Она ко мне приходила в час ночи, я сказал, что ты поехал к товарищу за книжками для института и останешься у него ночевать. Поехали.

В это время из-за угла выехал микроавтобус с включенными подфарниками. Он остановился как раз напротив скамеек. Из него вылез знакомый уже нам инструктор и, сложив ладони рупором, весело закричал:

— Эй, парашютисты, вали все сюда!

Все парашютисты кинулись прямо через газон к машине.

— Ну что, ты едешь или не едешь? — нетерпеливо спросил Толик.

— Да я не знаю, — сказал я. Я все еще колебался.

— Ну, как хочешь, — сказал Толик и побежал к машине.

— А, была не была, — сказал я и побежал вслед за ним.

Дорога была длинная. Мы проехали весь город, выехали на шоссе, потом свернули на проселочную дорогу и еще долго ехали по ней. Когда приехали на аэродром, было уже совсем светло.

Аэродром был аэроклубовский. На нем не было, как я себе представлял раньше, бетонных дорожек или стеклянных ангаров — просто клочок поля с выгоревшей травой, два небольших домика и несколько белых цистерн с бензином, врытых наполовину в землю.

Маленькие зеленые самолетики (потом я узнал, что они называются «ЯК-18») взлетали, садились, рулили по земле, таща за собой хвосты желтой пыли. По полю взад и вперед сновали какие-то люди в комбинезонах.

Наш микроавтобус подъехал к одному из домиков, над крышей которого болтался полосатый мешок.

Инструктор первый вылез из кабины и встал возле дверцы.

— Вылезайте, да побыстрей, — скомандовал он.

Парашютисты стали по одному выпрыгивать из машины, а инструктор считал:

— Раз, два, три, четыре...

Пятым из машины вылез я.

— А ты встань сюда. — Инструктор показал мне место рядом с собой. — И ты тоже, — сказал он вылезшему из машины Толику. Пересчитал остальных. Скомандовал: — В колонну по два становись! Равняйся! Смирно! Шагом марш вон к тому самолету. — Он показал на самолет, который стоял отдельно от других. У него на фюзеляже был нарисован такой же, как на куртке инструктора, парашютный значок.

— А мы как же? — растерялся Толик.

— Как хотите, — сказал инструктор. — У меня вас в списках нет.

Мы остались одни.

— Дурачок какой-то, — укоризненно сказал Толик, глядя вслед удаляющемуся инструктору. — Раньше не мог сказать.

— А он нарочно завез нас, хотел проучить, — сказал я.

— Я и говорю: дурачок. — Вид у Толика был виноватый. — Может, такси где поймать? У меня деньги есть. Я у отца трешку свистнул.

— Какое уж тут такси, — безнадежно сказал я.

Я достал сигареты, дал Толику, взял себе. Пробегавший мимо человек в комбинезоне сказал:

— Ребята, здесь курить нельзя. Там за домом курилка.

За домиком вдоль стены тянулась длинная, врытая в землю скамейка, перед ней железная бочка, тоже врытая в землю и наполненная наполовину водой. Вода была мутная, в ней плавали жирные размокшие окурки. На краю скамейки сидели два летчика. Один — лет тридцати, маленький, коренастый, черный, как жук, — был похож на мелкого жулика. На нем были широкие брюки и бежевая куртка на молниях. Из-под белого подшлемника выбивалась на лоб аккуратно подстриженная челочка. Другой был постарше, повыше, рыжий, с белы-

ми глазами, как у альбиноса. Мы с Толиком сели с другого края.

Летчики не обратили на нас никакого внимания, они вели между собой какой-то странный, непонятный мне разговор.

Белоглазый жаловался:

— Выходит, курсант сломал ногу, а ты должен за него отвечать.

— А как он сломал? — спросил черный. — Ткнулся на три точки?

— Если б на три. А то как шел носом, так и воткнулся.

— И что, ничего теперь с ногой сделать нельзя?

— Черт ее знает. Отдали пока в ПАРМ, может, там сварят. А не сварят — придется новую ставить. А за новую вычтут из зарплаты.

— Это уж точно, — вздохнул черный. — У меня в прошлом году курсант фонарь в воздухе потерял, и то два месяца высчитывали, а это же нога.

Он встал и швырнул в бочку окурков. Белоглазый тоже встал и свой окурков раздавил каблуком.

Они ушли.

Впереди нас, немного левее, белели наполовину врытые в землю большие цистерны. Они были огорожены колючей проволокой. Между двумя цистернами стоял маленький черный ишак, запряженный в двухколесную тележку, на которой лежала железная бочка. И маленький человек в грязном комбинезоне при помощи ручного насоса перекачивал что-то не то из цистерны в бочку, не то из бочки в цистерну.

— А я эту Олю вчера поцеловал, — неожиданно похвастался Толик. — Мы стояли в подъезде, а рыжая пошла к себе воды попить. А я Олю к батарее прижал и — чмок, прямо в губы. А она ничего, только говорит: «Не надо, Толя, мы еще мало знакомы». А я говорю: «Так будем больше знакомы». И тут эта рыжая снова приперлась и помешала. — Толик с видом явного превосходства посмотрел на меня.

— Подумаешь, — сказал я. — Я всю ночь целовался.

— С милиционером?

— Зачем с милиционером? С девчонкой. Вчера познакомился.

— Где познакомился? — Толику никак не хотелось в это поверить.

— В милиции, — сказал я.

— Не заливай.

— Не веришь — не надо, — сказал я и снова стал следить за человеком в грязном комбинезоне.

Человек перестал качать насос. Сложил шланг, после чего залез на бочку и пнул ишака сапогом. Ишак покорно тронулся и, миновав узкий проход в колючей проволоке, побрел в сторону стоянки самолетов, таща за собой двуколку с железной бочкой, на которой круглыми белыми буквами было написано: «Масло».

— Слышь, — не выдержал Толик. — А что за девочка? Красивая?

— Красивая, — сказал я.

— А зовут как?

— Таня.

Я не хотел рассказывать ему, но он пристал как баный лист: как выглядит да сколько лет, и я постепенно ему все рассказал. Тогда Толик подумал и сказал с облегчением:

— А, я ее знаю.

— Откуда? — удивился я.

— Да ее все знают, — сказал Толик. — Она с Козубом путалась.

— Кто это тебе говорил? — не поверил я.

— Козуб. Да я и сам сколько раз видел их вместе.

— Мало ли чего ты видел. Может, это вовсе и не она.

— Да как же не она? — сказал Толик. — Все сходится: Татьяна, работает парикмахершей. Она за Дворцом живет?

— Нет, не за Дворцом, — соврал я. Продолжать этот разговор мне не хотелось.

Далеко над опушкой леса на большой высоте кружился самолет. Он делал всевозможные фигуры: петли, бочки, иммельманы, то падал вниз камнем, то свечой взмывал вверх и терялся за легким облачком.

Из-за домика вышел белобрысый паренек в комбинезоне, подпоясанном армейским ремнем. Под ремнем болтался шлемофон с дымчатыми очками. В руках у него было ведро, в ведре лежала какая-то часть мотора, болты, гайки. Я сначала не обратил на парня никакого внимания, потому что следил за самолетом.

— Во дает! — восхитился Толик. — Вот бы на нем прокатиться. Скажи?

Я не ответил.

Паренек достал из кармана комбинезона сигареты, спички, закурил.

— Смотри, смотри, штопорит! — закричал Толик.

— Не штопорит, а пикирует, — поправил парень.

— Да? Пикирует? — усомнился Толик. Он осмотрел парня с ног до головы, задержал взгляд на шлемофоне с очками и спорить не стал.

Я тоже посмотрел на парня и вдруг узнал:

1. — Славка!

Славка недоуменно посмотрел на меня и тоже про-
снял:

— Валерка! Ты что здесь делаешь?

— Да ничего. Толик, познакомься: это Славка Пер-
ков, мы с ним в школе вместе учились.

Толик не спеша протянул Славке руку и со значени-
ем представился:

— Толик.

— А ты здесь что делаешь? — спросил я.

— Вообще то же, что и все, — сказал Славка. — Ле-
таю.

— Как летаешь? — не понял я.

— Ну как летаю. Обыкновенно. Я же в аэроклубе
учусь. Ты разве не знал?

— Первый раз слышу.

— Вот тебе нá. — Славка даже присвистнул. — Да я
уже кончаю. Еще месяц — и все.

— А потом что? — спросил я.

— Потом пойду в истребительное училище. Сейчас у
истребителей такие скорости, что летать можно только
лежа.

— И ты сам можешь летать на самолете без инст-
руктора?

— Конечно, сам, — сказал Славка. — Я же тебе го-
ворю: кончаю уже.

— И вот так можешь? — Я показал на самолет, вы-
полнявший фигурный пилотаж.

— Знаешь что? — Славка встал, взял ведро в руки.—
Хочешь со мной прокатиться?

— А разве можно?

— Даже нужно. А то нам вместо человека мешок с
песком во вторую кабину кладут. Для центровки. Но на
всякий случай, если спросят, хочешь ли в аэроклуб, го-
вори: «Хочу». Мечта, мол, всей жизни. Понял?

— Понял, — сказал я. — Только я ведь с товарищем.

— Ну, можно и товарища. — Славка посмотрел на Толика. — Пойдешь?

— Я-то?

— Ты-то.

Толик посмотрел на Славку, потом на кувыркающийся самолет, снова на Славку.

— Да нет, — сказал он лениво, — что-то не хочется. — Повернулся ко мне: — А ты иди, если хочешь, я здесь подожду.

Мы со Славкой прошли в конец стоянки, к самолету, который стоял без колес, поднятый на «козелки». Из открытой кабины торчали ноги в брезентовых сапогах.

— Техник! — Славка поставил ведро и забрался на крыло. — Техник! — Он дотронулся до одной ноги и покачал ее. — Я карбюратор промыл, все в порядке.

Голос из кабины ответил:

— Теперь промой подшипники колес, набей смазку, я шплинт поставлю, потом проверю.

— Техник, — сказал Славка. — Мне летать пора.

Ноги поползли сперва вверх, потом опустились на крыло, из кабины вылез рыжий человек с перепачканным смазкой лицом.

— «Летать», «летать», — сказал он, вытирая потный лоб рукавом и еще больше размазывая грязь. — Летать все хотят, а как драить машину, так вас днем с огнем не найдешь. Скажи командиру, пусть пришлет курсантов, которые отлетали.

— Ладно, — сказал Славка, — скажу. — Он повернулся ко мне: — Бежим.

Посреди аэродрома квадратом были расставлены четыре длинные скамейки, на них сидели курсанты в комбинезонах, полный человек в кожаной куртке и военной фуражке и летчик с белыми глазами, который в курилке жаловался на курсанта, сломавшего какую-то ногу.

В стороне от квадрата маленький летчик, похожий на жулика, распекал долговязого, нескладного парня с длинными, как у обезьяны, руками.

— Ты, Кузнецов, — говорил летчик, — длинный фитиль. Ты не можешь сообразить своей головой, что, когда у тебя крен семьдесят градусов, руль поворота работает, как руль высоты, а руль высоты работает, как руль поворота.

— Почему не могу? Могу, — тихо обижался Кузнецов.

— А если можешь, какого хрена выправляешь шарик ногой, когда его надо ручкой тянуть?

Курсант виновато глядел в пространство. Может быть, он не знал, что ответить.

Тут Славка схватил меня за руку и всунулся между летчиком и курсантом.

— Иван Андреич, — сказал он. — Вот мой товарищ, он хочет в аэроклуб поступить.

— Молодец, — сказал Иван Андреич. — Летчик — самая настоящая профессия для мужчины. Летчик — это романтика, красивая форма, деньги...

— И короткая жизнь, — неожиданно сострил Кузнецов.

— Что ты сказал? — возмутился Иван Андреич.

— Я пошутил, — быстро сказал Кузнецов.

— Ах, ты пошутил. Сейчас же на стоянку к Моргуну и драить машину. Понял?

— Иван Андреич, я пошутил, — взмолился Кузнецов.

— Шутка становится остроумней, когда за нее надо расплачиваться, — изрек Иван Андреич. — Шагом марш к Моргуну!

Курсант нехотя двинулся в сторону стоянки.

— Бегом! — крикнул ему вслед Иван Андреич. И повернулся ко мне: — После аэроклуба можешь поступить в любое училище. Три года — и ты лейтенант. Еще три года — старлей. Восемнадцать лет прослужишь — полковник. Документы принес?

— Нет, — сказал я, ошеломленный богатством открывшихся перспектив.

— Хорошо, принесешь завтра. Аттестат зрелости, справку с места работы, с места жительства, две фотокарточки. В отделе кадров скажешь, чтоб записали во второе звено ко мне. Понял?

Тут незаметно подошел белоглазый.

— Почему же он должен записываться во второе, — сказал он, — может, он хочет в первое.

Иван Андреич повернулся к белоглазому, осмотрел его с головы до ног, словно видел впервые, и тихо, но внятно сказал:

— В первое он не хочет. Ему там нечего делать.

— Почему же нечего? — обиделся тот. — Что ты — лучше других?

— Я лучше, — убежденно сказал Иван Андреич. — Я курсантов летать учу, а не шасси ломать.

— Тоже мне учитель нашелся, — фыркнул презрительно белоглазый. — А в прошлом году кто фонарь потерял?

— А ты — хрен в сметане, — не найдя других возражений, буркнул Иван Андреич.

— Товарищи! — крикнул из квадрата человек в кожанке. — Прекратите немедленно. Вы что тут базар устроили? Хоть бы постеснялись курсантов.

— Да мы ничего, товарищ майор, — смутился Иван Андреич. — Просто небольшой обмен опытом. — Он наклонился ко мне и тихо напомнил: — Во второе звено. Понял?

— Иван Андреич, — снова влез Славка. — Можно, я его с собой в зону возьму для ознакомления?

Иван Андреич замялся.

— В зону нельзя, — сказал он. — По кругу еще куда ни шло, а в зону нет. Строжайший приказ по ДОСААФ: посторонних не возить.

— А я его возьму, — сказал белоглазый. — У меня сейчас Ухов летит, посажу к нему.

— Еще чего не хватало, — возмутился Иван Андреич. — Да твой Ухов летать не умеет. Угробит зазря человека. А из него, может, ас мирового класса бы вышел. Может, вышел бы космонавт.

Он говорил таким тоном, будто неизвестный мне Ухов уже меня загубил.

— Перков! — закричал Иван Андреич Славке так, словно Славка был далеко. — Разрешаю. Понял? Под свою ответственность. Пусть возьмет мой парашют. Только без фокусов. Если что, ноги вырву, спички вставлю и ходить заставлю. Понял?

— Так точно. Понял, — ответил Славка.

Первый раз в жизни я в воздухе. Натужно на одной ноте гудит мотор, самолет, задрав нос, медленно подбирается к пухлому облаку. Внизу какой-то чахлый лесок, деревушка, узкая полоска шоссе с ползущим по нему ярко-красным, похожим на божью коровку автобусом.

В наушники сквозь гул мотора прорываются голоса:

— «Альфа», я — сорок шесть, закончил третий, разрешите посадку.

— «Альфа», я — семнадцатый, к взлету готов.
— Сорок шестому — посадка.
— Семнадцатый, побыстрее взлетайте, не чухайтесь на полосе.

— Двадцать третий, куда лезешь не в свою зону, дурак?

— Четырнадцатый, прекратите болтовню в эфире. Ваша зона четвертая, четвертая зона. Как поняли меня? Я — «Альфа». Прием.

— Я — четырнадцатый, понял вас, понял. Прием.

Низкий невнятный голос сонно бубнит:

— Даю настройку, настройку, настройку. Один, два, три, четыре, пять, пять, четыре, три, два, один. Как понял меня? Прием.

— Понял, давно понял, закройся. Прием.

— Радисты, радисты, я — «Альфа», перестаньте хулиганить. Я — «Альфа».

— Валерка, — неожиданно слышу я свое имя и вздрагиваю, — как чувствуешь себя?

Сообразив, в чем дело, нажимаю на кнопку переговорного устройства (кнопку мне показали еще на земле):

— Тридцать первый, я — Валерка, чувствую себя отлично. Как поняли? Прием.

— Не дурачься, — отвечает спокойно Славка.

Он сидит в передней кабине. Передо мной, заслоня горизонт, торчит его круглая голова, обтянутая кожей потертого шлемофона.

— Славка — мой школьный товарищ, с которым я просидел столько времени за одной партой, — ведет этот самолет. Он может накренить его влево или вправо, может по своему усмотрению ввести в пике или перевернуть вверх колесами. Славка, которому я не однажды давал по шее, который учился в школе гораздо хуже меня, может управлять этой машиной, может делать с ней все, что угодно. На разворотах машина кренится, одно крыло опускается к земле, другое упирается в небо. Я хватаюсь за подлокотники кресла. Самолет переваливается на другое крыло, потом выравнивается и опять ползет вверх.

Снова Славкин голос:

— Поуправлять хочешь?

Я недоверчиво смотрю на его затылок.

— Ты мне, что ли?

— А кому же еще? Поставь ноги на педали.

Нагибаюсь, смотрю на педали, потом осторожно совываю ноги под ремешки.

— Поставил? — спрашивает Славка. — Теперь возьми ручку управления.

Беру.

— Ручка управления, — говорит он тоном преподавателя, — служит для управления элеронами и рулем высоты. Ручку от себя — самолет идет вниз, ручку на себя — вверх, ручку влево — левый крен, ручку вправо — правый. Педаль служат для управления рулем поворота. Чтобы повернуть влево, надо координированным движением дать ручку влево и левую ногу вперед. Вот так.

Ручка и педали чуть шелохнулись, самолет накренился, горизонт поплыл вправо мимо Славкиной головы.

— Понял? — спросил Славка и выравнивал самолет.

— Понял, — сказал я.

— Ну давай, шуруй.

Я взял и не долго думая двинул ручку влево к борту кабины и тут же бросил ее, потому что самолет чуть не перевернулся — левое крыло оказалось внизу, а правое уперлось в небо. Потом крылья описали обратную дугу, самолет покачался и пошел ровно.

— Ты что, ошалел? — испуганно сказал Славка.

— Ты же сам сказал — ручку влево, ногу вперед.

— Я сказал, — проворчал Славка. — Надо чуть-чуть, еле заметным движением. Хорошо, что аэродром далеко, а то руководитель полетов сделал бы замечание.

— Ты извини, я не хотел, — сказал я.

— Ничего, обошлось, — сказал Славка и закричал: — «Альфа», «Альфа», я — тридцать первый, вошел в зону, разрешите работать!

Работать ему разрешили.

Я посмотрел на стрелки высотомера — прибора, похожего на часы. Маленькая стрелка стояла на единице, большая на двойке. «1200 метров», — сообразил я.

— Сейчас будем делать восьмерку, — сказал Славка. — Сперва левый вираж на триста шестьдесят градусов, потом правый. Вон видишь, на горизонте телевизионная вышка? По ней будем ориентироваться.

Я посмотрел вперед и увидел в дымке город — бесчисленное количество серых коробочек. Вышки я не увидел.

Правое крыло плавно поползло вверх, все выше и выше, я подумал, что самолет сейчас перевернется,цепился в подлокотники сиденья, но крыло остановилось почти вертикально, и горизонт пополз вправо. Неимоверная тяжесть вдавила меня в сиденье. Такое ощущение, будто к ногам и рукам привязали двухпудовые гири, а щеки вместе с ушами ползут к плечам.

Славка поворачивает ко мне расплывшееся от счастья лицо.

— Ну как, жмет?

— Жмет немного, — бодрюсь я, еле двигая отяжелевшей челюстью.

— Это что, — говорит Славка, — ерундовая перегрузка. Вот на реактивных — там жмет. Переходим в правый вираж.

Правое крыло падает вниз, левое занимает его место над головой. Снова перед глазами плывет горизонт, но теперь уже в другую сторону.

Самолет выходит из виража, выравнивается.

— Петля! — коротко объявляет Славка.

Я не могу передать все свои впечатления, не могу рассказать, как все это было. У меня для этого не хватает слов.

Были петли и полупетли, бочки правые и левые, боевые развороты и перевороты через крыло. Не всегда я мог понять, где верх, где низ. Земля и небо менялись местами. Иногда казалось, что самолет висит неподвижно, а вселенная вращается вокруг его оси.

Потом наступило затишье, и все встало на свои места. Земля была внизу, небо вверху — даже не верилось.

— Хочешь еще поуправлять? — спросил Славка.

— Еле заметным движением? — спросил я, приходя понемногу в себя.

— Теперь наоборот. Можешь показать все, на что способен. Поставь ноги на педали, возьми ручку. Когда я скажу «пошел», возьмешь ручку на себя до отказа, а левую ногу до отказа вперед. Не резко, но энергично. Понял?

— Понял.

Славка убрал газ, стало тихо. Скорость падала, самолет терял устойчивость — покачивался и проваливался вниз, «парашютировал».

— Пошел!

Я что было сил рванул ручку на себя и двинул впе-

ред левую педаль. Самолет взмыл вверх, встал почти вертикально и вдруг рухнул на левую плоскость. Беспорядочно вращаясь, рванулась навстречу земля. Я испуганно бросил ручку, схватился за подлокотники кресла. Славка перевел самолет в пикирование, потом боевым разворотом вывел на прежнюю высоту.

— Знаешь, что ты сделал? — спросил он.

— Иммельман, — наобум брякнул я.

— Левый штопор, — объяснил Славка. — Сейчас будем правый делать. Ручку на себя и правую ногу вперед. Приготовься. — Он убрал газ, самолет снова начал «парашютировать».

— Пошел!

В правый штопор я ввел самолет более уверенно.

И вот наконец мы садимся, рулим по земле. Нас встречает усатый механик. С поднятыми вверх руками он пятится назад, и самолет послушно тащится за ним. Механик остановился. Остановился и самолет. Механик сложил руки крестом, Славка выключил двигатель. Потом он выбрался на плоскость и открыл фонарь надомной.

— Ну как ты, живой? — спросил он, заглядывая ко мне в кабину.

— Голова кружится, — сказал я.

— Ну и вид, — сказал Славка. — Зеленый, как огурец. Ничего, бывает хуже. Я первый раз после зоны облевал всю кабину. Потом самому чистить пришлось.

И все-таки мне этот полет понравился. Потом я летал много и на самых разных самолетах. Летал со скоростью звука и быстрее звука, сам делал и петли и полупетли, бочки горизонтальные и восходящие бочки. Один раз мне даже пришлось катапультироваться, когда я вошел в плоский штопор и не мог из него выйти, но ни от одного полета у меня не осталось столько впечатлений, сколько от того первого раза, когда Славка разрешил мне прикоснуться к ручке управления.

После полета я пошел искать Толика. В ушах еще стояли крики по радио, шум мотора. Перепонки болели от перепадов давления. Меня еще мутило, в ногах была слабость, а земля казалась нетвердой и зыбкой. Толик мне был нужен немедленно. Я хотел ему рассказать, как все было, как я летал, как говорил по радио, как управ-

лял самолетом и вообще какой я был молодец. Меня просто распирало от впечатлений.

Толик сидел в прежней позе на прежнем месте. Судя по его отрешенному виду, он отсюда и не уходил никуда.

— Ну как? — спросил он со слабо выраженным любопытством. — Летал?

— Летал, — сказал я счастливо. — Еще как летал, Толик!

— Здорово? — спросил он недоверчиво.

— Здорово, — сказал я и, пока не остыл, начал рассказывать: — Значит, так. Надеваем парашюты, садимся в кабину. Запустили мотор, проверили управление. «Альфа», я — тридцать первый, разрешите выруливать». — «Тридцать первый, я — «Альфа», выруливать разрешаю». — «Альфа», я — тридцать первый, разрешите взлет». — «Тридцать первый, я — «Альфа», взлет разрешаю»...

— Подожди, — перебил Толик, — а чего ты такой бледный?

— Ерунда, — сказал я, — укачало немного. Ты слушай дальше. «Альфа», я — тридцать первый, разрешите работать».

— Слушай, — вдруг загорелся Толик. — А что, если мы с тобой сейчас проваливаемся и перед нами голая баба, а?

— Дурак ты, — сказал я, — и не лечишься.

— Нет, ты рассказывай, рассказывай, — сказал Толик.

— Иди ты к черту.

Я махнул на него рукой и пошел в сторону стоянки. Туда подошла машина, которая должна была увезти нас в город.

Домой я вернулся около часу дня. Благодаря усилиям Толика мое возвращение прошло без скандала.

В квартире пахло распаренным бельем и мылом. Стиральная машина гудела на кухне, как самолет. Мать вышла из кухни, вытирая намокшие руки о полы халата.

— Привет, — сказал я ей преувеличенно бодрым тоном. — Как вы тут без меня живете?

— Валера, — спокойно сказала мама, — в следующий

раз, когда ты захочешь ночевать у товарища, я бы хотела знать об этом заранее.

— Ладно, ладно, — сказал я и прошел в комнату.

Бабушка сидела у окна и читала библию.

Библия была у нее настольной книгой. Еще когда я был совсем маленьким, она читала мне Новый завет попеременно с «Коньком-горбунком» и «Песней о купце Калашникове». Помню, мне было жалко не столько самого Иисуса, сколько его ученика Петра, которому Иисус предсказал в роковую ночь, что, прежде чем прокричит петух, Петр трижды отречется от него. Так оно и получилось: трижды отрекся Петр от Христа, а потом вспомнил его слова и горько заплакал.

Потом, когда я научился читать, мне нравилось, как пишутся слова в этой книге «Ветхаго и Новаго завета». И еще нравилось, что все касающееся Иисуса писалось с большой буквы: «Истинно говорю тебе, что Человек Сей есть Сын Божий».

Не могу сказать, чтобы бабушка моя была очень набожной, хотя регулярно читала библию и ходила иногда в церковь не молиться, а слушать, как там красиво поют, и сама порой подпевала тоненьким своим голосочком.

Вообще-то голос у нее был нормальный, но пела она всегда тоненько (слезно), и я вспоминал при этом сказку, в которой волку подковали язык.

К бабушкиным религиозным причудам я относился снисходительно, особенно после того, как в седьмом классе наша учительница химии Леонила Максимовна (она работала по совместительству внештатным лектором в обществе «Знание») посредством нескольких химических опытов неоспоримо доказала отсутствие бога. В библию я тоже давно не верил, но то, что все, касающееся бога, писалось там с большой буквы, мне по-прежнему нравилось. При случае мне хотелось о себе самом написать в подобном стиле. Например, как меня сажали в самолет: «И взяли Его за Руки Его, посадили Его в кабину. А Плечи Его и Живот Его и все Тело Его привязали ремнями».

Я поприветствовал бабушку (помахал ей рукой и сказал: «Приветик»), прошел к себе в комнату, снял пиджак и повесил на спинку стула. Мама вошла следом за мной и остановилась в дверях.

— Ты есть хочешь? — спросила она.

— Пожалуй, можно слегка подзакусить, — великодушно согласился я.

— Иди мой руки.

Я пошел в ванную, умылся. Вернулся на кухню. Съел две тарелки фасолевого супа, две котлеты с картошкой и с ощущением легкого голода пошел к себе в комнату.

— Ты что собираешься делать? — спросила мама.

— Хочу немного вздремнуть.

— Ты разве ночью не спал? — Мама подозрительно посмотрела на меня.

— Вообще-то спал, но еще немного подремать не мешает.

Я снял рубашку и брюки, повесил на спинку стула, забрался под одеяло и уснул как убитый.

Я проснулся с ощущением, что спал очень долго. Я открыл один глаз и посмотрел на часы — они показывали половину восьмого. В восемь я обещал Тане быть возле универмага.

До универмага на автобусе три остановки, пешком минут десять. Десять минут на сборы, пять на то, чтобы что-нибудь пожевать. Пять минут можно еще подремать. Я закрыл глаза.

Через пять минут я решил, что десять минут на сборы слишком много — пяти минут за глаза хватит. За эти пять минут я подсчитал, что на дорогу тоже оставил слишком много — если даже не будет автобуса, быстрым шагом ходьбы минут шесть. Семь от силы. Короче говоря, без десяти восемь я все-таки встал и в трусах побежал в ванную ополоснуться.

Бабушка сидела за швейной машинкой. Мамы не было.

— Физкультпривет, — сказал я бабушке, пробегая мимо.

Вернувшись, я хотел быстро одеться, но брюки куда-то пропали. Ложась спать, я повесил их на спинку стула. Теперь их на стуле не было. Не было и под стулом. На всякий случай я перерыл постель, заглянул под кровать и вышел в большую комнату.

— Бабушка, где мама? — спросил я.

— Мамы нет, — ответила бабушка, продолжая трещать машинкой. — Она ушла в кино.

— В кино — это хорошо, — сказал я. — А где мои брюки?

— А где ты сегодня ночевал? — спросила бабушка.

— Странный вопрос, — удивился я. — Я же сказал: у товарища.

— Если ты ночевал у него, почему же ты весь день после этого спишь?

— У меня летаргия, — сказал я нетерпеливо. — Где мои брюки?

Бабушка оставила машинку и посмотрела на меня из-под очков.

— Твои брюки мама спрятала, чтобы ты никуда сегодня не ходил, а готовился в институт.

— А, в институт... — сказал я. — Хотите, чтобы я стал образованным и интеллигентным человеком, а сами воруете мои штаны. Придется мне идти на улицу в трусах.

— Как хочешь, — ответила бабушка, возвращаясь к любимому делу.

Эта угроза на нее не подействовала. Я вернулся в маленькую комнату и стал рыться в шифоньере в поисках брюк. Брюки я не нашел, но нашел старую мамину юбку из какого-то лохматого зеленого материала. Я взял и примерил ее на себя. Посмотрел в зеркало. А что? Я в ней выглядел не так уж плохо.

Я снова вышел в большую комнату, сказал бабушке:

— Ну, я пошел, — и направился к двери.

— Валера, — остановила меня бабушка, — ты что, серьезно собираешься в таком виде на улицу?

Все-таки она испугалась.

— А что, разве так плохо? — спросил я простодушно.

— Нет, ты, конечно, если тебе самому не стыдно, можешь поступать, как тебе заблагорассудится. Но этим поступком ты поставишь в неловкое положение не только себя, но и нас с мамой. Где это видано, чтобы взрослый мужчина ходил по улицам в юбке?

— Взрослый мужчина, — повторил я. — Во-первых, у взрослых мужчин штаны не отбирают, а во-вторых, тут ничего такого нет, шотландцы, например, взрослые и не взрослые, сплошь и рядом ходят по улицам в юбках.

— Но ты же не шотландец.

— А кто знает? Я же не буду каждому паспорт показывать.

С этими словами я направился к выходу.

— Валерий! — строго сказала бабушка.

Я остановился.

— Я не могу позволить тебе в таком виде выходить на улицу.

— Тогда отдай брюки.

— Хорошо, я тебе отдам брюки, но маме я скажу, что ты меня вынудил.

— Согласен, — сказал я.

Бабушка открыла ящик стола, на котором стояла машинка, и достала брюки. На них были пятна от пыли.

— Прежде чем прятать брюки, надо как следует протирать ящик, — сказал я. — У меня лишних выходных брюк нет.

Я пошел к себе в комнату и, не снимая ботинок, быстро переоделся. Было без пяти восемь.

— Валера, — еще раз попыталась образумить меня бабушка, — зачем ты уходишь, если мама тебе не разрешила?

— У меня дела, — сказал я.

— Какие могут быть на улице дела?

— Разные.

Я вышел.

Когда я пришел к универмагу, было четыре минуты девятого. Я оглянулся вокруг — Тани не было. Хорошо, что пришел раньше я, а не она.

Скамейку под часами захватила группа ребят. Их было много, скамейки им не хватило. Посреди скамейки сидел белобрысый парень с гитарой на веревочке и нещадно рвал струны. Остальные, которые сидели от него справа и слева или стояли напротив, покачивались в такт музыке и, делая зверские рожи, что-то такое пели. Песни у них были разные, а припев ко всем песням один:

Эх, раз! Еще раз!
Еще много-много раз!
Лучше сорок раз по разу,
Чем ни разу сорок раз!

При этом один из стоявших парней хлопал себя по ляжкам и лихо взвизгивал:

— Ух-ха!

Шла двадцатая минута девятого, Тани не было.

Под часами остановилась какая-то девушка. Я подошел ближе, посмотрел на нее сбоку. Девушка держала

в руке изящную сумочку, на которой был изображен космонавт Леонов, свободно плавающий в космическом пространстве. Подпись под рисунком гласила: «Пролетая над Крымом». Я пригляделся к этой девушке и понял, что Таню в лицо я как следует не запомнил. То ли она, то ли не она. Они сейчас все одинаковые. Делают большие глаза и прически вроде тюрбанов. Я описал вокруг девушки глубокий вираж, посмотрел ей в лицо — ничего не понял. Сделал еще один круг в надежде на то, что если это Таня, то она узнает меня. Девушка взглянула на меня равнодушно и отвернулась. Значит, не Таня. Я отошел к газетному стенду, прочел заголовки: «Не снижать темпы заготовки кормов», «Новые злодеяния расистов», «Москва приветствует высокого гостя», «Демократия по-сайгонски», «Замечательная победа советских ученых», «Переполюх в Белом доме».

Я вернулся к часам.

Ребят с гитарой на скамейке уже не было, на их месте сидели старичок с газетой и старушка с вязаньем. Было без пяти девять. Ну что ж, не пришла — значит, не пришла. Я пошел было по улице в надежде встретить Толика, но тут же вернулся. А вдруг она что-нибудь перепутала и решила, что мы встречаемся не в восемь, а в девять.

Я проторчал там еще ровно двадцать минут и только после этого ушел.

Толика я нигде не встретил, он был уже, наверное, в парке. В парк мне идти одному не хотелось, я вернулся домой.

После полета со Славкой во мне что-то словно бы перевернулось. Где бы я ни был — на работе, дома или на улице, — я все время представлял себе, что летаю.

Мама с бабушкой чувствовали, что со мной что-то произошло, но никак не могли понять, что именно, а я им ничего не рассказывал, понимая, что это бессмысленно — все равно не поймут.

Мать однажды не выдержала и спросила:

— Что ты ходишь все время словно очумелый? Может, у тебя какие-то неприятности? Неужели ты не испытываешь желания поделиться с родной матерью?

— Нет, мама, у меня никаких неприятностей, — сказал я, — у меня все в порядке.

Вскоре, однако, меня крупно разоблачили. Как-то я вернулся домой с работы раньше обычного. Мама с ба-

бушкой стояли над фанерным ящиком от посылки, в котором у нас хранились документы. Сейчас содержимое ящика было вывалено на стол беспорядочной грудой.

— Чего вы тут роетесь? — спросил я с самым беззаботным видом.

Мама выпрямилась и строго спросила:

— Где твой аттестат?

Я хотел сказать сразу правду, но не решился и уклонился от прямого ответа.

— Какой аттестат?

— У тебя что, много разных аттестатов? — повысила голос мама.

— А, — сказал я, — разве его здесь нет?

— Валера, куда ты дел аттестат?

— Я его не брал, — сказал я.

Мама подошла ко мне.

— А ну, посмотри мне в глаза.

— Да что там смотреть! — Я рассердился и пошел к себе в комнату. — Нет аттестата, я его сдал.

Мама пошла за мной и встала в дверях.

— Куда сдал? — тихо спросила она.

— Куда надо, туда сдал, — сказал я. — В конце концов я уже достаточно взрослый человек и могу сам распоряжаться своей судьбой.

Мама не отступала.

— Я тебя спрашиваю, куда ты сдал аттестат?

— Куда, куда, — сказал я. — В военкомат.

— Зачем? — Несмотря на всю суровость маминого тона, глаза у нее были испуганные. Мне стало ее жалко, и я сбавил тон.

— Мам, ты не сердись, — сказал я, — я подал заявление в летное училище.

— Так я и знала, — сказала бабушка и всплеснула руками.

Мама вошла в комнату и села на кровать.

— Это правда?

— Правда, — сказал я, стараясь не встречаться с ней взглядом.

— И ты все хорошо продумал? — спросила она, помолчав.

— Да, мам, — сказала я. — Я все продумал. Я летал недавно на самолете, меня катал Славка Перков, и я понял, что хочу быть летчиком. Я не хочу быть энергетиком.

— Но почему обязательно энергетиком? — закричала мама. — Ведь есть много других специальностей. Ты можешь стать физиком, металлургом, железнодорожником. Неужели ты не можешь выбрать из всех одну какую-нибудь приличную специальность?

— Я уже выбрал, — твердо сказал я. — Я буду летчиком.

Мама попыталась воздействовать на мои сыновние чувства.

— Валера, — сказала она, — прошу тебя, пойми меня. Если ты будешь летать, я никогда не буду спокойна. Неужели ты не можешь понять, что ты у меня единственный сын. Что если, не дай бог, с тобой что-нибудь случится, я этого не переживу.

Я промолчал.

— Короче говоря, — успокаиваясь, сказала мама, — ты сейчас же пойдешь в военкомат и заберешь документы.

— Да ты что? Кто мне их отдаст? — сказал я.

— Если попросишь как следует, отдадут. В крайнем случае можешь сказать, что мама тебе не разрешает поступать в это училище.

Тут мне даже стало смешно.

— Ну и чудачка ты, — сказал я. — Да что это такое ты говоришь? Как это я пойду в военкомат и скажу, что мама не пускает меня в училище?

— Да, так и скажешь, — сказала мама. — И ничего тут смешного нет.

— Как же не смешно, — сказал я. — Да надо мной там весь военкомат обхохочется. А если будет война, я тоже скажу, что мама не пускает?

— Если будет война, тогда другое дело, а сейчас ты пойдешь и заберешь документы, если не хочешь, чтобы я это сделала сама.

С этими словами мама встала и пошла в большую комнату. Я пошел следом за ней посмотреть, что она будет делать. Она открыла шкаф, вынула из него свой выходной темно-синий костюм с ромбиком (этот костюм она надевала только в самых торжественных случаях) и пошла в ванную переодеваться.

— Если бы ты был хорошим мальчиком, ты бы не стал так волновать свою маму, — хмуро сказала бабушка.

— Значит, я нехороший мальчик, — сказал я и сел на стул.

Мама вернулась из ванной. Под синей жакеткой на ней была полупрозрачная блузка.

— Ты что, серьезно собралась в военкомат? — спросил я.

— Абсолютно серьезно, — сказала мама, вешая в шкаф свой халат. — Я сейчас же пойду к командиру военкомата.

— Не командир, а начальник, — сказал я.

— Вот я пойду к этому начальнику. Я с ним поговорю. Что это за безобразие? Как это можно мальчика без разрешения родителей записывать в военную школу?

— Мама, — я встал в дверях. — Ты никуда не пойдешь.

— Это еще что такое? — еще больше возмутилась мама. — Отойди от дверей.

— Не отойду, — сказал я.

— Ты может быть, еще драться с матерью будешь? Отойди сейчас же!

В конце концов я отошел.

— Как хочешь, — сказал я. — Все равно документы тебе никто не отдаст.

— Ну, это мы еще посмотрим, — сказала мама и вышла.

Она вернулась примерно через час, возбужденная и довольная. Начальник сперва не хотел ее слушать, а потом сдался и пообещал затребовать документы обратно.

Я ничего не сказал ей. Я пошел к себе в комнату, лег на кровать. Вошла мама и села рядом со мной.

— Сынок, — тихо сказала она и, как в детстве, погладила меня по голове. — Сыночек. Прости меня, пожалуйста, но я не могла поступить иначе. Если бы ты стал летчиком, я бы этого не пережила.

Я ощущал себя самым несчастным на земле человеком. До каких же это пор мной будут руководить? Когда мне позволят самому отвечать за свои поступки?

У Толика жизнь была тоже не сахар.

Однажды в получку он пересчитал деньги и сказал:

— Порядок. Сегодня иду покупать мотороллер. Пойдешь со мной?

Документы для покупки в кредит у него были давно заготовлены. Не заходя домой, мы пошли сначала в сберкассу, там у Толика лежало шестьдесят с чем-то рублей и еще набежало четыре копейки процентов.

Мотороллер мы катили по очереди.

Сначала Толик сидел за рулем, а я толкал, потом толкал Толик, а я сидел.

Мотороллер был весь новенький, жирно смазанный маслом, а передние амортизаторы были еще обернуты вощенной бумагой, чтоб не пылились.

Уже в переулке, недалеко от нашего дома, мы остановились, чтобы передохнуть, мотороллер поставили на дороге, а сами сели на тротуар и закурили.

— Значит, в институт будешь поступать? — спросил Толик.

— Придется, — сказал я не очень весело. — Я уже подал в наш педагогический.

— Ты же в Москву хотел? — удивился Толик.

— Чего я там не видел, — сказал я. — Раз в училище не вышло, поступлю сюда, а там будет видно.

— Слушай, — сказал Толик. — А ты, может, в армию пойдешь. Оттуда в училище попасть легче, чем с гражданки. Там всем, у кого среднее образование, предлагают.

— Ну да?

— Точно тебе говорю. У меня братан двоюродный так поступил.

Это меня заинтересовало. Значит, если я провалю экзамены — возьмут в армию. Из армии — прямая дорога в училище. Это же просто здорово. Блестящий выход из положения.

— Ладно, — сказал я, — поехали дальше.

Толик взгромоздился на мотороллер, и мы поехали. То есть он поехал, а я толкал. Так, подталкиваемый мною, Толик и въехал торжественно в наш двор.

Во дворе было шумно. Мужчины в беседке забивали «козла». Женщины вывели детей и стояли толпой, разговаривали о своих делах.

Группа пацанов в переулке играла в футбол. Когда мы с Толиком въехали, они сразу свой матч закончили, кинулись к Толику, обступили мотороллер и стали обсуждать его достоинства и недостатки.

Подошла и мать Толика, тетя Оля, которая развешивала

вала во дворе белье. Она так и подошла с оставшимся бельем, перекинутым через руку.

— Это что такое? — спросила она у Толика, кивая на мотороллер.

— Не видишь, что ли? Мотороллер, — сказал Толик довольно бодро.

— А где ты его взял?

— По лотерее выиграл, — сказал Толик.

— Ах ты идиот несчастный, — сказала мать. — Да что же ты врешь, бесовестный. — Она подошла к своему окну (они жили на первом этаже) и постучала свободной рукой. — Федор!

Там долго никто не откликнулся.

— Федор, — повторила она, — выйди-ка на минутку.

Окно растворилось, из него высунулся небритый человек в нижней рубахе.

— Чего кричишь? — сказал он недовольно. — Знаешь ведь: человек с работы пришел, отдохнуть должен. — Но тут он заметил Толика с мотороллером, замолчал и долго с любопытством разглядывал и мотороллер и Толика.

— Что это? — спросил он наконец.

— Не видишь, что ли? Мотороллер, — понуро объяснил Толик, глядя на отца грустными и преданными глазами.

— Мотороллер? — заинтересовался отец. — Надо поглядеть.

Он раздвинул на подоконнике горшки с цветами и вылез наружу прямо через окно. Кроме нижней рубахи, на нем еще были серые галифе и шерстяные носки с дырами у больших пальцев. Он оглядел мотороллер со всех сторон, заглянул под переднее колесо, потом погладил рукой сиденье.

— Вот это машина, — сказал он с явным восхищением и повернулся к Толику: — И небось дорого стоит?

— Он его по лотерее выиграл, — насмешливо сказала мать.

— Да не по лотерее, — сказал Толик, — я пошутил. В рассрочку взял. Восемьдесят рублей всего заплатил, а остальные из зарплаты постепенно вычитать будут.

— Постепенно — это хорошо, — сказал отец одобрительно. — Постепенно — это не то что сразу. А на кой он тебе нужен?

— На работу с Валеркой ездить будем.

— На работу, — согласно кивнул отец. — С Валеркой? Это хорошо. Самое главное — удобно. В автобусе давиться не надо.

— И тебя буду возить, — осмелев, задобрив Толик.

— И меня, — эхом откликнулся отец и, неожиданно развернувшись, влепил Толику такую оплеуху, что он повалился вместе со своим мотороллером на землю и чуть не отдал матери ноги, да она вовремя отскочила. — Чтоб больше я этого мотороллера не видел, — спокойно сказал отец Толика и пошел обратно к окну.

— Дурак старый, — сказал ему вслед Толик, поднимаясь и потирая покрасневшую сразу щеку.

— Что ты сказал? — спросил отец и обернулся.

— Тунеядец кривой, — сплевывая на землю кровь, сказал Толик, хотя отец его был вовсе не кривой и даже не тунеядец.

— А ну подойди! — грозно сказал отец и сделал шаг к Толику.

— Сейчас подойду, — сказал Толик, отступая назад.

— Ну, ладно, — сказал отец, — ужо домой прийдешь — поговорим. — И полез в окно. На каждой ягоdice у него было по огромной рыжей заплате.

— Ты с отцом лучше не спорь, — примирительно сказала мать и пошла развешивать дальше белье.

Толик поднял мотороллер и стал смотреть, не погнулся ли руль.

Вечером, когда мы, как всегда, должны были идти в парк, я зашел за Толиком, но, не дойдя до его двери, остановился в коридоре. Из-за двери доносился нечеловеческий крик и звонкие удары ремня по чему-то живому и теплomu. Мне стало жаль Толика.

Сочинение мы сдавали в том самом актовом зале, где некоторое время спустя я проходил медкомиссию. Я пришел сюда с созревшим желанием получить двойку.

Окна были распахнуты настежь, ветер гулял по залу и слегка шевелил листки бумаги, аккуратно разложенные на длинных черных столах по три стопки на каждом.

Мы ввалились туда огромной толпой, нас было человек сто пятьдесят или больше, может быть, даже двести. Все сразу кинулись занимать места поудобней; пока я колебался, осталось только четыре передних стола,

за одним из них, стоявшим возле окна, уселась девушка в белой блузке с комсомольским значком, вероятно отличница. Уже все расселись, а я стоял в проходе между столами и растерянно озирался в надежде на какое-нибудь место сзади, но там было все забито.

Две преподавательницы, ожидая, пока все успокоятся, тихо о чем-то между собой разговаривали. Одна из них, высокая, худая, с крашеными волосами и выдающимся вперед подбородком, подняла голову и посмотрела на меня.

— Молодой человек, вы что, не можете найти себе место? Садитесь сюда. — Она кивнула на стол перед собой.

— Ничего, я здесь, — сказал я и сел рядом с девушкой в белой блузке, хотя мне она (я говорю про девушку) совершенно не нравилась.

Место было не из самых лучших, зато возле окна, которое выходило во двор института, засаженный тополями.

За моей спиной стоял тихий гул, все перешептывались, скрипели стульями и шелестели бумагой. Преподавательницы начинать не спешили и продолжали вполголоса свой не слышный мне разговор.

Потом высокая преподавательница посмотрела на большие мужские часы, что были у нее на руке, и встала.

Она молча обвела аудиторию медленным взглядом, все сразу перестали шуршать бумагой и замерли.

— Товарищи, — сказала она негромким приятным голосом, — сейчас я напишу на доске темы ваших сочинений. Всего их будет четыре. Три по программе и одна свободная. Времени вам дается три часа. Бумаги достаточно. Если кому не хватит, мы дадим еще. Чистовики писать на листках со штампами. Все ясно?

Кто-то там сзади сказал:

— Ясно.

— Я думаю, насчет шпаргалок и списывания вас предупреждать не надо: вы уже люди взрослые и хорошо знаете, чем это грозит.

После этого она подошла к доске и стала писать темы сочинений: «Образы крестьян в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», «Образ Катерины в пьесе Островского «Гроза» и «Тема революции в поэме

Маяковского «Хорошо». Свободная тема называлась: «Моральный облик советского молодого человека».

Когда преподавательница написала это все на доске, все погалдели немного, посуетились, а потом опять стало тихо — началась работа. Девушка в белой блузке спросила, будут ли неточности в цитатах считаться ошибками. Преподавательница ответила, что смотря какие неточности; девушка успокоилась, разложила перед собой бумагу и стала усердно трудиться, закрыв свое сочинение промокашкой, чтобы я не подглядывал.

Я сперва хотел писать по Некрасову и уже вывел на бумаге название темы и стал составлять план, но потом мне стало скучно. Я подумал: зачем я буду писать по Некрасову или еще что-нибудь, если я все равно хочу получить двойку? Может, лучше и не стараться, просидеть все три часа просто так, а потом сдать чистую бумагу — да и все? И я стал смотреть в окно, что там происходит. Но там, собственно, ничего особенного не происходило.

— Молодой человек, вы почему не работаете?

Я поднял голову. Надо мной стояла высокая преподавательница и смотрела на чистую бумагу, которая лежала передо мной.

— Как не работаю? — не понял я.

— Я вас спрашиваю: почему вы ничего не пишете?

— Я думаю, — сказал я.

— Пора бы уже что-нибудь и придумать, — сказала она, посмотрев на свои большие часы. — Прошло полчаса, а вы еще не написали ни строчки.

— Ладно, — сказал я, — я успею.

— Смотрите, дело ваше. — Она пожала плечами и пошла между столами, проверяя, кто чем занимается.

Я подумал, что времени впереди еще много и, наверное, надо чем-то заниматься, а так просто сидеть и смотреть в окошко неудобно, да и смотреть, собственно, не на что.

И тут меня вдруг осенила замечательная идея, я даже не знаю, как это мне пришло в голову, — я решил написать, как я летал на самолете, как Славка давал мне подержать ручку, как он разрешил потянуть ее до отказа на себя, а левую ногу вперед, а потом опять ручку на себя и правую ногу вперед, и как самолет кувыр-

кался в воздухе, и как кувыркались и летели навстречу деревья, и как мне было при этом страшно. И писать интересно будет, и двойку наверняка поставят, потому что сочинение не по теме.

Я вот только не знал, с чего начать — то ли с того момента, когда я ночью в сквере встретил Толика, то ли еще раньше, когда мы с Толиком увидели парашютистов во дворе школы, но потом мне показалось, что всего этого будет слишком много, и я начал прямо с аэродрома, как встретил Славку. Я все написал подробно: и как он сидел в курилке, и какой на нем был комбинезон, и какой за поясом висел шлемофон, и как мы ходили упрашивать Ивана Андреича, и как Иван Андреич спорил с белоглазым, и как мы потом со Славкой летели, и как он кричал по радио: «Альфа», я — тридцать первый, вошел в зону, разрешите работать!»

Все это я описал подробно, как что было, кто где стоял, кто что говорил. И я так здорово себе это все стал представлять, что даже и не заметил, как стал говорить вслух, подражая руководителю полетов:

— Тридцать первый, я — «Альфа», работать разрешаю, разрешаю работать, я — «Альфа», как поняли меня? Прием.

— Молодой человек, — услышал я голос высокой преподавательницы, — вы что разговариваете?

Я жутко смутился. Еще чего не хватало — вслух начал разговаривать.

— Да я про себя.

Страшно неловко. Ничего себе, подумает — паренек с приветом.

Преподавательница как-то странно на меня посмотрела, но ничего не сказала, только пожала плечами.

Это меня немного сбilo с толку, и я не сразу смог войти в прежний ритм, но потом опять все вспомнил и пошел писать дальше. Я описывал все очень подробно, потому что жалко было что-нибудь пропустить. И про то хотелось написать, и про это, и я не добрался еще до самого полета, как у меня кончилась вся бумага.

— Можно еще бумаги? — спросил я.

— А что, у вас разве уже кончилась? — удивилась преподавательница. Она только что обошла все столы и вернулась на свое место.

— Кончилась, — сказал я виновато.

— Ну, вот возьмите еще.

Я подошел к столу, она пододвинула ко мне лист бумаги.

— Мало, — сказал я.

Она дала мне еще лист.

— Еще, — сказал я.

Она переглянулась со своей соседкой и уставилась на меня.

— Да вы что? — сказала она. — Вы целый роман хотите писать?

— А разве нельзя?

Время, отпущенное на экзамен, уже истекало, а я только дошел до самого главного. «Ручку влево и левую ногу вперед — левая бочка, ручку вправо и правую ногу вперед — правая бочка. Ручку на себя до отказа и левую ногу вперед — левый штопор. Ручку на себя до отказа и правую ногу вперед...»

— Товарищ, вы что гудите?

Я очнулся. Скрестив на груди руки, надо мной стояла высокая преподавательница, а я, поставив ноги на воображаемые педали, тянул на себя воображаемую ручку управления самолетом и изо всех сил изображал губами рев мотора на полном газу.

Сзади кто-то хихикнул. Моя соседка по столу бросила на меня уничтожающий взгляд и отодвинулась, как бы подчеркивая, что не имеет со мной ничего общего.

— Ничего, — сказал я, — я просто так.

Преподавательница отошла.

Вскоре у меня опять кончилась бумага. Преподавательница дала мне сразу листов десять и сказала, что теперь-то уж мне должно хватить навверняка.

— Посмотрим, — сказал я уклончиво.

Время шло незаметно. Я не написал еще и половины, преподавательница посмотрела на часы и сказала:

— Заканчивайте, товарищи, осталось пятнадцать минут.

Девушка в белой блузке положила свое сочинение на преподавательский стол и тихо вышла из зала. За ней сдал свою работу демобилизованный солдат в гимнастерке с отложным воротником, потом косяком пошли остальные. Они молча клали свои листочки на стол и выходили. Осталось человек шесть. Преподавательница ходила между столами и торопила:

— Заканчивайте, товарищи, заканчивайте, время вышло. — Она подошла ко мне. — Заканчивайте.

— Сейчас, — сказал я.

Я все еще писал самое главное. «Ручку на себя, левую ногу вперед. Ручку от себя, правую ногу вперед. Ручку влево, левую ногу вперед. Ручку вправо, правую ногу вперед. Ручку вперед, ногу назад. Ногу вперед, ручку назад...»

Нет, что-то не так. Я зачеркнул это, чтобы написать правильно. «Ручку на себя, ногу от себя. Ногу на себя, ручку от себя...»

В конце концов я запутался намертво. Я поднял голову и ошалелым взглядом окинул аудиторию. Из абитуриентов я остался один. Высокая преподавательница, скрестив на груди руки, стояла передо мной и ждала, не давая сосредоточиться.

— Молодой человек, — сказала она, — может быть, вы думаете, что я вас буду ждать до вечера?

— Сейчас, — сказал я. — Еще две минуты.

— Никаких минут, — сказала она, — сдавайте работу немедленно.

Я отвечать ей не стал, мне было некогда. Мне надо было еще написать про сектор газа, про перегрузки, про то, как на выходе из пикирования оттягивает щеки к плечам, как дрожит и «парашютирует» самолет на малой скорости перед вводом в штопор; мне надо было многое еще рассказать, и я торопился, а преподавательница стояла у меня над головой и все чего-то ворчала.

— Молодой человек. — Она взяла меня за плечо. — Что с вами? Очнитесь!

— Отберите у него бумагу! — взвизгнула другая, сидевшая за столом преподавательница. — Что вы на него смотрите?

Та, которая стояла возле меня, схватила бумагу и потянула к себе. Авторучка оставила на бумаге косую полосу.

— Не трогайте! — закричал я, закрывая бумагу всем телом. — Я сейчас. Еще полминуты.

Но преподавательница дернула бумагу к себе, бумага затрещала, и я отпустил, чтоб не порвать.

— Очень странно вы ведете себя, молодой человек, — сказала преподавательница и понесла мои листочки к столу.

— А ну вас, — сказал я и, закрыв ручку, сунул ее в карман и пошел к выходу.

Я думал, что они меня остановят и отчитают за грубость, но они ничего не сказали: наверное, не хотелось им связываться с психом. Я вышел в коридор.

В конце концов стоит ли ради двойки так уж стараться?

Через день я пошел узнавать оценку. В приемной комиссии было много народу, все толклись возле девушки, сидевшей за боковым столиком.

— Ребята! — пыталась она перекричать всех, кто ее окружал. — Через полчаса оценки вывешат в коридоре, и вы все узнаете. Неужели так трудно подождать полчаса?

Девушка, которая была прошлый раз в белой блузке (сейчас на ней была зеленая кофточка), стояла перед столом секретарши и ныла:

— Девушка, ну пожалуйста, что вам стоит, посмотрите на «У», Уварова.

— Девушка, я вам сказала, через полчаса сами увидите.

— Ну что через полчаса? Ну какая вы странная. Неужели так трудно?

— А вы думаете, не трудно? Вас вон сколько и каждый хочет, чтоб ему сделали исключение, — говорила секретарша, листая журнал. — Как вы говорите? Уварова? Двойка вам, Уварова. Приходите после обеда, получите документы. Вам что, молодой человек?

Демобилизованный солдат в гимнастерке с отложным воротником держал в руках зеленую хлопчатобумажную солдатскую шляпу. Сейчас такие шляпы носят солдаты, которые служат на юге.

— Перельгина посмотрите, — робко попросил он.

— Девушка, ну как же — двойка? — не уходила Уварова. — Этого не может быть. Я в школе ниже чем на четыре никогда не писала.

— Перельгин, у вас тройка. Вы идете вне конкурса?

— А как же, — обрадовался Перельгин. — Мне больше тройки не надо.

— Девушка, вы еще посмотрите, там, наверно, ошибка.

— Уварова, — секретарша устало поморщилась, —

я вам сказала все. Документы в отделе кадров после обеда. Ваша фамилия? — обратилась она ко мне. — Важенин? Вы знаете, с вами хочет поговорить Ольга Тимофеевна.

— Кто это — Ольга Тимофеевна? — спросил я.

— Ваш преподаватель. Она сейчас, кажется, в деканате. Пойдете прямо по коридору, четвертая дверь направо.

Честно сказать, идти в деканат мне не очень хотелось. Если поставили двойку, о чем разговаривать? Сказали бы, как Уваровой: «Приходите за документами» — и я бы пришел. Спорить не стал бы.

Ольга Тимофеевна сидела на столе и о чем-то разговаривала с черным, похожим на цыгана человеком, он стоял у окна. Мундштук папиросы, которую она держала в руке, был весь перемазан помадой.

Я поздоровался.

— Здрасьте, — хмуро ответила Ольга Тимофеевна. — Вы ко мне?

— Да, меня послали, — сказал я.

— Ваша фамилия Важенин? Возьмите стул, посидите. Я сейчас освобожусь. Так вот, Сергей Петрович, я думаю, что этот вопрос мы в ближайшее время решим. Николай Николаевич сказал, что он лично не возражает.

— Ну, хорошо, — сказал Сергей Петрович, — посмотрим, там будет видно.

Он взял со стола большой желтый портфель, а со шкафа снял соломенную шляпу с аккуратно загнутыми полями, попрощался и вышел.

Мы остались вдвоем. Ольга Тимофеевна раскурила погасшую папиросу. Она сидела прямо напротив меня, положив ногу на ногу.

— Так вот что, товарищ Важенин, — заговорила она, не спеша подбирая слова, — я прочла ваше сочинение. Оно написано не по теме.

— Правильно, — подтвердил я охотно.

— Вообще, — сказала она, — у нас не принято, чтобы абитуриенты писали, что хотели, но ваше сочинение мне очень понравилось, и я поставила вам пятерку.

— Пятерку? — Я посмотрел на нее: шутит, не шутит?

Вроде не шутит.

— Там, конечно, были незначительные ошибки, я их

сама исправила. Но вообще все сочинение написано так свежо, так выразительно, хороший диалог, точные детали... Я поражена. Из моих абитуриентов еще никто так не писал. Вы занимаетесь где-нибудь в литкружке?

— Нет, — сказал я и сострил: — Может, все дело в генах?

— В каких генах?

— Ну, в обыкновенных. Наследственность. У меня ведь отец писатель. Не слышали — Важенин?

— Нет, — заинтересовалась она. — А где он печатается?

— Да он печатается мало. Он в цирке пишет репризы.

— А, — сказала она.

— Ага, — подтвердил я.

Она положила окурок в чернильницу и слезла со стола.

— Я очень рада, что познакомилась с вами. У нас в институте есть литературное объединение «Родник». Я им руковожу. У нас там очень способные ребята. Правда, прозаиков мало. В основном поэты. — Она помолчала, подумала и сообщила: — Я, между прочим, тоже пишу стихи.

— Да? — удивился я.

— Хотите послушать?

— С удовольствием.

— Я вам прочту последнее свое стихотворение. — Она отошла к стене, напряглась, вытянула шею и вдруг закричала нараспев:

Гроза. И гром гремит кругом,
Грохочет град, грома гречиху.
Над полем, трепеща крылом,
Кричит и кружится грачиха.

И я, подобная грачу,
Под громом гроз крылом играю.
Куда лечу? Зачем кричу?
Сама не знаю.

При этом на шее у нее вздулись жилы и лицо покраснело от напряжения. Она перевела дух и остановила на мне взгляд, выжидая, что я скажу. Я молчал.

— Ну как? — не выдержала она. — Вам понравилось?

— Очень понравилось, — сказал я поспешно.

— Мне тоже нравится, — искренне призналась она. — Я вообще не очень высокого мнения о своих способностях, да и времени не всегда хватает, но эти стихи, по-моему, мне удались. Вы обратили внимание на аллитерации? Часто повторяющийся звук «гр» подчеркивает тревожность обстановки. «Грохочет град, грома гречиху...» Вы чувствуете?

— Да, это есть, — согласился я.

— А образ грачихи, которая кружит над полем и тяжело машет намокшими крыльями?

— Ну, это вообще, — восхитился я.

— Я послала эти стихи в журнал «Юность», не знаю, напечатают или нет.

— Должны напечатать, — сказал я убежденно. — Если такие стихи не будут печататься...

Она обрадовалась.

— Вы думаете? Мне тоже кажется, что должны, но без знакомства очень трудно пробиться. Печатают только своих.

— Наверно, блат, — согласился я.

— Ну, ладно. — Она поднялась и протянула мне плоскую, в кольцах руку. — Я думаю, что мы еще будем с вами встречаться и поговорим. Всего доброго.

— До свидания, — сказал я.

Иногда мне кажется, что я вообще невезучий человек. В самом деле, ведь вот когда я хотел поступить в институт — я в него не поступил. А когда не хотел и сделал все, чтобы не поступить, — мне ставят пятерку да еще находят литературные данные. А мне эти данные ни к чему. Мне бы попасть в училище.

По устной литературе Ольга Тимофеевна поставила мне пятерку без всяких разговоров. Я только начал ей отвечать и хотел напелсти какую-нибудь чушь, но она меня перебила и сказала:

— Я верю, что вы все знаете.

И поставила оценку. Если бы так все шло дальше, я бы, пожалуй, вытянул на повышенную стипендию, но я вовремя придумал умнейший ход. Иностраный я завалил в пух и в прах, и то только потому, что вместо английского, который учил в школе, пошел сдавать немецкий.

Тут уж я насладился вволю. Я отомстил сполна всем,

кто пихал меня в этот институт, и всем, кто хотел вырастить из меня местного гения. Такого чудовищного ответа древние стены этого института, наверно, еще не слышали. Экзаменаторша была так потрясена, что, когда ставила двойку, сломала перо. Я с удовольствием предложил ей свою ручку. Ее ручка писала толсто, а моя тонко. Поэтому двойка получилась как бы составленная из двух половинок: жирная голова на тонкой подставке.

Дома вздохов хватило на две недели, но я был доволен. Теперь оставалось только ждать повестку, и ждать пришлось недолго. Повестки мы с Толиком получили одновременно. Нам предлагалось явиться на медкомиссию остриженными под машинку, имея при себе паспорт и приписное свидетельство.

Долго стоял я перед дверью, обитой черной клеенкой. Я нажал кнопку звонка, и звонок где-то там далеко продребезжал еле слышно. Потом зашлепали шаги в мягкой обуви, дверь отворилась. Из-за нее выглянула женщина лет тридцати пяти с собранными в узел и заколотыми кое-как волосами. На ней был толстый махровый халат, расписанный красными большими цветами, и домашние тапочки. Эту женщину звали Шурой. Она была второй женой моего отца и, следовательно, приходилась мне мачехой. Она нисколько не удивилась моему появлению, хотя сделала вид, что удивилась.

— А, Валера, — сказала она, — проходи. — И отступила в сторону, пропуская меня внутрь.

Отец с Шурой занимали вдвоем отдельную квартиру из двух смежных комнат. Первая комната у них была общей, вторая спальней и кабинетом, в тиши которого отец создавал свои бессмертные репризы, интермедии, скетчи и сатирические куплеты для цирка, областной эстрады и сатирического радиожурнала «На колючей радиоволне».

Шура подошла к дверям второй комнаты, приотворила дверь и громко сказала:

— Сережа, к тебе посетитель.

Отец сидел за машинкой и что-то на ней выстукивал. Когда я вошел, он обернулся и обрадовался то ли моему появлению, то ли возможности оторваться от работы. Встал и протянул мне руку.

— Здорово. В гости пришел?

— Ага, — сказал я.

— Садись. — Он повернул ко мне кресло и сам сел на стул возле окна. — А я тут, понимаешь, сижу вот целыми днями, барабаню на машинке, даже пальцы болят. Ну, что у тебя нового?

— Ничего особенного, — сказал я. — Просто я ухожу в армию.

— То есть как в армию? — удивился отец.

— Ну пока что еще не совсем в армию, — сказал я, — пока на комиссию, но раз остриженным — значит, уже все.

— Черт, как это все неожиданно, — пробормотал отец. — А что ж с институтом, ничего не вышло?

— Не хочу я в институт, — сказал я. — Если возьмут, пойду в летное училище.

— Мне мама говорила. Ну, я даже не знаю, как к этому отнестись. Ты должен все тщательно продумать, потому что профессия — такая вещь, которую надо выбирать на всю жизнь. Поэтому ты должен трезво подумать, может быть, это просто временное юношеское увлечение, и не больше. Профессия летчика уже давно перестала быть романтической. Но с институтом, конечно, можно и не спешить. Я учился после войны, будучи уже совершенно взрослым человеком. Ты уже в садик ходил.

Я вспомнил, что именно в то время, когда я ходил в садик, он от нас и ушел. Отец, видимо, тоже вспомнил это же, потому что в этот момент он смешался. Да, как раз тогда, когда я ходил в садик, Шура было примерно столько лет, сколько мне сейчас, они вместе учились в университете, и там у них это все получилось.

Шура просунула голову в дверь.

— Вы обедать будете?

— Конечно, будем, — сказал отец.

— Ну так идите, уже готово.

— Сейчас. — Отец подождал, пока она скрылась, повернулся ко мне: — Да, ты знаешь, Валера, я хочу тебя попросить об одной вещи, мне, правда, как-то очень неловко... — Он замялся и понизил голос. — Но на всякий случай, если за столом зайдет какой-нибудь разговор, не говори, что я деньги вам приношу и все такое. Нет, ты ничего такого не подумай, это все неважно и деньгами я распоряжаюсь сам, но чтобы просто не было лишних разговоров.

Он встал, и я встал тоже. Я посмотрел на него. Он быстро отвел от меня взгляд и стал в замешательстве перебирать на столе бумаги. Он был в эту минуту такой жалкий, что мне стало как-то не по себе. Ведь мать мне всегда говорила, и я сам это знал, что отец мой очень хороший и умный человек. И как же так получается, что из-за какой-то женщины, как бы ею ни дорожил, он позволяет себе говорить такие слова? Но я, конечно, ничего ему не сказал. Я только пробормотал невнятно:

— Хорошо, папа.

— Ну, ладно, — сказал он с наигранной бодростью, как бы давая понять, что разговор на эту щекотливую тему окончен. — Пошли обедать.

Мы вышли в большую комнату. Стол был уже накрыт. Шура разливала суп по тарелкам.

— Водку пить будете? — спросила она.

— Конечно, будем, — сказал отец и подмигнул мне. — Употребляешь?

— Да так, — сказал я, — если в компании.

— Ну, сегодня сам бог велел, — сказал отец.

Шура пошла на кухню и принесла начатую поллитровку «столичной» и три рюмки.

— Ты знаешь, — спросил ее отец, — что Валерка в армию уходит?

— В армию? — Она расставляла рюмки и была очень занята этим делом. — Когда?

— На днях, — сказал я.

— И в какие же части?

— Пока неизвестно.

Шура пробежала взглядом по столу — все ли в порядке — и села. Мы сели тоже.

— Ну что ж, — сказала Шура. — Армия приучает человека к дисциплине. Мой начальник Алексей Аркадьевич всегда говорит, что он многими своими качествами обязан именно армии. Ну так что? — Она посмотрела на меня, потом на отца. — За него и выпьем?

— Да, конечно, — сказал отец.

Мы подняли рюмки и чокнулись.

— Ну, будь здоров.

Мы выпили. Все потянулись вилками к селедке, лежавшей на блюде посреди стола. Она была жирная, густо посыпана луком.

— Селедка — прелесть, правда? — отец обратился ко мне.

Селедка как селедка.

— Хорошая, — сказал я.

— Шура очень хорошо умеет ее разделявать.

— Ладно подлизываться, — сказала Шура, подвигая к себе тарелку с супом.

Мы, как по команде, дружно застучали ложками.

— Ты писать-то хоть будешь? — спросил отец.

— Конечно, — сказал я.

— Хоть изредка, — сказал отец.

— Раз в неделю, — пообещал я.

— Нет, раз в неделю не будешь, — сказал отец. — Надоест. По себе знаю. Я сам, когда служил в армии, даже во время войны, не очень любил писать письма. Так что, если раз в месяц черкнешь пару строк — жив-здоров, — и то будет хорошо.

Мы долго и сосредоточенно ели суп, потом Шура положила нам в эти же тарелки жаркое. Мы молчали, я несколько раз поднимал глаза, встречался со взглядом отца, и взгляд этот был очень жалостливый.

Мне казалось, что отец что-то хочет сказать, да все как-то то ли не решается, то ли не знает, с чего начать. Потом он положил вилку, посмотрел на меня в упор и сказал неожиданно:

— А ты вообще понимаешь, что сейчас происходит?

— В каком смысле? — спросил я.

— В обыкновенном. Твои детство и юность кончились. Начинается новая трудная жизнь. До меня это как-то не сразу дошло. А до тебя дойдет и подавно не скоро. Все слишком неожиданно. Надо бы тебе подарить что-нибудь.

— Не надо мне ничего, папа, — запротестовал я.

— Нет, надо.

Он быстро снял с руки свои часы и протянул мне.

— Держи.

Шура метнула на меня быстрый взгляд и сосредоточенно стала нанизывать картошку на вилку. Надвигалась гроза. Я это понял по тому, как напряглась Шура.

— Не надо, — сказал я, следя за ее движениями.

— Надо, — настойчиво сказал отец. Он перегнулся через стол и надел мне часы на руку.

— В самом деле, зачем мальчику золотые часы? — не выдержала Шура.

— Он не мальчик, — строго сказал отец. — Он в армию уходит.

— Дело, конечно, твое, — пожала плечами Шура. — Только их у него украдут. Алексей Аркадьевич говорил, что у него однажды из-под подушки вытащили фотоаппарат.

— Меня совершенно не интересует, что говорит твой Алексей Аркадьевич. Это мой сын и мои часы. И я имею полное право, никого не спрашивая, подарить свои часы своему сыну.

— Пожалуйста, делай что хочешь, я тебе ничего не говорю, — обиделась Шура.

— Нет, ты говоришь, — повысил голос отец. — Ты говоришь совершенно определенно, что я не должен дарить свои часы своему сыну.

Шура ничего не ответила, уткнулась глазами в тарелку. Наступило долгое тягостное молчание.

Шура отодвинула тарелку, встала.

— Когда поешь, — сказала она отцу, — убери, пожалуйста, со стола. — И ушла в соседнюю комнату.

Отец посмотрел на меня виновато.

— Обиделась, — сказал он. — Ты не думай, она хорошая, только иногда скажет что-нибудь, не подумав, потом сама жалеет.

Из соседней комнаты снова вышла Шура. Она уже оделась и расколола волосы. Вид у нее был деловой.

— Ты не знаешь, где расческа? — спросила она.

— Ты собираешься уходить? — спросил отец.

— Да.

— Совсем?

— Совсем. Можешь оставаться один и создавать свои великие творения в одиночестве. Валера, ты можешь гордиться своим отцом. Он у тебя писатель. Инженер человеческих душ. Он пишет репризы для цирка. «Бип, что у тебя в чемодане?» — «У меня в чемодане теща». Ха-ха-ха!

Она нашла расческу и снова ушла в другую комнату.

— Ничего, это пройдет, — сказал мне отец. — Ты не обращай внимания.

— Я не обращаю, — ответил я.

Снова вышла Шура. В руках она держала несколько листов бумаги.

— Валера, — сказала она, — ты знаешь, что твой отец пишет роман?

— Шура, — тихо сказал отец. — Неужели тебе не стыдно?

— Мне очень стыдно, — сказала Шура и подняла листочки над собой. — Вот многолетний труд. Семнадцать страниц за двенадцать лет. Взыскательный художник. А какой стиль! — Она поднесла бумагу к глазам, прочла первую строчку: — «Море было зеленое». Море было зеленое... — Она повернулась к отцу. — Ты видел когда-нибудь зеленое море?

— Море бывает всякое, — сказал отец. — Синее, лиловое, черное, зеленое и даже, если хочешь знать, красное во время заката.

— Валера, — сказала Шура. — Ты видел когда-нибудь зеленое море?

— Я море вообще не видел, — сказал я поспешно.

— Очень жаль, — сказала Шура и ушла снова в другую комнату.

Отец стоял, обхватив руками голову.

— Какой стыд, — бормотал он. — Какой стыд!

Мне стало неловко, я понял, что делать здесь больше нечего.

— Я пойду, папа, — сказал я.

— Ладно, иди, — вздохнул отец. — Только матери не рассказывай. Ладно?

— Ладно. До свиданья, папа.

— Что же ты так уходишь? Я уезжаю в командировку и, наверное, не смогу тебя проводить. Давай простимся, как полагается.

Мы обнялись. За его спиной я незаметно снял с руки часы и положил на стол. Отец прошел со мной до дверей и хлопнул меня по плечу ободряюще:

— Не забывай, пиши.

— Ладно, — еще раз пообещал я.

Я спустился на одну площадку. Я посмотрел на отца, и мне показалось, что у него глаза полны слез. Я нагнул голову и медленно пошел по лестнице дальше.

Еще когда я учился, в десятом классе у нас был такой случай. Боб Карасев объяснился в любви Ленке Проскуриной, с которой сидел за одной партой. Ленка сказала ему: «Нет». Тогда Боб пошел домой, напустил полную ванну воды, залез в воду и вскрыл себе вены лезвием от безопасной бритвы. Его потом еле спасли.

Таких людей, как Боб, я не понимал никогда. Любил ли я кого-нибудь в жизни? Маму любил. Бабушку, несмотря ни на что, любил. А так, чтобы влюбиться в какую-нибудь девчонку, да еще резать из-за нее вены —

на это я никогда не был способен. Может быть, это плохо. Учительница химии Леонила Максимовна говорила, что настоящий человек должен по-настоящему любить и по-настоящему ненавидеть. Ненавидел ли я кого-нибудь? Нет, пожалуй. Может, некого было. За всю жизнь не было у меня никаких врагов; были, правда, кое с кем мелкие стычки, но они быстро забывались и все проходило. Я не умел долго ни злиться, ни обижаться на кого-нибудь и не понимал людей злопамятных, обидчивых, непримиримых. Впрочем, я многого не понимал. Не понимал своего отца. Я бы понял, если бы знал, что с мамой ему было плохо, а с новой женой хорошо. Но он любил меня и хорошо относился к маме, а жил все-таки с этой женщиной, которая его не любила. Я был уверен, что она его не любила. Но он, наверное, думал иначе.

Я шел по широкой улице, где проносились автомобили и гремели трамваи. Скупое светило неяркое, но пока еще теплое осеннее солнце. Забираться в трамвай не хотелось, я шел пешком. Пройдя несколько остановок, я увидел на противоположной стороне улицы парикмахерскую, вспомнил, что мне надо постричься. На призывной пункт полагалось явиться постриженным под машинку — это указано было в повестке.

В парикмахерской все мастера были заняты.

Очередь впереди меня состояла из одного старичка с аккуратно протянутыми через обширную плешь длинными и редкими рыжеватыми прядями. Он сидел за низким полированным столиком и листал старые газеты. Я тоже взял со стола газету и стал ее разглядывать.

В это время из зала вышел очередной клиент, от него так и несло одеколоном. Старичок, который был передо мной, с газетой в руках подошел к двери, заглянул в зал и сказал мне:

— Идите. У меня постоянный мастер.

Тоже еще мне, старый пижон. У него постоянный, видите ли, мастер.

Я положил газету и встал.

— Следующий! — сказала парикмахерша и обернулась. И я ее сразу узнал. Это была Таня. И как это я мог думать, что не узнаю ее?

— Привет, — сказал я, подходя к ее креслу.

— Здравсьте, — сказала она, — садитесь. Польку или полубокс?

— Под ноль, — сказал я. — Ты меня разве не узнаешь?

Она равнодушно скользнула взглядом по моему отражению в зеркале и сменила ножи в электрической машинке.

— Не узнаю.

— Я — Валерка, — сказал я, задирая к ней голову. — Помнишь, в милиции вместе сидели?

— Не помню.

— Как же, — обиделся я. — А потом мы с тобой гуляли, стояли на лестничной площадке и даже... Ну, разве не помнишь?

— Не помню, — жестоко повторила она и сильно нажала мне пальцами голову. — Не вертись.

Она включила машинку и провела первую борозду посреди головы. Первые пряди моей роскошной прически упали на белое покрывало.

Она нагнулась ко мне и тихо спросила:

— Целоваться-то научился?

— Узнала? — обрадовался я.

— Сразу узнала, — сказала она. — Еще как ты первый раз заглянул, я тебя в зеркале увидела. В армию, что ли, уходишь?

— Откуда ты знаешь?

— По прическе догадалась. Жалко, волосы хорошие.

Ровно гудела машинка, и Таня деловито водила ею по моей голове, и я смотрел на свое отражение, которое казалось мне все более уродливым.

— Голова у тебя какая-то шишковатая, — сказала Таня. — Говорят, такие только у умных людей бывают.

— Что ж ты тогда не пришла? — спросил я. — Когда у часов договаривались встретиться.

— А ты разве приходил?

— А как же. Я там полтора часа проторчал.

— Полтора часа? — удивилась она. — А я, знаешь, не хожу на эти свиданки. Договорись с каким, так он тебя обманет, пойдешь — одно расстройство.

Я посмотрел в зеркало на свой безобразно голый череп и без всякой надежды спросил:

— Может, тогда сегодня встретимся?

— Можно, — сказала она, сдергивая покрывало. — Пятнадцать копеек.

Мы подошли к кассе, я заплатил, а она расписалась в ведомости.

— Я в семь часов кончаю работу. Приходи сюда. — Она обернулась к двери: — Следующий!

Вечером мы сидели в парке на лавочке недалеко от плакатной экспозиции «Мы покоряем космос». Вращающийся фонтан рассыпал по кругу сверкающие в электрическом свете брызги. По радио кто-то читал «Моцарта и Сальери» таким голосом, будто передавал сообщение ТАСС.

Рядом с нами сидели молодые муж и жена, оба в серых костюмах. Муж покачивал стоявшую перед ним детскую коляску, равнодушно глядя на проходящих мимо людей.

На открытой эстраде шел концерт, приятный женский голос исполнял самую популярную песню сезона «Ты не печалься, ты не прощайся».

— Это хорошо, что ты пришел в парикмахерскую, — неожиданно сказала Таня. — Если б я тебя встретила на улице или хотя бы здесь, в парке, первая ни за что бы не подошла.

— Это еще почему? — удивился я.

— Из гордости. Как говорится, чем девушка горже и грубей, тем лучше качество у ней, — сказала она со значением.

— Как? — не понял я.

Она повторила.

— И у тебя хорошее качество? — поинтересовался я.

— У меня очень хорошее, — ответила она серьезно, но тут же поправилась: — Смотря, конечно, в каком смысле. Если насчет характера, то ты не надейся, от меня просто так ничего не добьешься.

— Да я от тебя ничего не хочу добиваться, — смутился я. — Я просто так встретил тебя и позвал. Если не хотела, могла не идти.

— Нет, я вообще-то не против, если по-человечески, с уважением, если погулять хорошо да подружиться месяц-другой, а не в виде корыстных целей.

— Да что ты несешь? — возмутился я. — Какие у меня могут быть к тебе корыстные цели?

Вот уж не думал, что такая дура. На вид вроде нормальная, тогда, в милиции, мне даже понравилась, а тут на тебе — прорвало. Я уже пожалел, что пригласил ее в парк. Лучше б дома лежал, книжку читал.

На летней эстраде раздались аплодисменты, а потом, видно на «бис», певица снова запела «Ты не печалься».

— Я раньше тоже пела в самодеятельности, — сказала Таня. — Исполняла романсы. «Средь шумного бала, случайно...» — закричала она нараспев дурным голосом.

Ребенок в коляске проснулся и заплакал. Отец зашикал на него и стал остервенело трясти коляску. Женщина посмотрела на Таню осуждающе и сказала:

— Можно бы и потише. Ребенка вот разбудили.

— С ребенком надо в детский парк ходить, — огрызнулась Татьяна. — А это взрослый, культуры и отдыха.

— У вас-то никакой культуры и нет, — сказала женщина.

— А у вас есть? — поинтересовалась Таня.

Я не знал, как себя вести. Первым нашел выход из положения молодой отец.

— Пошли, — коротко приказал он жене и, поднявшись, пошел в сторону танцплощадки, толкая перед собой орущую во весь голос коляску. Женщина тоже поднялась и пошла следом.

— Культурная! — крикнула вслед ей Таня. — Ты хоть рубашку убрала бы под платье, культура! — Довольная, она повернулась ко мне: — Ничего я ее отшила, скажи?

— Ничего, — сказал я. — Можешь за себя постоять.

— Да уж спуску не дам никому, пожалуй, — сказала она с сознанием собственного достоинства. — Меня отец так учил. У тебя-то отец есть?

— Есть, — сказал я.

— А где он работает?

— Дома.

— Кто ж это дома работает? — не поверила она.

— Отец. Он писатель, — пояснил я неохотно.

— Писатель? — Она посмотрела на меня недоверчиво. — И чего же он написал?

— Он пишет репризы для цирка. Знаешь, что такое репризы?

— Нет.

— Ну вот, например: «Бип, что у тебя в чемодане?» — «У меня в чемодане теща». Ха-ха-ха!

Реприза произвела неожиданный для меня эффект. Таня задергалась и тихо поползла с лавки.

— Ты что? — Я подхватил ее под мышки, чтобы она не свалилась.

— Теща? — со слезами на глазах повторяла она, корчась от смеха. — Ой, не могу! Теща в чемодане! А как же она туда попала?

— В каком смысле? — не понял я.

— Я спрашиваю: чемодан большой или теща маленькая?

— А черт ее знает.

Мне стало скучно. Я подумал, что хорошо бы найти где-нибудь Толика, может, он хоть отчасти взял бы ее на себя. Я даже посмотрел в оба конца аллеи в надежде, что он откуда-нибудь да появится, но его нигде не было видно, и я совсем скис. Черт знает что. Через несколько дней в армию, каждый вечер на учете, а тут сиди и думай, как теща могла попасть в чемодан. Мне уж пора о своем чемодане подумать. Хотя думать, собственно, о нем нечего. Только бы как-нибудь не промахнуться, попасть в училище. А то вдруг запихнут в пехоту и будешь — «кругом, бегом, встать, ложись». И так три года. А три года — это почти институт.

Я думал о своих делах, а Таня что-то рассказывала. Я ее не слушал, но она не замечала, потому что ей надо было рассказывать независимо от того, слушают ее или нет.

— А вот когда я была совсем маленькая... — сказала она и вдруг замолчала.

Я обратил внимание на эту фразу, только потому, что она была последняя.

— И что было, когда ты была маленькая? — спросил я.

Она ничего не ответила. Я заметил, что она как-то странно жметя ко мне плечом, а лицо отвернула и закрыла рукой, словно пыталась спрятаться от кого-то.

— Что с тобой? — спросил я.

— Молчи! — ответила она шепотом.

Я бросил взгляд на аллею и тут же все понял. Медленной походкой к нам приближался Козуб. Он был гладко прилизан, в черном костюме с черным галстуком бабочкой на белой рубашке.

— Здорово! — поприветствовал он, поравнявшись со мной, и остановился.

— Привет! — ответил я неохотно.

Таня все еще прикрывала лицо ладонью.

— Чего прячешься? — обратился к ней Козуб. — Чего прячешься? — повторил он свой вопрос.

— А я и не прячусь. — Таня убрала руку. — Просто так заслонилась, смотреть на тебя неохота.

— Неохота, — зашипел Козуб, приближаясь к ней. — А когда я на тебя деньги тратил, охота было. У, сука позорная, сейчас я тебе глаз выну. — С этими словами он ткнул ей пальцем в лицо, но она вовремя увернулась.

Мне ничего не оставалось больше делать, как встать между ними.

— Отойди, — сказал я Козубу и подвинул его плечом.

— Не лезы! — окрысился на меня Козуб. — Не лезь, говорю, если не хочешь по мозгам заработать.

Я разозлился. Обидно, когда тебе так угрожают, да еще вот при девушке. И тут у нас пошел дурацкий такой разговор.

— От тебя, что ли, я заработаю? — спросил я.

— А хоть бы и от меня.

— Смотри, как бы сам не схватил по шее.

— Уж я-то не схвачу.

— А если схватишь?

— Пошли, потолкуем.

Козуб схватил меня за рукав и потащил к кустам. Я вырвал руку и пошел следом за ним. Мы стали за кустами друг против друга, чтобы продолжить наш содержательный разговор.

— Ну, чего надо? — спросил Козуб, задыхаясь от ярости.

— А тебе чего?

— А мне ничего.

— Ну и мне ничего. А девушку не трогай.

Козуб скривился презрительно.

— Девушку. Да у этой девушки таких, как ты, знаешь, сколько было?

Я схватил его за галстук.

— Давай отсюда проваливай, а то я тебе не знаю что сделаю.

Этого я действительно не знал.

Козуб вырвался, поправил галстук.

— Ты рукам воли не давай, — сказал он, охорашиваясь передо мной, как перед зеркалом. — Жалко, тут мусора ходят, а то бы я тебе сейчас рыло начистил.

Он положил руки в карманы и наискось через газон

пошел в сторону танцплощадки. Я вернулся к Тане. Она сидела, не шелохнувшись, на прежнем месте.

Я сел с ней рядом. Не поднимая головы, острым носком туфли она чертила что-то перед собой на песке. Я достал сигареты.

— Дай закурить, — попросила она.

Я дал. Прикуривая, она бросила на меня быстрый, настороженный взгляд.

— Ты думаешь, у меня с ним чего было? — спросила она.

— А мне все равно, — сказал я.

Мне действительно было все равно.

— До чего же противные мужики, — сказала она с чувством. — Два раза в ресторан сводил и думает, что теперь я ему все должна.

— Ладно, пошли отсюда, — сказал я.

Она мне за этот вечер порядком поднадоела. А впереди еще предстоял длинный путь до ее дома с разговорами. Молчать, судя по всему, она не умела.

На мое счастье, у выхода из парка нам встретился Толик. Он куда-то торопился, идя нам навстречу, и лицо его выражало крайнюю озабоченность. Я загородил ему дорогу, он наткнулся на меня и долго стоял, ничего не понимая, словно соображал, как преодолеть это неожиданно возникшее на пути препятствие.

— Ты куда? — спросил я.

— Да я... Это самое... Слушай. — Он приходил потихоньку в себя. — Ты не видел этих самых... как их... Олю и Полю?

— Нет, — сказал я, — не видел.

— Вот бабы. Никогда нельзя верить. Договорились в кино смотреть, я пошел доставать деньги, вернулся, а их уже нет.

Таня стояла в стороне, разглядывая фотовитрину «Не проходите мимо».

— Да брось их; — сказал я Толику. — Пошли лучше с нами. — Я кивнул в сторону Тани.

Увидев Таню, Толик оживился.

— Твоя, что ли? — спросил он шепотом.

— Ага, — ответил я равнодушно. — Ты же ее знаешь.

— Вообще-то знаю, но незнаком, — сказал Толик грустно. — Баба, конечно, в порядке.

— Бери ее себе, — щедро предложил я.

— А ты как же? — спросил он.

— Ничего, — сказал я. — Как-нибудь перебыюсь.

Мы подошли к Тане, и я их познакомил. Толик протянул ей руку и представился, как всегда, со значением:

— Анатолий.

Она ответила:

— Очень приятно.

Мы вышли из парка. Из-за крыш домов выступила полная луна. Она светила так ярко, что вполне можно было выключить в городе все электричество.

Толик и Таня быстро нашли общий язык. Когда мы выходили на пустырь, Толик сказал ей почти серьезно:

— Если бы мне попалась такая девчонка, я бы на ней женился.

— Шути любя, но не люби шутя, — обиделась Таня.

— Да я разве шучу? — сказал Толик. — Я серьезно.

— В армии сперва отслужи, а потом женихайся.

— А что армия? — возразил Толик. — В армии женатому милое дело. Жена когда посылочку пришлет, когда сама приедет.

— Ну, давайте я вас зарегистрирую, — предложил я, кивнув в сторону темневшего впереди будущего Дворца бракосочетания.

Идея пришла Толику по вкусу, но Таня обиделась.

— Найди себе какую-нибудь дурочку и с ней шути шути, — сказала она. — А я — за серьезные отношения.

Домой мы с Толиком возвращались во втором часу ночи. Небо было затянуто тонкими облаками. Лунный свет сочился сквозь облака, расплываясь, как масло на сковородке. Единственная лампочка возле Дворца бракосочетания теперь горела ярко и весело.

Если бы знать, что ждет нас возле этого Дворца, мы бы обошли его стороной, но мы ничего не знали и поэтому шли мимо него напрямую — оба торопились домой.

Когда мы их увидели, было слишком поздно менять направление. Их было человек шесть или семь. Они стояли кучкой возле стены и вполголоса переговаривались. Отдельных слов не было слышно, шел только общий гул от общего разговора. Я толкнул Толика в бок, но он уже сам все увидел. Не сговариваясь, мы замолчали и стали забирать немного в сторону, хотя надо было просто повернуть и бежать со всех ног обратно. Но было

бы странно и стыдно бежать ни с того ни с сего, просто увидев людей, которые стоят и мирно разговаривают между собой.

— Эй, ребята! — От стены отделилась длинная темная фигура и направилась к нам.

— Грек! — упавшим от страха голосом шепнул Толик.

Тут уж надо было бежать, не раздумывая, но мы стояли как вкопанные, я почувствовал в коленях такую слабость, что, если бы и захотел, вряд ли смог двинуться с места.

Грек подошел вплотную. От него несло водкой, но на вид он был совершенно трезв. Он только сутулился и поеживался: видно, давно здесь стоял и продрог. В руке он держал папиросу.

— Ребята, закурить есть? — спросил он миролюбиво.

— У него есть, — услужливо сказал Толик, кивнув в мою сторону.

Делать было нечего. Я достал сигареты и молча протянул Греку.

В конце концов, может, правда человеку надо просто закурить, и ничего больше. Если разобраться, мы же их не трогаем, идем себе мимо. И нас совершенно не касается, зачем они здесь собрались и что делают.

Грек повертел в руках сигареты, вынул одну и засунул обратно.

— «Памир» я не курю. У меня от них горло дерет, — сказал он и швырнул сигареты на землю.

— Зачем же бросать сигареты? — не удержался я.

Когда мне хочется что-то сказать, я говорю, не думая о последствиях. Такой дурацкий характер.

— Да что тебе, жалко? — поспешил исправить мою ошибку Толик. Он нагнулся и поднял сигареты. — На вот.

Грек резко ударил его по руке. Сигареты снова упали на землю.

— Никогда не подбирай ничего с земли, — сказал он и, обернувшись, крикнул в темноту: — Козуб!

От стены отделилась еще одна темная фигура и приблизилась к нам. Теперь все было более или менее ясно. Козуб нажаловался Греку. Теперь меня будут бить. И Толика за компанию, наверное, тоже.

— У тебя какие сигареты? — спросил Грек, когда Козуб подошел.

— «Шипка». — Козуб торопливо полез в карман.

— Это другое дело, — удовлетворенно сказал Грек.

Козуб протянул ему сигареты и зажигалку. Вспыхнул огонь и запахло бензином. Прикурив, Грек поднес зажигалку прямо к моему носу, я слегка отстранился.

— Этот, что ли? — спросил Грек.

— Этот, — тихо ответил Козуб.

В то же мгновение я получил такой удар в нос, что у меня потемнело в глазах. На ногах я все-таки удержался. Я взвыл от боли и кинулся на Грека, но не смог его ударить ни разу: какие-то два типа из этой компании подскочили и схватили меня сзади за руки. Я попробовал отбиваться ногами, но тут подскочил кто-то третий. Он лег на землю и обхватил мои ноги руками.

— За что вы меня бьете? — спросил я.

Вопрос был, конечно, бессмысленным.

— Мы не бьем, а наказываем, — сказал Грек. — Ты зачем обижал нашего товарища? — Он кивнул на Козуба.

— Да кто его обижал? Я просто заступился за девушку.

И я начал путано объяснять, что когда Козуб приставал к Тане, у меня просто не было никакого другого выхода, что любой на моем месте поступил точно так же.

Грек меня выслушал очень внимательно.

— Значит, ты считаешь, что Козуб был не прав? — спросил он участливо.

— Да, — сказал я.

Он повернулся к Козубу.

— Ты слышал, что он говорит?

— Слышал, — ответил Козуб.

— И что же ты терпишь? А ну вмажь ему, чтоб было все справедливо.

Козуб не заставил себя долго упрашивать. От второго удара у меня потекла из носа кровь.

— Ребята, да бросьте вы, — заныл неожиданно Толик. — Неужели из-за какой-то бабы нужно бить человека? Ну, побаловались, и ладно. Пошли по домам.

Грек повернулся к нему, Толик умолк и испуганно съехался.

— Ты кто такой? — спросил Грек.

— Это его дружок, — сообщник Козуб. — Они вместе работают.

— Дружок? — оживился Грек. Ему в голову пришла

замечательная идея. — А ну врежь-ка ему по-дружески. — Он подтолкнул Толика ко мне.

Толик попятился назад.

— Да ну бросьте шутить, ребята! — На своем лице он изобразил понимающую улыбку. — Уже поздно, мой пор, ребята, не надо шутить.

— А с тобой никто и не шутит. — Грек снова толкнул его вперед. — Врежь, тебе говорят, и пойдем по домам.

Толик отпрыгнул в сторону, хотел убежать, но Грек вовремя подставил ногу, и Толик упал.

— Ребята, отпустите! — закричал он. — У меня мать больная, у меня отец инвалид Отечественной войны!

Он боялся подняться и ползал на четвереньках, пытаясь уползти прочь, но, куда бы он ни поворачивался, всюду натыкался на чьи-то ботинки, кто-то загоразивал ему путь из этого круга. Потом Грек схватил его за шиворот и сильно встряхнул. Затрещала рубаха. Толик вскочил на ноги, заметался, обращаясь то к Греку, то к Козубу, то ко мне:

— Ребята, ну что вы? Ну бросьте! Ну зачем?

Грек схватил его снова за шиворот и подтащил ко мне. Толик хныкал и пытался сопротивляться.

— Бей! — с угрозой сказал ему Грек.

— Валерка, — заплакал Толик, — ты же видишь — я не хочу, они меня заставляют.

— Бей! — повторил Грек и ребром ладони ударил его по шее.

Толик нерешительно поднял руку, мазнул меня по щеке и повернулся к Греку, глазами умоляя его отпустить. Греку было мало и этого.

— Разве так бьют? — сказал он. — Бей, как положено.

— Не могу, — сказал Толик, пятясь прочь от меня. — Слышь, Грек, я не могу. У меня мать больная, у меня отец...

— Сможешь, — сказал Грек.

Он схватил Толика за ворот так, что даже в темноте мне показалось, что лицо Толика посинело. Толик беспомощно засучил ногами.

— Ну! — Грек подтянул Толика снова ко мне и отпустил.

— Грек, — заплакал Толик. — Отпусти. Отпусти, слышь, я тебя очень прошу.

Подлетел Козуб.

— Ах ты гад! Бей, говорят тебе!

Изо всей силы он дал Толику пинка под зад. Толик, схватившись за зад, завыл и вдруг с нечеловеческим воплем бросился на меня.

Меня крепко держали, я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Я мог только вертеть головой. И когда я наклонял голову, Толик бил меня снизу, а когда я пытался отвернуться, он бил сбоку.

Я очнулся от холода, а может быть, оттого, что пришло время очнуться, и, придя в себя, почувствовал холод. Сначала мне показалось, что я лежу дома на кровати и с меня сползло одеяло. Не открывая глаз, я пошарил рукой возле себя, и рука прошла по чему-то мокрому, как я потом понял — это была облитая росой трава. Тогда я открыл глаза, но ничего не увидел. Так бывает, когда тебя мучат кошмары, ты заставляешь себя проснуться и вроде уже даже проснулся, но все еще видишь кошмары и надо приложить нечеловеческие усилия, чтобы разодрать веки по-настоящему.

Приложив нечеловеческие усилия, я увидел перед собой Толика. Он сидел, сгорбившись, надо мной и, глядя куда-то мимо, громко икал. Лицо его мне показалось большим и расплывчатым, оно заслоняло все небо. Небо было бледное, с красными отблесками на перистых облаках — дело, видимо, шло к рассвету.

Увидев, что я очнулся, Толик перестал икать и уставился на меня с выражением не то страха, не то любопытства.

— Ты меня видишь? — тихо спросил он.

Я его видел сквозь какие-то щелки, все распухло, было такое ощущение, словно на лицо положили подушку и проткнули в ней маленькие дырки для глаз.

— Вижу, — сказал я.

Тогда Толик лег на меня и, затрясшись всем телом, заплакал прерывисто, гулко и хрипло, словно залаял.

— Валера, прости меня, — причитал он, и слезы падали мне на рубашку. — Валера, я сволочь, я гад. Ты слышишь? Гад я, самый последний.

До моего сознания смутно дошла ночная сцена, но это воспоминание не вызвало во мне никаких чувств,

никаких мыслей. Боли не было. Были только холод, ощущение тяжести.

— Слезь с меня, — сказал я Толику. — Слезь с меня, пожалуйста, мне тяжело.

Мне казалось, что как только он слезет, оболочка моя еще больше раздуется и я полечу легко и свободно к теплому солнцу, которое скоро взойдет.

— Валера, я — гад! — выкрикнул Толик. — Ты слышишь, я — гад! Ты понял меня?

— Понял, — сказал я, — только, пожалуйста, слезь.

Всхлипывая и размазывая рукавом слезы, Толик сполз и поднялся на ноги.

Ощущение тяжести не прошло, не было сил подняться. Тогда я перевернулся спиной вверх, подтянул колени к животу, встал сначала на четвереньки и только после этого смог подняться во весь рост.

Было по-прежнему сыро и холодно. Колени дрожали, расползаясь в разные стороны, не было никаких сил справиться с ними.

Небо заметно бледнело. На его просветлевшем фоне резко чернели четкие контуры Дворца бракосочетания в стиле Корбюзье с шестигранными колоннами, стоявшими как бы отдельно.

Я повернулся и, медленно передвигая ноги, пошел в сторону города с разновысокими коробками домов, в которых не горело еще ни одно окно, потому что было пока слишком рано.

Толик плелся позади меня, шагах в двух.

Мама с бабушкой, увидев меня, пришли в неопишый ужас. Я посмотрел в зеркало и сам себя не узнал. Я испугался, что теперь не пройду комиссию. Впрочем, до комиссии все прошло. Остался только небольшой синяк возле левого глаза.

И вот наступил последний день. Я проснулся, когда на улице было еще темно. Но мама и бабушка уже поднялись. Узкая полоска света лежала под дверью. Там, за дверью, шла тихая суматоха, шаркали ноги и слышались приглушенные голоса. Я прислушался. Разговор шел о моей старой куртке, которую бабушка недавно перешивала. Мама ругала бабушку:

— Ты стала совсем ребенком. Ничего нельзя поручить. Я тебя просила положить куртку в шкаф для белья.

— Именно туда я ее и положила, — сказала бабушка, — это я хорошо помню.

— Тогда где же она?

— Я же тебе говорю: положила в шкаф. И даже пересыпала нафталином.

— Если бы ты положила в шкаф, она бы лежала в шкафу.

Я встал и вышел в соседнюю комнату.

— Что вы ругаетесь? — сказал я.

Бабушка и мама стояли посреди комнаты, а между ними на стуле лежал чемодан с откинутой крышкой.

— Я отдал куртку Толику протирать мотороллер.

— Как отдал? — возмутилась бабушка.

— Очень просто. Все равно носить ее я бы не стал.

— Зачем же я ее тогда перешивала? — грозно спросила бабушка.

— Этого я не знаю, — сказал я. — Я не просил.

— Ну вот, пожалуйста, — сказала бабушка, обращаясь к маме, — плоды твоего воспитания. Полнейшая бесхозяйственность.

— Ну, отдал так отдал, — сказала мама примирительно. — Не будем ругаться в последний день. Только я думала, что в армии она тебе еще пригодится. Там ведь не очень тепло одевают.

— Там бы ее у меня все равно отобрали, — сказал я и пошел в ванную.

Я посмотрел на себя в зеркало. Вид у меня был вполне нормальный. Только под левым глазом остался синяк, совсем небольшой, не больше обыкновенной сливы.

А в то утро все лицо было — сплошной синяк.

Мать хотела, чтобы я снял побои и подал в суд на Грека, но я не стал, не хотелось впутывать Толика, который тоже приложил к этому делу руку, если в данном случае можно так выразиться.

Матери про Толика я ничего не сказал. Зачем?

Я долго стоял под душем, и теплые струи воды обтекали меня. Мне было приятно и грустно и вдруг захотелось остаться дома и никуда не ехать. И я подумал, что, может быть, мне не раз еще захочется жить вот так, ругаясь с мамой и бабушкой, но этого уже никогда не будет, и если меня будут ругать, то не мама, не бабуш-

ка, а другие, чужие люди, которым моя судьба, может быть, безразлична.

Когда я вышел из ванной, в комнате царил мир и согласие. Мама перед зеркалом красила губы, а бабушка гладила на столе свою юбку. Чемодан был уже закрыт, а возле него на полу стояла старая хозяйственная сумка.

Она была доверху набита чем-то съедобным, сверху из нее торчала куриная нога.

— Это что такое? — спросил я.

— Это курица, — сказала мама.

— Нет, я спрашиваю вообще, что это за сумка?

— Это мы с мамой, — обернулась бабушка, — приготовили тебе еду на дорогу.

— И вы думаете, что я в нашу Советскую Армию поеду с этой хозяйственной сумкой? Чудаки. Да надо мной вот эти куры, которых вы сюда положили, смеяться будут.

— А что же делать, если в чемодан ничего не влезает? — сказала мать.

— В такой большой чемодан ничего не влезло? А что вы туда положили?

— Самое необходимое. — Бабушка вызывающе поджала губы.

— Сейчас я проверю, — сказал я и открыл чемодан.

Ну и, конечно, я там нашел много интересных вещей. Сверху лежало что-то зеленое. Я взял это двумя пальцами и поднял в вытянутой руке.

— Что это? — спросил я брезгливо.

— Разве ты не видишь? Моя кофта, — невозмутимо ответила бабушка.

— Ты думаешь, я ее буду носить? — спросил я с любопытством.

— А зачем же ты выбросил свою куртку?

— Я не выбросил, а отдал Толику, — сказал я, — но это уже другой вопрос. А я жду ответа на первый. Неужели ты думаешь, что я эту штуку буду носить?

— Ну, а если будет холодно? — вмешалась мама.

— Дорогая мамочка, — сказал я, — неужели ты думаешь, что, если будет семьдесят или даже девяносто градусов мороза и птицы будут замерзать на лету, я надену бабушкину кофту?

Я продолжал ревизию дальше. Кофта в одиночестве пролежала недолго. Скоро над ней вырос небольшой могильный холмик из разных бесценных вещей. Здесь был шарф, лишнее полотенце, две пары теплого белья, которое я и раньше никогда не носил, и еще маленькая шкатулка с домашней аптечкой — средства от головной боли, от насморка, от прочих болезней.

Бабушка и мама молча наблюдали за производимыми мною разрушениями. Я посмотрел на них и жестоко сказал:

— Вот так все и будет. Вместо всего этого можно положить часть продуктов, но тоже особенно не злоупотреблять, я проверю.

Я ушел к себе в комнату и стал одеваться. Потом мы втроем позавтракали, и мама ради такого торжественного случая выставила бутылку портвейна. Она налила мне целый стакан, а бабушке и себе по половинке. Я выпил весь стакан сразу и стал есть, а мама с бабушкой только выпили, а есть не стали и смотрели на меня такими печальными глазами, что мне стало не по себе, и я тоже не доел свой завтрак, половину оставил в тарелке.

Потом я встал из-за стола и хотел пойти в уборную покурить, но мама поняла меня и сказала:

— Можешь курить здесь. Теперь уже все равно.

Я достал сигарету, закурил, но мне было как-то неловко, я сунул окурочок в коробок со спичками и спрятал в карман. Мы помолчали. Потом мама спросила:

— Если тебе все-таки понадобятся деньги или какие-нибудь вещи, пиши, не стесняйся.

— Ладно, — сказал я. — Только у папы больше не бери.

— Не буду, — вздохнула мама.

Время приближалось к восьми, мы начали собираться. На улице было тепло, но на всякий случай (все-таки осень) мы с мамой надели плащи, а бабушка свое засаленное рыжее пальто, пуховый платок и взяла палку.

— Ну, ладно, — сказала мама, — присядем на минуточку.

И мы присели. Мама с бабушкой на кушетку, а я на чемодан, но осторожно, чтобы не раздавить его. Потом мама посмотрела на часы и встала. И мы с бабушкой тоже встали и пошли к выходу.

В скверике перед вокзалом была уже уйма народу.

Они расположились отдельными кучками на траве. Во главе каждой кучки сидел торжественно остриженный новобранец, одетый во что похуже.

Посреди скверика, возле памятника Карлу Марксу, стоял майор с большим родимым пятном через всю щеку, он держал перед собой список и во все горло выкрикивал фамилии. Возле него стояла кучка новобранцев. Я тоже подошел поближе послушать.

— Петров! — выкрикнул майор.

— Есть! — отозвался стоявший рядом со мной длинный парень в соломенной шляпе.

— Не «есть», а «я», — поправил майор.

Он отметил Петрова в списке, и тот отошел.

— Переверзев! Есть Переверзев?

Майор остановил взгляд на мне.

— Важенина посмотрите, пожалуйста, — сказал я.

— А Переверзева нет?

Переверзев не откликнулся.

— Как фамилия? — переспросил майор. Он меня не узнал.

Я повторил. Майор что-то отметил в списке и сказал:

— Ждите.

Лавируя между кучками провожающих и отъезжающих, я пошел к своим.

Проводы были в самом разгаре. В одной кучке пели:

Вы слышите, грохочут сапоги,
И птицы ошалелые летят,
И женщины глядят из-под руки...
Вы поняли, куда они глядят.

В другой орали:

Ой, красивы над Волгой закаты,
Ты меня провожала в солдаты...

Веселая девица, покраснев от натуги, выводила визгливым голосом:

Руку жала, провожала,
Провожала. Эх, провожа-ала...

Рядом с ними сидела самая большая куча, человек в двадцать, и они, заглушая всех остальных, пели «Я люблю тебя, жизнь».

Когда они спели «и надеюсь, что это взаимно», парень с гитарой тряхнул бритой головой, и все хором грянули:

Эх, раз! Еще раз!
Еще много-много раз!
Лучше сорок раз по разу,
Чем ни разу сорок раз!

Я посмотрел на них. Да это же те самые ребята, которых я видел на лавочке, когда ходил на свидание с Таней.

Потом я остановился еще возле одной группы. Там стриженный, перевязанный полотенцами парень наяривал на гармошке что-то частушечное, а толстая деваха плясала под эту музыку, повизгивая, словно ее щекотали.

— Работай! — кричал ей парень с гармошкой.

И она работала вовсю.

Тут меня кто-то окликнул, я обернулся и увидел Толика. Вместе с отцом и матерью он расположился под деревом. На газете у них стояла начатая бутылка водки, бумажные стаканы, лежал толсто нарезанный хлеб, помидоры и колбаса.

— Иди к нам, — сказал Толик.

Я подошел. Отец Толика отодвинулся, освобождая мне место.

— Садись, Валерьян, поспрадуем вместе.

— Меня там ждут, — сказал я.

— Подождут, — сказал отец Толика. — Посиди.

Я сел. Отец Толика был одет торжественно, в серый костюм. В боковом кармане у него торчала авторучка и носовой платок, сложенный треугольником. Я сел на траву. Дядя Федя налил полстакана водки и подвинул ко мне:

— Выпей маленько для праздника.

— Какой же сейчас праздник? — сказала мать Толика. — Сына в армию провожаешь.

— Все равно, раз люди пьют, — сказал он, — значит, можно считать, что праздник.

— А вы пить будете? — спросил я.

— Мы уже, — сказал Толик.

Он мог бы этого и не говорить, по его глазам было видно, что он «уже». Честно сказать, мне пить совсем не хотелось. Но отказаться было неудобно, я взял стакан и выпил залпом, а отец Толика смотрел на меня с явным любопытством: посмотрим, дескать, что ты за мужик и как это у тебя получается. А потом схватил разрезанный помидор и протянул мне. Я хотел выпить,

не поморщившись, но меня всего передернуло, и я быстро заел помидором.

У матери Толика глаза были красные — видно, она только что плакала. Сейчас она смотрела то на меня, то на Толика, и было ясно, что ей нас обоих до смерти жалко.

— Бабушка твоя тоже приехала? — спросила она меня.

— Бабушка приехала и мама, — сказал я.

— Мать небось убивается?

— Нет, — сказал я. — А чего убиваться? Не на войну идем.

— Все равно, — сказала она жалко. — Что ж это получается, растишь вас, воспитываешь, а потом вы разлетелись — и нету вас.

Я достал сигареты, протянул сначала отцу Толика.

— Не балуюсь, — сказал он, — и другим не советую. Ты мне вот что скажи, Валерьян. Я в период Отечественной войны тоже служил в ВВС. У нас там никаких самолетов не было, а только продукты. Сало, масло, консервы.

— Опять, — рассердился Толик. — Я же тебе объяснял: ты служил не в ВВС, а в ПФС — продовольственно-фуражное снабжение.

— Мне пора, — сказал я и встал.

— Я тебя провожу, — сказал Толик и встал тоже.

Несколько шагов мы прошли молча. Потом остановились под тополем.

— Валера, — начал Толик, волнуясь и подбирая слова, — ты на меня, наверное, обижаешься, хотя на моем месте...

Все эти дни я думал, как поступил бы на месте Толика, смог бы я или нет поступить иначе. Но в конце концов я понял, что смог бы. И не потому, что такой уж храбрый, а потому, что не смог бы сделать то, что смог сделать Толик.

— Ты понимаешь, — сказал он, — они же меня заставили.

— Да, но ты очень старался, — сказал я.

— Но они бы побили и тебя и меня.

— Ладно, — сказал я. — Поговорим об этом в другой раз.

Что я мог ему объяснить?

Я нашел бабушку с мамой там же, на лавочке. Мне

места не осталось; его заняла большая семья, провожавшая детину двухметрового роста с красным распухшим носом на длинном лице. Дитина сидел в окружении матери, отца и двух маленьких девочек, должно быть сестер, и плакал, а мать его утешала.

— Игорек, — говорила она, — не ты один, многие идут, надо же кому-нибудь служить в армии. Костя, скажи ты ему что-нибудь, — обратилась она к отцу.

— Я ему уже говорил, — сказал Костя. — Если не хочешь служить в армии, надо было учиться получше.

— Ты где так долго пропадал? — спросила меня мама.

— Толика встретил, — сказал я.

— Опять Толика? Неужели и в армии тебе не удастся встретить кого-нибудь поинтересней?

— Ладно, — сказала бабушка. — Они же все-таки друзья. Столько времени провели вместе. Работали на одном заводе.

В это время на площадь перед вокзалом вышел майор с пятном на щеке и прокричал в мегафон:

— Выходи строиться!

Бабушка схватила свою палку и еще хотела взять чемодан, но я отобрал его.

Те, которые сидели рядом с нами, тоже засуетились. Заплаканный парень вскочил на ноги.

— Подожди, — сказала ему его мать. — Подожди, я тебе вытру слезы, а то неудобно в строй становиться заплаканным. — Она вынула из сумки платок, вытерла парню слезы и подставила платок к носу. — Высморкайся.

И когда парень начал сморкаться, она посмотрела на него и вдруг сама заплакала громко, навзрыд.

— Ну вот еще, — сказал отец. — Держалась, держалась — и нá тебе. Теперь ты еще будешь сморкаться.

Что там у них дальше произошло, я не знаю; мы побежали. Я бежал с чемоданом впереди и оглядывался. Мама и бабушка семенили сзади. Бабушка далеко вперед выкидывала свою палку, а потом как будто подтягивалась к ней.

Нас выстроили спиной к вокзалу в четыре шеренги. Я оказался в середине.

— Равняйся! — скомандовал майор. — Смирно! По порядку номеров рассчитайся!

Мы рассчитались. К майору подошел тучный подполковник в авиационной форме и спросил:

— Ну что, все в порядке?

— Двух человек не хватает, — почтительно сказал майор.

— Надо сделать переключку.

Майор достал из кармана порядком уже измятый список.

— Слушай сюда, — сказал он и начал переключку:— Алексеев!

— Я!

— Алтухин!

— Я!

После каждого ответа майор отрывал взгляд от списка и смотрел туда, откуда доносился голос вызываемого.

Моя фамилия шла следом за фамилией Толика, который очутился где-то в хвосте строя. В строю не оказалось все того же Переверзева и еще одного человека.

— Ну, ладно, — сказал подполковник, — больше ждать некогда. Разбейте людей на команды и грузите в вагоны.

Майор отсчитал сколько-то там человек, потом протянул руку, как бы отсекая часть строя, и скомандовал:

— Эта группа направо! Десять шагов вперед шагом марш!

Вторая группа сделала восемь шагов, третья, в которой был я, — шесть. Потом каждой группе выделили по сержанту. Нам достался толстый, здоровый парень, у него на груди было несколько значков.

Он, выпятив грудь вперед, гоголем прошел перед нашим строем, внимательно оглядел впереди стоящих. Потом отошел на два шага назад и изрек:

— Наша группа будет называться рота, так мне привычней. Ясно?

— Ясно! — заорали мы хором.

— Наша рота будет занимать третий вагон. Ясно?

— Ясно!

— В вагоне не курить, курить только в тамбуре. Ясно?

— Ясно!

— Все, — сказал сержант. — Какой порядок езды будет, кто дневальный, кто дежурный — решим на месте. — Он вдруг напрягся, вытянул шею из воротника с

целлулоидным подворотничком и скомандовал: — На-пра-у! Шагом арш!

И мы пошли. Не в ногу, конечно, а кто как сумел. А родители наши шли сбоку и все кричали одно и то же: чтобы мы за собой следили, чтобы писали письма.

Мама тоже умоляла меня писать чаще. За ней шла бабушка и ничего не говорила, только бодро взмахивала палкой.

Сержант привел нас на перрон. Здесь стоял уже готовый состав с прицепленным к нему тепловозом. Я думал, что состав будет товарный, а он оказался нормальным пассажирским, только из старых вагонов, таких, какие ходят у нас на пригородных линиях. Сержант приказал организованно занять в вагоне места, но никакой организованности не получилось, все торопились занять там места получше. Я тоже торопился, но недостаточно, и поэтому мне досталась боковая верхняя полка. Но мне, в общем-то, было почти все равно. Я забросил свой чемодан на полку и снова выбрался на перрон.

Бабушка и мама стояли спиной к продуктовому киоску, жалкие и одинокие. Я посмотрел на них — сердце сжалось.

— Ну что вы раскисли? — сказал я. — Радоваться должны. Наконец-то избавитесь от шалолая.

— Да, конечно. — Мама хотела улыбнуться, но из этого у нее ничего не получилось. Губы у нее вдруг задергались, она отвернулась к киоску и заплакала. Бабушка посмотрела на маму и тоже отвернулась к киоску.

— Эх вы, нюни, — сказал я. — Что ж это вы от меня отвернулись? И что мне теперь из-за вас, дезертировать, что ли? И чего вы ревете? Я же вот не реву. А если хотите, я тоже.

И я стал делать вид, что реву, хотя мне хотелось зареветь на самом деле. А может быть, я и на самом деле ревел, а только думал, что делаю вид. Но все-таки я их немножко успокоил. Мама повернулась ко мне, улыбнулась и сказала:

— Не обращай внимания. Мы же с бабушкой женщины, и нам иногда можно немного поплакать.

Потом мы стояли и молчали, и я думал, что надо сказать, может быть, что-нибудь очень важное и значительное, но ничего такого придумать не мог, и мама с бабушкой тоже ничего не могли придумать. Они стояли

и смотрели на меня, а я на них смотреть не мог и ози-рался по сторонам, лишь бы на них не смотреть.

Недалеко от нас в окружении всей своей родни стоял тот самый парень, который плакал там, в сквере, но теперь он уже не плакал, а улыбался и, размахивая руками, что-то рассказывал матери и отцу, и мать тоже улыбалась, а отец слушал его хмуро и невнимательно. Во всяком случае мне так показалось, что невнимательно. А возле вагона стоял парень, который играл на гитаре, но теперь он был без гитары (наверное, оставил в вагоне). Возле него тоже стояли родители, маленькие пожилые люди, и еще чуть в стороне стояла красивая девушка — наверное, невеста, а может, даже жена. Она так стояла потому, что, наверное, считала, что у родителей сейчас больше прав на парня, а она отчасти вроде бы и лишняя, но если бы она была совсем лишняя, то, вероятно, ушла бы, но она не уходила — значит, лишней себя не считала. А может, считала, что если вот так будет стоять в самых ответственных случаях, то когда-нибудь обязательно станет не лишней: в общем, я не знаю, что там она себе думала, я сам об этом не успел додумать до конца, потому что в это время из вокзала вышел дежурный в красной фуражке и ударил в колокол.

И тут по радио раздался голос:

— Товарищи призывники, начальник эшелона подполковник Белов просит вас занять свои места в вагонах. Повторяю: товарищи призывники...

А из вокзала вышел майор с родимым пятном на щеке, он сказал что-то в мегафон, но, видимо, мегафон испортился, потому что ничего не было слышно. Тогда майор зажал мегафон под мышкой, сложил ладони рупором и уже без всякой механизации крикнул:

— По ваго-онам!

И сержанты, которые стояли возле каждого вагона, тоже стали кричать:

— По вагонам! По вагонам!

Но никто сразу и не пошевелился, и тогда сержанты стали тормозить отъезжающих и провожающих. И наш сержант подошел к нам и сказал маме и бабушке:

— Мамаши, команду слышали? Прощайтесь.

И мы стали прощаться. Мама меня обняла и прижалась ко мне, и я первый раз в жизни заметил, что она совсем маленькая. А она меня обхватила руками и не

хотела отпустить, и в конце концов мне пришлось тихонько от нее освободиться, потому что я думал, что не успею проститься с бабушкой.

— Не забывай, пиши, — сказала мама, отпуская меня.

— Конечно, буду писать, — сказал я. — Раз в неделю обязательно напишу.

Бабушка тоже, когда я ее обнимал, показалась мне маленькой и сухонькой, и только сейчас я подумал, что она ведь совсем уже старенькая, что, может быть, я больше ее никогда не увижу. Так оно в конце концов и получилось, но тогда я еще не знал, что так получится, но подумал, что может так получиться.

Опять подошел сержант и сказал:

— Хватит прощаться, сейчас отправляемся.

Я пошел задом к вагону и все смотрел на маму и бабушку, а они шли за мной. И только я залез в тамбур, как прогудел тепловоз, наш состав тронулся. Сразу вся толпа провожающих кинулась за составом, и все заревели так, будто весь наш поезд направлялся прямо на кладбище.

А мама с бабушкой мне махали руками и махали, и я им махал тоже, а потом их заслонили другие лица, а я все равно махал в надежде на то, что они видят хотя бы мою руку. И тут я увидел отца. Он, видимо, только что прибежал на перрон и в одной руке у него был какой-то сверток. И я ему крикнул:

— Папа!

Он услышал мой крик, вскинул голову и стал растерянно пробегать глазами по вагонам, но он смотрел все не туда, и я крикнул ему:

— Я здесь!

Он меня так и не увидел и стал на всякий случай махать свободной рукой и крутил головой, пытаясь разглядеть меня в пробегающих мимо вагонах.

Так вот и кончилась моя предармейская жизнь. Но прежде, чем поставить точку, мне хочется еще рассказать об одной встрече с Толиком, которая произошла у меня через год после событий, которые я здесь описал.

Первые два месяца мы служили вместе, вместе проходили курс молодого бойца, вместе принимали присягу.

А потом нас разослали по разным частям, и хотя слу-

жили мы по-прежнему в одном гарнизоне, но уже не виделись совершенно. Как-то не получалось. Да и желания особого лично я не испытывал. Может, у нас и раньше дружбы особой не было, а мы считали — была, потому что не знали, что такое настоящая дружба.

Придя в армию, я не оставлял мысли о летном училище, писал во все инстанции рапорты и заявления; но прошел год, прежде чем мне удалось добиться положительного ответа.

И вот в один прекрасный день я вышел за ворота части со своим небольшим чемоданом. В кармане у меня лежало направление в училище, воинское требование на железнодорожный билет и кормовые деньги — восемьдесят шесть копеек, которые я получил в финчасти.

Погода была паршивая. Грязные облака тянулись над самой землей, едва не задевая за верхушки деревьев. Иногда начинал накрапывать дождь и тут же переставал. Я был в шинели, но в пилотке, потому что приказа о переходе на зимнюю форму одежды еще не было.

Я пришел на вокзал за три часа до отправления поезда, взял билет и пошел бродить по городу. Город этот был большой, больше того, в котором я жил до армии, но он мне не нравился, может быть, не потому, что он был хуже моего города, а потому, что был он совсем для меня чужой. Я бродил по нему, держа чемодан в правой руке, чтобы не козырять офицерам, которых здесь было полным-полно. А потом устал, зашел на какой-то бульвар и сел отдохнуть. Напротив меня на лавочке два пенсионера, посинев от холода, играли в шахматы. Я сначала наблюдал за ними, а потом отвлекся и стал думать о своей жизни, о том, что произошло со мной за все это время. И вдруг над самым моим ухом оглушительно рывкнул знакомый голос:

— Почему не приветствуете?

Я моментально вскочил, инстинктивно потянул руку к пилотке и увидел перед собой счастливую рожу Толика.

— Вот дурак тоже еще! — рассердился я. — Ты откуда свалился?

— С луны, — сообщил Толик.

Я оглядел его с ног до головы. Вид у него был довольно странный. На нем, так же как и на мне, были шинель, сапоги и пилотка, но в руках он держал авось-

ку, из которой торчали хлеб, сгущенное молоко и еще какие-то продукты.

— Что это у тебя такое? — спросил я.

Толик смутился.

— Да вот жена за продуктами послала.

— Разве у тебя есть жена?

— Да не моя жена — генерала. — И видя, что я ничего не могу понять, заторопился с объяснением: — Я сейчас, понимаешь, служу ординарцем у генерала. Я сначала был в клубе художником. А потом меня сократили. А тут генерал как раз. «Нет ли, говорит, у вас лишнего солдата, мне ординарец нужен». А ему говорят: «Есть, у нас как раз художника сократили». Ну и вот, с тех пор я у него служу. Ну, служба, конечно, сам понимаешь, подай-принеси. А вообще-то не тяжелая. Ни физзарядки, ни строевой, ни подъема, ни отбоя. Пол подмел, посуду помыл — и свободен. Пиво пью каждый день. Ну, конечно, в смысле денег маловато. Из магазина придешь, жена всю мелочь пересчитывает. Почем картошку брал, почем помидоры — все пересчитывает. Если куда зачем надо съездить, дает на трамвай. Три копейки туда, три — обратно. Ну, а я другой раз на троллейбусе проеду или на автобусе. Приходится свои доплачивать. А откуда взять свои? Ну, бывает, из дому пятерочку подкинут или гонорар получишь. Вот и все.

— Какой гонорар? — удивился я.

— Вот тебе нá! — удивился Толик еще больше. — Да ты разве не знаешь?

— Нет, — сказал я.

— Я же стихи сочиняю. В нашей в окружной газете уже три стиха напечатал. Хочешь, расскажу?

— Валяй, — разрешил я, все еще не веря.

— Ну, слушай, — сказал Толик. Он поставил авоську на скамейку рядом со мной, а сам отошел на шаг, встал в позу и вытянул вперед правую руку. — «Старшина» называется.

Наш старшина — солдат бывалый,
Грудь вся в орденах,
Историй знает он не мало
О боевых делах.

Он всю войну провоевал,
Знаком ему вой мин.
Варшаву он освобождал
И штурмом брал Берлин.

Расскажет как-нибудь в походе
Военный эпизод.
И станет сразу легче вроде,
Усталость вся пройдет.

Наш старшина — пример живой
Отваги, доблести, геройства.
Он опыт вкладывает свой,
Чтоб нам привить такие свойства.

Толик читал стихотворение, размахивая рукой и завывая, как настоящий поэт. А потом посмотрел на меня с видом явного превосходства и спросил:

— Ну как?

— Это ты сам написал? — спросил я.

— Ну а кто же? — обиделся Толик. — У меня их много. Хочешь, еще расскажу?

— Нет, не надо, — сказал я. — Только это все как-то неожиданно. — Я был в самом деле растерян.

— Нет, ты скажи: вообще понравилось или нет?

— Ты просто гений, — сказал я почти искренне. — Я даже и не думал никогда, и не подозревал. И давно ты занимаешься этим делом?

— Давно, — вздохнул Толик. — Помнишь, мы еще когда работали на заводе, шли на работу и ты мне читал стихи?

— «Анчар»?

— Ну да. Вот с тех пор я и пишу. Сперва нескладно получалось, рифму никак не мог подобрать. А теперь вроде что-то выходит. Я понимаю, что это еще только первые шаги, но я поучусь, я упорный. Уже прочел статью Маяковского «Как делать стих» и Исаковского «О поэтическом мастерстве». Начал изучать Добролюбова.

Я был просто поражен. Для меня это был гром с ясного неба. Я посмотрел на него пристально и неожиданно в лоб спросил:

— Слушай, а что, если мы с тобой вдруг проваливаемся сквозь землю и перед нами...

— Что? — быстро спросил Толик.

— Ничего, — сказал я. — Я хотел проверить — ты это или не ты.

— Ну и как? — поинтересовался Толик.

— Никак, — сказал я. — Я хотел бы, чтоб ты провалился и нашел кучу золота.

— Это было б здорово, — сказал Толик искренне. — Я бы тогда знаешь что сделал?

— Знаю. Купил бы «Москвич» с ручным управлением.

— Зачем же с ручным? — обиделся Толик. — Что ж я — безногий? — Он помолчал. — А ты чего с чемоданом? В отпуск, что ли?

— В летное училище, — сказал я.

— Зря, — сказал Толик. — Ненадежное это дело. Хотя и деньги хорошие, и все, но ведь работа опасная.

— Ну, ладно. — Я встал. — Мне пора.

— Постой, — сказал Толик. Он стоял и раскручивал авоську сперва в одну сторону, потом в другую. — Я вот часто думал про тот случай возле Дворца... Конечно, мне неприятно, что так получилось...

— Да уж приятного мало, — согласился я.

— Да, мало, — сказал Толик. — Но для тебя так было лучше.

— Интересно! — Я был искренне удивлен. — Это еще почему?

— Они бы тебя били сильнее, — сказал он, глядя мне прямо в глаза.

Это была уже философия. Потом я встречался с ней при иных обстоятельствах, слышал примерно те же слова от других людей, торопившихся сделать то, что все равно на их месте сделал бы кто-то.

— Ладно, — сказал я. — Чего уж тут говорить.

В правой руке у меня был чемодан, Толик в правой руке держал авоську. Я повернулся, чтобы идти, но Толик не пустил. Он забежал вперед и загородил мне дорогу.

— Слышь, — жалобно сказал он, перекладывая авоську в левую руку, — Слышь... Значит, до свиданья. Может, еще увидимся как-нибудь или споемся. Все же не зря столько лет были друзьями.

Он протянул вперед руку и ждал. Я поставил чемодан на землю. Он набросился на мою руку с жадностью и невыносимо долго тряс ее.

— Слышь, Валера, не забывай, — говорил он. — Знаешь, в жизни все может быть, а дружба остается дружбой. Может, еще и пригодимся друг другу. Ты же мне вроде брата, дороже отца-матери...

В конце концов я освободился и пошел дальше.

Пройдя немного, я обернулся. Толик стоял посреди дороги со своей дурацкой авоськой и раскручивал ее сперва в одну сторону, потом в другую. Увидев, что я обернулся, он поспешно заулыбался и стал ожесточенно махать рукой. Я не выдержал, поднял руку и сделал такой жест, как будто помахал ему ответно и в то же время как будто не помахал. Но скорее всего этот жест мог означать, что, мол, ладно уж. Чего уж там. Что было, то было.

ХОЧУ БЫТЬ ЧЕСТНЫМ

Рассказ

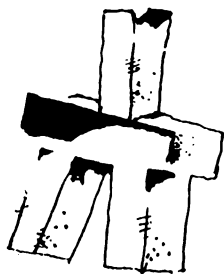


Мой друг, мой друг надежный,
Тебе ль того не знать:
Всю жизнь я лез из кожи,
Чтобы не стать, о Боже,
Тем, кем я мог бы стать...
(Генри Лоусон,
австралийский поэт)

1

Каждое утро без четверти семь на моем столе звонит будильник, напоминая мне о том, что пора вставать и идти на работу. Ни вставать, ни идти на работу я, естественно, не хочу. На дворе еще ночь, и забрызганное дождем окно едва видно на темной стене. Я дергаю шнур выключателя и несколько минут лежу при свете, испытывая первобытное желание чуточку подремать. Потом опускаю на пол ноги — сначала одну, потом другую. С этого момента начинается медленный процесс превращения меня в современного человека.

Сначала я сижу на кровати и, бессмысленно глядя в какую-то неопределенную точку на противоположной стене, почесываюсь, вздыхаю, широко раскрываю рот. Во рту противно, в груди клокочет — должно быть, оттого, что я слишком много курю. Болит сердце. Вернее, не болит, просто я чувствую его. Кажется, что под кожу вложили круглый булыжник. Если бы кому-нибудь со стороны посчастливилось наблюдать меня в эту минуту, я думаю, он получил бы немалое удовольствие. Вряд ли на земле бывает что-нибудь более нелепое, чем мое лицо, моя фигура и та поза, в которой я нахожусь в это время. Потом я начинаю шеве-



лить босыми пальцами, развожу в сторону руки и делаю другие манипуляции. На полу под батареей лежат гантели, которые я купил в прошлом году. Они покрыты толстым слоем пыли и кажутся большими, чем на самом деле. Я давно уже ими не пользуюсь, и то, что они покрылись пылью, меня несколько оправдывает — не хочется пачкать руки. А когда-то я умел и заниматься гимнастикой, и выбегать на улицу при скатке, автомате и всей другой амуниции через три минуты после подъема. Старшина Шулдыков, который первым учил меня этому, говорил, бывало: «Вы у меня и на гражданке будете за три минуты вскакивать. Я вас этому научу. Это моя цель жизни».

Если другой цели у него не было, можно считать, что жизнь старшины Шулдыкова прошла совершенно бесследно.

Размышляя об этом, я провожу рукой по щеке и обнаруживаю, что мне не мешало бы побриться. Щетина лезет из меня с поразительной быстротой. Тот, кто видит меня вечером, ни за что не может поверить, что утром я был выбрит до блеска. Бриться я начал лет с шестнадцати, и еще в школе меня прозвали «волосатый человек Андриан».

Электрическая бритва «Нева» жужжит так сильно, что пенсионер Иван Адамович Шишкин просыпается за стеной и начинает деликатно покашливать, намекая на то, что хулиганить в моем возрасте стыдно. Помочь ему я ничем не могу и мужественно продолжаю начатое дело, пользуясь при этом небольшим круглым зеркалом в железной оправе. Откровенно говоря, зеркало приносит мне мало радости. Из него на меня смотрит человек отчасти рыжий, отчасти плешивый, более толстый, чем нужно, с большими ушами, поросшими сивым пухом. В детстве мать говорила мне, что такие же большие уши были у Бетховена. Вначале надежда на то, что я смогу стать таким, как Бетховен, меня утешала. В ранней молодости я стыдился своих ушей. Теперь я к ним привык. В конце концов они не очень мешали мне в жизни.

Побрившись, я иду в ванную, долго и старательно умываюсь водой, холодной настолько, что пальцы краснеют и перестают разгибаться.

Потом надеваю резиновые сапоги, свитер, пиджак, прорезиненный плащ, лохматую кепку и выхожу на

лестницу. Из почтового ящика, который висит на дверях, вынимаю письмо. Это письмо от матери. Я его прочту на работе.

2

На дворе начало октября. Небо сплошь затянуто тучами. Рассвет еще не наступил и, кажется, никогда не наступит. Трудно поверить, что солнечные лучи могут пробиться сквозь эту непроницаемую серость.

А город уже живет. Тысячи людей, подняв воротники или раскрыв зонтики, бегут по улице, осаждают сверкающие от дождя автобусы, ныряют в проходную табачной фабрики. Посмотришь на них — и страшно становится: откуда столько народу?

Большая толпа стекается к переходу, готовая ринуться в первый же просвет между потоками автомобилей, которым, кажется, тоже нету конца. В этой толпе я пересекаю широкую улицу и попадаю в большой полустеклянный, полуметаллический колпак — кафетерий, или попросту забегаловку. Внутри забегаловки буфетная стойка, несколько высоких столиков на железных ногах. Цементный пол усыпан толстым слоем серых опилок.

Длинная очередь тянется вдоль буфета. Люди топчутся, ежатся, потирают руки. От намокших плащей и пальто поднимается пар.

За стойкой возвышается Зоя — высокая девушка с гладкой прической. Она бросает мелочь в пластмассовую тарелку, выдает сдачу, бойко орудует блестящими рычагами кофейного агрегата. Может быть, ей кажется, что она стоит у пульта управления атомным кораблем.

Увидев меня, Зоя радостно улыбается, открывая красивые ровные зубы. Едва ли я нравлюсь ей. Ее улыбка объясняется более просто — я ее постоянный клиент.

— Вам — как всегда? — спрашивает Зоя.

— Как всегда, — говорю я.

В обмен на протянутый ей полтинник она выдает мне сосиски с капустой, кофе с молоком и булочку с маком. Очередь шумит и волнуется, но Зоя успокаивает ее:

— Это наш работник. — И улыбается.

Может быть, я ей действительно нравлюсь. В этом нет для меня ничего неожиданного, я нравлюсь многим

женщинам, потому что я высокий и сильный, хорошо зарабатываю и не злоупотребляю спиртными напитками.

3

Недалеко от последней остановки автобуса начинается большое пространство, разгороженное дощатыми заборами. Это наши местные Черемушки.

На одном из заборов висит большой фанерный щит с надписью: «СУ-1. Строительство ведет прораб т. Самохин».

А рядом афиша:

«Поет Гелена Великанова».

Тов. Самохин — это я. Гелена Великанова никакого отношения ко мне не имеет, просто рекламбюро решило использовать свободную полезную площадь.

Гастроли певицы кончились, вчера она уехала из нашего города. Скоро афишу снимут. Щит с моей фамилией тоже исчезнет. Дом, который я строю, почти готов к сдаче. Вот он стоит за забором пока что пустой, с потемневшими от дождя стенами из силикатного кирпича.

Неподвижный башенный кран тянет шею в мутное осеннее небо. Кран мне уже не нужен, надо будет вызвать из треста «Строймеханизация» монтажников, пускай его разберут.

В правом крыле здания на одной из дверей первого этажа четвертой секции висит бумажная табличка: «Прорабская». Здесь я обычно и нахожусь ежедневно с половины восьмого до пяти. Довольно часто меня здесь можно найти и в десять, и в одиннадцать, и в двенадцать ночи, потому что рабочий день у меня не нормирован.

В прорабской накурено — дым коромыслом. Свет лампочки едва пробивается сквозь плотные слои дыма. Рабочие, собравшиеся здесь, разместились кто на табуретках, кто на длинной скамейке, кто просто на корточках вдоль стен и у железной печки. Звено штукатуров Бабаева в полном составе лежит на полу.

— Хотя бы форточку открыли, — ворчу я, пробираясь к столу, стоящему у окна.

Никто не обращает на меня никакого внимания, я

открываю форточку сам. Дым постепенно рассеивается. С улицы тянет сыростью.

До начала работы еще полчаса, каждый проводит их как умеет. Бригадир Шилов сидит на ящике из-под гвоздей и сушит у печки портянки. Бабаев листает книгу, готовясь к занятиям в университете культуры, подсобница Катя Желобанова рассказывает своей подруге Люсе Маркиной, что летом на пляже видела артиста Рощина и что он, оказывается, лысый, а когда поет по телевизору, наверное, надевает парик.

У окна стоит Дерюшев — толстый рыхлый увалень в армейском бушлате. Сопя от натуги, он пытается согнуть железный ломик, вставленный одним концом в щель между ребрами батареи парового отопления. Рядом с ним паркетчик Шмаков, прозванный Писателем за то, что зимой ходит без шапки.

— Давай-давай, — подзадоривает он Дерюшева. — Главное — упираться ногами.

— Ты что делаешь? — спрашиваю я Дерюшева.

Дерюшев вздрагивает и застенчиво улыбается.

— Да ничего, Евгений Иваныч, балуемся просто.

— Эх, Дерюшев, Дерюшев, — сокрушенно вздыхает Писатель, — с такой будкой не можешь ломик согнуть. Придется, видно, тебя к Новому году на сало зарезать. Вот Евгений Иваныч запросто согнет, — подзадоривает он меня.

Он обращается ко мне слишком фамильярно, мне хочется его одернуть, но я думаю: «А почему бы, в самом деле, не попробовать свои силы? Есть еще чем похвастаться».

— А ну-ка дай.

Я беру у Дерюшева ломик, кладу на шею и концы его тяну книзу. Чувствую, как гудит в ушах и как жилы на шее наливаются кровью.

Согнутый в дугу ломик я бережно кладу на пол. И не могу удержаться, чтобы не спросить:

— Может, кто разогнет?

— Вот это сила, — завистливо вздыхает Дерюшев и незаметно пробует свои рыхлые мускулы.

Катя Желобанова смотрит на меня с нескрываемым восхищением. Артист Рощин вряд ли согнул бы ломик на шее.

А я задыхаюсь. Сердце колотится так, словно я пробежал десяток километров. Что-то со мной происходит

в последнее время. Чтобы скрыть одышку, сажусь за стол, делаю вид, что роюсь в бумагах.

Писатель продолжает донимать Дерюшева.

— Вот, Дерюшев, — говорит он, — кабы тебе такую силу, ты б чего делал? Небось в цирк пошел бы. Скажи, пошел бы?

— А чего, — задумчиво отвечает Дерюшев, — может, и пошел бы!

— А я думаю, тебе и так можно идти. Тебя народу за деньги будут казать. Каждому интересно на такую свинью поглядеть, хотя и за деньги.

Писатель смеется и обводит глазами других, как бы приглашая посмеяться с ним вместе. Но его никто не поддерживает, кроме Люси Маркиной, которая влюблена в Писателя и не скрывает этого.

— Шмаков, — говорю я Писателю, — в третьей секции ты полы настилал?

— Ну я. А что? — он смотрит на меня со свойственной ему наглостью.

— А то, — говорю я. — Паркет совсем разошелся.

— Ничего, сойдется. Перед сдачей водичкой польем — сойдется.

— Шмаков, — задаю я ему патетический вопрос, — у тебя рабочая гордость есть? Неужели тебе никогда не хочется сделать свою работу по-настоящему?

— Мы люди темные, — говорит он, — нам нужны гроши да харчи хороши.

Он говорит и ничего не боится. Уговоры на него не действуют, угрожать ему нечем. На стройке каждого человека берегут как зеницу ока. Да и не очень-то берегают. Приходят к нам демобилизованные да те, кто недавно из деревни. Придут, поработают, пообсморятся и сматываются — кто на завод, кто на фабрику. Там и заработки больше, и работа в тепле.

Вот сидит перед печкой Матвей Шилов. Он разулся и сушит портянки и думает кто его знает о чем. Может быть, сочиняет в уме заявление на расчет. Но такие, как Шилов, уходят редко. На стройке он уже лет двенадцать. И он привык, и к нему привыкли.

Я смотрю на часы: стрелки подходят к восьми.

— Все в сборе? — спрашиваю у Шилова.

Он медленно поворачивает голову ко мне, потом так же медленно обводит взглядом присутствующих.

— Кажись, все.

— Кончайте перекур, приступайте к работе.

— Щас пойдем, — нехотя отвечает Шилов и начинает наматывать портянки. Обувшись, встает, топает сначала одной ногой, потом другой и только после этого достает из-за печки молоток, протягивает его Писателю: — Пойди вдарь.

Тот послушно выходит и ударяет. Вагонный буфер, подвешенный на проволоке к столбу электроосвещения, гудит, как церковный колокол, возвещая начало рабочего дня. Все постепенно выходят.

4

«Дорогой сыночек!

Вот уже две недели от тебя нет никаких известий, и я просто не знаю, что и подумать. До каких пор ты будешь меня мучить? Вчера мне приснилось, что ты идешь босиком по снегу. Я снам не верю, но, когда дело касается тебя, невольно начинаю волноваться. В голову приходят такие страшные мысли, что даже боязно о них говорить. Все думается, уж не заболел ли ты или, не дай бог, не попал ли под машину...»

Это пишет моя мама, бывшая учительница, ныне пенсионерка. Она и раньше любила получать письма, а теперь тем более.

А что я буду писать? Каждый день одно и то же. Без четверти семь — подъем. В восемь — начало работы. С двенадцати до часу — перерыв. В пять — конец рабочего дня. В полшестого — совещание у начальника СУ. Что касается попадания под машину, то об этом сообщил бы отдел кадров или ОРУД: им за это деньги платят.

«...У меня ничего нового, если не считать того, что позавчера на собрании актива меня избрали председателем домового комитета. Ты, конечно, относишься к таким вещам скептически, а мне это было очень приятно.

На днях случайно встретила на улице Владика Тугаринова. Приехал в отпуск с женой. Он теперь стал такой важный. Недавно его назначили начальником какого-то крупного строительства в Сибири. Спрашивал о тебе. Взял адрес, обещал написать».

За всем этим, как говорят, есть свой подтекст: Владик не способнее меня, во всяком случае, по математи-

ке успевал много хуже, а теперь он большой начальник. Я бы тоже мог высидеть себе приличную должность, если бы не мотался с места на место.

Мама не учитывает только того обстоятельства, что Владик получил диплом (а в институт мы с ним поступали вместе) в сорок четвертом году, когда я валялся в борисоглебском госпитале. Конечно, Владик не виноват, что его не взяли на фронт: у него еще в десятом классе была близорукость минус восемь. Но и я не виноват, что был только студентом-практикантом в то время, когда Владик был уже начальником ПТО.

После института, я конечно, мог бы сидеть на одном месте. Но я работал на Сахалине, в Якутии, на Печорстрое и даже на целине — строил саманные домики. Кто знает, может, я и здесь продержусь недолго?

5

В это время раздается телефонный звонок. Мне звонят много раз, и это обычно не вызывает во мне особых эмоций. Но сейчас каким-то чутьем я угадываю, что разговор кончится неприятностью. У меня нет никаких оснований так думать, просто я это чувствую. Поэтому я не снимаю трубку. Пусть звонит — посмотрим, у кого больше выдержки. Я закуриваю, выдвигаю ящик стола, просматриваю наряды. У того, кто звонит, выдержки больше. Я снимаю трубку и слышу голос Силаева — начальника нашего стройуправления.

— Самохин, ты что ж это к телефону не подходишь?

— По объекту ходил. Не знал, что вы звоните.

— Знать надо. Должен чувствовать, когда начальство звонит.

— Это я чувствую, — говорю я, — только не сразу. Немного погода.

— В том-то и дело. Научись чувствовать вовремя — большим человеком будешь.

Что-то он сегодня больно игрив. Не люблю, когда начальство веселится не в меру.

— Слушай, Самохин, — переходит на серьезный тон начальник, — ты бы зашел, поговорить надо.

— О чем?

— Узнаешь. Не телефонный разговор.

— Хорошо. Сейчас обойду объект...

— Ну давай, на одной ноге.

Как же, разбежался. Я выхожу из прорабской, поднимаюсь на четвертый этаж. На лестничной площадке стоит Шилов, водит вдоль стены краскопультом. Голубая струя со свистом вырывается из бронзовой трубки, краска ровным слоем покрывает штукатурку. Сам Шилов тоже весь в краске — шапка, ватник и сапоги.

— Ну что, Шилов, — спросил я, — портянки высушил?

— Высушу на ногах.

— А почему краска густо идет?

— Олифы нет, разводить нечем. Будет олифа?

— Будет, — сказал я, — если Богдашкин даст.

— Значит, не будет, — скептически заметил Шилов. — Богдашкин не даст.

— Ничего, с божьей помощью достанем.

— Наверяд, — Шилов сплюнул и посмотрел за окно.

Я зашел в одну из квартир, осмотрелся. В общем, все, кажется, ничего, прилично. Только штукатурка не сохнет и двери разбухли от сырости, не закрываются. Если бы их вовремя проолифить, было бы все иначе.

Зашел на кухню. Смотрю — у батареи, вытянув ноги, сидят Катя Желобанова и Люся Маркина. Разговаривают. О каких-то своих женихах, мороженом, кинофильмах и прочих вещах, не имеющих к их прямым обязанностям никакого отношения. А батарея, между прочим, не топится: воду еще не подключили.

— И вам не холодно? — спрашиваю я.

Молчат.

— Ну, чего сидите? Нечего делать?

— Перекур с дремотой, — смущенно пошутила Катя и сама засмеялась.

— Не успели начать работу — и уже перекур. Идите в четвертую секцию, там некому кафель носить.

Я говорю это ворчливым и хриплым голосом. Даже самому противно. Но я ничего не могу с собой поделать: вид сидящих без дела людей раздражает меня. Если пришли работать, значит, надо работать, а не прятаться по углам.

Больше всех меня разозлил Дерюшев. Газосварочным аппаратом он варил решетки. Я сразу заметил, что швы у него неровные и слабые. Я толкнул одну решетку — и шов разошелся.

— Ты что же, — сказал я Дерюшеву, — хочешь, чтоб нас с тобой в тюрьму посадили?

Дерюшев погасил пламя и поднял на лоб синие, закапанные металлом очки.

— Флюс, Евгений Иванович, слабый — не держит, — сказал он и улыбнулся, словно сообщал мне приятную новость. — И вообще тут электросваркой надо варить.

— Без тебя знаю, да где ее возьмешь? Все решетки переваришь. Я потом проверю. Флюс хороший доставлю.

Все от меня что-нибудь требуют, и всем я что-нибудь обещаю. Одному флюс, другому олифу, третьему брезентовые рукавицы. А как все это достать?

6

Когда-то в детстве от учителя физики я узнал про Джеймса Уатта. Еще маленьким он увидел кипящий чайник, потом вырос, вспомнил про чайник и изобрел паровую машину. Услышав это, я поднял руку и спросил:

— А кто изобрел чайник?

Этот вопрос занимает меня до сих пор. Когда я учился в институте, разные профессора преподавали нам множество сложных наук, которые я за пятнадцать лет успел благополучно забыть. Ни эвклидова геометрия, ни теория относительности не пригодились мне в жизни, хотя наши профессора считали, что каждый из этих предметов обязательно надо знать будущему строителю. Они много знали, эти профессора, но ни один из них не смог бы решить простейшую задачу — как достать ящик гвоздей, когда их нет на складе или когда у Богдашкина неважное настроение.

Богдашкин — это начальник снабжения нашего стройуправления, человек совершенно бестолковый. Пока у нас был главный инженер, отдел снабжения работал довольно сносно, был хоть какой-то порядок. Теперь главный ушел на пенсию, Богдашкиным никто не руководит, и он совсем распоясался. С утра до вечера ему звонят прорабы, выколачивая разные материалы. Богдашкин вконец запутался в этой неразберихе и решил упростить дело: посылает кому что придется. Тому, кто просил у него алебастр, он шлет электрический

шнур. а тому, кто хотел иметь электрический шнур, посылает дверные ручки. Мне он недавно прислал второй газосварочный аппарат. Я долго не знал, что с ним делать, потом обменял его у Лымаря на электромотор для растворомешалки.

Конечно, можно позвонить Богдашкину и спросить у него пачет олифы, но из этого едва ли что выйдет. У него никакой олифы нет, и делай с ним что хочешь, все равно ничего не добьешься. Поменяться бы с кем... Я взял клочок бумаги, сделал раскладку:

<i>Прораб</i>	<i>Что у него есть</i>	<i>Что ему нужно</i>
Филимонов	Олифа	Кровельное железо
Лымарь	Кафель	Оконные блоки
Сидоркин	Кровельное железо	Кафель
Ермошин	Оконные блоки	Плиты
Я	Плиты	Олифа

Если позвонить Ермошину и обменять у него плиты на оконные блоки, вместо блоков взять у Лымаря кафель, Сидоркин уступит за кафель кровельное железо, после этого позвонить Филимонову... Ничего не выйдет. Я вспомнил, что Филимонов отдал свою олифу Ермошину, не знаю за что. А зачем Ермошину олифа, когда он еще не начинал отделку?

Я смотрю на свою раскладку. Целый стратегический план. И все для того, чтобы достать одну бочку олифы.

7

Явление второе: те же и Сидоркин. Он открывает дверь и вваливается в прорабскую во всем своем великолепии — длинный, тощий, в зеленой помятой шляпе, потрепанном синем плаще и брюках невероятной ширины. Желтые ботинки до щиколоток залеплены грязью. И в таких ботинках Сидоркин прется прямо к столу.

— Хоть бы ноги вытер, — говорю я ему. — Все-таки в приличный домходишь.

— В приличных домах персидские ковры стелют под ноги. — Он садится на стул, стаскивает с себя один ботинок, вытягивает ногу. — Совсем промокли носки.

— Не можешь резиновые сапоги купить? Жмешься все.

— Не жмусь, — ворчит Сидоркин и жмурится. — Ревматизм у меня от этих сапог. В Карелии все в них шлепал.

Он вытаскивает из моей пачки сигарету, закуривает, достает из кармана колоду потрепанных карт, лениво перекладывает их.

— Сыграем?

— На что?

— На мешок цемента.

— Не выйдет. Ты передергиваешь.

— Ну давай тогда в веревочку, — он достает из кармана веревочку, складывает ее двумя кольцами, приговаривая: — Трах-бах-тарарах, приехал черт на волах, на зеленом венике из своей Америки. Кручу-верчу, за это деньги плачу. Сюда поставишь — выиграешь, сюда поставишь — проиграешь. Замечай глазами, получай деньгами. Куда ставишь?

— Знаешь, Сидоркин, — говорю я, — давай я тебе подарю мешок цемента с дарственной надписью, и после этого ты сделаешь так, чтобы я тебя больше не видел.

— Ну что ты, — великодушно возражает Сидоркин, — я не могу тебя лишиться такого удовольствия за какой-то мешок цемента. Если ты мне подаришь парочку, я, пожалуй, подумаю.

До чего же нахальный тип! Пока он снова натягивает свой грязный ботинок, я набираю номер Богдашкина. Там снимают трубку.

— Богдашкин? — спрашиваю я.

— Нет его, — меняя голос, отвечает Богдашкин и вешает трубку.

— Сволочь, — говорю я и смотрю на Сидоркина.

Сидоркин смотрит на меня.

— Опять шутит? — спрашивает он участливо. — Но ты не волнуйся. Мы с ним тоже пошутим.

Он подвигает к себе аппарат и набирает номер. Талантливый человек Сидоркин! Выбери он вовремя артистическую карьеру, цены б ему не было.

— Алло, это Дима? — говорит он грудным женским голосом.

Богдашкина я не вижу, но хорошо представляю себе, как его одутловатое лицо расплывается в сладчайшей улыбке. Старый дурак! Ему уже скоро на пенсию, а он

все еще охотится за молодыми девушками. Ни годы, ни алименты, на которые уходит половина зарплаты, не могут заставить его образумиться.

— Здравствуй, Дима, — ласково щебечет Сидоркин. — Это твоя маленькая Пусенька. Я уже сказала папе о нашем решении, папа хочет с тобой поговорить. Передаю папе трубку.

Я беру трубку, злорадствую:

— Ну что, попался?

В трубке слышно тяжелое сопение — Богдашкин думает.

— Кто это? — наконец спрашивает он.

— Это папа твоей маленькой Пусеньки, — продолжаю я начатую Сидоркиным игру.

— Чего надо-то? — Богдашкин меня уже узнал, голос у него недовольный.

— Ничего особенного. Бочку олифы.

— Олифы? — Богдашкин воспринимает это как личное оскорбление. — Вы ее с хлебом, что ли, едите? Я тебе на прошлой неделе отправил две бочки. Больше нет.

— Может, все-таки найдешь? — прошу я без всякой надежды.

— Как же, найдешь, — сердится Богдашкин. — Одному одно найди, другому другое. И все к Богдашкину. Этому нужен Богдашкин и этому Богдашкин, а Богдашкин всего один во всем управлении.

В конце концов я выхожу из себя и говорю ему несколько слов на родном языке. Богдашкин не обижается, ему все говорят примерно то же самое.

— Будет ругаться-то, — ворчит он довольно миролюбиво. — Высшее образование имеешь, а такие слова говоришь. Алебастру немного могу дать, если хочешь.

Можно послать его еще куда-нибудь, но за это денег не платят. А алебастр — это все-таки нечто вещественное. Для обмена на что-нибудь он тоже годится.

— Черт с тобой, — соглашаюсь я, — давай алебастр. С паршивой овцы хоть шерсти клок.

Пока я говорил с Богдашкиным, Сидоркин сидел и терпеливо ждал. Теперь поднялся.

— Значит, я беру три мешка?

— Совсем обнаглел, — говорю я. — Сначала один просил, потом два, теперь тебе и двух мало.

— Мало, — сказал Сидоркин. — Один по дружбе,

один, чтоб ты меня больше не видел, один за Богдашкина. Законно?

— Ладно, — сказал я, — бери четыре мешка и проваливай.

— Бусделано, — сказал Сидоркин, подражая Аркадию Райкину. — Сейчас я подошлю машину.

Я тоже собрался выходить вместе с Сидоркиным, но в это время появился Ермошин, который приехал на самосвале. Он долго стоял на подножке, потом нерешительно поставил ногу на лежащую в грязи узкую доску и пошел по ней, словно канатоходец. Я и Сидоркин с интересом следили за ним, надеясь, что он поскользнется. Но он благополучно одолел одну доску, перешел на другую и явился перед нами чистенький, словно его перенесли по воздуху. Усы, бакенбарды и шляпа придают лицу его умное выражение.

— Слышал новость? — обратился Ермошин к Сидоркину. — Его назначают главным инженером, — он кивнул в мою сторону.

Это было неожиданностью не только для Сидоркина, но и для меня самого. Правда, слухи о моем назначении давно ходили по тресту, но слухи оставались слухами, никакого подтверждения им не было, если не считать двух-трех намеков, слышанных мной от Силаева.

— Брось, — недоверчиво сказал Сидоркин. — Что, управляющий утвердил?

— Пока не утвердил, но затребовал проект приказа. Я только что от Силаева, сам слышал весь разговор по телефону.

— За что бы это ему такая честь? — Сидоркин критически оглядел меня. — Толстый, рыжий и в лице ничего благородного. А тебя что ж, обошли, выходит?

— Я на профсоюзную работу перехожу, — важно сказал Ермошин. — Романенко увольняется, я на его место.

— Ну и валяй, — сказал Сидоркин и, поднявшись, обратился ко мне: — Значит, ты мне даешь гипсолитовые плиты?

— Какие плиты? — удивился я.

— Ну как же. Только что ведь мы договорились, ты даешь мне плиты, я тебе бочку олифы. Или ты на радостях ничего не помнишь?

Сидоркин мне усиленно подмигивал, и я понял, что он хочет разыграть Ермошина.

— Нет, — сказал я, — за одну бочку не отдам.

— Это вы о чем? — с деланным равнодушием поинтересовался Ермошин.

— Да так, пустяки, — пояснил я, — тут у меня завалялись гипсолитовые плиты, сотни полторы. Он хочет взять у меня за бочку олифы.

Клюнет или не клюнет? Но куда же он денется? Приманка слишком аппетитно пахнет. Сто пятьдесят гипсолитовых плит! Попробуй-ка вырвать их у Богдашкина.

— Я тебе могу дать полторы бочки, — наконец говорит он, стараясь не смотреть на Сидоркина.

— Да тебе зачем? — говорит Сидоркин. — Ты ведь уже перегородки поставил. Вчера докладывал на летучке.

— Мало ли чего я докладывал, — отмахивается Ермошин и снова поворачивается ко мне: — Ну, берешь полторы бочки?

— Смеешься, что ли? Сто пятьдесят плит за полторы бочки олифы. Помажь ею себе волосы.

— Но у меня больше нет.

— Иди к Богдашкину. Может, он даст тебе сто пятьдесят плит.

— Ну, хорошо, — решает Ермошин. — Бери две бочки — и по рукам.

— Мало. Вези свои бочки Богдашкину.

Я неумолим, хотя знаю, что олифы у него в самом деле больше нет. Но ведь есть на свете и другие не менее ценные вещи. В конце концов мы сходимся на том, что Ермошин дает мне еще десять пачек паркета и немного флюса для газосварки.

Мы оба довольны сделкой: он думает, что ловко обвел меня вокруг пальца, я думаю то же самое о нем, и оба по-своему правы. И он и я выжали друг из друга все, что было возможно, направив на это всю свою энергию и все свои умственные способности. Все было бы гораздо проще, если бы Богдашкин дал каждому из нас, что нам полагается.

Только ушел Ермошин — зазвонил телефон. Я подумал, что это опять Силаев, и попросил Сидоркина взять трубку.

— Если Силаев, меня нет.

Сидоркин снял трубку:

— Алло. Одну минуточку. Главный инженер Самохин занят, но я попробую вас соединить... Она, — сказал Сидоркин, передавая мне трубку, и прикрыл глаза от нахлынувшего на него счастья.

В трубке я услышал голос Клавды:

— Это ты?

— Это я.

— Я тебе звоню просто так — поболтать.

— Тышла для этого самое подходящее время, — вежливо сказал я.

— Не сердись. Ты когда появишься? Я вчера ждала тебя весь вечер, потом пошла на «Иваново детство». Ты не видел?

— Нет.

Чего доброго, она мне сейчас начнет пересказывать содержание фильма.

— Возможно, я сегодня зайду, — сказал я.

— Правда?

— Может быть, — уточнил я. — А сейчас, извини, я тороплюсь.

Из прорабской мы вышли с Сидоркиным вместе.

Дождь моросил по-прежнему.

— Значит, я подошлю машину и возьму пять мешков, — сказал Сидоркин, поднимая воротник плаща.

— Десять, — сказал я. — Возьми десять. Ты заслужил их сегодня.

8

Когда я вошел, Силаев сидел за столом один и разбирал настольную лампу. Когда-то давным-давно он работал на заводе слесарем, очень любил вспоминать об этом и любил ремонтировать разную технику. Ничем хорошим это обычно не кончалось, и потом приходилось вызывать монтеров или лифтеров — в зависимости от того, что именно брался ремонтировать начальник.

— Что ж так поздно? Курьеров за тобой посылать, — недовольно проворчал Силаев и, не дожидаясь ответа, кивнул на кресло, стоявшее у стола. — Садись.

Я в кресло садиться не стал — оно слишком мягкое. В нем утопаешь так глубоко, что даже при моем росте я едва достаю подбородком до крышки стола. Может

быть, такие кресла делают нарочно для посетителей, чтобы, сидя в них, посетители в полной мере ощущали свое ничтожество. Я взял от стены стул и придвинул его к столу.

— Как жизнь? — спросил начальник, снимая с лампы матовый абажур.

— Спасибо, — сказал я, — течет потихоньку.

— Как здоровье жены? — Силаев вынул из лампы кнопочный выключатель и ковырял в нем отверткой.

— Спасибо, здорова, — мне уже надоело говорить ему, что я не женат.

— Ну хорошо, — сказал начальник и положил отвертку на стол. — Ты, конечно, знаешь, зачем я тебя вызвал?

После разговора с Ермошиным я догадывался, но на всякий случай сказал, что не знаю.

— Тем лучше, — сказал Силаев, — пусть это будет для тебя сюрпризом.

Он нажал кнопку звонка, и почти в то же мгновение в дверях появилась секретарша Люся, очень красивая девушка, только ресницы подведены слишком густо.

— Люсенька, принесите, пожалуйста, проект приказа на Самохина, — глядя на нее, попросил Силаев.

Люся исчезла так же бесшумно, как и появилась. Силаев посмотрел на закрывшуюся за ней дверь и почему-то вздохнул.

— Как у тебя дела? — спросил он, помолчав. — Что-то я давно на твоем участке не был. По плану у тебя когда сдача объекта?

— К Новому году.

— А по обязательствам?

— К первому декабря.

Это все он знал не хуже меня, и я подумал, что он задает вопросы, лишь бы поддержать разговор. Начальник посмотрел на меня и сказал, помедлив:

— Так вот. Сдашь его к празднику.

— Неготовый? — спросил я.

— Зачем же неготовый? Подготовишь и сдашь.

В дверях снова появилась Люся. Постукивая тонкими каблучками, она прошла к столу, положила перед Силаевым лист бумаги.

— Все? — спросила она, усмехаясь, как всегда, когда говорила с начальством.

— Нет, не все, — строго сказал Силаев. — Объяви-

те по участкам, что сегодня в семнадцать тридцать состоится производственное совещание. Нет, объявите, что ровно в семнадцать. Все равно меньше чем за полчаса их не соберешь.

Люся стояла, выжидательно опустив ресницы.

— Можно идти? — спросила она.

— Когда я скажу, тогда пойдете, — рассердился начальник. Видимо, он был не в духе и искал, к чему бы придрататься. — Что вы стоите как вкопанная и хлопаете своими ресницами? Вы что, меня соблазняете, что ли?

— Вас — нет, — тихо сказала Люся.

Ее ответ совсем вывел начальника из себя.

— Я вот возьму мокрую тряпку, — сказал он, — и вымою вам эти ваши ресницы.

— Не имеете права.

— На вас у меня хватит прав. Я вам в отцы гожусь.

— У меня есть свой папа, — напомнила Люся.

— Ну и очень плохо, — сказал Силаев, но тут же поправился: — То есть плохо то, что ваш папа не следит за вами. Идите.

Люся повернулась и простучала каблучками по направлению к двери. Во время этого разговора она ни разу не изменила тона, ни один мускул на ее лице не дрогнул.

Я понял, что у Силаева какая-то неприятность. Всегда в таких случаях он срывает злость на своей секретарше, которая эти припадки терпеливо выносит. Может, он за это и держит ее.

— Черт знает что, — проворчал он, когда дверь за Люсей закрылась. — Дура.

Он раскрыл пачку «Казбека» и, закуривая, молча подвинул ко мне бумагу, которую принесла Люся. Это был тот самый проект приказа, в котором говорилось, что я назначаюсь главным инженером.

— Прочел? — спросил Силаев. — Дела примешь после сдачи объекта.

— Значит, в декабре, — сказал я.

— Раньше, — сказал Силаев. — Объект сдашь до праздника, а после праздника примешь дела. Можешь считать это приказом, который нужно выполнять.

— Приказы, Глеб Николаевич, должны быть разумные, — сказал я. — Вы ведь знаете, что у меня еще штукатурные работы не закончены и малярные. И паркет еще надо стелить.

— Все сделаешь.

— Но ведь даже штукатурка не высохнет.

— Меня это не касается. Дом должен быть сдан. Ты думаешь — это моя прихоть? Мне приказано оттуда, — он раздавил окурок о край пепельницы и показал на потолок. — В райкоме решили, что надо сделать подарок комсомольским семьям. Праздник, барабаны, вручение ключей. А ты должен радоваться, что тебе дают идею.

— Я бы радовался, — сказал я, — если бы эту идею можно было обменять на бочку олифы. Хороший будет подарок. Сейчас сдадим, а через месяц в капитальный ремонт. А что, если я не сдам все-таки дом?

— Не сдашь? — Силаев посмотрел мне в глаза. — Тогда все меры. Вплоть до увольнения. Так что выбирай. Или сдача объекта вовремя и все остальное. Или... Выбирай. — Он встал и протянул мне руку: — Извини, мне пора к управляющему.

9

Я неудачник. Во всяком случае, так считает моя мама. Я неудачник, потому что не стал ни ученым, ни большим начальником. Я все еще только старший прораб. Старший прораб применительно к армейским званиям что-то вроде старшего лейтенанта. Если к сорока годам ты не шагнул выше этого чина, маршальский жезл из своего рюкзака можешь выбросить.

Мне уже сорок два. В сорок два года мне предлагают должность главного инженера, хотя могли это сделать гораздо раньше. Пятнадцать лет прошло с тех пор, как я окончил строительный институт, почти все пятнадцать я работаю в одной и той же должности — старшим прорабом. За это время я полысел и обрюзг, стал нервным и раздражительным.

Моя работа ничем не лучше, но и не хуже других. Мое это призвание или не мое, я до сих пор не знаю и, если признаться, мало интересуюсь этим. Призвание проверяется в деле, где нужны какие-то особые способности. Прорабу излишние способности ни к чему — ему достаточно умения доставать материалы, читать чертежи и вовремя закрывать рабочим наряды. Я не могу, скажем, сделать дом лучшим, чем он должен быть по проекту.

Но иногда меня заставляют делать хуже, чем я могу, и это мне не нравится. Когда я возражаю, это не нравится начальству. Из двух мест я уже ушел «по собственному желанию». Можно бы уйти и отсюда — на этом городе свет клином не сошелся, — но мне уже надоело скитаться. Надоело жить в палатках и вагончиках или снимать койку в «частном секторе». Когда тебе уже за сорок, хочется пожить нормальной человеческой жизнью, иметь свой угол, может быть, свою семью.

У меня дома на тумбочке под стеклом стоит фотография девушки лет восемнадцати. Удлиненное лицо, большие темные глаза, темные косы, аккуратно уложенные вокруг головы. Это Роза. Я с ней познакомился в Киеве в начале сорок первого года, когда приезжал на зимние каникулы. Она училась в десятом классе (подумать только, сейчас у меня могла бы быть такая дочь!) и собиралась поступать в пединститут на исторический факультет.

Когда немцы подошли к Киеву, она почему-то не уехала и теперь лежит, наверное, в Бабьем Яру. Она была молода и красива — это видно по фотографии. Но она была еще и умна и добра. Она была необыкновенно чуткой и нежной. Впрочем, может быть, я уже не помню, какой именно была Роза, и в моей памяти живет только образ, нарисованный мной самим? Но с тех пор я не встречал женщины, которая хоть сколько-нибудь напоминала бы этот образ. Может быть, поэтому я до сих пор не женат.

10

Ровно в половине шестого мы, прорабы, один за другим входим в кабинет Силаева. Занимаем места за длинным столом, стоящим перпендикулярно к столу начальника. Пока рассаживаемся, Силаев, склонившись над бумагами, что-то пишет и не обращает на нас никакого внимания.

Совещание только начинается, времени впереди много, и каждый старается провести его с большей пользой. Лымарь вытащил из-за пазухи книжку «Атом на службе человеку», Сабидзе положил перед собой лист бумаги и уже кого-то рисует. Тихон Генералов, многодетный угрюмый человек, сидит слева от меня и состав-

ляет план воспитательной работы среди собственных детей:

«План

1. Иван — применить телесное наказание (ремень),
2. Наташа — поставить в угол на 30 мин. за сломанный телевизор.
3. Алла + Люба — купить билеты в кукольный театр.
4. Сергей — проверить дневник.
5. Поговорить с женой насчет грязного белья (можно отнести в прачечную)».

Справа от меня садится Васька Сидоркин. Он достает из кармана маленькие дорожные шахматы с дырочками в доске для фигур.

— Сыграем?

— Давай.

Сидоркин ставит доску на края стульев между мной и собой так, чтобы не видно было из-за стола.

Начальник поднимает голову:

— Все собрались?

— Почти, — отвечает Ермошин, который всегда садится ближе всех к начальнику.

— Начнем, пожалуй.

Начальник придвигает к себе папиросы. Все тоже достают папиросы, а Сидоркин, у которого их никогда не бывает, тянется к моей пачке. Через пять минут в кабинете все померкнет от дыма, но пока что довольно светло.

— Кто первый будет докладывать? — спрашивает начальник. — Ермошин?

Ермошин, как самый бойкий, докладывает всегда первым. Он встает, приосанивается, поправляет галстук.

— На сегодняшний день на вверенном мне участке...

Начальник от удовольствия закрывает глаза. К тому, что говорит Ермошин, он испытывает не практический, а чисто литературный интерес: речь Ермошина льется гладко и плавно, словно он читает газетную заметку под рубрикой «Рапорты с мест».

— Коллектив участка, — привычно тарабанит Ермошин, — включившись в соревнование за достойную встречу сорок четвертой годовщины Октября...

— Сорок третьей, — с места хрипит Сидоркин.

Ермошин озадаченно умолкает, медленно шевелит

губами, подсчитывая. Начальник растерянно смотрит то на Сидоркина, то на Ермошина и тоже подсчитывает. Первым подсчитал Ермошин.

— ...за достойную встречу сорок четвертой годовщины Великого Октября, — продолжает он твердо и бросает презрительный взгляд на Сидоркина.

— Погоди, — перебивает его Силаев. — Сидоркин, вы там опять в шахматы режетесь?

— Никак нет! — рывкает Сидоркин и нагло ест начальство глазами.

— Смотрите у меня.

— Слушаюсь! — ревет Сидоркин и незаметно передвигает фигуру.

После Ермошина выступают другие. Все подробно перечисляют успехи и вскользь упоминают о недостатках. Как водится, ругают начальника снабжения Богдашкина. Богдашник сидит за отдельным столиком возле стены и невозмутимо заносит все замечания в толстую общую тетрадь в коленкоровом переплете. Так он делает каждый раз на всех совещаниях, планерках и летучках. Если бы издать отдельно все записи Богдашкина, получилось бы довольно объемистое собрание сочинений.

Наконец очередь доходит до Сидоркина. Он впопыхах делает не тот ход, что нужно, и встает.

— Ну, у меня, значит, полный порядок, — говорит Сидоркин, подтягивая штаны. — Только вот Богдашкин радиаторы не дает. Богдашкин, запиши.

Богдашкин покорно записывает.

Начальник терпеливо ждет, потом поворачивает голову в мою сторону.

Последним выступаю я.

Меня уже никто не слушает, всем надоело, все хотят по домам. Сидоркин нехотя собирает шахматы. Сабидзе сломал карандаш и сидит скучает.

Начальник ковыряется отверткой в замке стола. Он ждет окончания моего доклада только для того, чтобы спросить:

— Ну как, сдадим к празднику объект?

— Вряд ли.

— Опять заладил свое. Товарищи прорабы, к празднику объект Самохина должен быть сдан. Если сдадим, годовой план по управлению будет в основном выполнен. Поэтому предлагаю каждому со своего участка на-

править завтра же в помощь Самохину по три человека. Богдашкин, при распределении стройматериалов завтра в первую очередь учитывайте нужды Самохина. Вопросы есть?

— Есть, — сказал Ермошин.

— Твой вопрос решен, — сказал начальник, — в отпуск пойдешь зимой. На этом совещание считаю закрытым. Будьте здоровы, товарищи.

11

Около восьми часов мы выходим на улицу. Дождь перестал, но, видимо, ненадолго, сырой ветер забирается под плащ и пронизывает насквозь тело. Сидоркин поднял воротник и придерживает его рукой, защищая от ветра больное ухо.

Кто-то предложил «раздавить бутылку» — возражений особых не было. Взяли в магазине три поллитровки, пошли в столовую ткацкой фабрики, которая хороша тем, что в ней всегда есть жигулевское пиво, и тем, что в ней можно сидеть, не раздеваясь.

Пока мы носили пиво и котлеты с макаронами, Сидоркин под столом разлил водку в стаканы и покрасил пивом. Сделал он это быстро и незаметно.

Подошла уборщица Маруся и, посмотрев на нас, покачала укоризненно головой:

— Ой, мальчики, опять водку принесли. Тут дружинники ходят, полчаса как двоих забрали.

— Ничего, Маруся, — сказал Сидоркин, — не бойся, нас не заберут. — Он положил на угол стола полтинник.

Маруся смахнула монетку тряпкой в ладонь и, успокоившись, отошла. Теперь она не боялась дружинников.

— Выпьем за дружбу, — сказал Ермошин. — За то, чтобы мы всегда оставались друзьями. — И посмотрел на меня.

— Далеко пойдешь, — сказал Сидоркин и выпил свою водку первым.

Мы тоже выпили. Сидоркин разлил по стаканам вторую бутылку и, так же как первую, поставил под стол. Снова выпили. Ермошин, который всегда знал все новости, сказал, что слышал разговор в тресте, будто с нового года переходим на крупноблочное строительство.

— Давно пора, — сказал Филимонов, который пришел к нам всего два месяца назад, прямо из института, и горой стоит за передовые методы. — Вот будет здорово. Что ни месяц, то дом.

— Чего ж хорошего, — сказал Сидоркин. — Вот и будешь бегать с места на место. Для прораба ничего нет хуже, чем бегать с места на место. Скажи, Ермошин.

— Я за прогресс, — сказал Ермошин.

— Ну и валяй, — охотно согласился Сидоркин. — Ну что, еще по капельке? У кого бутылка?

Третья бутылка была у меня, но вытащить ее я не успел: в столовую вошли двое дружинников — один высокий и плечистый, с всепонимающим взглядом, другой маленький и шуплый. У дверей огляделись и направились прямо к нашему столику.

— Ну что, ребята, выпьем жигулевского, — радушно пригласил Сидоркин и наполнил свой стакан пивом.

— В другой раз, — сказал высокий дружинник и, отогнув скатерть, заглянул под стол.

Я замер и посмотрел на Сидоркина. Сидоркин отхлебнул из стакана пива и тоже заглянул под стол. Ермошин вдруг вскочил с места и, сказав, что надо бы принести чаю, не спеша пошел к окну выдачи.

Сидоркин и высокий дружинник разогнулись одновременно и посмотрели друг другу в глаза. Дружинник — удивленно и испытующе, Сидоркин — дружелюбно и доверчиво.

— Да, — сказал высокий дружинник, — извините, пожалуйста.

— Ничего, не стоит, — вежливо сказал Сидоркин, — заходите еще.

— Извините, — повторил высокий дружинник. — Пошли, Олег.

Они уже дошли до дверей, но Сидоркин позвал их:

— Ребята!

Дружинники снова подошли. Ермошин получил свой чай, но, увидев, что дружинники вернулись, остался у окна выдачи и читал приклеенное к стене меню.

— Ребята, — сказал Сидоркин дружинникам, — хотите, покажу фокус?

— Какой фокус? — спросил маленький, и глаза его заблестели от любопытства.

— Ну какой. Обыкновенный, как в цирке, — пообещал Сидоркин. — Только между нами. Идет?

— Идет, — сразу же согласился маленький, и высокий нехотя подтвердил:

— Идет.

— Ну ладно, — сказал Сидоркин, — смотрите под стол.

Дружинники посмотрели. Сидоркин поднял ноги. На полу остались две пустые бутылки.

— Видели? — спросил Сидоркин. — Больше не увидите. — И, опустив ноги, снова прикрыл бутылки штанинами.

Дружинники растерянно поглядели друг на друга, не зная, как им вести себя в таком случае, но потом, видимо, вспомнили о своем обещании.

— Ладно, — сказал высокий дружинник, — в другой раз будем знать. До свиданья.

Они ушли. Ермошин подождал, пока дверь за ними не закрылась, и вернулся к столу.

— Ну как чаек? — спросил Сидоркин. — Не остыл?

— Остыл, — сказал Ермошин, глядя в сторону. — Вы, ребята, на меня не обижайтесь. Если б что вышло, мне было бы больше всех неудобно.

— Что ж так? — спросил Сидоркин.

— Ну, понимаешь. Я же веду общественную работу. Меня знают. Скажут: «Сам выступаешь на собраниях, и сам же...»

— А ты одно из двух, — сказал Сидоркин, — или не пей, или не выступай. Женька, давай твою бутылку.

Не помню, почему это произошло, но после третьей бутылки мы вдруг стали спорить о честности. Ермошин сказал, что, если говорить откровенно, прораб и честность несовместимы, как гений и злодейство. Можешь играть в честность сколько угодно, но все равно тебе придется выкручиваться, заполнять липовые наряды, составлять липовые процентовки.

— Вот уж на что Самохин, — сказал Ермошин, — а и тот не лучше нас. Приказали ему сдать дом к празднику — и он сдаст его как миленький, в каком бы состоянии этот дом ни был.

Если бы это сказал не Ермошин, а кто-нибудь другой, я, возможно, и промолчал бы. Но здесь я вдруг расплылся и стал говорить, что сдам дом тогда, когда он будет полностью готов, и что мне плевать на Силаева и плевать на всех остальных, я поступлю так, как мне подсказывает совесть.

Я поспорил с Ермошиным на бутылку коньяку, что поступлю именно так, как сказал. После этого мы разошлись.

12

Вернувшись домой, я застал моего соседа Ивана Адамовича Шишкина, как обычно, на кухне за чтением любимой книги. Как называется книга и кто ее написал узнать невозможно — обложки у нее давно нет, а листы порядком порастрепались и рассыпаются. Но через эту книгу, и только через нее, Иван Адамович постигает всю мудрость и простоту нашей жизни.

Увидев меня, Иван Адамович, как всегда, вскочил и следом за мной прошел в мою комнату. Книгу, раскрытую посредине, он держал в обеих руках.

— Женья, гляди-ко чего написано, — сказал он, как всегда с удивлением. — Ты думаешь, что ты есть. А на самом деле тебя нет. То ись как? — Помолчав, Иван Адамович сам ответил на свой вопрос: — А вот так. Ни тебя, ни комнаты, ни стола — ничего. Все — одно наше воображение. Всемирный вакуум. Об этом же надо задуматься.

Мне сейчас задумываться об этом не хотелось.

— Иван Адамович, — сказал я, — не надо меня сразу убивать такими открытиями. К этому надо приходиться постепенно.

— То ись как?

— Ну вот так. Сначала представим себе, что здесь нет вас. А стол, комната и я пока остаемся на месте. Частичный вакуум.

Иван Адамович внимательно посмотрел на меня, пытаюсь сообразить, правильно ли он понял мою мысль. Он ее понял правильно,

— Ну хорошо, — сказал он обиженно, — я уйду.

— В добрый путь.

13

Засыпаю я всегда быстро, но сплю чутко. Если за стеной включают радио, если Иван Адамович хлопнет дверью, если по улице проедет пожарная машина — я просыпаюсь.

В этот раз меня разбудил телефонный звонок. «Только бы не меня», — подумал я, затаив дыхание, словно это могло спасти.

К телефону подошел Шишкин.

— Алле. А кто его спрашивает? Клава? Нет, он спит. Сейчас я его позову.

Он постучал ко мне в дверь и, не услышав ответа, постучал снова.

— Женя, тебя к телефону.

Я сунул ноги в комнатные туфли и вышел в коридор. Шишкин, вероятно, уже собирался спать, он стоял возле телефона в подштанниках и в очках. Его лицо сияло от злорадства.

— Не мог сказать, что меня нет, — прошипел я, сгорая от ненависти.

— Не мог, — сказал Шишкин. — Как же я скажу, что нет, когда ты есть. — Иван Адамович никого еще не обманывал, особенно из женского полу.

Я снял трубку и услышал:

— Как ты думаешь, что для человека труднее всего?

— Труднее всего разговаривать по телефону, когда хочется спать.

Я начал потихоньку беситься.

— Да, правильно, — согласилась она, будто я сказал что-то мудрое. — Слушай, ты почему не приехал?

— Я был занят.

— Но сейчас ты не занят?

— Сейчас я хочу спать. И уже поздно.

— Еще только одиннадцать часов.

Я гляжу на часы: верно. Мне казалось, что уже гораздо больше.

— Слышишь, я очень хочу тебя видеть. Очень, очень!

При этом она, конечно, закрывает глаза и покачивает головой. Эта театральная самодеятельность раздражает меня, но я все-таки соглашаюсь:

— Хорошо, я приеду.

Мне жалко Клаву.

Когда-то Клава была замужем. Семь лет она прожила с одним учителем, который активно участвовал в художественной самодеятельности, но потом выдвинул-

ся, был приглашен в областную филармонию. После этого он ушел от Клавы, решив, что теперь их интересы не совпадают. Клава тогда уехала на Печору, где я с ней и познакомился четыре года тому назад.

Она работала в нашей амбулатории, и все у нее одалживали спирт, когда его не было в магазинах. Наши отношения начались еще там и теперь продолжают-ся — по инерции.

Сейчас она работает в поликлинике участковым врачом. Живет на окраине города в вытянутом сером строении, в том самом, где когда-то жила вместе с мужем. Ее комната находится на втором этаже в конце узкого коридора с дверями, расположенными в шахматном порядке по обеим его сторонам. Все соседи меня давно знают. Когда я иду по коридору, двери поочередно открываются, и я на ходу кланяюсь направо и налево, как бы раскачиваясь из стороны в сторону.

Клаву застаю всегда в одной и той же позе: она лежит на низкой тахте, обложенная книгами. Книги она проглатывает в огромном количестве, и я ей немного завидую. Но нельзя же читать все без разбору. Все, что в Клаве есть деланного и наигранного, — это от них.

Когда я прихожу к ней, у нас начинается вечер вопросов и ответов.

— Ты на чем приехал?

— На такси.

— На улице холодно?

— Так себе.

— А помнишь, какие морозы были на Печоре?

Если не прекратить это вовремя, мне придется ответить на вопросы об изменении климата и о видах на урожай, поделиться впечатлениями от последнего фильма и высказать свое отношение к алжирской проблеме.

— Слушай, согрей, пожалуйста, чаю, — прошу я только для того, чтобы прервать эту бесконечную цепь вопросов.

— Ой, прости.

Она торопливо вскакивает и, запахнув полы халата, бежит на кухню. Я отодвигаю в сторону книжки, ложусь на тахту, курю и стараюсь ни о чем не думать.

Блаженное состояние. Так бы, кажется, лежал целую вечность, но через семь часов меня снова разбудит будильник и снова, проклиная все на свете, мне придется тащиться к себе на объект, выколачивать из Богдаш-

кина материалы, ругаться с рабочими, начальством или скучать на производственном совещании, для которого, наверное, и завтра найдется повод.

Впрочем, все это можно было бы вынести, если бы меня не торопили со сдачей объекта. Можно бы сдать его в том виде, как он есть. Но уж больно хочется сделать что-нибудь настоящее, чтоб было не стыдно.

Конечно, можно и отказаться от сдачи, именно так я и делал два раза. Но тогда я был помолже и посмелее. Я легко переезжал с места на место и, живя в палатках или временных бараках, с презрением относился к коммунальным удобствам.

Клава внесла чайник, налила мне чай и пододвинула тарелку с пряниками собственного производства. Сама села напротив и, подперев голову руками, смотрит на меня, как я ем и пью.

— Что-то ты плохо выглядишь, — сказала она. — Ты, по-моему, нездоров.

— Хорошие пряники, — сказал я, — как тебе удается такие делать?

— Выпьешь чай, я тебя, пожалуй, послушаю. Что-то мне твой вид очень не нравится, — сказала Клава.

— Нечего меня слушать, — сказал я, — я не патефонная пластинка. Вид мой мне самому не нравится.

Клава взяла мою руку в свою и подержала недолго.

— Пульс у тебя совсем паршивый, похоже, предынфарктное состояние.

— Прощлый раз ты говорила то же самое, — сказал я. — У любого прораба каждый день предынфарктное состояние. Особенно перед праздником.

— Если ты не веришь мне, — обиделась Клава, — сходи к другому врачу.

— Я бы сходил. Если б знал, что меня положат в больницу.

Про себя я подумал, что в больницу лечь сейчас было бы очень неплохо, пускай Силаев сам сдает мой объект, раз уж он ему так нравится.

— Хорошие пряники, — сказал я. — Где ты достала муку?

— Хорошая хозяйка все достанет. Правда, я хорошая хозяйка?

— Не хвастайся, я все равно на тебе не женюсь.

Она засмеялась:

— Потому что это зависит не только от тебя. Между прочим, как там поживает Зоя?

— Какая Зоя?

— Ну, твоя симпатия. Которая работает в забега-ловке. Я думаю, ты имел бы у нее успех.

Все это говорится в подчеркнуто шутовском тоне, но при этом она бросает на меня быстрый и тревожный взгляд. Она боится, что в шутке есть доля истины.

Между прочим, пока я пью чай, происходит такой эпизод. Клава вдруг бледнеет и прикладывает ладонь к груди возле горла.

— Что с тобой? — вскакиваю я.

Она ни слова не говорит. Закрыв глаза, машет рукой. Потом, переводя дыхание, улыбается:

— Да так... ерунда.

— Тебе дурно?

— Немножко. Не обращай внимания.

Я смотрю на нее подозрительно. Это уже не из книжек. Клава вздыхает:

— Дурачок. В конце концов я врач и знаю, что надо делать в таких случаях.

— Ты знаешь это не как врач, а как баба.

— Хотя бы и так, — согласилась Клава. — И поэто-му знаю.

Ну что ж, в ее возрасте она имеет право на такой опыт, но все равно это мне кажется оскорбительным. Роза бы так не сказала.

Я отодвинул стакан и встал.

— Ты хочешь уйти? — тихо спросила она.

— Да, — сказал я.

В глазах у нее показались слезы, но она не заплакала.

— Если тебе надоело, ты можешь уйти, — сказала она, помолчав. — Я не буду тебе мешать. Господи, какая я идиотка. Зачем я заставляю тебя нервничать? Ты хороший, добрый, талантливый человек.

Если бы она закричала или заплакала, я бы, пожа-луй, ушел. Сейчас я не мог этого сделать.

— Ты опять говоришь глупости, — проворчал я, успокаиваясь. — Никакой я не талантливый. Обыкно-венный серый человечиска. И зачем тебе нужно, чтобы я был талантливым? У тебя был уже один талантливый. Разве тебе мало?

Стрелки подошли к двенадцати. Клава долго думала о чем-то своем, потом спросила:

— Скажи, ты меня хоть немножечко любишь?

— Сколько можно спрашивать об одном и том же?

— Не сердись. Просто мне кажется, что ты ходишь ко мне из жалости. Жалость — самое отвратительное человеческое чувство.

— Неправда, — сказал я устало. — Это ты прочла в своих книжках. Было бы совсем неплохо, если бы мы побольше жалели друг друга.

Я уже совсем засыпал, когда Клава толкнула меня в бок:

— Ты знаешь, о чем я думаю?

— О чем? — я не в состоянии был даже сердиться.

— Я думаю о том, как хорошо знать, что всегда рядом с тобой есть такой человек.

Это она обо мне. Книжки не доведут ее до добра.

15

На другой день погода немного улучшилась, с утра показалось солнце. Рабочие сидели на бревнах возле растворомешалки, курили. Большинство из них было мне незнакомо — их прислали другие прорабы по приказанию Силаева. Кто из них чем занимается — видно было по инструментам. Вместе с Шиловым я развел их по рабочим местам, обошел объект и вернулся в прорабскую. В прорабской за моим столом сидел некто Гусев, корреспондент городской газеты. В газете он, видимо, считался специалистом по строительным делам, потому что все время околачивался в нашем тресте. Очерки его не отличались стилевым разнообразием и почти все начинались примерно так: «В тресте «Жилстрой» все хорошо знают бригадира такого-то...»

Увидев меня, Гусев встал из-за стола и пошел мне навстречу. Был он, как всегда, в вельветовых брюках, болгарской куртке из кожзаменителя и в синем берете.

— Привет, старик, — сказал он в порыве высокого энтузиазма и долго тряс мою руку.

«Ну что ж, — подумал я, — как говорит Писатель, время есть, будет тресть».

— А я к тебе по делу, — сказал Гусев, натрясшись вдоволь.

— Очерк обо мне писать?

— Откуда ты знаешь?

— Такой я проницательный человек, — сказал я. — Это тебе Силаев посоветовал?

— Он, — сказал Гусев, вынимая толстый, обтянутый резинкой блокнот.

Это событие я воспринял как дурное предзнаменование. Если уж обо мне решили писать в газете, то покоя теперь не дадут.

— Говорят, скоро главным инженером будешь? — спросил Гусев. Он сел напротив меня и положил ногу на ногу.

— Подожди еще, — сказал я, — может, не буду. И вообще ты бы написал о ком-нибудь другом. Вон хоть о Шилове. Лучший бригадир в тресте.

— О нем я уже писал, — сказал Гусев и сделал пометку в блокноте, должно быть, насчет моей скромности. — Ну давай, чтоб зря время не терять, ты мне расскажи коротко о себе.

— Зачем это тебе? — спросил я. — Все равно напишешь: «В тресте «Жилстрой» все хорошо знают прораба Самохина. Этот высокий широкоплечий человек с открытым лицом и приветливым взглядом не зря пользуется уважением коллектива. «Наш Самохин», — с любовью говорят о нем рабочие».

Гусев положил блокнот на край стола, вежливо поспеялся и сказал:

— Ты, старик, зря так про меня. Я вовсе не поклонник штампов. Понимаешь, я хочу начать с войны. Ты на фронте был?

— Был, — сказал я. — Могу дать интересный материал.

— Сейчас это не нужно, — сказал Гусев. — Вот к двадцать третьему февраля будет готовиться праздничный номер, тогда пожалуйста. Можем даже вместе написать. А пока мне война нужна для начала. Тут у меня будет так: сорок пятый год. Тебя вызывают к командиру дивизии и предлагают взорвать здание вокзала...

— Погоди, — сказал я. — Я вот никак не припомню, чтобы меня вызывали к командиру дивизии. Я с командиром полка разговаривал один раз за всю войну, когда мы стояли в резерве и он выгнал меня из строя за то, что у меня были нечищенные сапоги.

— Это неважно, — отмахнулся Гусев.

— Вот понимаешь, я ему тоже говорил — неважно. А он мне за разговоры вмазал пять суток строгой гауптвахты. Правда, сидеть мне не пришлось, на другой день нас отправили на передовую.

— Слушай, это все неинтересно, — сказал Гусев. — При чем тут гауптвахта? Я ведь очерк пишу и немного домыслил. Имею я право домысливать?

— Имеешь, — сказал я, — но дело в том, что в срок пятом году я не воевал, а учился уже в институте, бегал на костылях с этажа на этаж, потому что лекции у нас были в разных аудиториях.

— А ты что, был ранен? — удивился Гусев. — Я не знал. Это очень интересно. — Он записал что-то в блокнот.

— Очень интересно, — сказал я. — Особенно когда тебе в одно место влепят осколок от противотанковой гранаты. Приятное ощущение.

— Да, — сочувственно сказал Гусев. — Наверно, больно было. Но я про войну просто так, для начала. Мне надо показать, что ты взрывал дома, мечтая их строить. Сейчас тема борьбы за мир очень важна. Ты на войне офицером был?

— Нет, — сказал я, — я на войне был старшим сержантом и никаких домов не взрывал, потому что служил в разведке.

— Какая разница, где ты служил, — сказал он, — для идеи важно, чтобы ты взрывал дома. Теперь ты мне скажи еще вот что. Когда ты решил стать строителем: на войне или еще в детстве?

— Да как тебе сказать, — замялся я. — Понимаешь, после ранения я жил как раз напротив строительного института. В другие институты надо было ездить на трамвае, а в этот — только перейти дорогу. А я ходил тогда на костылях...

— Понятно, — сказал Гусев, но в блокнот ничего не записал. — Теперь скажи мне еще: у тебя есть какие-нибудь изобретения или рационализаторские предложения?

— Нет, — сказал я, — я принципиально ничего не изобретаю, хочу посмотреть, получится у людей что-нибудь без меня или нет.

— Ну и как?

— По-моему, получается. Уже изобрели такую бом-

бу, после которой дома и машины останутся, а мы с тобой превратимся в легкое облачко. Но могу тебя заверить, что я в этом изобретении никакого участия не принимал.

— Да, — сказал Гусев и значительно помолчал.

— Да, — сказал я. — А ты знаешь, кто изобрел чайник?

— Чайник? — Гусев задумчиво потер высокий лоб. — Ломоносов?

— Правильно, — сказал я. — Ломоносов открывал закон сохранения энергии, писал стишки, а в свободное время выдумывал чайники. Только не эти, которые стоят у нас в хозяйственном магазине и у которых отрываются ручки. Их выдумал Юрка Голиков, который работает инженером в артели «Посудоинвентарь».

Гусев мне надоел, и я нарочно болтал разную ерунду, чтобы сбить его с толку. Ему это тоже, видимо, надоело. Он положил блокнот в карман, бросил окурочек к печке и встал.

— Я лучше напишу, — сказал он, — а потом покажу тебе. Хорошо?

— Правильно, — сказал я. — Пиши, потом разберемся.

Гусев вышел. Я посидел еще немного и пошел по этажам. На объектах, как всегда бывает во время авралов, творилось что-то невообразимое. Одни работали изо всех сил, торопились, другие не работали вовсе, сидели на подоконниках, курили, рассказывали анекдоты. На меня никто не обращал никакого внимания, словно я к этому делу был вовсе не причастен. Мне самому показалось, что я здесь лишний; я ходил, ни во что не вмешиваясь, пока не столкнулся с каким-то лохматым малым, который навешивал двери в четвертой секции. Он брал дверные навесы, втыкал шурупы и загонял молотком их чуть ли не с одного удара по самую шляпку. Инструментальный ящик лежал сзади него, весь инструмент и шурупы были рассыпаны по полу.

— У тебя отвертка есть? — спросил я у малого.

— Нет, — сказал он. — А зачем?

— Не знаешь разве, что шурупы полагается отверткой заворачивать?

— И так поедят, — лохматый махнул рукой и принялся за очередной навес.

— Ты с какого участка? — спросил я его.

— С ермошинского.

Я сам собрал его инструмент, аккуратно сложил в ящик. Парень перестал забивать шурупы и смотрел на меня с любопытством.

Сложив инструмент, я взял ящик и передал его парню.

— До свиданья, — сказал я ему, — передавай привет Ермошину.

Парень взял ящик и долго стоял против меня, покачиваясь и глядя на меня исподлобья.

— Эх ты, шура! — искренне сказал он и, сплюнув, пошел по лестнице.

Я вернулся в прорабскую и позвонил Силаеву. Я хотел сказать ему, что не буду сдавать дом, пока не приведу его в полный порядок. Пусть Ермошин покупает мне проигранный коньяк. Пусть он знает, что не все такие, как он, что есть люди, которые никогда не идут против своей совести.

Когда я думал об этом, меня распирало от сознания собственного благородства, сам себе я казался красивым и мужественным.

Но весь мой пыл охладила Люся, которая сказала, что Силаев уехал на сессию райсовета и сегодня уже не вернется.

Ну что ж... Можно отложить этот разговор до завтра.

16

В этот день домой я вернулся раньше, чем обычно. У дверей меня встретил Иван Адамович. Он как-то странно улыбался, отводил глаза в сторону, словно был виноват в чем-то. Я сразу понял, что что-то произошло, но догадаться, что именно произошло, было трудно. Я посмотрел на Шишкина, он как-то съежился и глупо хихикнул. Я пожал плечами и пошел в кухню попить воды. В кухне на стуле сидела девочка лет двух, связанная полотенцем не первой свежести. Перед нею на кухонном столе стояла тарелка с манной кашей. Девочка набирала кашу рукой, размазывала по лицу, а то, что попадало ей в рот, выплевывала на полотенце.

— Вот, понимаешь ты, — смущенно хихикнул Иван Адамович, — племянница днем оставила. Говорит:

«В кино схожу». Шесть часов прошло, а она не идет... Ну-ну, не балуй! — строго закричал он на девочку, которая решила ускорить утомительный процесс размазывания каши и запустила в тарелку обе руки. — Не балуй, — сказал Иван Адамович, — а то дяде скажу, он тебя в мешок посадит.

Девочка вынула руки из тарелки, посмотрела сначала на Ивана Адамовича, потом на меня и заплакала.

— Ну, не плачь, — начал успокаивать ее Иван Адамович, — уходи, дядя, мы тебе не отдадим Машеньку.

Девочка плакала. Иван Адамович рассердился.

— А я вот твоего крику не слышу, — сказал он. — Понятно? То ись как? А вот так, не слышу, да и все. — Старик сделал язвительное лицо. — Нет никакого крику. И тебя самой нет, и меня нет — одно пустое место. Всемирный вакуум. Во!

Девочка посмотрела на него внимательно и заплакала пуще прежнего.

Я прошел к себе в комнату.

— Женя, я тебе там бросил письмо! — крикнул мне вслед Иван Адамович.

Письмо лежало на полу. Я поднял и распечатал его. В нем было всего несколько строчек:

«Здравствуй, дорогой друг Женька!

Решил написать тебе эту писульку, хотя от тебя давно уже ничего не получал. Видно, ты совсем загордился (шутка) и не хочешь знать своих старых друзей. Я здесь работаю начальником СУ, строю один небольшой заводик. Когда тебе надоест сидеть на одном месте, приезжай ко мне. Работенку подыщем. Для начала будешь старшим прорабом. Работа, как говорится, непыльная и денежная. Насчет квартиры пока ничего обещать не могу, но потом что-нибудь придумаем. Ну все. Будь здоров и думай. Привет от Севки. Он работает у меня начальником ПТО, женат, имеет троих детей, но по-прежнему рисует разные пейзажи.

В общем, приезжай. Жду ответа. Жму лапу.

Владик».

Я перечитал письмо два раза. Приятно, черт побери, получить неожиданное письмо от старых друзей. Севка и Владик работают вместе. Интересно, какие они сейчас. Хоть бы фотокарточку прислали, собаки. У Севки трое детей. Подумать только. Я его помню совсем пацаном. Такой рыжий, щедушный, вся морда в царапинах,

он вечно дрался со своей старшей сестрой. Он довольно толково рисовал, и мы думали, что ему прямой путь в живописцы. Но, видно, не получилось. То ли способностей не хватило, то ли еще что.

Я еще раз перечитал письмо. Ну что ж... Пожалуй, оно как раз кстати. Удобный выход из положения. Сдавайте свои дома сами, а я поеду в Сибирь. Я не буду вместе с вами халтурить и краснеть за эту халтуру.

Заодно решится и вопрос с Клавой. Наши отношения слишком затянулись. Теперь все. Не стоит себя обманывать, не стоит мучить друг друга.

В это время в дверь позвонили. У нас в квартире не так уж часто бывают гости — я прислушался. Я слышал, как Иван Адамович отворил дверь, как он говорил с кем-то. Незнакомый женский голос спросил меня. Я вышел в коридор. Женщина стояла на лестничной площадке. Иван Адамович разговаривал с ней через щелочку и придерживал дверь, чтобы в случае чего захлопнуть ее. Я отодвинул Шишкина и пригласил женщину войти. Она прошла, шурша дорогой шубкой, усыпанной дождевыми каплями.

— Вы меня, конечно, не помните, — сказала женщина, разглядывая меня и близоруко шурясь. — Мы с вами в прошлом году встречались на дне рождения Клавы.

Но я ее очень хорошо помню. Это была самая толстая на этом вечере. Я даже запомнил, что ее зовут Надя, что она работает гинекологом в той же поликлинике, что и Клава.

— Ну почему же, Надя? — сказал я. — Было бы странно, если бы я не запомнил вас.

Я повесил ее шубу на вешалку и пригласил Надю к себе, извинившись за беспорядок.

— Ничего, — сказала она, входя в комнату и осматриваясь. — Я понимаю. Холостяцкий быт. Если бы у вас была жена...

— Чего нет, того нет.

Я прикрыл за ней двери, но неплотно, чтобы Иван Адамович не мучился в напрасных догадках.

Надя начала разговор с того, что, очевидно, ее визит мне кажется странным. Я ответил, срочно припоминая все правила хорошего тона, что я, конечно, не ожидал, но это тем более приятно...

— Не думаю, чтобы это вам было очень приятно. —

Она достала из сумочки сигарету и закурила. — Тема нашего разговора несколько деликатная... Но я врач и позволю себе говорить прямо. Вы, конечно, знаете, что Клава беременна.

— В общем... Конечно... я догадывался.

— В общем, конечно, — передразнила она. — Что там догадываться? Это — извините меня — видно невооруженным глазом. Но дело не в этом. Дело в том, что Клава хочет, как это говорят, прекратить беременность, а этого ей делать ни в коем случае нельзя. Это для нее просто смертельно опасно. Я несколько не преувеличиваю.

— Почему бы вам не сказать этого ей лично? — спросил я.

— Я ей говорила. Они ничего не хочет слышать. Вашим мнением она дорожит больше, вы должны на нее повлиять.

— Хорошо, — сказал я неуверенно, — я постараюсь.

— Постарайтесь, — сказала она, поднимаясь. — И вообще мой вам совет — женитесь. Я тоже долгое время жила одна и ничего хорошего в этом не нашла...

— Да, но между нами есть небольшая разница, — робко заметил я.

— Абсолютно условная.

Я не стал спорить и проводил ее до дверей. «Ну вот, — думал я, вернувшись в комнату. — Теперь все стало на свои места». Посидев еще немного, я снял со стула брюки и начал одеваться. Часы показывали половину двенадцатого.

В коридоре мне встретился Иван Адамович. Он держал двумя пальцами байковые штанишки, и лицо его выражало полную растерянность.

— Женя, — сказал он, — гляди-ко, чего наделала срамница. Видишь?

— Не вижу, — сказал я.

— То ись как? — опешил Иван Адамович.

— Так, — я пожал плечами. — Не вижу, да и все. Это все одно ваше воображение, Иван Адамович.

Свободной рукой Иван Адамович задумчиво поскреб в затылке.

— Так оно ж пахнет, — сказал он неуверенно.

Клава еще не спала. Она сидела перед зеркалом в одной рубашке и чем-то мазала волосы. Увидев меня, она растерялась и сунула какой-то флакончик в ящик стола.

— Ты что делала? — спросил я, хотя должен был, наверное, промолчать.

— Ничего.

Она смотрела на меня все так же растерянно. Волосы у нее были мокрые. Я догадался, что она красила их восстановителем. Мне стало жалко ее, и, чтобы скрыть это, я сказал:

— Дура ты.

Она виновато прижалась ко мне. Потом спросила:

— Ты зачем приехал?

— Так просто. А тебе что, не нравится?

— Нет, мне очень нравится, только я не ожидала.

— Приятная неожиданность, — сказал я. — Видишь ли... сейчас у меня была Надя...

— Да? — Клава насторожилась. — Ну и что она тебе сказала?

— Она мне сказала все, что надо было.

— Вот идиотка! — рассердилась Клава. — Вот идиотка! А кто ее просил? Я ее просила? Зачем она вмешивается?

— Она говорит, что для тебя это опасно.

— Врет она все. Что она понимает? Ты ей не верь. Я тоже врач и разбираюсь в этих делах не хуже ее.

— Клава, я тебе хочу сказать, что, если это действительно так...

Она посмотрела на меня насмешливо:

— Я, конечно, ценю твое благородство, но это не так. Ты не волнуйся, все будет в порядке.

Ну что ж... Раз она сама считает, что это неопасно... Ведь она в самом деле врач.

— Да, ты знаешь, — сказал я, — я получил письмо от Владика. Помнишь, я тебе о нем говорил.

— И что он пишет?

— Ничего особенного. Зовет меня к себе. Он там строит какой-то завод.

— Ты хочешь поехать? — быстро спросила Клава.

— Не знаю, — сказал я. — Теперь едва ли.

— Если хочешь, езжай, — сказала Клава. — Я тебя

не держу. Ничего особенного не произошло. Все остается по-прежнему.

— Нет, — сказал я, — теперь было бы просто глупо уезжать. Я скоро буду главным инженером.

— Правда? — удивилась Клава. — С чего это вдруг?

— Не знаю. Так хочет начальство.

— Я очень рада за тебя. — Она притянула мою голову к себе и поцеловала. — Ты знаешь, если тебе без меня лучше — ты уходи. Я тебя не держу. Я не хочу, чтобы ты чувствовал себя связанным.

— Не выдумывай глупостей, — сказал я. — Никуда я уходить от тебя не собираюсь.

— А ты меня любишь?

— Да.

Она посмотрела на меня недоверчиво, но ничего не сказала.

Утром, когда я собирался на работу, Клава спросила:

— Теперь не увидимся до самого праздника?

— Почему? — сказал я. — Можем увидеться хоть сегодня.

— Правда? — обрадовалась Клава. — Давай сегодня сходим в кино.

— Давай, — согласился я, хотя в кино мне идти не хотелось. Но я хотел сделать Клаве приятное.

18

Этот день прошел сравнительно спокойно, мне почти никто не звонил, никуда меня не вызывали. Я даже подумал, что обо мне позабыли. В четыре часа, после ухода рабочих, я позвонил в трест, сказал, что не смогу быть на летучке, потому что заболел. И поехал в поликлинику за Клавой.

Фильм, на который собрались сходить мы с Клавой, уже прошел, но в кинотеатре «Новатор» шел другой новый фильм, благо их теперь выпускают много.

Мы хотели пойти на шестичасовой сеанс, но билеты достали только на десять, времени впереди было много, шел дождь, и Клава сказала:

— Твой дом рядом. Пойдем посидим у тебя. За все время ты меня ни разу не пригласил к себе. Я даже не знаю, как ты живешь.

Дома у меня, как всегда, был беспорядок, и поэтому я согласился без особой охоты.

По дороге мы купили маленького ослика на деревянной подставке и принесли его Машеньке, мать которой совсем пропала.

Увидев незнакомую женщину, Машенька испугалась и расплакалась. Я проводил Клаву в комнату, предупредив ее, что у меня беспорядок, но чтобы она не вздумала убирать. После этого я вернулся к Машеньке и вручил ей подарок. Машенька отнеслась к игрушке равнодушно, зато Иван Адамович был доволен.

— Смотри, какого слоника тебе дядя купил, — весело сказал он.

— Это не слоник, а ослик, — поправил я его.

Иван Адамович прочел по складам название, написанное на ярлычке:

— «О-с-л-ик». — И, поставив игрушку на место, сказал упрямо: — Слоник.

Я не стал спорить.

— Мать так и не приходила? — спросил я.

— Нет, — грустно сказал Иван Адамович, — не приходила. Телеграмму из Воронежа прислала — замуж вышла.

Я вернулся в комнату. Клава стояла у столика и, держа в руках фотографию Розы, рассматривала ее.

— Это твоя новая симпатия? — спросила она с превеликим спокойствием.

— Положи на место и не трогай, — сказал я.

Это ее неожиданно возмутило:

— Да? А если я не положу?

— Клава, положи, — сказал я сдержанно и довольно миролюбиво.

— А если не положу?

— Положи! — я повысил голос.

— Не положу! — заупрямилась Клава.

Тогда я заорал и затопал ногами.

Такого со мной еще не бывало. До сих пор, когда я вспоминаю это, мне становится стыдно.

Клава вдруг ни с того ни с сего швырнула карточку на пол. Зазвенело стекло. Вот они, семейные сцены!

Я молча шагнул к ней. Клава посмотрела на меня и побледнела.

— Не смей! Не смей! — закричала она. — Ты потом пожалеешь! Тебе самому будет стыдно!

Хорош я, наверное, был, если Клава подумала, что я ее буду бить.

Дверь приотворилась. В комнату заглянул любопытный ко всему Иван Адамович, но, увидев мое разъяренное лицо, тут же захлопнул дверь.

— Да ты знаешь, кто это? — спросил я зловеще.

— Знаю, — сказала Клава. — Зачем ты мне морочишь голову? Если я тебе противна, можешь катиться к ней. К этой своей...

Клава с плачем вылетела за дверь.

Я прислонился к стене. Я задыхался. Снова заныло сердце.

Немного успокоившись, я присел на корточки и стал собирать осколки стекла. В конце концов ничего страшного не произошло. Разбилось только стекло. Карточка осталась целой. Я осторожно освободил ее от осколков и положил на стол.

Большие глаза Розы смотрели на меня задумчиво и грустно. «Эх, ты, — подумал я о Клаве, — нашла к кому ревновать».

Моя злость проходила. В чем виновата Клава? В том, что она хуже Розы. Но кто знает, какой была Клава в восемнадцать лет и какой стала бы Роза, если бы ей пришлось прожить столько и так, как Клаве.

Поймав себя на этой мысли, я удивился. Что это значит? Я стал хуже относиться к Розе? Или лучше к Клаве? Я даже испытывал угрызения совести и подумал, не догнать ли и не вернуть ли мне ее. Но, прикинув примерно, что она уже далеко (может быть, подходит к остановке), я сообразил, что бежать надо будет слишком быстро. Бежать мне, понятно, не хотелось. «Завтра позвоню, извинюсь», — решил я.

И как был, в пальто, прилег на кровать.

19

Потом мне надоело лежать, и я вышел на улицу. Дождь перестал, но все равно было холодно и сыро. На другой стороне улицы в забегаловке горел свет. Там была одна только Зоя. Она протирала вилки и ложки и собиралась уходить. Увидев меня, она удивилась.

— Что-то вы вечером к нам первый раз, — сказала она. — Видно, жена не хочет готовить.

— У меня нет жены, — сказал я.

— Рассказывайте, — кокетливо засмеялась Зоя. — Все мужчины говорят — нет, а потом оказывается — у него и жена и дети.

— У меня нет жены, Зоя, — повторил я. — И детей тоже нет.

В забегаловке ничего не было, кроме холодных котлет.

Расплачиваясь, я вместе с деньгами вытащил из кармана билеты и только сейчас вспомнил про кино.

— Зоя, в кино хотите сходить? — неожиданно для самого себя предложил я.

— Я бы с удовольствием, — сказала Зоя, — но вы, наверное, шутите.

— Да нет, Зоя, серьезно, — сказал я. — Вот билеты.

Зоя согласилась. Мы вышли вместе, и я помог ей запереть дверь. До начала сеанса оставалось около часа, и мы решили побродить по улице.

Я не знал, с чего начать разговор, и спросил:

— Зоя, а что вы делаете в свободное время?

— Когда как, — сказала Зоя. — Иногда с девочками на танцы хожу или в кино. А то просто сижу дома, выражения переписываю.

— Что?

— Выражения. Ну вот знаете, например, такое выражение: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»? Это Долорес Ибаррури сказала. Или вот выражение Гюго: «Жизнь — цветок, любовь — мед из него». У меня этих выражений уже целых два альбома есть. Если иметь их много, никаких книжек читать не надо!

— Скажите! Это интересно... — сказал я. — Значит, вы храните в этих альбомах всю мудрость в чистом виде?

— В чистом, — согласилась она. — Вы знаете, у меня почерк очень красивый, хотя даже среднюю школу я не закончила. А вот у моей сестры высшее образование — учительница она, — так вы не поверите, как напишет что-нибудь, сама не разберет. А у вас высшее образование?

— Да вроде бы высшее, — сказал я.

— А правда, что вы очень сильный?

— С чего это вы взяли?

— А мне один мальчик рассказывал. Он с нашей по-

варихой дружит. Говорит, что с вами вместе работает. Его Сашей зовут.

— Не знаю, — сказал я, — со мной много Саш работает. Как фамилия?

— Фамилию не помню. Русский такой, волосы длинные-длинные.

— А, — догадался я. — Писатель?

— Как, он разве писатель? — удивилась Зоя.

— Ага, — сказал я. — Писатель. Знаешь что, давай будем на «ты». Так как-то проще. Правда?

— Правда, — согласилась она. — Лучше дружеское «ты», чем холодное «вы».

— Вот именно, — сказал я. — И так холодно. Давай зайдем в фойе. Погреемся, журнальчики посмотрим.

Она согласилась. Мы вошли. Посмотреть журнальчики нам не удалось, в фойе выступал режиссер, поставивший эту картину. Стоя у стены, мы слушали его. Режиссер рассказывал, как был поставлен фильм, как героически работал весь съемочный коллектив, какие надежды они возлагали на эту работу. В конце своей речи он сказал:

— Если наш фильм заставит вас над чем-то задуматься, если, посмотрев его, вы станете хоть чуточку лучше и умнее, мы будем считать, что наша задача выполнена.

Ни лучше, ни умнее после этого фильма мы не стали. Когда мы шли из кино, Зоя долго молчала и вздыхала, думая о чем-то своем. И наконец спросила:

— Женя, а что такое любовь?

— Не знаю, — сказал я.

Она вздохнула и сказала задумчиво:

— Любовь — это бурное море, любовь — это злой ураган.

Я с ней согласился.

Мы дошли до ее дома. Я быстро попрощался и ушел, решив, что теперь придется завтракать в другой забегаловке.

20

И вот наступил этот день, которого все ждали в нашем управлении. Утром меня вызвал к себе Силаев. Он сказал, что приказ о моем назначении утвержден и что после праздника я могу принимать дела. С Клавой я до

сих пор не помирился. Настроение у меня было отвратительное, мое назначение меня не радовало.

— Ну что, Евгений, выходишь в люди, — бодро сказал Силаев. — Скоро вообще большим человеком будешь. Сегодня сдашь дом, а после праздника примешь дела. Ты чего хмуришься?

— Сами знаете чего, — сказал я. — Халтурить не хочется.

— Что делать? — сказал Силаев. Не всегда мы можем делать то, что хочется. Райком требует сдать — и против него не попрешь. Теперь такое дело. Первая секция у тебя вроде бы лучше всех отделана?

— Вроде.

— Ну вот. И асфальт возле подъезда есть. А возле других нет.

— Ну и что же? — не понял я.

— Да как же — что? Первый день на стройке, что ли? — Силаев развел руками. — На улице грязно, а комиссия придет в ботиночках, люди интеллигентные.

— Думаете, по грязи не захотят ходить?

— Не захотят, — уверенно сказал Силаев. — Я их знаю. Сам такой.

Мне было уже все равно. Делайте, что хотите, и я буду делать, что хотите, — так будет спокойней.

Я вышел из кабинета. В приемной толкалось много народу. Секретарша Люся бойко стучала по клавишам машинки — печатала акт сдачи-приемки объекта. Возле нее на стуле сидел Сидоркин и объяснялся Люсе в любви.

— Значит, не пойдешь за меня замуж? — спрашивал он с самым серьезным видом.

— Нет, — ответила Люся, — ты уже старый и худой.

— Это хорошо, — сказал Сидоркин. — Помру, скелет сдашь в музей — большие деньги получишь.

— Ты чего здесь торчишь? — спросил я его.

— Богдашкина жду. Поговорить надо, хороший он больно уж человек.

В это время в приемной появился Дроботун — представитель райисполкома, бессменный председатель всех комиссий по приемке зданий. Я его не видел месяца три. За это время он еще больше погрузнел, раздался в плечах, и его военный костюм, в котором он несколько лет назад вышел в отставку, уже расплзался по швам. В руках он держал тяжелую от дождя плащ-палатку.

Дроботун кивнул мне и Сидоркину, потом посмотрел, что печатает Люся.

— Готово уже? — спросил он.

— Сейчас будет готово, — ответила Люся. — Оценку поставим сейчас или потом сами напишете?

— Давай сейчас, — сказал Дроботун. — Чтобы не от руки. Официально. Пиши: «Здание принято с оценкой «хорошо»».

— А может, оно сделано на «отлично»? — спросила Люся.

— Такого не может быть, — уверенно сказал Дроботун. — На «отлично» Растрелли делал или Росси какой-нибудь. Сейчас все делают на «хорошо».

21

Вскоре пришли еще двое — члены приемочной комиссии. Санинспектор, маленький, худой человек с впалой грудью и золотыми зубами, и представитель райкома комсомола, какой-то студент. Должен был прийти еще один представитель от какой-то общественной организации, но Дроботун его дожидаться не стал.

— Ладно, — сказал он, — захотят — потом подойдут. Праздник на носу, жена велела продуктов купить.

— Мне бы тоже поскорей, — откровенно сказал санинспектор. — Костюм надо взять из химчистки.

Студенту, видно, ничего не надо было, он промолчал.

Мы вышли на улицу. Дождя не было, но он мог вот-вот пойти; низкие тучи неслись над землей. Было холодно. На пустыре глинистая почва размокла, пришлось идти в обход по асфальту. Дроботун в развевающейся плащ-палатке шел впереди, глядя под ноги и осторожно огибая сиреневые от машинного масла лужи. Я смотрел на его чистые ботинки с войлочным верхом и подумал, что Силаев был прав: ботинки председатель комиссии пачкать не захочет.

Мы подошли к дому и остановились. Плотники уже разобрали забор, дом виден был от дороги, он блестел свежей краской и вымытыми окнами.

— Снаружи вроде бы ничего, — сказал Дроботун, — посмотрим, как-то там внутри.

— А это что? — показывая пальцем на стены, спросил студент, который до сих пор молчал.

— Где? — спросил Дроботун.

— А вот трещина. Выходит, не успели построить дом, а он уже треснул.

Мы не сразу поняли, в чем дело, а когда поняли, Дроботун переглянулся с санинспектором, и оба они снисходительно улыбнулись.

— Это не трещина, — мрачно сказал я. — Это осадочный шов.

Парень смутился, покраснел, но сказал очень строго:

— Проверим. Покажете потом проект.

Я понял, что хлопот с ним не оберешься.

Так оно и получилось. Пока мы ходили по первой секции, где было, в общем, все в порядке, студент куда-то сбежал. Мы ходили втроем. Дроботун рассеянно тыкал пальцем в стены, смотрел окна, двери. В одной квартире он показал мне на мокрый пол.

— Надо было раньше поливать, — хмуро сказал Дроботун, — чтоб успел хоть немножко высохнуть.

Это была работа Писателя. Попался бы он мне сейчас на глаза, я из него душу бы вытряс.

Санинспектор занимался своими делами: смотрел кухни, ванные, уборные, дергал ручки спускных бачков. Полы и двери его не интересовали.

Мы обошли все этажи, и я предложил председателю и санинспектору посмотреть вторую секцию. Предложил я это просто для очистки совести, наверняка знал, что они откажутся.

— Чего там смотреть? — сказал Дроботун. — Все ясно. Где акт?

Я вынул акт, сложенный вчетверо, из кармана. Я уже думал, что сейчас все кончится, и обрадовался. Если уж я не могу делать все, как полагается, так пускай хоть будет меньше возни.

В это время открылась дверь, в комнату, где мы находились, вошел студент, мокрый с ног до головы, в ботинках и брюках, облепленных грязью.

— Опять дождик пошел? — глядя на студента, насмешливо спросил Дроботун.

— Я был во второй секции, — отдышавшись, сказал студент.

— Ну и что?

— Ничего. Все плохо. Дом принимать нельзя.

— Так уж и нельзя? — переспросил Дроботун.

— Нельзя, — уверенно сказал студент. — Я акт не подпишу.

— Подпишешь, — сказал Дроботун.

— Да вы пойдите посмотрите, что там творится.

Дроботун посмотрел на свои ботинки, потом на санинспектора.

— Придется идти, — сказал санинспектор, хотя тоже был недоволен этим.

Мы вышли на улицу. Вдоль стены от первого подъезда ко второму были положены кирпичи, но расстояние между ними было слишком велико. Дроботуну сохранить ботинки не удастся, это было понятно сразу. Студент, которому терять было уже нечего, уверенно плыл впереди.

Ничего страшного во второй секции не было — обычная наша работа. Кое-где двери не закрывались.

— Вот, — сказал студент, — двери не закрываются.

— Сырость. Поэтому не закрываются, — пояснил Дроботун.

— Если бы одна дверь... — сказал студент.

— Сырость на все двери действует сразу, — заметил санинспектор. Ему-то уж до дверей было меньше всех дела. Он думал, наверное, о химчистке, в которой после двух часов будет такая очередь, что не достоинься.

— А теперь поднимемся выше, — сказал студент. Он говорил уже так уверенно, словно был самым большим нашим начальником. Он пошел впереди, перепрыгивая через ступени, мы не спеша плелись следом.

— Карьерист, — глядя студенту в спину, тихо сказал Дроботун. — Такой молодой, а уже выслуживается.

— Смолоду не выслужишься, потом поздно будет, — деловито заметил инспектор.

Студент вывел нас на балкон четвертого этажа и толкнул сильно балконную решетку. Она оторвалась от бокового крепления и закачалась. Это была та самая решетка, которую варил Дерюшев.

— Вот видите, — сказал студент торжествующе и посмотрел на Дроботуна. Тот нахмурился.

— Это уже непорядок, — сказал он. — А вдруг кто свалится? Подсудное дело. Пускай сегодня же приварят.

— Потом подпишем акт, — добавил студент.

— Акт подпишем сейчас, — сказал Дроботун. — Решетку он приварит.

— А двери? А окна? — сказал студент.

— Это ерунда, — сказал Дроботун. — Подсохнет — и все будет нормально. Ты уж хочешь, чтоб вообще все было без придинок. А сроки у него какие?

— Сроки, — сказал студент. — Все гонят, лишь бы сдать дом, а потом сразу же в капитальный ремонт. Раньше дома строили вон как. По пятьсот лет стоят.

— Раньше на яичном желтке строили, — заметил Дроботун. — А теперь мы яичницу сами есть любим.

Разговор принимал отвлеченный характер. Я стоял в стороне, как будто меня это все не касалось. Я был зол на Дроботуна. Ему до этого дома нет никакого дела, важно поскорее отделаться и сообщить начальству, что все в порядке. Я так разозлился, что мне было уже наплевать на все, что будет потом. В конце концов и с семьей можно уехать в Сибирь. Поэтому, когда Дроботун предложил мне подписать акт, я отказался.

— Ты что, шутишь? — удивился Дроботун.

— Не шучу, — сказал я. — Он прав. Дом сдавать еще рано.

— Да ты понимаешь, что говоришь? Это ж будет скандал. Уж во все инстанции сообщили, что дом сдается. Подарок комсомольским семьям.

— Он прав, — сказал я, — такой подарок никому не нужен.

— Да вообще-то, может, и нужен, — вдруг засомневался студент. Должно быть, он пожалел меня.

— Выйди, — строго сказал ему Дроботун, и студент вышел.

Некоторое время Дроботун молча стоял у окна и ковырял ногтем замазку.

— Ну чего ты дуришь? — сказал он. — Ты представляешь, чем дело пахнет? Давай быстро подписывай, а мы тоже подпишем. Студент тоже подпишет.

На какую-то секунду я заколебался, но потом меня понесло.

Я подумал: «Будь что будет, подписывать акт я не стану. В конце концов хорошая у меня работа или плохая — она единственная. И если эту единственную работу я буду делать не так, как хочу и могу, зачем тогда вся эта волынка?»

— Вот что, — сказал я Дроботуну, — вы идите, а дом я пока сдавать не буду. Встретимся после праздника.

Он посмотрел на меня и понял, что дальше спорить со мной бесполезно.

— Как хочешь, — сказал он, — тебе же хуже.

22

В контору я пошел не сразу, сначала заглянул в прорабскую. Там сидели все рабочие, они курили, переговаривались, ожидали меня. При моем появлении все замолчали и повернули головы ко мне.

— Ну чего смотрите? — сказал я, остановившись в дверях. — Идите работать.

— Значит, объект не приняли? — спросил Шилов.

— Не приняли.

— Почему?

— Потому что надо работать как следует. Собери сейчас плотников, пусть обойдут все квартиры и подгонят двери. Не успеют сегодня, будем работать после праздника до тех пор, пока не сделаем из дома игрушку. Дерюшев, ты ту решетку так и не заварил?

— Я заварил, — сказал Дерюшев неуверенно.

— Так вот пойдя еще раз перевари. А я потом проверю.

Зазвонил телефон. Я попросил Шилова снять трубку.

— Алло, — сказал Шилов. — Кого? Сейчас посмотрю. Силаев, — шепнул он, прикрыв трубку ладонью.

— Скажи: ушел в контору, сейчас будет там, — скавал я.

Пока я дошел до конторы, Дроботун уже, наверное, успел туда позвонить, там поднялся переполох. Секретарша Люся куда-то звонила, просила отменить какой-то приказ. Возле нее стоял Гусев и спрашивал, как же теперь с очерком, который уже набран.

— Может, мне поговорить с Силаевым, он даст кого-нибудь другого?

— Конечно, — сказал Сидоркин, который все еще здесь крутился в ожидании Богдашкина. — Тебе ведь только фамилию заменить, а все остальное сойдется.

— У хорошего журналиста все, если надо, сойдется, — сказал Гусев, глядя куда-то мимо меня, как будто меня здесь не было вовсе.

— Силаев у себя? — спросил я у Люси.

— У себя. Он ждет вас, — сухо ответила Люся.

Разговор с Силаевым не получился. Как только я вошел, он стал на меня топтать ногами и кричать, что я подвел не только его, но и весь коллектив, что теперь нам не дадут ни переходящего знамени, ни премий и вообще райком сделает свои выводы.

Дальше — больше. Он сказал, что теперь ему мой облик совершенно ясен, что должности главного инженера мне не видать как своих ушей и что вообще он выгонит меня как собаку.

Я все это терпел, но, когда он сказал, будто только служебное положение мешает ему набить мне морду, я не выдержал.

Я взял с его стола пластмассовое пресс-папье и раздавил его одной рукой, как пустую яичную скорлупу. Я сказал, что и с ним мог бы сделать то же самое, если бы он посмел меня тронуть. И вышел.

В дверях мне встретился Гусев. Сидоркин сидел у стены и молча курил. Люся стучала на машинке.

— Ну что, — спросил Сидоркин, — поговорили?

— Поговорили, — сказал я. — Нет Богдашкина?

Сидоркин не успел мне ответить: из кабинета Силаева выскочил красный Гусев, он осторожно прикрыл за собой дверь, пожал плечами и вышел в коридор. Мы с Сидоркиным подождали немного и тоже вышли.

Закурили. Зажигая спичку, я почувствовал, что у меня дрожат руки. Должно быть, от волнения. Никогда раньше руки у меня не дрожали.

— Нервный ты стал, — глядя на меня, сказал Сидоркин, — лечиться надо.

— Пошли подлечимся, — сказал я.

23

Мы пошли напрямую через пустырь. На мне были резиновые сапоги, поэтому я шел впереди, нащупывая дорогу. Половину пути прошли молча. Потом Сидоркин сказал:

— Чего это ты сегодня со сдачей намудрил?

— Я не мудрил, — ответил я. — Просто не хочу халтурить. Хочу быть честным.

— Честность, — хмыкнул сзади Сидоркин. — Кому нужна твоя честность?

— Она нужна мне, — сказал я.

Мы купили бутылку водки, зашли в столовую. Рабочий день еще не кончился, в столовой почти никого не было. Маруся вытирала столы. Она заметила, что карман у Сидоркина оттопырен, и покачала укоризненно головой. Мы сели за свой столик в углу, Сидоркин разлил водку в стаканы. Выпили.

— Дуб ты, — сказал Сидоркин, закусывая винегретом. — Сейчас бы главным инженером был.

— Обойдусь.

— Обойдешься, — сказал Сидоркин. — Так вот и будешь всю жизнь старшим прорабом, если еще не понизят.

— Ты думаешь, все счастье в том, какое место занимаешь? — спросил я.

— А ты думаешь в чем?

— Не знаю, — сказал я. — Может, и в этом. А может, и нет. По крайней мере, я знаю, что живу, как хочу. Не ловчу, не подлаживаюсь под кого-то, не дрожу за свое место.

— Не дрожишь, — сказал Сидоркин. — Потому и летаешь с места на место. Теперь тебя здесь съедят. Куда денешься?

— В Сибирь поеду, — сказал я. — Ребята зовут. Вместе в институте учились.

— А ребята тебе квартиру приготовили?

— Не в квартире дело, — возразил я.

— Кто знает, может, и в квартире. Сколько можно человеку мыкаться без своего угла, без семьи, без... А, что говорить! — Сидоркин махнул рукой. — Давай выпьем.

Таким серьезным я его никогда еще не видел. Мы выпили. Сидоркин поставил бутылку под стол. Сделал он это во время — в столовую вошли знакомые нам дружинники. Остановившись у дверей, они быстро сориентировались в обстановке и направились к нашему столу. Высокий дружинник отогнул скатерть и заглянул под стол.

— Поднимите, пожалуйста, ноги, — попросил он Сидоркина.

— Пожалуйста, — сказал Сидоркин и поднял ноги.

Под столом ничего не было. Дружинники переглянулись и пожали плечами.

— Ладно, пошли, — сказал высокий, и они направились к выходу.

Но Сидоркин остановил их.

— Ребята, показать? — спросил Сидоркин. Он был опять в своем репертуаре.

Дружинники снова переглянулись, и маленький первым не выдержал.

— Покажите, — спросил он.

— Только прежний уговор — никому ни слова, — на всякий случай условился Сидоркин.

— Никому, — хмуро буркнул высокий дружинник.

— Ну что с вами делать, — вздохнул Сидоркин, — глядите. — Он поднял правую штанину — под ней на тыльной стороне ступни стояла пустая бутылка.

24

В прорабской сидели трое: Шилов, Дерюшев и Писатель.

— Шилов, — спросил я, — плотники работают?

— Работают, — сказал Шилов, — да что толку? Все равно не успеют, полчаса осталось до конца.

— Хорошо, — сказал я, — сколько успеют, столько сделают. Дерюшев, заварил решетку?

— Нет.

— То есть как?

— Да так, — Дерюшев флегматично пожал жирными плечами. — Баллон с кислородом надо поднять на четвертый этаж, а кран отключили.

— И вы, такие здоровые лбы, не можете поднять один баллон? — спросил я совершенно спокойно, но чувствуя, что скоро сорвусь.

— Как же поднимешь, — сказал Дерюшев, — когда в нем больше центнера весу?

— А ты знаешь, как египтяне, когда строили пирамиду Хеопса, поднимали на высоту в сто сорок семь метров глыбы по две с половиной тонны?

— Без крана? — недоверчиво спросил Писатель.

— Без крана.

— Без крана навряд, — покачал головой Шилов.

Конечно, можно было на них орать и топтать ногами, но этим их не проймешь.

— А ну-ка пошли, — сказал я и первым вышел из прорабской.

Баллоны лежали возле подъезда в грязи. Я поднял

с земли щепку, поставил баллон на попа и очистил его немного. Потом взвалил его на плечо. Шилов, Писатель и Дерюшев выступили в роли зрителей. Пройдя первые десять ступенек, я понял, что слишком много взял на себя. Лет пять назад я мог пройти с таким баллоном втрое больше, теперь это было мне не под силу. Меня качало. На площадке между вторым и третьим этажом я споткнулся и чуть не упал. Но вовремя прислонил баллон к батарее отопления. Подбежал Шилов.

— Евгений Иванович, давай подмогнем.

— Ничего, — сказал я, — обойдусь.

Неужели я так ослаб, что ничего уж не могу сделать? Я пошел дальше. У меня еще хватило сил осторожно положить баллон на пол.

— Ну что, — сказал я, — поняли, как строилась пирамида Хеопса?

— Вам бы, Евгений Иванович, вместо крана работать, — почтительно пошутил Писатель.

Я ему ничего не ответил. Я сказал Дерюшеву, чтобы сейчас же заварил решетку, и Шилову, чтобы потом закрыл прорабскую и отнес ключ в контору. После этого я пошел домой. Мне нездоровилось.

Дома я разделся, умылся, согрел чаю. Ко мне пришла Машенька, и мы стали пить чай вместе. Я наливал ей в блюдечко, и она, сидя у меня на коленях, долго думала на чай, чтобы он остыл. Потом мне стало плохо. Я снял Машеньку с колен и пошел к кровати. Мне показалось, что кровать слишком далеко и я опустился на пол. Машенька засмеялась. Она подумала, что я играю. Пол подо мной качался, и стены тоже. Мне вдруг показалось, что я лечу куда-то вверх ногами. Так, говорят, наступает состояние невесомости.

25

Сразу после праздника ударил мороз и прошел снег. Теперь все вокруг бело: белый снег, белые простыни, белые халаты.

Больница, в которой я лежу, — одна из лучших в городе. Здесь тепло и уютно, много света и воздуха. И если вначале мешает запах лекарств, то потом постепенно к нему привыкаешь.

В палате двенадцать коек. Люди все время меняют-

ся. Когда кто-нибудь должен умереть, старшая санитарка тетя Нюра заранее кладет у его постели чистое белье, потому что больничные койки не должны пустовать.

И я и мои соседи знаем, что если возле кого-нибудь кладут свежие простыни, то он уже не жилец. Тетя Нюра утверждает, что за всю жизнь не ошиблась ни разу.

А вообще она приветливая и услужливая старушка. Все двенадцать часов своего дежурства она проводит на ногах, ходит от койки к койке — там поправит одеяло, здесь подаст «утку» или еще чем услужит. Я ее всегда встречаю одним и тем же вопросом: скоро ли она принесет мне белье?

И старушка тихо смеется — она рада, что ей попался такой веселый больной.

Больница — хорошее место для размышлений. Здесь можно оглядеть все свое прошлое и оценить его. Можно думать о настоящем и будущем.

Я прожил жизнь не самую счастливую, но и не самую несчастную — многие жили хуже меня. Может быть, при других обстоятельствах я мог бы стать... А кем я мог бы стать? И при каких обстоятельствах? Да, конечно, если бы я не пошел на фронт, и вовремя кончил институт, и активничал на собраниях, и вступил в партию, и ни за кого не заступался, и был равнодушен к собственному делу, и кидался со всех ног выполнять распоряжение любого вышестоящего идиота, и лез наверх, распахивая локтями других... Но тогда я был бы не я. Так стоят ли любые блага того, чтобы ради них уничтожить в себе себя? Я всегда знал, что не стоят. Только один раз в жизни заколебался, но устоял и не жалею об этом.

Но иногда мне приходит на ум, что я что-то напутал в жизни, что не сделал чего-то самого главного, а чего именно — никак не могу вспомнить. И тогда мне становится страшно. Мне всего сорок два года. Это ведь совсем немного. Я еще мог бы долго жить и сделать то самое главное, чего я никак не могу вспомнить.

Если я завтра умру, от меня ничего не останется. Меня похоронят за счет профсоюза. Ермошин или кто-нибудь такой же бойкий, как он, соврет над моим гробом, что память обо мне будет вечно жить в сердцах человечества. И наши прорабы — та часть человечества, которая знала меня, — вскоре забудут обо мне и если

вспомнят при случае, то вспомнят какую-нибудь чепуху вроде того, что я сгибал ломик на шее.

Каждый день между шестью и семью вечера ко мне в гости приходит Клава. Пользуясь своими связями, она приходила даже во время карантина, когда больница для посещений была закрыта.

Она садится рядом со мной, и мы долго говорим о разной ерунде, вспоминаем, как жили на Печоре, как познакомились. И она задает мне разные вопросы, и я отвечаю, и, как ни странно, это ничуть не раздражает меня.

Однажды она сказала, что, как только мне станет лучше, она тоже ляжет в больницу.

— Зачем? — спросил я.

Она вдруг покраснела и сказала:

— Ты сам знаешь зачем.

И я удивился, что она покраснела. Ведь не девочка, и столько лет мы знаем друг друга. Но мне почему-то было приятно, что она покраснела.

— Никуда ты не пойдешь, — сказал я ей. — Особенно если мне станет лучше. Пусть все остается, как есть. У нас будет ребенок, и мы никогда не будем ссориться. Только бы мне стало хоть немножечко лучше.

— Все будет хорошо, — сказала Клава. — Я говорила с лечащим врачом, он обещает, что через недельку ты сможешь ходить.

Обещает. Что она может обещать, когда у меня разрыв не рубцуется?

— Между прочим, я с ней хочу поговорить. Может, она разрешит мне ухаживать за тобой.

— Нет, нет, нет, — пугаюсь я. — Не хватает еще того, чтобы ты выносила после меня горшки.

— Это не так уж страшно, — улыбается она.

Нет, я, конечно, не могу ей этого разрешить, хотя знаю, она с радостью пошла бы на это. Что-то не могу я представить себе в этой роли Розу. Может быть, настоящая любовь заключается именно в том, чтобы и горшки выносить.

Однажды в палате появился Сидоркин. Он был все такой же тощий, а мне казалось, что за это время все должны были перемениться. На нем был белоснежный халат и, по обыкновению, грязные ботинки. Просто удивительно, где человек может найти столько грязи в такую погоду. Тетя Нюра посмотрела на его ботинки

осуждающе, но ничего не сказала. Сидоркин сел на стул рядом со мной и положил на тумбочку кулек с мандаринами.

— Лежишь, значит?

— Как видишь.

— Что же это ты так, — сказал Сидоркин, — подкачал? От нервов, что ли?

— Нет, — сказал я. — Просто я слишком много поднял. Что нового в управлении?

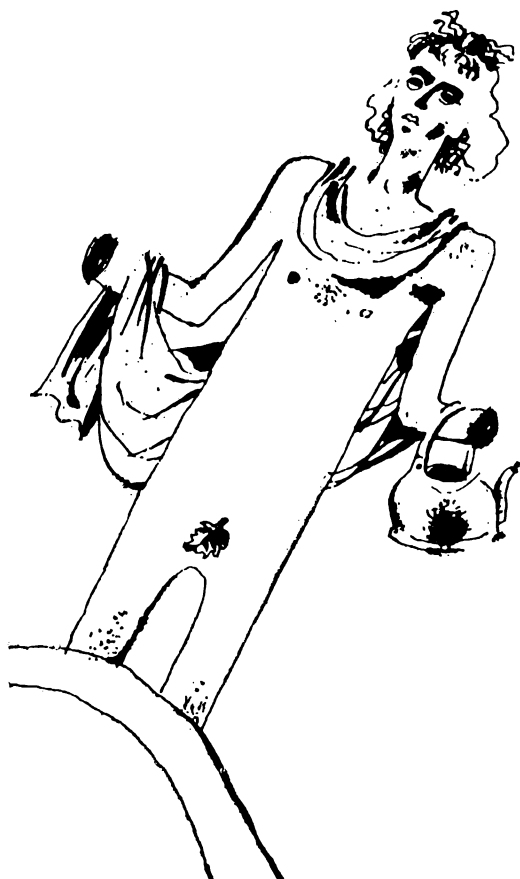
— Новостей вагон и маленькая тележка, — сказал Сидоркин. — Тут вот я тебе подарок принес.

Он вынул из кармана затасканную газету, развернул ее и протянул мне. Там был напечатан очерк под рубрикой «Герои семилетки». Очерк назывался «Принципиальность». Начинался он так: «В тресте «Жилстрой» все хорошо знают прораба Самохина. Этот высокий широкоплечий человек с мужественным лицом и приветливым взглядом пользуется уважением коллектива. «Наш Самохин», — говорят о нем любовно рабочие».

В Гусеве-то я не ошибся...

РАССТОЯНИЕ В ПОЛКИЛОМЕТРА

Рассказ



1

От Климашевки до кладбища — полкилометра. Чтобы покрыть такое расстояние, нормальному пешеходу понадобится не больше семи минут.

В воскресенье произошло небольшое событие — умер Очкин. Возле дома покойника стояла Филипповна и, удивленно разводя руками, говорила:

— Тильки сьогодни бачила його. Пишла я до Лаврусенчихи ситечко свое забрать... Хороше в мене таке ситечко, тильки з краю трохи продрано. А Лаврусенчиха давно вже взяла його, каже: «Завтра принесу». Тай не несе. Иду я, значить, тут по стежечке, колы дывлюсь: навустрічь Очкин. Веселый и начи тверезый. Ще спытав: «Де идешь?» — «Та ось, кажу, до Лаврусенчихи иду ситечко свое забрать». А вин ще каже: «Ну иди». А тут баць — помер.



2

Еще сегодня утром Афанасий Очкин был совершенно здоров. Он встал, оделся, умылся подогретой водой и, пока жена его Катя готовила завтрак, пошел в сельмаг за солью. В сельмаге была крупная соль, поэтому Очкин, поговорив с продавщицей, пошел через все село

в другой магазин, или, как его называли, чапок. В чапке мелкой соли тоже не оказалось, но зато был вермут в толстых пыльных бутылках. Очкин отдал продавщице Шуре все деньги, и та налила ему стакан вермута, правда, неполный, потому что у Афанасия до полного стакана не хватило двух копеек. Очкин поговорил с Шурой, потом из пивной кружки насыпал в кулечек две ложки крупной сырой соли и собрался уже совсем идти домой, да увидел двух дружков — плотника Николая Мерзликина и счетовода Тимофея Конькова, которые тоже пришли в чапок выпить. Очкин знал, что дружки ему не поднесут, но на всякий случай стал изучать взглядом консервные банки, выставленные на прилавке.

Он терпеливо рассматривал эти банки, пока Николай с Тимофеем покупали вино и закуску. Они взяли бутылку вермута, кильки в томате и сто граммов соевых конфет. Потом вышли и, расстелив на пыльной траве газету, сели в холодок под деревом. Афанасий следил за ними в окно. Он подождал, пока они распечатают выпивку и закуску, и только после этого подошел к ним.

— Приятного аппетита, — вежливо сказал он и присел рядом.

Дружки неприязненно покосились на него и, молча чокнувшись, выпили. Тимофей складным ножиком полез в банку за килькой, а Николай сплюнул.

— Вода, — сказал Очкин. — Зеленого вина сейчас не найдешь. Моя позавчера в Макинку ездила, там тоже нет. Запрет на нашего брата накладывают.

Потом он взял в руки бутылку с остатками вина и повертел ее в руках.

— Тут на двоих, считай, ничего не осталось, — сказал он и с надеждой посмотрел на Николая.

— Не твое дело, — грубо сказал Николай, забирая бутылку. — Ты тридцать копеек когда отдашь?

Кроме плотницкого дела Николай знал еще парикмахерское и этим изредка подрабатывал на дому, так как парикмахерской в селе не было. Очкина он подстриг два дня назад в долг.

— Да вот Катя на той неделе повезет в город сметану, тогда и отдам, — пообещал Очкин, с грустью наблюдая за тем, как Николай аккуратно разделил вино на два стакана. — Ну ладно, — нехотя приподнялся Очкин. — Надо жене кой-чего подсобить по хозяйству. До свидания вам.

Его никто не задерживал. По дороге домой он и встретил Филипповну. И Филипповна была последней из тех, кто видел Очкина живым.

3

Вернувшись домой, Очкин поругался с женой из-за потраченных на вино денег и разнервничался. Жена тоже разнервничалась. Она налила ему супу, а сама пошла в огород докапывать картошку.

Вернувшись, она увидела, что муж сидит за столом, уткнувшись в тарелку, и рыжие волосы его мокнут в гороховом супе.

Фельдшерница Нонна, осмотрев покойника, велела с похоронами обождать и пошла звонить в город, чтобы вызвать врача для установления причины смерти Очкина. Тем временем возле хаты покойника народу скопилось все больше и больше. Высказывались различные предположения и догадки. Филипповна, например, сказала, что Очкин, должно быть, отравился, иначе отчего бы ему ни с того ни с сего помереть.

— Будет болтать-то, — хмуро возразила только что подошедшая Лаврусенчиха. — Нам, бабам, чего ни случись — лишь бы языками помолоть. Я вот сама прошлый год чуть не померла. Помнишь?

— Не помню, — сказала Филипповна.

— А я помню. А как все случилось? Торговала я в городе молочком. Стою себе за прилавком, когда подходит она. «Почем, слышь, молоко?» — «Да как у всех, — говорю, — по три рубля». — «Чтой-то больно дорого», — говорит. «Куда уж, — говорю, — дорого. Ты бы, слышь, сама походила бы за коровой, да поубирала бы за ней, да сена бы на зиму припасла, а потом, может, и задаром отдашь молочко». А она в этот момент на меня как глянет: «Неужто Марья Лаврусенкова?» — «Я самая», — говорю. «А меня неужто не признаешь? Я ж прошлый год у вас в Климашевке, почитай, целый месяц жила. Давненько не виделись». — «Давненько», — говорю. А сама про себя думаю: «А тебя и сейчас бы не видела, кабы ты не пришла». А она меня давай нахваливать: «Уж ты, слышь, и справная стала, и гладкая, и на личность вся розовая, прямо кровь с молоком». А сама как зыркнет на меня своими глазищами, как зыркнет. Мне сначала будто и ни к чему. А потом я подумала: «Ба-

атюшки, так она ж меня сглазит!» И сразу в сердце у меня будто что оборвалось. Схватила я свои бидоны и, даром что за место было уплочено, кинулась на автобус. Да насилушки до дому добралась. Да потом целную неделю пролежала. Спасибо, люди добрые бабуку из Мостов призвали, и она меня заговором да студеной водой выходила. Вот как бывает, — заключила Лаврусенчиха и снисходительно посмотрела на Филипповну.

Потом она склонила голову набок и прислушалась. За окнами очкинской хаты голосила вдова.

— Густо орет, — строго сказала Лаврусенчиха, — густо. Помню, матушка моя, как брат ейный, дядя мой значит, в крушение попали, так она уж так убивалась, так кричала. Тонко да с надрывом. Аж сердце холонуло. Ну ладно, — сказала она, помолчав. — Пойду спрошу у Кати, может, чего подмогнуть надо.

4

Солнце передвинулось к зениту, тень ушла, а Николай и Тимофей сидели на старом месте и спорили о том, сколько колонн у Большого театра. Тема спора была старая. Когда-то они оба в разное время побывали в Москве и с тех пор никак не могли решить этот вопрос и даже заспорили на бутылку водки. И не то чтобы делать им было нечего. Просто оба любили поспорить, а помочь им никто не мог. Остальные жители или вовсе не бывали в Москве, или бывали, да не считали колонны.

Тимофей однажды написал письмо во Всесоюзное радио в редакцию передач «Отвечаем на ваши вопросы». Но на вопрос Тимофея радио ничего не ответило. Вопрос оставался открытым. Сейчас, сидя возле чашка за четвертой бутылкой вермута, дружки пытались решить его путем косвенных доказательств.

— Значит, ты говоришь — шесть? — переспросил Николай.

— Шесть, — убежденно ответил Тимофей.

— Тупой ты, Тимоша, — сочувственно вздохнул Николай. — Подумал бы своей головой: как же может быть шесть, когда в нашем Доме культуры шесть колонн. Дом культуры-то районного значения, а Большой театр, считай, на весь Советский Союз один.

Довод был убедительный. Пока Тимофей придумывал довод еще убедительней, подошла Марья Лаврусен-

кова и, посмотрев на них, укоризненно покачала головой:

— Баламуты вы, одно слово — баламуты. Картошка-то в огороде еще небось не копана, а они с утра пораньше водку жрут. Пошел бы лучше покойнику доминочку справил, — повернулась она к Николаю.

— Какому еще покойнику? — Николай недоуменно пошевелил густыми бровями.

— Да какому же? Очкину, царство ему небесное.

— Очкину? Ай помер? — удивился Николай.

— А ты только узнал? — в свою очередь удивилась Лаврусенкова.

— Да он же только что вот на этом месте сидел. Еще тридцать копеек за стрижку обещался принести. Скажи, Тимоша.

— Шесть, — бездоказательно бурнул Тимофей, который думал все время о колоннах, но так и не нашел убедительный довод.

5

Перед вечером из города приехала санитарная машина. Покойника положили в крытый кузов для того, чтобы отвезти на экспертизу. Шофер достал из-за кабины измятое ведерко и пошел к колодцу за водой для радиатора. В ожидании его девушка-врач села в кабину и развернула какую-то книжку. Книжка, видимо, была интересная. Читая ее, девушка то хмурилась, то улыбалась, и Николай с любопытством следил за ней сквозь полуоткрытую дверцу кабины. Потом он обратил внимание на саквояж, который лежал на коленях у девушки. Красивый желтый саквояж с металлическими застежками. Жена Николая собиралась отмечать свой день рождения, и Николай подумал, что неплохо было бы подарить ей такую красивую сумку. Но где ее взять, Николай не знал и решил спросить об этом у девушки.

— Не знаю, — ответила девушка, отрываясь от книжки. — Я ее в Москве купила.

— В Москве? — с уважением переспросил Николай. — А сами, случаем, не московская будете?

— Московская.

— Да ну! — удивился Николай и, недоверчиво посмотрев на нее, решил уточнить: — Из самой Москвы или, может, поблизости?

— Из самой Москвы, — сказала девушка и улыбну-

лась. Должно быть, своим московским происхождением она немного гордилась.

— Тогда у меня к вам вопрос будет, — решительно сказал Николай. — Тут у нас с одним товарищем, климашевским, спор вышел. Насчет колонн у Большого театра. Я ему — восемь, а он мне — шесть. Как говорится, ты ему плюнь в глаза, а он говорит — божья роса. А спросить в точности не у кого. Народ у нас тут такой — ничего не знает. Зря хвалиться не буду, сам тупой, но уж чего-чего, а посчитать что хочешь посчитаю. Я ведь тут плотником работаю. Меня все знают. Спроси вот такого пацана: «Где тут плотник Николай живет?» — и он тебе в любой момент покажет. Вот он, мой дом под железной крышей. Сам прошлый год накрыл. Железато не было. Пришлось бочки из-под солярки покупать... Раскатал их — и гляди как ладно получилось. Я думаю, не хуже, чем у людей. Придете, чайку попьем, поговорим. Жена у меня городская, официанткой в ресторане работала. Я ее из города и взял. Здесь, конечно, ресторанов нет, и специальность пропадает. А я ее работать много и не заставляю, сам хорошо зарабатываю. Кому пол перестелить, кому дверь навесить — все за мной бегут. Сейчас вот директор говорит, рамы надо новые в конторе поставить. А я всегда пожалуйста. Потому и живем хорошо. Дочка Верунька в четвертый класс пошла. А у этого, — Николай показал на кузов, в котором лежал Очкин, — детей не было. Детей-то ведь кормить надо. А на что кормить? Работать-то он не любил. Все норовил на чужом горбу в рай...

Начав говорить, Николай уже не мог остановиться и, прислушиваясь к собственному голосу, с удовлетворением замечал, как сладко у него все получается. Он смог бы так говорить до самого вечера, но ему помешал шофер, который, залив в радиатор воду, сел рядом с докторшей и включил зажигание.

— Уже едете? — спохватился Николай. — Счастливый путь. Значит, восемь?

— Что — восемь?

— Колонн у Большого театра, — терпеливо напомнил Николай.

— Кажется, восемь, — вспоминая, сказала девушка. — А может быть, и шесть. Знаете что, я дома постараюсь выяснить этот вопрос и в следующий раз скажу вам точно. Идет?

— Идет, — уж не веря ей, уныло согласился Николай. И, проведив машину глазами, повернулся к Филипповне: — А говорит, из самой Москвы.

6

Ни в Климашевке, ни в Мостах, ни даже в Долгове не было плотника лучше, чем Николай. Может, лучше плотника не было и во всей области, но этого никто не мог сказать с полной уверенностью.

Во всяком случае, не зря в прошлом году, когда надо было отделять районный Дом культуры, приезжали не за кем-нибудь, а именно за Николаем. Он там узорный паркет стелил и стены в танцевальном зале дубовыми да буковыми планочками выложил — короче говоря, такие вещи делал, что не каждому краснодеревщику под силу.

Архитектор, который руководил строительством, сказал, что, если бы Николаю дать красное дерево, он смог бы сделать что-нибудь необыкновенное.

Но красное дерево ни в Климашевке, ни поблизости не росло, поэтому, вернувшись из района, Николай занимался тем, чем занимался и раньше: рубил избы, стелил полы, делал люльки для новорожденных. А когда случалось, делал и гробы — кто ж еще их будет делать?

На другой день после смерти Очкина Николай поднялся на рассвете и вышел на улицу. На улице стоял густой туман. Он был настолько густой, что соседняя хата была видна только наполовину — та ее часть, что не была побелена. В другой части виднелось только окно, даже не окно, а желтое, расплывающееся в тумане пятно электрического света. На железном засове сарая и на ржавом замке застыли мелкие капли. «Должно быть, это от атома туманы такие», — подумал Николай, снимая замок, который на ключ не запирался и висел просто так, для блезиру. Он вошел в сарай и, подсвечивая себе спичками, вытащил из угла на середину четыре половых доски, промерил их складным деревянным метром и провел красным карандашом под угольник четыре риски, которые видны были даже в полумгле. Потом покурил и, пока совсем не развиднелось, стал наводить инструмент на оселках — сначала на крупном, потом на мелком. Когда стало светло, он оттесал топором края прошпунтованных досок и принялся за работу.

Работая, он думал о том, как странно устроена жизнь. Еще вчера Очкин сидел рядом с ним возле чапка и надеялся, что Николай поднесет ему стопочку, а сегодня Николай ладит ему гроб. А три дня назад Николай еще подстригал Очкина под полубокс, как тот просил. И хотя Очкин умер, так и не отдав ему тридцать копеек за стрижку, хотя при жизни Николай относился к нему пренебрежительно, сейчас он испытывал перед покойником непонятное чувство вины, какое часто испытывают живые перед мертвыми. Он чувствовал себя виноватым и в том, что не дал человеку перед смертью вина, и в том, что требовал у него эти самые тридцать копеек. Не такие большие деньги, чтобы обижать человека. А еще виноват был Николай перед покойником в том, что потешался над ним и один раз за чекушку водки заставил катать себя в тачке по всей деревне. Вся деревня тогда вышла на улицу и хохотала в покатыши, а Николай спокойно сидел в этой тачке и смотрел на народ без всякого выражения.

Вспомнив все это, Николай решил искупить свою вину перед Афанасием и сделать ему такой гроб, каких еще никому не дельвал.

Закрепив в верстаке доски, он обстругал их кромки, сначала рубанком, потом фуганком с двойной железкой, и сделал это так хорошо, что доски смыкались краями без всякого зазора.

Потом он позавтракал, сходил в контору и, взяв отгул за позапрошрое воскресенье, работал без перекура до двух часов. В два часа в сарай вошла его жена Наташа и позвала обедать.

— Успеется, — сказал Николай, вытаскивая из кармана измятую пачку «Прибоя». — Погляди лучше, чего сделал, — он небрежно кивнул в сторону готового гроба.

— Чего на него глядеть? — возразила Наташа. — Гроб, он и есть гроб. Ящик.

— Эх ты, ящик, — обиделся Николай. — Не пойму я тебя, Наташка. Живешь с плотником вот уж почитай пятнадцать лет, а никакого интересу к его работе не имеешь. Да, может, этот ящик («И слово-то какое нашла», — подумал он про себя) на шипах «ласточкин хвост» связан. Да разве ты в этом что понимаешь? Тебе все равно, что «ласточкин хвост», что прямой шип, что на мездровом клею, что на клейстере.

У Николая была одна странность. Любимым пред-

метам собственного изготовления он давал человеческие имена и разговаривал с ними. Имена выбирал в созвучии с названиями изделий. Например, стол, который стоял на кухне, он звал Степой, а резную полочку возле раковины — Полей. Гроб по ассоциации со словом «ящик» он назвал Яшей.

— Ты, Яша, не обижайся, — сказал он, когда жена ушла. — Баба, она, известно, дура. У ней нет понимания, что ты, может, как Большой театр, один на весь Советский Союз. Ну ничего. Вот мы тебя еще лаком покроем, хоть ты и сосновый. Будет на что поглядеть. Конечно, ежели кто понимает.

Потом он взялся за крест, но делал его без особой охоты. На глаз отрезал крестовинки, связал их вполдерева и склеил полуостывшим мездровым клеем. Крест, на всякий случай, он назвал Костей, но разговаривать с ним не стал.

7

В этот же день утром фельдшерница Нонна звонила в город, чтобы узнать, отчего умер Очкин. То, что она узнала, Нонна рассказала Кате Очкиной, но та никак не могла запомнить название болезни. Тогда Нонна написала ей название на бумажке. Болезнь называлась инфаркт миокарда. Многие удивлялись, Лаврусенкова, прочтя написанное на бумажке, прямо сказала:

— Отродясь такого не слыхивала. Раньше, старики сказывали, люди помирали от холеры, от чумы. Ваську-аккордеониста прошлый год ангина задушила. А такого... — она посмотрела на бумажку, — у нас еще не бывало. Видно, жил он не по-людски, потому и болезнь ему нелюдская вышла.

После обеда снова приехала санитарная машина. Два мужика внесли покойника в нетопленную избу и положили на стол, покрытый старой клеенкой. Девушка-врач дала Кате подписать какую-то бумажку и нетерпеливо ждала, пока Катя, всхлипывая и утираясь, дрожащими пальцами медленно выводила свою корявую подпись. Потом девушка взяла бумажку и пошла к машине. Когда она открыла дверцу и встала на подножку, ее остановил Николай, принесший только что новый, покрытый красным нитролаком гроб.

— Девушка, а как насчет моего дела? — робко осведомился он. — Вы не забыли?

— Не забыла. — Девушка порылась в своем красивом саквояже и, вынув из него измятую открытку, протянула ее Николаю: — Вот, нашла у себя в альбоме.

Николай не успел поблагодарить ее, потому что, пока он дважды пересчитал колонны, шофер включил скорость и машина уехала, оставив за собой шлейф пыли.

Николай был прав. Колонн оказалось восемь. Он шел, не разбирая дороги, и заранее торжествовал, представляя себе в лицах, как будет ошеломлен его противник. «Сейчас приду, — думал Николай, — перво-наперво: «Беги, Тимоша, за пол-литром». А он мне: «С какой это радости мне за пол-литром бечь?» А я ему: «Сколько колонн у Большого театра?» А он мне, как обыкновенно: «Шесть!» А я ему: «Плохо, видно, ты считал. Пальцев, мол, не хватило для счёту». Тут Тимофей обидится, полезет в бутылку. «Ты, мол мои пальцы не считай, они, мол, на фронте потеряны. Мы, мол, не то что другие, мы кровь свою проливали». А я ему: «И мы, мол, не Ташкент обороняли...»

Размышляя таким образом, он неожиданно столкнулся с Марьей Ивановной, учительницей дочери. Марья Ивановна, по обыкновению, стала говорить ему, что Верунька и этот учебный год начала плохо. Не слушает, что говорят на уроке, и не выполняет домашние задания.

Николай терпеливо выслушал учительницу, а потом бухнул ни с того ни с сего:

— Слышь, Марь Иванна, а Тимофей-то мне проспорил пол-литру.

— Какие пол-литра? — удивилась учительница.

— Да какие ж? Обыкновенные...

Николай хотел рассказать ей всю эпопею с колоннами и показать открытку, неожиданно разрешавшую спор в его пользу, но вдруг увидел на ногах учительницы красивые танкетки из белой простроченной кожи и вспомнил, что подарок жене он так и не купил.

Учительница, заметив, что Николай внимательно разглядывает ее ноги, смутилась и отступила на полшага назад.

— Где брала? — в упор спросил Николай.

— Чего? — испугалась учительница.

— Да танкетки ж, — нетерпеливо сказал Николай.

— А, танкетки, — учительница облегченно вздохнула. — Это мне брат из Москвы прислал.

— Тьфу ты! — рассердился Николай. — Сумки в Москве, танкетки в Москве, братья в Москве...

— А в чем дело? — удивилась учительница.

— Ни в чем.

Николай махнул рукой и пошел дальше. Но после встречи с учительницей ход его мыслей принял совершенно иное направление. Он подумал, что надо будет на день рождения жены созвать всех соседей, свою бригаду и хорошо бы кой-кого из начальства. Директор Андриолли, может, и откажется, но пригласить надо. Прораба Позднякова тоже. А чтобы не скучно было, можно пригласить Тимофея, будет хоть с кем поговорить и поспорить. И тут Николай остановился. О чем же он будет спорить, если сегодня покажет Тимофею открытку? Он растерянно поглядел на открытку и еще раз машинально пересчитал колонны.

«Пол-литру выпить, конечно, можно, — размышлял Николай, — особенно если под хорошую закусочку. Огурчики у Тимохи в погребе больно хороши. Ну и сало, конечно, есть, поросеночка заколол на прошлой неделе. Только ведь пол-литру я и сам могу поставить. Не обедняю. А поговорить на дне рождения не про что будет...»

Он и сам не заметил, как оторвал от открытки один угол, потом второй... А когда заметил, изорвал ее всю, и вернувшись домой, выбросил клочья в уборную.

8

К вечеру небо заволокло тучами. Задул сырой ветер. Катя Очкина быстро управилась по хозяйству и, как только стемнело, не зажигая огня, забралась на высокую постель под ватное одеяло. Она лежала и слушала, как дребезжат от ветра, задувавшего сбоку, оконные стекла, как разбиваются о стекло первые капли дождя.

«Надо промазать стекла, — нехотя подумала Катя. — И подтесать дверь. Разбухла, не закрывается».

Вообще это была мужская работа, но к мужской работе Катя давно привыкла. Этот дом построил ее отец в тридцать девятом году и оставил его дочери, когда умирал. Умер он в районной больнице после того, как его, сонного, переехал в борозде трактор. Катя одна осталась хозяйкой в новом доме. Перед самой войной она привела в этот дом своего мужа Афанасия. Ей тогда было восемнадцать лет, а ему девятнадцать. Они соби-

рались жить долго и счастливо, но тут началась война, и Афанасию через несколько дней принесли повестку.

Афанасий тогда работал на скотном дворе. Он пошел к себе на работу, чтобы поднять колхозного бугая и нажить грыжу. Бугая он поднял, но грыжи не получилось. Тогда Афанасий наточил топор, точно рассчитанным ударом отрубил себе указательный палец на правой руке и таким образом лишил себя возможности нажимать на спусковой крючок. На суде прокурор требовал расстрелять дезертира, но судьи были помягче — они дали ему десять лет. Десять лет Очкин сидеть не стал — его выпустили в сорок пятом году по амнистии в честь нашей победы. В тот день вечером, когда они легли на эту самую постель, Очкин долго расспрашивал жену о своих односельчанах, и она долго рассказывала ему о них. Рассказывала о том, как мыкались они все во время войны, особенно те, у которых были детишки. Рассказывала о том, как наехали сюда эвакуированные с Украины и Белоруссии. Им не хватало жилья, и их расселяли по избам. У Кати было две семьи, они вечно ссорились, но Катя привыкла к ним и потом, когда они уезжали домой, очень не хотела с ними расставаться. Из мужиков почти всех забрали на фронт, и многие не вернулись. Тимофею Конькову на войне оторвало три пальца.

— Вроде как у меня, — усмехнулся Очкин и спросил у Кати насчет дружка Федора Коркина. Им тогда вместе принесли повестки.

— Небось вся грудь в орденах? — спросил Очкин.

— Не вернулся он, — тихо пояснила Катя.

— Убили на фронте?

— Нет, не доехал до фронта. Поезд их разбомбило по дороге.

Афанасий долго молчал, а потом вспомнил:

— Когда меня забирали, Федька говорил — дурак. А теперь он, умный, в земле лежит, а я еще хожу по ней.

После лагеря на работу он не спешил, все присматривался. И присмотрел карточки в совхозной кассе. Ночью его поймал с этими карточками сторож, и Афанасий уехал в тюремном вагоне восстанавливать ДнепрогЭС. Восстанавливать ДнепрогЭС он не стал. Вернувшись после амнистии 1953 года, он рассказывал Кате, что умному человеку и в лагере жить неплохо. Летом он

спасался от жары в холодке под штабелем досок или под конторкой старшего оцепления, а зимой брал железную бочку, пробивал в ней много-много дыр и, наполнив ее дровами и кусками толя — того и другого на стройках всегда хватает, — устраивал «маленький Ташкент». У этого «Ташкента» был тот недостаток, что грел он неравномерно и к нему надо было поворачиваться то спиной, то грудью, но это было лучше, чем тюкать на ветру топором или возить тачку с раствором, который тут же покрывался ледяной коркой.

Кормили их в лагере не очень жирно, но зато бесплатно, а на воле за такую еду надо еще поработать. Кроме того, у них была своя баня, клуб, где три раза в неделю показывали кино и устраивали концерты.

В общем, судя по рассказам Афанасия, такая жизнь его вполне устраивала. Может, потому, что такая жизнь его устраивала, он разбил витрину в сельмаге и опять поехал в тюремном вагоне, на этот раз на великие сибирские стройки. Последний раз вернулся он этой весной и на зиму опять собирался на великие стройки, да не успел, помер.

Может быть, все это вспоминала Катя Очкина, когда лежала одна в темной нетопленной комнате. А может быть, она ничего не вспоминала и просто лежала, прислушиваясь к завыванию осеннего ветра.

Ветер переменялся. Теперь он дул прямо в окна, и в комнате становилось все холоднее. Тогда Катя встала, сняла с гвоздя свой старый рабочий тулупчик и, не отдавая себе отчета в том, что делает, накрыла тулупчиком покойника.

9

Дождь принимался идти несколько раз, но тут же переставал и разошелся только к утру. Директор совхоза Матвей Матвеевич Андриолли сидел в брезентовом плаще за своим столом и занимался делами, какие обычно начинаются во время дождей.

Первым пришел прораб Поздняков. Он принес на подпись наряды наемных строителей, которые по случаю окончания сезона собрались домой. Директор бегло просмотрел наряды, заметил, что Поздняков слишком уж щедро платит этим шабашникам, но подпись свою по-

ставил, так как наряды были оформлены в строгом соответствии с имеющимися расценками.

Потом пришла Филипповна и, сообщив, что она уезжает на родину, спросила, не купит ли совхоз ее хату. Директор посмотрел на Позднякова, и тот сказал, что он эту хату знает, брать ее нет никакого смысла, так как она уже разваливается.

— Разве что на дрова, — сказал Поздняков.

— На дрова мы брать не будем, — сказал Матвей Матвеевич, — потому что дров у нас своих достаточно. И дорого мы заплатить не можем, максимум сто рублей.

— Ну як хотите, — сказала Филипповна. — Я тоди продам Миколу-плотнику, вин мени даст сто пятьдесят.

— А где плотник? — спросил Андриолли у Позднякова. — Он сегодня собирался рамы вставлять.

— Я ему отгул дал, — сказал Поздняков. — Гроб он делает Очкину.

О смерти Очкина директор как-то забыл и теперь вспомнил, что хотел сходить к вдове и хоть как-то утешить ее. Он знал Катю еще девочкой. Она еще в детстве работала на огороде, а потом дояркой на ферме. И работала очень хорошо, пожалуй, лучше всех. Ее фотографию вот уже много лет не снимали с Доски почета. А своих лучших работниц Андриолли умел ценить и считал своей обязанностью проявлять к ним внимание. Тем более что, как правило, они попусту не беспокоили его ненужными просьбами. И он, конечно, сходил бы к вдове еще вчера, но, как ее утешить, не знал. Обычно в таких случаях о покойнике говорят, что он сделал то-то и то-то и память о нем будет жить во веки веков.

Андриолли стал вспоминать, что сделал Очкин, но ничего хорошего вспомнить не мог. Потом все-таки вспомнил. В этом году, когда проводили праздник доярок, надо было написать лозунг, а комсорг, который всегда занимался этими делами, как на грех заболел. Тогда неожиданно для всех вызвался Очкин. Он расстелил в конторе красное полотно и всю ночь ползал перед ним на коленях. К утру он написал лозунг, да, пожалуй, почище, чем это делал комсорг. Может, у него и талант к этому делу был. Но потом он снова ничего не делал, хотя ему и предлагали разные работы. Пока директор вспоминал, что еще делал Очкин, в дверь просунулась голова шофера Лехи Прохорова. Увидев, что Андриолли на месте, он медленно стащил с головы измятую кепку-

восьмиклинку и, оставив на полу мокрые следы, прошел к столу.

— Вот заявление вам принес, — сказал он, доставая из кармана сложенный вчетверо листок бумаги. — На счет отпуска без содержания.

— Зачем тебе отпуск? — спросил Андриолли.

— К матери надо съездить, крышу покрыть. Пишет: текет крыша-то. На недельку, Матвей Матвееч. В тот понедельник как штык на работе буду, — заверил он в слабой надежде.

Но директор неожиданно легко согласился.

— Ну что ж, валяй, — сказал он. — Только сначала съезди к Кате Очкиной, покойника на кладбище отвези.

— Мы его мигом! С ветерком! — обрадовался Леха и побежал к дверям.

— Погоди, — остановил его Андриолли. — Ты, Прохоров, не дури. С ветерком будешь пшено возить, да и то не очень. А это покойник, — сказал он значительно.

— Покойник покойнику рознь, — возразил Леха.

— Покойники все одинаковы, — настоял на своем Андриолли, хотя и не был уверен в своей правоте.

10

Дождь не усиливался, не слабел, все так же монотонно шелестел по стеклам, по соломенным крышам, по облысевшим кронам деревьев. Бабы, накрывшись кто чем, толпились с кошелками возле сельмага: сегодня был день приема посуды.

Леха Прохоров забрался в кабину своего ГАЗ-63 и включил скорость. Машина забуксовала. Пришлось включить передний мост.

Кое-как машина дотащилась до очкинского дома. Леха остановил ее возле самого крыльца и прошел в хату, в которой собралось уже много народу. Вдова, прикладывая к сухим глазам чистый платок, стояла у изголовья гроба. Леха отозвал ее в сторону.

— Тетя Катя, — сказал он почтительным шепотом, — давай закругляться. Везть уж пора, а то дорога такая, того и гляди на оба моста сядешь.

— Успеешь, — хмуро ответила вдова и вернулась на свое место.

Леха, расстроенный этой волынкой, вышел на улицу и стал под навес возле крыльца. Дело было, конечно,

не в дороге. Его ГАЗ-63 и не по таким дорогам ходил. Просто Лехе надо было поспеть за три километра на станцию на пятичасовой поезд, а времени было уже около четырех. Нетерпеливо поглядывая на часы, он стоял под навесом, курил и злился, глядя на людей, которые все шли и шли к дому покойника. «В такой чепуховой деревне столько народу — конца не видать, — думал он, раздражаясь все больше и больше. — И куда их несет? Будто тот покойник медом намазанный».

— Куда прешь? — сказал он толстой старухе, поднимавшейся на крыльцо. — Покойников, что ль, не видала? Вот погоди, скоро на тебя придем поглядеть.

Старуха ничего не ответила и, обиженно поджав губы, пошла внутрь. Леха пошел за ней.

В горнице шли разговоры о том, что покойник никому ничего плохого не сделал. А если сделал, то не так уж много. Правда, хорошего от него было еще меньше. А потом вполголоса стали разговаривать о своих делах.

Филипповна рассказывала Лаврусенковой, что у ее дочери, которая живет на Украине, родился ребенок, и теперь ей надо ехать нянчить внука. Леха извинялся перед толстой старухой, объясняя ей, что обидеть он ее не хотел, а сказал так, потому что торопился. Тимофей, который слыл в деревне книгочеем, пересказывал Николаю содержание рассказа Чехова «Каштанка». Рассказ Николаю понравился, и он сказал:

— Значит, Чехов правда хороший писатель?

— Это на чей вкус, — сказал Тимофей. — Вот Толстой Лев Николаевич его не любил.

— А чего это он о нем такое мнение имел?

— Да кто его знает. «Плохо, — говорит, — пишешь. Шекспир, — говорит, — плохо писал, а ты того хуже». Шекспир — это английский писатель был.

— А чего, он плохо писал?

— Да не то чтобы плохо — неграмотно. На нашем языке его поправили, а в своем он слабоват был...

Все поднялись и пошли выносить гроб.

Дождь перестал. Тучи уже не сплошь закрывали небо: среди них намечался какой-то просвет.

Леха откинул борта, и мужики втолкнули в кузов открытый гроб. У изголовья кто-то поставил крашеную табуретку. Катя устроилась на табуретке поудобней и снова завывала, но уже без тоски, без горя, а так — для приличия.

Леха сел в кабину и посмотрел на часы. Пять часов. Сейчас бы он уже сидел в вагоне. А через три часа сидел бы дома за столом, и мать суетилась бы, подавая ему закуску. Теперь придется ждать целые сутки, а отпуск идет. Надо будет сходить к директору, чтоб он этот день не считал. Лаврусенкова стукнула ему в кабину. Леха понял знак и медленно тронул машину.

Перед машиной шли Николай с Тимофеем. Они несли крышку гроба. Николай шел сзади и старался развернуть крышку то влево, то вправо, в зависимости от того, откуда подходил народ. Делал он это для того, чтоб люди могли посмотреть настоящую работу, а если надо, то и поучиться. Единственное, о чем сейчас жалел Николай, это о том, что работу его, которую по-настоящему надо бы поставить в музее на всеобщее обозрение, сейчас заруют в землю и в скором времени ее источат черви и съедят грибки и, может быть, через год от этой его работы останутся только трухлявые доски, а через несколько лет и этого не останется.

Когда подъехали к кладбищу и сняли гроб с машины, снова заморосил мелкий дождик. Поэтому Николай поспешно надел на гроб крышку и приколотил ее гвоздями. Гроб на двух веревках опустили в могилу и засыпали размокшей, налипающей на лопаты глиной. Сверху Николай воткнул крест.

Андриолли, который подошел в это время к месту похорон, заметил на кресте потеки мездрового клея и подумал, что надо будет сказать Николаю, чтобы наружные рамы для конторы он ставил на казеиновом клею, он меньше боится сырости.

И еще подумал Андриолли, что этот крест теперь сравнивал Очкина со всеми, кто лежит здесь с ним рядом. Потом он понял, что был не прав. Ведь память о человеке определяется не местом, где он лежит, а тем, что он сделал при жизни. Те, с кем лежал теперь Очкин, по-разному жили, по-разному работали, и разные расстояния лежали между днями их рождения и днями, когда их положили сюда. А Очкин, родившись в полукилометре от своей могилы, много поездил и много повидал и все-таки прошел только эти полкилометра, прошел за сорок лет расстояние, на которое нормальному пешеходу достаточно семи минут.

ВЛАДЫЧИЦА

Повесть



Эту историю слышал я от многих людей. Одни говорили, что все это случилось давным-давно, не то в тринадцатом, не то в четырнадцатом веке, где-то в Сибири, другие — на Волге, а старики стояли на том, будто это произошло на севере, у холодного моря. Я поверил старикам и представил себе, как это все было.

Между морем и лесом стояла деревня. Лето здесь было короткое, земля скудная, и люди занимались в основном охотой и рыбной ловлей.

Правил людьми некий Дух, хозяин моря и леса. Он помогал им в охоте и в рыбной ловле, защищал от злых сил, от голода и болезней и строго наказывал за отступничество.

А для осуществления воли его был на земле у Духа свой представитель — его жена, Владычица, которую выбирали для Духа старейшие и мудрейшие. Жила она в высоком тереме, стоявшем в стороне от деревни, и люди ходили к ней со своими горестями и радостями, просили совета в трудных случаях, благодарили подарками за удачу.

Но Владычица была смертна, как и простые люди, и когда она умирала, старейшие и мудрейшие подыскивали ей замену, отбирали из молоденьких девушек самую красивую, самую ловкую и конечно же самую умную.



Стоял солнечный, веселый весенний день. В полуразвалившемся стогу сена недалеко от деревни сидели Манька и Гринька и, пользуясь тем, что никто их не видит, обнимались и целовались без всякой меры. Но когда Гринька позволил своим рукам лишнее, Манька его оттолкнула.

— Ты чего? — спросила она сердито.

— А чего? — сказал Гринька, смутившись. — Я ничего.

— Ну да — ничего. Гулять гуляй, а рукам воли не давай.

— Да я ведь так просто... — Гринька искал слово, — по-соседски.

Манька засмеялась и шутя стукнула его по голове.

— Вот дурак, скажет тоже. Разве ж по-соседски лезут куда не след?

— А куда лезут? — невинно поинтересовался Гринька.

Манька отвернулась от него, запрокинула голову, подставляя лицо теплomu, весеннему солнцу.

— А и правда ты непутевый. Не зря тебя дразнят так.

— Ну уж прямо сразу и непутевый, — возразил Гринька. — А у путевых откуль дети рождаются?

— Вот язык! Несет, сам не знает чего. Нет, Гринюшка, я так не хочу.

— А как хочешь? — поинтересовался Гринька.

— Хочу, чтоб все было, как у людей. Чтоб свадьба была на всю деревню, чтоб брагу пили, чтоб песни пели. Хочу быть женой.

— Да я что, я разве против? — сказал Гринька. — Я уже с тяткой обо всем договорился. Вот в море по рыбу ходим, засылаю сразу к тебе сватов и идем к Владычице под святое благословение.

— Правда? — обрадовалась Манька.

— Что ж я врать буду?

Манька коснулась своим плечом плеча Гриньки. Гринька, не теряя времени даром, тут же вцепился в Маньку. Но Манька была начеку и, чтоб дело не заходило слишком далеко, опять оттолкнула Гриньку.

— А ты как, сразу и ко мне и к Анчутке косою свататься будешь или по очереди? — спросила она.

— А при чем тут Анчутка? — удивился Гринька.

— Как будто я не видала, как ты вчерась с ней на завалинке лапался.

— Да это ж я так, — смутился Гринька, — ну от нечего делать.

— По-соседски, — скосила глаз Манька.

— Ну да.

— Ну и слезай отседова, — рассердилась Манька. — Иди к своей косой и хоть лапай ее, перелапай, а здесь нечего сено чужое толочь.

Она опять от него отвернулась. Гринька сидел надувшись, но слезать с сена не собирался.

— Слышь, Манька, — сказал он ей, помолчав, — ты это... Да и кто она есть, коль сравнить с тобой? Страшилице, да и все.

— А еще кто? — спросила Манька.

— Косая, — с готовностью ответил он.

— А еще?

— Рябая.

— А еще? — потребовала Манька.

— Горбатая, — ляпнул Гринька, ничего не придумав.

— Ну зачем уж лишнее говорить! — ласково упрекнула она, придвигаясь к Гриньке.

Гринька, осмелев, опять полез обниматься, но она, вдруг испугавшись чего-то, ткнула его лицом в сено, сама упала рядом и затаилась.

Со стороны деревни к стогу подошла маленькая пожилая женщина с темным лицом. Это была Манькина мать — Авдотья.

— Манька! — позвала она, задрав голову к стогу.

Ей никто не ответил.

— Манька, слышь, что ли, нечистый тебя заешь! — Она схватила торчавшую из сена Манькину ногу и потащила к себе.

Вместе с Манькой сполз Гринька. Они стояли перед Манькиной матерью, осыпанные сеном, и смущенно переминались с ноги на ногу. Авдотья посмотрела на них грустно, но без укора и, едва разжав губы, тихо сказала:

— Матушка, наша Владычица, преставилась нынче в обед.

Авдотья повернулась и пошла обратно к деревне.

В стороне от деревни, ближе к морю, стоял высокий, огороженный забором терем — жилье Владычицы. Вдоль аккуратной дорожки, между теремом и калиткой, выстроились в два ряда старухи, одетые в черное. Народ толпился снаружи, налегая на забор. Тут же ходил горбатый мужик, покрикивая:

— Эй, народ, не толпись! Осади, окаянные, вы же забор повалите!

К Гринькиному отцу Мокею подошел сосед Фома. Спросил тихо:

— Ну что слышать?

— Говорят, обмыли, обрядили, выносить будут, — отвечает Мокей.

— Ой, не вовремя это все! Кабы зимой... А то ведь хлеб сеять надо, в море по рыбу надо идтить, Афанасьич на завтра наказывал лодки готовить, а теперь что ж?

— А у меня, слышь, тоже вот все прахом пошло, — признался Мокей. — Гриньку я собирался женить. Время горячее, хозяйка нужна, а теперь все откладывает — когда это будет новая Владычица! Да и будет ли?

Сквозь толпу пробирался Гринька, отыскивая глазами кого-то, должно быть Маньку, и нактнулся на двух старух, которые вполголоса толковали между собой, обсуждая подробности:

— Два дня у ней жар был и поясницу ломило, а вчера до свету еще поднялась, вышла на крылечко. Тут к ней Никитка подошел, она его заговорила от дурного глаза. А нянька Матрена ей еще говорит: «Вот, матушка, поднялась ты все же. Авось и пройдет». А она говорит: «Нет, Матренушка, не пройдет. Чую я, святой Дух зовет уж меня к себе, требует. Слышь, все шумит, шумит». Матрена послушала, а чего она может услышать? Если он и шумит, так не для нас же. Сказала так матушка, а сама поднялась и еще говорит: «Каши хочу пшенной с молоком». И пошла к себе в покои. Матрена каши наварила, приносит...

Гринька протиснулся к говорившей старухе:

— Какой, бабушка, каши?

— Пшенной, милок, пшенной, — заискивающе заулыбалась старуха. — Я-то сама не знаю, народ говорит, будто пшенной.

— А улыбаешься ты чего? — спросил Гринька. — Весело, что ли?

Старуха быстро согнала улыбку и поспешно изобразила на лице своем скорбное выражение.

— Вот так, — сказал Гринька. — Так красивой.

В это самое время Манька стояла чуть поодаль, уткнувшись носом в забор, и смотрела в дырку от выпавшего сучка. В дырке видна была часть двора, где под аккуратно сложенной поленницей лежала сонная клуша с выводком желтых цыплят. Мимо прошлепали чьи-то босые ноги, клуша забеспокоилась, подняла голову, но ноги прошли, и она снова впала в дремоту.

Подошел кто-то сзади и дохнул прямо в ухо:

— Слышь, Манька, дай поглядеть.

Манька, не оборачиваясь, узнала Анчутку Лукову.

— Уйди, — сказала Манька, пихая Анчутку плечом.

— Слышь, Манька, ну пусти, хоть одним глазком, — тон у Анчутки смиренный, просительный.

Но Манька не удержалась, съязвила:

— Да куды ж тебе им глядеть? Глазок-то у тебя косой.

— А у тебя не косой? — теперь Анчутка пихнула Маньку плечом.

— А у меня не косой, — Манька пихнула ее обратно.

— А у тебя ноги кривые, — снова толкнула Анчутка.

— У меня кривые? — возмутилась Манька. — На вот, погляди, где у меня кривые?

Анчутка стала приседать и подпрыгивать.

— А вот и кривые, кривые, кривые...

С диким воплем Манька вцепилась сопернице в волосы. Та ответила тем же. Обе повалились на землю, стали барахтаться. Манька ухватила Анчутку за ухо, а Анчутка Маньке укусила плечо. Толпа разделилась. Часть по-прежнему ожидала выноса тела, другая наблюдала за поединком. Раздавались возгласы и советы:

— Дави ее, Манька, дави.

— Анчутка, не поддавайся.

— Манька, ухо оторвешь — не выбрасывай, засолим.

— Анчутка, кусай ее за нос.

Подлетела мать Маньки.

— Да вы что, оглашенные? Манька, слышь, ты чего это удумала? В такой-то день! А ты, зараза косая! — она схватила Анчутку за руку и потянула к себе.

Подоспела и мать Анчутки.

— Это кто косая, кто косая? — закричала она. — Моя девка косая?

— А то какая ж?

Тут мать Анчутки кинулась с воплем на мать Маньки, и в это время кто-то закричал:

— Несут! Несут!

Подбежал горбатый мужик:

— Несут. Слышите, что ля! Да что же вы тут сцепились, чтоб на вас болячка напала!

Кое-как ему удалось разнять дерущихся. Они поднялись с земли, сразу вытянулись, придавая лицам своим чинное выражение. Только Манька не удержалась и шепотом сказала Анчутке:

— Вот я тебе уже всю морду в кровь раздеру.

— Еще посмотрим, кто кому, — так же шепотом ответила ей Анчутка.

4

Дверь терема отворилась, сперва показался Афанасьич, высокий старик с белой окладистой бородкой, а за ним мужики, которые на специальных черных носилках несли покойницу, обряженную в белое. И сразу вступил в дело хор старух, стоявших вдоль дорожки. Старуха, стоявшая на правом фланге, запевала, а остальные подхватывали:

— Ты, рябинушка, ты, кудрявая,
Ты когда взошла, когда выросла?
Ты, рябинушка, ты, кудрявая,
Ты когда цвела, когда вызрела?
— Я весной взошла, летом выросла,
Я весной цвела, летом вызрела.
— Под тобою ля, под рябинушкой,
Что не мак цветет, не трава растет,
Не трава растет, не огонь горит —
Растекаются слезы горячие.
А кипят они, что смола кипит
По душе ль, душе-лебедушке.
По лебедушке, по голубушке,
По голубушке нашей матушке,
Нашей матушке да Владычице.
Улетела ты, что кукушечка,
Разорила ты тепло гнездушко
И оставила своих детушек,
Своих детушек, кукунятушек,
Что по ельничку, по березничку,
По часту леску, по орешничку.
Как заплачут твои кукунятушки;

«На кого же нас ты оставила?
На кого же нас ты покинула?
Воротись-ко к нам, своим детушкам,
Воротися к нам в тепло гнездушко,
Не лети на чужу дальню сторону,
Дальню сторону, незнакомую».

Толпа зарыдала. Женщины заламывали руки, падали, бились причитая о землю.

Процессия двигалась в сторону кладбища, которое расположено возле самого моря.

Чуть поодаль от кладбища вытянулся в одну линию ряд невысоких, поросших редкой травой холмов. За последним холмом — свежеврытая могила.

— Сюда кладите, — приказал Афанасьич, и носилки опустили рядом с могилой.

Старик первый приложился губами ко лбу покойницы и отошел, освобождая место другим. За ним вереницей пошли остальные.

Где-то в хвосте этой очереди двигалась Манька с матерью.

— Мамонька, — спросила дочь, — а как же мы теперь без Владычицы будем жить?

Она задала этот вопрос громко, и мать испуганно дернула ее за рукав. Потом вполголоса объяснила:

— А мы без нее не будем. Это тело ее сносилось, а душа осталась живая. Дух святой из нее душу вынул и в другое, молодое тело вселил.

— А где ж это тело? — недоверчиво спросила Манька.

— Где-то здесь, — убежденно сказала Авдотья. — Завтра, должно, признанье начнется.

— А как это можно узнать?

— Молчи! — оборвала ее Авдотья.

Подошла их очередь. Авдотья опустилась на колени, приложилась ко лбу Владычицы и уступила место дочери.

Они отошли в сторону. Прошло еще несколько человек. Снова выступил вперед высокий старик и приказал:

— Опускайте!

Подбежали четыре мужика, подвели под носилки жгуты из длинных вышитых полотенец.

Хор старух, выстроившись в стороне от могилы, затянул новую песню:

Со восточной со сторонушки
Подымались да ветры буйные
Со громами со гремучими,

Со молоньями да с палючими;
Пала с небеси звезда
Все на матушкину, на могилушку.
Расшиби-ка ты, громова стрела,
Расшиби-ка ты мать сыры землю!
Развались-кося ты, мать-земля,
Что на все четыре стороны!
Скройся-ка да гробова доска,
Распахнитеся да белы саваны,
Отвалитесь да ручки белыя
От ретива от сердечушки,
Разожмитесь да уста сахарные!
Обернись-кося да наша матушка
Тут перелетною да соколицею,
Ты слетай-кося да на сине море,
На сине море да Хвалынское,
Ты обмойка-ка, родна матушка,
С белого лица ржавщину,
Прилети-ка ты, наша матушка,
На свой ет да на высок терем,
Все под кутеси да под окошечко,
Ты послушай-ка, родимая матушка,
Горе горьких наших песенок.

И снова зарыдала толпа. Афанасьич первым бросил в могилу горсть земли. За ним прошли остальные по несколько раз, пока не вырос над могилой небольшой холм.

5

Утром ходил по деревне горбатый мужик, собирал народ:

— Эй, народ, выходи, никто дома не сиди, будем пить и гулять, Владычицу вызнать! Эй, народ, выходи...

На деревне заканчивались последние приготовления к торжеству. Топились бани, шипели в утюгах угли, из сундуков вынимались самые лучшие сарафаны и ленты. Распаренные, красные, взволнованные девки и не меньше их взволнованные матери носились по дворам, суетились — событие предстояло серьезное.

Вот Анчутка только что после бани придирчиво осматривает свой наряд, одеваясь с помощью матери. Вот на другом дворе какая-то девка застыла над бочкой с водой, пытается разглядеть свое отражение, поправляет прическу.

Некрасивое, нескладное существо стоит посреди избы, напялив на себя все что можно. Ее мать сидит на лавке и не скрывает своего полного восхищения:

— Уж какая красавица, какая красавица! — радуется она. — А уж зубы, ну чистый жемчуг!

«Красавица» самодовольно улыбается.

Тем временем на опушке леса в ожидании предстоящего торжества собирались жители деревни: мужики, бабы, дети.

Два здоровых парня притащили большой неструганый стол и опрокинутую на него лавку. Подошли Афанасьич с Матреной, нянькой Владычицы.

— А сама Владычица перед смертью ничего не говорила, не намекала? — допытывался старик у Матрены, следя за парнями, устанавливавшими стол на траве.

Матрена ответила, подумав:

— Да говорила еще по осени про Таньку Николину, так она ж замуж за Степку вышла.

Афанасьич хмыкнул:

— Да она хоть бы и не вышла, куда ей, тупая! Ну ладно, поглядим, — он отошел от Матрены. — Здорово, старички! — сказал, подойдя к группе седобородых дедов, стоявших особняком.

— Здорово, Афанасьич! — хором ответили старички.

Афанасьич обошел всех, каждому пожал руку.

6

А Манька еще сидела в своей избе, на лавочке у окошка, и смотрела на улицу. Мать стояла возле нее, уговаривала:

— Слышь, доченька, собирайся, пойдем.

— Не пойду, — уперлась Манька.

— Доченька, да как же так? — в нетерпении всплеснула руками Авдотья. — Народ-то уж давно собрался, а нас все нету.

— А нам там неча делать. Я ж тебе говорю, нету во мне ничьей души, кроме моей собственной.

— Да откуда ж ты знаешь? — сердилась мать. — Откуда тебе это ведомо? Это старики еще визнавать будут, у Духа святого выпрашивать.

— А чего там выпрашивать? Неужто я в себе другую душу-то не почуяла б? А то все, как было, так есть, как хотела я с Гринькой жить, так и сейчас хочу.

— Ах ты охальница! — закричала мать. — Да как ты можешь таки-то слова говорить. Вот услышит тебя Дух, покарает.

— Не покарает, — уверенно сказала Манька. — Он-то ведь знает, что в душе моей нет ничего, кроме только Гриньки.

— Вот я сейчас отца позову, он из тебя вожжой всю дурь твою вышибет.

Мать вышла на крыльцо и увидела мужа, который лежал на сене возле крыльца, бормотал что-то бессвязное.

Мать посмотрела на него осуждающе, покачала головой:

— Эх, охламон, надрызгался!

— Иди гуляй, — сказал муж не оборачиваясь.

— Я вот тебе погуляю. А ну, вставай! — она сбежала с крыльца и ткнула его носком лаптя.

— Ну чего?

— Чего-чего! Пьянь несчастная. Владычицу визнавать надо идти, а дочь твоя упирается.

— Ну и что? — беспечно спросил он, все еще надеясь, что его оставят в покое.

— Я тебе покажу — что! А ну подымайся! — она опять ткнула его лаптем, но уже изо всей силы.

— Ты что, Авдотьюшка? — он быстро вскочил на ноги. — Сказала б по-людски — так, мол, и так, дело есть, вставай, а ты сразу бьешься...

— Иди, иди, — она подтолкнула его кулаком в спину.

Манька сидела на прежнем месте, глядела в окошко, не обращая никакого внимания на вошедшего в избу отца. Отец растерянно посмотрел на Авдотью.

— Ну чего делать? — спросил он.

— Прикажи дочери, пушай собирается.

— Дочка, собирайся, — послушно сказал отец.

Дочь пропустила эти слова мимо ушей.

— Ну что ж ты за отец? — сказала Авдотья презрительно. — Ты говоришь, а она тебя и слушать не хочет. Да ты сними вон вожжу и поучи, как следовало быть в таком разе. Бери, говорят тебе, — она схватила вожжу и хлестнула отца по заду так, что он подскочил от боли.

— Что же ты дерешься-то? Больно ведь! — закричал отец. Он взял вожжу и, подойдя к дочери, сказал ласково: — Поди, дочка, добром, не то ведь она меня совсем зашибет.

Манька промолчала. Мать подошла и повалила ее на лавку, сама села ей на ноги. Отец все еще растерянно топтался перед распластанной на лавке дочерью.

— Доченька, — сказал он, — ты же видишь, я не хочу, а она меня заставляет.

— Заставляет, так бей! — закричала Манька. — Хоть убей совсем, все одно никуда не пойду.

Отец еще потоптался и нехотя взмахнул вожжой.

— Да куда ж ты бьешь, глупая голова? — сказала мать. — Платье испортишь, а оно у нее одно.

Она задрала дочери подол и сказала удовлетворенно:

— Теперь бей, да покрепче, пока самому не попало.

Отец бил Маньку долго. Она лежала молча, сцепив зубы от боли, и только вздрагивала. Потом не выдержала.

— Хватит драться, — сказала она. — Пойду. Ищите во мне душу святую, может, чего и найдете.

Отец сложил вожжи. Мать встала с лавки.

— Так бы и давно, — сказала она.

Манька сползла с лавки, поправила платье. Морщась от боли, схватилась рукой за побитое место.

— Обормоты проклятые! — простонала. — Дочь родную до смерти засечь готовы.

Вышли втроем во двор. Мать с дочерью пошли к калитке, а отец остался возле крыльца.

— А ты не пойдешь, что ли? — обернулась Авдотья.

— Приду опосля, — сказал отец. — По хозяйству еще надо заняться.

— Уж ты приходи, — попросила Авдотья. — А то неудобно, народ соберется, а тебя нет. Праздник ведь.

— А как же, праздник, — охотно согласился отец.

Он подождал, пока жена с дочерью скрылись за углом соседней избы, и улегся на старое место.

7

На поляне за столом сидели бородатые старики, человек шесть-семь во главе с Афанасьичем, и разглядывали очередную претендентку.

— Ну-ка, поворотись, — приказал Афанасьич. — Еще. Так. Зубы покажи. Ага. Юбку чуть-чуть подбери, ноги посмотрим. Чем колено ссадила?

— В море, Афанасьич, об камень ударилась, — объяснила девица смущенно.

— А не хромаешь, нет? А пройдишь-ка туда-сюда. Ничего, вроде не хромает, — обернулся он к соседу слева.

— Да вроде нет, — сказал сосед слева.

— Ну ладно. Становись туда, — Афанасьич указал на группу девиц, уже прошедших эти странные смотрины. — Кто там еще?

Вышла Анчутка. Платье расшито бисером. На ногах расписные сапожки.

— Ближе подойди, — приказал старик. — Повернись. Зубы покажи. Закрой, закрой, хватит. Сапожки зачем надела? Лапоточков не нашла?

— А на что лапоточки? — бойко спросила Анчутка. — У меня ноги ровные, погляди. — Она приподняла юбку и приспустила немного сапоги.

— Ладно, — сказал старик. — Не надо. — Он повернулся к старику справа: — Ну как?

— Да так ничего, — шепотом ответил старик. — Кововата немножко.

— Это не беда, — сказал Афанасьич и показал Анчутке один палец: — А ну, погляди сюда. Сколько пальцев?

— Один, — сказала Анчутка.

— А не два? — лукаво спросил он.

— Один, — нагнув голову, упрямо сказала Анчутка.

— Ладно. Становись туда. Следующая.

Вышла некрасивая девушка. Фигура нескладная, глаза маленькие, нос картошкой. Афанасьич переглянулся со стариками и решил:

— Становись обратно.

— А зубы показать? — с надеждой спросила девушка.

— Не надо, — сказал старик, — становись обратно.

Девушка сморщилась и заплакала.

— А чего ж зубы не смотришь? Они у меня знаешь какие — чистый жемчуг.

— Пусть покажет, — пожалел старик справа.

— Покажь, — неохотно согласился Афанасьич.

Она с готовностью широко раскрыла рот.

— Становись обратно, — вздохнул старик. — Кто еще?

— Мы, — вышла мать Маньки.

— Ты, что ли? — удивился старик.

В толпе засмеялись.

— Не я. Дочка моя, Манюшка.

Схватив за руку и выведя из толпы Маньку, она толкнула ее к столу. Манька стояла, опустив голову, на-супившись.

— Что такая сердитая? — спросил старик. — Подними голову. Улыбнись.

Манька в ответ сделала рожу.

— Ну и улыбочка! — покачал головой старик.

— С характером девка, — сказал старик справа.

— Материн характер, — сказал Афанасьич. — Слышь, Авдотья, — крикнул он Манькиной матери, — твой характер у дочки?

— Мой, — сердито сказала Авдотья.

Старики засмеялись. Манька посмотрела на них исподлобья и, не сдержавшись, тоже заулыбалась.

— Стань туда, — старик, довольный, показал в сторону, где стояли отобранные.

8

Десятка полтора неуклюжих рыбацких лодок далеко отошли от берега. Светило солнце, был полный штиль, довольно редкий для холодного моря. Лодки выстроились в линейку носами к берегу, и на каждом носу — будущая Владычица в одной рубашке, потому что в те времена других купальных принадлежностей девушки не имели. Афанасьич на легкой долбленке прошел перед строем лодок, командуя:

— Ровнее, ровнее! Эй, Егорыч, куда вылез вперед? Сдай обратно! Вот так. Ну... — пристроившись с правого фланга, старик бросил весла и поднял руку.

Манька стояла на третьей от Афанасьича лодке и, кося одним глазом на старика, мелко постукивала зубами то ли от холода, то ли от возбуждения.

— Давай! — Афанасьич резко опустил руку.

Манька вместе со всеми плюхнулась в воду и почувствовала, как обожгло ледяной водой тело и перехватило дыхание. Но тут же на смену первому ощущению пришло другое — ощущение силы и уверенности в себе. Она попеременно выбрасывала вперед руки, и тело ее при каждом взмахе наполовину высывалось из воды.

На берегу волновались болельщики. Гринька с тревогой вглядывался в плывущих, пытался и не мог различить среди них Маньку, хотя по каким-то признакам и догадывался, что вон та, впереди всех, — она! Авдотья стояла спокойно, потому что на таком расстоянии не могла разглядеть никого. Но пловчихи приближались.

Вот они уже стали доступны для глаз Авдотьи. Авдотья встrepенулась.

— Ну, доченька, — забормотала она, дергая подбородком, — ну еще чуток! Ну!

Когда-то она тоже была молодая и в плаванье не знала равных во всей деревне. Но что это? Уже совсем близко, когда до берега осталось саженой двадцать, не больше, Манька вдруг перевернулась на спину и, безмятежно раскинув руки, едва перебирала ногами, лишь бы держаться.

Гринька, стоявший рядом с Авдотьей, облегченно вздохнул. Авдотья посмотрела на него и все поняла.

— Манька! — она кинулась к самой воде, намочила лапоть и отскочила. — Манька, зараза такая, не будешь плыть, я тебе дам!

Манька слышала ее голос, но не спешила. Такой уговор был с Гринькой — не торопиться. Вот уже кто-то и догоняет ее, часто шлепая ладонями по воде. Пускай догоняет. Манька прижмурила веки, но неплотно, просеивая сквозь узкие щелчки солнечные лучи.

— Что, сдохла? Кишка тонка! — услышала рядом злорадный голос.

Манька от неожиданности хлебнула горькой морской воды, перевернулась на живот. Обдав ее брызгами, проплыла мимо и уходила вперед Анчутка. Этого Манька стерпеть не могла. И, забыв о своем уговоре с Гринькой, рванула вперед, словно щука за карасем.

Оживилась на берегу Авдотья:

— Давай, давай, доченька, дави ее, стерву косую.

Засуетился и Гринька.

— Манька, опомнись! — закричал он.

Но уже было поздно — Манька с Анчуткой подгрребали к берегу.

Авдотья, подхватив с земли сухую одежду, кинулась к дочери.

— Доченька моя — первая! — радовалась она, обнимая и целуя Маньку.

— Куды уж там первая! — возразила Анчуткина мать. — Моя уж ногами по дну шла, а твоя еще пузыри пускала.

Манька, запыхавшись, ловила ртом воздух и никак не отвечала на Гринькин укоряющий взгляд.

Много еще было между соперницами, если сказать по-теперешнему, состязаний. Бегали наперегонки — кто быстрее, плясали под жалейку — кто лучше, пекли пироги — кто вкуснее.

Последний тур проходил опять на поляне. Опять сидели за столом старики и стоял полукругом народ. Перед судейским столом остались двое — Анчутка и Манька. Одна из них должна стать Владычицей.

Первую загадку загадал Афанасьич:

— Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка. Собака лает, а достать не может.

— Месяц! — закричала, догадавшись, Анчутка.

— Угадала, — одобрил старик. — Может, и еще угадаешь: «Дом шумит, хозяева молчат, пришли люди, хозяев забрали, а дом в окошко ушел».

— Это не знаю, — сказала Анчутка. — Это глупость какая-то. Как может дом в окошко уйти?

— Да вот может, — усмехнулся Афанасьич и повернулся к Маньке. — А ты как думаешь?

— Я думаю, — рассудила Манька, — дом шумит — это море, хозяева молчат — рыба в сети. Сеть вытащили, рыбу забрали, а дом остался.

— Соображает, — встрепенулся маленький подслеповатый старичок, который до этого сидел самым крайним и дремал. — А вот я ей сейчас задам вопрос на засыпку: «Поле не меряно, овцы...» — Он растерянно замигал. — Забыл.

Все засмеялись.

— «Овцы не считаны, пастух рогат», — сказала Манька.

— Я знаю — ночь, — сказала Анчутка.

— Это все знают, — сказал Афанасьич.

— А я еще одну знаю, — выкрикнул маленький старичок. — Без рук, без ног...

— Эту не надо, — оборвал его Афанасьич. Он повернулся к Анчутке: — Летело стадо гусей. Мужик увидел и говорит: «Поди вас сто». А гуси ему отвечают: «Кабы нас столько, да еще столько, да полстолько, да четверть столько, да ты один, то было бы сто». Сколько было гусей?

— Сто, — сказала Анчутка.

— Ты вникни лучше, — строго сказал старик. — Ка-

бы столько, да еще столько, да полстолько, да четверть столько, да еще мужик...

— Я ж и говорю — сто,—упорно повторила Анчутка.

— Не соображаешь, — сказал Афанасьич и повернулся к Маньке: — А ты как думаешь?

— Ну, значит, так... — Манька стала загибать пальцы. — Без мужика остается девяносто девять. А потом четверть и полстолько, две четверти — всего три, два раза по четыре четверти — восемь, восемь и три — одиннадцать, в одной четверти девять, в четырех — тридцать шесть. Тридцать шесть гусей было.

Афанасьич пошептался о чем-то со своими товарищами, потом все вышли из-за стола. Афанасьич взял Маньку за руку, вывел на бугор, повернул лицом к морю и упал вместе с ней на колени. А все остальные повалились на землю ниц, как бы ожидая той кары, которая может последовать, если они что-нибудь не так сделали.

— Дух святой! — громко сказал старик. — Ты хозяин моря и леса, хозяин над всякой тварью, хозяин над человеком. Вот тебе жена от народа нашего. Хороша ли, плоха ли, может, и не по нраву тебе придется, а лучше нет среди нас. Пусть, Владыка, она будет твоею рабою, а над нами, детьми твоими, Владычицей. Встань, покажись Владыке, — обратился он к Маньке.

Она послушно поднялась и застыла с окаменевшим лицом. И люди подняли головы. И сквозь тучи прорезался тонкий солнечный луч и осветил лица людей.

И в народе прошел шум. Все встали. Кто-то крикнул:

— Слава Владычице! — но крикнул не вовремя.

И Афанасьич поднял руку и сказал, обратившись к Маньке с поклоном:

— Матушка наша, пресвятая Владычица! Дух святой подает нам знак, что с охотою берет тебя в жены. Служи ему по правде, будь верной до самой смерти. А нарушишь в чем закон верности, ляжешь в землю живая, а народ твой постигнет великая кара. Помни об этом. Ты теперь у нас самая старшая. Ты наша матушка, а мы твои дети.

Манька стояла растерянная и ошалелая, еще не в силах понять и осмыслить всего, что произошло. А старик снова поклонился ей в пояс. Вместе с ним поклонились Владычице все остальные.

И опять кто-то крикнул:

— Слава Владычице! Слава Владычице!

И тут произошло невообразимое. Вся толпа повалилась на землю, все стали иступленно биться о землю, истошно выкрикивая:

— Слава Владычице! Слава Владычице! Слава Владычице!

Бился о землю в поклонах Афанасьич, бился отец Гриньки Мокеич, билась рядом с матерью, рыдая от только что перенесенного позора, Анчутка, и все же вместе со всеми выкрикивая:

— Слава Владычице!

Манька стояла посреди этого вдруг взбесившегося круга и затравленно озиралась, не зная, куда деваться. Увидела старуху, которая ползла к ее ногам впереди других, попятилась и чуть не наступила на старуху, подползавшую сзади. Они ползли отовсюду — справа и слева, тянули к ней руки, и крики их: «Слава Владычице!» — перешли уже в сплошной вой.

Неожиданно в круг вскочил Гринька. Заметался, переступая через ползущих и орущих людей.

— Эй, люди, вы что, озверели? — закричал он недоуменно. — Что ж это делается?

На кого-то он наступил, кого-то шлепнул по заду. Увидев своего отца, схватил его за шиворот и потряс:

— Эй, тятка, ты что?

Отец отпихнул его и, заорав не своим голосом: «Слава Владычице!» — пополз дальше.

Гринька кинулся к Маньке.

— Манька, — закричал он, — да какая ты, к бесу, Владычица? Они же тебя разорвут сейчас. Пошли отсюда!

Он схватил ее за руку и потянул к себе. В это время Афанасьич толкнул в бок ползшего рядом с ним горбуна. Горбун понял приказ и с неожиданной для него ловкостью прыгнул сзади на Гриньку, придавил его и, заглушая Гринькины вопли, заорал:

— Слава Владычице!

10

По деревне идет толпа празднично одетых людей во главе с рослым парнем, обвязанным расшитыми кушаками и полотенцами. Парень несет на вышитом полотенце хлеб — челпан — подарок невесте. Другой парень рядом несет пирог с рыбой и кувшин вина.

Парень с челпаном по дороге выкрикивает:

Ой да добрые люди,
Гости полюбовные,
Званые и незваные,
Усатые и бородатые,
Холостые и женатые,
У ворот приворотнички,
У дверей притворнички,
Благословляйте!

Народ, толпящийся по бокам, отвечает хором:
— Благословляем!

Дружко, увидев молодых женщин, говорит им:

Молоды молодки,
Хороши походы,
Золоты кокошки,
Серебряны сережки,
Благословляйте!

Женщины, кланяясь, отвечают:
— Благословляем!

Процессия подходит к дверям. У дверей стоят Афанасьич с Матреной. Дружко, кланяясь, обращается к ним:

Сватушка коренной,
Свахонька коренная,
Благословляйте своих детей,
В свой терем идти,
Здоровенько спать,
Веселенько вставать,
Нам всем счастье творить.

Афанасьич отвечает с поклоном:

— Благословляем.

— Сватушка коренной, свاخонька коренная, звали ли гостей?

— Звали, звали, — отвечает Афанасьич.

— Бьем челом. Было ли вызнание, было ли сватовство, было ли обручение?

— Было.

— Сватушка коренной, свاخонька коренная, у нас жених молодой, ясный сокол, золоты кудри, со своими дружками и с подружьем стоим под окном, под небесным облаком, дозвошь спросить: ждет нас невеста?

— Ждет, — отвечает Афанасьич, распахивая дверь.

Празднично убранная изба. За столом сидят отец с матерью, в углу возле печки невеста с подружками. Не-

веста, в нарядном сарафане, с кокошником на голове, сидит напуганная и растерянная, не в силах постигнуть происходящее.

Дружко, входя, громко провозглашает:

— Становитесь, отец на отцово место, мать — на материно.

Отец с матерью выходят из-за стола, становятся посреди избы.

Дружко говорит:

— Руки с подносом, ноги с подходом, головы с поклоном, язык с приговором. Идут от нашего жениха, молодого, ясного сокола, дорогие гостиночки честны — немалы. Примете аль не примете?

— Примем, — отвечает перепуганный в смерть отец.

Дружко снимает с блюда вино, протягивает отцу, а матери — пирог с рыбой. Родители принимают гостинцы.

Дружко поворачивается в угол к невесте:

— Идут к невесте-молодице от нашего жениха, молодого, ясного сокола, дорогие гостиночки честны — немалы. Примете аль не примете?

— Примем, — говорит отец.

— Со светом али без свету?

— Со светом, — отвечает отец.

Дружко вынимает из-за пазухи свечу, зажигает от свечи одной из подружек, подает невесте, и все подружки сразу же гасят свои свечи, остается только одна в руках невесты.

— Свечи воску ярого от нас, — говорит дружко, — а свет летучий от жениха, ясно сокола.

Второй дружко подносит невесте челпан. Она принимает его, надкусывает, а на блюдо дружке подает свой челпан.

Старший дружко говорит, обращаясь к невесте:

— Невеста-молодица, становись-ка ты на резвы ножки, на куньи лапки, пойдём в твой высок терем, там жених тебя ждет ясен сокол, все в окошко глядит, все тоскует, все спрашивает: «Не идет ли там девица красная, что невестой моей называлася, что женой быть моей обещалася».

Вдоль дороги, ведущей к терему, с обеих сторон толпился народ. При приближении свадебной процессии люди сыпали на дорогу зерно и падали на колени. Невеста шла, опустив голову, и исподлобья поглядывала на толпу в обе стороны, ища кого-то глазами и не находя.

Вдруг перед процессией появился заметно пьяный Гринька. Пятясь назад и приплясывая, он стал орать не своим голосом:

— Слава Владычице! Слава Владычице! Слава Владычице!

В толпе произошло замешательство. Кто-то, видимо решив, что так нужно, поддержал Гриньку и тоже крикнул:

— Слава Владычице!

Манька растерянно остановилась, но тут по знаку Афанасьича из толпы выскочили два здоровых парня, в один миг схватили Гриньку за руки, за ноги и потащили в сторону. А Гринька вырывался из рук и кричал:

— Слава Владычице!

Нянька Матрена, обогнав процессию, вбежала в терем и вышла из него с хлебом-солью на полотенце. Поклонилась новой своей хозяйке:

— Добро пожаловать, матушка пресвятая Владычица, будь в сем доме хозяйкой, а надо мной, старой нянькой твоей, госпожой.

Новая Владычица взяла из рук Матрены хлеб-соль и вошла за ней в терем. Народ с песнями обошел вокруг терема, посыпая его зерном, и, кланяясь напоследок, разошелся.

11

С сундучком в одной руке и с узелком в другой Манька переступила порог нового своего жилья. Испуганно огляделась.

Посреди большой комнаты стоял широкий дубовый стол и две лавки. В углу пол устлан чистыми половичками, сшитыми из цветных лоскутков.

Манька поставила сундучок у порога, а узелок положила на стол. Все было непривычным, чужим и странным. Манька постояла в растерянности посреди комнаты, потом, не найдя себе никакого дела, опустилась на край скамейки, руки положила на колени и замерла, боясь пошевелиться. Только глаза ее не могли успокоиться, а все шарили по комнате, ощупывая каждый угол, каждое бревнышко в стене.

Вечерело. Забирались на насесты куры. Загонялась в хлева скотина, люди, готовясь ко сну, запирали двери и окна.

В тереме существовал совершенно другой обычай.

Матрена обходила все комнаты и открывала двери и окна настежь. Все должно было быть открыто для Духа, который обязан явиться в эту первую ночь.

Манька сидела все в той же позе, когда дверь в комнату распахнулась. Манька вздрогнула, но вошел не тот, кого она ожидала, — вошла Матрена. Нянька сложила лишние подушки на лавку, постелила постель и, идя к двери, сказала:

— Спокойной ночи, матушка!

Она ушла, оставив за собой дверь открытой. Манька подошла на цыпочках и прикрыла. Нянька вернулась.

— Матушка, — сказала она, — в первую ночь дверь закрывать не положено, для мужа твоего все должно быть открыто.

Она снова ушла. Манька прислушалась и, убедившись, что нянька ушла к себе, подошла к узелку, развязала его. Вынула пирожки, стала раскладывать их на столе.

— Вот, — сказала она, обращаясь к Духу, который должен был ее слышать, — это с мясом, а это с капустой. Маманька пекла. Она у меня хорошо печет. И я тоже умею. А это, — она достала кувшин и кружку, — брага хмельная. Папанька ее любит. Он за нее родную дочь продаст кому хошь. Если немножко, то можно с устатку. У тебя же, чай, дел ой сколько! На земле столько народу да столько твари всякой, за всем проследи и каждого направь куда надо. И это ж если б только одна наша деревня была, а то ведь старые-то люди говорят — еще есть и поболее нашей. Хотя, может, и врут. Как это может быть боле, когда у нас, почитай, сорок дворов!

Села она за стол, подперла голову руками, ждет. Задремала. Проснулась. Нет никого. Она подняла глаза к потолку.

— Ну, чего же ты не идешь? Я же тебе все приготовила: и угощение и постелю. А если я тебе не по нраву, так ты скажи. А не можешь сказать, какой ни то знак подай: или через трубу погуди, или дверью грюкни. Я пойму. Я смышленная.

12

Утром нянька Матрена подоила корову, налила в кружку молока, отрезала кусок хлеба и пошла к Владычице. Отворила дверь и застыла на пороге.

На столе по-прежнему лежали пирожки, стоял кув-

шин с брагой, а Манька складывала вещи в свой сундучок.

— Ты куда это, матушка, собираешься? — подозрительно спросила Матрена.

— За кудыкины горы, — сердито ответила Манька.

Матрена поставила кружку и хлеб на стол, села на лавку.

— Уж не домой ли?

— Домой, — сказала Манька. Потом посмотрела на Матрену и объяснила: — Не пришел Дух-то. Ты говорила — придет, а он не пришел. Видать, я ему не по нраву пришлась, брезгует. Может, ему Анчутка косая больше пригляделась, так пушай он до ней и идет.

— Тише ты! — испугалась, замахала руками Матрена. — Ты что это такое говоришь? Он услышит, осердится.

— А пушай сердится, — сказала Манька, — я сама в жены ему не набивалась. Я и не хотела, я с Гринькой хотела жить.

Она села на сундучок и, закрыв лицо руками, заплакала.

Нянька села с ней рядом, погладила ее по голове.

— Э-эх, — вздохнула она укоризненно. — Ты же наша Владычица, призвана управлять всем человеческим родом, а не понимаешь... Да как же святому Духу, Владыке небесному, к тебе не прийти? К кому ему и податься, как не к тебе. Приходил он ночью, обязательно приходил.

— Что-то я его не видела, — сказала Манька. — Всю ночь прождала, только под утро чуть-чуть задремала.

— Ну вот видишь, — обрадовалась Матрена. — Значит, под утро он и приходил. Он ведь просто так никогда не придет, а допрежь усypит, ибо лик его никто видеть не должен.

— Нет, нянька, ты мне голову не дури. Кабы он приходил, так хоть след какой-никакой бы остался. А ведь нет ничего.

— Вот чудо-юдо, скажешь тоже! Какой он может след оставлять? Думаешь, он такой человек, как и все, с руками-ногами, а это Дух. Он потому Духом и зовется, что плоти не имеет и никому не видим.

— А если он такой бесплотный, невидимый и неслышимый, для чего мне с ним жить? И как жить?

— А живи, как живется. Ешь, пей, гуляй, занимайся

рукодельем. Да у тебя делов-то оей-ей сколько! Сейчас вон рыбаки в море собрались, тебя ждут, совета просят — идтить им али не стоит.

— А откуда мне знать?

— Кому ж знать, как не тебе. Когда тебя спрашивают, говори, как сама думаешь, и это будет правильно, потому что мысли твои есть внушенные Духом. Ну, а если в чем сомневаешься, обращай внимание на приметы. Вот, к примеру, вчера солнце с красной зарею зашло, а сегодня встало со светлой. Значит, Дух знак подает, что погода к ведру идет, а раз к ведру, значит, можно так понять, что рыбакам в море идтить самое время. Сама смотри, все соображай, и как ты решишь, так и правильно будет. Ну, ладно, ты покушай да иди, люди ждут.

13

Толпа провожающих стояла на берегу. Лодки, готовые к отплытию, покачивались на мелкой волне. Вдоль лодок ходил Афанасьич, проверял снаряжение.

Лохматый парень возился на дне одной из лодок, конопатил дыру.

— Течет, что ли? — спросил старик.

— Маленько течет, — смущенно улыбнулся парень.

— Загодя надо конопатить, — проворчал на ходу старик. — Да и просмолить не мешало б.

Возле одной лодки были Гринька с отцом. Отец грузил сети, Гринька сидел на носу лодки и крутил веревку, один конец которой был утоплен в воде.

→ Ну как, Мокеич, готово? — осведомился, подходя, Афанасьич.

— Да вот сети погрузим, будет готово, — степенно ответил Мокеич.

— С похмелья голова не болит? — вполголоса спросил Афанасьич, кивая в сторону Гриньки.

— Да какая у него голова! — махнул рукой Мокеич. — Ты уж не сердчай, Афанасьич, он это по дурости вчерась вылез.

— Да об чем говорить, — великодушно простил Афанасьич. — По пьяному делу с кем греха не бывает! Верно я говорю, Григорий? — крикнул он Гриньке.

Гринька, продолжая свое занятие, ничего не ответил, словно не слышал.

— Ты что это делаешь? — приблизился к нему Афанасьич.

— Чертей гоняю, — доверительно сообщил Гринька.

— Зачем? — удивился Афанасьич.

— Да все подбивают сходить к одной бабе. Сходи, говорят, да сходи.

— К какой бабе? — насторожился Афанасьич.

— К Анчутке, — сказал Гринька, продолжая крутить веревку.

— А, — старик вежливо захихикал.

Гринька перестал крутить веревку и уставился на старика:

— А ты думал — к какой бабе? А?

Афанасьич смутился.

— Ты, чем языком молоть, — хмуро сказал он, — мог бы отцу сеть грузить.

— А он у меня здоровый, — сказал Гринька. — Он прошлый год быка подымал. Правда, не поднял.

Отец, погрузив сеть, подошел к Гриньке и, что было сил, врезал ему по затылку.

— Во, видал? — сказал Гринька. — А ты говоришь — сеть!

— Ты у меня поболтай еще. Я из тебя дурь эту вышибу.

— И зря, — сказал Гринька, — вышибешь, а что останется? У меня же в башке, кроме дури, нет ничего.

В это время толпа заволновалась, по ней прошел шест:

— Идет! Идет!

По крутой тропинке к берегу в сопровождении Матрены спускалась Владычица.

Толпа замерла. Мужики сняли шапки. Владычица подошла к толпе и остановилась. Афанасьич выступил вперед и склонил перед Владычицей голову. Она смотрела и не знала, что делать. Вопросительно скосилась на Матрену. Матрена шепотом сказала:

— Ручку.

Владычица сообразила, шевельнула левой рукой, потом испугалась, что она грязная, потерла тыльной стороной ладони о платье и подала Афанасьичу. Тот приник к ней губами, а Владычица другую руку положила ему на темя.

— Идите, мужички, в море спокойно. Будет вам путь, — стараясь держаться важно, сказала Владычица.

— Благодарствуем, матушка! — ответил Афанасьич и отошел.

Толпа задвигалась, мужики, уходящие в море, перестроились в цепочку, все подходили к Владычице, рядом с которой, кроме Матрены, оказался еще и горбун, все целовали ей руку, и каждого она благословляла прикосновением к темени.

В очереди впереди Мокейча двигался Гринька. Он делал вид, что не хочет идти вперед, и Мокейчу каждый раз приходилось его незаметно подталкивать. Подошла Гринькина очередь. Горбун, бдительно следивший за Гринькой, шепнул:

— Будешь орать, приблю.

Гринька только усмехнулся и промолчал. Приблизился к Владычице и посмотрел ей в глаза. Она не выдержала и перевела взгляд на свою руку. Гринька взял ее руку в свою левую, а правую положил сверху и приложился к ней губами. Этого никто не заметил, кроме Владычицы, которая после секундного замешательства резко выдернула руку и протянула приближавшемуся Мокейчу.

Отец Владычицы смущенно топтался возле жены, никак не решаясь подойти к дочери, но, когда очередь прошла, Авдотья подтолкнула его. Он подошел и, как все, приложился к ее руке. Владычица, благословлявшая других молча, тихо сказала:

— Счастливый путь, тятя.

— Благодарствую, до... матушка, — вовремя исправил свою ошибку отец.

Авдотья смотрела на дочь взглядом, исполненным счастья и гордости.

После благословения мужики отходили к лодкам, садились на весла. Когда все уселись, Афанасьич со своей лодки дал знак, и все одновременно отошли от берега.

14

На берегу остались старики, женщины, дети. Они застыли, как изваяния, и молча смотрели в море, пока лодки не скрылись за горизонтом. Матрена тронула Владычицу за рукав, и они вместе направились к терему.

Баба с ребенком, стоявшая с краю, заметив, что Владычица удаляется, кинулась вслед за ней.

— Матушка, — быстро заговорила она, поравняв-

шись с Владычицей и пытаясь всучить ей кусок сала, завернутый в тряпку, — дите у меня хворает, животом мается, день и ночь криком кричит, пособи чем-нибудь.

Владычица остановилась, растерянно посмотрела на бабу, перевела взгляд на Матрену. Матрена вышла вперед, встала перед Владычицей и пошла на бабу, оттесняя ее от Владычицы.

— Ладно, ужо придешь, опосля.

Тут налетели и другие бабы. Одни забегали вперед, другие лезли с боков.

— Матушка, коза в яму упала, ногу сломала! — кричала одна.

— Матушка, мне вчерась покойник наснился, — перебивала другая.

— Матушка... — вылезла третья.

— Да что вы, окаянные, сразу налезли, — замахала на них руками Матрена. — Кыш отсюда, дайте матушке хоть в себя-то прийтить. Кыш! Кыш!

Наткнувшись на мать Владычицы, она смутилась, но достаточно строго спросила:

— Тебе чего, Авдотья?

Авдотья растерялась. Ей еще не приходилось говорить с дочерью через посредников.

— Там полушалок теплый остался, — оробев, сказала она. — Может, занесть?

— Занесите, маманя, — сказала Владычица почтительно.

— Слушаю, матушка, — благоговейно склонилась Авдотья.

Смущенная таким обращением матери, Владычица повернулась и быстро пошла к терему. За ней, едва поспевая, семенила Матрена.

— Красавица наша, — умильно глядя Владычице вслед, проговорила стоявшая рядом с Авдотьей баба.

— Вся в мать, вся в мать, — громко подхватила другая, заглядывая Авдотье в глаза.

Но Авдотья строго посмотрела на ту и другую и, не приняв лести, пошла к деревне.

Она подходила к своей избе, когда ее догнала баба с ребенком.

— Лукинишна, — сказала она, сунув ей кусок сала, завернутый в тряпку, — замолви словечко перед Владычицей, дите мается, криком кричит...

— Ладно, ладно, скажу, — неохотно ответила Авдотья, но сало взяла.

Войдя в избу, она положила сало на стол и открыла сундук. Долго перебирала вещи, пока не нашла обещанный дочери полушалок. Растянула его на руках, села на лавку и, приложив полушалок к лицу, расплакалась.

15

Прошло столько-то времени. Может, месяц, а может, и больше.

Анчутка медленно плыла на лодке, нагруженной караваями хлеба и бочонком с пресной водой. На море стоял полный штиль, настроение у Анчутки было хорошее, и она дурным голосом, усугублявшим полное отсутствие слуха, пела:

А и теща, ты теща моя,
А ты чертова перешница!
Ты погости у мине!
А и ей выехать не на чем.
Пешком она к зятю пришла,
А в полог отдыхать легла...

Лодка неожиданно на что-то наткнулась. Раздался треск. Анчутка, оборвав песню на полуслове, обернулась, увидела, что ее лодка столкнулась с лодкой Гриньки, который проверял расставленные сети. Невдалеке виден был остров, на котором ждали ее рыбаки.

— Чего орешь? — грубо сказал Гринька. — Рыбу всю распугаешь.

— Гринька! — обрадовалась Анчутка. И засмушалась. — А я вот хлеб вам везу.

— А еще чего? — спросил Гринька.

— А еще воду колодезную. Холоднющая, аж зубы ломит.

— Дай испить.

Она налила ковш воды, подала Гриньке. Гринька припал к ковшу.

— А загорел! — с восхищением сказала Анчутка. — Весь нос облупился.

Она протянула руку, чтобы содрать с его носа кожу. Гринька, не отрываясь от ковша, ткнул ее пальцем в живот. Анчутка кокетливо захохотала.

Рыбаки, которые ждали Анчутку на острове, высыпали на берег. Мокеич нетерпеливо крикнул:

— Гринька, охламон, не задерживай девку!

Афанасьич, стоявший рядом, его охладил:

— Да что ты на его кричишь? Пушай побалуются, их дело молодое.

Гринька отпихнул Анчуткину лодку веслом, она погребла к берегу. Немного не доплыв, прыгнула в воду босая и с силой вытащила лодку на песок.

— Здорово, мужички! — весело сказала она.

— Здорово, — ответил Афанасьич. — Чего там в деревне нового?

— А чего там нового? Бабы скучают, силу набирают, — бойко сказала Анчутка и повернулась к тщедушному рыжему мужичонке: — У тебя, Степан, баба сына принесла вот такого роста, а ревет басовито, что бык племенной.

Степан обрадовался, но виду не подал, мужское достоинство не позволило. Он только склонил голову и скромно ответил:

— В меня, знать, пошел.

Рыбаки засмеялись. Афанасьич отвел Анчутку в сторону и тихо спросил:

— А Владычица чего говорила?

— Наказывала через три дня вам домой повертаться. Афанасьич поднял голову, посмотрел на спокойное, чистое небо и ответил:

— Ну-ну.

Чем-то не нравилось ему это небо.

16

Утром того дня, когда должны были вернуться рыбаки, проснулась она на рассвете. Выглянула в окно. Огненный шар солнца медленно поднимался над горизонтом. Начинался ветер. Он скрипел входной дверью, раскачивая кроны деревьев, и низко гнал дым над избами.

Владычица встала и в одной рубашке прошла в комнату Матрены. Комната была пуста, постель убрана. Матрена в хлеву доила корову.

— Ты что это рано так поднялась? — удивилась Матрена, увидев свою хозяйку в дверях.

— Да так, что-то не спится, — сказала Владычица, не решаясь доверить Матрене свои сомнения. Но не удержалась: — Ветер на дворе.

— Авось пройдет, — успокоила Матрена.

— Пройти-то пройдет, но все-же... — Владычица повернулась и пошла назад в свою комнату.

Матрена прислушалась к свисту ветра, нахмурилась. Ей погода тоже не нравилась. Корова, которой надоело доиться, ударила ногой по подойнику, но старуха вовремя его подхватила.

— Ну-ну, не балуй, — строго сказала она корове и ткнула ее кулаком в бок.

Потом внесла подойник к себе в комнату, налила кружку молока и понесла Владычице, но уже не застала ее.

Она стояла на берегу, ветер рвал с нее платок, задираю юбку. Владычица напряженно смотрела вдаль, но там ничего не было видно, кроме белых барашков, вскипавших на гребнях волн.

— Ветер, матушка, — сказал кто-то сзади.

Она вздрогнула и обернулась. Позади нее и по бокам стояли бабы, все бабы, сколько их было в деревне. Многие с грудными детьми и с детьми постарше, державшимися за материнские юбки. Десятки пар глаз смотрели на нее с отчаянием и надеждой.

— Разве ж это ветер? — беспечно сказала она. — Ветерок. Идите, бабы, по домам, нечего тут собираться, все будет, как надо.

Но никто не сдвинулся с места. Тогда она повернулась и пошла в терем мимо поджидавшей ее на крыльце Матрены, молча поднялась к себе. Села на край лавки, как тогда, когда первый раз вошла в эту комнату, сложила на груди руки. Потом подняла глаза к потолку и сказала, обращаясь к Духу совсем по-домашнему:

— Батюшка, свет родимый, не выдай. Ну на что это ты так рассердился? Ведь люди плывут по морю. А лодчонки у них, сам знаешь, какие, долго ли перевернуть. А ведь скажут-то все на меня. Обещала, мол, что будет путь, а где он? Уж ты, батюшка, если и осерчал, как ни то по-иному меня накажи, а море, сам посуди, стоит ли зазря баламутить.

— У-уу, — прогудел в ответ ветер в трубе.

— Вот тебе и «у-у», — передразнила Владычица. Спробуй только, опрокинь хоть одну лодку, я тебе тогда поукаю.

Она опять вышла из терема, но теперь, чтобы не попадаться на глаза Матрене, в другую дверь—через хлев. И по другой тропинке, вдалеке от собравшихся на бе-

регу баб, спустилась к самой воде. Притаилась за выступом обрывистого берега и ждала. Волны шумели, налетали на берег и некоторые касались ее босых ног.

17

Где-то на гребне далёкой волны мелькнула первая точка. За ней вторая. Лодки приближались к берегу, и люди, сидевшие в них, отчаянно боролись с волнами.

Первая лодка ткнулась наконец в песок.

Женщины и дети с радостными криками скатились вниз. Подходили другие лодки. Одной из них правил Гринька. В ней рядом с Мокеичем сидела Анчутка.

Привязав наспех лодки, рыбаки направились к терему Владычицы. Возглавлял шествие Афанасьич. На растопыренных руках он тащил огромную рыбину.

Владычица не сразу сообразила, что рыбина предназначена ей. А когда сообразила, повернулась и низом кинулась к терему. Едва успела добежать, натянуть на ноги сапоги. Смахнула со лба пот рукавом, поправила волосы и, переводя дух, вышла на крыльцо как ни в чем не бывало, строгая и величественная.

— Здравствуйте, мужички, — весело поздоровалась она с подходившими рыбаками. — Каково вам плавалось, каково ловилось?

— Благодарствуем, матушка, — приблизился Афанасьич, изнемогая под тяжестью рыбы. — Хорошо нам плавалось, хорошо ловилось. Прими от нас гостинчик с благодарностью за удачу.

— Возьми, нянюшка, — сказала она вышедшей из толпы Матрене. — А вы, мужички, идите и отдохайте.

18

Владычица быстро шла по деревне. Рядом с ней бежал горбун Тимоха.

— Матушка, — спрашивал, — а как думаешь, она горбатенького не может принести?

— Сплюнь трижды через левое плечо и таких глупостей больше не болтай, — строго сказала Владычица.

— Ой, и правда, что ж это я такое болтаю! — Горбун трижды сплюнул, как велела Владычица, забежал вперед, проявляя необычную для него суетливость. Распахнул перед Владычицей дверь в избу.

В избе за рваной занавеской стонала роженица. Тут же суетилась и Матрена. Она зачерпнула из квашни ложкой тесто и наговаривала на него:

— Отпирайте, отпирайте. Отперли, отперли. Поезжайте, поезжайте. — Сунула роженице в рот ложку с тестом. — Поехали. Поехали. Едут, — посмотрела, нахмурилась. — Нет, не едут. А вот и матушка Владычица пришли. Сейчас тебе будет святое благословение, и тогда уже родишь.

Со смешанным чувством боязни и любопытства Владычица заглянула за занавеску и спросила участливо:

— Больно, милая?

— Уж так больно, матушка, моченьки моей нет больше, — со стоном пожаловалась роженица.

— Ну ладно уж, рожай, — разрешила Владычица и подержав ладонь у ее вспотевшего лба, поспешно направилась к выходу, провожаемая бормотаньем Матрены:

— Отпирайте, отпирайте. Отперли, отперли...

Возле Гринькиного дома сидели на завалинке Мокей с Афанасьичем и о чем-то разговаривали. Когда Владычица проходила мимо, оба встали, сняли шапки и поклонились. Владычица им в ответ кивнула и улыбнулась.

В это время со двора, ведя на ремешке петуха, выбежал Гринька, догнал Владычицу, снял шапку и поклонился учтиво.

— Матушка Владычица, у меня к тебе просьбица небольшая будет, — сказал Гринька, на ходу пристраиваясь к Владычице.

— Чего еще удумал? — сердито спросила Владычица косясь на петуха, который рвался, натягивая ремешок и хлопая крыльями.

— Сотвори, будь добра, чудо: научи петуха по-собачьему лаять, а то и бегать на ремешке его научил, а вот лаять никак не хочет.

— Сгинь, — сказала Владычица и ускорила шаг.

Гринька снова догнал ее:

— Матушка Владычица, сон мне наснился. Чудной такой сон, а к чему он, не знаю.

— Ну, говори свой сон, да быстро, — тихо приказала она.

— Быстро, быстро, — согласился Гринька. — Значит, так. Наснилось мне, будто мы с тобой лежим вместе на сене, и будто я к тебе шасть под юбку. А тут спускается с неба святой Дух и говорит: «Ты чего это к моей женке

под юбку лазишь?» А я ему говорю: так я ж это мол, просто так, по-соседски.

Она остановилась и посмотрела ему в глаза и неожиданно для самой себя сказала:

— Гринюшка, родненький, и так тошно, что ж ты меня терзаешь?

— Значит, ты меня еще не забыла, — сказал он, торжествуя. — И не забудешь, как я тебя забыть не могу.

Она отшатнулась от него в испуге, повернулась и быстро пошла прочь, почти побежала.

Гринька вернулся к избе. Отец с Афанасьичем по-прежнему сидели на завалинке и пытливо смотрели на него.

— Об чем это ты, милоч, с матушкой калякал? — ласково спросил Афанасьич.

— Да так просто, — беспечно ответил Гринька. — Пытал у ней, как лучше рыбу чистить — с головы али с хвоста.

— Ой, милоч, ты у мене и докалякаешься, — все так же ласково, но с явной угрозой сказал Афанасьич.

В это время петух взмахнул крыльями и налетел на Афанасьича. Старик пригнулся, закрывая руками голову.

— Не бойсь — не укусит, — сказал Гринька, оттакаявая петуха. — Он тухлятиной брезгует.

Во дворе Гринька развязал ремешок, и петух, почувствовав свободу, радостно закричал и погнался за курицей, разгребавшей навоз. Гринька поднялся в избу.

— Ты, Афанасьич, на его не обижайся, — виновато сказал Мокеич, — он же у мене глупой. Без матери рос.

— Глупой, глупой, — рассердился Афанасьич, — а знает, за кем ухлестывать. Это ж надо нахальство такое иметь, на кого глаза-то таращит. Смотри, Мокеич, победи сына. Ведь если что — зашибем.

— А что же мне с им делать? — робко спросил Мокеич.

— Жанить, — сказал Афанасьич решительно. — Жанить, да и все. Хоча бы на той же Анчутке, и как можно скорей.

— Да он на ней жаниться-то не захочет, — попытался возразить Мокеич.

Афанасьич посмотрел на него и твердо сказал:

— Захочет.

Во дворе Владычицы собралась вся деревня. Сама хозяйка сидела на высоком крыльце в нарядном полубашмаке, в расписных сапожках, принимала народ.

Первой вышла баба с перевязанной щекой. Положила перед Владычицей лепешку черную да кусок семги. Держась за щеку, застонала.

— Что у тебя? — спрашивает Владычица.

— Ой! — стонет баба.

— Зуб, что ли? Который?

— О-о! — Баба засунула палец в рот.

— Змею живую добудь и вынь из нее желчь из живой и чтоб она живая с того места сползла, а желчью мажь зуб, где болит, а если змея с того места без желчи не сползет, в той желчи пособия нет.

— У-уу, — благодарно простонала баба, пятясь задом в толпу.

Вышел из толпы мужичок, упал перед Владычицей на колени, приложился губами к ее ноге.

— Что у тебя, Степан? — спросила она ласково.

— Корова пропала, матушка. Третьего дни выгнал ее пастись к лесу, ввечеру пришел, а уж ее нет.

— Выйди поутру до света, стань на росу босой, плюнь трижды против солнца, говоря: «Пропади тень от света, роса от тепла, найдись моя корова, приди к хозяину, дай молочка, напои меня, мою жену, моих детушек». Если волки не задрали, найдется. Понял, нет?

— Понял, матушка, благодарствую, понял.

— А ну-ка повтори, что делать должен.

— Ну, значит, это, выйти ночью, стать на росу босому, трижды плюнуть и сказать...

— Куда плюнуть-то?

— А я, матушка, и забыл.

— Вот, забыл! А это есть самое главное. Трижды плюнь против солнца. А что говорить надо?

— Ну, значит, «пропади тень от тепла»...

— Тьфу ты, несмышленный какой! Ну как же может тень от тепла-то пропасть? Ты видал такое?

— Не, — сказал мужик, — не видал.

— И значит, как надо говорить?

— А кто знает! — мужик растерянно почесал в затылке.

Ладно, опосля придешь, назубок учить будешь.

Мужик, смущенный, отошел, кланяясь.

Тут вышли из толпы отец Гриньки и отец Анчутки, вывели за руки своих детей. Гринька и Анчутка упали перед Владычицей на колени. Отец Гриньки бросил на крыльцо мешок. В мешке был поросенок. Он завизжал, забарахтался и покатился по крыльцу. В толпе все засмеялись. Матрена, выбежав на крыльцо, схватила поросенка и утащила в терем.

Отец Гриньки поклонился Владычице и сказал:

— Матушка наша, пресвятая Владычица, надумали мы оженить наших детушек, просим твоего святого благословения. Пусть промежду ними будут мир да совет.

Владычица сжала губы, и взгляд ее встретился с непроницаемым Гринькиным взглядом. Однако она сдержала себя и с подобающей случаю величественностью свела руки крестом, левую ладонь приложила ко лбу Гриньки, стоявшего справа, правую — ко лбу Анчутки.

Молодые отошли, кланяясь..

Вышла баба с ребенком.

— Что у тебя? — строго спросила Владычица.

— Да я вот все с дитем, матушка. Уж ты не серчай, а только животик у него все не проходит.

— Медвежью печень высуши, истолки в ступе, смешай с молоком, мажь живот на ночь — пройдет.

Она поднялась, давая понять, что прием окончен. Старухе, которая сунулась к ней с какой-то жалобой, сказала:

— Ладно, хватит, в другой раз.

Придя к себе в комнату, она упала на кровать и зарыдала. Потом встала на колени и, воздев руки к потолку, закричала:

— Дух святой, прости меня, накажи меня, побей меня громом небесным, укажи мне, как жить, что делать? Слаба я, грешна, не то что править другими, с собой совладать не могу. Что ж ты молчишь? Что не отзываешься? Уж я, кажись, не докучала тебе своими просьбами. Помоги же мне, ежели ты есть!

Уткнувшись лицом в подушку, она снова забилась в рыданиях.

20

Вечером в Гринькиной избе лохматый парень играл на жалейке. Другой парень и толстая девка плясали, от

усталости не проявляя к этому занятию никакого интереса. Большинство гостей уже спали, кто за столом, кто на лавке. Огромного роста мужик храпел на полу посреди избы. Баба возле печки кормила ребенка грудью.

Мокеич наседавал на сидевшего рядом Афанасьича:

— Нет, Афанасьич, — кричал он, — вот ты человек умный, так ты мне разъясни, кто главнее — зверь или рыба?

— Да ну тебя! — отмахивался от него напившийся вдрызг Афанасьич.

Парень, которому надоело плясать, сел за стол и неожиданно закричал:

— Горько!

Гости, те, кто проснулся, испуганно схватились за кружки с брагой и повернули головы в тот конец стола, где должны были сидеть молодые. Но там была только Анчутка.

— А где этот... ну, как его... Гринька? — заплетающимся языком спросил Афанасьич.

— На двор пошел, — ответила, поднимаясь, невеста.

— Горько! — заорал опять парень.

— Не ори, — попросил его Афанасьич.

31

Владычица лежала у себя в комнате, ворочалась. Ей не спалось. В тереме было тихо, только где-то за печкой изредка трещал сверчок. Вдруг закрипели половицы. Владычица прислушалась. Кто-то ходил по терему.

— Матрена! — закричала она.

Вбежала встревоженная Матрена:

— Что, матушка?

— Слышишь? — сказала Владычица.

Матрена прислушалась.

— Что? — шепотом спросила она.

— Кто-то ходит по терему.

Матрена опять прислушалась. Ничего не было слышно.

— Что ты, матушка, Дух с тобой! — сказала нянька. — Кто же здесь может ходить?

— Нянюшка, я точно слышала, кто-то ходил.

— Так это ж я ходила. Дрова в печку подкладала. Спи, матушка, закрой глазки и спи спокойно, никто к нам прийти не может.

Матрена поправила на ней одеяло и вышла.

Владычица закрыла глаза. Но вот опять послышался скрип половиц, теперь шаги слышались явственно. Кто-то тяжелой походкой приближался к ее покоям. Она села на кровати с колотящимся сердцем и уставилась на дверь. Дверь отворилась. На пороге показалась длинная фигура в белом. Владычица вжалась в стенку.

— Ты кто? — свистящим шепотом спросила она.

— Я твой муж — Дух святой, — каким-то странным, нездешним голосом ответил пришелец, медленно продвигаясь вперед. Владычица ущипнула себя. Но это был не сон. Человек в белом приближался к ее кровати. Обходя стол, он зацепился за лавку и с грохотом опрокинул ее.

Белое покрывало слетело. Он схватился за колено и подпрыгивая, застонал Гринькиным голосом:

— Ай-яяй, коленку зашиб.

— А-а-а-а! — завопила Владычица.

Матрена, выбежавшая на крик, застыла в дверях. Возле неподвижно лежавшей Владычицы суетился Гринька.

— Манька, ты что? — тормошил он ее. — Я ж пошутил. Слышь, что ли, я пошутил просто, и все. — Он обернулся, увидел Матрену и сказал ей: — Матрена, воды.

— Сейчас, — торопливо сказала Матрена. — Сейчас, милоч, принесу.

Она по коридору прокралась в сени, из сеней на крыльцо и, спотыкаясь, побежала к деревне.

Гринька, увидев ее в окно, проворчал:

— Вот дура, вместо того чтоб воды подать, она доносить побегла. Где ж тут вода? — он заметался по комнате.

Матрена во весь опор неслась по деревне. За ней увязалась собака. Она тявкала, хватала Матрену за ноги, но та продолжала бежать, не обращая на собаку никакого внимания. С ходу ворвалась она в Гринькину избу.

22

Гости уже окончательно перепились и валялись кто где. Во главе стола, размазывая по лицу слезы, сидела невеста. Мокеич и Афанасьич сидели в обнимку на другом краю стола.

Увидев Матрену, Мокеич схватил со стола свою кружку и пошел госте навстречу.

— Афанасьич друг, — закричал он, — гляди-ко, кто к нам пришел. Матрена, иди сюда, выпей с нами, я тебя люблю.

— Отойди, — отодвинула его Матрена.

— Нет уж, не отойду, — упирался Мокеич. — Уж ты уважь!

Но она дорвалась все же до Афанасьича, нагнула его к себе и приткнулась к его уху губами.

Услышанное настолько потрясло Афанасьича, что он сразу протрезвел. Он прошел по избе и стал будить мужиков, кого тормоша за шиворот, а кого поднимая ногами.

— Эй, мужики, вставайте, беда!

23

Сквозь разрыв в тучах в окно заглянула луна. Она осветила лицо Владычицы и Гриньку, сидевшего рядом на постели. Гринька наливал в ладони из кувшина воду и плескал ее на Владычицу. Она открыла глаза.

— Ну вот, наконец-то, — проворчал Гринька. — Что за народ пошел, нельзя уж и пошутковать с ними.

— Гринька, это ты? — спросила она.

— Ну, а кто ж? — сказал Гринька. — Правда, что ли, Дух святой?

— Зачем ты это сделал? — спросила она.

— По дурусти, — сказал Гринька.

— Беги отсюда, — сказала она, приходя в себя. — Беги, пока есть время, тебя же убьют.

— Какое там время, — сказал Гринька. — Погляди.

Она поднялась и посмотрела в окно. За окном при свете факелов угрожающе гудела толпа.

Терем был окружен.

— Что же делать? — заметалась Владычица.

— Ничего, — сказал он. — Сейчас я с ними поговорю.

Он поднял с пола белое покрывало и завернулся в него.

— Ну как, хорош я? — спросил он, расправляя плечи.

Владычица испуганно смотрела ему в глаза. Он неожиданно схватил ее, хотел поцеловать, но она его оттолкнула. Гринька повернулся и направился к выходу. Толпа волновалась перед крыльцом, но никто не решался идти дальше. Факелы, колеблясь, дымили.

На крыльце показалась фигура в белом. Она застыла на мгновение и, медленно спустившись по ступеням крыльца, направилась прямо к толпе. Страх охватил людей. Кто-то упал первым, за ним другой, третий, и вот уже все люди лежали ничком, и факелы их шипели, уткнувшись в сырую траву.

Гринька шел, переступая через распластанные тела. Зацепил краем простыни горящий факел. Простыня вспыхнула. Гринька сбросил ее с себя и кинулся бежать.

— Гринька! — придя в себя, закричал Афанасьич. — Держи его!

— Дураки! — закричал Гринька, перескакивая через лежащие перед ним тела. — Пужливые дураки! Вот я вас уже не так напужаю!

Горбун, мимо которого пробежал Гринька, изловчился и схватил его за ногу. Гринька упал, на него налетели другие, навалились, его били, топтали ногами.

Тут из терема выскочила Владычица. С ходу она влетела в толпу и стала расталкивать их локтями, крича:

— Отойдите! Отойдите!

Толпа постепенно приходила в себя. Люди, опомнившись, расступались перед Владычицей.

Гринька сидел на земле, держась обеими руками за правый бок, и стонал.

— Ну что ж ты, матушка, им мешаешь? — сказал он через силу. — У них же другой радости нет, как навалиться всем миром на одного.

Подошел Афанасьич.

— Матушка, дозвожь, мы его порешим, — буднично попросил он.

— Не дозволяю.

Толпа была недовольна.

— Тогда пушай уходит от нас, — твердо сказал Афанасьич.

Владычица заколебалась, но, поняв, что другого выхода нет, тихо сказала:

— Пушай уходит.

— Твоя воля для нас закон, — почтительно ответил от имени всех Афанасьич, склоняясь перед ней в глубоком поклоне.

И все вслед за ним наклонили головы в знак согласия.

Утром Владычица видела в окно, как Гриньку всей деревней провожают в море. Справа от него шел Афанасьич, слева — отец. Позади всех на некотором расстоянии, всхлипывая, плелась Анчутка.

Гринька, избитый, с синяком под глазом, с распухшим носом, прихрамывая, тащил в одной руке узелок с одеждой, в другой вел петуха на ремешке. Еду и воду тащил отец.

Подошли к приготовленной заранее лодке, остановились, Гринька не торопясь уложил в лодку оба узла и кувшин с водой, посадил и привязал петуха, осмотрел весла, вернулся к толпе.

— Поди-ка сюда, — поманил он Анчутку и, когда она покорно приблизилась, обнял ее. — Ты, Анчутка, на меня не сердчай, я ведь тебе зла не хотел, а уж как все получилось, и сам понять не могу. Хочешь так, а получается эдак. Да, может, этак-то все и лучше. Коли тут, — он ткнул себя пальцем в левую сторону груди, — с самого начала нет ничего, так опосля и жисть-то не жисть, а одна маета. А для виду, Анчутка, жить я не могу.

Афанасьич из-под насупленных бровей смотрел на Гриньку.

Анчутка, уткнувшись головой в Гринькину грудь, задергалась от рыданий.

— Ну будя, будя, — сказал он, отстраняя ее. — Радоваться должна, что так легко сбавилась от меня.

Он подошел к отцу.

— Ну, а тебе, тятка, не знаю, что и сказать. Не поминай лихом, что ли.

Отец смотрел на него снизу вверх, пытался сохранить достоинство, но это плохо у него получалось, и он дергал носом, готовый вот-вот разреветься.

Гринька резко прижал его к себе и так же резко отпустил. Пошел было к лодке, но возле Афанасьича, не удержавшись, остановился.

— Ты, Афанасьич, для такого случая хоть бы бороду расчесал, всё же народ от супостата избавил. А это разве борода? — он схватил его за бороду и подергал.

Афанасьич разжал его руку, а горбун Тимоха вышел из толпы и угрожающе двинулся к Гриньке.

— Ну-ну-ну, ты полегче, — сказал Гринька, отступая и грозя горбуну пальцем.

Оттолкнул лодку и прыгнул в нее.

— Эй, Тимоха, слышь, что ли! — берясь за весла, крикнул он горбуну, который стоял возле самой воды и сосредоточенно ковырял пальцем в носу.

— Чего тебе? — недовольно, подозревая подвох, спросил Тимоха.

— Не ковыряй в носе, мать помрет.

Горбун испуганно дернул рукой.

— Ковыряй, ковыряй, я пошутил, — разрешил Гринька, налегая на весла.

Петух вскочил на корму лодки и, захлопав крыльями, отчаянно закукарекал.

Владычица смотрела в окно, как удаляется Гринькина лодка. Сзади подошла нянька и, погладив хозяйку по голове, облегченно сказала:

— Ничего, матушка. Дух с ним совсем. Авось не пропадет.

25

А потом пришла в деревню беда. Заболела скотина. В одном дворе корова лежала на боку и смотрела грустными глазами на свою хозяйку, которая причитала, обливаясь слезами:

— Что же ты, кормилица моя, глядишь на меня своими глазоньками! Да и кто же тебе сделал порчу такую?

В другом дворе старик сидел и молча смотрел на дергающуюся в конвульсиях корову.

Еще одна корова лежала дохлая посреди деревни. Жалобное мычание не умолкая висело в воздухе.

26

Возле дома Владычицы собралась ропщущая толпа. Владычица металась по своей комнате, боязливо поглядывая в окно и не решаясь выйти к народу.

Дверь в ее комнату отворилась. Подталкивая перед собой девочку лет пятнадцати, вошел Афанасьич.

— Вот, матушка, — сказал он, — Ксюшка болтает, будто видела, как Анчутка на восходе солнца собирала возле дома росу.

— Сама видела, матушка, — охотно подтвердила Ксюшка. — Вышла я это утром на двор, гляжу, Анчутка над травой руками эдак разводит и какие-то слова гово-

рит, а какие — не разберешь: видать, бесовские. А еще, матушка, на плече у ней на левом, вот на этом месте, — пятно. С ладонь, пожалуй, а то и поболе.

27

Перед теремом Матрена и горбун Тимоха воевали с бушевавшей толпой.

— Отойдите, окаянные! Отойдите, кому говорят! — надрывалась Матрена.

— Куда лезешь! — в тон ей кричал горбун, тыча кому-то кулаком в нос.

— А пущай выйдет, Владычица! — петухом налетал на Матрену Степан. — А пущай она нам объяснит, за что святой Дух посылает на нас такую кару.

Дверь терема резко распахнулась, на крыльце появились Владычица, Афанасьич и Ксюшка.

Толпа мгновенно умолкла. Ксюшка старалась держаться за спиной Владычицы. Владычица схватила ее за руку и вытащила вперед.

— Ну, говори, — приказала она.

Ксюшка нерешительно мялась.

— Говори, — повторила Владычица, — не бойся. А то бегать наушничать все горазды, а выйти и сказать правду народу — страх берет.

Ксюшка сбежала с крыльца и стала пробираться к Анчутке. Народ расступился. Оставшись один на один с Ксюшкой, Анчутка смертельно побледнела.

Ксюшка прыгнула на нее кошкой, схватила за ворот, рванула. Платье затрещало, обнажив Анчуткину спину. И все увидели большое родимое пятно у нее на плече.

— Вот он, колдовской знак! — торжествующе объявила Ксюшка.

Толпа кольцом сомкнулась вокруг Анчутки и угрожающе надвигалась. Анчутка в страхе озиралась, заглядывала в лица людей, ища в них сочувствия, но все они были одинаково беспощадны.

— Топить ее! — истошно завопил кто-то.

— Топить! — всколыхнулась толпа.

— Стойте! — вскинула руку Владычица, и толпа перед ней расступилась.

Она шагнула к Анчутке, отогнула разорванный ворот платья, который Анчутка придерживала рукой, глянула на пятно и снова закрыла.

— Пушай она от нас уйдет, — объявила Владычица народу свой приговор.

— Пушай уйдет, — повторил Афанасьич.

— Пушай уйдет! — подхватила толпа.

— Благодарствую, матушка, — осмелев, поклонилась Анчутка Владычице. — Благодарствую за милость твою, за то, что ты Гриньку сперва загубила, а теперь вот и мой черед наступил. — Она выпрямилась и гневно крикнула: — Не можешь простить нашу с Гринькой любовь! Силу свою показываешь!

Владычица хмуро посмотрела на нее и сказала:

— Иди за мной! — и повернулась к терему.

— Не пойду! Не пойду! — Анчутка в ужасе кинулась прочь, но тут же забилась в руках мужиков. Они протаскивали ее к терему, втолкнули в комнату. Вошла Владычица и прикрыла за собой дверь.

28

Анчутка стояла посреди комнаты и смотрела на Владычицу со страхом и ненавистью.

— Сядь! — приказала Владычица.

Анчутка села.

Владычица подошла, погладила ее по голове и тихо сказала:

— Бедная ты моя.

Анчутка, не ожидавшая такого начала, упала лицом на стол и зарыдала.

— Ладно, ладно, — проводя ладонью по ее волосам, успокаивала Владычица.

Зачерпнула ковш воды из деревянной бадьи, стоявшей на лавке, поднесла госте. Та судорожно впиалась в ковш, стучала о его края зубами, но никак не могла напиться — вода проливалась, текла по подбородку на грудь.

Ожидая, пока Анчутка успокоится, Владычица ходила по комнате из угла в угол, потом заговорила, медленно подбирая слова:

— Вот ты говоришь насчет Гриньки и сама знаешь, что зря. Правда, люб он мне был и на тебя зло таила, но это все раньше, а теперь здесь, — она ткнула себя пальцем в грудь, — ничего не осталось. Ни любви, ни зла. Место мое такое — не позволяет сердце на одного тратить, остальным не хватит. И кабы ты была на моем

месте, а я на твоём, то ты сделала бы то, что делаю я, потому что никто из нас в жизни своей не волен, а идет по тому пути, который он, — она подняла палец вверх, — нам назначил.

Владычица остановилась у окошка.

— Ты погляди, сколько людей — столько и радости и горя. У каждого свое. Но ведь радость при себе держат, а горе несут ко мне. И Палашка, и Степан, и Тимоха. Как будто у меня своего мало. А я все принимай, всех утешай. Это ж откуда столь силы взять, чтоб такое-то выдержать?

И такая тоска и горечь были в глазах у Владычицы, что Анчутка не выдержала — отвела взгляд.

Владычица опустилась на скамью.

— Никому не говорила, а тебе скажу — не знаю, кому из нас нынче тяжелее.

Она закрыла лицо руками.

Анчутка подошла к ней, встала на колени и приложилась губами к ее ногам.

— Прости, матушка, — тихо сказала Анчутка. — Виноватая я перед тобой.

— Иди, — не отрывая рук от лица, сказала Владычица.

Анчутка направилась к выходу, взялась за ручку двери, и тут Владычица остановила ее:

— погоди.

Подошла к Анчутке, внимательно на нее посмотрела и тихо сказала:

— А что ж ты с Гринькой-то не ушла?

Анчутка опустила голову и еле слышно сказала:

— Не взял он меня.

Владычица отвернулась и, не глядя на Анчутку, вздохнула:

— Нет, Анчутка, ты не любила его.

Анчутка бросила на Владычицу отчаянный взгляд и вдруг сорвалась с места и бросилась к выходу.

Владычица подошла к кровати и легла, уткнувшись лицом в подушку.

Потом во дворе раздался шум. Люди что-то кричали на разные голоса, а слов было не разобрать. Владычица подняла голову и приелушалась. Вошла Матрена.

— Что там за шум? — поинтересовалась Владычица.

— Да ведь это... Анчутка от тебя выбегла, ровно шальная, да напрямки к морю. Ее хотели пымать, да ку-

ды там — с обрыва головой бухнулась, и только круги по воде.

Владычица села на кровати и расширенными от ужаса глазами посмотрела на Матрену.

29

Владычица бродила по лесу, искала траву. Лето клонило к осени, и это было заметно по тому увяданию, которое тронуло уже своим дыханием лес. Было сыро и холодно.

Она зашла далеко и не столько собирала траву, сколько просто гуляла, наслаждаясь одиночеством и природой. И вдруг услышала какой-то звук, который показался ей сначала криком зверя, а потом она поняла, что это стонет человек. Стон повторился, и она, продираясь сквозь кусты, осторожно пошла на него. Когда перед ней открылась небольшая поляна, она встала за дерево и затаилась.

На краю поляны под деревом стоял шалаш. Перед шалашом валялись перья и пустой ремешок, привязанный к колышку. Из шалаша доносился стон. Владычица осторожно приблизилась и заглянула внутрь шалаша. В шалаше на свалывшейся подстилке из отсыревшего сена лежал, разметавшись, Гринька. В какое-то мгновение она решила, что ей надо уйти, и пошла быстро, не оглядываясь, в сторону деревни. Наткнувшись на дерево, остановилась, прислонилась к нему щекой. И вдруг со всей ясностью поняла, что именно должна сейчас делать. Уже не раздумывая ни секунды, она кинулась со всех ног назад к шалашу. В шалаше она расправила сено под Гринькой, сняла с себя полушубок, укрыла их Гриньку, а его голову положила себе на колени. Напоила его из стоявшего рядом кувшина болотной водой. Он успокоился и затих.

Дело шло к вечеру, холодало, у Владычицы затекли ноги, но она сидела над Гринькой с неподвижным лицом, словно окаменела. Но вот он пришел в себя и открыл глаза. Увидев ее, он нисколько не удивился.

— Наконец-то, — вздохнул он облегченно. — Все же ты пришла. А я уже боялся, что ты меня не найдешь. Сейчас я встану, и мы с тобой отсюда пойдем.

Выражение ее лица нисколько не изменилось, будто она и не слышала этих слов, не заметила его пробужде-

ния. Только из-под ресниц выступили и покатались по щекам две слезинки.

— Я так долго шел к тебе, — сказал он, помолчав и отдышавшись, — да вот захворал. Вчерась ночью волки напали. Я на дерево влез, а петуха задрали. Думал, один останусь, да вот ты подросла. Теперь мы с тобой убежим отсюда.

Он хотел приподняться и снова потерял сознание.

30

В сумерках они пробирались к ее терему, далеко отходя от деревни.

Вошли в терем через скотный двор. Она поддерживала Гриньку, помогая ему по шаткой лестнице взобраться на сеновал. Устроила ему в сене постель, накрыла полушубком. Потом прошла мимо Матрениной комнаты на цыпочках к себе, налила из кувшина кружку молока, отрезала ломоть хлеба. Только собралась выйти, когда на пороге появилась Матрена.

— Где это ты так поздно гуляла, матушка? — подозрительно спросила нянька.

— Траву в лесу собирала, — ответила Владычица, отхлебывая из кружки, — да заплутала маленько.

— А я уж собралась идти в деревню, народ скликать. Ой, матушка, нешто можно одной далеко так в лес уходить? — покачав головой, Матрена ушла.

Владычица подождала немного, долила в кружку молока и понесла Гриньке. Гринька спал, и дыхание его было спокойным. Владычица поставила рядом с ним кружку, накрытую хлебом, посмотрела на Гриньку и неожиданно для самой себя быстро поцеловала его в лоб. Тут же испугалась своего поступка и посмотрела на крышу. Но все было тихо. Дух ничего не заметил.

31

Летели на землю из-под топора щепки. Афанасьич тесал доски для новой лодки, каркас которой стоял тут же, во дворе. На завалинке сидел пьяный Мокеич и мотал головой:

— Мальчишку мово ты зря погубил, Афанасьич. Хороший был мальчишка, веселый. А то, что любил поозоровать, так это ж только по малолетству.

— Малолеток, — усмехнулся Афанасьич. — У меня в такие годы уже двое ребят было, а Гринька твой все в малолетках ходит. Да и озорство озорству рознь.

— Да он же просто любил пошутковать над людьми, и зла в нем не было никакого, — стоял на своем Мокеич. — Уж на что я ему отец родной, а и надо мной шутовал. Грех ты взял, Афанасьич, на свою душу, большой грех.

Афанасьич опустил топор.

— А что ты меня-то винишь? — сказал он сердито. — Вся деревня супротив твоего Гриньки стояла. Хороши тоже шуточки — в Духа святого вырядился. Да ты передо мной на коленях ползать должен, что я Владычицу уговорил над им сжалиться. Анчутка вон не за такое на дно пошла. Да он небось где ни то пристал и живет себе припеваючи, а ты по нем тут...

Он не договорил, увидев подошедшую к дому Матрену.

— Ты чего? — спросил он Матрену.

— Поди-ка, — поманила она.

Он бросил на землю топор и подошел. Матрена поднялась к нему на цыпочках и зашептала в самое ухо:

— Гринька-злодей объявился. Уж я тоже взяла грех на душу, видела все и молчала покуда, а тут ведь поправился, а сидит...

32

Владычица вошла к себе в комнату и, вздрогнув, остановилась. В комнате за столом сидел Афанасьич. При ее появлении он слегка привстал и, сдержанно поклонившись, сказал:

— Вот пришел, матушка, кой о чем покалякать.

Дурное предчувствие охватило ее, но она не выдала себя и, сев напротив Афанасьича, разрешила:

— Калякай.

— Хочу, матушка, загадочку тебе загадать. Ты у нас смышленная, может, и отгадаешь. Сидела белочка в своем дупле, ховала зайчика. Пришли охотнички, говорят: «Белочка, а белочка, отдай нам своево зайчика». Что белочка ответила? — старик лукаво прищурился.

— А может, никакого зайчика у ней не было? — в тон ему спросила Владычица.

— Был, — уверенно сказал Афанасьич.

— Ну тогда, значит, смотря какой зайчик и какая белочка, — сказала Владычица. — А то ведь может сказать: «Не отдам».

Старик покачал головой, недовольный таким ответом.

— Охотнички-то — ведь они народ лютый. За зайку могут и белочке шкурку попортить.

У Владычицы пересохло во рту. Она зачерпнула из бадьи ковш воды, отхлебнула, не отрывая взгляда от гостя.

— Трудную я тебе, матушка, загадочку загадал, — сказал он, — а отгадка у ней простая. Выпустить надо белочке зайку в лес, и пущай себе бежит да обратно не возвращается.

Она перегнулась через стол к старику и, понизив голос, сказала:

— А ты, охотничек, за свою старую шкурку-то не боишься? А то, гляди, кабы белочка волчицею не обернулась.

— А ты меня, матушка, не пужай, — сказал старик, поднимаясь. — Ты хоча и набрала силу большую, а супротив меня слабовата будешь. Старая-то Владычица с моей помощью под холмик легла. А и та, что до ней была, — тоже, — старик приблизил к ней свое лицо и хихикнул. Вдруг лицо его преобразилось и приняло откровенно злобное выражение: — Давай говорить напрямки. — Старик заходил по комнате. — Ты с Гринькой живешь, и я знаю про это. Но мне-то что. Я старый. Я много кой-чего знаю, да молчу. Но народ узнает — худо будет. Вера в людях пропадет. А как жить без веры? И потому мой тебе сказ такой. Нонче, как только стемняет, отведешь Гриньку в лес. И пущай себе идет, куды хочет, никто его трогать не будет. И тогда все, что было, забудем. А если все в точности не исполнишь, помни: в землю ляжешь живая. Прощай, матушка, — сменив тон с резкого на почтительный, заключил Афанасьич и, вежливо поклонившись, вышел.

Переждав немного, Владычица пошла за ним. Дверь в комнату Матрены была приоткрыта, в щелочке чернел глаз Матрены. Владычица потянула дверь на себя, едва не прищемив няньке нос.

Гринька ждал ее на сеновале. Самодельным ножом вырезал он из дерева какую-то фигурку.

— Что это? — спросила Владычица.

— Это петух, — сказал Гринька, протягивая ей д-
ревяшку.

Владычица положила фигурку в сторону. Взяла из
рук Гриньки нож, тоже отложила. Обняла Гриньку.

— Ты что? — испугался он. — Не боишься?

— Теперь все одно, — сказала она...

23

Вечером Матрена услышала плач и вышла из своей
комнаты. Приложила ухо к двери Владычицы, послу-
шала. Потом вышла на крыльцо и увидела: по тропин-
ке в сторону леса с узелком в руках шел, спотыкаясь
как пьяный, Гринька. Матрена постояла еще на крыль-
це и вернулась в терем, тихо прикрыв за собою дверь.

34

Петухи, надрывая глотки, старались перекричать
друг друга. Над деревней вставало утро. Владычица
сидела за столом, положив под голову руки. Очнулась,
подняла голову. По ее изможденному лицу было видно,
что она всю ночь не ложилась.

На дворе послышался голос Матрены:

— Куда ты прешь? А ну отойди отседова, сказано —
не пушу.

Владычица выскочила на крыльцо. На крыльце Мат-
рена боролась с Мокеичем, который пытался пробиться
в терем.

— Отойди, — сказала Владычица, пихнув няньку
локтем. — Ты что, Мокеич? — ласково спросила она.

Мокеич упал на колени и, воздев к ней руки, закри-
чал в голос:

— Гриньку люди в лесе нашли... убитый...

Владычица сорвалась с места и побежала в сторону
леса. За ней, отставая и падая, несли Мокеич.

Гринька лежал под кустом, наспех прикрытый хво-
ростом и палыми листьями. Вокруг него молча толпил-
ся народ. Владычица разогнулась, посмотрела в лица
людей. И каждый, встречая ее взгляд, опускал голову.

— Сейчас, — сказала Владычица, — всем идтить к
моему терему.

Голос ее был спокоен. Она направилась в сторону
деревни, сперва медленно, потом, вспомнив что-то, бегом.

Когда вошла к Афанасьичу, он сидел за столом и спокойно пил молоко. Увидев Владычицу, привстал, поклонился:

— Здравствуй, матушка! Садись, откушай со мной молочка.

Одной рукой она выбила у него молоко, другой, сжатой в кулак, ударила старика в переносицу. Он опрокинулся через лавку, пытался вскочить, но Владычица снова свалила его и долго в исступленной ярости топтала ногами. Потом, шатаясь, вышла за дверь. Старик со стоном поднялся и, размазывая по лицу кровь, полпелся за ней.

Когда подошла к толпе, все наклонили головы, и мужики сняли шапки. Она прошла вдоль толпы туда и обратно. Остановилась. Тихо сказала:

— Вчерась я проводила Гриньку в лес. Он подбивал меня уйти с им, говорил, будто знает место, где нас никто не найдет. Я не пошла, потому как думала жить ради вас. А теперь мне больше жить неохота. Ни для вас и ни для себя. Вы убили Гриньку, убейте теперь и меня. Я была с им как с мужем.

Толпа зашумела. Держась за разбитую губу, выступил вперед Афанасьич.

— Не слушайте ее, люди! — закричал он. — Рассудок у нашей матушки помутился. Напраслину возводит она на себя.

Владычица подошла к нему и сказала почти ласково:

— Зачем так говоришь, Афанасьич? Уж кто-кто, а ты-то хорошо знаешь, что я с им жила.

— Врешь! — закричал Афанасьич, отшатываясь от нее. — Не знаю!

— И ты не знаешь, Матрена? — обратилась Владычица к няньке. — Не ты ли нас подглядела, а потом Афанасьичу донесла?

— Не было такого, — глядя в глаза Владычице, твердо сказала Матрена.

— Ну ладно, — Владычица вбежала в дом и тут же вернулась с мужским кушаком в руке. — Вот кушак.

У Гриньки я на память взяла. Мокеич, может, это не Гринькин?

— Гринькин! — Мокеич выхватил у нее кушак и, припадая к нему лицом, заплакал.

— Коли этого мало, так, может, на сеновал пойдем, поглядим, где мы с ним целовались да миловались? — предложила она толпе.

— Бей ее! — заорал горбун, выскакивая вперед и замахиваясь на Владычицу дубиной.

Афанасьич успел удержать его руку.

— Погоди, Тимоха, — сказал он. — Ей будет другая кара.

— Об одном только прошу, — Владычица поклонилась народу, — покладите вместе с Гринькой. Не дали нам вместе быть на земле, хоть под землей будем вместе.

Секундное молчание нарушил Афанасьич.

— Не можем мы этого допустить, — мрачно сказал он, опуская голову. — Гринька был человек простой, и лежать ему среди простых людей. А ты какая ни на есть грешная, а Владычица, и похороны тебе будут Osborne.

37

Ты, рябинушка, ты, курявая,
Ты когда цвела, когда вызрела...
Ты, рябинушка, ты, кудрявая,
Ты когда взошла, когда выросла?

Старухи в черных одеждах выстроились в две шеренги по обеим сторонам дорожки, ведущей от крыльца к калитке. Крайняя начинала, остальные подхватывали, косясь на носилки, которые проносили между ними два мужика. Владычица лежала вся в белом и смотрела живыми глазами в небо. Старухи с песней поворачивали и шли вслед за носилками. В толпе, как и положено при настоящих похоронах, причитали и плакали бабы. Носилки принесли на кладбище и положили возле могилы. Афанасьич первым наклонился и поцеловал Владычицу в лоб. За ним по очереди пошли остальные.

— Доченька, моя родная! — кинулась к носилкам Авдотья, но ее тут же схватили и оттащили, бьющуюся в истерике, в сторону.

Со восточной со сторонушки
Подымались да ветры буйные...

— Опускайте! — приказал Афанасьич.
А старухи еще громче завыли:

Со громами да со гремучими,
Со молоньями да со палючими...

И вырос на кладбище Владычиц новый холм.

38

На рассвете другого дня горбун Тимоха ходил по деревне и, как ни в чем не бывало, выкрикивал весело:

— Эй, народ, выходи, никто дома не сиди. Будем пить и гулять, Владычицу визнавать.

Но никто не откликнулся на его веселый призыв. Наглухо были заперты двери и окна. Не бродила по деревне скотина, не копошились в кучах мусора куры, собаки забились в будки и не выглядывали. Даже дым не курился над трубами.

На поляне возле леса за большим столом сидели старики, готовые к церемонии признания. Вопросительно и тревожно поглядывали они на сидевшего во главе стола Афанасьича, но тот с каменным выражением смотрел в одну точку перед собой и молчал.

Солнце поднялось уже высоко. Сбившийся с ног Тимоха медленно брел по деревне и, потеряв всякую надежду, уныло выкрикивал:

— Эй, народ, выходи, никто дома не сиди...

Потом сел в пыль посреди дороги и, обращаясь к молчащим избам, отчаянно закричал:

— Да что ж это деется, люди? Что же вы не выходите? Неужто теперь нам без веры жить?

Обхватив голову руками, он зарыдал.

И тогда со скрипом робко приотворилась какая-то дверь...

СТЕПЕНЬ ДОВЕРИЯ

Повесть



Глава первая

Был конец ноября или начало декабря (точно не помню), когда от отца моего, проживавшего в родовом имении Филипповке, получилось известие, что в скором времени в Казань прибудет Николай Александрович Фигнер со взрослою дочерью.

«Николай Александрович, — писал отец, — мой однокашник еще по Корпусу Лесничих, ныне, как и я, служит мировым посредником в Тетюшском уезде. Посему советую тебе быть к нему и его дочери внимательным и гостеприимным, как это всегда водилось в нашем роду, и не докучать своими откровениями, которые среди нынешней молодежи называются правдой в глаза, а в наши времена назывались просто хамством. Будь снисходителен к слабостям других, ибо никто из нас не совершенен». Затем следовали коротко семейные новости и просьба: «В книжном магазине Дубровина спроси книгу «Нет более геморроя!!!» Зейберлинга. В газетах пишут, что книга сия знакомит с сущностью страдания доселе невыясненного геморроя и научит избавиться от него безо всяких последствий».

Хотя батюшка ни словом не обмолвился о цели путешествия своего однокашника, мне эта цель была вполне очевидною. «Ясно, — думал



я, — едет старый хрен из провинции в губернский город, чтобы сбыть залежалый товар, будто в губернском городе живут дураки». Впрочем, дураков в нашем городе, действительно, хватало вполне.

Мне в ту пору было двадцать шесть лет. Окончивши с отличием Казанский университет, я получил звание кандидата прав и служил следователем в окружном суде. Работа эта, при всех ее теневых сторонах, казалась мне крайне важною, особенно в нашем тридевятом царстве, весьма отсталом в правовом отношении, и отвечала моим стремлениям быть необходимым и полезным членом общества. Судебная реформа, тогда только что дошедшая до нашей губернии, открывала перед молодым и честолюбивым человеком весьма приятные перспективы.

Председателем у нас был Иван Пантелеевич Клемишев, старик, закоснелый в прежних привычках. Почитая себя англоманом, он любил употреблять английские слова, иногда кстати, а чаще совершенно не к месту, но английским традициям следовать не стремился. Сорокалетняя служба в старом суде наложила неизгладимый отпечаток на его представления о порядке отправления правосудия, от которых он не желал, да и не мог, пожалуй, избавиться.

— Дайте мне человека, — покуривая свою неизменную трубочку, обычно говаривал он, — и скажите, как его наказать, а уж причину и средство я найду-с, будьте уверены.

Несмотря на все изменения, происшедшие за последнее время, Иван Пантелеевич был твердо убежден, что лучше засудить десять невиновных, чем упустить одного виновного. Избавиться от подобного заблуждения он мог бы только в том случае, если сам попал бы в число десяти засуженных невиновных, но такая перспектива ему никогда не грозила.

К суду присяжных отнесся он как к неизбежному злу и умел так повернуть каждое дело, что обвиняемый получал все то, что получил бы и без присяжных. Обычно напутственные речи Клемишева содержали в себе подсказку желаемого вердикта и даже некоторую угрозу по отношению к присяжным, после чего последние не решались (или почти никогда не решались) принимать самостоятельное решение. Своим умением нажимать Клемишев гордился и говорил:

— Дайте мне хоть тыщу присяжных, я все равно настрою их так, что они поступят по-моему.

Либеральные веяния нашего времени считал он весьма зловредными, грозящими чуть ли не гибелью отечеству, в любви к которому Клемишев распинался при каждом удобном случае не только на службе, но и в домашнем кругу. Однако любовь к отечеству не мешала ему вести жизнь, которую никак нельзя было назвать праведной. Нос его от постоянного пьянства имел цвет и даже, я бы сказал, форму синего баклажана. Для выездов он держал баснословно дорогого рысака и устраивал званые вечера и балы, нисколько не соответствовавшие его жалованью и доходам с поместья.

Стоит ли говорить, что между мной и председателем суда постоянно возникали трения, усугублявшиеся еще и тем, что я ухаживал за его дочерью Лизой, или Лизи, как ее на английский манер звали дома.

Лиза была младшей дочерью в семье Клемишевых. Три старших давно уже были замужем, и две из них имели детей. А Лиза несколько засиделась в девицах, и к описываемому времени ей шел двадцать четвертый год. Нельзя сказать, чтобы она была очень красива, но даваемое за ней приданое (признаюсь, это имело для меня некоторое значение) вполне скрашивало общую картину. Впрочем, в ту пору она и так казалась мне достаточно привлекательной, умной и милой. Довольно часто я проводил у нее вечера. Потрескивал камин, журчала музыка, и ее белые руки плавно взмывали над клавишами. В такие вечера мне было хорошо и уютно и домой возвращаться никак не хотелось. Часто я думал о том, что как все-таки неправильна поговорка о яблоке, падающем недалеко от яблони. Лиза была красноречивым опровержением укрепившегося предрассудка. «Вот, — рассуждал я сам с собой в такие минуты, — ее отец — взяточник и лихоимец, имевший на своей совести (ежели таковая у него была) столько загубленных душ; что общего у нее может быть с ним?» И сам себе отвечал: «Ничего, кроме родства, в котором она, разумеется, неповинна». Я уже подумывал, не сделать ли предложение, но, дорожа своей весьма относительной свободой, каждый раз удерживался от этого шага. Однако отношения наши постепенно дошли до такой точки, когда мои постоянные посещения и сидения до позднего времени как бы обязывали уже меня к чему-то, и матушка

Лизы Авдотья Семеновна поглядывала на меня вопросительно и с каким-то невысказанным упреком, смысл которого я очень хорошо понимал.

Однажды вечером (примерно через неделю по получении батюшкиного письма, о котором я уже и думать забыл) сидел я в гостиной у Клемишевых. Мы были здесь с Лизой вдвоем. Она наигрывала что-то на рояле, а я сидел на атласном пуфике перед камином, вытянув ноги, смотрел на огонь и не думал, кажется, ни о чем. Как раз в этот день по делам службы пришлось мне выехать в уезд за пятнадцать верст от Казани. Продолавши по морозу дорогу в оба конца, я устал, замерз и теперь с удовольствием наслаждался музыкой, теплом и видом огня, который всегда производил на меня какое-то гипнотическое действие, то есть я мог смотреть на него, не отрываясь, часами. Так я сидел, испытывая глубочайшее наслаждение, почти равное счастью, когда Лиза запела. Она пела романс, сочиненный каким-то знакомым на слова Байрона — «So, We'll Go No More A-Roving...»¹. По правде говоря, я этот романс давно уже не любил, а если сказать точнее, то и вовсе ненавидел. Но когда-то он мне нравился, и я имел неосторожность сказать об этом. С тех пор меня угощали этим романсом всякий раз, когда я бывал в этом доме. Разумеется, исполнялись и другие мелкие вещи, тоже давно мне знакомые, но в конце или в середине игры делалась многозначительная пауза, бросался многозначительный и обещающий нечто необыкновенное (только для вас!) взгляд, тонкие белые пальцы медленно упали на клавиши и божественные звуки вызвали зуд в моем позвоночном столбе. Да, мне давно уж наскучил этот романс, он раздражал меня теперь настолько, что вызывал почти физическую боль, но я не находил в себе мужества попросить Лизу больше не делать мне этого подарка, я глупо улыбался и кивал головой, как бы в знак благодарности и одобрения, что она угадала заветнейшее мое желание, в то время как мне страстно хотелось схватить что-нибудь тяжелое и расколотить вдребезги этот инструмент, чтобы последним звуком, из него извлеченным, был бы звук рвущихся струн. И в этот раз я опять улыбнулся и кивнул головой, а потом сжал руками виски и наклонил голову, как бы приготовясь в который раз ис-

¹ Не бродить нам больше (англ.)

пытать наслаждение, а на самом деле только для того, чтобы скрыть истинные чувства, чтобы гримаса отращения, которая, возможно, появится на моем лице, не была бы замечена. И опять, как прошлый раз, как позапрошлый раз, как уже много раз до сих пор, я пытался отвлечься, но не мог и думал: «Это еще только первый куплет, и прежде, чем перейти ко второму, она повторит две последние строчки первого, а потом еще сделает несколько переходных аккордов и обязательно переберет своими прелестными пальчиками все клавиши до единой, вздохнет, сделает паузу и уж только после этого приступит ко второму куплету».

Так все и было. Лиза посмотрела на меня, обещающе улыбнулась (вызвав во мне фальшивую улыбку одобрения и благодарности) и уронила пальцы на клавиши. Медленно сыграла вступление и затем своим переливчатым голосом запела:

So, we'll go no more a-roving
So late into the night...¹

«Боже мой, — подумал я, — почему она, такая тонкая и чуткая, не понимает, что этот романс мне давно надоел. Пусть это самый гениальный из всех романсов, но нельзя же человека все время кормить одним и тем же. Допустим, я обожаю устрицы, но если есть устрицы ежедневно с утра до вечера, то кусок заплесневелого черного хлеба покажется пищей богов».

Я схватился за голову и, изображая величайшее наслаждение, отвернулся к огню.

Чтобы отвлечься, я стал думать о деле, которым занимался последнее время и которое меня волновало.

Главным действующим лицом этого дела был некий Анощенко. Господин Анощенко ведал одним из тех многочисленных департаментов, которые, казалось, для того только и были созданы, чтобы чиновники могли получать жалованье. Человек он был грубый, в своих поступках несдержанный, однако ввиду его близкого родства с губернатором, которому он приходился двоюродным братом, до поры до времени многое сходило ему с рук. Примерно около двух лет тому назад, выходя из церкви, Анощенко обратился к извозчику Правоторову, стоявшему неподалеку, чтобы тот отвез его домой. Из-

¹ Не бродить нам больше по ночам вдвоем (англ.)

возчик отвечал, что не может выполнить его просьбу, потому что занят другим седоком, который велел его ожидать. Анощенко был препорядочно пьян, и слова извозчика показались ему дерзкими. Он стащил последнего с козел и стал избивать кулаком в лицо, говоря при этом:

— Я столбовой дворянин, а ты, дрянь и ничто, смеешь мне перечить! Царь тебя освободил от рабства, а я тебя бил и бить буду дальше.

Отвратительно то, что вокруг толпился народ, многие были возмущены, но никто не посмел вступить за избиваемого, пока тот не догадался вскочить на козлы и удрать.

Извозчик после этого жаловался в полицию, где, зная о связях Анощенко, жалобу оставили, естественно, без последствий, обещав разобраться. Два дня после избиения извозчик еще работал, но на третий день почувствовал себя плохо, слег, впал в бредовое состояние и еще сутки спустя, не приходя в сознание, умер. Медицинская экспертиза была произведена наспех и не дала ничего. Дело, возбужденное против Анощенко, было закрыто за недоказанностью того, что смерть извозчика Правоторова наступила как результат избиения, Анощенко отделался легким испугом и, как было слышно, похвалялся перед своими подчиненными, что может делать все, что захочет, потому что его никто не посмеет тронуть. Так бы оно, конечно, и было, но с введением у нас судебной реформы кто-то из адвокатов посоветовал вдове извозчика обратиться в новый суд. Прошение о пересмотре дела попало к Ивану Пантелеевичу, который и препоручил его мне, сказав при этом, что оно гиблое, за давностью ничего доказать невозможно. Иван Пантелеевич советовал провести формальное следствие и как можно скорее отправить дело в архив.

Я, однако, ознакомившись с делом, не стал руководствоваться напутствием своего начальника, и вот почему. Размышляя над делом, я думал, что смерть, вероятно, была все же следствием избиения, ибо соседство этих двух событий иначе трудно было бы объяснить. Конечно, могло быть и случайное совпадение. Я это признаю. Сегодня человека избили, а завтра он простудился и умер. Отчего нет? Однако я лично склонен даже в случайностях искать закономерность. Отчего же умер Правоторов? Если удары Анощенко оказались смертельными, то почему потерпевший не умер сразу? Почему он

еще два дня работал, и, как видно из материалов дела, в полную силу? Тут можно было предположить две вещи. Либо избиение это было сильным нервным потрясением, которое в конце концов привело к смерти, но тогда доказать что-нибудь почти невозможно. Либо во время избиения были повреждены какие-то внутренние органы, причем повреждения были такого рода, которые дают эффект не сразу, а по прошествии некоторого времени. Но что это могли быть за повреждения и что можно выяснить теперь, когда труп, конечно, давно разложился?

Между тем дело опять получило огласку. В народе поговаривали, что Анощенко вновь выйдет сухим из воды, потому что дворяне, заседающие в новом суде, те же самые, что заседали и в старом, — дескать, ворон ворону глаз не выклюет и т. д. Так что дело получило не только юридическую, но и чисто нравственную сторону. Надо было не только наказать преступника, но и доказать публике, что новый суд — суд настоящий, что перед ним все равны, и равны не на словах, а на деле, от первого помещика до последнего мужика. Существовала, разумеется, и другая точка зрения. Мне передавали слова нашего губернатора Скарятин: «Передайте этому следователю, что использовать новые законы для шельмования уважаемых людей мы не позволим». Но я не поддавался. Конечно, стоило мне убедиться, что Анощенко не виноват, я сразу бы от этого дела отступился. Не стал бы возводить напраслину на человека только затем, чтобы доказать торжество нового суда, ибо таковое видел исключительно в достижении справедливости. Но я подозревал, и сильно подозревал, что между избиением Правоторова и его смертью есть прямая связь, и поэтому от дела не отступался, хотя совершенно в нем запутался.

— Вы о чем думаете? — Окончив романс, Лиза смотрела на меня удивленно, не видя ожидаемой благодарности.

— Я думаю об Анощенко, — сказал я.

— Ой, — поморщилась она. — Дался вам этот Анощенко. Все равно ничего не докажете, только наживете себе неприятностей. Папа говорит, что вы зря ввязались в это дело.

— Точка зрения вашего папы мне известна, — сказал я.

— Вот вы у него и учётесь. Он в суде работает побольше вашего и на этих делах собаку съел.

— Не спорю, но надо когда-то и мне съесть свою собаку.

— Между прочим, этот Анощенко очень хороший человек, мне про него говорили. А что касается извозчика, то я уверена, что он просто простудился. Пьяный валялся где-нибудь в канаве, вот и заболел.

— Известно, что Правоторов не пил, — сказал я.

— Ну уж и не пил, — не поверила она. — Да где вы видели непьющего извозчика? Все они пьяницы, как один.

— Лиза, — невольно вздохнул я, — не надо так говорить. Есть среди извозчиков пьяницы, но говорить, что все они таковы, неправильно. Говоря нашим специфическим языком, в пользу вашего утверждения нет достаточных доказательств.

— Когда я в чем-нибудь уверена, — с пафосом сказала она, — мне не нужно никаких доказательств.

Я улыбнулся.

— К счастью для нашего правосудия, — сказал я, — вы не сидите в судейском кресле.

— Если вы хотите меня обижать, — она надула губки, — вы можете это делать сколько угодно. Я же говорю только для вашей пользы, тем более что все этим делом недовольны, и губернатор тоже.

— Я это знаю, — сказал я, подбрасывая в камин дрова. — Но я поставил себе за правило поступать сколько возможно только по закону и справедливости и не ставить свои поступки в зависимость от мнения губернатора.

— Не понимаю, почему вы непременно хотите наказать этого несчастного Анощенко?

— Я вовсе не хочу его наказать. Я хочу выяснить истину, и ежели Анощенко виноват, то будет наказан, а ежели не виноват, то наказан не будет. Пока что обстоятельства говорят против него. Он избил человека, избил жестоко, человек этот после избиения заболел и умер. Не поставить в связь эти два события я, как как следователь, не могу.

— Вы слишком придираетесь к формальностям, — сказала она с досадой.

— Боюсь, что, если б эти формальности касались вас, вы бы ими весьма живо заинтересовались.

— Благодарю вас, — обиделась она пуще прежнего. — Вы меня уже сравниваете с каким-то пьяным извозчиком.

Голос ее задрожал, в глазах появились слезы. Она отвернулась.

— Милая Лиза, — сказал я поспешно. — Поверьте, я никак не хотел вас обидеть, но давайте не будем обсуждать то, что вам, может быть, не очень понятно.

— Выходит, я так глупа, что это не может быть мне понятно?

— Ничего не выходит. Но в правосудии, как в медицине, каждый считает себя компетентным. Всем все кажется просто. Но это целая отрасль науки, которой надо заниматься профессионально. Вы поймите, не зря же я обучался этому делу столько лет в университете и после него. Так что давайте не углубляться в профессиональные темы, тем более что нам есть о чем поговорить. Вы будете в субботу на балу в купеческом собрании?

— А вы?

— Это зависит от вас. Если вы там будете, то мне тоже ничего не останется, как быть там.

— А я бы сказала так: если вы там будете, то мне там нечего делать.

— Лиза, я вас прошу, не сердитесь. Ну скажите же, что вы на меня не сердитесь и что будете на балу.

— Может быть, — наконец смягчилась она.

— Если женщина говорит «может быть», это значит «да».

— Глупец вы, братец, несмотря на то что так долго учились в университете и после него, — она улыбнулась, хотя на глазах ее еще блестели слезы.

— Ну вот, вы уже улыбаетесь, и очень хорошо, — обрадовался я. — Не сердитесь. Don't be angry with me¹, как сказал бы ваш батюшка.

Вскоре мы расстались. Признаюсь, я возвращался к себе в несколько подавленном настроении. То, что произошло между нами, нельзя было назвать ссорой, скорее это была просто мелкая стычка, к тому же благополучно окончившаяся, но я невольно подумал о зря поте-

¹ Не сердитесь на меня (англ.)

рянном вечере, об этом навязшем в зубах романсе, о Лизиней самоуверенности, о некомпетентном разговоре, от которого мне стало скучно. «Все же что-то в ней есть от батюшки-англомана, — невольно подумалось мне. — Вот так женишься и будешь выслушивать глупые сентенции каждый день. Нет, все же торопиться не нужно, хотя я, конечно, люблю ее. Да, я люблю ее», — сказал я самому себе, но не очень уверенно.

Глава вторая

Подъехав к своему дому, я нашел двери его распахнутыми настезь, несмотря на мороз. Из дверей на синий искрящийся снег падал яркий свет и вырывались клубы пара, в которых мелькали торопливые фигуры людей, нагруженных дорожными вещами. Лошади, запряженные в простую кибитку, тяжело вздували бока, покрытые густым инеем, словно попонами.

— К вам гости, барин! — объявил мне вынырнувший из темноты мой старый слуга Семен, выражая голосом своим радость, что на меня свалилось такое счастье.

Я быстро поднялся на крыльцо и застал в передней пожилого высокого господина в медвежьей шубе. Рядом с ним стояла девица в дубленом ладном полушубке и пуховом платке, лет ей на первый взгляд было не больше пятнадцати. При моем появлении высокий господин двинулся мне навстречу и, подавая руку, сказал, как мне показалось, несколько смущенно:

— Николай Александрович Фигнер, дворянин Тетюшского уезда.

— Знаю, — сказал я, — я уже батюшкой про вас извещен.

— А это моя дочь Вера, прошу, как говорится, любить и жаловать.

— Очень рад, — сказал я, целуя красную и холодную с мороза ручку, которая казалась столь маленькою и хрупкою, что в мои руки ее брать было боязно.

— Надеемся, что мы вас не очень обеспокоим, — сказал ее отец, — но ежели что, прошу вас не стесняться, скажите прямо, и мы съедем без всякой обиды. Люди мы простые, можем устроиться и на постоялом дворе, да и знакомых у нас здесь, слава богу, хватает.

Разумеется, это была всего лишь дань хорошему то-

ну, и, ответь я на его просьбу утвердительно, он обиделся бы на всю жизнь, однако я по тем же правилам тут же заверил его, что ни он, ни его дочь меня нисколько не стеснят и могут вполне распоряжаться моим домом, как своим, занявши второй этаж. Старик благодарил меня в самых изысканных выражениях.

Когда мы встретились в столовой за чаем, я увидел, что Вера несколько старше, чем показалась мне с первого взгляда. Она была одета в синее скромное платье с белым отложным воротничком. У нее были темные, заплетенные в тяжелую косу волосы, правильные черты лица, тонкий нос и глаза живые, смотрящие на все, что им открывалось, с неподдельным интересом. Ее поведение обличало в ней провинциальную девушку, не привыкшую к мужскому обществу и потому чрезмерно застенчивую, хотя мне показалось, что эта застенчивость ненадолго, до нескольких выходов в свет.

— Вы первый раз в Казани? — спросил я не потому, что мне это было в самом деле интересно, а просто чтобы поддержать разговор.

— Нет, я здесь жила шесть лет, — сказала она, задевшись от смущения.

— Странно, что мы с вами нигде не встретились раньше, — сказал я.

— Казань все-таки большой город, — сказала она.

— Дело не в том, что Казань большой город, — сказал отец, — а в том, что ты училась в закрытом заведении. В Родионовском институте, — повернулся он ко мне.

В Родионовском институте один мой знакомый преподавал когда-то географию, но потом был изгнан за какие-то амурные дела. Я вспомнил о нем. Постепенно мы разговорились, и Вера сказала мне, что полученным образованием она совершенно недовольна, хотя при выходе и получила отличие. Единственное, что она хорошо усвоила, — это латынь и закон божий, а преподавание других предметов оставляло желать лучшего. Например, литература давалась лишь до сороковых годов, из современных писателей говорили об одном Тургеневе, да и того читали только «Муму».

— Ну в конце концов, — сказал я, — литература такой предмет, который не обязательно постигать в школе. И кроме того, в школе сколько бы ни давали литературы, все равно этого будет мало.

— А девице все эти премудрости знать вовсе и не обязательно, — вмешался отец. — Надо только научиться немного французскому, немного брэнчать на рояле да детей воспитывать.

Вера смутилась, покраснела и с упреком посмотрела на родителя.

— Почему уж так, — поспешил я ей на выручку, — такое представление о женщине не совсем современно. Почему бы женщине не заняться каким-нибудь доступным ей делом, например медициной?

— Ну и что хорошего?

— Нет и ничего дурного, — сказал я. — Среди женщин и сейчас немало есть акушеров и повитух, отчего же им и не быть врачами?

— Такого никогда не бывало.

— Раньше не бывало и паровых машин, а вот же ходят теперь поезда, и никого это не удивляет. Прошу прощенья, но я вашу точку зрения разделить не могу. Считаю бессмысленным стоять поперек пути нового, ибо оно все равно пробьется, и лет эдак через пятьдесят ученая женщина никому не будет в диковинку, уверяю вас.

— Не дай бог.

— Напрасно вы так говорите, Николай Александрович. Вот ведь недавно еще крестьяне были крепостные, и казалось, что так и должно быть, потому что так велось испокон веку. Однако вот их теперь освободили, и многие считают это правильным.

— Это вы не равняйте одно к другому. — Старик воодушевился, и глаза его заблестели. — Крестьян освободить давно надо было. Я вам больше скажу: ежели бы их не освободили и они бы восстали, я встал бы во главе их.

— Если бы они вас взяли, — поправил я.

— А почему бы им было меня не взять?

— Да хотя бы потому, что если и возникает какое движение, то оно сразу выдвигает и своих руководителей, которых никто со стороны не ищет.

Старик замолчал, насупил брови. Может быть, он согласен был с моими словами, и все же чувствовал некоторую обиду, что я не доверяю его гарибальдийским возможностям. Помолчав так некоторое время, он поднялся из-за стола, сказав, что пора на покой.

— Отдохнуть надо с дороги, да и вообще, знаете ли, мы люди деревенские, ложиться привыкли рано.

В этих его словах тоже почувствовал я уклончиво высказанную обиду. Он как бы говорил, что по понятиям «деревенских людей» яйца курицу не учат. Я не стал укреплять в нем это чувство обиды и, проводив обоих на второй этаж, зашел к Семену распорядиться, чтобы тот принес теплые одеяла.

Семен, крепкий еще семидесятилетний старик, жил в угловой комнатенке.

Я застал его стоящим на коленях под иконой, освещенной тусклой лампадкой.

Научась самостоятельно грамоте, он употреблял ее на то, что составлял ежедневно длинный перечень просьб, с которыми, поминутно заглядывая в сей документ, обращался вечерами к всевышнему. Списки эти он хранил у себя в деревянной простой шкатулке, перечитывал их на досуге и против сбывшихся пожеланий ставил крест и писал в скобках: «Сполнено».

— Осподи, вразуми раба своего Федора Рябого, чтобы отдал целковый, даденный мной на масленую, — бормотал он, — подскажи барину, чтобы раздетый на улицу не выбегал, неровен час застудится. Племянница моя Дунька, которая в деревне живет, понесла от Гришки Кленова, скажи ему, чтоб женился, а коли не женится, сделай ему какую ни то неприятность либо болезнь, дабы впредь неповадно было девок портить, а Дуньку тоже накажи как хошь, только поимей в виду, что она ишо молодая и глупая, опосля и сама опомнится, да будет поздно, а ишо поясница у меня болит со вчерашнего, так сделай милость, пушай пройдет, хворать-то некогда, делов много. А купец Балясинов собаку держит непривязанную, Лешку, мальчонку нашего, она уже покусала, глядишь, еще кого ухватит.

Увидев меня, старик смутился и скомкал бумажку.

— Семен, — сказал я ему улыбаясь, — что ж ты у господ ерунду всякую просишь? Попросил бы сразу чего-нибудь побольше.

— Да ведь, барин, на большее он, пожалуй, осердится, — сказал Семен, не подымаясь с колен, — а из ерунды, может, чего и подаст.

— Ерунды-то уж слишком много просишь.

— Я все прошу, а ежели он хоть что-нибудь даст, и за то спасибо.

— Ну ладно, — сказал я. — Если еще недолго будешь молиться — молись, а если долго, то сейчас сходи сам

или пошли кого-нибудь, пусть принесут гостям теплые одеяла, а то ведь окна заклеены плохо, дует, еще застудим с тобой гостей.

Глава третья

Перелистывая в который раз дело Анощенко, я случайно обратил внимание на упоминание о каком-то перстне, найденном на месте происшествия. Это упоминание содержалось в протоколе, составленном участковым приставом, еще когда был жив Правоторов. Записано в виде вопроса и ответа.

«Вопрос: На месте происшествия найден вот этот перстень. Он принадлежит вам?»

Ответ: Нет, этот перстень я первый раз вижу».

И все. Но почему-то меня вдруг заинтересовало: что за перстень? Почему был задан такой вопрос? Я всегда помнил, что в нашем деле нельзя пренебрегать мелочами. Мелочи иногда говорят больше, чем от них ожидаешь. Я заглянул в последний лист дела, где обычно содержится опись вещественных доказательств, но никакой описи не обнаружил. Это было естественно. Какие могут быть вещественные доказательства, если произошла обыкновенная кулачная потасовка, правда, приведшая к необычным последствиям. Не могу сказать, чтобы я сразу придавал большое значение своему открытию, но на всякий случай я отыскал пристава, составившего протокол. Я говорю «отыскал», потому что пристав этот, изгнанный из полиции за пьянство, теперь служил надзирателем в тюремном замке. Бывший пристав не сразу вспомнил, что действительно в его протоколе упоминался перстень, но упоминался только потому, что его нашли на месте драки и не знали, кому отдать.

— Перстенок-то был дурной, черный, потому-то его и не уперли, — говорил пристав, глядя на меня преданными полицейскими глазами. — Вот я и спросил господина Анощенко, не его ли. А то ведь как что, так сразу говорят, что в полиции, дескать, самые воры и сидят. Ну, а раз господин Анощенко перстенок не признал, то мне и спрашивать больше нечего.

— И куда вы его дели? — спросил я.

— Сейчас и не упомню, — смутился пристав. — Да вы не сомневайтесь, себе я его не взял. Кабы он золотой

был или хотя б серебряный, а то ведь перстенишко так себе — одна дрянь.

— Все же мне бы хотелось, чтоб вы припомнили, — настаивал я.

Чем труднее казалось добыть этот перстень, тем почему-то важнее мне мнилась тайна, скрытая за ним, и тем большее упорство проявлял я в отыскании этой безделицы.

В конце концов пристав припомнил, что, кажется, в левом ящике его бывшего стола лежал этот перстень. Поехал я опять на бывший участок этого бывшего пристава, попросил нового пристава открыть стол, но искомого опять-таки не нашел ни в левом ящике, ни в правом. Но тут появилась еще одна ниточка: новый пристав сказал, что стол недавно ремонтировали и уж не столяр ли украл. Он обещал мне вызвать этого столяра и узнать.

Розыски перстенька на первый взгляд, может, и были совершеннейшей ерундой, но на эту ерунду я потратил тогда дня три или четыре. Занятый этими поисками, я иногда вовсе забывал про своих гостей, с которыми у меня, впрочем, сложились вполне дружеские отношения. Правда, старика Фигнера мне приходилось видеть довольно редко. Целый день он пропадал по своим делам, то закупая какие-то жернова, то навещая детей (как-никак две дочери учились в институте, а два сына в гимназии), то наносил визиты друзьям и знакомым. Вера часто оставалась дома, и мне случалось говорить с ней о том, о сем. Сперва разговоры наши проходили в несколько натянутой атмосфере, какая возникает между не очень знакомыми мужчиной и молодой девушкой, однако ж мы вскоре сблизились, и отношения наши стали вполне свободными и дружескими, с тем, правда, оттенком шуточной снисходительности с моей стороны, который был следствием разницы в возрасте.

Вот я сижу в своем кабинете, в который раз перечитывая дело Анощенко. Входит Вера.

— Алексей Викторович, я вам не помешаю?

— Помешаете, — говорю я грубо, но шуточно, в том именно тоне, который между нами установился в последнее время.

— А что делать, если мне скучно?

— Займитесь чем-нибудь.

— Мне надоело заниматься.

— А что делает ваш батюшка?

— Сказал, что поехал куда-то с деловым визитом, но я думаю, что на самом деле он играет где-то в картишки. Он большой любитель этого дела.

— Уж лучше играть в карты, — говорю я, — чем сло- няться по дому без дела или вертеться перед зеркалом.

— Не думаю. Вы знаете, я всю жизнь чем-нибудь за- нималась. То меня учили французскому языку, то тан- цам, то музыке. Потом шесть лет в институте, в четырех стенах. С ума сойти! Столько времени потрачено зря!

Я молчу, читаю. Все-таки хотелось бы понять, что за перстень был обнаружен на месте избияния, кому он принадлежал и какое он имеет ко всему этому отноше- ние.

— Алексей Викторович, как вы думаете, я могу ко- му-нибудь понравиться?

— Сомневаюсь.

— А почему? Разве я некрасивая?

— А вы сами как думаете?

Она смотрит в зеркало.

— Мне кажется, что я миловидная.

— Не знаю, с чего вы это взяли.

— А что? У меня правильные черты лица, большие глаза, темные волосы, благодаря которым домашние зовут меня Джек-Блек. Пожалуй, мне кто-нибудь может даже предложение сделать.

— Не думаю. Разве что по расчету.

— По расчету я не хочу. Я скажу папе, чтобы он не давал за мной никакого приданого, тогда если кто-ни- будь, пускай самый некрасивый и жалкий человек, сде- лает мне предложение, я буду знать, что он меня любит.

Я продолжаю читать. Молчу, и она молчит. Смотрит в зеркало. То подойдет вплотную, то отойдет. Нахмурит- ся, улыбнется. Я не выдерживаю:

— Вера, вы серьезный человек?

— Очень.

— Почему же вы проводите время впустую? Неуже- ли вам нечем заняться?

— Абсолютно нечем. — Она вздыхает.

— Почитали бы книгу.

— Ах, зачем мне нужны ваши книги. Я их уже все прочла.

— Да вы читали небось все какую-нибудь ерунду, беллетристику. Да?

— Да.

— Кто ваш любимый писатель?
— Тургенев.
— «Муму»?
— Зачем же? «Первая любовь» гораздо интереснее.
— И Пушкина любите?
— Пушкина люблю. А что, нельзя?
— Нет, отчего же? Но все это литература развлека-
тельная, она действует на чувства, но не дает достаточ-
но пищи уму. (Признаюсь, в то время я именно так и
думал.) А вам надо читать Герцена, Писарева, Черны-
шевского, наконец, если достанете.

— Правильно, — покорно соглашается она, но в гла-
зах прыгают чертики. — Теперь для того, чтобы выйти
замуж, мало говорить по-французски и играть на фор-
тепьяно, теперь еще надо читать Чернышевского и спать
на гвоздях. Хорошо, Алексей Викторович, я попробую.

— Милая мисс Джек-Блек, скажите честно, вас в
детстве пороли?

— Еще как. Отец однажды плетью чуть до смерти
не забил.

— Видно, это вам впрок не пошло. Вы видите, что
я занят?

— Вижу.

— Вы можете меня оставить в покое?

— Могу.

Она уходит, но тут же возвращается:

— Алексей Викторович!

— Что вам еще? — Я нарочито груб.

— Вы возьмете меня на бал?

— Вас? — говорю я в притворном ужасе. — Еще че-
го не хватало!

— А что, вам стыдно со мной появиться на людях?

— Очень стыдно.

Она вздыхает:

— Я вас понимаю. У меня очень легкомысленный
вид. Алексей Викторович, а если я постараюсь вести се-
бя хорошо?

— У вас это не получится. Кроме того, на балу будет
моя невеста.

— Ваша невеста? Как интересно! А кто она такая?
Она красивая?

— Очень.

— Даже красивей меня?

— Никакого сравнения.

— Ну ладно. Езжайте себе на бал со своей невестой, а я останусь дома, как Золушка. Возьму у вашей Дуняши старое платье, стоптанные башмаки и буду чистить самовар или мыть посуду.

— Очень хорошо, вам на кухне самое место. А теперь идите, вы мне мешаете.

— Ухожу, ухожу, — говорит она, но в дверях оставалась: — Алексей Викторович!

— Ну что еще?

— А ваша невеста очень ревнива?

— Безумно.

— Значит, вы меня не хотите брать, потому что боитесь, что ваша невеста будет вас ревновать?

— Вот еще, — возражаю я. — Моя невеста из хорошей семьи и очень воспитанна. Я вас возьму на бал, но при одном условии.

— При каком?

— Вы мне дадите слово, что будете вести себя прилично. Обещаете?

— Алексей Викторович, я буду вести себя так прилично, что вам даже скучно станет.

В субботу, освободившись от службы ранее обычного, я вернулся домой, где и застал, к удивлению моему, своих постояльцев. Мы встретились за обедом, и я спросил Николая Александровича, не обижает ли его мое частое отсутствие.

— Бог с вами, — сказал старик, — мы и так благодарны вам за приют, а об остальном вам беспокоиться нечего. Все дни проводим в разъездах по родственникам и знакомым.

За столом зашел разговор о происшедшем в Москве убийстве, слухи о котором докатились до нашего города. Сторожем московской Петровской земледельческой академии был выловлен в пруду труп студента Иванова, сперва раненного из револьвера, а затем задушенного и утопленного при помощи кирпича, привязанного к шее. Слухи расплзались самые разнообразные. Говорили, что убит он из ревности неким жандармским полковником, уличившим его в связи со своей женой; промелькнула, но, правда, быстро заглохла версия о ритуальном убийстве евреями. Самый же распространенный был слух, что студента убили его же товарищи. Что бы-

ла будто бы создана обширнейшая революционная организация, распространившаяся по всей России, и ответвления этой организации есть и в нашем городе.

Фамилию Нечаева и кое-какие подробности мы узнали потом, спустя года полтора или два, но тогда печать молчала, давая возможность распространяться самым невероятным слухам. На Николая Александровича почему-то наибольшее впечатление произвело то, что в кармане убитого (опять-таки по слухам, впоследствии подтвердившимся) были найдены часы.

— Даже часы не взяли! — расхаживая по столовой, восклицал Николай Александрович.

— Стало быть, если бы они убили студента да еще взяли бы часы, так это было бы лучше?

— Гораздо лучше, — уверял меня Николай Александрович. — Гораздо! Тогда по крайней мере понятно. Человек слаб. Может не удержаться. А коли ничего не взяли, так в этом-то и есть самое ужасное. Как вы не можете понять, вы же следователь. Нет уж, Алексей Викторович, не примите на свой счет, но молодежь нынче пошла ужасная. Я понимаю, старики всегда жаловались на молодежь, но я к их числу не принадлежу. Я к молодежи всегда относился со всем сочувствием, но когда происходит такое, тут уж извините-с. Да-с, — повторил он почему-то весьма ядовито, вкладывая в это «с» на конце слова весь яд. — Извините-с!

Напрасно я пытался его убедить, что молодежь здесь совершенно ни при чем, что среди молодежи есть достаточное количество благонамеренных и даже сыщиков и доносчиков, так же как, впрочем, и среди лиц более старших поколений, но ни по нигилистам, ни по сыщикам никак нельзя судить о всей молодежи или о всех стариках. Хотя старики, конечно, даже по самому анатомическому строению своих клеток, уменьшенной подвижности организма и устойчивости привычек, конечно, в целом более консервативны, чем молодежь.

— Старшие поколения, я не говорю о вашем поколении, но о ваших отцах, тоже были не очень спокойного нрава и выходили на Сенатскую площадь не с самыми миролюбивыми намерениями.

— Да что вы равняете! — возмутился Николай Александрович. — Декабристы были чистейшие люди. Будь я взрослым в то время, я и сам был бы декабристом.

— Не сомневаюсь, — сказал я. — Хотя декабристом при желании можно быть во всякое время.

— Ну уж вы и загнули, батенька мой! — покачал головой Николай Александрович. — Да тогда были совсем другие условия, рабство. А сейчас...

— Да я вам не про сейчас, а про ваше время. В ваше время тоже было рабство в той же самой форме, что и при декабристах, однако что-то не слышно было никаких протестов. Николая Первого, жандарма, почитали чуть ли не за благодетеля. Повесил только пятерых декабристов, а мог ведь повесить и всех. А то, что он всех остальных медленно гноил в рудниках, это лучше, что ли?

— Я и не спорю, Алексей Викторович, — примирительно сказал старик. — Много было недостатков, но за всем этим надо видеть и главное, а вот вы за деревьями леса не видите. В конце концов, все сразу не делается. Власть поняла, что рабство есть, по существу, пережиток, и ликвидировала его. Так что теперь-то против чего восставать?

— Да честному человеку, который живет в наше время не с закрытыми глазами, всегда есть против чего восставать.

После обеда я сообщил Николаю Александровичу, что еду на бал в купеческий клуб и возьму с собой его дочь, если, конечно, у него нет против этого возражений.

— Напротив, — растрогался старик. — Буду вам весьма обязан. А то я все по делам да по делам, а ей скучно.

Старик-то против не был, но у меня имелись сомнения. Можно говорить сколько угодно о безразличном отношении к нашему так называемому обществу, но совершенно пренебрегать его мнением осмеливаются немногие. И признаюсь, меня вполне заботила мысль о том, как будет воспринято мое появление на балу с Верой.

«Но ведь в этом нет ничего особенного. Вера — моя гостья, почему же мне не проводить свою гостью на бал, тем более что это первый бал в ее жизни».

Так я себя уговаривал, но конечно же понимал, что стоит нам появиться вдвоем, как все непременно обратят на это внимание. Все наши сплетницы и сплетники тут же обсудят эту новость между собой. Никто, возможно, не скажет прямо, что вот, мол, приехал молодой Филиппов, который решил переменить невесту или по крайней мере поволочиться за приезжей красоткой, все

будут выражаться обиняками, как бы между прочим, как бы и не видя в этом ничего особенного, но воспримут это событие именно как демонстрацию, и многие этим обстоятельством будут втайне довольны.

Глава четвертая

Когда мы прибыли, съезд гостей был в самом разгаре. Не успевал отъехать один экипаж, как его место занималось другим, только что подъехавшим. Как раз перед нами выскочил из санок бывший мой однокашник Носов. Я окликнул его, но он уже нырнул в двери. Я спрыгнул на снег и подал руку Вере.

У крыльца толпились любопытные, привлеченные предбальной суматохой, и во все глаза разглядывали важных господ (которые от этого становились еще более важными), проходящих в ярко освещенный вестибюль. Швейцар, принимавший наши шубы, был, как всегда, приветлив. Увидев нас с Верой, он никак не выразил удивления, но я совершенно точно знал, что про себя он все же отметил: вот приехал Филиппов с новой барышней. На мое счастье, Носов крутился еще возле гардероба. Он стоял перед зеркалом, прилизывая свои редкие волосы, равномерно распределяя их по темени. Он мне очень кстати попался под руку. Мы можем войти в залу втроем, так что никто не поймет, с кем из нас явилась Вера: со мной или с Носовым. Я подозвал его, и он охотно подошел своей несколько развинченной походкой баловня судьбы и ловеласа.

— Вера Николаевна, — сказал я несколько преувеличенно торжественно, — позвольте представить вам моего бывшего однокашника, а ныне известного в нашем губернском масштабе литератора.

— Очень рад, — сказал Носов, наклоняясь к ее руке так, чтобы не рассыпались волосы. — Какое удивительное создание! — Он смотрел на Веру с нескрываемым восхищением.

— Ты еще должен сказать: откуда вы такая?

Носов засмеялся:

— Старина, ты слишком хорошо меня знаешь. А в самом деле, откуда?

Вера смущенно улыбнулась.

— Вера Николаевна, — поспешил я на помощь, —

моя гостья. Она приехала из Тетюшского уезда и гостит у меня вместе со своим отцом Николаем Александровичем Фигнером. Ты, конечно, слышал.

— Ну еще бы! — воскликнул Носов. — Сын известного партизана?

— Нет, — смущенно сказала Вера. — Мы просто одноклассницы. Александр Самойлович не родственник нам. Кроме того, он умер за четыре года до рождения папы.

— Очень жаль, — почти серьезно сказал Носов. — А я, признаться, был абсолютно уверен. В ваших глазах есть что-то, я бы сказал, героическое. Ну что, пойдете в залу?

Вера вопросительно посмотрела на меня.

— Пожалуй, пойдём, — сказал я.

Разумеется, на нее обратили внимание. Дамы и мужчины, стоявшие группками и сидевшие в креслах, отвечали на мои поклоны и задерживали взгляды на Вере. Появление на балу новой, да к тому же еще и весьма привлекательной девушки, в любом случае обратило бы на себя внимание, но я ясно сознавал: все замечают, что она идет со мной, а не с Носовым, хотя я намеренно и старался отставать на полшага. Носов же, в отличие от меня, чувствовал себя в своей тарелке. Нарочито громко, чтобы слышала Вера, спросил он, читал ли я в одном столичном журнале его очерк о земских больницах.

— Нет, — сказал я, — пока не читал.

— Напрасно, — сказал Носов отечески, как бы даже сочувствуя мне. — Прочти обязательно, получишь огромное удовольствие. Цензура, конечно, как всегда, выбросила самое лучшее, но кое-что все же осталось. Кстати, — теперь он понизил голос, — ты не мог бы одолжить мне десять рублей на несколько дней? Понимаешь, вчера у Скарятинных в преферанс играли, ну и, как обычно, продулся.

Скарятин — наш губернатор. Сказал все это Носов для того, чтобы, во-первых, получить желаемое, во-вторых, чтобы заодно подчеркнуть свою близкую связь с губернаторским домом. Я знал, что одолжить ему деньги — все равно что выбросить, и в другое время не дал бы, но сейчас мне нужен был его союз, я полез в карман и, на ощупь вытащив из бумажника империял, незаметно сунул его Носову.

Я уже сказал, что мы с Носовым были однокашники.

Но он университета не кончил. Сейчас, задним числом, он любит говорить об этом многозначительно и туманно, намекая, что исключение его находится в прямой связи с политикой и событиями, имевшими для России самое серьезное значение. Тогда же дело обстояло несколько иначе. Его действительно выгнали на втором году обучения, потому что многочисленные выходки его переполнили чашу терпения университетских преподавателей. Последней каплей была следующая история. У нас был один профессор, большой любитель фольклора. Он преподавал общее право, но любимым его коньком было толкование русских пословиц и поговорок, которых он почитал себя замечательным знатоком. Однажды во время лекции этого профессора Носов послал ему записку с вопросом, что означает поговорка «Закон лежит, вода бежит». Профессор был очень доволен, тем более что поговорка, по его мнению, соответствовала теме лекции. Он стал объяснять, что поговорка отражает известную косность наших законов, которые не поспевают за изменениями быстротекущей жизни.

— Вот и получается, — сказал профессор, — что жизнь как река, она течет, меняется, становится другой, а старый закон, как камень, лежит на ее пути.

Как только он это сказал, на скамейке, где сидел Носов, и вокруг него раздался смех, после чего Носов поднялся и сказал:

— Ваша отгадка, господин профессор, неправильна. Закон лежит, а вода бежит — это прокурору клизму ставят.

Тут уж и вовсе раздался дружный смех всей аудитории. Профессор побагровел, затопал ногами (с ним чуть припадок не сделался) и закричал:

— Вон! Чтобы больше вашей ноги здесь не было!

— Как вам угодно, господин профессор, — сказал Носов и, вставши на руки, на руках же вышел из залы.

После этого он и был исключен и теперь пробовал себя на литературном поприще, хотя, по-моему, главной его целью было как можно выгоднее жениться.

Большая зала была ярко освещена газовыми рожками. Дамы блистали нарядами, драгоценностями и ослепительными улыбками, успевая при этом за одну секунду смерить неодобрительным взглядом каждую вновь прибывшую гостью, подозревая, очевидно, в ней вкус выше собственного. Все стояли или сидели, разбившись

на группки, переговариваясь между собой, и разговоры эти сливались в один ровный гул.

Лизу я увидел сразу. Она и Авдотья Семеновна сидели в креслах недалеко от дверей. Авдотья Семеновна старательно ела мороженое и не менее старательно разглядывала туалеты находящихся рядом с нею дам. Лиза рассеянно слушала незнакомого мне гвардейского офицера, который рассказывал, наверное, что-то очень занимательное, потому что размахивал руками, изображая нечто похожее на сабельный бой. По лицу Лизы я видел, что рассказ офицера ей совершенно неинтересен, издали было заметно, что она думает о чем-то другом. Вот она улыбнулась офицеру, подняла голову, и мы встретились взглядами. Хотя я и считал искренне, что в моем появлении с Верой нет ничего предосудительного, я все же смутился и глазами попытался показать Лизе, что это именно ничего и не значит. На мое счастье, Носов был еще здесь. Я попросил прощения у Веры и отвел Носова в сторону.

— Послушай, старина, — сказал я ему. — Будь друг, займи пока мою гостью, мне надо отлучиться.

Он сразу все понял.

— Давно пора отлучиться, — сказал он. — Лиза — девушка строгая, твое отсутствие может дорого тебе обойтись.

— Значит, ты с ней побудешь и не оставишь ее? — спросил я о Вере.

— О чем речь, — сказал он. — Почту за счастье.

Мы вернулись к Вере, я потоптался еще с полминуты, а затем, извинившись и сказав, что поручаю заботу о ней своему другу и скоро вернусь, отошел.

Когда я подошел к Лизе, перед ней все еще стоял гвардейский офицер.

— ...И вот однажды, — продолжал он какой-то свой рассказ, — играли мы в карты у командира, а командир, надо вам сказать, был старый холостяк...

— Простите, — перебила Лиза, — позвольте представить вам моего друга...

Мы раскланялись, он пробормотал свое имя, которое я не расслышал, я пробормотал так же невнятно свое.

— Добрый вечер, — сказал я.

— Добрый вечер, — сказала она со значением.

— Good evening, my dear!¹ — строго сказала Ав-

¹ Добрый вечер, дорогой (англ.)

дотья Семеновна и пытливо посмотрела на меня сквозь очки. — Куда ж это ты, мой друг, запропал?

— В каком смысле? — спросил я.

— Давно тебя у нас не видела.

— Служба, — сказал я.

— Уж так заслужился, что и забежать не можешь, — проворчала старуха.

Офицер, видя, что между нами идет какой-то свой разговор, извинился и отошел.

— Эта провинциальная красавица и есть ваша гостья? — помолчав, спросила Лиза, придавая оттенок презрения не только слову «провинциальная», но даже и слову «красавица».

— Да, — сказал я подчеркнуто беспечно. — Отец ее просил сопроводить свою дочь на бал.

— Она первый раз выезжает в свет?

— Да. А что?

— Вы бы ей сказали, что широкие пояса вышли из моды еще в прошлом году, — сказала Лиза. — Впрочем, — добавила она, уже не скрывая своей неприязни, — женщины со вкусом перестали их носить еще в позапрошлом.

— Прошу прощения, — сказал я. — Но мы не настолько близки, чтоб я мог делать ей замечания подобного рода.

— А я думала, что если вы вдвоем являетесь на бал...

— Лиза, — перебил я, оглядываясь на ее матушку, — не устраивайте мне, пожалуйста, сцен, это вам не идет. У вас делается злое лицо и злые глаза. И, простите меня, вон, кажется, идет Баулин, мне надобно с ним переговорить по делу.

Костя Баулин был мой товарищ. Он работал доктором в городской больнице, и иногда, как сведущего специалиста, я привлекал его к судебной экспертизе. На днях я послал ему медицинский акт вскрытия тела извозчика Правоторова и просил дать свое заключение. Мне хотелось обсудить с Костей это дело, поэтому, оставив Лизу с ее матушкой, я стал пробираться к нему. Проталкиваясь сквозь толпу, раскланиваясь направо и налево со своими знакомыми, я потерял своего друга из виду и нашел его уже только в бильярдной, где он, одинокий, стоял у стены и следил за игрой того самого гвардейского офицера, с которым меня познакомила Лиза, и губернского секретаря Филимонова. Сам Костя в бильярд ни-

когда не играл, впрочем и в другие игры тоже. Вообще многие находили его странным человеком, потому что он никогда не волочился за женщинами (хотя возможности у него, известного в городе доктора, в этом смысле были неограниченные), а любил только свою тихую жену Нину, от которой имел четверых детей.

В юности многие считали его безобразным, похожим на обезьяну, но мне он всегда казался красивым особой красотой умного и доброго человека.

Увидев меня, Костя обрадовался и первым заговорил о деле, меня волновавшем.

— Ты знаешь, — сказал он, и его умное обезьянье лицо с завернутыми вперед ушами напряглось, — я прочел этот акт, он составлен так безграмотно медицински, что, кроме безграмотности, в нем ничего не видно. Понимаешь, тот, кто его составлял, пишет, что смерть, вероятно, наступила в результате сердечной недостаточности, но это еще ничего не значит, потому что смерть почти во всех случаях наступает от сердечной недостаточности. Будь у человека грипп, воспаление легких, отравление или перепой, конечной причиной смерти всегда является сердечная недостаточность.

— Ну, а как ты думаешь, эксгумация трупа может что-нибудь дать?

Он подумал и покачал головой:

— Вряд ли. Ведь прошло много времени. Этот самый Анощенко бил его кулаком?

— Кулаком.

— Дело в том, что труп, как ты понимаешь, давно разложился. Если там и были какие-то внутренние кровоизлияния, теперь их установить невозможно.

— Значит, ты считаешь, что эксгумировать труп нет смысла?

— Я этого не сказал. Наоборот, я считаю, что эксгумацию надо провести в любом случае, иногда даже кости говорят больше, чем от них можно ожидать.

— Что ты имеешь в виду?

— Надо посмотреть, — уклончиво сказал он.

Пока я говорил с Костей, бал начался. В большой зале оркестр грянул вальс.

— Ладно, Костя, — сказал я, — мы с тобой еще поговорим. Я пойду.

— Желаю успеха.

В зале уже танцевали, и мне пришлось пробираться

между танцующими. Навстречу попался мне Носов, танцевавший с Машей Ситтаки, дочерью известного нашего табачного фабриканта.

— Где Вера? — спросил я его. Увлеченный разговором со своей партнершей, он только махнул рукой. — Там.

— Нет, ты скажи, — схватил я его за рукав. — Пригласил ее хоть кто-нибудь?

— Конечно, — сказал он.

Лиза с матерью сидела в углу, и, хотя они разговаривали, я видел, что Лиза бросает беспокойные взгляды по сторонам. Танцующие то скрывали ее от меня, то вновь открывали, я проталкивался вперед, раскланиваясь, извиняясь перед теми, кого толкнул, и пытался встретиться взглядом с Лизой, но она почему-то каждый раз искала меня в другой стороне. Наконец, мы все-таки встретились глазами, я помахал ей рукой, давая понять, что иду, спешу и сейчас доберусь до нее, если сумею. Она улыбнулась, показала мне глазами, что я могу и не спешить, и опять занялась разговором со своей mother¹, но теперь уже было видно, что она больше не беспокоится и ее не интересует, кто что думает про то, почему она не танцует. Сейчас я подойду, и все сразу увидят, что к чему. И я шел к ней. Но когда я был уже совсем близко (оставалось не больше двадцати шагов), я увидел Веру. Она стояла совсем одна, никому не знакомая, никем не приглашенная. На лице ее было выражение полного отчаяния. Большие бархатные глаза были полны слез. Казалось, еще секунда, и она разрыдается и убежит. Она повернула голову, и взгляды наши встретились. Ее глаза умоляли меня; в шумной, переполненной зале я услышал ее мольбу, этот крик, как в безмолвной пустыне:

«Я погибаю! Спасите меня!»

Я немедленно подбежал к ней и сделал удивленное лицо:

— Вера, вы не танцуете? Позвольте?

Она улыбнулась. Должно быть, своей улыбкой она хотела сказать, что можно и потанцевать, если я ее приглашаю, но улыбка получилась не снисходительной, а благодарной. Она прямо упала ко мне в объятия. И, кладя руку на ее талию, из-за головы ее я увидел Лизу. Она разговаривала с матерью в спокойной уверенности, что

¹ Мать (англ.)

я сейчас подойду, потом нетерпеливо подняла голову, как бы говоря: где же он, наконец? Я увидел, как на ее лице несколько раз одно выражение сменилось другим. Благодушное выражение («он уже должен быть где-то близко») сменилось выражением недоуменным («что происходит?»), потом она растерялась («ну, знаете ли!»), потом нахмурилась («этого еще не хватало!»), потом лицо ее стало надменным («ах, так!»), она повернулась к матери и стала обмахиваться веером, загораживая им меня от материнского взора. Я понял: она не хочет, чтобы мать меня видела, ей стыдно, что я танцую с другой.

Вера начала скованно, но скоро я заметил, что вальсирует она удивительно хорошо. Она была легка, как пушинка, и чувствовала малейшее мое движение. Мы кружились, и мне казалось, что все вокруг смотрят только на нас. Вот опять мелькнуло лицо Лизы, вот и мать ее, она уже нас заметила и смотрит с откровенным неодобрением, поджав губы. Мы танцуем, и, если рассудить здраво, в этом нет ничего предосудительного. Ну привез я свою гостью, ну, естественно, пригласил ее танцевать— что такого? И все-таки я чувствую, что что-то такое есть, и это понимаю я, и понимает Лиза, и понимает ее мать, и понимают все, кто обратил на нас хоть немного внимания, а если кто-нибудь и не понимает этого, то, наверное, только Вера, которая, не зная всех обстоятельств, просто танцует, отдавшись целиком удовольствию первого бала. Я вдруг понял, что она что-то говорит, чего я, занятый своими переживаниями, вовсе не слышу.

— Кажется, вы что-то сказали?

— Ничего особенного. Вы чем-то расстроены?

— Нет, что вы, — говорю я бодро. — Чем я могу быть расстроен?

— А эта девушка, которая смотрит на нас таким странным взглядом, и есть ваша невеста?

— Где?

— Там, возле оркестра.

— Да, это она, — сказал я беспечно. — А рядом с ней ее мать.

— Ваша невеста, кажется, не очень довольна вами.

— Что вы! Она счастлива. Если вы не возражаете, сейчас я вас представлю друг другу.

Музыка кончилась. Я взял Веру под руку и решительно повел туда, где сидели Лиза с матерью.

— Позвольте вам представить мою юную гостью, —

сказал я, стараясь сделать это непринужденно, но получилось как-то развязно и даже чуть ли не нахально. — Вера Николаевна Фигнер, дочь друга и однокашника моего отца.

— Очень рада, — сказала Авдотья Семеновна. — Прелестное дитя, — добавила она, разглядывая Веру в упор.

— Алексей Викторович сказал, что вы первый раз в свете? — спросила Лиза, подавая руку в белой длинной, до локтя перчатке.

Произнеся мое имя и отчество, она как бы подчеркнула, что для случайных знакомых я только Алексей Викторович, и никто больше.

— Да, — сказала Вера. — Первый раз.

— Это заметно, — кивнула головой мать, с одной стороны, как бы делая комплимент, а с другой стороны, вроде бы и намекая, что быть первым раз в свете не очень прилично, а может быть, даже и безнравственно. — А что же ваш батюшка с вами не приехал? — спросила она.

— Он говорит, что и в молодости балы не любил.

— Бывает, — сказала она, опять-таки как бы видя за этим некий недостаток, если не сказать порок.

Тут опять заиграли вальс, я растерянно стал шарить глазами и увидел приближающегося ко мне Костю. Я ему показал глазами на Веру, он сразу все понял и подошел к ней.

— Вы позволите?

Прежде чем ответить, она посмотрела на меня и улыбнулась растерянной улыбкой. И только после того, как я согласно кивнул головой, Вера повернулась к Косте и положила руку ему на плечо. Я пригласил Лизу. Мы пошли танцевать, и она сразу же начала с выговора.

— Эта девица, кажется, уже считает вас своим хозяином.

— С чего вы взяли? — спросил я.

— Я же видела, когда Баулин ее пригласил, она посмотрела на вас, словно спрашивала разрешения.

— Это естественно, — сказал я. — Мы только что танцевали вместе, кроме того, она моя гостья, и вообще, будучи впервые на таком балу, она может не знать, как надо себя вести в каждом случае.

— А вам, я вижу, очень нравятся деревенские девушки, которые не умеют себя вести.

— Лиза, — сказал я несколько раздраженно, — вы

не хуже меня знаете, что Вера такая же деревенская, как и мы с вами. Она дворянка, причем не самого последнего рода.

— Партизан Фигнер — ее дед?

— Нет, он, кажется, не имеет к ним никакого отношения.

— Тем не менее, я думаю, вам стоит за ней поволочиться, а может быть, даже и сделать ей предложение. Она вполне мила, юна, а что касается фигуры, то при современных корсетах некоторые недостатки очень легко скрыть.

— А вы злюка, Лиза! — неожиданно для самого себя обнаружил я.

— Может быть, — сказала она и улыбнулась такой улыбкой, что мне стало не по себе. — Но если вы еще раз появитесь на балу вместе с ней, то знайте: наши отношения кончены.

— Вы предъявляете мне весьма странное условие, — сказал я. — Вера — моя гостья, и я не могу ее не сопровождать.

— Значит, вы хотите сказать, что и дальше будете за ней ухаживать?

— В той степени, в какой меня обязывает долг хозяина, — сказал я.

— В таком случае проводите меня на место.

— Лиза, — сказал я, — ведь это же глупо. Вы меня ревнуете, хотя у вас для этого нет никаких оснований.

— Можете понимать мои слова, как хотите, но если вы не пообещаете мне, что больше не будете с ней появляться, я прошу отвести меня на место.

— В таком случае, — рассердился я, — извольте. Я провожу вас на место.

Танцуя, я подвел ее к тому месту, где сидела Авдотья Семеновна.

— Теперь поцелуйте мне руку, — шепотом приказала она, — чтобы никто не видел, что мы с вами в ссоре. А теперь уходите, я вас больше знать не желаю.

Авдотья Семеновна зорко следила за нами, она не могла слышать то, что мы говорим, но очевидно догадывалась, что мы ссоримся.

— What's happened?¹ — спросила она громко.

— Ничего особенного, мама, — садясь рядом с нею,

¹ Что случилось? (англ.)

улыбнулась Лиза, — просто Алексей Викторович сегодня несколько нездоров.

Я пожал плечами и отошел. Вскоре танец кончился, подошли Вера с Костей.

— Почему вы не со своей невестой? — спросила Вера.

— Мы решили сегодня держаться на расстоянии. Я сейчас должен уехать и прошу вас собраться тоже.

— А разве мы не будем танцевать мазурку?

— Извините, у меня сегодня нет настроения, — сказал я. — Впрочем, вы, если хотите, можете остаться. Я попрошу Костю, и он проводит вас домой.

— Да нет, нет, я, пожалуй, тоже пойду, — сказала она, хотя, кажется, не прочь была и остаться.

— Как вам будет угодно, — ответил я, понимая всю безнадежность своего положения в том смысле, что мой уход вместе с Верой тоже будет воспринят, как очередной вызов.

«Черт с ними, — говорил я самому себе, выходя с Верой на улицу, — пусть думают, что хотят, меня совершенно не трогает».

На дворе заметно потеплело, было тихо, сыпал редкий, крупный снег, и снежинки вились, как бабочки, в свете фонаря над центральным подъездом купеческого клуба. Вся улица была заставлена экипажами. Два кучера прогуливались по мостовой, похлопывая по бокам рукавицами.

— Филипп! — крикнул один из них. — Кажется, твой барин вышел!

— Вижу, — откуда-то издалека отозвался Филипп, и, круто развернув лошадей, подал сани к подъезду...

— Езжай один, Филипп, — сказал я ему. — Мы с барышней пешком прогуляемся. Не возражаете? — спросил я ее.

— Нет, я с удовольствием, — улыбнулась она.

Филипп, громоздясь на облучке, как памятник, смотрел на нас неодобрительно.

— Ну, чего стоишь? Езжай, говорю, — повторил я свое приказание.

— Поедем, барин, — сказал Филипп. — Время-то позднее. Неровен час, озорники какие нападут.

— Ладно, ладно, езжай не бойся, — успокоил я его. — И передай Семену, пускай спит да прислушивается, прошлый раз я звонок оборвал, пока добудился.

Филипп подумал еще, почесал в затылке, но, не ре-

шившись спорить, вдруг гикнул на лошадей, и они с места рванули крупной рысью. Мы пошли следом. Сыпал снег, было скользко, и я взял Веру под руку, чтобы поддержать, если вдруг она поскользнется. Первое время мы шли молча. Я чувствовал себя неловко. Установившийся между нами шуточный тон не подходил к обстановке и настроению, а как с ней говорить иначе, я не знал. Конечно, можно было сказать, что вот какая прекрасная погода, но так все говорят всегда; она человек достаточно умный, тонкий и ироничный и сразу почувствует фальшь. Не говорить ничего просто глупо. «Надо было выпить», — подумал я. Навеселе я становлюсь смелей, быстро вхожу в контакт, могу говорить о любых пустяках и быть достаточно остроумным. Впрочем, все это, вероятно, относится и к другим людям, и всякое пьянство начинается, я считаю, с того, что человек хочет освободиться от скованности, а потом докатывается бог знает до чего. Но все же выпить не мешало. Чем свободнее я хотел чувствовать себя с Верой, тем большую ощущал в себе скованность. С Лизой я никогда не был скован. С ней, если мне хотелось говорить, я говорил, если хотелось молчать, я молчал. Но с Лизой теперь, после этого дурацкого случая, все кончено. Нечего ставить мне нелепые, невыполнимые условия... Мои отношения с ее father¹ и до сих пор не были идеальными. Пусть они будут испорчены вконец... Иван Пантелеевич не из тех, кто не желает смешивать личные симпатии и антипатии со служебными взаимоотношениями.

— Вы чем-то огорчены? — спросила Вера.

Слава богу, она заговорила первая. Иначе мы могли бы промолчать всю дорогу.

— Напротив, — сказал я, придавая своему голосу максимально бодрую интонацию. — Я очень рад.

— Рады чему?

— Тому, что мы идем вместе, что сыплет снег...

— А вы на меня сердитесь?

— За что?

— За то, что я поставила вас в неловкое положение перед вашей невестой.

— Вы совершенно напрасно так думаете. Может быть, я особенно рад тому, что вы поставили меня в нелов...

¹ Отец (англ.)

Я прикусил язык. Кажется, я говорил лишнее. Во всяком случае, в словах моих имела место некоторая двусмысленность. Но я этого не хотел. То есть не то чтобы я не хотел, просто я не считал себя вправе смущать это юное создание. «Она слишком юна и чиста, а я стар». Мне казалось, что я слишком знаю изнанку жизни, и само это знание уже делает меня грязным и недостойным Веры. Ну и, конечно, возраст. Слишком велика разница. То есть не то чтобы уж так велика, девять лет — вполне пристойная разница. Но все-таки... Я взрослый, сложившийся человек, а она совсем еще девочка. Что может быть общего между нами? Да если бы я хотя бы знал, чего хочу. Не есть ли это просто минутное увлечение, которое пройдет еще быстрее, чем прошло мое увлечение Лизой? Лизу я по крайней мере знаю давно и хорошо, а с ней мы даже толком ни о чем не говорили. Я искоса посмотрел на свою спутницу, она думала о чем-то своем и улыбалась.

— Чему вы улыбаетесь? — спросил я.

— Так, вспоминаю бал. Я выглядела очень глупо?

— Глупо не глупо, но вид у вас был растерянный, ну прямо Наташа Ростова на первом балу.

— Правда? Тогда ничего. Наташа Ростова мне очень нравится. А вам?

Сейчас стыдно сказать, но тогда я, как и большинство моих сверстников, не признавал писателей, которым стал поклоняться в более позднем возрасте. Из всех писателей я признавал целиком одного Чернышевского и частично Тургенева, вернее, одних только «Отцов и детей». Настоящими же моими кумирами были Белинский, Добролюбов, но более этих двух Писарев. Вместе с ним я отвергал «Рудина», вместе с ним считал Онегина пошляком и бездельником.

Я стал излагать Вере эти идеи и воодушевлялся все больше.

Вера слушала меня внимательно и молчала, но я видел, что слова мои производят на нее впечатление.

Глава пятая

В разговоре я не заметил, как мы дошли до Черного озера. Здесь между двух берез стояла скамейка, на которой я обычно любил сживать летом. Сейчас она была запорошена снегом.

— Мы уже почти дома, — сказал я. — Но такая погода, что домой совершенно не хочется.

— Мне тоже, — сказала Вера.

— Тогда, может, посидим? — предложил я. — Если вы не замерзли.

— Нисколько.

Перчаткой я смахнул снег со скамейки. Мы сели.

— У нас в Никифорове тоже есть пруд, — сказала Вера. — Я, когда была маленькая, плавала по нему в корыте. Возьму вместо весла лопату и плыву.

— А как относился к вашим забавам Николай Александрович?

— Ему было не до меня. Он детьми вообще мало занимался.

— А что, ваш отец, — спросил я, — всегда придерживался таких крайних взглядов?

Она посмотрела на меня удивленно:

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду его высказывание насчет того, что, если бы крестьяне восстали, он встал бы во главе их.

Она пожала плечами:

— Не знаю. Последние шесть лет я мало бывала дома. Только на каникулах. Отца видела редко и почти никогда с ним всерьез не разговаривала.

— А раньше?

— Когда раньше?

— Ну, когда вы были маленькая. Как он относился к крестьянам?

— Не знаю. Мне кажется, что крестьяне его любили, считали справедливым.

— Строг, но справедлив, — пробормотал я. — А не драл ли он своих крестьян плетью?

Она вскинула на меня удивленные глаза:

— Откуда вы знаете?

— Я не знаю, я догадался.

— Как?

— Вы забываете о моей профессии, — сказал я. — Я следователь.

— Но следователь, мне кажется, прежде чем сделать то или иное заключение, должен подробно ознакомиться с обстоятельствами.

— Для того чтобы вынести свое окончательное суждение — да. Но для предположения иногда достаточно и первого взгляда.

— Все равно я не могу понять, как вы догадались.

— Это очень просто. Видите ли, ваш отец — человек, извините меня, вполне ординарный. Он мыслит категориями, доступными большинству. В нем есть природная тяга к справедливому устройству мира, но собственных убеждений по этому поводу он выработать не способен. Единственное, на что он способен, — это улавливать модные веяния. Когда крепостное право существовало, оно казалось ему справедливым, он видел свое призвание в том, чтобы быть отцом своих неразумных крестьян, отцом строгим, но справедливым. При этом он был уверен, что таковая точка зрения есть результат его собственного убеждения. Теперь иные веяния. Все поголовно считают, что крепостное право — форма отжившая и совсем неуместная в наш век прогресса, и ваш отец не может отстать от времени и тоже так считает. Но он считает также, что теперешняя форма государственного управления есть правильная на все времена. И он готов сечь каждого, кто с его точкой зрения не согласен.

Глава шестая

На другой день, поднявшись поздно, я не застал моих постояльцев, они, как обычно, укатили к кому-то с визитом. На третий день я встал раньше их, уехал на службу, а вечер и почти всю ночь провел в купеческом клубе, играл в преферанс. Четвертый день опять на службе, а потом отсыпался.

То чувство, которое возникло у меня к Вере после бала, вспыхнуло, как спичка на ветру, и тут же угасло.

Что касается Лизы, то от нее во все эти дни не поступало никаких известий, а сам я не спешил объявляться, втайне надеясь, что наш роман так и закончится сам по себе. С отцом ее я как-то столкнулся в коридоре нашего ведомства, мы раскланялись, без особой, впрочем, пылкости. Он ничего не сказал, хотя и посмотрел, как мне показалось, вопросительно. Я подумал, что, может быть, он даже рад, что так все получилось, потому что он всегда относился ко мне со скрытой или открытой неприязнью, и если бы все было так, как я подумал, то в этом мне виделся наилучший исход.

Однако вернемся к тому дню, когда я, как уже было говорено выше, отсыпался. Придя со службы, я завалил-

ся в постель прямо в одежде, думая, что потом либо встану, либо разденусь, но не встал и не разделся. Проснулся я в полной темноте. Открыл глаза, ничего не мог понять. «Уже утро, — думал я, — и пора на службу. Но почему же я так хочу спать?» Я вынул из кармана часы, прислушался, но они стояли. Решил подремать еще немного и опять заснул, но теперь спал плохо, потому что боролся со сном и боялся проспать. Потом я все же пере-сил себя, спустил ноги на пол и стал дремать сидя. За дверью слышались шаркающие шаги, и под дверь скользнула бледная полоса света.

— Семен! — крикнул я.

Вошел Семен со свечой. Он был в нижнем белье, бо-сой.

— Семен, который час? — спросил я.

— Да, должно, уже одиннадцать, — зевнул Семен, почесываясь плечом о притолоку.

Я сперва встрепенулся, но тут же опомнился и посмотрел на Семена.

— Дурак, что ли?

— Может, и дурак, — флегматично согласился Се-мен, — да часы умные.

— А почему же темно?

— Барин, — посмотрел на меня с сочувствием Се-мен, — ночью всегда темно бывает.

— Ночью? — я потряс головой. — Стало быть, сейчас одиннадцать ночи?

— Ну?

— Так бы сразу и сказал, — проворчал я и с удоволь-ствием завалился опять на постель. Семен не уходил.

— Ну, чего стоишь? — спросил я.

— Тут, барин, мальчик приходил, записку вам оста-вил.

— Завтра, — сказал я, но тут же передумал. — Лад-но, давай.

Семен вышел и тут же вернулся с запиской, подал ее мне и поднес свечу. Я раскрыл записку и увидел англий-ский текст, который спросонья не мог разобрать. «Черт бы подрал этих англоманов, — думал я. — Как будто нельзя написать то, что хочешь, просто по-русски».

— Семен, — сказал я, окончательно проснувшись, — подай-ка словарь. Вон там на полке синяя книжка.

Со словарем я начал кое-как разбираться:

«Дорогой друг, если вам позволит время, я буду рада

видеть вас между 5 и 7 часами вечера. Нам надо о многом поговорить. Я надеюсь, вы светский человек (map of the world, буквально — «человек мира») и не обидите отказом старую женщину».

Моей надежде на то, что все обойдется само по себе, видимо, не суждено было сбыться.

Я отпустил Семена, разделся и вскоре снова уснул.

Точно в назначенное время я был у Клемишевых. Швейцар сказал, что барыня у себя наверху и ждет меня. Я поднялся. Старуха сидела у окна с вязаньем. Она подала мне руку для поцелуя в своей обычной грубой манере, как подают руку лакеям.

— Sit down, please¹, — сказала она, кивком головы указав на кресло напротив. — Что нового?

Я пожал плечами:

— Да нового, пожалуй, ничего, не считая того, что надворный советник Барабанов побил вчера стекла в трактире «Соловей» и сидит теперь в полицейском участке.

— Я про это слышала, — сказала старуха. — Что ж, он был пьян или просто так?

— Был пьян и просто так.

— Друг мой — сказала она с подъемом. — Ты, я надеюсь, догадываешься, зачем я просила тебя прийти?

— Очень смутно.

— А я думала, у тебя есть более ясное представление об сем предмете. Однако же мне все-таки придется тебе сказать все, хотя разговор этот я не могу считать для себя особо приятным. Все дело в том, милостивый государь, что тема уж больно щекотлива.

«Уж для тебя-то щекотливых тем не бывает», — подумал я про себя.

Однако вслух сказал:

— Я слушаю вас внимательно, Авдотья Семеновна.

— Да что слушать-то! — неожиданно взорвалась она. — Ты сам на себя посмотри. Как ты себя ведешь? Что люди вокруг говорят? Это ж один срам!

— Да в чем дело-то, Авдотья Семеновна? — пытался я возразить.

— А то ты не понимаешь, в чем дело. Ох, ох, — передразнила она меня. — Экий несмышлениш! Коли не понимаешь, так я тебе объясню. Когда молодой человек

¹ Садитесь, пожалуйста (англ.)

ходит к молодой и приличной барышне с приличной репутацией и просиживает у нее целыми днями более года подряд, то, естественно, разные люди делают одни и те же предположения, ну и в общем... ты сам понимаешь... Мы с Иваном Пантелеевичем противу этого не возражали, хотя, не скрою от тебя, Лиза имела и другие предложения. Полковник Зарецкий предлагал ей руку и сердце, однако мы ему отказали. Иван Пантелеевич сказал, что, хотя, конечно, ты и не обладаешь серьезным достатком, дело не в этом, а в том, что ты нравишься нашей дочери. Ты знаешь, Иван Пантелеевич для себя никогда ничего не сделает, все для других. Это, конечно, черта хорошая, благородная, но в нем она развита уж слишком сильно.

Я слушал с открытым ртом и пытался понять, про кого это все говорится. Про эту продувную бестию Ивана Пантелеевича, который только о том, кажется, и думает, где бы чего урвать? И жена его хорошо это знает. Так что же, притворяется она или верит в это? Вероятно, и то и другое. Ей действительно муж кажется наивным мальчиком, который ничего не может в жизни, потому что некоторые могут больше чем он. Эти люди готовы обмануть кого угодно, но искренне огорчаются, когда кто-то обманывает их. И тогда начинаются разговоры о человеческом неблагородстве.

— Мы почитали тебя за порядочного человека, однако твоя выходка на балу и дальнейшее поведение кажутся нам, не скрою, весьма странными. Это как-то не увязывается в нас с твоим обликом.

— А в чем все-таки дело? — спросил я, понимая, конечно, всю подоплеку.

— Алексей Викторович, — перешла она вдруг на «вы», — вы хорошо понимаете, о чем я говорю. Ваше поведение в течение последнего времени давало нам основание полагать, что у вас складываются вполне серьезные отношения с нашей дочерью. Не скрою, что я даже ожидала вашего предложения. И вдруг появляется эта девица — вы знаете, о ком я говорю, — и вы... Послушайте, да что вы в ней такого нашли?

— Я вас не понимаю, — сказал я на всякий случай.

— Понимаете. Очень даже хорошо понимаете. А я вас не понимаю. Обыкновенная провинциальная девушка с дурными манерами. Это же не серьезно. К тому же родители ее, я слышала, не так богаты, как кажется некоторым.

— Если вы имеете в виду Веру Николаевну Фигнер, — сказал я довольно резко, — то могу сказать вам совершенно определенно, что ее богатство меня совершенно не интересует. И вообще, я не понимаю, к чему вы ведете весь этот разговор. Разумеется, я не считаю себя обязанным отчитываться перед вами, но, если вам все же угодно вдаваться в такие подробности, могу сказать, что Вера Николаевна — моя гостья и никаких иных отношений, кроме тех, какие бывают между гостеприимным хозяином и гостьей, у меня с ней нет. То же могу сказать и о своем поведении на балу, которое кажется вам столь возмутительным. Оно было продиктовано исключительно правилами гостеприимства.

Разумеется, то, что я говорил, было не совсем правдой. И все же в своем возмущении я был почти искренен и сам верил тому, что говорил.

— Ну, если так, — вздохнула она с наигранным облегчением, — тогда совсем другое дело. Ты, Алеша, уж извини меня, старую дуру, что лезу в твои дела, но я все-таки мать, и судьба дочери меня очень волнует. Впрочем, и твоя судьба тоже. Мы с Иваном Пантелеевичем к тебе привыкли, полюбили, и ты нам теперь как сын. А коли все так обстоит, как ты говоришь, то нечего тянуть. Делай предложение, сыграем свадьбу, да такую, чтоб все знали. А насчет приданого не волнуйся, уж мы свою единственную дочь никак не обидим.

— Авдотья Семеновна!

— Что, my dear¹?

— Я не могу сейчас делать предложение вашей дочери, — разом выпалил я.

— Почему? — Кажется, она была искренне удивлена.

— Ну, потому, что я еще не считаю себя для этого подготовленным.

— Да неужто для этого нужно как-то особенно готвиться?

— Нет, не в этом дело. Я очень хорошо отношусь к вашей дочери, к вам и к Ивану Пантелеевичу (тут, конечно, я явно покривил душой), но я еще молод, мне надобно оглядеться.

— Man will be man², — вздохнула она. — Ничего се-

¹ Дорогой (англ.)

² Мужчина остается мужчиной (англ.).

бе молод. Двадцать шесть лет. Когда Иван Пантелеевич на мне женился, ему было двадцать один.

— Это, может быть, и так, но скажу вам по правде, хотя я и привык к вашей дочери и отношусь к ней как к своему самому близкому другу, однако я не могу сказать, что мое отношение к ней является тем самым чувством, в котором уверен, что это твердо и навсегда.

— О-о, это старая песня. Если эдак-то примериваться, то никогда и не примеришься и все тебе будут чем-то нехороши. Скажу тебе правду: все познается потом. И какой бы человек ни был, а поживешь с ним, попритрешься, и он тебе будет хорош. А наша дочь не урод какой-нибудь, и правила поведения знает, и умна, и музыкальна, так что мой тебе добрый совет — женись.

Я стал опять что-то мямлить о том, что не могу, что мне еще рано, что я еще не все обдумал. Она нахмурилась. С лица ее сползло выражение благодушия.

— Не понимаю, — сказала она серьезно. — Не понимаю, и все. Уж кажется, мы не подсовываем вам, что попало. Наша дочь красивая, воспитанная и образованная. Мы даем за ней одного приданного больше чем на двадцать тысяч. Каковы, однако ж, будут ваши условия?

И я вдруг понял: никакие лирические соображения ей недоступны.

— Шестьдесят тысяч, — сказал я и посмотрел ей прямо в глаза.

— Что? — спросила она с застывающим выражением лица.

— Я прошу за вашей дочерью шестьдесят тысяч приданого.

«Сейчас она позовет швейцара и прикажет спустить меня с лестницы», — подумал я. Но этого не произошло. Она не возмутилась. Вернее, возмутилась, но совсем не тем:

— Но мы не сможем дать вам больше тридцати. Ну тридцать пять в крайнем случае.

— Шестьдесят, и ни копейки меньше.

— Милый мой, да ты эдак-то нас совсем хочешь разорить. Да ежели б мы продали оба дома, то и тогда не набрали, пожалуй, шестидесяти тысяч.

— А на меньшее я не согласен, — сказал я твердо.

Я чувствовал, что она меня ненавидит, хотя и не считает мои требования безнравственными.

Признаюсь, во мне пробудилось ужасное, гранича-

щее со страстью любопытство: что она будет делать? Ну возмутись же! Ну плюнь мне в лицо!

Она отложила вязанье в сторону и внимательно посмотрела на меня сквозь очки.

— Ты болен, мой друг, — сказала она печально. — Тебе надо обратиться к доктору. Где мы возьмем такие деньги? Ладно, иди. Я поговорю с Иваном Пантелевичем.

Я поднялся.

— Алексей Викторович, — остановила она меня уже у порога. — А что, неужели Фигнер дает за своей дочерью шестьдесят тысяч?

— Он дает восемьдесят, — сказал я. — Однако мое отношение к вашей дочери таково, что я готов терпеть убыток в двадцать тысяч.

На этом я раскланялся.

Глава седьмая

Спустя несколько дней, воротясь со службы, я застал Николая Александровича увязывающим чемоданы. Признаюсь, я был немало удивлен.

— Вы куда-то собираетесь? — спросил я.

— Домой, — сказал он. — Хватит, погуляли, пора и честь знать.

Мне показалось, что он был сердит.

— Ну, если у вас какое спешное дело... — сказал я. — А то бы погостили. Вы меня ничуть не стесняете и можете располагать моим домом сколько угодно.

— Да нет уж, спасибо! — пробормотал старик.

— Николай Александрович, — сказал я взволнованно. — По вашему тону я чувствую какую-то невысказанную обиду. Видит бог, что никогда ни в чем, питая к вам самые лучшие чувства, я не хотел вас обидеть. А ежели я, не зная того, поступил как-то оскорбительно по отношению к вашему самолюбию или вашей чести, то между интеллигентными людьми есть простая возможность объясниться и устранить недоразумение, коли таковое могло возникнуть.

— Никакого недоразумения нет, — сказал старик, уминая коленом огромный тук. — Я очень благодарен вам за приют, однако в гостях хорошо, а дома лучше. Так что не обессудьте. — Он подобрал концы двух веревок и стянул узлом.

Оставив Николая Александровича, я побежал наверх и застал Веру уже одетой. Она была грустна и, кажется, недавно плакала.

— Вера Николаевна, — спросил я ее, — я все же не понимаю, что произошло. Ваш отъезд скорее напоминает бегство.

— Я сама ничего не понимаю, Алексей Викторович, — сказала она со вздохом. — Я сидела дома, читала, когда пришел папенька и сказал, чтобы я быстро собиралась, лошади ждут у подъезда. Я спросила, почему мы уезжаем так быстро. Он сказал: «Так нужно». И больше ни слова. Я знаю, что спрашивать его бесполезно, и не стала.

— И вы действительно не догадываетесь о причине? Она вдруг смутилась и опустила голову.

— Догадываюсь, — тихо сказала она.

— Так в чем же дело?

Вера кинула на меня быстрый взгляд исподлобья.

— Вы сами знаете, — сказала она, краснея, и вдруг вздохнула. На пороге стоял Николай Александрович.

— Ты готова? — спросил он у дочери.

— Готова, — тихо сказала она.

— Тогда спускайся, мне надо переговорить с Алексеем Викторовичем.

Вера вышла. Николай Александрович подождал пока она спустится вниз, и прикрыл дверь.

— Алексей Викторович, — несколько волнуясь, сказал он. — Мы с Верой уезжаем. Причиной нашего быстрого отъезда являетесь вы. Я сперва не хотел вам говорить, но не в моих правилах держать камень за пазухой. До меня дошло, что вы распространяете слух о том, что я якобы уговаривал вас жениться на моей дочери, обещав за ней какие-то миллионы. Подождите, не перебивайте меня. Должен вам сказать, что как отец я был бы рад Вериному счастью и, безусловно, не обидел бы ее по части приданого, но торговать своей дочерью на аукционе — кто больше даст, — извините великодушно, я не намерен. Мои понятия о чести человека и дворянина...

— Господи, Николай Александрович! — сказал я. — И охота вам обращать внимание на всякие сплетни.

— Сплетни? — удивился он. — Вы можете дать мне слово, что не говорили Авдотье Семеновне Клемишевой о том, что будто бы я обещал дать за Верой восемьдесят тысяч, но что вы при этом готовы терять двадцать тысяч, ежели...

— Николай Александрович! — закричал я, сгорая от стыда. — Вы же умный человек! Неужели вы не понимаете, что это была шутка?

— Шутка?

— Ну не шутка, а глупая выходка. Наглая выходка...

— Выходка, — повторил он и покачал головой. — Ничего себе выходка. Знаете, Алексей Викторович, мы с вашим батюшкой тоже были молоды и тоже иногда озоровали, но чтоб до такой степени... извините-с. Я на вас зла не держу. Более того, я очень благодарен вам за гостеприимство и, ежели попадете в наши края, рад буду ответить вам тем же, однако сейчас задерживаться здесь долее не намерен. Велите вашему Семену снести вещи.

С этими словами он вышел.

Я был совершенно убит. «Это же надо, — думал я. — И дернул черт меня за язык с этими тысячами». Я плюнул с досады; крикнув Семена, я велел ему снести вещи. Самому мне было стыдно выходить на улицу, совестно смотреть в глаза Вере. Приоткинув угол занавески, я посмотрел во двор. Николай Александрович с Верой стояли у крыльца, наблюдая за Дуняшей и Семеном, укладывавшими вещи. Черная кибитка, черные лошади и черные люди на белом снегу сверху были похожи на стаю грачей. Когда вещи были уложены, я накинул пальто, но шапку не надел и вышел. Увидев меня, Вера улыбнулась:

— Алексей Викторович, куда вы без шапки? Застудите голову.

Она держала руки в темной котиковой муфте.

— Не извольте беспокоиться, — сказал я. — Моя голова столь бесполезный предмет, что не стоит вашего внимания.

Слова эти были сказаны не столько для нее, сколько для ее батюшки, который, услышав их, усмехнулся, но затем снова нахмурился и отвернулся.

— Вот, — сказала Вера. — Может, мы с вами больше никогда и не увидимся.

— Отчего же, — сказал я. — Ваше Никифорово не такой уж дальний свет. Да и в Казани у вас могут объявиться дела.

— Прощайте, Алексей Викторович, — сказала она, вынимая руку из муфточки.

— Прощайте, — сказал я и, поцеловав руку, задержал ее в своей.

— Долгое прощанье, — лишние слезы, — по своему

обыкновенно хмуро заметил отец и, оттеснив дочь, подошел ко мне.

— Прощайте, мой друг, — сказал он неожиданно на «ты». — Поклон и благодарность твоему батюшке, а ежели случится по надобности или без надобности проезжать мимо нашего захолустья, милости просим, всегда будем рады.

С этими словами он нырнул вслед за дочерью в кибитку и запахнул полог, больше не оглянувшись.

— Трогай! — донесся до меня его сиплый голос.

Ямщик разобрал вожжи, гикнул, и лошади с места рванули рысью.

Признаюсь, мне было грустно смотреть им вслед. Но, вернувшись в дом, я почувствовал облегчение.

В прихожей стоял Семен. По его виду я сразу понял, что он чем-то не то удивлен, не то взволнован и хочет поделиться со мной, но видимо, не решается.

— Ты что, Семен? — спросил я.

— Да нет, я вообще-то ничего, — сказал он. — Я только хотел сказать, что Федька целковый-то мне отдал.

— Неужели? — удивился я.

— Вот тебе крест святой, — перекрестился Семен и посмотрел на меня с видом победителя.

— А, — понял я его радость. — Ты хочешь сказать, что божья воля проявилась!

— А то как же, — кивнул головой Семен.

— Ну, стало быть, заработал где или украл, — сказал я. — Может, отдал просто по совести и без всякой господней воли.

— Нет уж, барин, — покачал головой Семен, — так он не отдал бы. Уж я этого Федьку знаю.

На третий день рождества я к девяти часам утра был обязан повесткою явиться в здание дворянского собрания, где прибывший из Петербурга сенатор должен был ознакомить нас с задачами нового суда.

После заседания я встретил в коридоре Костю Баулина, который, как оказалось, давно приехал и дожидался меня. Костя сказал мне, что труп Правоторова эксгумирован и теперь находится в помещении анатомического театра, где я и могу произвести обследование вместе с медицинскими экспертами.

— Ну что, — спросил я по дороге. — Нашел что-нибудь интересное?

— Кажется, — усмехнулся Костя.

— Что именно?

— Приедешь — увидишь.

Анатомический театр представлял собой довольно большую залу с окнами, покрашенными до половины белой краской, на которой какие-то любители заборной литературы из студентов нацарапали свои имена и всяческие изречения. Посреди залы и у стен стояло несколько столов с тяжелыми мраморными крышками. На столах лежали трупы людей, обезображенные смертью и скальпелем студентов. Костя подвел меня к столу, на который я сначала не обратил никакого внимания. Там лежал скелет с налипшими на нем остатками разложившихся мяса и кожи.

— Вон он, твой извозчик Правоторов, — сказал Костя.

Со смешанным чувством грусти и омерзения смотрел я на эти жалкие останки.

— Что-нибудь видишь? — спросил Костя.

— Ничего интересного, — буркнул я.

— Следователю надо быть наблюдательней. Обрати внимание на носовую кость. — И он протянул к носу скелета мизинец с длинным, остро отточенным ногтем.

Я глянул и ахнул. Носовая кость была сломана. Сейчас проявилось то, что не видно было при осмотре живого Правоторова и при осмотре его свежего трупа. Вот что значит эксгумация! Иногда она бывает гораздо полезнее осмотра свежего трупа.

— Ну хорошо, — сказал я. — Я вижу, что носовая кость сломана. А что нам дает это сведение?

— Видишь ли, перелом этой кости довольно часто ведет к воспалению мозга. Если кость была сломана в драке, то картина болезни, приведшей к летальному исходу, становится более очевидной. Не так ли?

— Да, но каким способом можно установить, что она сломана именно в драке?

— На таком утверждении я бы не решился настаивать, но что кость сломана за несколько дней до смерти, сомнений нет никаких.

— Почему ты так думаешь?

— Потому, что если бы она была сломана раньше, то

здесь должны быть выраженные признаки срастания кости.

— Это было весьма ценное сведение.

— Можно ли эту кость сломать кулаком?

— Вряд ли, — покачал головой Костя. — Для этого надо обладать нечеловеческой силой. В данном случае... вот посмотри... видно, что кость не только раздроблена, но даже как бы надрублена. Видишь эти следы?

Прямо из анатомического театра я отправился в участок на Ново-Комиссариатскую улицу.

— Очень хорошо, что вы пришли, — сказал уже знакомый мне пристав. — Перстенок ваш найден, он, действительно, оказался у столяра, чинившего мебель. Этот сукин сын хотел его продать, но, не найдя покупателя, отдал сынишке, и тот с ним играл.

С этими словами пристав открыл ящик стола и достал из него перстень, завернутый в кусок старой газеты. Это был большой чугунный перстень с приклепанным к нему чугунным же цветком с загнутыми лепестками. Может быть, именно следы этих лепестков и остались на носовой кости Правоторова.

— Дать вам расписку в получении перстня? — спросил я, несколько волнуясь.

— На что она мне, — махнул рукой пристав. — Перстень этот оприходован не был, и мне без надобности. А вам он зачем?

— Как вы думаете, — спросил я, — ежели эту штуку надеть на палец и ударить человека в лицо, нос можно переломить?

— Да можно, пожалуй, не то что нос переломить, а и вовсе без головы человека оставить, — сказал пристав со знанием дела.

Следующий мой визит был к господину Анощенко. Мы сидели друг против друга в его кабинете. Он — за массивным столом, под большим, писанным маслом портретом государя, я — напротив, в кожаном кресле, настолько продавленном, что подбородок мой едва доставал до края стола. Все здесь меня подавляло. Большой кабинет, большой стул, большой портрет и обладатель всего этого тоже большой, грузный, возвышался над столом, как величественный монумент.

— Ну-с! — сказал он и вопросительно прищурил на меня свои и без того маленькие, заплывшие жиром глаз-

ки, в которых была настороженность и вместе с тем уверенность в том, что все сойдет ему с рук.

— Степан Петрович, — сказал я, — как вам уже известно, вдова избитого вами два года назад и вскоре умершего извозчика Правоторова возбудила против вас уголовное дело, следствие по которому поручено вести мне.

— Если не ошибаюсь, следствие по этому делу уже было вскорости после происшествия, однако оно не дало никаких результатов. Мало ли с кем я повздорю, а потом этот человек умрет, так что ж, я должен за это отвечать?

— Если человек от вашего «вздора» помер, так отчего бы вам не ответить?

— Однако первое следствие, которое велось по этому делу, установило мою полную невинность.

— Не совсем так, — поправил я. — Прежнее следствие, не имея по прежним законам возможности пользоваться косвенными уликами, не установило вашу виновность и оставило вас в подозрении. По нынешним же законам следствие может пользоваться как прямыми уликами, так и косвенными.

Он внимательно посмотрел на меня, и в глазах его первый раз промелькнуло серьезное беспокойство.

— И что же, у вас есть новые улики? — спросил он, помолчав.

Я вынул свою улику из кармана и показал Анощенко:

— Этот перстень ваш?

— Нет, — ответил он быстро.

— Вы даже и взглянуть как следует не успели.

— А что мне на него смотреть, раз я вижу, что вещь не моя.

— Стало быть, не ваша?

— Нет.

— И вы в этом уверены?

— Абсолютно.

— И все же я просил бы вас провести вместе со мной небольшой опыт для того исключительно, чтобы я мог убедиться в правоте ваших слов.

— Я не знаю, какой опыт вы имеете в виду...

— Очень просто. Не будете ли вы столь добры, — сказал я, — надеть этот перстень на палец правой руки.

— Ежели это доставит вам удовольствие, пожалуйста. — Он пожал плечами. — Но пальцы мои слишком толсты, и боюсь, что опыт вам не удастся.

Он взял у меня перстень и попробовал надвинуть его на указательный палец правой руки.

— Нет, нет, — остановил я его. — Попробуйте надеть его на безымянный.

— Пожалуй, — равнодушно сказал он, но мне показалось, что на лице его отразилось легкое, почти мимолетное замешательство.

Он снял перстень с указательного пальца и попробовал надвинуть его на безымянный. Перстень легко прошел первую фалангу, но на второй застрял, хотя Анощенко двигал его с видимым усердием.

— Позвольте мне попробовать вам помочь, — предложил я.

— Попробуйте, раз это вам так уж необходимо.

Он протянул мне свою пухлую руку. Я двигал кольцо так и эдак — оно не двигалось с места.

— Ну, хватит, — сказал, наконец, Анощенко, — так вы мне, чего доброго, и вовсе палец сломаете. Вы же отлично видите, что перстень не мой.

Я чувствовал, что терплю полное фиаско, но пытался сохранить хорошую мину при плохой игре.

— Однако же на вашем пальце есть след от носимого раньше кольца.

— Да, есть, — согласился он. — Здесь я носил обручальное кольцо, которое впоследствии где-то обронил. Оно было слишком велико. В отличие от вашего перстня, — добавил он с неприкрытым злорадством. — И вообще, господин хороший, — он поднялся из-за стола, — как человек старший по возрасту и более опытный в жизни и по службе, позволю себе посоветовать: оставьте вы это дело. Засадить меня в тюрьму вам вряд ли удастся, а себе можете нажать очень большие неприятности.

Он произнес это слово с явной угрозой, и теперь мне сразу вспомнилось, где я в последний раз слышал этот голос. Воображение мое вмиг накинуло на его плечи медвежью шубу, а глаза прикрыло маской. «Ну-ка, ну-ка посмотрим, как он умеет драться», — вспомнил я фразу, сказанную в ночи. Теперь этот же голос угрожал мне неприятностями. Я посмотрел на своего собеседника и усмехнулся.

— Не извольте беспокоиться, милостивый государь. Закон не темная улица, и нахрапом тут ничего не возьмешь. Даже если в большой компании.

— Это правильно, — согласился он. — Однако же и вам следует помнить, что иногда лучше выскочить из сани на ходу, чем продолжать путь до конца.

Глава восьмая

Вернувшись домой в девятом часу вечера, я пребывал в настроении более чем отвратительном. Дело Анощенко у меня никак не двигалось с места. Уж, казалось, все говорило против него. Результаты эксгумации превзошли все ожидания. Было ясно, что смерть Правоторова наступила от перелома кости каким-то твердым предметом. Но Анощенко бил его кулаком. Перстень на его палец не налезает, да и никто из свидетелей ни разу не упомянул об этом перстне. Как же быть? Закрыть дело? Но ведь ясно, что совершено преступление. И тут я себя поймал на мысли: а не является ли вся моя деятельность направленной только на подтверждение моей версии? Не подгоняю ли я факты под свое предположение, которое в корне неправильно? Может быть, я действительно хочу доказать недоказуемое, чтобы подтвердить свое следовательское реноме? Я стал размышлять. Ведь в конце концов Правоторов мог сломать нос и несколько позже. Не исключено, что в момент драки он был пьян. На обратном пути он мог споткнуться, упасть, его могла ударить лошадь, мало ли как он мог сломать эту кость? К сожалению, Правоторова нет, и его не спросишь.

Я кликнул Семена и велел принести водки. Семен посмотрел на меня удивленно: я никогда не пил один, но ничего не сказал и пошел исполнять приказание.

От выпитого легче не стало. «Да, — думал я, закусывая сыром. — Должно быть, я просто-напросто борюсь за честь мундира. И зачем мне нужно было со всем этим связываться? Ведь известно только то, что Анощенко избил Правоторова. Но он же не хотел его убить. И смерть от этого могла произойти, а могла и не произойти, и если произошла, то по чистой случайности. Надо бы отойти от этого дела, закрыть его. Но оно приобрело благодаря моим стараниям слишком широкую огласку, и прекратить его — значило бы не только пошатнуть, но просто начисто уничтожить свою репутацию, после чего единственным выходом из положения может быть только добровольный уход в отставку.

Мне вдруг стало как-то грустно и одиноко, сам себе я показался жалким, беспомощным ребенком. «Отчего я не женился? — думал я. — Сейчас бы рядом со мной был человек, которому я мог бы пожаловаться на свои неудачи».

— Семен! — неожиданно для самого себя крикнул я. И, когда Семен просунул голову в дверь, приказал: — Вели Филиппу закладывать санки. Да поживее!

— Не поздно ли, барин? — осторожно спросил Семен.

— Поживее, я тебе сказал.

Пятнадцать минут спустя я был у знакомого подъезда. Пулей взлетел я мимо растерянного швейцара на второй этаж. Без стука распахнул дверь. Лиза была одна. Несмотря на поздний час, она сидела за роялем и наигрывала что-то грустное. Увидев меня, она вздрогнула.

— Алексей Викторович? Что с вами?

— Какой я тебе, к черту, Алексей Викторович! Для тебя я Алеша. Прости меня, я был неправ, я люблю тебя. Я попытался ее обнять, но она отстранилась и смотрела на меня со сдержанным любопытством.

— Скажите! — Она улыбнулась. — Что же, Вера Николаевна вам отказала? Или родители сбавили цену?

— Не напоминай мне об этом, — сказал я, от стыда не находя себе места. — Ни о какой цене не было речи. Это была просто идиотская выходка.

— Ах, мой друг, — сказала она, вертя на пальце колечко с камушком, — как я могу быть уверена, что не дождусь от вас такой же выходки и в другой раз? И вообще, я не уверена, что смогу вас простить. Вы ославили меня на весь город. Знакомые смотрят на меня с сочувствием...

Она продолжала в чем-то меня упрекать, но я не слушал. Я тупо смотрел, как она вертит на пальце колечко, то снимая, то надевая его. И вдруг меня осенило. Ведь я столько раз видел, как надевают тугие кольца! Их не наталкивают на палец, а как бы навинчивают.

— Если вы не можете меня простить... — начал я с плохо скрытым облегчением.

Она испугалась.

— Пожалуй, на первый раз я вас прощу, — сказала она торопливо. — Но вы мне дадите слово, что это никогда не повторится. Вы дадите мне слово?

— Да, конечно, — сказал я не очень уверенно.

— Ну, ладно, мир, — улыбнулась она, протягивая мне руку для поцелуя. Я покорно поцеловал ее руку. Лица тут же отвернулась к роялю.

— В знак примирения, — сказала она, опуская руки на клавиши.

«Боже мой, опять!» — подумал я почти с ужасом.

При первых звуках романса я схватился за голову. Потом отступил к двери. Она ничего не видела. Она была упоена музыкой и своим голосом. Второй куплет я слышал уже за дверью, поспешно, но осторожно спускаясь по лестнице.

Проснувшись следующим утром, я не стал завтракать и сразу поехал на службу. Там сначала написал прошение о переводе в Тетюши, затем вызвал судебного пристава и, вручив ему повестку, велел немедля доставить в участок дворянина Анощенко.

Это дело можно было считать поконченным, и я отправился к Ивану Пантелеевичу, которого, к счастью, застал на месте и свободным от посетителей. Он сидел за своим столом и читал газету, которая всегда была его любимым чтением.

— Что пишут? — спросил я несколько развязно, садясь напротив него.

Он поднял голову и внимательно посмотрел на меня своими подслеповатыми глазами.

— Да вот, хвалят новый метод вставления зубов на каучуке, — сказал он, подумав. — Я полагаю, что если бы некоторым головы ставили из того же материала...

— Иван Пантелеевич, — перебил я его, — ежели вы под некоторыми имеете в виду мою голову, то она у меня именно такая и есть.

— Какая-я? — опешил он.

— Из каучука-с, — в тон ему ответил я. — Однажды в детстве пришлось мне упасть со второго этажа и удариться головой об мостовую, так, поверите ли, ничего не случилось, только подскочил, как мячик.

— Пустой человек, — не приняв моей шутки, покачал головой Иван Пантелеевич. — С чем пожаловал?

— Иван Пантелеевич, — сказал я. — Вы, помнится, предлагали мне место следователя в Тетюшах. Так вот, если вы не передумали...

На лице его отразилась работа мысли. Может быть,

он хотел спросить меня, что значит мой вчерашний визит, может, он хотел упрекать меня или грозить. Но он не сделал ни того, ни другого, ни третьего. Он грузно поднялся со своего кресла и, заложив руки за спину, прошелся по кабинету, что-то обдумывая.

— Ну что же, — наконец вымолвил он негромко. — Я бы, пожалуй, не возражал противу вашего перевода, но в виду последнего вашего дела, с которым вы, наделав немало шуму, не сумели справиться, позволю вам дать отеческий совет: перемените профессию, пока не поздно. Вы еще молодой человек, можете сделать карьеру на другом поприще, попробуйте себя, к примеру, в адвокатуре, а судья, поверьте моему опыту, из вас не получится. У вас нет эдакой жилки, которая нам, старым служакам, помогает иногда раскусить человека с первого взгляда.

— Предпочитаю раскусывать хотя б со второго взгляда, но до конца, — ответил я дерзко и добавил: — Поскольку, Иван Пантелеевич, ввиду моей несменяемости по закону не в вашей власти прекратить мою судебную карьеру, я бы все же просил вас о переводе в Тетюши, где в деревенском уединении я и обдумаю ваше предложение подробно.

— Ну что ж, ну что ж, — подумав, сказал он, снова переходя на «ты». — Не скрою от тебя, что твой перевод не будет для меня огорчительным. Чем дальше мы будем находиться друг от друга, тем лучше. Подавай прошение...

— Прощение готово. Вот оно. — Я выложил свое сочинение на стол перед ним.

— Ну вот и хорошо, — удовлетворенно сказал он, бегло скользя глазами по тексту. Затем наложил резолюцию и вернул мне бумагу. — Теперь надобно утверждение председателя окружной палаты князя Шаховского, о чем я тоже буду его просить, и с богом.

— Вечный ваш должник, Иван Пантелеевич, — с чувством сказал я, приложив руку к груди. — Не знаю даже, как вас благодарить.

— Не стоит благодарности, — сказал он, снова уткнувшись в газету.

О Лизе не было сказано ни слова. Но ее тень витала над нами, придавая остроту разговору.

Углубившись в чтение, Иван Пантелеевич казалось,

забыл про меня. Я кашлянул. Он поднял голову и удивился:

— Ты еще здесь?

— К сожалению, — сказал я. — Иван Пантелеевич, еще два слова по поводу дела Анощенко.

— Да что там за дело, — поморщился он. — Закрывать его надобно. Не получилось оно у тебя.

— Однако же, прежде чем закрыть, надо изложить, чего достигло следствие. На месте драки был найден большой перстень черного чугуна, неизвестно кому принадлежащий. При эксгумации трупа Правоторова было обнаружено, что носовая кость покойного была переломлена тяжелым предметом незадолго до смерти. При приложении к месту перелома означенного чугунного перстня установлено, что вмятины на околоносовых костях вполне соответствуют конфигурации перстня. Таким образом, для получения более стройной картины осталось только установить, что этот перстень действительно принадлежал господину Анощенко, что я именно сейчас и намерен сделать. Поэтому я покорнейше просил бы вас проследовать в мой кабинет, чтобы присутствовать при последнем акте этой небольшой, если исходить из вселенских масштабов, трагедии... Впрочем, ежели вы не возражаете, место действия может быть перенесено и в ваш кабинет.

Анощенко встретил нас выражением крайнего недовольства: он-де занятой человек и не может по каждому нашему зову бегать на допросы.

— Не беспокойтесь, Степан Петрович, — попытался успокоить его Клемишев. — Следователь у нас молодой, горячий, однако я думаю, все обойдется и устроится в лучшем виде.

— Вашими бы устами, — скорбно сказал Анощенко. — Если он такой молодой, так нельзя ли было передать мое дело кому постарше да поопытнее.

— Да вот, по нынешним законам, оказывается, и нельзя, — вздохнул Иван Пантелеевич. — Мы ведь теперь несменяемые. Какую бы глупость ни вытворили, кроме разве что уголовного преступления, все нам простится и сойдет как с гуся вода.

Я хотел ему сказать, что не гоже в присутствии подследственного язвить своего коллегу, да смолчал — бог с ним совсем. Тем более что сюрприз, мною приготовленный, был неотразим.

— Степан Петрович, — обратился я к Анощенко. — Дело, по которому я решил вас побеспокоить, может быть, и пустяковое, но необходимое. Сейчас мы с вами повторим наш вчерашний опыт, который или со всей красноречивостью докажет мою непригодность к судебной деятельности, или же...

— Или же? — повторил он.

— Позвольте еще раз вашу правую руку.

— Опять? — он снисходительно улыбнулся и посмотрел на Клемишева, который сидел в стороне, сцепив на коленях руки со скептическим выражением на лице.

— Опять, — вздохнул я с полным сочувствием.

— Извольте, — сказал он с вызовом, — но ежели вы и сейчас ничего не добьетесь, то учтите, я буду на вас жаловаться губернатору, а ежели губернатор не поможет, то и до самого царя дойду, но этого дела так не оставляю и не позволю постоянно измываться над столбовым дворянином.

— Разумеется, это ваше право, — согласился я, беря его руку в свою и внимательно разглядывая. Теперь я заметил, что след от носимого раньше кольца имеет ширину гораздо большую, чем обыкновенно имеют обручальные кольца.

— Ну что ж, Степан Петрович, — сказал я. — Рискнем.

Я достал из кармана перстень и быстрым движением попытался надеть его на протянутый палец. Конечно, перстень застрял у второй фаланги.

— Ну что? — с видимым сочувствием спросил Анощенко. — Не идет?

— Не идет, — сказал я печально. — Так не идет. А ежели сделать так... — подталкивая перстень, я повернул его в одну сторону... — а потом эдак... — я повернул перстень в другую сторону.

Анощенко побледнел и отдернул руку. Но было уже поздно: увесистый чугунный перстень красовался на безымянном пальце его правой руки.

Встрепенулся Клемишев. Его маленькие глазки перепрыгивали с меня на Анощенко и с Анощенко опять на меня. Он все понял и оценил. Человек он был плохой, но неглупый. Кажется, сейчас он даже одобрял меня, хотя и сочувствовал Анощенко.

— Что это значит? — спросил он наконец, глотая слюну.

— К сожалению, это значит, — сказал я, — что я вынужден буду арестовать господина Анощенко.

— Вы не имеете никакого права! — закричал на меня Анощенко. — Это еще не доказательство!

— Зря шумишь, Степан Петрович, — тихо сказал Иван Пантелеевич. — Арестовать тебя он право имеет, так что защищайся каким-то другим способом. Поищи адвоката получше, попытайся воздействовать на милосердие присяжных.

— Но ведь то, что перстень налезает мне на палец, еще не доказывает ничего.

— Почему же. Кое-что доказывает, — устало сказал Клемишев. — Косвенная улика. По прежним законам можно было бы и оставить тебя в подозрении, по нынешним придется судить, а там уж как повернется.

С этими словами он вышел из кабинета.

Анощенко большим батистовым платком вытирал пот с лица. Я писал постановление об аресте.

— Господин следователь, — сказал вдруг Анощенко жалким голосом. — А что, если нам разойтись полюбовно? Уж я, слово дворянина, в долгу не останусь.

— Я взятку не беру, уважаемый Степан Петрович. — Перо было плохое и брызгало.

— Ну уж сразу — взятка, — оживился он. — Просто дружеское вспомоществование.

— И во вспомоществовании, получая жалованье и некоторый доход от имения, не нуждаюсь.

— И что же мне грозит? — спросил Анощенко.

— Сущие пустяки, — сказал я, открывая Уложение о наказаниях. — Во всяком случае, вы отделаетесь гораздо легче, чем ваша жертва, от которой уже не осталось ничего, кроме скелета. Вот статья 1464, она гласит: «Если вследствие нанесенных не по неосторожности, а с намерением, хотя и без умысла на убийство, побоев или иных насильственных действий причинится кому-либо смерть, то виновный в сем приговаривается, смотря по обстоятельствам дела: к заключению в тюрьме на время от восьми месяцев до двух лет с лишением некоторых, по статье 50 сего Уложения, особенных прав и преимуществ, или к заключению в тюрьме на время от четырех до восьми месяцев: сверх сего, если он христианин, то предается церковному покаянию по распоряжению своего начальства».

— Два года тюрьмы! — схватился за голову Анощен-

ко. — Два года тюрьмы столбовому дворянину за какого-то извозчика!

— Могу вам дать совет в частном порядке, — сказал я. — Когда ваше дело будет слушаться в суде, не ссылайтесь на свое дворянство. Постарайтесь осознать свою вину не только внешне, но и внутренне, тогда вы произведете лучшее впечатление на присяжных, от которых будет зависеть ваша судьба.

Глава девятая

Свой перевод в Тетюши я прямо не связывал ни с какими иными соображениями, кроме служебных, однако не скрою, что желание вновь свидеться с Верой в числе побудительных мотивов занимало не последнее место. Чем дальше, тем чаще вспоминалась мне она, озорная и строгая, умная и легкомысленная одновременно. Кажется, на пасху отправил я ей письмо с поздравлениями, в котором между прочим писал о своем возможном переводе в Тетюши, объясняя его чисто служебной необходимостью.

Вскоре получил от Веры ответное письмо, в котором она благодарила за поздравление и затем в своей обычной шутиливой манере писала, что мой приезд в Тетюши непременно произведет в местных умах переворот, поскольку вся молодежь рвется из здешней глуши в Казань, Москву и Петербург.

«Я думаю, — писала Вера, — что, если вы выйдете в воскресенье на базарную площадь и объявите, что добровольно переехали сюда из Казани, соберется немало народу, чтобы на вас посмотреть. Что касается меня лично, то я, несмотря на всю нелепость вашего шага, буду вам всегда рада и уже сейчас потихоньку готовлюсь к предстоящей встрече. Чтобы произвести на вас хорошее впечатление, читаю умные книги, образ жизни веду самый неприхотливый: ношу платье из мешка, употребляю грубую пищу и сплю исключительно на гвоздях. Если придете, закажу вам тоже топчан с гвоздями».

Письмо это я показал Косте, и мы вместе посмеялись.

Однако время шло, мой отъезд по разным причинам откладывался со дня на день, и в Тетюши я прибыл только в июне.

Мой предшественник, как и следовало ожидать, оставил мне все дела в полнейшем беспорядке, так что в пер-

вую неделю пришлось копаться в бумагах, разбирать, что к чему. Но работы тут было на гораздо более долгое время, поэтому в ближайшую субботу я велел оседлать казенную лошадь и отправился в Никифорово.

День был хороший. Грело солнце, но легкий боковой ветерок не давал распалиться жаре, и я ехал не спеша, наслаждаясь видом окружающей природы и запахом полевых цветов.

Дорога шла краем соснового бора, потом запетляла по чистой степи. Стояла особая степная звонкая тишина, нарушаемая только тревожным писком полевых мышей. Иногда из-под ног лошади с шумом выпархивали мелкие куропатки.

Под вечер я наконец въехал в Никифорово, чистенькую деревушку с крепкими, не запущенными крестьянскими избами. Словоохотливая толстая девка указала мне, как проехать к барской усадьбе, да я мог бы ее и не спрашивать: барский дом, окруженный молодыми дубами, виден был издалека. Двухэтажный, с высоким крыльцом, дом этот стоял над небольшим, но чистым прудом, в котором плавали и кричали жирные утки. Белые гуси хлопотливо убрались с дороги, однако некоторые из них оборачивались и, вытягивая шеи, шипели на меня, отчего молодая лошадь вздрагивала и шарахалась в сторону, и мне пришлось натянуть поводья, чтобы ее удержать. Повсюду раздавались давно не слышанные мной деревенские звуки: лай собак, пенье птиц и мычанье коров, возвращавшихся с пастбища. Красный шар солнца висел, запутавшись в ветвях отдаленных деревьев, и отражение его лучей тянулось через весь пруд широкой бронзовой полосой. Увиденная картина напомнила нашу родовую деревню Филипповку, напомнила годы детства, и сердце мое переполнилось неизъяснимым покоем и радостью. Я прищпорил лошадь и вскоре оказался перед господским домом. Откуда-то из-за угла вывернулась черная мелкая собачонка и стала с отчаянным лаем кидаться на лошадь, отчего та всхрапывала и норовила встать на дыбы. На лай собачонки выбежала на крыльцо худенькая старушка с вязаньем в руках и прикрикнула на собачонку, после чего та сразу завилыла хвостом.

— Кого тебе, барин, надобно? — обратилась затем ко мне старушка, в которой я сразу признал Верину няньку Наталью Макарьевну, о которой Вера мне много рассказывала.

— Дома ли барин Николай Александрович? — спросил я.

— А где ж ему быть? — отвечала старуха. — И Николай Александрович и Екатерина Христофоровна, все дома.

— А вы, стало быть, Наталья Макарьевна? — спросил я.

— Она самая, — заулыбалась старуха. — А ты чей же будешь, чтой-то я никак не признаю.

— А я, бабушка, ничей, — пошутил я. — И признать ты меня не можешь, потому что мы не знакомы.

Я привязывал лошадь к крыльцу, когда дверь распахнулась и на крыльцо выбежала Вера.

— Алексей Викторович! — ахнула она и, сбежав по ступенькам, остановилась передо мной. — Я вам так рада!

Я сказал ей, что тоже очень рад и что с той самой поры, как она уехала из Казани, думал о ней постоянно.

— Так уж и постоянно? — не поверила она.

— Так уж и постоянно, — сказал я. — А где же ваш батюшка?

— А вон он, — сказала Вера.

И в самом деле, на крыльце появился Николай Александрович, как всегда, прямой и подтянутый. Одет он был в красную косоворотку, подпоясанную шелковым ремешком, суконные брюки были заправлены в высокие сапоги.

— Кого бог принес? — спросил он своим уверенным и властным голосом. — Никак Алексей Викторович! Вот уж, как говорится, не ожидал. Надолго ли?

— Да как сказать. Пока что на денек, если не прогоните. А вообще, прислан к вам в уезд судебным следователем.

— Вот оно что, — сказал Николай Александрович. — Слышал я о том, что у нас новый следователь, исправник на днях сказал, да не знал, что вы. Говорили только, что следователь строгий, крутого характера.

— Ну уж и крутого, — смутился я. — Характера я самого обыкновенного, можно даже сказать, мягкого, но к делу своему пытаюсь относиться добросовестно.

— Да что ж это мы тут стоим? — вдруг спохватился Николай Александрович. — Пройдемте в дом. А ты, Наталья Макарьевна, — обратился он к старухе, — найди,

будь добра, Порфирия, пусть лошадь сведет на конюшню, расседлает да даст овса. Овса, слышишь, а не сена!

Мы сидим посреди сада в беседке, старательно расписанной доморощенным художником. Прямо передо мной — изображение пухлой девицы, грустящей у самовара, и надпись славянской вязью: «Не хочу чаю, хочу шампанского». Мне хорошо и покойно, но, не имея смелости сказать о своих чувствах, я продолжаю разговор, начатый еще у меня, в Казани. Я говорю о том же, но как много изменилось с тех пор!

Я вижу, Вере здесь тоскливо сидеть безо всякого занятия, но что делать, куда податься?

— Можно сколько угодно читать умные книжки, — говорит она, — можно проповедовать самые передовые убеждения, а судьба все равно одна: замужество, дети, семья. Женщина не может иметь какого-то своего дела.

Я пытаюсь ей возражать:

— Напрасно вы так думаете. Если вам так важно иметь свое дело, можно найти какой-то выход из положения. Между прочим, вы знаете, кто такая Сулова?

— Понятия не имею.

— Так вот, Надежда Прокофьевна Сулова — первая в России женщина, которая не захотела мириться со своим положением, поехала в Швейцарию, кончила университет и теперь служит хирургом.

— Женщина-хирург? У нас в России? — Вера смотрит на меня недоверчиво. — Разве это возможно?

— Выходит, возможно. Я читал о ней в журнале «Дело». Кажется, номер с этой статьей лежит у меня в Тетюшах. Прикажете доставить?

— Обязательно! — говорит Вера. — Что ж вы раньше молчали? Как только будете в Тетюшах, сразу найдите этот номер и если не сможете сами приехать, то пришлите с кем-нибудь.

После этого мы говорим о разных пустяках, но она снова и снова переводит разговор на Сулову. Кто она? Сколько ей лет? Откуда?

— Я вижу, мое сообщение сильно на вас подействовало.

— Я бы очень хотела стать врачом. Здесь меня все подозревают в желании праздно провести жизнь. Мой дядя Петр Христофорович постоянно подтрунивает: «А ну-ка Верочка, давай подсчитаем, сколько пудов ржи висит у тебя на ушах в виде этих сережек?» Считает, и

даже по самому неурожайному году получается пудов пятьдесят. «А сколько пудов овса облегает тебя в виде этой материи?»

А тетя Варя однажды сказала, что Лидинька, моя сестра, — человек глубокий, а Верочка как малиновый фонарик — снаружи хорош, но сторона, обращенная к стене, пустая. И для вас я такая же пустышка, как для тети Вари.

Я смутился и запротестовал:

— Что вы, Верочка, я с вами веду эти разговоры именно потому, что отношусь к вам серьезно, очень серьезно.

Уже совсем стемнело, и на террасу вынесли свечи.

— Вера! Алексей Викторович! — услышался голос Екатерины Христофоровны. — Идите чай пить!

Вера поднялась:

— Пойдемте, Алексей Викторович. А что касается статьи об этой вашей Сусловой, то, пожалуйста, не забудьте.

Глава десятая

Друг мой Костя!

Давно собирался тебе написать, да все как-то не получалось. И не оттого, что служба заела, а совсем от другой причины, которая состоит в том, что влюбился я, брат мой, по уши, так влюбился, что и не ожидал сам от себя. Вот ведь бывало и прежде, как будто тоже влюблялся, и казалось даже, что сильно, но теперь-то я вижу, что прежнее все было не то, не любовь, а в крайнем случае увлечения, но такого, как сейчас, чтобы все время только этим и жил, никогда не бывало. По долгу службы обязан я жить в Тетюшах, где мне дана казенная квартира, но в ней я почти не бываю. Как только выпадает свободное время, сажусь на лошадь и еду в Никифорово, и еду, надо сказать, каждый раз как на праздник. В доме Фигнеров я стал уже как бы своим человеком, они встречают меня с неизменным радушием и гостеприимством, относясь ко мне, как к родному. Точно так же отношусь к ним и я, хотя и не закрываю глаза на отдельные недостатки отдельных представителей этого рода. Но попробую описать все семейство.

Николай Александрович — отец Веры. Это высокий, стройный, худощавый человек с темными, но уже поддер-

нутыми изрядной сединой волосами, темной же некурчавой бородкой, с глазами бутылочного, как он сам говорит, цвета и с правильными чертами лица, которые он передал всем своим детям. Ходит уверенно, говорит громко, несколько истеричен и в спорах с крестьянами часто срывается на крик. Одевается просто: красная рубаха навыпуск, широкие шаровары и высокие сапоги. Детей держит в строгости. Вставай и ложись спать в определенное время, одевайся всегда одинаково, как бы в форменное платье, причесывайся так-то, не забывай здороваться с отцом и матерью по утрам и прощаться перед сном, крестись и благодари их после еды, никогда ничего не проси, не требуй ни прибавки, ни убавки, не отказывайся ни от чего, что тебе дают, доедай всякое кушанье без остатка, если даже тебя от него воротит, не привередничай, приучайся с детства быть неприхотливым ни в еде, ни в одежде, ни в бытовых условиях, спи на жесткой постели, довольствуйся молоком вместо чая и черным хлебом вместо белого. «Держи живот в голоде, голову в холоде, ноги в тепле. Избегай докторов и будь здоров» — вот любимая его поговорка. Ни малейшего снисхождения к детским слабостям. Раньше чуть что — драл нещадно плетью треххвосткой (Вера рассказывала, что ее, шестилетнюю, в свое время чуть не искалечил), но теперь стал немного либеральнее, плетью не пользуется, но уж зато так посмотрит своими «бутылочными» глазами, что даже меня, взрослого и выдавшего вида человека, дрожь изнутри продирает. При всем том неглуп, начитан (в домашней библиотеке «Отечественные записки», «Слово», «Дело», впрочем, не пренебрегает и Понсон дю Террайлем), по-своему честен. Я говорю «по-своему», потому что сами мысли его не всегда кажутся мне достаточно честными, но следует он им безо всякой видимой корысти. На крестьян кричит часто, но только в тех случаях, когда они, по его мнению, не понимают своих же интересов, по отношению к начальству держится независимо. Отец мой отзывался о нем как о человеке щедрым и великодушном. Прожектер, постоянно носится с какой-нибудь пустой затеей; то строит крупорушку, то требует топить печи исключительно гречневой шелухой, то устраивает в Никифорове базар, хотя некому там торговать, держит на Казанском тракте постоянный двор, не приносящий никакого дохода, разводил пчел, строил и не достроил кирпичный завод. Последняя его идея: использо-

вать силу небольшого ручья, протекающего в саду, для точения деревянной посуды. Для завершения его портрета добавлю, что любит иногда перекинуться в картишки по мелочи, в чем я ему с удовольствием составляю компанию. В былые годы проигрывал сотни рублей, хотя сам себя за это не сек.

Екатерина Христофоровна — полная противоположность своему мужу. Красивой ее, пожалуй, не назовешь, но лицо у нее хорошее, привлекательное и всегда светится мягкой кроткой улыбкой. Выйдя замуж почти девочкой и народив с тех пор восемь детей (два первых мальчика умерли во младенчестве), она донине сохранила неплохую фигуру, во всяком случае, Носов вполне мог бы еще за ней поволочиться. Она среднего роста, волосы черные, глаза карие, добрые. Кажется, она довольно религиозна, сентиментальна, любит цветы и деревья, в литературе предпочитает беллетристику критике и публицистике. На детей никогда не повышает голоса, позволяет им делать все что им вздумается, надеясь на то, что природные добрые качества сами возьмут в них верх.

Сестра Лида всего на год моложе Веры. Только что окончила Родионовский институт. Внешностью и характером пошла, кажется, в отца. Резка, прямолинейна, любит говорить правду в глаза (не считаю это качество всегда безусловно положительным), книги читает только ученые, меня как будто недолюбливает по идейным соображениям, считая, что женщине, а стало быть и Вере, при нынешних представлениях о браке выходить замуж унижительно, ибо мужчины, что бы они ни говорили, всегда относятся к женщине не как к другу и товарищу, а как к рабыне, стремясь подавить ее волю и растворить в себе ее личность, сделав ее только своим отражением.

Далее следуют два разбойника-гимназиста, о которых ничего толком сказать не могу. Знаю, что оба терпеть не могут всякое ученье, один мечтает стать инженером, другой моряком, думаю же, что из них не получится ни того, ни другого, а что получится, знает только бог.

Затем еще две сестрички, но эти совсем еще малышки. Одной двенадцать лет, другой пять.

Особое место в этой семье занимает няня Наталья Макарьевна, маленькая подвижная старушонка в больших очках в медной оправе. Это странное существо является неотъемлемой частью всего семейства. Она вырастила три поколения. Несмотря на преклонные лета (на

вопрос о возрасте она отвечает, что ей седьмой десяток, хотя Вера утверждает, что этот счет слышит с тех пор, как себя помнит), нянька с утра до ночи вертится по хозяйству: варит варенье, пастилу, брагу, делает наливки, запасаает фрукты и ягоды, солит грибы, вяжет тончайшее кружево, — словом, мастерица на все руки. При всем том получает она от господ нищенское жалованье: полтора рубля серебром, четверть фунта чаю да три четверти фунта сахару в месяц. Все ее богатство содержится в сундуке, который представляет необыкновенный интерес и является предметом вожделения для всего младшего поколения дома. Чего здесь только нет! Какие-то старые, полусгнившие лоскуты материи, подаренной в разное время от всех поколений господ, табакерки, коробочки, пуговицы, булавки, шпильки, и историю каждой вещи старуха помнит и охотно рассказывает. Но нет для нее большего удовольствия, чем предложить нюхательного табаку, который держит она в серебряной табакерке. И если ты вместе с ней понюхаешь его да почишаешь вместе с ней от души, то она рада безумно, и старческие глаза ее светятся удовольствием.

Что сказать еще об обитателях дома? Приезжают иногда родственники: Петр Христофорович Куприянов, мировой судья, Верин дядя по материнской линии и тетка Елизавета Христофоровна с мужем, помещиком по фамилии Головня. Все это тоже весьма интересные люди и уж никак не ретрограды. Дядя вполне разбирается в литературе, поклонник Чернышевского и Писарева, так что с ним мы быстро нашли общий язык. Иногда (находя, разумеется, во мне полную поддержку) подтрунивает над Верой, питающей слабость к безделушкам.

Мечеслав Фелицианович Головня — поляк. Так же как мой и Верин отцы, был лесничим. Служил, ни в чем плохом замечен не был. Шесть лет тому вдруг накатили жандармы, перерыли весь дом, схватили хозяина, увезли в Казань, продержали три месяца в крепости и выпустили, запретив заниматься государственной службой. В чем дело? Оказывается, его мать, брат и сестры, жившие в Варшаве, были замешаны в польском восстании. А он-то при чем? А при том! И весь сказ. Вот так-то. Вводим мы уставы, пытаемся соблюдать законность по мелочам, а как дело доходит до таких вещей — молчи. Политика! Сунешься — гляди и сам по шапке получишь. А уж если

закон в одном деле не соблюдается, то нет к нему достаточного доверия и в другом. Так-то, брат.

Но я тебе все о второстепенных персонажах своего романа, а о главном действующем лице молчу. А что говорить? Люблю я ее, да и все. Каждый день с ней — счастливое мгновение, день без нее (приходится бывать и на службе) — пытка. Все собираюсь сделать предложение, да трушу ужасно. Вдруг откажет? Этого я, кажется, не переживу. При всем своем критическом уме, считаю ее совершенством. Ты будешь смеяться, но я вот временами смотрю на нее и думаю: «Ну какие же в ней недостатки?» И не нахожу никаких. Красива, ты и сам видел. Что лицо, что фигура — безупречны. Умна, остроумна, добра. Часто подсмеивается над моим высокопарным «штилем», но за иронией ее, я уверен, скрываются глубокий ум и высокие побуждения.

Смотрю на нее иной раз и думаю: «Вот то, что искал я всегда: гармоничное сочетание красоты, женственности и ума, плюс «души прекрасные порывы». Это ли не совершенство?»

Иногда вспоминаю Лизу и думаю: «Неужели это я собирался жениться на этой курице, у которой на уме ничего, кроме замужества и своего гнездышка, за которое она вместе со своими mother and father¹ горло готова перегрызть любому, кто посягнет?»

Вот, друг мой сердечный, какие дела. Пиши мне, и я тебе буду писать, если не помру к тому времени от счастья.

Обнимаю тебя. Твой Алексей.

Глава одиннадцатая

— Ну, вы прочли статью о Сусловой? — спросил я, налегая на весла. В том месте, в котором мы плыли, Волга делала крутой поворот, а на повороте течение, как известно, бывает быстрее, и надо приложить значительные усилия, чтобы плыть против него.

— Да, я прочла эту статью, — вздохнула Вера, — но, к сожалению, она не имеет ко мне никакого отношения. Батюшка, при всех его либеральных взглядах, по суще-

¹ Отец и мать (англ.)

ству остался тем, кем был раньше, и за границу меня ни за что не отпустит.

— Для начала можно попробовать и в России, — сказал я, впрочем, не очень уверенно. Мне удалось одолеть поворот, и теперь лодка заметнее продвигалась вперед вдоль песчаного берега.

— Алексей Викторович, — сказала она с упреком, — не говорите заведомую глупость. Вы не хуже моего знаете, что в России женщину к высшему учебному заведению не подпускают на пушечный выстрел.

— Времена меняются, — сказал я, пожав плечами. — Официально женское обучение не поощряется, но неофициально... можно попробовать. У меня в Казани есть друг, да вы его знаете — Костя Баулин, он преподает в университете патологическую анатомию и мог бы вам посодействовать, если бы ваше желание было достаточно сильным.

— Вы знаете, что оно достаточно сильно, — сказала она с досадой. — Я ждала, пока Лидинька окончит институт, но теперь она его окончила, и мы обе готовы учиться дальше. Но что может для нас сделать ваш Костя?

— Многого не может, но в университете его уважают. Для первого раза вы могли бы довольствоваться ролью вольных слушательниц.

Я повернул лодку и уверенно повел ее на середину реки, ориентируясь на одинокую иву на том берегу.

— А почему вы так заботитесь о моем будущем? — спросила вдруг Вера.

— Потому, что я вас люблю, — неожиданно вырвалось у меня.

— Что? — оторопела Вера.

— Ничего, — рассердился я. — Вы очень хорошо сами знаете, для чего я постоянно приезжаю в ваше Никифорово, для чего постоянно за вами хожу.

Она посмотрела на меня внимательно и вдруг звонко расхохоталась. Она смеялась до слез, откинувшись на корму.

— Если вы будете так сильно смеяться, — хмуро заметил я, — вы можете свалиться за борт, а при том, что вы, насколько мне известно, плаваете не лучше утюга...

— А вы меня не смешите, — сказала она, вытирая платочком слезы.

— А я и не собираюсь вас смешить, — пробурчал я.

— Алеша, — она весело посмотрела на меня. — Как

понять ваши слова? Значит ли это, что вы делаете мне предложение?

— Да, значит, — сказал я все так же хмуро, сердясь на самого себя за этот дурацкий тон.

Она опустила в воду правую руку и стала водить ею взад и вперед. Потом посмотрела на меня из-под соломенной шляпы и серьезно спросила:

— А почему вы делаете мне предложение таким странным тоном, как будто объясняетесь не в любви, а во вражде?

— По глупости, — сказал я, смутившись. — И потому, что боюсь отказа.

— А-а.

Она замолчала и не проронила больше ни слова, пока мы не доплыли до противоположного берега. Здесь, на перевозе, я вернул лодку хозяину, хмурого вида мужику, и дал ему рубль серебром. От перевоза до Никифорова было версты полторы, и мы пошли тропинкой, петляющей по редкому сосновому лесу. Было жарко, я снял сюртук и перекинул его через руку. Мы вышли на поляну, усыпанную ромашками.

— Устала, — сказала Вера и присела на сваленную сосну.

Я сел рядом. Она нагнулась, сорвала ромашку и стала молча отрывать лепестки, лукаво и многозначительно поглядывая на меня.

Я подвинулся к ней и положил руку на ее худенькое плечо.

— Алеша, — сказала она, поежившись. — А как же насчет женской эмансипации, образования и всего прочего?

— А разве нельзя учиться, будучи замужем?

— Может быть, можно, но... — она смутилась и покраснела.

— Но?

— Алеша, — она говорила с трудом. — Мы ведь взрослые люди, мы знаем...

— ...что от этого бывают дети?

— Да, — сказала она, краснея еще больше.

— Глупая, — сказал я, притягивая ее к себе и покрывая поцелуями теперь уже совсем родное лицо. — Ты совсем еще глупая.

В светлый осенний день 1870 года лысый попик Никодим обвенчал нас в никифоровской церквушке.

Родители мои и невесты хотели устроить веселую свадьбу, но мы объявили, что шумные торжества не соответствуют нашим желаниям. Поэтому была только ближайшая родня с обеих сторон, которой, однако, тоже набралось порядочно. Отец мой приехал в сюртуке, шитом еще, если не ошибаюсь, до моего рождения и с тех пор почти не носимом. Сюртук был слегка побит молью, но выглядел еще довольно прилично. Приехав на свадьбу, отец сказал, что, если бы не такое событие, пожалуй, он сына еще несколько лет не увидел. Что касается матушки, то она была просто рада и ни в чем меня не упрекала.

Несмотря на всю скромность торжества, выпито и съедено было довольно много. Тосты произносились один за другим. Не обошлось и без курьеза. После того, как было выпито и за молодых и за старых, и за будущих детей, встала Лида.

— Я хочу сказать тост. — Глаза ее сверкали. — Вера, — сказала она взволнованно. — Пусть мне все простят. Простите, Алексей Викторович, но я хочу произнести этот тост за мою старшую сестру. Вера, я пью за тебя, я надеюсь, что замужество не превратит тебя в замужнюю женщину, в том смысле, в котором мы привыкли это видеть, в рабыню своего повелителя...

— Это, кажется, камень в мой огород, — улыбаясь, сказала Екатерина Христофоровна. — Да, я всегда была младшей в доме своего мужа, но я этого несколько не стыжусь и не считаю себя в чем-нибудь ущемленной.

— Мамочка, — посмотрела на нее с упреком Лида. — Вы же знаете, как я к вам отношусь, как мы все, ваши дети, к вам относимся. Но вы жили в другое время...

— Да, я жила в другое время, но женщина для того и создана, чтобы помогать мужчине, которому всегда труднее...

— Катя, — Петр Христофорович положил руку на плечо сестры. — Не мешай дочери, она дело говорит.

— Нет, — обиделась Лида, — я не хочу больше ничего говорить. — В глазах ее показались слезы, она поставила рюмку и села.

— Нет, ты уж договори, — мягко попросил Петр Христофорович.

— Просим! Просим! — закричал Мечеслав Фелицианович и захопал в ладоши.

— Просим! — поддержала его Елизавета Христофоровна и тоже захопала.

Лида снова поднялась.

— Я хотела сказать... я хотела сказать, — волнуясь и еле преодолевая желание заплакать, проговорила она, — я надеюсь, что после замужества ты не погрязнешь в ежедневной суете, которая называется семейной жизнью, и сохранишь в себе личность. Я очень уважаю Алексея Викторовича, но я не хотела бы, чтоб ты стала только его тенью, а чтоб ты была ему другом, и другом, равным во всех отношениях.

— Bravo! — крикнула Елизавета Христофоровна и снова захопала в ладоши.

— Молодец, племянница, — поддержал и Петр Христофорович.

— Коля, — повернулся он к Николаю Александровичу, — дочь-то твоя дело говорит.

— Слишком остры все на язык, — хмуро заметил Николай Александрович.

— Новое поколение, Коля, — глубокомысленно заметил Петр Христофорович. — Как сказал поэт, «племя младое, незнакомое». А вы что скажете, Алексей Викторович? — обратился он ко мне.

— А я скажу то, что Лида права, — сказал я и, наполнив рюмку, встал.

— Bravo! — опять захопала в ладоши Елизавета Христофоровна.

— Так что, Екатерина Христофоровна, — повернулся я к матери своей молодой жены, — это камень не в ваш огород, а прямым попаданием в мой. Но я с Лидой полностью солидарен. И я вовсе не хочу, чтоб Вера была моей тенью или моей рабыней, я хочу, чтоб она была моим преданным и вполне равноценным другом.

— Бардзо добже! — закричал Мечеслав Фелицианович. — Горько!

— Горько! Горько! — закричали со всех концов стола.

Свадьба была как свадьба. Пили, кричали, спорили о политике. Мечеслав Фелицианович, захмелев раньше других, бил себя кулаком в грудь, плакал и жаловался на злых людей, которые сделали ему много вреда.

— За что? — выкрикивал он и лез ко мне через стол.

— Мечеслав, — тянула его за рукав Елизавета Христофоровна. — Не надо. Пойдем спать.

— Не хочу спать! — воздевая руки к потолку, кричал Мечеслав Фелицианович. — Я сплю! Вы спите! Мы спим! Пора проснуться! Откройте глаза! Завтра же пошлю телеграмму царю. Я выскажу ему все, что думаю.

— Хорошо, хорошо, — ласково уговаривала мужа Елизавета Христофоровна. — Завтра пошлем телеграмму, а пока пора спать. Пойдем. Дай руку. — Она подставила свое шупленькое плечо, обвила его руку вокруг своей шеи. Бунтарь сразу сдвинулся и обмяк.

Глава двенадцатая

Через несколько недель умер Николай Александрович. Накануне вечером он был вполне здоров, сидел за столом, шутил с домашними. Утром все вышли к завтраку, его нет. Послали Наталью Макарьевну, не достучалась. Пошла Екатерина Христофоровна, стучала, не достучалась, кричала, не докричалась. Послали за конюхом Порфирием, тот, не долго думая, плечом вышиб дверь. Николай Александрович спал, повернувшись лицом к стене. Спал вечным сном.

Тот же плюгавый попик, по имени Никодим, который еще недавно надевал мне и Вере обручальные кольца, теперь махал кадилом, отпевая усопшего.

День был слякотный, и глина на кладбище плыла под ногами. Конюх Порфирий с бесчувственным лицом заколачивал гвозди. Екатерина Христофоровна кричала и рвалась к могиле. Ее держали за руки и совали в нос флакон с нюхательной солью. Вера стояла чуть в стороне, прямая, серьезная, и смотрела на происходящее пристально, как будто желая до конца убедиться, что так бывает. Гроб опустили. Вера нагнулась и бросила в могилу горсть глины. И опять стояла прямо.

Екатерину Христофоровну под руки повели с кладбища. Ушли Лида с Женей, ушли мальчишки Петя и Николенька, ушла и Наталья Макарьевна. Вера стояла и смотрела на крест, на котором одинокой слезинкой выступила смола. Я подошел к Вере сзади и взял ее под локоть.

— Пойдем, — сказал я. — Опять дождь начинается.

Она послушно пошла по тропинке между могилами.

Ее оцепенение пугало меня. Я пытался утешить ее, сказал, что теперь больше, чем раньше, хочу быть для нее опорой в жизни, хочу быть мужем, отцом и старшим товарищем.

— Алеша, — сказала она тихо. — Мы с Лидой решили ехать в Казань. Попробуем пробиться в университет. Ты не будешь против?

— Не только не буду против, но буду очень рад за тебя, — горячо поддержал я.

Хотя еще недавно я сам внушал Вере, что она должна непременно учиться, хотя сам побуждал ее отправиться в Казань, та легкость, с которой она меня оставила, несколько меня удивила и покорила. «Если она так легко уехала, — думал я, — значит, она не очень-то меня любит, значит я ей нужен не во всякое время». Однако я старался заглушить в себе этот легкий ропот недовольства, ловя себя на том, что и сам я несколько приустал от ежедневной любви и ежедневного счастья.

С Вериним отъездом я переехал в Тетюши и жил на своей казенной квартире с казенным столом, казенной кроватью и казенным цветком на подоконнике. У меня вдруг неожиданно оказалось много свободного времени, которое я не знал на что употребить. Как-то вечером побывал у мирового судьи, у которого собиралось почти все здешнее общество, но оно мне показалось еще более пустым и скучным, чем то, к которому я привык в Казани.

После этого вечера я избегал ходить по гостям, предпочитая проводить вечера в одиночестве. Пробовал заняться немецким языком, поставив себе нормой изучать в день по десять новых слов, но уже на третий день мне это наскучило, и я либо читал книги, либо просто лежал на спине, смотрел в потолок и думал о Вере. Однажды надумал я вести дневник, купил тетрадку в красном переплете, написал на обложке «Дневник». Затем, поставив на первой странице число, описал свой день подробно: когда встал, что ел, кого встретил в течение дня, о чем говорили, но, перечитавши все это, увидел, что ничего интересного в этой записи ни для потомства, ни для себя самого в будущем нет, и бросил. Потом я решил, что вместо дневника буду писать письма Вере. В день по письму. Так гораздо больше стимула, потому

что дневник пишешь неизвестно кому и для чего, в письме же получается видимость двухстороннего разговора, кроме того, ей, наверное, будет приятно. Сначала я писал каждый день, потом через день, потом от случая к случаю. Сочиняя эти письма, я думал о том, что любовь дает человеку радость не только близости с любимым человеком, но и радость разлуки. Я думал о том, что вовсе не обязательно, чтобы любимый человек был всегда рядом, есть особое наслаждение думать о том, что он где-то вдалеке, занят своими делами и все же иногда думает о тебе, вспоминает тебя. Иногда мне казалось, что если я буду долго и сильно думать о Вере, то мысль моя о ней обязательно дойдет до нее и она тоже станет думать обо мне, и ее мысль вернется сюда, и мы будем как бы вместе.

Недели через две после отъезда Веры получил я от нее письмо, в котором она писала о своей жизни. Надежды на то, что им с Лидинькой удастся поступить в университет, не оправдались. Профессор Марковников, к которому Костя по моей просьбе дал им рекомендательное письмо, принял их любезно и разрешил заниматься в своей лаборатории после занятий со студентами. Но этим его участие и ограничилось. Вера и Лидинька приходили по вечерам в лабораторию, смешивали в колбах какие-то реактивы, кипятили их, но, кажется, без всякого смысла. «Есть здесь, — писала Вера, — некий профессор Лесгафт, молодой ученый, говорят, восходящее светило в медицинской науке, он будто бы стоит за женское обучение; мы с Лидинькой решили пробиться к нему, чтобы получить разрешение присутствовать на лекциях и посещать анатомический театр. В анатомический театр однажды даже заглянули. Там стоял такой запах, что с трудом выдержали. Во всем университете, кажется, только две женщины, все смотрят на нас как на какую-то диковину, но мы не обращаем внимания — пусть думают, что хотят». Письмо было написано в обычной ее сдержанной манере, без всяких уверений в любви, без междометий и восклицательных знаков, которыми я в своих письмах, может быть, даже злоупотреблял. Меня даже слегка обидела эта холодность, но потом я подумал, что это не холодность, а простая сдержанность, свойственная ее характеру.

Во втором письме Вера писала, что познакомилась

с Лесгафтом, который оказался очень приятным и приветливым человеком. Он сразу же и без всяких условий разрешил им посещать его лекции вольными слушателями и наравне со студентами работать в анатомическом театре. Письмо было опять деловое, без всякой лирики. Я ответил, что очень рад, что им удалось так хорошо устроиться в университете, что в конце концов важна не бумага, которую дают после обучения, а знания, что впоследствии, вероятно, университетское начальство, увидев, что у них не женский каприз, а серьезное стремление к знаниям, разрешит им перейти на положение настоящих студентов, что первые шаги на любом поприще всегда бывают трудными и находят сопротивление в среде людей, которые боятся всего нового. Изложив эти прописные истины, я написал, что очень по ней скучаю и мне кажется, что она за своими занятиями совсем забыла своего «провинциального родственника» и что в следующих ее письмах я хотел бы получить опровержение своим догадкам. На это письмо Вера ответила мне, что любит меня по-прежнему, но скучать некогда, очень много времени отнимают занятия. И что вообще считает излишние объяснения в любви вовсе ненужными, ибо настоящая любовь в словах не нуждается; что же касается занятий, то все идет пока хорошо, но против Лесгафта затевается какая-то интрига. Старые профессора считают, что он слишком либерален со студентами и держит себя с ними без всякого превосходства, на равной ноге, а это, по их мнению, недопустимо с точки зрения педагогической.

В ответном письме я написал, что наша жизнь на том и построена, что всякая бездарность как огня боится таланта и, как только заметит проявления его в любой области, сразу же, не дожидаясь губительных для себя последствий, начинает принимать меры; тут нельзя объяснить все одной завистью, а скорее могучим инстинктом самосохранения бездарности. Что же касается любви, то она, конечно, проявляется не в словах, но, когда люди находятся далеко друг от друга, слова являются единственным способом подтверждения, что чувство не прошло и осталось прежним.

Глава тринадцатая

Мужичок попался тупой, но разумный по-своему. Он стоял перед моим столом, переступая с ноги на ногу, мял свой облезлый трех и смотрел на меня с досадой, как на дитя несмышленое, не понимающее самых простых вещей.

— Ну, хорошо, — сказал я. — Ты срубил в чужом лесу три сосны.

— Две.

— Допустим, две. Но ты знал, что лес не твой и сосны не твои?

— Знал, барин.

— Зачем же ты их рубил?

— Нужны были. Крыша текет. Балки менять надо.

— Что нужны были, я понимаю. Мне, может, нужна вот эта твоя шапка. Что ж я теперь ее должен украсть у тебя?

Он молчит, смотрит на меня исподлобья.

— Ну, ладно, — говорю я. — Предположим, что у тебя вообще нет никакой совести и ты можешь у товарища стянуть последнюю рубаху. Но меня интересует: ты думал, когда сосны рубил, что тебя могут поймать?

— Думал, барин, — кивает он.

— И что же ты думал?

— Думал, барин, авось не пымают.

— Так вот же поймали. А теперь, что ж? В острог тебя придется посадить.

— Да уж не без этого, — соглашается он.

— И что же, тебе хочется садиться в острог?

— Нет, барин. Ужас как не хочется.

— Для чего же ты рубил эти сосны?

Он опять посмотрел на меня как на несмышленыша и вздохнул:

— Так нужны ж были.

Приотворилась дверь, просунулась голова в пуховом платке:

— Можно?

Я посмотрел и глазам своим не поверил:

— Вера!

Мужичонка стоял, переводя взгляд с меня на Веру и с нее на меня.

— Сядь на лавку, посиди, я сейчас, — сказал я ему и вышел за дверь.

Здесь мы обнялись и расцеловались.

— Господи, Вера! — сказал я. — Неужели это ты?

— Я.

За три месяца, которые мы не виделись, она стала взрослее и строже.

— Я уж думал, что ты вообще забыла, что существует где-то некий следователь Филиппов, состоящий с тобой в родственных отношениях.

— Нет, я не забыла, — она улыбнулась спокойной улыбкой. — Я об этом следователе всегда помнила. Но тебя там ждут, — вдруг спохватилась она.

— Ничего, — сказал я, — подождет.

Улыбка сползла с ее губ и тут же вернулась на место. Я смутился.

— Нет, понимаешь, я как раз хотел оставить его одного, чтобы подумал. Упрямый мужик попался, дальше некуда. И тупость невероятная.

— Разве он виноват в своей тупости?

Говорить на эту тему мне не хотелось.

— Ладно, радость моя, — сказал я, — мы с тобой об этом потом. Что у тебя?

— Видишь, вернулась.

— С Лидой?

— С Лидой.

— А что случилось?

— Что случилось? Ничего особенного, Алеша. Ты был прав. Ни один талантливый человек на своем месте удержаться не может. Лесгафта из университета выжили, студенты протестуют, другие профессора подадут в отставку, и нам с Лидинькой там тоже делать нечего.

Я огорчился:

— Как же быть дальше?

— Мы с Лидинькой решили внять твоему совету и ехать в Цюрих. Поедешь с нами?

— Вопрос серьезный, — сказал я. — Так сразу его не решишь. Все-таки, понимаешь, у меня есть профессия, должность. Лишиться всего сразу.

— Алеша, — сказала она горячо. — Подумай, что у тебя за профессия. Наказывать этого мужика? За что? Что он такого сделал?

— Он рубил чужой лес.

— Но ведь это же все от невежества и от нищеты. Может быть, он даже не понимает, что этого нельзя

было делать. Подумай о том, какую роль ты выполняешь. Ты на своей должности защищаешь сильных и казнишь слабых. Ведь если бы у этого мужика были деньги, разве он стал бы трогать чужое? Я тебя очень прошу, оставь ты это свое дело. Поедем в Цюрих, выучимся на врачей, построим больницу для бедных.

— А ты, я вижу, сильно переменялась за то время, которое мы не виделись, — сказал я.

Она улыбнулась:

— Нет, Алеша. Во мне кое-что было и раньше. До остального потом додумалась. Ну, поедем?

— Прямо сейчас?

— Чем раньше, тем лучше.

— Ну ладно. Ты меня подожди здесь, я закончу допрос.

— Алеша! — остановила меня Вера. — У меня к тебе есть просьба. Дай слово, что исполнишь.

— Я должен сначала выслушать, о чем речь.

— Нет, ты дай мне слово. Даешь?

— Ну ладно, — сказал я. — Даю слово, потому что нет ничего такого, чего бы я не исполнил ради тебя.

— Алеша, — сказала она почти страстно, — я тебя очень прошу, отпусти этого человека. Ты ведь знаешь, это не он воровал, это нужда его воровала.

— Но он нарушил закон.

— Алеша, ты знаешь не хуже меня, что законы создаются людьми. Плохими людьми создаются плохие законы.

— Но лучше исполнять плохие законы, чем никакие.

— Алеша! — Она смотрела на меня глазами, полными слез.

— Ах, — махнул я рукой. — Ты меня толкаешь на должностное преступление.

Я открыл дверь в кабинет и застыл на пороге. Мужичонка, не видя меня, стоял перед пустым столом и, медленно жестикулируя, доказывал ему свою правоту.

— Оно-то конечно, ваше благородие господин следователь, дело вышло нехорошее. Потому что не поберегся. Надо было б мальчонку с собой взять, чтобы он поглядывал, не идет ли кто. А я один поехал. А топором когда тюкаешь, оно далеко слышно. У-ух как далеко! Ну, стало быть, и налетел этот управляющий. Ну, виноват, попался. — Мужик широко развел руки в стороны. — Кабы мальчонку взял, так не попался б. А что до чест-

ности, ваше благородие, так ты кого хошь в нашей деревне спроси и тебе каждый скажет, что Фома, я то есть, человек самый честный.

— Если ты честный, зачем же ты чужой лес-то рубил? — спросил я.

— Да затем, говорю я тебе, что крыша текет! — мужик, осердясь, трахнул треухом по столу.

Он тут же вздрогнул, опомнился, перевел взгляд со стола на портрет государя, видно пытаясь понять, кто задал ему вопрос — стол или государь. Потом оглянулся, увидел меня и насупился. Видимо, с пустым столом ему разговаривать было сподручнее.

— Ну вот что, Фома, — сказал я, садясь на свое место. — Хотел я тебя посадить в острог, да пожалел. Ребятишек твоих пожалел, а не тебя. Но в другой раз попадешься, смотри у меня.

— В другой раз, барин, не попадусь, — сказал он, глядя на меня честными глазами.

Глава четырнадцатая

И вот все. Мосты сожжены. Еще недавно был я солидным человеком. У меня была должность, с которой никто не имел права меня снять. Я сам отказался от нее. Я подал в отставку, и отставка принята. Кто же я теперь? Странствующий рыцарь, надеющийся стать студентом. Зачем? Допустим, я поступлю в университет, выучусь в нем, если не надоест, и стану доктором. Но доктором я стану не раньше, чем через пять лет. В самом лучшем случае. Причем заметьте, доктором начинающим. Мне двадцать восемь лет. Прибавьте пять. В тридцать три года я смогу стать начинающим доктором. Правда, с этой специальностью в России я не пропаду. Но смогу ли я еще им быть? А впрочем, пожалуй, смогу. Меня уже не страшит ни вид крови, ни вид человеческих болезней. Я все это видел, будучи следователем. Но почему же я все-таки еду? Вовсе не потому, что мне захотелось менять профессию. А потому, что я люблю эту женщину с правильными чертами лица и одухотворенным взором. Я сам убедил ее, что женщина тоже должна узнать свое призвание и найти свое место в жизни.

И вот тройка с бубенцами, пароход, а теперь поезд, уносящий меня в тревожную неизвестность.

За окном мелькают привычные российские пейзажи. Лес, поле, крестьянин, лениво бредущий за сохой, которую тянет тощая лошададка. Появляются и отходят назад бедные деревушки с курными избами, крытыми облезлой соломой, заплеванные деревянные вокзалы с пьяными и убогими, прикрытыми жалкими лохмотьями обрубками, безногими и безносыми — откуда их столько берется! — которые тянут к окнам кто руки, а кто культяпки:

— Пода-айте копе-е-ечку!

— Да зачем она тебе, эта копеечка?

— Погорельцы мы, барин, погорельцы. Изба сгорела, лошадь сдохла, детишек семеро, и все мал-мала-меньше.

— Не слушайте их, ваше благородие. Погорельцы! Работать не хотят, вот и попрошайничают. А денег небось не меньше, чем у нас с вами. Трудиться надо, милая, бог труд уважает.

Меняются в вагоне соседи. Был купчишка невзрачный, первый раз ехал в поезде, удивлялся, как он с этих железок не съезжает. Был лихой гвардейский поручик с грудным ребенком — молодая жена померла, оставила. Поручик вез потомка в деревню к родителям. Ребенок плакал, ходил под себя.

— Пардон, мадам! — поручик менял пеленки, брезгливо топорщил усы.

Поручика сменил чиновник в вицмундире.

— Стало быть, учиться едете?

— Угу.

— Не поздно ли?

— Учиться, как жениться и повеситься, никогда не опоздается.

— Это верно. И на кого же, коли не секрет?

— На врача.

— Ну что ж, верное дело. Самая, можно сказать, выгодная профессия. Хотя ежели с умом, так на любом поприще можно отличиться. Возьмите, к примеру, меня. Я живу в Варшаве, служу делопроизводителем. Ну и что, живу! Не подмажешь, не поедешь. Придете вы ко мне какую бумагу оформить, я вам с улыбочкой: пожа-

луйте, рад стараться. А не подмажете, уж так расстараюсь, что бумага ваша на одном месте пролежит без движения, покуда не пожелтеет. Вот так, а как же? Жить хотят все, а денег никому не хватает.

Был еще неопрятно одетый господин со щекой, раздутой чудовищным флюсом.

— А позвольте вас спросить, господин будущий доктор, кого и от чего лечить собираетесь?

— Да знаете, мы с женой решили, когда выучимся, построим в деревне бесплатную больницу для мужиков.

— Бесплатную больницу! А хлеба вы им бесплатно дадите? А может, вы мужика от труда его тяжкого разогнете? Тогда он и болеть не будет и больницы ему ваши не нужны будут совершенно. Не лечить мужика надо, а топор ему в руки дать, а уж дальше он сам полегит. Ну ничего, еще немного, еще годочков пять-шесть, а потом...

— Что потом?

— Ничего, господин будущий доктор. Вглядитесь внимательно в мое лицо. Вы еще увидите его на портретах.

От Москвы три станции проехал церемонный человек с сильно выпяченной грудью и выпученными глазами.

— Молодой человек, не угостите ли папироской, — подошел он ко мне.

Я угостил. Он закурил, поклонился:

— Благодарю вас, позвольте представиться. Литератор Скурлатский.

— Кандидат прав Филиппов, — отрекомендовался я.

— Далеко ли изволите ехать?

— В Швейцарию.

— На отдых?

— На отдых. — Мне наскучило вдаваться в подробности.

— Прекрасная страна, — мечтательно вздохнул Скурлатский. — Какие живописные виды. Между прочим, должен вам сказать, что из Женевы в Лозанну замечательнее всего путешествовать на велосипеде. Прекрасная дорога, прекрасный пейзаж, удовольствие необычайное. А какие люди! Совершенно другой дух.

Свободные из поколения в поколение. Культура в самом последнем пастухе невероятная.

— Вы много раз бывали в Швейцарии?

— Бывал, как не бывать, — задумчиво сказал он, пуская дым на оконное стекло. — Всю Европу объездил. Помнится, как-то с Николаем Васильевичем Гоголем поехали мы в Неаполь...

— Вы знали Гоголя? — заинтересовался я.

— Не только знал, но и был весьма дружен, — сказал он со сдержанным достоинством. — Особенно в последние годы, когда Николай Васильевич вообще сторонился людей, чуждых ему по духу. Он часто жаловался, что вокруг слишком мало людей, с которыми можно поговорить. «Для меня, — бывало говаривал он, — вообще уже никого не осталось. После смерти Пушкина только вы да еще два-три человека»

— А Пушкина вы тоже знали?

— Знавал и Пушкина, — вздохнул он. — Учились вместе в лицее.

— Позвольте, — не понял я. — Как это могло быть? Пушкину сейчас было бы за семьдесят, вам же на вид не более пятидесяти.

— Да, да. — покорно согласился Скурлатский. — Я просто раньше пошел учиться.

«Лет за двадцать до своего рождения», — отметил я про себя.

— А простите, какие же книги вы написали? Мне что-то ничего вашего не попадалось.

— Ничего удивительного. — скромно сказал Скурлатский. — Издавать книги — дело в наше время довольно трудное. Серьезные вещи не пропустит цензура, а писать что-нибудь на потеху нашей праздной публике — дело, извините меня, мало привлекательное.

— Но, однако, некоторые все же ухитряются говорить дельные вещи даже и через цензуру.

— В том-то и дело, что ухитряются. Но так можно и самого себя перехитрить. А если написать что-нибудь в полную силу, так где это напечатаешь? Разве что в «Колоколе», а? — Он вдруг приложил руку к груди, выпучил еще больше глаза и засмеялся громким квакающим смехом.

Перестал он смеяться так же неожиданно, как начал.

— Да, — сказал он серьезно. — Литература — дело

ответственное и тяжелое. Приходится иногда говорить нелицеприятные вещи не только власть имущим, но и ближайшим друзьям. С Николаем Некрасовым два года не кланялся. Помните эту историю, когда он посвятил стихи Муравьеву, бывшему в то время председателем следственной комиссии по делу Каракозова:

Бокал заздравый поднимая,
Еще раз выпить нам пора
Здоровье миротворца края...
Так много ж лет ему... ура!

Я тогда сказал: «Николай, я тебя понимаю, тебе нужно сохранить журнал, но даже ради такой цели называть палача миротворцем вряд ли стоит». А? Как вы считаете? После этого три года не разговаривали...

— Вы сказали — два.

— Я сказал: два года не кланялись. А не разговаривали три. И что вы думаете? Пошло ему на пользу. «Кому на Руси жить хорошо?» читали? Неплохая вещь, очень неплохая. С отдельными срывами, но неплохая. Кстати, не встречалась ли вам в «Сыне Отечества» моя статья об этом его сочинении?

— Нет, кажется, не попадалась, — смутился я.

— Жаль. За литературой надо следить. Впрочем, статейка у меня, кажется, случайно с собой... — Он полез в боковой карман и достал аккуратно сложенную, потертую по краям вырезку из газеты. — Да, вот она. С вашего разрешения, я вам кусок зачитаю. Так. Здесь я говорю сперва о рассказах Михаила (я имею в виду Щедрина), а вот дальше... вот оно. «Что же затем касается до стихотворения г. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?», то мы и продолжение его относим также к лучшим стихотворениям этого поэта, как и начало. Однако местами наш желчный поэт... Чувствуете определение: «желчный поэт»! ...наш желчный поэт стал уже пересаливать. Для примера возьмем описание ярмарки деревенской, когда в лавочку с книгами пришли офени. Юмор этой сцены, так сказать, деланный, неестественный, и остроумие тут натянутое. Она заканчивается несбыточным желанием:

Ээ! Эх! придет ли времечко,
Когда (приди желанное!..)
Дадут понять крестьянину,
Что розь портрет портретику,

Что книга книге розь?
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесет?

Этого, конечно, я пропустить не смог и говорю: «Смело можно сказать, что такие времена вряд ли когда наступят, и мысль поэта о том, что когда-то наши крестьяне дойдут до того, что станут читать даже Белинского, напоминает собою те бредни, когда русский крестьянин представлялся неразлучным с «Илиадой» Гомера, читающим ее под ракитовым кустом и увлесающимся красотами этого, бесспорно, великого произведения». А? Каково?

Он снова выпучил глаза, перевел их с меня на Веру, с Веры на Лиду, приложил руку к груди и разразился таким громким квакающим смехом, что ребенок, которого женщина проносила на руках мимо нас, испугался и заплакал.

Глава пятнадцатая

Мы приехали в Цюрих серым апрельским утром. Моросил мелкий дождь. На привокзальной площади столпилась целая вереница фаэтонов, фиакров, обшарпанных карет и открытых пролетов; извозчики понуро мокли на козлах в ожидании пассажиров. Не успели мы выйти из вагона и оглядеться, как к нам подошел маленький, невзрачного вида человек в котелке и пенсне.

— Молодые люди желают снять хорошие комнаты с видом на реку Лиммат? — спросил он по-немецки.

— Что он говорит? — спросила Вера.

Я перевел.

— Яволь, — сказала Вера. — Желаем, и даже очень.

— Вы русские? — насторожился человек.

— Да, — сказал я. — А что?

Он посмотрел на нас с сомнением и забормотал что-то нечленораздельное, из чего я понял, что жена его боится сдавать комнаты русским, потому что они занимаются политикой и за ними всегда ходят шпионы, присланные из России.

— Ну что ж, — сказал я. — Значит, вы не хотите нас брать?

— Нет, нет, — поспешно сказал он. — Я не против. А сколько комнат вам нужно?

— Три, — сказала Вера и показала на пальцах.

— Нет, — он покачал головой. — Три не годится. Возьмите пять.

— Но нам нужно только три, — сказал я.

— Может быть, вы возьмете четыре?

— Нет, три.

— Ну, ладно, — согласился он, хватаясь за самый большой чемодан.

Мы вышли на площадь.

— Битте! Битте! — закричал извозчик сидевший на козлах роскошного фаэтона.

— Алеша, — сказала Вера, — давай найдем вон того, на пролетке. А то он сидит грустный, его никто не берет.

— Но ведь дождь, — сказал я. — Вы с Лидой промокнете. А зонтики, кажется, в этом тюке.

— Ничего, — сказала Лида, — не сахарные.

— И к тому же дождь, по-моему, кончается, — сказала Вера, выставляя вперед ладошку.

— Как хотите, — сказал я, и мы направились к пролетке.

Извозчик фаэтона, который терпеливо ожидал окончания наших переговоров, крикнул нашему будущему хозяину:

— Почему они хотят мокнуть под дождем?

— Они русские, — объяснил хозяин.

— Тьфу — сплюнул извозчик на мостовую и закричал новым приближающимся клиентам: — Битте! Битте!

Хозяин пролетки так растерялся, что долго не мог поверить, что мы именно на его тарактелке собираемся ехать. Поняв это, он поспешно, даже суетливо стал укладывать наши вещи. Ехать, как выяснилось, было недалеко, и мы пошли пешком за пролеткой. Дом, к которому привел нас человек в котелке, оказался, действительно, на самом берегу Лиммат. Это был довольно симпатичный двухэтажный особнячок со слегка облупившейся штукатуркой. На крутой деревянной лестнице нас встретила хозяйка, женщина могучего телосложения. Она держала в руках дымящуюся трубку и была похожа на морского разбойника. Для полного сходства не хватало только усов и черной повязки на лице. Она стояла на ступеньке и смотрела на нас критически.

— Кого ты привел? — закричала она вдруг на своего невзрачного мужа, отчего тот съежился и стал еще невзрачнее.

— Это русские. Они будут учиться в университете, — сказал человечек робко.

— Мне все равно, где они будут учиться. Мне интересно, будут ли они платить вовремя деньги, — сказала хозяйка, затаившись и выпуская целое облако дыма. — Русские имеют обыкновение жить в долг.

Тогда вышел вперед я и сказал, что если комнаты окажутся подходящими...

— Для вас они вполне подойдут, — перебила меня хозяйка.

— Вот мы сначала и посмотрим. А если подойдут, то мы, пожалуй, можем заплатить вам вперед, — сказал я.

Хозяйка, ни слова не говоря, стала подниматься по лестнице. Мы, оставив вещи внизу, пошли за ней.

— Может быть, нам лучше устроиться где-нибудь в другом месте? — сказала Вера вполголоса. — Хозяйка, кажется, очень сердитая.

— Ничего, она только притворяется такой, — сказал я.

Мы поднялись на второй этаж. Хозяйка толкнула дубовую дверь и посторонилась, пропуская нас вперед. Мы вошли. За дверью была отдельная квартира из трех комнат с прихожей и кухней. Комнаты были большие, светлые.

— Ну как? — спросил я своих спутниц.

— Кажется, ничего, — сказала Вера.

— На первый раз сойдет, — кивнула Лида.

Хозяйка с видом полнейшего равнодушия, прислонившись к косяку двери, посасывала трубочку.

— Пожалуй, эта квартира нам подойдет, — сказал я ей, окончательно уяснив, что именно она и есть главное лицо в этом доме.

— Еще бы! — презрительно выпустила она клуб дыма.

О цене договорились быстро, и мы с хозяином стали перетаскивать вещи.

Весна была уже в полном разгаре. На горах еще кое-где лежал потемневший снег, а внизу стояла теплынь,

и торговли на всех углах продавали нераспустившиеся тюльпаны.

На другой день после приезда мы все трое сразу пошли в университет, и ректор, пожилой человек в золотых очках, посмотрел бегло наши документы и принял нас без лишних формальностей. Я был рад, а Вера и Лида просто счастливы. Вечером купили бутылку шампанского и отметили начало новой жизни. Когда разлили шампанское по бокалам, я встал и спросил:

— Уважаемые дамы, рады ли вы, что черт занес вас вместе со мной в эту отвратительную горную страну, где цветут тюльпаны, а люди говорят на непонятном вам языке?

— Да, мы рады! — вместе ответили мои дамы.

— А кто первый подал идею, что вы должны ехать в эту отвратительную страну, где существам слабого пола не запрещают учиться с противоположными?

— Ты, — сказали они столь же дружно.

— Значит, за кого мы должны выпить?

— За тебя!

— Нет, мы должны выпить за тех, кто способен воспринимать идеи, какими бредовыми они ни казались бы с первого взгляда.

Лида, как самая экспансивная, трахнула бокал об пол, так что стекла разлетелись по всей комнате.

Вера хотела последовать примеру младшей сестры, но я ее удержал:

— Не следует злоупотреблять доверием нашей хозяйки. Может быть, это ее приданое, которым она в свое время соблазнила такого красавца, как наш хозяин.

В тот вечер мы много смеялись, а потом пели песни и угомонились только часу во втором, а по нашему, российскому, времени в четвертом.

В эту первую ночь в чужой стране я с еще большей остротой почувствовал, как люблю Веру. Ради нее я уехал из России, с ней одной были связаны теперь все мои надежды. «За что бог послал мне такое счастье? — думал я, глядя на нее. — И красива, и женственна, и умна...»

Глава шестнадцатая

Друг мой Костя!

Вот и забрался я за эти Кудыкины горы, оставив свой дом, свою профессию, для того, чтобы начать все сначала со студенческой скамьи. Да, я снова студент и сам не знаю, зачем мне это нужно. Изучаю медицину для того, чтобы на склоне лет стать доктором.

Условия здесь странные и совсем не похожи на те, которые мы привыкли наблюдать в нашей альма-матер. Народу здесь всякого много из всех стран, и занимаются в основном не учеьем, а разными революционными теориями. Кого ни спроси, каждый если не лассальянец, то бакунист. В коридоре не дают прохода, то тащат тебя послушать какого-нибудь горлопана, то дерут с тебя деньги для испанской революции (что там за революция и для чего она нужна, никто толком не знает). То и дело подходят какие-то субъекты, предлагают подписывать всевозможные воззвания к народам и правительствам, требования и протесты. Я сперва подписывал, что давали, не глядя, потом надоело, и теперь не подписываю ничего, за что сразу был зачислен в ряды людей, презрительно называемых спокойшо-либерально-буржуазными консерваторами, чем я, впрочем, вполне доволен. Кроме меня здесь есть еще несколько человек, зачисленных в ту же партию, с которыми я сошелся, но не очень близко, потому что они раздражают по-своему. Есть здесь такая пара Владыкиных, ей за сорок, а ему и того больше, да еще некая Щербачева, жена мирового судьи, они теперь составляют мою компанию. Нельзя сказать, чтобы время мы проводили особенно весело, вечерами играем в лото да ведем разговоры на общие темы, какие теперь ведут все российские интеллигенты, но, по моему теперешнему представлению, и в лото играть полезнее (хоть и мелкое, но все какое-то упражнение для ума), чем вдаваться во все эти революционистские теории, от которых только голова пухнет. Знаешь ли, я здесь о многом стал думать иначе. Я никогда не был ретроградом и сам еще недавно поклонялся тем же богам, но, видя, до каких крайностей доходят здесь мои однокашники, как перепуталось все в их бедных головах, поневоле становлюсь с каждым днем все умеренней, и на все, что тут происходит, смотрю печально. Все эти теории лишь с первого взгляда кажутся верными, и все ка-

жуются неправильными со второго взгляда. Но на молодые головы они действуют самым одуряющим образом, особенно на головы лиц прекрасного пола. Кружки растут как грибы. Молодежь взбудоражена. Коридоры университета оклеены всяческими воззваниями и прокламациями, которые служители не успевают сдирать. Вчера в вестибюле напротив дверей висел огромный плакат: «Позор!» Кому позор и за что, никто не знает, да это и неважно, важно что-нибудь провозгласить. Каждое крамольное слово действует, как электрический разряд. Когда повертишься среди студентов, так кажется, что завтра уже произойдет мировая революция. Все это было бы смешно, да, к сожалению, боюсь, как бы революция эта не разразилась в первую очередь в нашей семье. Верина сестра Лидинька завела себе подруг, которые ни о чем другом говорить не желают (и, что ужаснее, уже не могут), как только о равенстве. Равенство рас, равенство всех сословий, равенство мужчин и женщин. Я и сам, как тебе известно, сторонник равенства. Но можно взывать к нему в условиях нашей российской действительности или развивать его благородную идею перед молодой, неопытной душой и в то же время противостоять тому бешеному напору, который любую благородную идею может преувеличить до абсурда. Здесь нет противоречия, ибо равенство может быть только в пределах разумных. Сама природа определила границы, которые переступить невозможно.

Лидинька, кажется, уже начинает свихиваться. Вместо того чтоб читать учебники или хотя б романы, читает всяких социалистов, от Маркса до Кампанеллы, и все, без разбору, ей кажется чрезвычайно умным. Что до Маркса, то я его не читал, а Кампанеллу перелистал, заспорил: что тебе, говорю, этот Кампанелла? Неужели тебе такое устройство, которое он предлагает, нравится? Нравится, говорит. А вот, я говорю, ты детей рожать не хочешь, а Кампанелла велит. Женщину, говорит, худую надо сочетать с мужчиной полным, полную с худым, высокую с низким, и наоборот. Ты б хотела, чтоб тебя так сочетали? Обиделась, надула губки.

Однако никакие здравые доводы ни на кого не действуют, иногда думаю, уж не я ли сам сошел с ума? В библиотеке попросишь какую-нибудь беллетристику или стихи, смотрят на тебя как на ненормального. Лас-саля, пожалуйста, сколько угодно, «Колокол» в любом

количестве, а ежели Пушкина начнут искать, то, пожалуй, и не найдут. (А я, признаюсь, именно здесь и вошел во вкус. Не знаю, не из чувства ли противоречия? А впрочем, нет, не стану возводить на себя напраслину. Здесь, далеко от дома, особенно чувствуешь обаяние этого истинно русского поэта; да и вообще начинаешь подходить к литературе совсем с другой стороны.) Еще здесь все читают сейчас «Бесов» Достоевского, и все ругают. Между прочим, Нечаев, про которого, говорят, написал Достоевский, по слухам, находится тоже в Цюрихе, скрывается от русской полиции, представленной здесь весьма широко.

Вот, мой друг, в каком клубке имею я удовольствие проживать в настоящее время. Чем дело кончится, не знаю, но чувствую, идет к нехорошему.

Хотелось бы мне очень увидеть тебя теперь и обсудить толково все, о чем пишу так длинно и смутно. А когда приведется?

Твой Алексей.

Глава семнадцатая

Михаил Николаевич Владыкин, пензенский помещик и бывший актер, приехал в Цюрих за своей женой, которая на старости лет, как он говорил, стала мучиться блажью, то есть решила посвятить себя медицине. В самом деле, Леониде Яковлевне было уже за сорок; рядом с девятнадцати-двадцатилетними студентами она, действительно, казалась если и не старухой, то женщиной весьма почтенного возраста. Супруги пытались держать себя со всеми на равной ноге, и я держался с ними на равных и говорил Владыкину «ты», но для Веры и Лиды дистанция была непреодолимой. Тем не менее Владыкины часто бывали у нас, а мы у них, к нашей компании иногда присоединялась Щербачева, и вшестером мы коротали вечера, играя в лото или стуколку. Тот вечер был «лотошный». Леонида Яковлевна «кричала», то есть держала в одной руке парусиновый мешок, запускала в него другую руку, унизанную несколькими перстнями да еще браслетом черного серебра, доставала фишки или кости, уже не помню, как они называются, и выкрикивала номера. Мы сидели за круглым столом каждый перед своей карточкой и, кто монетой, кто спичкой, кто об-

рывками бумажки, закрывали совпавшие номера. Все шло тихо и мирно, пока Щербачева вдруг ни с того, ни с сего не высказалась в том духе, что, дескать, все студенты повально занимаются политикой, сами не учатся и мешают учиться другим. Разговор, естественно, пошел по этим рельсам, Лида сказала, что со своей подружкой Варей Александровой видела недавно на улице Бакунина.

— У него такие сверкающие глаза и целая грива волос. Он похож на льва.

— Этих львов, кажись, нынче начали отлавливать,— сказала Леонида Яковлевна, запуская руку в мешок.

— Это в каком же смысле? — насторожилась Лида, почувствовав какой-то подвох.

— Говорят, швейцарская полиция арестовала Нечаева и собирается выдать русским властям. Тридцать четыре, — сказала она, посмотрев на очередную фишку.

— Не может быть! — в один голос сказали Лида и Вера.

— Почему же не может быть? — спросила Владыкина.

— Потому что... потому что... Я кажется выиграла,— сказала Лида. — Потому что швейцарское правительство революционеров не выдает.

— В том-то и дело, — Владыкина положила мешок на стол, — что его выдали не как революционера, а как уголовного.

— Разве можно его считать уголовником? — спросила Вера, посмотрев на меня.

— Видишь ли, — сказал я, — если даже убийство совершается по политическим мотивам, действие это все равно уголовное.

— И все-таки подло выдавать его как уголовного преступника, — сказала Лида.

— Не подлее, чем заманить своего товарища в темное место и там убить, — пожала плечами Владыкина.

— Мы про это ничего не знаем. Если и убил, то, значит, нужно было для дела.

Не думаю, чтобы эти Лидины слова можно было тогда принимать серьезно. Должно быть, оговорилась, не найдя подходящего довода в свою пользу. Но я помню, как переменялось тогда лицо Леонида Яковлевны, с каким изумлением глянула она на свою юную оппонентку.

— Ну, милая моя, — сказала она с расстановкой, — эдак-то вы далеко пойдете. В чем же польза такого дела, ради которого человека нужно убить?

Лида и сама почувствовала, что перехватила в споре, но уже не могла сойти со своей позиции.

— В конце концов, у каждого человека могут быть ошибки.

— Ошибки? — взвилась Владыкина. — Заманить товарища в какой-то грот, душить его, стрелять из пистолета, а потом привязать к шее камень и утопить в пруду — это уж, извините меня, ошибка, которую совершали так обдуманно, долго и последовательно, что можно было бы и опомниться. Если вы хотите знать, кто ваш Нечаев, почитайте новую вещь Достоевского, «Бесы» называется, там все про это правильно сказано. Небось не читали?

— Буду я еще читать всякую дрянь, — обиделась Лида.

— Напрасно вы так отзываетесь, — улыбнулся Михаил Николаевич своей обычной виноватой улыбкой. — Очень занятная вещь. Я сам, поддавшись общему впечатлению, сначала плевался, а потом не мог оторваться, так здорово все накручено.

— Михаил Николаевич, — с упреком сказала Лида. — Вы тоже считаете Нечаева уголовником?

— Да я вам не про Нечаева, а про «Бесов».

— А я вас спрашиваю про Нечаева.

Не из беспринципности, а по доброте, не желая никого обидеть, Михаил Николаевич с ответом не спешил.

— Ну, не мнись! — прикрикнула на него жена. — Ты взрослый человек, тебя спрашивает молодая девушка, отвечай, как думаешь.

— Конечно, конечно, Ленечка, — заторопился Владыкин. — Мы, старшее поколение, должны прямо отвечать на вопросы. Видите ли, Лидинька, то, что сделал Нечаев, конечно, нельзя сказать, чтобы было хорошее дело... То есть я хотел сказать, что с нравственной стороны... А впрочем, вы же знаете, что мнение моей жены есть мое мнение.

Щербачева отвернулась. Я засмеялся. Владыкина рассердилась.

— Не строй из себя дурака! — закричала она. — Тебя спрашивают серьезно, так ты серьезно и отвечай. А впрочем, от тебя все равно серьезного ответа никогда

не добьешься. Что же касается Достоевского, — повернулась она опять к Лидиньке, — то я считаю, что он совершенно прав: все эти ваши Нечаевы и прочие революционеры и есть настоящие бесы. — От Лидиньки она повернула лицо ко мне. — Вы со мной не согласны, Алексей Викторович?

— Нет, — сказал я твердо, — я с вами не согласен. Я по своим убеждениям не за революцию, а скорее за эволюцию, но я против того, чтобы судить какую-то категорию людей огулом. Я за то, чтобы каждого отдельного человека судить отдельно по совершаемым им лично делам.

— Ну конечно, — сказала она, — вы судья, это называется.

— Возможно, — согласился я, стараясь этот спор притушить.

Но тут вступила в разговор молчавшая до сих пор Щербачева.

— Милая Лидинька, — сказала она с материнскими нотками в голосе. — Зачем вы спорите? Для чего вам нужна революция? Вы хотите освободить народ? Да этот же ваш народ чуть что вас же первых на первой осине и вздернет.

— Нет, меня он не вздернет! Это он вас вздернет!

Лицо Щербачевой перекопилось. Она развела руками.

— Ну, знаете ли, это уже слишком. Зачем же переходить на личности!

— Поскольку спор наш заходит в тупик, — сказал я, поднимаясь, — нам пора расходиться.

Происшедшее у Владыкиных было неприятно для всех. Вера и Лида долго шли молча, и только уже у самого дома Лида вдруг остановилась и спросила:

— Алеша, где можно достать пистолет?

— На что он тебе? — удивился я. — Уж не собираешься ли ты вызвать на дуэль Леониду Яковлевну?

— Нет. Я хочу напасть на полицию и отбить Нечаева.

— Что? — я просто опешил от ее слов. — Ты думаешь, что ты говоришь?

— Да, я думаю. Я хочу напасть на полицию и отбить Нечаева.

Вмешалась Вера.

— Лида, — строго сказала она, — если ты вздумаешь это делать, я пойду с тобой.

Она встала рядом с младшей сестрой. Даже в темноте было видно, что глаза у обеих сверкают решимостью. «Господи! — подумал я в ужасе. — Ох, и нахлебаюсь я еще с ними!»

Дня два еще Лидинька мучилась своей блажной мыслью достать пистолет и напасть на полицию, потом как будто остыла. На какое-то время жизнь вошла в свою колею: лекции, библиотека, вечерние прогулки.

Как-то, задержавшись в библиотеке, я вернулся домой позже обычного. Еще поднимаясь по лестнице, я услышал оживленные голоса. Открыв дверь, я застал Веру и Лиду стоящими посреди комнаты. Видно, они о чем-то спорили и при моем появлении замолчали. Обе они выглядели расстроенными, мне даже показалось, что глаза у Лиды заплаканы.

— В чем дело? — спросил я и заметил в углу у двери саквояж желтой кожи.

— Лида уходит от нас, — тихо сказала Вера.

— Уходит? — я ничего не понимал. — Куда?

— Да ну ее! — в сердцах сказала Лида. — Развела тут целую трагедию. Как будто я ухожу из жизни. А я ухожу всего-то на соседнюю улицу.

— Зачем? — спросил я.

— Ой! — капризно поморщилась она. — Надоело объяснять. Понимаешь, Алеша, ну что с того, что я живу с вами? Вы вдвоем, у вас семья, а я — третий лишний. Я пожал плечами.

— Не знаю, — сказал я. — Ты, конечно, вправе поступать, как тебе удобнее, но ни я, ни Вера, кажется, не давали тебе повода чувствовать себя лишней. Мы все время считали и себя и тебя одной семьей.

— Да, конечно. И это действительно так. Но все-таки вы муж и жена. У вас все вместе, общая жизнь, общие интересы, а я ни при чем.

— И куда же ты решила уйти?

— Мсняя подруги к себе зовут. Там у них как раз комната освободилась. — Она избегала встретиться со мной взглядом. — И вообще, какая разница, где я буду жить? Все равно мы в одном городе, в одном университете, все равно будем видеться каждый день. Алеша, ты ей скажи, чтобы она не расстраивалась. Так правда будет лучше.

— А что за подружки? — спросил я.

— Ты их не знаешь. А может, и встречал на лекциях. Соня Бардина, Бетя Каминская, Варя Александрова, еще кое-кто.

— Алеша, — сказала Вера. — Но ведь правда же это глупо. Мы все-таки свои, близкие люди, а она вдруг пойдет куда-то, к каким-то подругам. А что я маме напишу?

— А ты ей ничего не пиши. Алеша, ну скажи ей, что в этом нет ничего такого.

— Не знаю, — сказал я. — Решайте этот вопрос сами, а я умываю руки.

— Вот видишь, — обрадовалась Лида. — Он умывает руки, а я беру саквояж. Верочка, милая, не сердись, я буду вас навещать каждый день.

— Подожди, — сказал я. — Я тебя провожу.

— Нет, не надо. Саквояж легкий, я донесу сама.

Она поцеловала Веру, чмокнула в щеку меня и выпорхнула за дверь.

Теперь глаза Веры наполнились слезами. Я подошел, обнял ее.

— Ну что ты? — спросил я.

— Лиду жалко.

— Да чего ж тебе ее жалеть? Ей там с подругами будет веселее.

— В том-то и дело, — сказала она. — Ей с нами было плохо. Она с нами чувствовала себя, как чужая.

Что касается меня, то я в Лидином уходе не видел ничего ужасного, тем более что мы продолжали видеться постоянно в университете, в библиотеке, да и у нас она бывала почти ежедневно. В один прекрасный день она привела с собой рослую девицу с озорными глазами и ярким румянцем на пухлых щеках.

— Бардина, — протянула мне руку гостья. — Софья Илларионовна. Некоторые еще зовут меня Тетка. Так что как вам удобнее.

Чувствовала она себя в чужом доме свободно или, может быть, делала вид, что чувствует свободно.

Обошла всю квартиру, осмотрела все книги.

Впоследствии я заметил, что у большинства нигилистов есть привычка — входя в дом, обсматривать книги. Таким путем они, должно быть, составляют мнение о хозяине.

— Значит, вы здесь вдвоем занимаете три комнаты?
— Вы считаете, что это слишком много? — спросил я.
— Да, немало.
— А вы, что же, всегда ютились в убогих каморках?
— Нет, зачем же. Я ютилась в усадьбе родителей в Тамбовской губернии, а потом и в самом Тамбове в собственном каменном доме в три этажа. Но если сказать вам правду, я не считаю, что имела на это право.

Я попытался свести ее с этой тропы.

— Вы учитесь тоже на медицинском?

— Нет, я учусь на агрономическом.

— Вы хотите быть агрономом?

— Пожалуй, что нет.

— А почему же вы тогда выбрали именно агрономический?

— По глупости. Видите ли, я рассчитывала стать агрономом, чтобы помогать крестьянам грамотно вести земледелие.

— А теперь вы решили, что им помогать не нужно?

— Нет, почему же. Но всякая там агрономия и медицина — это только мелкие меры, в то время когда надо всю жизнь перевернуть.

— И вы думаете, что именно вы это и сделаете?

— Ну почему же так уж прямо и я! Таких, как я, многие тысячи. И если мы все поменьше будем вести либеральные разговоры, а соединим свои усилия...

— Если все, то конечно. Но ведь так не бывает, чтоб сразу все. Ведь если разобраться поглубже, то и вы с вашими товарищами единомышленники только попервоначально, а потом, когда дойдет до практического дела, то окажется, что каждый из вас вовсе не то видел, что другой. И начнете вы свой воз тащить, как лебедь, рак и щука, в разные стороны, и придете к тому, от чего шли, только уже без сил и без удовольствия.

— Возможно. — Она продолжала рассматривать книги. — Пушкина читаете?

— А вы его, конечно, не признаете?

— Нет, отчего же! Писать умеет, но это никому не нужно.

— Мне, например, нужно.

— И вам не нужно. Это вы себе просто внушили. «Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых...» Какое мне дело до того, что думал какой-то повеса!

— Ну, конечно, вы поклонница Писарева.

— Да, разве нельзя?

— А кроме Писарева вам кто-нибудь еще нравится?

— Кое-кто нравится. Могу перечислить. Хотите?

— Зачем? Я и сам могу. Писарев, Чернышевский, местами Добролюбов, Некрасов, из Тургенева «Отцы и дети» и «Рудин». Еще «Один в поле не воин» Шпильгагена...

— Это было, но прошло.

— Вместе с «Болезнью воли» Феокиста Толстого.

Она задумалась, улыбнулась и вдруг подмигнула мне не кокетливо, а озорно:

— А вы не дурак!

— Я рад, что вы это заметили.

— Нет, я вам серьезно говорю.

— А я серьезно соглашаюсь. Сам всем этим болел.

— Теперь выздоровели?

— Во всяком случае, потихоньку оправляюсь. Раньше я, точно так же как вы сейчас, отвергал Пушкина и ставил сапоги выше Шекспира. Раньше я тоже считал ценной только литературу, которая открывает нам какие-то истины, но потом понял, что никакой отдельной истины нет, а истина — это вся жизнь со всем, что в ней есть хорошего и дурного, разумного и глупого.

— И все же я предпочитаю книги, которые вызывают в людях активный протест, показывают, как жить и против чего бороться. А ваш Пушкин, кроме двух-трех стихотворений и «Истории Пугачевского бунта», не написал ничего путного. Все только говорят: «Евгений Онегин», «Евгений Онегин», а я не верю, что есть хоть один человек, который прочел эту вещь до конца. Да и какая польза в «Онегине»?

— Что понимать под пользой. Если считать лес только запасом дров, то, может, и лучше каменный уголь. Но лес — это красота и богатство жизни, а уголь только мертвый камень, не дающий нам ничего, кроме жара.

Глава восемнадцатая

Сейчас, восстанавливая в памяти прошедшее, я пытаюсь понять: когда же я потерял Веру? Когда наступил тот перелом, который сделал нас чужими? Разумеется, в значительной степени этому способствовала сама атмосфера в университете и за его пределами, насыщенная

до предела самыми крайними ниспровергательскими идеями. Но ведь я тоже жил в той атмосфере. Почему же одни и те же влияния оказали на нас столь разное действие?

Все большую роль в Вериной жизни занимала Бардина. Каждый раз после общения с нею Вера приходила домой задумчивая и всякий наш разговор переводила на политические темы. Я ей о том, что из дому денег давно не шлют и нечем платить за квартиру, а она мне о том, что мы и так проживаем слишком много денег, которых не заработали, которые добывает за нас своей непосильной работой русский мужик. Я ей, допустим, говорю, что устал, готовясь к экзамену, а она мне отвечает, чтобы я подумал, как устает мужик, который от зари до зари, не разгибаясь, идет за сохой, получая за это нищенскую плату.

Однажды, помнится, я рассердился.

— Да что ты, — говорю, — меня своим абстрактным мужиком укоряешь? Ведь кроме этого мужика, самодержавия, капитализма и социализма есть еще мы с тобой — два молодых человека, у которых своя жизнь, свои устремления. Мы с тобой все равно не сможем переделать всю жизнь в мировом масштабе, давай как-то построим ее между нами двумя.

Как всегда, она заспорила:

— Как же можно смотреть равнодушно на то, что мир устроен несправедливо?

— Конечно, несправедливости должны возмущать каждого, в ком есть совесть, — отвечал я. — Но для того, чтобы браться перекраивать мир, надо слишком хорошо о себе думать, надо верить в свои силы и в то, что ты имеешь право навязывать другим тот образ жизни, который считаешь правильным.

Странное дело, когда я говорил с Верой, все мои доводы казались мне убедительными и даже бесспорными, но наедине с самим собой я начинал сомневаться. Настолько ли я прав, как мне кажется? Вера — натура цельная. Если уж она исповедует какие-то убеждения, то непременно стремится проводить их в жизнь. А я? Может быть, я просто боюсь взглянуть правде в глаза и прячусь от нее за ширмой красивых слов?

Как сейчас, помню тот вечер, когда, вернувшись от Владыкиных, я не застал ее дома. Часов до восьми я был спокоен, к девяти начал волноваться, с десяти стал

выбегать на улицу. В двенадцать я уже места себе не находил, к часу подумал, что надо обратиться в полицию, но решил подождать до двух и заснул, сидя за столом.

Проснулся я от какого-то шума на улице. Выглянув в окно, я увидел несколько фигур и разобрал отдельные слова, выкрикиваемые звонкими женскими голосами:

— Нормальный!

— Ненормальный!

— Тетка, спокойной ночи!

Последний голос был Верин.

Я прикрутил в лампе фитиль, быстро разделся и лег в постель. Услышав шаги на лестнице, отвернулся к стене и притворился спящим. Она вошла на цыпочках и остановилась, я почувствовал, посреди комнаты. Я лежал с закрытыми глазами.

— Э! — позвала она шепотом.

Я молчал, отвернувшись к стене.

— Алеша, не притворяйся, ты ведь не спишь.

— Да, я не сплю, — повернулся я, — потому что уже третий час, я не сплю, волнуясь, не знаю, что подумать.

Она села на кровать рядом со мной:

— Ну не сердись.

— Я не сержусь, — сказал я, — но если ты собираешься ночевать где-то в другом месте, надо хотя бы предупредить.

— Да я не собиралась, — вздохнула она. — Понимаешь, встретила Тетку, она позвала меня на женский фереин.

— Что это еще за фереин?

— Да так, наши студентки решили организовать свою компанию, чтобы выступать друг перед другом с рефератами, обсуждать, спорить, потому что женщины при мужчинах чувствуют себя скованно. Я сначала не хотела, а потом думаю, отчего ж не послушать, что там говорят. Забежала домой, тебя нет, ну, думаю, посижу там немного, а потом вернусь, но там было так интересно. И вот приходим, большая комната, длинный, покрытый скатертью стол. Эмме садится во главе стола и спрашивает: «Господа, для начала мы должны избрать председателя. Какие будут предложения?» Все стали кричать «Эмме! Эмме!» Потом встает Роза и говорит: «Господа, мы учреждаем этот фереин для того, чтобы дать возможность женщинам научиться логически мыс-

лить и говорить. Мне кажется, что будет лучше всего, если мы будем писать рефераты, читать их и обсуждать». Согласились. Теперь, говорит, мы должны решить, из кого должен состоять наш ферейн. Из одних только женщин или можно приглашать мужчин? Сразу поднялся такой базар, все кричат, все ругаются. Одни говорят, что мужчины будут нас отвлекать. Другие говорят, если мы будем сейчас собираться без мужчин, то потом, когда придется выступать при мужчинах, мы все равно будем стесняться. Так раскричались, что у одной итальянки кровь из носу пошла.

— Ну и что решили?

— Решили все-таки собираться без мужчин.

— Революционный женский монастырь, — усмехнулся я. — Ну, и что было дальше?

— Дальше Роза прочла реферат о самоубийстве.

— О чем?

— Ну, она в своем реферате доказывает, что самоубийство может быть только результатом ненормальной психики.

— А с чего вдруг возникла такая тема?

— Не знаю, — растерялась Вера. — Просто так. А ты как считаешь: человек, лишаящий себя жизни, нормальный или нет?

— Я считаю ненормальными тех, кто до поздней ночи обсуждает такие глупости и не дает спать другим.

Собственно говоря, с этого женского, пропади он пропадом, ферейна пошла наша жизнь наперекосяк, хотя поначалу еще и не так заметно. Так, бывает, лошадь, запряженная в телегу, бежит под уклон, сперва просто быстро бежит, то есть обыкновенно быстро, и еще не страшно, а вот глядишь, уже разогналась и не может остановиться.

Однажды я застал Веру за чтением какой-то тетрадки. На мой вопрос она сказала, что подруга ее, Варя Александрова, просила прочитать к очередному ферейну ее реферат.

— Ну и как?

— Очень интересно, — сказала она. — Можешь почитать, если хочешь.

— Особого желанья не испытываю, а впрочем, оставь. На сон грядущий отчего и не почитать.

Перед сном я действительно взял эту тетрадку и полистал. Кажется, сие сочинение называлось «Бунт Стеньки Разина» или что-то в этом духе. Сейчас я уже не помню, что там, собственно, говорилось, но помню, что написано было шаблонными фразами и изобиловало междометиями. Разин, конечно, изображался, как могучий вождь народных масс. Бунтарь и разрушитель.

Утром за завтраком я уклонился от высказывания своей оценки, но, когда Вера все же не выдержала и спросила, что я думаю об этом труде, я сказал, как думал, что реферат показался мне малоинтересным, вернее, вовсе неинтересным, написан он языком дурным и бесцветным. А что касается деятеля, который здесь описан, то это скорее, пожалуй, кто-нибудь из нынешних революционеров, может быть Бакунин, только не Стенька Разин.

— Может быть, ты и прав, — сказала Вера, подумав, — но я не считаю это недостатком. Понятно, что исследователь, беря исторический факт, использует его для передачи своих современных мыслей.

— Все это справедливо, — сказал я, — но только до тех пор, пока исторические события не переиначиваются в угоду современным мыслям исследователя.

— Ну а как же исследователь может использовать исторические факты, если они не соответствуют его мыслям?

— Если исторические факты не соответствуют мыслям исследователя, — сказал я, — исследователь должен изменить мысли, а не факты.

Она опять замолчала. Мне казалось, что сказанное мной бесспорно, но я чувствовал, что она замолчала не потому, что согласилась, а потому, что опять сочла меня человеком с отсталыми взглядами, против которых ничего даже и возражать.

Реферат о Разине они опять обсуждали чуть ли не до утра. На этом, кажется, их фереин и закончился. Но зато начался период «фричей». Некая Фрич была хозяйкой дома, где жила Бардина со своими подругами. По имени этой Фрич и стали называть всю компанию. Деятельность «фричей» вскоре стала весьма заметной. Основание новой библиотеки, покупка Русского дома (то есть дома для русских студентов) — все эти идеи исходили оттуда. Я, как закоснелый ретроград, и к тому же ретроград мужского пола, приглашен в эту компанию не был.

Глава девятнадцатая

Дорогой мой, далекий Костя!

Извини, дружище, что долго не писал, было мало времени и много лени. Новостей у меня никаких нет. Не считая того, что я нахожусь фактически на грани развода со своей женой. Представляю себе твое удивление, твой немой вопрос, обращенный ко мне: как же так? А вот так. Всякому неженатому скажу: не женись никогда на девушке, одержимой высокими идеями, ни к чему хорошему это не приведет. Женись на простой девушке, чьи помыслы не идут дальше устройства семейного гнезда и рождения детей, так оно будет вернее. На свою беду, я эту истину осознал слишком поздно. Проклинаю тот день и час, когда я решил ехать за эти Кудыкины горы. Обстановку, царящую здесь, я тебе уже обрисовывал. Но, правду сказать, не думал я, что все это коснется меня так непосредственно и станет причиной разрушения нашей семьи. Была у меня жена — молодая, красивая, а стала бакунистка или лассальянка, уже не знаю даже, кто именно. Последнее время в семье у нас уже нет никаких других разговоров, кроме как о положении народа в России. Впрочем, семьи, в настоящем понимании этого слова, у нас уже нет. Жену свою я чаще вижу в университете, чем дома. Вечера, а то и все ночи, проводит она в обществе своих здешних подруг, о которых я тебе уже сообщал. Не знаю, произойдет ли в России когда-нибудь революция, у нас в семье она уже почти произошла. Чем больше мы здесь живем, тем холоднее и даже враждебнее становится ко мне моя Вера. Часто в душу мою закрадывается сомнение. Может быть, она права? Но путь, на который она становится, может выбрать для себя только сильный человек, а я в себе такой силы не чувствую. Она понимает это и, кажется, начинает испытывать ко мне просто презрение.

Еще зимою планировали мы поехать на весенние вакамы в Россию. Посетить в Петербурге Екатерину Христову (после смерти Николая Александровича и нашего отъезда за границу она перебралась в столицу вместе с младшими детьми), а затем податься в Казань присмотреть место и подыскать средства для устройства больницы. Однако недавно Вера объявила мне, что со своими подругами и сестрою едет отдыхать и осматривать красоты Швейцарии, а также заодно посетить Нев-

шатель, где есть секция какого-то Интернационала. На мой вопрос «А почему бы нам не поехать вместе?» — она сказала, что едет с подругами, которые все не замужем, и мое присутствие будет им неприятно. Я, понятно, наговорил ей грубостей в том смысле, что она замуж вышла не за подруг, а за меня, и должна выполнять связанные с этим фактом обязанности. После этого она надулась и молчала два дня, а на третий высказала мысль, что муж и жена должны время от времени разъезжаться в разные стороны, чтобы не надоест друг другу. Из всего сказанного я заключил, и не без основания, что мне не грозит опасность надоест ей, потому что я ей уже надоел. Вчера они действительно уехали, и я проводил ее на вокзал. При этом она меня сторонилась и поглядывала на своих спутниц виновато, как бы давая понять, что я сам навязался. Когда же наступил момент прощанья и я обнял ее, желая все же расстаться по-хорошему, она, явно стесняясь своих подруг, торопливо поцеловала меня в щеку и тут же высвободилась из объятий, которые были ей неприятны, и побежала в вагон, из которого даже не выглянула.

Конечно, здравый рассудок подсказывает, что при таких обстоятельствах ничего не остается более делать, как разводиться, но я люблю ее, свою мисс Джек-Блек, и сердце мое разрывается от всего этого.

Вот, мой друг, какую грустную историю я тебе поведал. А теперь расскажу о своей встрече с самым загадочным человеком нашего времени.

Вчера я отправился в одно захудалое кафе, где мы договорились встретиться с моим здешним приятелем Владыкиным (о нем я тебе, кажется, писал прошлый раз).

На одном перекрестке я вдруг заметил странное оживление. Здесь толпились какие-то люди, в основном студенты. Было ясно, что они чего-то ждут. Тут из-за угла быстро выехала полицейская карета. Какой-то взлохмаченный молодой человек, находившийся внутри ее, обеими руками вцепившись в прутья решетки, кричал на всю улицу.

— Я революционер, а не уголовный преступник! Швейцарское правительство отдает меня в руки убийцам! Я требую свободы и гласного суда!

В это время карета остановилась, потому что кто-то из студентов кинулся под ноги лошадям. Теперь лицо

того, кто находился внутри, было мне хорошо видно. Длинные волосы, безумные темные злые глаза и тонкие губы. Сказать правду, лицо его показалось мне отталкивающим.

— Кто вы? — спросил я, хотя сам уже догадывался.

— Я Нечаев! — сказал он резко.

Готовый услышать именно этот ответ, я все же вздрогнул.

Он сразу уловил эту мою реакцию и заговорил быстро, страстно.

— Ага, знаешь меня! Знаешь и стоишь! Равнодушно смотришь, как везут на убийство русского революционера! Дай закурить! — попросил он все в том же истерическом тоне.

Я поспешно достал из кармана подаренный батюшкой серебряный портсигар, раскрыл, сунул ему в окошко, думая, что он возьмет одну или две папиросы. Но он жадно выхватил у меня весь портсигар и посмотрел на меня еще более злыми глазами.

— Тьфу, сволочь! — плюнул он в меня, но я увернулся. — Папиросами хочешь отделаться! Драться надо с самодержавием!

— Господин Нечаев, — попросил я его, — прежде чем драться с самодержавием, не вернете ли вы портсигар? Это фамильная драгоценность.

— Пошел к черту! — завопил он. — Какой портсигар? Я у тебя ничего не брал! — И тут же, забыв про меня, стал снова выкрикивать:

— Швейцарское правительство отдает меня...

Тем временем препятствие устранили. Дюжий полицейский отшвырнул в сторону бунтующего студента, а сам вскочил на запятки быстро рванувшей с места кареты.

Вот как революция отобрала у меня сперва жену, а потом еще и портсигар. Впрочем, портсигара не жалко. На потерю его я смотрю как на плату за эту удивительную встречу на перекрестке.

Пиши мне пока по прежнему адресу, хотя, думаю, события моей жизни поворачиваются таким образом, что скоро мы увидимся лично. Слышал я, что в Казани должно освободиться место секретаря окружного суда, будь добр, разузнай, не могу ли я претендовать на это место. Князь Шаховский когда-то относился ко мне с симпатией, авось (ежели он, конечно, состоит в прежней

должности) и сейчас сможет оказать содействие в возвращении моем на прежнее поприще.

За сим позволь откланяться в вынужденной надежде на скорое свидание.

Твой Алексей.

Глава двадцатая

С окончанием весенних каникул Вера вернулась в Цюрих. Отношения между нами были по-прежнему натянуты. Но я еще не знал, что в местечке Лютри Вера вступила в тайное общество и дала обещание своей сестре Лидии порвать отношения с мужем, чтобы иметь возможность целиком посвятить себя революции и борьбе за благоденствие грядущих поколений. Теперь ей нужен был только случай, чтобы выполнить свое обещание, и случай этот вскоре представился. Вернее, я сам его поторопил. Когда очередной раз Вера вернулась после ночи, проведенной среди «фричей», я решил объясниться с ней безотлагательно. Я прямо спросил ее, любит она меня или нет.

Вера смутилась:

— Видишь ли, Алеша, я тебя очень люблю, но...

— Люблю, но не люблю, — прервал я. — Соломки мне подстилать не надо. Некоторое время назад я мог не вынести нашего разрыва, но теперь вынесу. Отвечай прямо, ты хочешь, чтобы мы разошлись?

— Алеша, — сказала она волнуясь. — Ты ведь сам все видишь. Я очень благодарна судьбе за то, что встретила тебя. Но обстоятельства...

— Вера, — снова прервал я. — Я все понимаю, мне не нужно никаких объяснений, мне нужен только твердый и определенный ответ: да или нет?

Я посмотрел ей прямо в глаза.

— Да, Алеша, — сказала она, — нам надо расстаться. У нас нет другого выхода.

Секунду назад я был полон решимости, но тут вдруг почувствовал в себе желание ухватиться за соломинку.

— Но для оформления нашего развода, — сказал я, — надо доказать, что один из супругов был уличен в прелюбодействе. Я на себя такую напраслину возводить не желаю.

— Не беспокойся, — просто сказала она, — если будет нужно, я это возьму на себя.

Почему-то именно эти ее слова меня потрясли.

— И ты, — спросил я в некотором запале, — согласна ради вашего дела сказать, что ты изменила мужу?

— Если будет нужно, скажу, — ответила она твердо.

«Боже мой! Какой цинизм! — думал я, понимая, что наши отношения уже не наладятся. — Все разрушено, все кончено. Необходимо устраниваться. Но как? Неужели это действительно конец?»

Кажется, два дня спустя после нашего разговора дошел до Цюриха ставший впоследствии знаменитым номер «Правительственного вестника». В нем сообщалось: «В начале шестидесятых годов несколько русских девушек отправились за границу для слушания лекций в цюрихском университете.

Первоначально число их оставалось крайне ограниченным, но в последние два года начало быстро возрастать, и в настоящее время в цюрихском университете и тамошней политехнической школе считается более ста русских женщин. Между тем до правительства начали доходить все более и более неблагоприятные о них сведения. Одновременно с возрастанием числа русских студентов коноводы русской эмиграции избрали этот город центром революционной пропаганды и обратили все усилия на привлечение в свои ряды учащейся молодежи. Под их влиянием научные занятия бросались для бесплодной политической агитации. В среде русской молодежи обоего пола образовались различные политические партии самых крайних оттенков. Славянское социал-демократическое общество, центральный революционный славянский комитет, славянская и русская секции интернационального общества открылись в Цюрихе и считают в числе своих членов немало русских молодых людей и женщин. В русской библиотеке, в которую некоторые наши издатели доставляют бесплатно свои журналы и газеты, читаются лекции, имеющие исключительно революционный характер. «Пугачевский бунт», «Французская революция», — вот обычные темы лекторов. Посещение сходов рабочих сделалось обычным занятием девушек, даже таких, которые не понимают по-немецки и довольствуются изустными переводами своих подруг.

Политическая агитация увлекает молодые неопытные головы и дает им фальшивое направление. Сходки, борьба партий довершают дело и сбивают с толку девушек, которые искусственное, бесплодное волнение принимают за действительную жизнь. Вовлеченные в политику девушки попадают под влияние вожаков эмиграции и становятся в их руках послушными орудиями. Иные по два, по три раза в год ездят из Цюриха в Россию и обратно, перевозят письма, поручения, прокламации и принимают живое участие в преступной пропаганде. Другие увлекаются коммунистическими теориями свободной любви и, под покровом фиктивного брака, доводят забвения основных начал нравственности и женского целомудрия до крайних пределов...

Правительство не может и не должно оставаться равнодушным зрителем нравственного растления, подтачивающего часть, хотя и незначительную, русской молодежи. Оно сознает свою непреложную обязанность бороться с возникающим злом и решилось употребить все зависящие от него меры, впрочем преимущественно предупредительные... Не одна жажда знания привлекает русских женщин в Цюрих. Если западноевропейские государства, значительно опередившие нас в образовании, между тем точно так же не допускающие женщин в высшие учебные заведения, доставляют цюрихскому университету самый ничтожный контингент слушательниц, составляющий в совокупности менее двадцати процентов числа одних русских студенток, то трудно не прийти к заключению, что большинство наших юных соотечественниц поступают в цюрихский университет под влияниями, не имеющими ничего общего с стремлением к образованию... Правительство не может допустить мысли, чтобы два-три докторских диплома могли искупить зло, происходящее от нравственного растления молодого поколения, и потому признает необходимым положить конец этому ненормальному движению.

Вследствие сего, правительство заблаговременно предупреждает всех русских женщин, посещающих цюрихский университет и политехникум, что те из них, которые после 1 января будущего 1874 года будут продолжать слушание лекций в этих заведениях, по возвращении в Россию не будут допускаемы ни к каким занятиям, разрешение или дозволение которых зависит от правитель-

ства, а также к каким бы то ни было экзаменам или в какое-либо русское учебное заведение.

Правительство надеется, что такое заблаговременное заявление избавит его от печальной необходимости подвергать кого-либо означенным ограничениям».

В связи с этим сообщением среди нашей колонии поднялся переполох. Обсудить возникшее положение собрались в Русском доме. Мы, консерваторы, ретрограды, сидели отдельной маленькой группкой возле дверей. Большинство было не с нами.

— Господа! — взывала с трибуны Варя Александрова. — Правительство нанесло нам жестокое оскорбление. Я считаю, что на это оскорбление мы должны ответить протестом через печать, и чем резче, тем лучше.

— Правильно! — закричала Вера и захлопала в ладоши. Вслед за ней захлопали и другие. Я посмотрел на нее с осуждением, она перехватила мой взгляд и самолюбиво улыбнулась.

— Правильно! — закричала она опять, на этот раз уже из упрямства.

На трибуну выкатилась коротышка Щербачева.

— Протест, — кричала она, стуча маленьким кулачком по трибуне, — вы писать не будете! Хватит, дописались! Докатились до того, что нас теперь всех из Цюриха гонят, как, извините, публичных женщин. Если приехали учиться, так учитесь, а если желаете делать революцию, так поезжайте и делайте, а нас в эти свои дела не втягивайте!

Кто-то из нашей группы кричал: «Браво!» Кто-то из крайних кричал: «Долой!»

Щербачеву на трибуне сменила Владыкина. Спокойным голосом она сказала:

— Щербачева, может быть, погорячилась, но по существу дела она права. Писать какие-либо протесты бессмысленно, они не утихомят правительство, а только разозлят, и будет еще хуже.

— Если вы хотите, чтобы вам плевали в физиономию, — сказала Бардина, — можете позволять и утираться. А мы этого не позволим, во всяком случае по отношению к себе, и напишем протест.

— Ну и пишите! — снова вскочила Щербачева. — А мы напишем протест против вашего протеста и напишем,

что мы к вашему протесту никакого отношения не имеем.

Обсуждение, если это можно было назвать обсуждением, затянулось. Когда вышли на улицу, было уже светло. Из-за гор уже тянулись первые лучи солнца, и туман клубился над озером.

Расходились кучно и шумно. Вера отделилась от меня и шла со своими «фричами». Кто-то, кажется, Варя Александрова первая затянула:

Вперед! без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!..

Вера шла вместе с Лидиной и сестрами Любатович и в такт песне размахивала кулаком.

Не сотворим себе кумира
Ни на земле, ни в небесах,
За все дары и блага мира
Мы не падем пред ним во прах!

Сыпались по плечам льняные волосы Вари Александровой, ярче обычного пылал румянец на щеках Сони Бардиной, как всегда, печальны были глаза Бети Каминской. В памяти многое перепуталось, но иногда мне кажется, что в этот момент я со всей отчетливостью провидел их жестокий удел. Пройдут годы, и в состоянии душевного смятения отравится спичками Бетя Каминская, после побега из ссылки, сломленная общими и личными неудачами, застрелится в Женеве Соня Бардина, Тетка, добровольно уйдут из жизни Женя Завадская, Саша Хоржевская, Катя Гребницкая... Пройдут годы... А пока...

Провозглашать любви ученье
Мы будем нищим, богачам...

Я стоял на тротуаре и смотрел вслед этой малюсенькой группке воздушных созданий, вообразивших, что они ухватились за тот самый рычаг, с помощью которого можно перевернуть всю землю. Они удалялись, уводя за собой Веру, мою Веру, мою мисс Джек-Блек, ступившую на путь, с которого нет возврата. Сердце мое рвалось на куски. Я готов был бежать за ней, упасть на колени, целовать ее ноги — только бы остановить. Но это было уже невозможно.

Я стоял, прислонившись к столбу газового фонаря, и остывший за ночь металл охлаждал мой затылок.

Глава первая

В театре давали «Севильского цирюльника». Партию Фигаро исполнял новый баритон, о котором в последнее время говорили, как о восходящей звезде. Но Екатерина Христофоровна его совершенно не слышала, хотя и сидела в четвертом ряду со своими дочерьми Женей и Оленькой. Она любила эту оперу и давно хотела послушать модного певца, но мысли ее, тревожные и непослушные, все время уводили ее в сторону, и она никак не могла сосредоточиться.

Ах господи, наверное, он пел хорошо! Может быть, он даже замечательно пел. Но в то время, как он с неиссякаемой энергией бегаёт по сцене, надрывая голосовые связки (Фигаро — здесь, Фигаро — там!), в то время, как толстая немолодая Розина не менее энергично уверяет публику: «...и непременно все будет так, как я хочу!», дочь Екатерины Христофоровны, ее девочка Лида, сидит в тюрьме. И если суд признает ее виновной, ей грозит каторга или по меньшей мере бессрочная ссылка. И главное, никакой надежды на снисхождение. Если ты кого-нибудь убил или ограбил, тут еще можно как-то защищаться, можно на что-то рассчитывать, можно кого-то взять слезами или взяткой, но когда речь идет о том, что один человек дал другому человеку почитать книжку запрещенного содержания, то тут уже не можешь ничем, лица чиновников становятся неприступными, ибо чтение запрещенной книжонки расценивается как особо опасное государственное преступление. Товарищ обер-прокурора уголовного кассационного департамента Жуков сказал Екатерине Христофоровне: «Ваша дочь упорствует в своих заблуждениях, и дело для нее может кончиться очень плохо». Нет, Екатерина Христофоровна не разделяла убеждений своей дочери, считала, что они — плод незрелого пылкого ума, заблуждения возраста. Но, боже мой, почему же заблуждение считается преступлением? «Судьба вашей дочери в ее руках, — сказал тот же Жуков. — Употребите свое влияние, помогите ей осознать свои ошибки, пусть она будет искренней с нами, и тогда суд, я вам ручаюсь, отнесется к ней снисходительно». Быть искренней — значит выдать

товарищей. Лида на это не пойдет, да и у нее, у матери, никогда не повернется язык просить об этом.

«Фигаро — здесь, Фигаро — там», — метался по сцене актер. Счастливый человек. Любимое дело, успех и, должно быть, единственная забота — как бы не простудить горло. Лидинька здесь, Верочка там. Там, слава богу, еще не так все плохо, хотя и не скажешь, что хорошо. Правда, Вера пока учится, но развелась с мужем. Почему? Алексей Викторович, может быть, и мягковат характером, но в общем-то человек неплохой. Совсем неплохой. И состоятелен, и воспитан, и к Вере хорошо относился (так, во всяком случае, казалось со стороны). И вдруг разошлись. Что за напасть?

В позапрошлом году Алексей Викторович останавливался в Петербурге, рассказывал, как все случилось. Взрослый мужчина, он чуть не плакал: «Поверьте, Екатерина Христофоровна, я очень любил Веру, да и сейчас, наверное, люблю, но я ничего не мог сделать».

Может, и не все было так, как рассказывал Алексей Викторович, но многое в его словах походило на правду. Взять хоть Лиду, хоть Веру — у обеих характер жесткий, отцовский. Покойный Николай Александрович тоже, бывало, если уж решит что-нибудь, так хоть стреляй в него, ни за что не отступится. Крутого нрава был человек. Но во многом оказался прав. Прав был, когда противился желанию старших дочерей обучаться в зарубежных университетах.

На улице после спектакля казалось холодно. Ветер крутил под ногами поземку и швырял горсти снега в лицо. Она шла и думала о своих старших дочерях, в то время как две младшие обсуждали сегодняшний спектакль. Женя сказала, что модный баритон понравился ей не очень, то есть голос хороший, но при этом артистичности нет совсем, даже жесты иногда не соответствуют тому, что он поет.

В подъезде было темно: дворник сэкономил керосин. Поднимались ощупью. Возле самых дверей в синем свете, сочившемся из маленького оконца, возникла тоненькая фигурка.

— Кто это? — испуганно спросила Екатерина Христофоровна.

— Это я, мамочка, — из темноты ответила Вера.

У Екатерины Христофоровны подкосились ноги. Вот уж, что называется, не ожидала.

Она с трудом нашла замочную скважину, отворила дверь. Потом долго не могла зажечь лампу.

Вера совсем не изменилась. Она была такая же худенькая в этом легком заграничном пальтишке, которое годится, может быть, для климата Швейцарии, но не для нашей зимы. Она растерянно улыбалась. Сестры смотрели на нее с обожанием.

— Верочка, ты ведь на вакансии приехала? — спросила мать и посмотрела на дочь с надеждой.

— Нет, мамочка, — тихо сказала Вера, — я приехала насовсем.

— Насовсем? — Собственно говоря, этого нужно было ожидать. Она думала, что этим может кончиться, но отгоняла тревожные мысли, уговаривала себя: нет, Вера старше и серьезнее Лидиньки, она так легкомысленно не поступит.

— Ты, наверное, сдала экзамены раньше времени? Ведь там это, кажется, разрешают.

— Нет, мамочка, я не сдала экзаменов.

— Может быть, у тебя что-нибудь случилось?

— Нет, у меня ничего не случилось.

— Зачем же ты приехала?

Она посмотрела матери в глаза:

— Вы знаете, мамочка, зачем я приехала. Я приехала, потому что, так же как Лида, не могла больше быть в стороне, в то время как другие работают, отдают все силы народу. Кстати, как она себя чувствует?

— Плохо, — сорвалась мать. — В тюрьме сидит, ты же знаешь.

— Мамочка! — Вера обхватила руками голову матери. — Не упрекайте меня, ладно? Я все решила, я взрослая, и с этого пути не сверну. Мамочка, не сердитесь. Ну посмотрите мне в глаза, ну улыбнитесь, ну скажите же, что вы не сердитесь.

Мать уложила Веру в свою постель, а сама села в ногах и слушала. Младшие дочери спали в соседней комнате, свет газового уличного фонаря сочился сквозь тонкие занавески и расплывался неясным узором по серому потолку.

— Вы знаете, мамочка, если я ставлю перед собой какую-нибудь цель, то я ее добиваюсь. Во всяком случае, стараюсь добиться. И вот вышел этот правительственный указ. Мы тогда все думали: что делать? Остаться в Цюрихе бессмысленно — потом наши дипломы

все равно будут считаться в России недействительными. Но оставалась лазейка. В указе упоминался только Цюрих, поэтому мы решили разъехаться в другие города. И вот Лида, Соня Бардина, сестры Субботины, Варя Александрова отправились в Париж, а я с Бетей Каминской и обеими Любатович — в Берн. Я готова была отдать все силы служению народу, но менять свои планы в ближайшее время не собиралась. И я училась, мамочка, честно училась. Каждое утро лекции, потом надо идти в клинику, участвовать в обходах, присутствовать на операциях. У нас был такой замечательный хирург — профессор Кохер. Присутствовать на его операциях было наслаждением. Конечно, я уставала, и даже очень. Но находила время, чтобы заниматься и социальными науками. Но главная моя цель была окончить университет, защитить диссертацию и получить диплом врача. Когда подруги стали звать меня в Россию, я отказалась, понимаете, отказалась. Сестры Любатович и Бетя Каминская поехали, а я осталась. Вы не представляете, как трудно мне было отказаться. Ведь я клялась быть вместе с ними, а тут, когда пришлось отвечать за свои слова делом, и не пошла на это. Хотите знать почему? Я вам объясню. Во-первых, я очень хотела стать врачом. Во-вторых, я знала, что наше возвращение будет для вас большим ударом. В-третьих, я не могла не думать о противниках женского образования. Ведь наше возвращение для них такой козырь. Они скажут, что вот, дескать, позволили женщинам учиться, а что из этого вышло? Мне было стыдно перед Лидой и всеми остальными, и все-таки я осталась и продолжала учиться. Я жила в отеле и почти ни с кем не общалась, кроме Доротей Аптекман, была у нас такая студентка. Но на вакалы я ездила в Женеву. И уж там каких только людей, мамочка, я не встречала! Иванчин-Писарев, доктор Веймар, Клеменц, Кравчинский, Саблин, Морозов. Какие это замечательные люди, мамочка! Умные, смелые, благородные. Почти за каждым аресты, ссылки, побег. Мы встречались в кафе Грессо, Грессо — это такой толстый швейцарский дядя, русских обожает и дает в долг. Народу у него всегда битком, пьют вино, спорят, кричат. Там был один полковник Фалецкий.

— Полковник и тоже нигилист? — спросила мать недоверчиво.

— Ах, мамочка, сейчас все нигилисты. Дело не в

этом. Вы только послушайте. Этот полковник приехал в Швейцарию, чтобы организовать кассу для помощи эмигрантам. Но был при этом ужасный трус. По улице идет, все оглядывается, всюду ему мерещатся шпионы. А когда пришел срок возвращаться ему в Россию, он и вовсе перепугался. Бывало, встретишь его в кафе, он пьяненький, глаза вытаращит: «Вы знаете, говорит, Верочка, до меня дошли слухи, что правительство пронюхало о моем предприятии. Если меня арестуют, это будет ужасно». Я ему говорю: «Здесь много людей, которые подвергаются не меньшей опасности, чем вы, почему же они так за себя не боятся?» «Ах, Верочка, — говорит, — вы все молодые, у вас все впереди, а у меня две взрослые дочери. Вы себе представляете, полковник, тридцать пять лет непорочной службы — и вдруг революционер. Вас по молодости лет могут простить. А меня сотрут в порошок. И ведь самое обидное, что до пенсии осталось всего лишь четыре месяца». И вот однажды я решила подшутить над полковником и написала ему записку. Точно не помню, но содержание примерно такое: «Милостивый государь! Я не знаю вас, а вы не знаете меня, но я должна предупредить вас: вам грозит опасность. На русской границе вы будете задержаны, обысканы и арестованы. Приходите сегодня в восемь часов вечера на остров Жан-Жак Руссо. На скамейке под деревом вы увидите даму под зеленой вуалью; от нее узнаете все подробности». И подпись: «Благожелательная незнакомка». И что вы думаете? Приходит этот полковник в назначенное место, там его ждет таинственная незнакомка. Она говорит, что один ее знакомый, который служит в здешней полиции, получил точные сведения о том, что полковником интересуется русская полиция. Представляете, что с ним было! Когда я его увидела, на нем лица не было. «Что мне, Верочка, делать? В Россию ехать нельзя — арестуют. Неужели остаться навсегда в чужой стране без куска хлеба, навсегда забыть о семье?»

Вспомнив Фалецкого, Вера засмеялась и посмотрела на мать. Екатерина Христофоровна даже не улыбнулась.

— Эта таинственная незнакомка, — спросила мать, — была ты?

— Нет, это была Като, сестра литератора Николадзе.

— И тебе эта проделка кажется очень смешной?

— Мамочка, — смутилась Вера. — Но ведь это же была только шутка.

— Это была злая и нехорошая шутка, — упрямо повторила Екатерина Христофоровна.

— Я знаю, мамочка. Я ему во всем призналась и извинилась, но он такой смешной...

— Допустим. Остальные твои друзья были не такие смешные?

— Ну, там были всякие. Например, Коля Саблин. Он поэт. Он написал поэму «Малюта Скуратов». Поэма замечательная, такой хороший слог. Но лучше всего он пишет эпиграммы и в них всегда высмеивает Колю Морозова.

— А этот Коля Морозов тоже поэт?

— Он и поэт, и герой. Он хочет бороться за счастье народа по способу Вильгельма Телля. Если вы хотите спросить меня, кто такой Вильгельм Телль...

— Я знаю, кто такой Вильгельм Телль. Я тоже читала Шиллера, и, насколько мне помнится, способ Вильгельма Телля заключался в убийствах.

Ах, как сверкнули глаза у дочери! Как яростно и как непримиримо!

— Мамочка, — сказала она, и в этом «мамочка» появилось железо, — слово «убийство» само по себе ничего не значит. Убийство кого и за что — вот что важно. Вильгельм Телль боролся против несправедливости. Он мстил угнетателям за угнетенных.

— Но доченька, — стусевалась Екатерина Христофоровна, — ведь эти, как ты их называешь, угнетатели, они тоже люди, пусть плохие, но люди, люди!

Вера потемнела лицом, но спорить не стала:

— Ладно, мамочка, не будем об этом. Тем более что я собираюсь заниматься совсем другим делом. Я хочу говорить с простыми людьми, открывать им глаза на несправедливость устройства нашей жизни и объяснять, как нужно переделать мир по закону справедливости. И пожалуйста, не спорьте со мной, это все равно ни к чему не приведет. Я взрослый человек, выбрала этот путь сознательно и никогда с него не сверну. Вы слышите: никогда.

Екатерина Христофоровна пожала плечами:

— Дело, конечно, твое. Я не вмешиваюсь. Но все же мне кажется, что тебе надо было закончить начатое, а потом уже решать, как быть дальше.

— Ах, мамочка, я и сама хотела доучиться. Да так получилось. Давайте спать. Вы устали и я тоже.

— Да, конечно.

Екатерина Христофоровна ушла и постелила себе на узком диванчике в прихожей.

«Так получилось», — сказала Вера. Разумеется, она не могла посвящать мать в подробности того, что именно получилось. А получилось то, что, вернувшись из-за границы, «фричи» слились с другими кружками и образовали всероссийскую социально-революционную организацию, которая действовала в Москве, Туле, Иваново-Вознесенске и других городах среди фабричных рабочих, в большинстве своем бывших крестьян. Вести о деятельности организации доходили до Веры. С каждым днем ей все труднее было оставаться в Швейцарии, но она твердо решила, что вернется в Россию не иначе как с дипломом врача. И весной, провожая в Россию Саблина и Морозова, который был в нее, кажется, немножко влюблен, она им сказала:

— Встретимся через год!

Откуда ж ей было знать, что все сложится совсем не так, как она предполагала? Морозов и Саблин арестованы при переходе границы, а она...

Осенним дождливым вечером в ее маленький номер в отеле «Zum Bären» явился respectable господин с окладистой бородой, в золотых очках, в калошах и с зонтиком.

— Я Натансон, — сказал он просто.

Если бы он сказал, что он архангел Гавриил, Вера вряд ли была бы потрясена больше. Марк Андреевич Натансон, известнейший революционер, собственной персоной стоял перед ней, улыбаясь одними глазами. Потом они сидели за самоваром, и Натансон, расспросив Веру о ее планах на будущее, сказал, что ей необходимо немедленно вернуться в Россию.

— Мы задыхаемся, — объяснил он категоричность своей просьбы. — По существу, вся наша организация разгромлена. Ваша сестра, Бардина, Каминская, Александрова, все три сестры Субботины, обе Любатович арестованы. Мы собираем сейчас всех наших людей в России и за границей. Необходимо собрать все силы, иначе дело может заглохнуть.

Как ей не хотелось ехать! Она просила отсрочки. Она приводила все доводы в пользу того, что ей нельзя

раньше, чем хотя бы через полгода, покинуть Швейцарию. Но Натансон был непреклонен, и, обещая ему подумать, Вера знала, что она уже сдалась.

И теперь, лежа в материнской постели, она думала, что, наверное, все-таки зря согласилась вернуться прежде времени. Что может произойти за эти полгода? Ничего абсолютно.

«Разве что меня, как Лиду, посадят в тюрьму, — подумала она, засыпая. — Впрочем, для того чтоб сидеть в тюрьме, иметь диплом врача, пожалуй, не обязательно. Примут и без диплома», — улыбнулась она сама себе.

Глава вторая

В конце концов, сколько можно? «Пусть нам носят ц п ж п ц ц м и ф ы с ш у н щ в л н ы а ч н х е с й р, а наши у н ч ь з будут получать щ б ь ф т с д я п и в к т а ш й д щ е у ф б г ч п м...»

В московской квартире на Сивцевом Вражке привычная картина. Вера сидит за расшифровкой записок из тюрем, Василий Грязнов лежит на диване, Антон Таксис расхаживает по комнате, заложив руки за спину.

В соседней комнате, как обычно, галдеж, который не прекращается ни на минуту. Кого здесь только не бывает! Николай Саблин, недавно выпущенный на поруки, длинный человек по фамилии Армфельд, некий молчаливый чудак без имени и фамилии, по прозвищу Борода, рабочие, студенты, бездельники. Спорят, дымят табаком, одни уходят, другие приходят — двери настежь для всех. И это называется революционеры, подпольщики. Не зря квартиру называют Толкучкой. Толкучка самая настоящая. Да стоит полиции только на секунду проявить любопытство, и тут же все будут накрыты. К счастью, в России и полиция так же нерасторопна, как все прочие учреждения.

Таксис бросает на Веру несколько нетерпеливых взглядов, потом все-таки не выдерживает:

— Ну, что пишут?

— Что пишут? А то и пишут: цеппецецецем эифзы...

— Верочка, — морщится Таксис, — перестаньте вальть дурака. Неужели вам не надоело?

— Надоело, и даже очень. Сидишь целыми днями над всеми этими бырмыртырпыр. Для чего? Мы платим

очень много денег всяким проходимцам за то, что они доставляют нам эти послания. Что мы из посланий узнаем? Вот я расшифровала эту записку: «Пусть нам несут конфеты в коробках с двойным дном, а наши ответы будут получать изо рта или за шей...» Объясните мне, Антоша, для чего нам нужны эти ответы, за которые мы платим по рублю, а содержания получаем на ломаный грош? Я понимаю, что это нужно для поддержания товарищей, но неужели этого не мог бы сделать кто-нибудь другой? Для чего я бросила университет и приехала из-за границы? Я хотела работать в народе. А пока я никакого народа вокруг себя не вижу. Если не считать, конечно, Василия, который весь день лежит на диване.

Василий лежит на животе, задрав кверху ноги в стоптанных грязных ботинках и уткнув глаза в книгу. Он делает вид, будто не слышит, что о нем говорят.

— Василий! — обращается Вера прямо к нему, — Вы ведь, кажется, сегодня собирались искать работу.

— Так ведь никуда не берут, — Василий неохотно отрывается от книги и смотрит на Веру выжидающе.

— Если будете лежать на диване, так вас никуда и не возьмут. Идите, идите, поищите что-нибудь.

— Книга больно интересная, — вздыхает Грязнов. Он загибает страницу, с сожалением кладет книгу на диван, идет к вешалке, снимает драный армяк, напяливает на голову какой-то невероятный малахай и с надеждой смотрит на Веру — не остановит ли?

— Подите, подите, — безжалостно поощряет Вера. — Авось что-нибудь и подыщете. А если нет, так хоть подышите свежим воздухом. Тоже иногда полезно.

Помявшись у порога, Василий выходит.

— Вот, видали! — вслед ему кивает Вера. — «Нигде ничего нет, никуда не принимают». Ему поручено заводить связи на заводах и фабриках. Видите, как он их заводит. Сейчас дойдет до угла, померзнет и вернется обратно. «Нигде ничего нет, никуда не берут». Антоша, найдите мне замену, а я пойду в деревню.

— И что вы там будете делать?

— Фельдшером устроюсь и буду вести пропаганду.

— Легко сказать, — скептически качает головой Таксис. — Во-первых, никаким фельдшером со своими швейцарскими документами не устроитесь, об этом нечего даже и говорить. Во-вторых, что касается хождения в народ, то вам к этому надо серьезно подготовиться. Мно-

гие люди ходили — и я в том числе — и были разочарованы. Вы там, в Швейцарии, вообразили себе, что русский народ сам по себе уже социалист, и, как только вы придете к нему, он тут же развесит уши и пойдет за вами. А это, Верочка, далеко не так. Русский народ хочет только, чтоб не было хуже и чтоб его оставили в покое. А что до революции, то он даже не знает, что это такое и с чем ее едят. Пойдете в народ, будете служить фельдшерницей, будете пичкать крестьян своими мазями и порошками, кому-то от ваших мазей и порошков, может, и полегчает. И это все, что вы сможете сделать для народа. Впрочем, я не против того, чтобы вы это испытали на себе, хотя бы для того, чтоб убедиться, что это пустое. Но потерпите еще немного. Найдем вам замену, и отправляйтесь с богом.

Вот уже не первый раз слышит Вера такие разговоры от тех, кто ходил в народ. Отчего же такое разочарование? Не оттого ли, что некоторые народники внушают крестьянину непонятные ему идеи, вместо того чтобы исходить в своей деятельности из его нужд, требований и стремлений в том виде, в каком они выработаны им в ходе истории?

Нет, надо испытать это самой, самой попытаться найти ключ к темной крестьянской душе.

После ухода Таксиса она снова склоняется над столом и пишет ответы в тюрьмы.

Вечером приходит Вера Шатилова. Она некрасива, но есть в ней что-то притягивающее. Всегда в движении, деятельная, она берется за любую работу, никогда не хнычет, всегда всем довольна, общение с ней всегда успокаивает. Сняв пальто, она сразу же усаживается за работу.

— Верочка, ты меня сменишь? — спрашивает Фигнер.

— Конечно, Верочка.

— А я пойду к своему телеграфисту.

— Бог в помощь, Верочка. Ц р к м н о...

Пропади он пропадом, этот телеграфист.

Вечереет.

Она стоит на углу Арбата и Староконюшенного переулка. Стелется по булыжнику поземка, ветер пробирается сквозь легкое пальтишко. В сумочке несколько клочков бумаги — шифрованные записки для передачи арестованным. По тротуару прямо к ней идет городовой. Может быть, он идет, чтобы арестовать ее. Но не бе-

жать же! Она стоит. Холодно. Городовой медленно приближается. Осталось пять шагов, три. Скользнув по ней равнодушным взглядом, городской проходит мимо. Начинают мерзнуть ноги. Она растирает колени руками. Но вот из-за угла выныривает долговязая фигура. Шинель с поднятым воротником, на голове лохматая шапка. Это телеграфист. У него связи с жандармами, через него можно передать записки.

Телеграфист оглядывается по сторонам, так что сразу можно догадаться, что замыслил он что-то нехорошее.

— Зайдемте в трактир, — бросает он на ходу, проходя мимо Веры.

В трактире грязно, накурено, но хоть можно погреться.

— Пару чая, — небрежно бросает телеграфист половому и устремляет на Веру печальные свои глаза.

— Трудно, барышня, жить, очень трудно. Все больно опасаются, а платите вы мало. Музыкант у меня есть знакомый, связан с жандармами, так он меньше трех рублей не берет. И то, говорит, я за вечер, говорит, три рубли смычком заработаю. А ему ведь из этих трех рупь надо жандарму отдать. Да и мне надо хотя б рупь заработать, семья все ж таки, двое детишек малых, леденцов хочут и риск большой.

— Ну вот вам за все, за музыканта, за детишек и за риск, пять рублей хватит.

— Пять рублей — это еще по-божески, — бормочет телеграфист. — За пять рублей, может, и удастся чего сделать.

Вера возвращается к себе на Толкучку. Все эти телеграфисты, жандармы, тюремные надзиратели и музыканты обдирают ее как липку.

Василий Грязнов лежит по-прежнему на диване, читает «Хитрую механику» и хохочет до слез, как маленький. Смешно.

Ткача Якова нашла Вера Шатилова. Яков, хотя и неграмотный, хотя только что из деревни, оказался мужичком сообразительным. Он сразу все понял: и насчет тяжелых условий труда, и насчет равенства и неравенства. Слушал, головой кивал, соглашался. И согласился даже помочь организовать кружок среди знакомых рабочих.

— Только где собираться-то будем? Нешто у вас?

— Да нет, у нас не очень удобно.

— А у нас и подавно. В рабочих казармах нельзя, там у хозяина глаза и уши всегда найдутся. А вот думка у меня одна есть, да сумлеваюсь больно.

— А вы не сомневайтесь, вы говорите.

— Да вот домик я тут один присмотрел. Домик, хотя и захудалый, но все ж, если б его занять, ну, допустим, на мое имя, так можно было б там сходки эти собирать, книжки читать всякие.

Вера видела, что хитрит этот Яков. Да и как было не видеть, когда на лице у того написано, что плут. И все же заглушила в себе эти сомнения. Вместе с Шатиловой обсудили предложение, собрали у разных людей немалую сумму и сунули Якову.

Яков поселился в новом доме, семью из деревни вывез.

Когда обе Веры явились к нему, он сидел на заваulinке, «козью ножку» крутил. Гости с ним поздоровались, он посмотрел на них, как будто первый раз видел. Не встал даже. Но ответил приветливо:

— Здравствуйте, барышни.

Веры переглянулись, но хамства еще не отметили. Что ж с того, что он не встает перед ними? Светским манерам не обучен. Да и устал на работе, намаялся, не то что они, физическим трудом себя не обременяющие.

— Ну, как вам в новом доме? — спросила Вера Фигнер.

— А чего? Дом как дом. С клопами. — Он раскурил наконец свою «козью ножку» и выплюнул перед собой клуб сизого дыма.

— Ну что ж, — сказала Вера. — В воскресенье приводите ваших товарищей, поговорим.

— Книжки читаем, — добавила Шатилова.

— Каки таки книжки? — Яков смотрел на них с любопытством.

— Интересные, — почувствовав подвох, смешалась Шатилова.

Во двор вышла жена Якова, толстая баба с ребенком.

— Чего сидишь-то! — закричала она визгливым голосом. — Дрова-то не колоты. Что ж я, цельные бревна в печку пихать буду?

— Погоди ты со своими дровами, — отмахнулся

Яков. — Тут вот барышни пришли, говорить хочут. Книжки хочут читать.

— Каки ишо книжки? — опять прокричала баба.

— Вот я и пытаю каки. А они говорят интересные. А что ж в их может быть интересного? Ну что? — он поднялся на ноги, бросил недокурную самокрутку, раздавил сапогом с остервенением, как клопа. — Вот так-то, барышни. Мы ваших книжек отродясь не читали и, слава тебе господи, — перекрестился, — до сей поры живы. Авось и ишо проживем немножко.

— Яков, — сказала Вера Шатилова, — как вам не стыдно? Ведь у вас должна быть рабочая совесть.

— Ну и что? — спросил Яков.

— Да как же «что»? — волновалась Шатилова. — Ведь этот дом куплен на наши деньги.

— Вот что, барышни, — с угрозой сказал Яков. — Ступайте-ка вы отсюда, куда я околоточного не позвал.

— Подлец! — с ненавистью бросила Фигнер.

— Эх, барышня, — необидчиво усмехнулся Яков. — Грамотная, ученые слова говорите, а жить не умеете, Баба с ребенком, слушавшая весь разговор, вдруг выбежала за калитку и завизжала:

— Ну, чего пристали! Сказано вам: ступайте. Женатый он, с ребенком! У-у, шалавы! — завизжала она на всю улицу.

Из соседних дворов высунулись любопытные. Вдалеке показалась величественная фигура околоточного.

— Идем, идем, — Шатилова схватила Фигнер за рукав. — Ну их к черту.

Они свернули в ближайший проулок и там уже кинулись бежать со всех ног. Не от околоточного. От стыда друг перед другом.

Глава третья

Лето 1876 года. Ярославль. Серый каменный дом, дверь с медной табличкой: «Доктор медицины Никита Саввич Пирожков». Доктор Пирожков встретил Веру на пороге своей квартиры. Доктор был маленького роста, широкоплечий и бритоголовый.

— Стало быть, вас рекомендовала Ширмер? — сказал он, разглядывая Верины бумаги. — Это почти хоро-

шо, даже почти прекрасно. А вы эту Ширмер откуда знаете?

— Я училась вместе с ней в Цюрихе. — Вера была несколько озадачена таким приемом.

— Вы учились вместе с ней в Цюрихе? Это почти меняет дело. Это почти замечательно! Это было бы замечательно без «почти», если бы я имел хоть малейшее представление о том, кто такая эта самая Ширмер.

— Как же так? — совсем растерялась Вера. — Она говорила...

— Она могла говорить что угодно. Варвара! — рявкнул он вдруг командирским голосом.

В прихожей появилась молодая женщина, по-видимому, жена Пирожкова.

— Варвара, — грозно сказал Пирожков, — напрягись и подумай, известна ли тебе фамилия Ширмер?

— Известна, — сказала Варвара. — Ширмер — это моя девичья фамилия.

— Это почти превосходно! — радостно воскликнул доктор. — Теперь многое становится почти ясным. Неясно только одно: как ты сумела, будучи моей женой и живя почти безвыездно в этом почти медвежьем углу, одновременно учиться в Цюрихе?

— Никита, — снисходительно сказала госпожа Пирожкова, — не надо дурить. Ты хорошо знаешь, что в Цюрихе училась моя племянница Настя, дочь моего брата Петра.

— Твоя племянница — почти моя племянница, — пробормотал Пирожков, разглядывая другие Верины документы. — Значит, вы учились в Цюрихе, а затем в Берне и закончили почти четырехгодичный курс?

— Да.

— В Москве вы кому-нибудь показывали эти документы?

— Не только в Москве, но и в Петербурге.

— И какова была реакция? — хитро сощурился Пирожков.

— Мне везде отказывали.

— Вот! — обрадовался доктор. — В Москве и Петербурге вы получили отказ и поэтому поехали в Ярославль. Но я вам должен сказать почти по секрету, что Ярославль находится в том же самом государстве и порядки у нас почти такие же. Может, немножко хуже. Поэтому эти ваши бумаги я вам советую вставить в рам-

ку и повесить у себя дома, только так, чтоб никто не видел.

— Доктор, — вспыхнула Вера. — Я приехала к вам за триста верст...

— Почти за триста, — поправил доктор.

— ...вовсе не для того, чтобы вы надо мной издевались. Если вы не хотите мне помочь...

Доктор посмотрел на Веру грустными глазами.

— Да, да, я понимаю, — забормотал он. — Я произвожу впечатление почти жестокого человека, который никому не хочет помочь. И это почти так и есть, но вам, пожалуй, все-таки помогу. Вот этот ваш документ выглядит почти как настоящий. Доктор Глаголев свидетельствует, что вы под его руководством два года проходили в частном порядке фельдшерский курс. Теперь вам надо пройти практику, для чего вы ко мне и явились. Прекрасно! Правда, из Берна вы вернулись только в декабре прошлого года, и это почти несовпадение. Но если мы никому не будем показывать бумаги, то таким образом почти ни у кого не возникнет сомнения, что вы могли два года учиться у доктора Глаголева. Варвара, как ты считаешь? — покосился он на жену.

— Никита, — строго сказала жена. — Перестань морочить барышне голову. Вы, — повернулась она к Вере, — на его выходки не обращайтесь внимания. Он всегда строит из себя идиота.

— Почти всегда, почти идиота, — поправил доктор.

— Всегда облюбует какое-то слово и начинает его вставлять к месту и не к месту. Еще неделю назад он измучил всех словом «якобы».

— Ну что ж, — кончив тем временем разглядывать бумаги, сказал доктор как бы самому себе. — Мне почти все понятно. Пойдемте в гостиную, поговорим, подумаем, примем окончательное решение. Или, — он первый раз улыбнулся, — почти окончательное.

На другой день Вера получила разрешение проходить фельдшерскую практику при губернской земской больнице. Кроме того, доктор Пирожков устроил ее на квартиру с пансионом и нашел гимназиста, который стал заниматься с ней порядком подзабытой латынью.

И опять началась жизнь, похожая на жизнь в Цюрихе или в Берне. Днем практика в больнице, вечером зубрежка медицинских премудростей по учебникам.

Земская больница была плохо оборудована. Не хва-

тало помещений, лекарств и бинтов. Но особенные страдания доставлял практикантке главный врач, самолично делавший операции. Во время операций он суетился, нервничал и заставлял нервничать своих ассистентов. Каждый раз под рукой не оказывалось того или иного инструмента. Врач кипятился, кричал на своих помощников, те в страхе разбегались в разные стороны, производя еще большую суматоху. Сколько раз вспоминала здесь Вера бернского профессора Кохера. Сколько раз ей хотелось вмешаться и показать хирургу, как надо делать ту или иную операцию. Да разве можно? Разве можно показать, что ты знаешь больше, чем положено знать будущей фельдшернице?

— А у вас гостя, — сказала однажды хозяйка, когда Вера вечером вернулась от Пирожковых. — Говорит, что она ваша сестра, и я пустила ее к вам в комнату.

— Сестра? — Вера удивилась, но виду не подала. Какая может быть сестра? Лида в тюрьме, Женя и Оля вместе с матерью за границей. Вера толкнула дверь и увидела маленькую худенькую девушку, которая стремительно поднялась ей навстречу.

— Бетя? — Вера зажмурилась и снова открыла глаза. — Этого не может быть, это не ты.

— Это я, — сказала Бетя Каминская и обняла ее.

— Да откуда ты взялась? Какими судьбами? Ведь ты...

— Да, я шла по одному делу с Лидией, Соней Бардиной и прочими.

— Ты бежала?

— Да, но не сразу. — Бетя нахмурилась. — Меня признали психически ненормальной, и, кроме того, отец дал жандармам пять тысяч рублей. Меня отправили домой, под надзор родителей, от них я убежала. В Москве мне дали твой адрес, и вот я здесь.

— Бетя, милая, — ласково сказала Вера. — Очень хорошо, что ты приехала. Комната у меня большая, хозяйка, я думаю, возьмет нас обеих на пансион.

— Спасибо, Верочка, но ничего этого не нужно, — сказала Бетя. — Я приехала к тебе, чтоб отсюда отправиться в народ.

За прошедшие после Берна два года Бетя нисколько

не изменилась. Все тот же нежный румянец на щеках, та же затаенная грусть в больших серых глазах.

— И с кем ты собираешься идти? — осторожно спросила Вера.

— Одна.

— Но это невозможно! Одной тебе это будет не под силу.

Спустя полчаса они сидели за столом, покрытым вышитой скатертью, перед уютно посапывающим самоваром.

— Ты говоришь, что одной идти в народ невозможно. Я с тобой совершенно согласна. Но я... — Бетя окунула кусок сахара в чай и откусила немного, — я решила на все.

— Что значит — на все?

— Видишь ли, со мной многие не соглашаются, считают, что я безумная, может быть, это так и есть, я и в самом деле больна и знаю это. Но я знаю и то, что настоящий революционер должен жертвовать собой. Он должен стремиться к гибели. Помнишь, в Цюрихе на женском фереине мы спорили, нормальный или ненормальный человек самоубийца. Так вот, я считаю, что просто самоубийство — вещь глупая, но самоубийство для дела...

— Бетенька, милая! Какое может быть самоубийство для дела? Бог с тобой. Надо жить для того, чтобы бороться, и бороться для того, чтобы жить.

— Нет, — непреклонно сказала Бетя. — Революционер должен стремиться к гибели для того, чтобы открыть глаза другим. Ты пойми, сейчас любая революционная деятельность обречена на провал. Мы боремся за счастье народа, но народ нашей борьбы не понимает. Ему кажется, что если он и живет недостаточно хорошо, то мы не улучшаем его жизнь, а еще более ухудшаем. Только гибель, только самопожертвование революционера подадут всем нравственный пример, показывают великомученика, который идет умирать за народ. Поэтому каждый провал есть замечательный пропагандистский ход. Стоит арестовать на заводе или на фабрике одного человека, как тысячи людей начнут интересоваться тем, за что, почему его арестовали. Вместе с интересом в них пробудится и мысль о том, что общество устроено несправедливо, если таких людей арестовывают и сажают в тюрьму, а капиталист и чиновник,

обдирающие народ, процветают. Поэтому если это и будет самоубийством, то самоубийством, полезным народу.

«Что с ней?» — с тревогой подумала Вера. И тут ей вспомнилась психиатрическая клиника в Берне, печальные глаза больных и уверенный голос профессора, называвший характерные признаки меланхолии: мрачное восприятие жизни, бредовые идеи самообвинения, мысли о самоубийстве.

— Выкинь это все из головы! — сказала Вера. — Ты забываешь о том, что революционеру и так ежечасно грозит опасность провала. Так зачем же к нему стремиться? Его надо оттягивать как можно дольше, чтобы как можно больше успеть.

— Один провал является гораздо большей пропагандой, чем вся деятельность революционера до провала. Я давно так решила, и не надо со мной спорить, Верочка. Помоги мне завтра же купить крестьянскую одежду и сапоги, и я пойду по деревням.

— Ты никуда не пойдешь, — возразила Вера.

— Пойду, — упрямо сказала Бетя.

— Ведь это безумие! — всплеснула руками Вера. — Ты такая слабенькая, одинокая, куда ты пойдешь? Ведь ты не знаешь ни местности, ни расстояний между селами. Ты можешь заблудиться, попасть в какой-нибудь лес или запоздаешь в пути и останешься ночью одна, вдали от всякого жилья. Что тогда будет с тобой? Ведь ты — женщина. Какой-нибудь негодяй пристанет к тебе по дороге, ты не сможешь себя отстоять. Я ни за что не пушу тебя. Выбери что-нибудь более подходящее. Или подожди, я сдам экзамен, и тогда пойдем вместе.

— Когда экзамен?

— Через месяц.

Бетя покачала головой:

— Нет. Я столько не выдержу. Мне надо немедленно чем-то заняться.

Вера посмотрела на нее и поняла, что спорить бесполезно.

На другой день отправились на рынок. Юбку и блузку нашли без труда. Нашли пестрый деревенский платок. Достать сапоги оказалось труднее. Для Бетиной маленькой ножки трудно было подобрать что-нибудь

подходящее. Наконец догадались примерять сапожки детские. Нашлись как раз впору. Теперь все было в порядке. Можно было трогаться в путь.

Последний день вдвоем с Бетей был для Веры пыткой. Бетя слонялась из угла в угол, подолгу смотрела в окно или ложилась на кушетку вверх лицом и, подложив руки под голову, безотрывно смотрела в потолок остановившимся взглядом. «Господи! — думала Вера. — Хоть бы скорее наступил завтрашний день». Было стыдно собственных мыслей, но думать иначе она не могла. Бетя нагнетала тоску. Проснувшись, Вера увидела ее сидящей перед зеркалом в своем крестьянском наряде, который сидел на ней так нелепо, что, глядя на нее, хотелось плакать. Бетя перехватила Верин взгляд и все поняла.

— Ты знаешь, я, пожалуй, выйду от тебя в своем платье, чтобы не обращать на себя внимание любопытных. А потом где-нибудь в лесу переоденусь.

Вера проводила подругу до окраины города и долго смотрела ей вслед. Бетя уходила, перекинув через плечо котомку, в которой, кроме крестьянской одежды, были кусок хлеба, кусок колбасы и несколько экземпляров прокламации «Чтой-то, братцы...»

«Чтой-то, братцы, как тяжело живетс я нашему брату на Русской земле!..»

Это была прокламация, которую распространяли «фричи» по приезде в Россию. В ней описывалось тяжелое положение народа и предлагалась программа действий:

«Пока нами управлять будут цари, бояре да чиновники, не будет у нас ни земли, ни воли, ни хлебушка... Мы потребуем, чтобы у всех у них, что теперь над нами распоряжаются, была отнята власть всякая. Мы из себя самих людей умных и честных повыберем и от кажинной волости пошлем на великий сход своего выборного, и пускай управляют они на том сходе крестьянском и выборном, нашими делами распоряжаются, и будет тогда у нас воля, земля да хлебушко. Свой-то брат, мужик, не станет разорять крестьянина, не будет давать потачки помещикам. А кто пойдет против нас, того мы посменим сейчас и пошлем нового. И поделят те мужики выборные всю землю-матушку так, чтобы каждому досталось поровну, а не так, как теперь: помещику — тысячу, а крестьянину — четыре десятины на душу.

И сравнивают они всех нас дочиста, так, чтоб не было ни крестьян, ни помещиков, а все будут тогда люди русские — люди свободные, и у всех нас будут одни права, одни обязанности... Вот тогда-то, други родимые, заживем мы дружно, мирно и весело и не будет у нас ни воров, ни убийц, ни грабителей; у всех будет свое — воровать, убивать не для чего! Скоро, братцы, придет это времечко. Со всех сторон поднимается сила крестьянская, взволновалась Русь-матушка, зашумела, как море великое. А поднимется да расправится, так не будет с ней тогда ни сладу, ни удержу. Только будемте дружно, как братья родные, стоять за наше дело великое. Вместе-то мы сила могучая, а порознь нас задавят враги наши лютые!»

После ухода Бети настроение совершенно испортилось. Вечером Вера пошла к Пирожковым.

— Очень хорошо, что вы пришли, — шумно приветствовал ее Пирожков. — Это в некотором роде превосходно. Имею в некотором роде ценные сведения. Моя агентура доносит, что дело вашей сестры с товарищами будет слушаться в Особом присутствии правительствующего Сената. Председателем будет сенатор Петерс. Вам это интересно?

— Доктор, — сказала Вера, — вы об этом говорите, как будто сообщаете приятную новость.

— В некотором роде приятную, — согласился доктор. — По моим сведениям, процесс будет открытым. Правительство желает показать публике истинное лицо революционеров и то, какую опасность они собой представляют. Но в открытом процессе доказать недоказуемое почти невозможно, и я, в некотором роде считая себя пророком, предрекаю: ваша сестра будет оправдана.

Сделав это заявление, доктор сел к роялю и громко сыграл «Марсельезу».

Несмотря на оптимистические прогнозы Пирожкова, тревожное настроение, вызванное прощанием с Бетей, не уходило. К нему присоединилось уже хорошо знакомое в последнее время неприятное чувство оторванности от самого главного. Там, в Москве и Петербурге, происходят важные события, а она в ожидании диплома сидит здесь, в стороне от них.

От Пирожковых она пошла на вокзал и в этот же вечер уехала в Москву.

Через два дня, вернувшись из Москвы, Вера перед больницей зашла к себе и не поверила своим глазам. На подоконнике сидела Бетя и уныло смотрела во двор.

— Бетя, неужели ты?

— Я, — меланхолично ответила Бетя.

— Господи, я-то переживала, места себе не могла найти. Что случилось?

— Понимаешь, — сказала Бетя. — Я в первый же день сбилась с дороги и заблудилась. Ночь провела в поле, намерзлась, утром вышла к какой-то речке и пошла вдоль берега. Я не знала куда иду — вверх или вниз по течению. А в самом деле, Верочка, как узнать, куда течет река?

Вера не удержалась и принялась хохотать.

— Да что ты смеешься? — обиделась Бетя.

— Ну как же мне не смеяться, если смешно. Неужели ты сама не могла догадаться? Надо взять щепку и бросить в воду, куда щепка поплывет, в ту сторону и река течет.

— А где бы я взяла щепку? — спросила Бетя.

— Не обязательно щепку. Возьми какую-нибудь палку, соломинку...

— Так просто? — удивилась Бетя. — А я не сообразила.

Еще пару дней она прожила в Ярославле. О том, что надо идти в народ, больше не говорила. Видимо, ночь, проведенная в поле, убедила ее, что такая работа ей не под силу.

После отъезда Бети Вера долго о ней ничего не слышала.

Примерно через год после суда над ее подругами («процесс 50-ти») Бетя Каминская, желая разделить участь товарищей, отравилась спичками.

Летом 1876 года в Ярославской врачебной управе Вера сдала экзамен на звание фельдшера. Экзаменаторы были удивлены обстоятельностью ее знаний и в один голос заявили, что она отвечала, «как студент». Получив нужные свидетельства, она поехала в Казань, чтобы оформить развод. Осенью после долгих хлопот раз-

вод состоялся: Вера Николаевна Филиппова стала снова Верой Николаевной Фигнер.

Той же осенью в Петербурге она сдала еще один экзамен на звание акушерки.

«К ноябрю 1876 года, — напишет она потом, — все мои житейские расчеты были кончены. Над прошлым был бесповоротно поставлен крест. И с 24 лет моя жизнь связана исключительно с судьбами русской революционной партии».

Глава четвертая

В понедельник 6 декабря 1876 года благонамеренный господин Абрамов, в длиннополом пальто и мерлушковой шапке, подходя к Казанскому собору, заметил на паперти толпу молодежи, по виду студентов, которые стояли там и сям отдельными группами и тихо переговаривались между собой, как бы ожидая чего-то. Обратившись к городовому Есипенко, господин Абрамов почтительно осведомился, по какому случаю такая толпа, уж не ожидается ли прибытие на молебен царской фамилии.

— Дура! — отозвался на это городской Есипенко и, не поленившись поднять руку, покрутил у виска пальцем. — Да кабы ты соображал своей мозгой хотя немного, ты б должен понимать, что к прибытию царской фамилии ступени красным ковром устилают.

Смущенный словами городского (ведь действительно мог сам сообразить), господин Абрамов снял шапку, поднялся по ступеням, отряхнул рукавицей с валенок снег и, осеня себя крестным знаменем, двинулся в раскрытые двери собора. А в храме бог знает что творится. Народу скопилось, словно на пасху, но народ не обычный, а те же студенты. И видно, что не богу молиться пришли, а с каким-то другим неведомым побуждением. Вроде молебен как молебен, но все что-то не так.

Служба к концу подходила, когда блондин, замеченный господином Абрамовым с самого начала, сказал какому-то мальчонке в нагольном тулупчике: «Пора!» И тут же среди студентов зашелестело: «Пора! Пора!» — и все толпой кинулись к выходу. А господина Абрамова в проходе так к стенке прижали, что он не сразу сумел выбраться. А когда вышел на улицу, тут уж безобразие по всей форме происходило. Блондин по-

среди толпы размахивал шапкой и дерзостные слова произносил: «Наше знамя — их знамя! На нем написано: „Земля и воля крестьянину и работнику!“». А две девицы в серых шапочках рядом стояли, в ладошки шлепали и кричали «браво!».

«Господи боже мой! — мысленно ахнул Абрамов. — Да что же это такое творится? Да их всех тут же хватать надо и в кутузку». Так нет. Городовой, вместо того чтобы меры срочные принимать, стоит в сторонке и хоть бы что, только сигарку свою вонючую тянет. «Да что ж ты не свистишь в свой свисток, который на цепке висит? На кой же он тебе даден?» А тут прямо как молния полыхнула — кто-то из толпы тряпку красную кверху подкинул, а на тряпке слова написаны, из которых Абрамов разобрал слово «земля», а потом, когда другой раз вверх тряпка взлетела, и второе слово разобрал — «воля». «Земля и воля», стало быть, вот чего. Затем, когда тряпку мальчонка в нагольном тулупчике подхватил, стали и его вместе с тряпкой подкидывать, а он ее на лету разворачивал и всему народу показывал. И неизвестно чем бы дело кончилось, когда б проходящий мимо чин полиции (не чета Есипенке) сразу в толпу не врезался, тряпку чтобы отобрать. Тут уж и господин Абрамов не выдержал, закричал:

— Хватай перво-наперво белобрысого!

Но тут и вовсе не поймешь чего приключилось. Чина свалили с ног. Городовой бросил свою сигарку, кинулся чина выручать, сам на земле очутился. Тут господин Абрамов задумался, как быть дальше. Кричать «караул» — так, глядишь, самого пришибут (господин Абрамов был не прочь пострадать за отечество, но не сильно). Но, слава богу, без него обошлось. Набежали городовые, свистят, бегут купцы, шорники, извозчики, на ходу рукава засучивают, а студенты, двигаясь со своей стороны к памятнику Кутузову, кричат: «Братцы, идите плотнее! Кто подойдет, тот уйдет без головы!» Тут-то вся катавасия и началась. Как сбились все в кучу, так началось такое побоище, что любо-дорого посмотреть. Кому голову пробили, кому в ребро двинули, а уж что касается оторванных воротников или пуговиц, то об этом и говорить нечего.

В самый разгар схватки с полицией парнишка в нагольном полушубке, сунув в штаны оставшийся при нем красный флаг, стал выбираться наружу. Тут столк-

нулся он с двумя барышнями в серых шапочках, которые смотрели на него улыбаясь. Парнишка остановился и посмотрел на барышень подозрительно.

— Ты чей? — вдруг спросила одна из них, вроде бы младшая.

— Я-то?

— Ты-то, — кивнула головой младшая.

Что-то в барышнях привлекало парнишку, но что-то и настораживало.

— А вы откуда такие? — спросил он, подумав.

— А мы свои, — сказала старшая. — Меня Верой зовут, а ее Женей.

— Сестры? — спросил парнишка.

— Сестры, — охотно кивнула младшая.

— Ишь ты! Похожи!

Сделанное открытие почему-то убедило парнишку, что барышням можно довериться.

— Потапов Яков, — представился он солидно и сунул руку сперва одной барышне, а потом другой, по старшинству.

— К нам обедать пойдешь?

— А далеко?

— Да нет, тут рядом.

— А, пошли, — тряхнул головой парнишка.

Вышли на Невский. По дороге Вера расспрашивала:

— Ты сам-то откуда будешь?

— Тверской губернии Старицкого уезда деревня Казнаково, — охотно отвечал Яков. — Не слышали?

— Нет, не слышала. Большая деревня?

— У-у! — прогудел Потапов. — Большая. Ну, правда, с Питером не сравнить.

— А тебе сколь годов-то будет? — пыталась Евгения подделаться под народный язык.

— Семнадцать.

— А ты смелый, — одобрительно сказала Вера. — Знамя не побоялся поднять?

— А чего мне бояться? Меня в Киеве рестовали — убег. — В деревню отправили — убег и оттеда. Еще рестуют, еще убогу.

Благонамеренный господин Абрамов, в длиннополом пальто и мерлушковой шапке, шел за ними, несколько приотстав. Честолюбивая мечта принести посильную пользу отечеству и заслужить похвальное слово участкового пристава еще на Казанской площади подсказала

ему, что надо делать. Однако, опасаясь получить по уху, он сдерживал до поры свой гражданский порыв и в драку не влез. Теперь было дело иное. Ежели сзади налететь и скрутить руки за спину, рассуждал он сам с собою, то, может, и ничего страшного. Эти две девицы вполне сублильны, но, с другой стороны, как бы не стали царапаться. А что как в сумочках у них револьверы? В буйном воображении господина Абрамова картина триумфа (господин пристав путем личного рукопожатия приносит ему благодарность за усердие) сменилась картиной печального поражения (молодой труп, остывающий на размякшем снегу). К счастью господина Абрамова, на углу Невского и Михайловской попался ему городской, который сразу понял все с полуслова и согласился разделить лавры. Они налетели сзади и сразу повалили Якова на тротуар. Покудова городской держал его за руки, тот сапогом ухитрился все же попасть в подбородок господина Абрамова. Едва оправившись от боли, господин Абрамов набросился на свою жертву. Городовой, уступив Потапова Абрамову, кинулся задерживать барышень, но те уже садились на лихача. Городовой поднес к губам свисток, но шарик, создающий полицейскую трель, от сильного мороза примерз там внутри, и вместо трели получилось пустое движение воздуха. А лихач заворачивал уже преспокойно на Большую Садовую.

Вера и Евгения оставили извозчика на Бассейной, прошли еще два квартала пешком и юркнули в подъезд серого дома. На третьем этаже Вера постучала условным образом. Дверь открыл Марк Андреевич Натансон.

— А, сестрички — серые шапочки! Слава богу, целы. А я уж, грешным делом, забеспокоился, что вас схватили.

В большой гостиной сидели люди, большинство из которых были Вере уже знакомы. Киевский бунтарь Валериан Осинский, деятельный, но малоразговорчивый Александр Баранников, предприимчивый Аарон Зунделевич, Александр Иванович Иванчин-Писарев, Иосиф Иванович Каблиц. Ольга, жена Натансона, разносила чай. Пили, держа в руках чашки с блюдцами. Жорж Плеханов, герой дня, произнесший сегодня речь там, у Казанского собора, сейчас тихий и неприметный сидел в красном углу под иконами. Все были радостно воз-

буждены. Все, кроме Иванчина-Писарева, который брюзжал:

— Как хотите, господа, а на мой взгляд, это не демонстрация, а просто глупость. Глупость, с одной стороны, и провокация — с другой. Нет, вы сами подумайте, — обращался он преимущественно к Жоржу, — что произошло?

— Первое массовое выступление передовых рабочих и землевольцев, — сказал Плеханов.

— Массовое выступление? — язвительно переспросил Писарев. — А я вам повторяю: глупость, а не массовое выступление. Пришли студенты, сами не зная зачем, устроили свалку, сбежались дворники и мясники, побили студентов и многих утащили в полицию. Твоя речь, Жорж, не спорю, была смелая и благородная, но сидеть в каталажке за это будешь не ты.

— Я рисковал не меньше других, — вспыхнул Плеханов. — А что касается значения демонстрации, то уверяю вас, мы его недооцениваем. Вот ты говоришь, пришли студенты, устроили свалку. Теперь попробуй взглянуть другими глазами: первый раз после декабристов в столице России вышли люди, которые открыто провозгласили свои идеалы и цели. Свалка? Ничего себе «свалка»! А отчего же так перепугалась полиция? Нет, брат, в истории России эта самая, как ты говоришь, «свалка» станет очень заметным событием. Новая организация «Земля и воля» начала действовать!

Незнакомый молодой человек с рыжеватой бородкой сидел на диванчике рядом с Верой и переводил с одного спорщика на другого глаза, в которых светилось любопытство.

— Вы т-тоже т-там были, на п-площади? — слегка заикаясь, наклонился он к Вере.

— Была, — гордо сказала Вера.

— И не побоялись?

— Я вообще никогда ничего не боюсь! — вспыхнула Вера.

— Да? — удивился молодой человек. — А я иногда к-кой-чего п-побаиваюсь.

Вечером, когда все стали расходиться, молодой человек вышел на улицу вместе с Верой и Евгенией. Пушил над городом легкий снежок, шла по тротуарам праздничная публика, по проезжей части, шурша полозьями, катили роскошные экипажи, и Вера, подумав, что могла

бы уже сегодня сидеть где-нибудь в полицейском участке, невольно поежилась.

— Вы д-давно в Петербурге? — спросил молодой человек.

— Я второй месяц, а она, — Вера кивнула на Евгению, — только что из Швейцарии. А вы?

— Я здесь учился, правда недолго. В прошлом году был выслан за беспорядки на родину.

— А где ваша родина?

— Там, где плакала Ярославна. Помните?

— В Путивле?

— Да.

— А Ярославна там действительно плакала?

— Возможно. Я этим, знаете ли, как-то мало интересовался. Вы, вероятно, хорошо учились?

— Неплохо.

— А я с-средне. Я больше не науками, а всякой н-нелегалщиной ув-влекался.

— А теперь чем занимаетесь?

— П-присматриваюсь.

— К чему?

— К ж-жизни.

— Ну и как?

— Мы ведем с-слишком много пустых разговоров. Одни говорят, надо учить народ, другие говорят, надо учиться у народа, третьи выдумывают что-то насчет мешков с динамитом, а все это ч-чистая маниловщина. Надо собраться всем вместе, решить твердо, что надо делать, и действовать всем заодно. Тогда, может, что-нибудь и п-получится.

— В первую очередь, — вмешалась Евгения, — для революции нужно много смелых, отважных людей. Тогда все получится.

— С-смелых людей, — сказал молодой человек, — в России хватает. Ум-мных мало.

— Станный вы какой-то, — сказала Вера. — Как вас зовут?

— Друзья н-называют меня Д-дворником, — усмехнулся он.

Вера переглянулась с сестрой, а когда захотела опять сказать что-то спутнику, вдруг обнаружила, что его нет.

— Куда же он делся? — удивилась Вера.

— Не знаю, — в испуге прошептала Евгения. — Только что был.

— Какой-то странный тип.

— Черт, наверно, — почти убежденно сказала Евгения.

Глава пятая

Год 1877-й. Волна политических процессов. «Дело о преступной демонстрации, бывшей на Казанской площади...». «Дело о разных лицах, обвиняемых в государственном преступлении по составлению противозаконного сообщества и распространению преступных сочинений» или «процесс 50-ти», «процесс 193-х». За мирную пропаганду идей, за чтение запрещенных книг, за присутствие во время демонстрации на Казанской площади, за недонесение молодые, только что вступающие в жизнь люди отправляются на каторгу (откуда многие уже никогда не вернутся), в ссылку, заточаются в монастыри. К следствию привлекаются тысячи людей всех сословий и возрастов. От двенадцатилетнего мальчика до восьмидесятичетырехлетней неграмотной крестьянки. Многие годами ожидают суда в невыносимых тюремных условиях. Многие не выдерживают, сходят с ума, кончают жизнь самоубийством. Восемнадцатилетний юноша после двух лет одиночного заключения вскрывает себе вены осколком разбитой кружки. У него находят письмо отцу: «Добрый папа! Прости навеки! Я верил в Святое Евангелие, благодарю за это бога и тех, кто наставил меня. Здоровье очень плохо. Водянка и цинга. Я страдаю и многим в тягость — теперь и в будущем. Спешу избавиться от лишнего бремени других, спешу покончить с жизнью. Бог да простит мне не по делам моим, а по милосердию своему. Прости и ты, папа, за то неповиновение, которое я иногда оказывал тебе. Целую крепко тебя, братьев... Простите все. Нет в мире виновного, но много несчастных. Со святыми меня упокой, господи...»

Известный юрист Кони пишет в письме наследнику престола, будущему Александру III:

«Будущий историк в грустном раздумьи остановится перед этими данными. Он увидит в них, быть может, одну из причин незаметного по внешности, но почти ежедневно чувствуемого внутреннего разлада между

правительством и обществом. Беспристрастно глядя в даль прошедшего, он пожалеет, быть может, о том, что существовало время, когда недалновидные и нерадивые, а подчас и нечестные рабочие грубыми руками обламывали целые цветущие ветви родного, дорогого всем дерева...»

Для Веры Фигнер год 1877-й не история, а суровая действительность. На «процессе 50-ти» судят ее сестру Лидию, судят ее подруг по Цюриху — Софью Бардину, Варвару Александрову, Александру Хоржевскую, Ольгу и Веру Любатович, Евгению, Надежду и Марию Субботиных. А вместе с ними на скамье подсудимых — рабочий Петр Алексеев.

14 марта 1877 года. Закончено трехнедельное разбирательство на «процессе 50-ти». Обвиняемым вынесен приговор. Бардина и Ольга Любатович получили по девять лет каторги, Вера Любатович — шесть, Лидия Фигнер, Варвара Александрова и Александра Хоржевская — по пять (впоследствии приговор будет смягчен и каторгу для женщин заменят ссылкой). Сенаторы покинули свои места за судейскими креслами. Конвой увел осужденных. Публика хлынула в открытые двери. Последними выходят родственники осужденных. Среди них Екатерина Христофоровна, Вера и Евгения Фигнер. Екатерина Христофоровна прикладывает к глазам батистовый платочек.

— Мамочка, вы не должны плакать, — говорит Вера. — Лидинька вела себя как герой.

— Да, я все понимаю, — кивает Екатерина Христофоровна.

Она все понимает. Но и ее можно понять. Одна дочь уходит на каторгу, а две другие готовятся пойти по ее стопам. «Откровенно говоря, на скамье подсудимых должна была бы сидеть ваша дочь Вера, а не Лидия», — доверительно сказал ей на днях прокурор Жуков.

Они выходят на улицу. Их встречает небольшая группка посиневших от холода молодых людей. Подносят цветы, ведут к извозчику. Какие юные, какие благородные лица!

— Мамочка, вы езжайте, — Вера торопливо целует мать, — а я приду вечером.

— Ты разве сейчас не едешь с нами?

— Нет, мамочка, мне еще надо забежать в один дом по делу, — Вера прячет глаза.

В какой дом, по какому делу? Слова прокурора Жукова — не пустые слова. Конечно, у полиции нет никаких улик против Веры. Но стоит проследить за тем, куда она ходит... Среди публики распространяются отпечатанные в тайной типографии листки с подробным описанием судебных заседаний, речи Бардиной и Алексева. Екатерина Христофоровна не задает старшей дочери лишних вопросов, но она знает точно: это и ее рук дело. Не зря, сидя на суде, Вера подробно записывает все, что там происходит.

— Поберегись! — кричит извозчик.

Сани круто разворачиваются и скрываются за углом. Вера идет в обратную сторону. Сейчас ей надо в подпольную типографию Аверкиева. Там ее ждут с известиями о приговоре. Но прежде чем попасть в типографию, необходимо оторваться от «хвоста». «Хвост» этот, плохо одетый замерзший детина с сизым носом на постном лице, уныло плетется за своим «объектом», даже не пытаясь особенно скрыть факт своего присутствия. Да и то сказать, дело трудное. Отстанешь — потеряешь из виду. И тогда получишь нагоняй в Третьем отделении от господина Кириллова. И несчастный тащится за Верой шагах в шести-семи. Вера переходит на другую сторону улицы — филер за ней, Вера снова пересекает улицу — пересекает улицу и он. Зашла в булочную, он остановился возле театральной афиши. Милый ты мой, зачем же тебе эта афиша, ты небось и в театре-то отродясь не бывал. Вера выходит из булочной, идет дальше — филер за ней. Она останавливается, смотрит в маленькое зеркальце: стоит филер, стоит, делает вид, что закуривает, ломает спички. Вера неожиданно срывается с места и идет быстро, почти бежит. Филер, уже совсем не таясь, тоже торопливо перебирает ногами...

— Зд-дравствуйте!

Вера вздрагивает. Рядом с ней идет молодой человек с рыжеватой бородкой. Тот самый, который провожал ее и Евгению от Натансона.

— В-вы меня узнаете?

— Господи, откуда вы свалились?

— А я видел вас на суде, а потом смотрю, за вами филер увязался, д-думаю, надо спасать. Я п-по этому делу специалист. Давайте пока свернем в переулок. Мы идем рядом и непринужденно беседуем. Теперь входим в этот подъезд...

— Зачем?

— Потом объясню.

Как только вошли в подъезд, молодой человек сразу преобразился.

— Теперь быстро за мной! — скомандовал он.

Он быстро пошел вперед. Вера за ним. Вышли в какой-то двор с развешанным между деревьями бельем, с этого двора попали в другой, прошли мимо мусорного ящика и очутились в безлюдном переулке.

— Н-ну вот и все, — удовлетворенно сказал молодой человек. — Мне ужасно хотелось помочь вам отделаться от этого типа.

— Вы знаете все проходные дворы? — с любопытством спросила Вера.

— В центре все, а на окраинах многих пока не знаю. П-проходные дворы — это мой конек. Я с-считаю, что революционер обязан их знать, чтобы уметь вовремя скрыться. Поэтому, между прочим, меня и зовут Дворником.

— А моя сестра назвала вас чертом, — сказала Вера. — Помните, когда вы от нас так ловко скрылись.

— К сожалению, ваша сестра ошиблась, — улыбнулся Дворник. — Мне до черта пока еще далеко.

Помолчали. «Какой странный и симпатичный человек этот Дворник», — думала Вера, поглядывая на своего спутника.

— Значит, вы были на суде? — спросила она. — Как вам удалось туда попасть? У вас был билет?

— Б-был, конечно, — улыбнулся Дворник. — Правда, ф-фальшивый.

— И какое у вас впечатление?

— Огромное. Все подсудимые мне ужасно понравились, а в вашу сестру я п-просто, извините, влюбился. Но все-таки так нельзя.

— Как?

— Видите ли, главный недостаток в работе вашей сестры и других сост-тоит в т-том, что они слишком быстро п-попались. Мы действуем слишком открыто, пренебрегая требованиями к-конспирации. По принципу «бог не выдаст, свинья не съест». Среди наших товарищей надо вести самую упорную борьбу против широкой русской натуры. Т-только тогда мы с-сможем создать настоящую сплоченную и дисциплинированную организацию. Н-нет, вы не сп-порьте, — сказал он, зажигаясь,

хотя Вера и не спорила. — П-перед нами очень грозный и организованный противник, у которого армия, полиция и тысячи шпионов. Мы этого противника должны превзойти если не количеством, так качеством. Каждый революционер должен быть не только смелым, но осторожным и расчетливым. Все должны действовать по общему плану. Кстати, вы чем собираетесь заняться в ближайшее время? — спросил он без всякого перехода.

— Думаю вести пропаганду в народе, — просто сказала Вера. — Но очень трудно устроиться. Пока рассылаю в разные губернии письма с предложением услуг. Я ведь фельдшерица.

— Александра Первого знаете? — спросил Дворник.

— Царя? — удивилась Вера.

— Нет, — улыбнулся Дворник. — Наш один. Саша Квятковский. Найдите его через Натансона, и он вам поможет устроиться.

— А через вас я его найти не могу?

— К с-сожалению, нет. Я уезжаю из Петербурга.

— Далеко?

— Б-богу молиться.

— Вы всегда говорите загадками, — сказала Вера.

— Чтобы не об-бремять чужую память лишними сведениями, — опять необходимо улыбнулся Дворник. — Ну, мне сюда. — Он остановился перед каким-то парадным. — П-прощайте.

— Прощайте, — сказала Вера.

Но Дворник не уходил. Он стоял и смотрел на Веру своими серыми смущающими глазами.

— Вы знаете, — сказал он вдруг волнуясь. — Мне к-кажется, что мы с в-вами еще ч-часто будем встречаться и п-подружмся.

К своему удивлению, Вера заметила, что Дворник вдруг густо покраснел.

— Прощайте, — сказал он еще раз, видимо пытаясь скрыть смущение.

И тут же исчез за облупленной дверью.

Глава шестая

В апреле началась война с Турцией. Вера переменяла решение: не в деревню она поедет, а на фронт. Фельдшером или сестрой милосердия. Солдаты тоже на-

род, а фронт не худшее место для пропаганды. Поехала в Москву. Остановилась у Юрия Николаевича Богдановича, который вместе с Иванчиным-Писаревым снимал нелегальную квартиру, где вынашивались планы освобождения Бардиной и Ольги Любатович, содержащихся перед отправкой на этап в разных полицейских частях Москвы.

Генерал, ведавший отправкой на фронт врачей и сестер милосердия, принял Веру не очень приветливо, Мельком взглянул на ее документы и подвинул их к краю стола:

— Нет, не нужно. Мы завалены предложениями.

Пришлось возвращаться ни с чем. У Богдановича встретила Прасковью Георгиевскую, брат и сестра которой проходили по процессу «пятидесяти» и теперь тоже сидели в полицейской части. Георгиевская собиралась их навестить.

— Между прочим, — сказала она, — там же находится и один ваш знакомый, поэт Саблин.

— Николай? — удивилась Вера. — Что за невезучий человек! Опять попался. Вы сейчас же туда идете?

— Да, сейчас же туда иду, — улыбнулась Георгиевская.

— Я с вами. Если вы, конечно, не против.

— Что вы! Буду только рада.

По дороге купили фрукты. Пришли. Полуграмотный сторож долго водил по списку корявым пальцем. Несколько раз переспросил фамилию. Бормотал: «Саблин, Саблин... Что-то такого не помню». Наконец нашел.

— Хорошо, передам. Оставьте свой пакет.

— А вы не перепутаете?

— Отродясь еще не путал, — обиделся сторож.

Оставили фрукты, записку. Но вместо того, чтоб сразу отправляться домой, остановились посреди двора, стали перекрикиваться с заключенными. Вышедший на шум жандарм арестовал обеих. В жандармском управлении допрашивал прокурор с постным лицом и с рыбьим бесцветным взглядом.

— Ваше имя и местожительство?

— Не скажу.

— Почему?

— Не скажу, и все.

— Дело ваше. Запишем бродягой, не помнящим родства. — Прокурор вызвал дежурного. — Отправить ба-

рышню в тюремный замок и держать, покуда не вспомнит, кто она и откуда.

И вот Вера в Пугачевской башне Бутырской тюрьмы. Тесная камера с железной койкой, маленьким столиком и расшатанным стулом. В углу параша. В камере сыро, холодно, а на Вере ничего, кроме черного платья и шляпки с розами. Ни пальто, ни накидки, ни смены белья. А что происходит вокруг? В дверях камеры незапертая форточка. Вера откидывает ее, в форточке противоположной камеры видит знакомое лицо. Телеграфист. Тот самый, с которым она встречалась в трактире, через которого передавала записки товарищам. «Ну все, — мелькнула ясная мысль. — Теперь этот тип меня тут же выдаст жандармам. Правда, имени он не знает, но того, что он знает о передававшихся ежедневно записках, достаточно».

— Здравствуйте, — говорит телеграфист, и его плоское испитое лицо расплывается в улыбке.

— Здравствуйте, — говорит Вера. — Как вы сюда попали.

— Музыкант продал, — грустно сообщает телеграфист. — Теперь вот не знаю, как быть: то ли от всего отказываться, то ли, наоборот, признаться. Прокурор говорит: если не признаешься, загоним туда, куда Макар телят не гонял, признаешься во всем — выпустим.

— Прокурору не верьте, обманет. Молчите, как рыба. Если признаетесь, вас припутают к политическому делу, и тогда Сибири не миновать. Сидите смиренно. Знать ничего не знаю, ведать не ведаю. В крайнем случае сошлют в Архангельскую губернию, а телеграфистом можно работать и там.

— Оно-то, конечно, так, — колеблется телеграфист, — но с другой стороны, если сразу все рассказать...

— Смотрите, — говорит Вера. — Дело ваше. Но если попадете в Сибирь, пеняйте на себя.

— Ладно, буду молчать. Только мне хотелось бы для своей специальности подучить французский язык. Тогда нам жалованье платят больше. Вы не поможете?

— Охотно. Если хотите, давайте прямо сейчас и приступим.

Спустя несколько дней ее вызвали в жандармское управление. За столом — знакомый прокурор.

— Вы по-прежнему отказываетесь назвать свое имя.

— Отказываюсь.

— И совершенно напрасно. Нам все известно.

— Неужели?

— Сейчас вы в этом убедитесь. Ваша мать приехала из Петербурга и теперь сидит в соседней комнате. Так как ваше имя?

Вера лихорадочно думает, оценивая обстановку. Может быть, прокурор расставляет ловушку. Но мать, Петербург...

— Пишите: Филиппова.

— Кто ваш муж?

— Секретарь Казанского окружного суда.

Прокурор заглянул в какую-то книжечку, сопоставил Верин ответ со своими сведениями.

— Где вы оставили свои вещи?

— Я приехала без вещей.

— Ну, барышня, такие сказки только в подготовительном классе проходят. Никто не ездит из Петербурга в Москву без чемодана или на худой конец саквояжа.

— Я ехала курьерским поездом и думала им же вернуться обратно.

Прокурор смотрит на нее недоверчиво:

— В таком наряде наносят визит или выходят пройтись по Невскому, но никак не садятся в поезд. Пока вы не скажете, где оставили вещи, мы вас не выпустим.

Новая задача. Вещи у Богдановича на конспиративной квартире. Но у Георгиевской обыск, конечно, уже сделан, едва ли жандармы захотят повторять его.

— Ну хорошо, вещи я оставила у Георгиевской.

— Почему же вы сразу этого не сказали?

— Я боялась себя скомпрометировать, — сказала Вера первое, что пришло в голову.

— Ну ладно, — устало согласился прокурор. — Предположим, что я вам поверил. Извольте дать подписку о невыезде из Петербурга. — Он придвинул к ней лист бумаги. — А теперь идите. Там вас ждет ваша матушка. Советую, если вам своей жизни не жалко, поберегите хотя бы ее.

Весь остаток дня до самого отъезда Екатерина Христоворвна провела в волнении. Слава богу, на этот раз

обошлось. Удалось ей уговорить прокурора. «Господин прокурор, Христом-богом молю. Ведь у вас тоже есть мать». — «Да, у меня есть мать. Но она меня воспитывала в духе уважения к закону и любви к отечеству». И только когда стала перед ним на колени, он испугался. — «Что вы, что вы, не нужно-с».

Все же и у прокурора есть сердце. Потом Екатерина Христофоровна хотела сразу ехать на вокзал, но Вера сказала, что ей надо забрать вещи, которые она оставила у друзей.

— Хорошо, — сказала Екатерина Христофоровна, — я еду с тобой.

Она видела, что дочери ее предложение не по душе, и все же поехала. До Разгуляя доехали на извозчике, потом петляли какими-то переулками, наконец, остановились у подворотни трехэтажного дома.

— Мамочка, дальше вам нельзя, — сказала Вера решительно.

— Почему же мне нельзя? Ведь я твоя мать.

— И матери нельзя, — сказала она довольно резко.

— Доченька, — сказала Екатерина Христофоровна со слезами на глазах. — Даже прокурор со мной разговаривал мягче.

— Мамочка, если б можно было. Но ведь правда нельзя. Эта квартира такая, куда я не имею права вас приглашать.

— Да что ж это за такая квартира?

— Нелегальная квартира! — вспыхнула дочь.

При слове «нелегальная» мать вдруг присмирела и сдалась.

— Ладно, иди, я подожду.

— И посмотрите, чтоб за мной «хвост» не увязался.

— Хвост? — удивилась Екатерина Христофоровна. — Ах, да, это, кажется, на вашем языке шпионов так называют. Ладно. — И вдруг испугалась. — Вера!

— Что?

— Ты ведь от меня не сбежишь, а, доченька?

— Нет, мамочка, — улыбнулась Вера, — не сбегу.

— Ты мне правду говоришь, ты меня не обманываешь?

— Мамочка! — снова повысила голос Вера. — Вы же меня хорошо знаете. Если я сказала «нет», значит, нет.

Это была правда. Она всегда делала так, как гово-

рила. И Екатерина Христофоровна отпустила ее. А сама стояла в подворотне и в каждого прохожего внимательно вглядывалась: не шпион ли? А потом, когда Вера вышла с саквояжем, Екатерина Христофоровна сказала ей с упреком и облегчением:

— Вот ты уже и из меня нигилистку сделала.

До самого отправления поезда она сидела как на иголках. А вдруг Веру выпустили только, чтоб проследить, куда пойдет и поедет? Вдруг арестуют на вокзале? Но вот, слава богу, поезд тронулся. Екатерина Христофоровна облегченно вздохнула.

Глава седьмая

— Верочка, скажу вам начистоту, я положительно не знаю, что делать с нашим Морозиком. — Иванчин-Писарев крупными шагами расхаживал по комнате. — Вы имеете на него влияние, и вы должны с ним поговорить.

— О чем? — спросила Вера.

— Как будто вы не знаете о чем. В последнее время он совершенно отбился от рук и вытворяет бог знает что. Я понимаю: надоело. Болтались в Тамбове, не устроились, приехали сюда, в Саратов, то же самое. Мест нет. Сидим, бьем баклуши, я изображаю из себя капитана какого-то мифического парохода «Надежда», вы моя жена, а остальные и вовсе непонятно кто — то ли матросы, то ли бедные родственники. Да, скучно. Сидеть в этой дыре, в то время как в Петербурге происходят важные события — оправдание Веры Засулич и прочее. Но ведь никто никого насильно сюда не тянул. Я понимаю, что он поехал сюда вовсе не потому, что ему улыбалась работа в народе, а совсем по другой причине. Не краснейте, пожалуйста, Верочка, в том, что он в вас влюблен, нет ничего зазорного. Во всяком случае, вы в этом совершенно не виноваты. Богданович и Соловьев тоже в вас влюблены, хотя и умеют скрывать свои чувства. Николай горяч, экспансивен, но всему ведь есть предел. Мы же договорились! Нас в городе нет, никто не должен нас видеть, а потому без особой нужды на людях не появляться. А что делает наш дорогой Морозик? Целыми днями торчит в библиотеке, yakшается со здешними начинающими поэтами, слушает их стихи, читает свои, которые напечатал в сборнике «Из-

за решетки». А вчера таскался с какими-то гимназистами за Волгу и там палил из какого-то дурацкого револьвера, который стреляет одновременно всеми шестью зарядами. Да это гусар, честное слово, а не революционер-подпольщик! Верочка, вы одна можете укротить этого зверя. Я вас очень прошу, повлияйте на него как-нибудь мягко, по-женски, как вы умеете.

Она не стала ему возражать. Она понимала, что в какой-то степени ответственность за поведение Морозова лежит и на ней. Она сама звала его сюда, сама рисовала идиллические картины. Писарев, Богданович и Соловьев будут работать волостными писарями, она фельдшерницей, а он народным учителем. Однако время идет, а они до сих пор не могут устроиться.

Что касается «идиллических картинок», то она, правду сказать, на них насмотрелась. Досыта. Как-никак три месяца пробыла в селе Студенцы Самарской губернии. И насмотрелась и наплакалась. По тридцать — сорок человек в день принимала. И каких только больных там не было! Калеки и убогие, старые и молодые, женщины и дети. Вокруг грязь, нищета, голод. Боже мой, да она для пропаганды и рта не раскрывала. Какая тут пропаганда! А пока была там, узнала из газет: в Петербурге Вера Засулич стреляла в градоначальника Трепова. В того самого, который велел высесть в Доме предварительного заключения Боголюбова, осужденного за участие в казанской демонстрации. Боголюбов, видите ли, не снял перед градоначальником шапку. Тогда в Петербурге много говорили о том, что Трепову надо отомстить. Говорили, говорили и забыли. А Засулич не забыла. И вот теперь, пока они здесь, в Саратове, ожидают работы, присяжные в столице оправдывают Засулич. На улицах Петербурга происходят демонстрации студентов. А они сидят здесь и ждут у моря погоды.

Она сказала Писареву «хорошо» и вернулась в соседнюю комнату, где Богданович с Соловьевым готовили ужин. Соловьев щипал лучину для самовара, Богданович чистил картошку над закопченным чугуном.

— Не бросай очистки на пол, — сказала она и, взяв нож, села рядом.

— Ну что? — спросил Богданович. — Предводитель (так называли они между собой Иванчина-Писарева) опять сетовал на нашего вольного стрелка?

— Да.

Помолчали. Соловьев загнал в ладонь занозу и теперь пытался вытащить ее зубами.

— А может быть, он и прав, — задумчиво сказал Богданович.

— Кто? — спросил Соловьев.

— Воробей, конечно — (Воробей была кличка Морозова). — Торчим здесь столько времени и делаем вид, что нас нет, хотя весь город, кроме, пожалуй, полиции, знает, что мы здесь. Сбесишься со скуки. Как считаешь, Саша?

— Может быть, — флегматично пожал плечами Соловьев.

— Может быть, может быть, — передразнил Богданович. — У тебя когда-нибудь бывает свое мнение?

— Иногда бывает.

— Разговорился, — усмехнулся Богданович. — Целых два слова подряд. Ты бы рассказал Вере, за что тебя в последний раз в кутузку тащили.

— Да ну! — смутился Соловьев.

— Нет, право, расскажи, это очень смешно, — просил Богданович.

— И ничего смешного, — сказал Соловьев.

— Очень даже смешно. Понимаешь, Верочка, возвращается однажды наш Саша с какой-то сходки к себе на нелегальную квартиру. И, как это бывает только с ним, забыл собственный адрес. Помнит только, что где-то на Васильевском острове. А уже ночь, деваться некуда, блукает от одного дома к другому, вдруг навстречу городской. «Кто идет?». «Черт!» — отвечает Саша...

Хлопнула входная дверь. Богданович смолк, не договорив. Пришел Морозов, и все стали вслушиваться, что будет в соседней комнате. Соловьев все еще пытался ухватить зубами занозу.

— Дай-ка руку. — Вера отколола от воротничка булавку и начала ковырять ладонь Соловьева.

В соседней комнате слышались голоса — спокойный Морозова и возбужденный Иванчина-Писарева, но разобрать слова за дверью было невозможно.

— Вот и все. — Вера вытащила занозу и повернулась к Богдановичу. — Ну, и что дальше?

— Что дальше? — Богданович вслушивался в то, что происходит за дверью, и не понял вопроса.

— Городовой спрашивает: «Кто идет?», а Шура отвечает: «Черт», — напомнила Вера.

— Да бог с ним, с чертом, это пусть он тебе сам расскажет. Тут есть кое-что поинтереснее. Пошел я сегодня в лавку за колбасой, смотрю, навстречу двое запряженных парами саней. Два мужика с вожжами в руках идут сбоку. Смазные сапоги, тулупы нараспашку, под тулупами длинные пиджаки, часы с цепочками, красные рубахи без галстуков. Смотрю — знакомые лица. «Здравствуйте, говорю, господа купцы! Откуда и куда путь держите?» — Торгуем, барин, помаленьку, скупаем яйца и крупы, продаем всякий деревенский товар: сапоги, полушалки, деготь, свечи, подковные гвозди». Шапки сняли, кланяются, стрижены в скобку, волосы постным маслом помазаны. «Ах вы, — говорю, — чертовы сыны, а есть ли у вас свидетельство на право торговли?» — «Есть, ваше благородие, аж целых два». — «А уж не липовые ли у вас эти свидетельства?» — «Так точно-с, ваше благородие, липовья, и даже очень-с». — «А не занимаетесь ли вы кроме торговли чем-нибудь незаконным?» — «Занимаемся, господин хороший, еще как занимаемся. Пропаганду ведем среди мужичков-с, начальство местное обличаем-с, выскиваем всяких недовольных».

— Да кто ж это такие были? — не выдержала Вера.

— Небось кто-нибудь из наших, — сказал Соловьев.

— Точно, угадал. Попов и Харизоменов. Оказывается, тут ими кишмя кишит вся губерния. Александр Первый ходит коробейником по деревням, Саша Михайлов живет у раскольников, вместе с ними расшибает лоб, хочет повернуть раскол лицом к революции.

— Кто этот Саша Михайлов? — спросила Вера.

— Ты разве с ним не знакома? — удивился Богданович. — Дворник говорил, что знает тебя.

— Так он и есть Дворник? — почему-то обрадовалась Вера. — Тот, который заикается немного?

Отворилась дверь в соседнюю комнату, и влетел красный как рак Морозов. Следом за ним вошел Иванчин-Писарев.

— Слыхали, что этот деятель придумал? — спросил он, кивая на Морозова.

— Расскажи, услышим, — сказал Богданович.

— Авантюрист, — кипятился Писарев. — Решил вме-

сте со здешними гимназистами ухлопать какого-то пристава.

— Не решил, а советуюсь, — поправил Морозов.

— И советоваться нечего. Своя голова есть. Ну ладно эти гимназисты, они еще желторотые. Но ты... Ты что забыл, для чего ты здесь? Забыл о главной нашей задаче? Считаешь себя революционером, и опытным, в тюрьме сидел! Зачем тебе этот пристав понадобился?

— Этот пристав, между прочим, уже упек несколько человек ни за что ни про что в Сибирь и на этом останавливаться не желает.

— Все равно его трогать нельзя. Да стоит сделать даже пустую попытку, как немедленно сюда слетится Третье отделение в полном составе, перевернут вверх дном всю губернию, арестуют каждого мало-мальски подозрительного человека.

Морозов насупился:

— Когда Засулич стреляла в Трепова, мы приветствовали ее. Почему же мы должны помешать местной молодежи совершить то же самое?

— Потому, что мы предпринимаем дело более прочное и серьезное, — строго сказал Писарев. — И чтобы не провалить это дело, нужно быть очень осторожными. Завтра же скажи своим друзьям, пусть не вздумают ничего такого предпринимать.

— Ладно, — примирительно буркнул Морозов, — скажу.

Помолчали. Соловьев, не принимавший участия в разговоре и даже, казалось, не проявлявший к нему никакого интереса, поджег в самоваре щепки и стал раздувать огонь при помощи старого сапога. Богданович собрал очистки и высыпал в ведро, стоявшее в углу комнаты.

— Пойду пройдуся, — сказал Морозов и пошел к дверям.

— Возьмешь меня с собой? — спросила Вера.

— Пойдем. — Он сказал вроде бы равнодушно, но она видела, как радостно блеснули за стеклами очков его глаза.

На дворе было звездно, морозно, и снег, подтаявший за день, покрылся хрустящей коркой. Откуда-то, кажется из-за Волги, доносился печальный звук гармоники. Николай посмотрел на Веру:

— Хорошо?

— Хорошо, — сказала она и взяла его под руку.

— Куда пойдем? — спросил он. — Туда или сюда?

— Туда, — махнула она свободной рукой в сторону города.

Тропинка, по которой они шли, была узкая, и Николай, уступая ее Вере, то и дело проваливался правой ногой в снег.

— Ты зря споришь с Предводителем, — сказала она мягко. — Он, наверное, прав.

— Прав, прав, — проворчал Николай. — Конечно, прав. Если считать, что затея его правильная. Но ты же знаешь, я вообще не верю во всю эту пропаганду. Ждать чего-то от темных мужиков просто глупо. Мой идеал — борьба по способу Вильгельма Телля. Если бы можно было организовать боевую дружину мстителей, нападать на жандармов, на всех угнетателей и самодуров! Я считаю, что это единственный и самый верный путь к победе. Но что можно сделать одному? Пропагандистов много, а действовать решительно не хочет никто.

— Если ты считаешь пропаганду пустым делом, зачем же ты сюда приехал?

— Зачем? — Он вдруг заволновался. — А ты разве не знаешь зачем? Сказать?

Заволновалась и Вера. Сейчас он скажет, что приехал сюда ради нее. Но тогда она вынуждена будет ответить. Ей было приятно сознавать, что она ему нравится. Но ведь она решила, она твердо решила избегать всего, что может ее связывать. Слава богу, теперь она свободна и ценит это больше всего.

— Ты очень увлекающийся человек, — сказала она, предостерегающе сжимая его локоть.

— Я? — Он хотел возмутиться, но тут же понял, что она права. — Да, я иногда увлекаюсь хорошенькими женщинами. Но бывает, что это быстро проходит, а бывает...

— Морозик, — быстро перебила она его. — А каким ты представляешь себе будущее?

— В каком смысле?

— Ну вот, допустим, произойдет революция. И к власти придет народ. И будет полная свобода для всех. А потом что?

— Потом? Потом будет все иначе. Через пятьдесят лет или, может, через сто жизнь будет совершенно дру-

гая. Допустим, приедешь ты через сто лет в Саратов и ничего не узнаешь.

— Почему?

— Потому, что жизнь будет совсем не похожа на те-перешнюю. Все люди будут здоровые, красивые и стройные. Все будут заниматься физическим трудом поровну и понемногу. Свободное время они будут отда-вать наукам и искусству. Тогда даже сам город преоб-разится совершенно. Все крыши домов будут в один уро-вень, и все они будут плоские, как палубы пароходов. В каждый дом будет вход с середины крыши, как, зна-ешь, в каюты пароходов. И кроме того, будут из каж-дого дома выходы снизу на улицы, как теперь. По ниж-ним улицам будут ездить, а на верхних исключительно ходить. Через перекрестки улиц будут переброшены легкие мостики, чтобы по крышам можно было не сходя вниз, обойти весь город. Посредине крыши — клумбы с цветами и низкими кустарниками, а по краям — легкие красивые перила, как у балконов. И тут же среди цве-тов и кустарников расставлены везде скамейки. А вниз, на земле, посредине каждого квартала цветут сады. Для разнообразия можно будет располагать дома в не-которых городах не четырехугольниками, а шестиуголь-никами, как пчелиные соты. Посредине каждого шести-угольника будет сквер с арками на все шесть сторон. Надо будет и сами дома делать огромные, чтоб каждый дом занимал всю сторону квартала или шестиугольни-ка, и тогда выходные лестницы сверху и снизу для всех этажей можно делать только по углам. Но тебе, навер-ное, это слушать совсем неинтересно.

— Очень интересно, — сказала она искренне. — Ты так красочно все описал, что я себе это представила как наяву.

— Да, — сказал он грустно. — Ты всегда меня пони-маешь.

Опять наступило неловкое молчание, и она подумала, что он сейчас может начать признаваться ей в любви, и ей опять и захотелось и не захотелось этого, и опять стало страшно.

— Вера! — сказал Морозов.

— Да? — сказала она, невольно волнуясь.

— Ты видишь этот дом и там внизу освещенное окно?

— Вижу, — сказала она разочарованно.

— Подойдем ближе.

Одноэтажный угловой дом, к которому подвел ее Николай, оказался полицейским участком. Два городских сидели на лавочке перед входом и о чем-то тихо переговаривались. Два крайних окна были ярко освещены. В первом из них Вера увидела бритоголового полицейского офицера, который, сидя за простым столом, пил чай из железной кружки. Не увидев в этой картине ничего удивительного, Вера подняла глаза на Николая.

— Тот самый, — шепотом сказал Николай, и она поняла: об убийстве именно этого офицера и шла речь, когда Иванчин-Писарев так возмутился.

Один из городских, сидевших на лавочке, вдруг повернулся и внимательно посмотрел на Веру и Николая. Ей показалось, что он все сразу понял, и она нервно потянула Морозова за рукав.

— Пойдем отсюда скорее!

Еще не совсем прошел ледоход, еще кружило по Волге отдельные льдины, а уже началась навигация. Вере надо было на несколько дней съездить в Самару, куда она и отправилась с первым же пароходом.

Провожали ее всей компанией. Иванчин-Писарев, Богданович и Соловьев стояли внизу, а Морозов поднялся на палубу. Она сразу заметила, что он чем-то взволнован, но не могла понять, в чем дело. И в самый последний момент Николай сунул ей в руку клочок бумаги и сбежал вниз.

Вспенивая колесами воду, этот огромный, неуклюжий и грязный пароход медленно шел против течения, вдоль холмистых берегов, поросших лесом и изрезанных оврагами, в которых еще лежал темный снег. Было холодно, но Вера все не уходила с палубы и с грустью смотрела на удаляющийся город. Потом развернула записку.

Ах, какой он чудак, этот Морозик! Он понимает двойственность своего положения, потому что, решив отдать свою жизнь служению великим идеалам, давно отказался от личного счастья. И все-таки он не может не думать и не говорить о тех чувствах, которые к ней испытывает, ибо они сильнее его. Да, он боролся со своей любовью во имя высших общественных целей, но побороть ее все же не смог. Теперь его судьба в ее руках, и она сама должна решить, что ему делать. Уехать

или... (Сколько там было многоточий и восклицательных знаков, в этой короткой записке!) Уехать или... Если б она знала! И почему он перекладывает решение этого вопроса на ее плечи? Она ведь тоже в двойственном положении. Ей тоже трудно себя побороть. Как ему ответить? Обидеть отказом? Сказать, что она его не любит? Но это будет неправда. Во всяком случае, не совсем правда. Сказать правду тоже невозможно, ведь он и сам понимает, что личное счастье несовместимо с их борьбой.

«И все-таки надо объяснить ему все, как есть на самом деле», — подумала она твердо.

Между тем берега становились все выше, все круче, уже не холмы, а настоящие горы, поросшие смешанным лесом, высились над водной равниной.

Глава восьмая

Волостной писарь Чегодаев, отдаленный отпрыск захудалого рода татарских князей, терялся в догадках. Нежданно-негаданно прибыли в Вязьмино две городские барышни, две столичные фифы, Вера и Евгения Фигнер. Прибыли и объявили, что желают открыть фельдшерский пункт и лечить крестьян от болезней. Спрашивается — зачем?

По виду такие, что им бы на балах с офицерами выплясывать, а если замужние — сидеть по утрам в пеньюарчиках и лакеев гонять с записочками, дескать, супруг законный по делам своим отбыли и не желаете ли прибыть с черного ходу. Впрочем, судя по документам, они незамужние. Тем более странно. Не устроивши свою судьбу, забиваться в медвежий угол, в глушь, в Саратов, да хоть бы уже в сам Саратов, а тут от него еще сколько верст!

Ну эта, старшая, она вроде замужем побывала. В разводе. У ней, может быть, семейная драма, надо забиться в медвежьем углу, среди живой природы, залечить сердечные раны. А младшей какого дьявола в столицах своих не сиделось?

Вот он, к примеру, князь Чегодаев, каждому понятно, для чего он сюда прибыл. (Волостной писарь, несмотря на дальность родства и сильно оскудевшее состояние, вполне всерьез ощущал себя потомком княже-

ской фамилии, досадуя только на то, что принадлежность эта не дает никакого дохода.) Промотал он по дурости свое состояние. Часть пропил, а больше в картишки продул. После, конечно, спохватился, да поздно. Денег нет, службе никакой не научился, а кушать нужно, да и детишек в сиротский дом не отдашь. Кабы не такое несчастье, так в жизнь бы он этого Вязьмина не видал и не клонил бы голову перед каждым, начиная от предводителя и кончая исправником, которые хотя и дворяне, а в общем хамье.

Батюшка, правда, тоже в Сибири дни свои кончил. Но и на то причина была. По молодости лет да по пьяному делу засек до смерти крепостного человека — кто не без греха? Да и какой уж тут грех, господи, об чем говорить? Человек-то был свой, за свои деньги купленный. Эдак дойдет до того, что и за всякую живность судить будут. Зарезал ты, к примеру, свою свинью или лошадь, а тебя — бац — под суд либо в солдаты. Жизнь пошла в таком направлении, что прямо ужас. Крепостных освободили, теперь их не то что купить либо продать, пальцем тронуть нельзя. Чуть что — в суд присяжных потащат и будут тебя судить, как равного с равным. Князя будут судить с мужиком, который без году неделя как перестал быть вещью. Раньше, бывало, дашь судье взятку, глядишь — и дело как ни то да уладится, а теперь попробуй-ка! Одних присяжных двенадцать человек, каждого не подмажешь, да сами они половина из мужиков, хамье, и, ясное дело, хам держит сторону хама.

Так мало всего прочего, еще и эти барышни вздумали прикатить в провинцию. Для чего? Добро были бы сектантки или басурмане какие, так ведь нет, православные и, если паспорта не фальшивые, из дворян.

— А вы, барышни, случаем не родичи будете партизану знаменитому, Александру Самойловичу Фигнеру, который в Отечественной войне прославился?

— Нет, — говорят, — не родичи, однофамильцы.

— Чудно, — крутит князь головой с широкой плешинной.

— А чего же чудного? — пожимает плечиком старшая.

— Да фамилия вроде такая не на каждом шагу падается. — Князь смотрит на сестер лукаво, с таким видом, что вот, дескать, тут-то я вас и уличил. Дескать,

мы-то с вами знаем, что вы приехали неспроста, чего уж друг перед другом таиться.

А в душе все же нет полной ясности. На мгновение ухватился за мысль: а может, деньжат приехали подработать по бедности? Но тут же мысль эту отбросил. Какая уж там подработка — одной положили двадцать пять рублей жалованья, а другая и вовсе бесплатно согласна работать.

Так в смущении мыслей и остался князь Чегодаев. А когда сестры вышли, сказал волостному старшине загадочно:

— Новые люди приехали к нам. — Подумал, развел руками. — Да, новые люди.

Не успели наши барышни появиться в Вязьмине, как уездный предводитель дворянства Устинов прислал вязьминскому князю записочку: мол, приехавшие барышни внушают явное подозрение, за ними следить надо в оба. Непременный член дворянского собрания Деливрон был с этим вполне согласен.

Как-то вечером Чегодаев посетил приятеля своего, вязьминского священника отца Пантелея. Батюшка выставил неполную четверть водки и угощал своего гостя блинами с семгой и со сметаной. И, выпив у дружка своего, Чегодаев повторил ему со значением ту самую фразу, которую недавно сказал старшине:

— Вот, батюшка, стало быть, приехали к нам новые люди.

— Ну и что? — беспечно сказал батюшка, складывая очередной блин конвертиком. — Тебе-то, твоя светлость, что за беда? С чего это вы все переполошились? И баба моя толкует: гляди, мол, какие цацы приехали. Мужики прибежали сегодня пытать: для всех лекарка приставлена или для одних только баб. Да что говорить, они, эти новые люди, всюду теперь появляются, но нам с тобой, я думаю, вреда никакого, пушай они будут новые люди, а мы будем старые люди и жить будем по-старому, пока не помрем.

— Правда твоя, батюшка, — согласно кивнул головой Чегодаев. — Новое время и новые люди. Может, они даже от правительства приставлены следить, кто с мужика сколько дерет. И за что.

Чегодаев зыркнул на собеседника лукавым глазом.

Батюшка не подавился блином, не изменился в лице, глазом даже не моргнул.

— А тебе-то что? — спросил равнодушно. — Ты ведь, чай, лишнего не берешь?

— Да уж, батюшка, откуда там лишнее? Сам знаешь, копейки не беру. На одно только жалованье нищенское со всею семьей своей прозябаю.

— Вот и я вижу, что прозябаешь, — согласился отец Пантелей. — Жеребца-то небось тамбовского за последние копейки купил?

Не очень понравились эти слова Чегодаеву, но все же сдержался.

— За какие ж, — сказал, — как не за последние? От себя оторвал, потому как ездить на чем-то нужно. Я ведь какой-никакой, а князь, и, к примеру, в уезде мне появиться на казенной лошади или вовсе пешему никак неприлично.

— Правильно говоришь, — согласился и с этим батюшка, — и в доме тебе старом об один этаж было жить неприлично. — Но, решив не задевать больше приятеля, перешел на себя со вздохом. — А вот я не дворянского происхождения, может, и рад бы с кого содрать, да господь не велит. Воздержись, говорит, Пантелей, а то в царствие небесное не попадешь, хотя и носишь священный сан. Оттого, сын мой, живу на самые скудные подаяния от прихожан и не жалуюсь. А насчет новых людей, я думаю так: поживем, посмотрим. И думается мне, не от правительства они приставлены, а сами от себя, а может, от кого и похуже, потому что у их, — батюшка наклонился к самому уху собеседника, — не вша в голове, а фантазии.

— Господи! — хлопнул себя Чегодаев по голове. — как же я сам-то не догадался! Я-то, дурак, голову себе ломаю так и сяк, чего, мол, они приперлись? Деньгами тут вроде большими не разживешься, балов и офицеров вокруг не видать, на семейные причины тоже будто бы не похоже, а у них-то ведь верно — фантазии!

И это слово «фантазии» бормотал он про себя, когда, не разбирая дороги, брел нетвердой походкой домой и дома, когда раздевался и ложился в постель.

Раздеваясь впотьмах, он опрокинул дубовый стол, от грохота проснулась жена и сонным голосом недовольно поинтересовалась, по какой это причине князь нализался.

— Потому что у меня такая фантазия, — бодро выкрикнул князь.

— О господи, — вздохнула княгиня, — видать, совсем спятил.

Итак, сестры Вера и Евгения Фигнер прибыли в село Вязьмино, открыли фельдшерский пункт и объявили прием больных. Сначала явились самые смелые и самые больные. Явились, пожаловались на свои болезни, получили лекарства и советы. А уж как разошелся слух по местным жителям, так валом повалили со всех окрестных деревень. С утра до вечера сестры принимали больных, и многие шли к ним, как к чудотворной иконе, и слава о их чудесах распространилась неимоверная. Говорили, что они могут одним прикосновением останавливать кровь, приращивать утерянные конечности, возвращать слепым зрение, а глухим — слух. И что удивительно, никакой платы они не брали, а если кто принесет пару яиц или кусок сала, то получит за них деньгами, сколько положено.

Шли крестьяне со всех сторон. Иные отмахивали по шестьдесят — семьдесят верст в надежде на исцеление. В первый месяц сестры приняли больных восемьсот человек, а за десять месяцев пять тысяч!

Не нравилось это все волостному писарю Чегодаеву, было ему непонятно. Фантазии, конечно, фантазиями, но чтоб все-таки столько работать задаром без всякого намека на выгоду — это уже чересчур.

А тут еще ему донесли, будто Евгения, младшая, объявила мужикам, что желает открыть для крестьянских детишек бесплатную школу да бесплатно же раздаст детям бумагу, перья и азбуки.

Тут удивился не только Чегодаев, а и простые мужики развели руками и долго думали да гадали, для чего бы это барышне нужно. Но, подумав, потолковав меж собой, покачав бородами, нашли все же понятное объяснение: для души.

И были, наверное, по-своему правы.

А между тем до приезда сестер во всех трех волостях участка вообще ни одной школы не было. Когда жители соседней деревни решили построить школу и обратились к бывшему своему барину, а ныне предводителю дворянства Устинову за поддержкой, тот отсоветовал, сказав, что школа им ни к чему и будет слишком дорого стоить. А что касается непременно члена

дворянского собрания Деливрона, так тот вообще считал, что народ надо учить только молитвам.

Однако в Вязьмине школа все-таки была организована, и сразу набралось человек двадцать пять учеников и учениц, а потом и еще прибавилось. Некоторых родители и из других сел привозили.

Сестры работали днем и ночью. Одна на фельдшерском пункте, другая в школе, а потом еще и по домам крестьянским ходили да книжки читали: Некрасова, Лермонтова, Щедрина. Правда, не все в этих книжках было понятно, а книг для народа, написанных простым языком, Вера знала лишь две: «Земля и народы, ее населяющие» и «Земля и животные, на ней обитающие». Однако крестьяне радовались и тому, что было. С удовольствием ждали в гости барышень, да еще приглашали соседей.

А во время чтения и после него заходили разговоры о том о сем. Крестьяне жаловались на свою жизнь, на помещиков, на всевозможных чиновников. Но что-то непохоже было, чтобы они готовы были подняться на борьбу, на бунт против высших властей.

Между тем Чегодаев тоже времени зря не терял, присматривался, прислушивался: как, где, чего. Нельзя сказать, что жизнь его так-таки сразу переменялась и пошла вверх тормашками, а все же какие-то осложнения в ней уже наступили. Придут эти самые барышни на волостной суд, и уж не возьмешь с крестьянина четвертак или полтинник. Как ни говори, а убыток. А тут еще говорят, будто одну из барышень крестьяне хотят избрать на его, Чегодаева, место. А вот сход крестьянский собрался, и хотя писаря не переизбрали, но волостного старшину скинули, а писарю жалованье поубавили. И тогда непрременный член Деливрон сказал:

— Везде сходы как сходы, только в одном Вязьмине неладно!

Сколько пришлось трудов потратить, чтобы объявить этот сход незаконным. А на новый сход сам господин Устинов явился, да, собрав самых забитых мужиков, остальных даже не оповестил, и объявил нового старшину не имеющим права быть избранным. Оставили того, который раньше был, ну и писарю жалованье тоже кое-как отстояли. Умный человек Устинов. Свое дело знает. Вот говорят про Чегодаева — взяточник, про старшину — взяточник. А кто не взяточник? Чегодаев берет

с крестьян по копейке, а Устинову платит рублями. Устинов берет рублями, а губернскому предводителю или самому губернатору меньше сотенной не подашь. Да еще извернись так, чтобы вышло в виде подарка. Значит, и губернатор в Чегодаеве заинтересован безмерно.

Отец Пантелей хоть и посмеивался над Чегодаевым, но вскоре и ему эти девицы поперек горла встали. Раньше, бывало, с каждой хворью к попу идут — молитву сотворить, водицей святой окропить. А водица сия не дешева. Водицей этой и сейчас, конечно, не брезгают, но, заболевши, бегут все же к лекаркам.

Гнать бы их отсюда к чертовой, прости господи, матери, да как выгонишь? Сколь раз мальчишек ловил да пытал, учит ли учительша молитвам, а мальчишки в один голос твердят: учит. Все ж таки направил батюшка в земскую управу бумаженцию: дескать, приехали неведомые особы, неизвестно, замужние или девицы, смущают народ, храм божий стал менее посещаться, усердие оскудело.

Однажды в феврале, проходя мимо фельдшерского домика, волостной писарь Чегодаев обратил внимание на подкатившую тройку с бубенцами. Лошади рыли копытами только что наметенный снег. Ямщик ожидал, куда седок выберется из саней, заплатит, что положено. А получивши свое, разобрал вожжи да как гикнет, как свистнет разбойничьим свистом, и лошади, взрывши снег, рванули, и след их вскоре простыл за околицей.

А седок, между прочим, остался. От роду было ему немного за тридцать, росту высокого, волосы имел длинные, бороду густую. С собой привез всего лишь дешевенький саквояж.

Хозяйки дома встретили приезжего хорошо. Выскочили на улицу, обнимали и лобызали.

Вечером князь Чегодаев подобрался к домику фельдшериц и, оскальзываясь коленями на обледенелой завалинке, тыкался лбом в мерзлые стекла окна. Там, внутри, фельдшерицы вместе со своим гостем сидели за самоваром, а об чем говорили — бог ведает. А между прочим, услышь князь, о чем там говорят с гостем своим фельдшерицы, и донеси вовремя — всей жизни благодостная перемена. Орденок бы на шею тут же повесили. В должности могли бы повысить. Взять если не в самый

Санкт-Петербург, то хотя бы в Саратов. А что касается отца Пантелея, то тому можно было бы просто в рожу плюнуть вместо «здравствуйте». Утирался бы с благодарностью.

Ах, боже мой, так хотелось князю услышать, что говорит этот приезжий! Да ведь не проникнешь ухом сквозь это мерзлое стекло.

— Значит, ты это твердо решил? — спросила Вера.

— Да, Верочка, другого выхода нет. Вся наша пропаганда — пустое дело. Ну вот, например, вы. Чем вы занимаетесь? Хотите изображу?

— Изобразите, пожалуйста, изобразите, — захлопала в ладоши Евгения.

— Извольте. — Гость встал и быстро заговорил тонким, почти женским голосом: «На что жалуемся, господин мужичок, ах, у вас болит животик? Это оттого, господин мужичок, что вы плохо кушаете. Вот помещик, он кушает хорошо, и животик у него не болит. Идите, господин мужичок, капли вам не помогут, вам думать надо». — Гость хитро посмотрел на одну сестру, на другую. — Ну как?

— Bravo, bravo! — снова захлопала в ладоши Евгения. — Очень похоже. Очень!

Но Вера даже не улыбнулась.

— Да, — сказала она довольно хмуро. — Конечно, это все так. Но тот путь, который предлагаешь ты... ты уверен, что он правильней?

— Да, я уверен, — решительно сказал гость. — Один этот человек лежит, как бревно, на пути истории. Только смерть его может сделать поворот в общественной жизни. Только после этого очистится атмосфера и прекратится недоверие к интеллигенции. Масса молодых сил хлынет в деревню, и тогда... тогда, Верочка, все изменится. Потому что повлиять на психологию всего крестьянства можно только всей массой сил, а не потугами отдельных мечтателей вроде нас с вами.

— Ты, конечно, знаешь, на что идешь, — тихо сказала Вера. — Ты знаешь, что сам погибнешь. Но ты никогда никого не убивал. Сможешь ли ты убить человека, глядя ему в глаза?

— Он не человек, а враг, — насутился гость. Но тут же снова смягчился. — Я все продумал, Верочка. Я смо-

гу. А что касается меня самого, то я свои счета с жизнью кончил. Мечтал вот проститься с тобой, теперь и это исполнилось. Теперь я счастлив.

— Счастлив? — поразились она.

— Да, Верочка, счастлив. — Он улыбнулся.

Всю эту ночь Вера не сомкнула глаз. Разволновалась, ворочалась, думала: «Да, пожалуй, он прав, другого выхода нет. Если все другие средства испробованы и оказались бесплодными, остается последнее...»

Поутру сестры проводили гостя в дальнейший путь. Поцеловали, Вера даже хотела перекрестить, но в последний момент передумала, махнула рукой. Не принято это было у них. И только когда гость уехал, вернулась в дом и до того наревелась, что Евгении пришлось отпаивать ее бромом.

Некоторое время спустя февральский гость сестер Фигнер объявился в городе Санкт-Петербурге и здесь развил бурную деятельность. Встречался с разными людьми в трактирах, гостиницах, на нелегальных квартирах. Он посвятил в свое намерение Александра Михайлова.

— Мне нужна помощь, — сказал он. — Нужно выследить, когда и где он гуляет. Нужно достать револьвер для него и сильный яд для меня. Передай нашим, что, если они откажутся мне помочь, я сделаю все один.

Узнав, что еще два человека, не сговариваясь, приехали в Петербург с той же целью, он немедленно разыскал их и сказал, что намеченное совершить должен именно он, хотя бы потому, что он русский (его соперниками были поляк и еврей).

— Это дело мое, — сказал он, — и я его никому не уступлю.

Оставаясь один на один с собою, он думал о человеке, которым интересовался. «Я его ненавижу, — повторял он себе. — Он самый смертельный, самый лютый мой враг». Но ненависть его жила только в мыслях, душа же, с тех пор как он принял решение, совсем обеззлбилась, и он мыслями пытался растравить свою душу.

Раздобыв револьвер, он зачастил на стрельбище Семеновского полка, где стрельбой укреплял свой дух и испытывал твердость руки. С пяти шагов, с десяти, с двадцати он бил по мишени и каждый выстрел не в яблочко считал промахом. Он возродил свою ненависть и добился того, что глядя на мишень, видел перед собой

знакомое по портретам лицо, окаймленное пушистыми бакенбардами. Он добился того, что рука его стала твердой, и теперь он стрелял без единого промаха.

Тем временем добровольные помощники вели наблюдение за человеком, которым интересовался приезжий. Они выяснили, что этот человек имеет обыкновение по утрам около девяти часов совершать моцион от правого подъезда Зимнего дворца, вокруг здания сельскохозяйственного музея и обратно. Вместе с этими сведениями приезжий получил орешек, залепленный воском и сургучом. Внутри орешка был цианистый калий.

Была весна 1879 года, кончался великий пост. В последних числах марта приезжий, чтобы не походить на нигилиста, сбрил бороду и купил чиновничью фуражку.

В воскресенье 1 апреля в первый день пасхи он простился с Александром Михайловым.

— Прощай, друг, больше не увидимся. Завтра или он, или я, а скорее всего оба.

— Не б-боишься? — волнуясь, спросил Михайлов.

— Нет, не боюсь. — Он улыбнулся.

— Кравчинский на Мезенцева в-выходил несколько раз и в-возвращался. Не подымалась рука.

— У меня подыметя.

На другой день состоялась встреча, к которой он так долго готовился. Человек, которым интересовался приезжий, совершал моцион по обычному маршруту. Около полусотни шпионов и жандармов (переодетых и в форме) были расставлены по всему пути, разгуливали по тротуарам, торчали в подворотнях, чтобы, упаси бог, чего не случилось.

Случилось. Они встретились на полпути между Певческим мостом и Дворцовой площадью. И когда между ними оставалось два-три шага, приезжий мстительно улыбнулся и выхватил из кармана револьвер крупного калибра. Если бы он выстрелил сразу... Но он захотел взглянуть в глаза своего врага, увидеть это надменное лицо, так знакомое по портретам. Он взглянул и увидел перед собой старого человека в мятой шинели. Глаза человека, полные неизбывной тоски, смотрели прямо в душу. И сердце приезжего дрогнуло, потому что помещалось в груди в общем-то доброго человека. На лице его все еще держалась мстительная улыбка, но он не мог с собой справиться, и палец, который должен был спустить курок, онемел и не подчинялся ему. «Вера была

права!» — мелькнула в голове воспаленная мысль. И, преодолевая себя, отведя глаза, он все же выстрелил, но при этом инстинктивно рванул руку в сторону.

В следующее мгновение его враг уже бежал, петляя, как заяц, путаясь в полах длинной шинели по пустынной Дворцовой площади. Теперь в приезде пробудился охотничий инстинкт, и он крупными прыжками кинулся за своей жертвой, посылая выстрел за выстрелом.

...Тяжелый удар обрушился на приезжего сзади. Он еще сделал шаг или два, но в глазах уже плыли круги и тупую боль сменило ощущение легкости и беспечности. «А, ладно», — думал он, валясь на мерзлую мостовую.

Он был без сознания, когда его топтали, заламывали за спину руки и втаскивали в канцелярию градоначальника Зурова в комнату с надписью на дверях: «Отделение приключений».

Через некоторое время он очнулся на узком диванчике. Из тумана выплыли лица, мундиры, звезды и аксельбанты. Одно лицо, очень знакомое, склонилось низко, и приезжий сказал доверительно:

— Она была права, ваше величество.

И, снова теряя сознание, не в силах ответить, услышал обеспокоенное: «Кто — она? Кто? Кто?»

Очнувшись в следующий раз, он опять увидел перед собой те же лица, звезды и аксельбанты. Кружилась голова, поташнивало, но сознание прояснилось. Из прочих голосов выделился один, молодой и звонкий. Жандармский офицерик, мальчишка, рассказывал торопливо, захлебываясь:

— А я его, ваше высокопревосходительство, прямо шпагой по голове плашмя.

Другой голос, басовитый, глухой, отвечал одобритительно:

— Молодец, братец, молодец.

— Рад стараться, ваше высокопревосходительство. Извольте видеть, даже шпага погнулась.

В доказательство он тыкал свою тульскую шпажонку в ножны, но она, изогнутая, не шла.

— Ничего, братец, ничего, — отвечал басовитый голос, — государь тебе золотую пожалует.

— Он очнулся, — сказал вдруг третий голос. И какое-то лицо, но не государя, а чиновника в виц-мундире

судебного ведомства склонилось над лежащим на диване человеком.

— Кто вы? — спросил вкрадчивый голосок.

— Дайте закурить, — сказал лежащий.

Кто-то с готовностью поднес папироску, кто-то чиркнул спичкой. Вновь зажурчал прямо в ухо вкрадчивый голосок:

— Вы знаете, что в вашем положении полная откровенность поведет к тому благому результату, что никто из невинных не пострадает, тогда как в противном случае...

Боже, о чем это он? Приезжий приподнялся на локте и с удивлением взглянул в склонившееся над ним добросовестно невыразительное лицо...

Была весна, текли ручьи, и в тех местах, где обнажалась от снега земля, поднималась для новой жизни первая травка.

В Вязьминском фельдшерском пункте шел прием больных. Перед Верой сидел мужик с печальными глазами, с деревяшкой вместо ноги.

— Стал быть, ты не можешь сделать так, чтоб обратно нога отросла?

— Нет, дядя, не могу.

— А я слышал, что в Вязьмине фершалка такая, что все может. За двенадцать верст на этой вот штуке, — он похлопал по деревяшке, — пришел. А может, попробуешь?

— Что попробовать, дядя? Наука до этого еще не дошла.

— Наука-то, конечно, она не тое. А ты, барышня, на науку плюнь и наговором попробуй. Глядишь, чего и получится.

— Нет таких наговоров, дядя. Все это предрассудки от темноты и невежества.

— Это да, темнота в нас большая. Да мне ведь жаться, барышня, нужно, а кто ж за меня пойдет без ноги? Наука, понятно, вещь важная, однако, у нас в деревне одному мужику наговором горб выровняли. Не попытаешь? — в последний раз спросил он с надеждой.

— Нет, дядя, прости, не могу.

Мужик, кланяясь, вышел. В дверях показалась старуха с рахитичным ребенком, но тут влетела Евгения:

— Подожди, бабушка. Одну минутку, подожди, ради бога, за дверью.

— В чем дело? — возмутилась Вера. — Почему ты ее не пустила?

— Вот! — сказала Евгения и положила перед Верой газету.

Вера глянула и схватилась за голову:

— Боже, какое несчастье! Он промахнулся!

...С каждым днем поступали новые известия. Газеты сообщали, что покушавшимся на государя оказался отставной коллежский секретарь Александр Константинович Соловьев. При нем был найден орешек, залепленный воском и сургучом. В орешке оказался яд сильного действия, которым преступник не успел воспользоваться. Разыскиваются сообщники. Произведен ряд арестов в Петербурге и Москве.

25 мая была оглашена резолюция верховного суда: «...подсудимого отставного коллежского секретаря Александра Соловьева за учиненное им преступление... лишить всех прав состояния и подвергнуть смертной казни через повешение».

28 мая в десять часов утра при большом стечении публики приговор был приведен в исполнение на Смоленском поле в Петербурге. Однако следствие по этому делу продолжалось. Особая комиссия работала в Саратове. Добралась она и до Вольского уезда, а оттуда до Петровского, где жили сестры Фигнер, рукой подать.

Воскресным днем князь Чегодаев увидел, как к дому фельдшерниц подкатила крестьянская телега и мужик стал выносить вещи. Когда Чегодаев подошел, сестры сидели уже поверх вещей на телеге.

— Батюшки! — развел руками Чегодаев. — Никак отъезжаете?

— В отпуск, князь, в отпуск, — с улыбкой сказала старшая. — Не горюйте, авось еще свидимся.

— Да мне-то что, — развел руками князь. — По мне-то хоть бы вы и вовсе уехали.

А в понедельник на взмыленной тройке прикатили жандармы. Знакомый Чегодаеву штабс-капитан с закрученными вверх рыжими усиками поднялся, гремя шпорами, на высокое крыльцо волостного правления.

— Где преступницы? — спросил он не поздоровавшись.

— Какие преступницы? — оторопел князь.

— Фельдшерицы, которые принимали у себя покусителя на жизнь его императорского величества.

— Господи! — всплеснул руками князь. — Неужто это он был? Я видел его своими глазами.

— Видел? — повысил голос штабс-капитан. — Отчего же не задержал?

— Так если б я знал, — торопился князь за жандармом на выход.

-- Дурак вы, ваша светлость! — кинул штабс-капитан не оборачиваясь.

Глава девятая

Конец июня был душным. На привокзальной площади Воронежа, грязной, заплыванной, засаженной пыльными кленами, к приходу поезда съезжались извозчики, сползались нищие и сбегались мальчишки посмотреть на вываливших из душных вагонов пассажиров. К поездам выходила и местная шикарная публика. Прогуляться вдоль поезда, на людей посмотреть и себя показать. Одинокая молодая дама в белой шляпке с вуалью прошла до середины перрона, вдруг повернулась и двинулась обратно, а за ней, не выпуская ее из виду, пробирался сквозь толпу молодой человек в пенсне, с легким саквояжем желтой кожи в руках. Дама в белой шляпке не спеша вышла на площадь и села в крытый экипаж. За ней последовал и мужчина с саквояжем. Пожилой жандарм, состоящий при вокзале, лениво проводил их глазами. Ему в его казенном мундире было особенно жарко, и выпитое только что у буфетной стойки пиво тоже не располагало к активной работе мысли и энергичной деятельности.

А молодой человек и молодая женщина, отгородившись от чужих глаз, кинулись друг к другу в объятия, и он воскликнул:

— Верочка!

А она ему ответила:

— Морозик!

Они обнялись, поцеловались, и ей показалось, что он в свой поцелуй вкладывает несколько больше страсти, чем полагается суровому революционеру. Будучи решительной противницей подобных телячьих нежностей, она все же оправдала такую сентиментальность тем, что они не виделись целый год. И даже с небольшим хвостиком.

Отодвинувшись от своего спутника в дальний угол, чтобы сразу ввести отношения в нужное русло, она деловым тоном спросила:

— Что нового?

— Нового? — Он усмехнулся. — Вот тебя вижу, это уже приятная новость.

— А кроме?

— Что касается «кроме», сразу всего не расскажешь. Ты сюда приехал с Родионым?

— С ним.

— Значит, кое-что ты уже знаешь.

Она промолчала. От Михаила Родионовича Попова, с которым Вера приехала в Воронеж, она, действительно, кое-что слышала о разногласиях, которые возникли в последнее время в обществе «Земля и воля».

Гостиница, куда они приехали, была старая, грязная, с ободранными обоями. Половой принес самовар и оставил приезжих одних. Они неловко помолчали, потом Вера подняла на Николая глаза и улыбнулась.

— Ну, рассказывай.

...Было уже поздно. Самовар остыл. Они задули свечу, чтобы не привлекать внимания. Сидели друг против друга. Морозов рассказывал о конфликте с Плехановым, который произошел после того, как Морозов в одном из «Листков Земли и воли» напечатал статью «По поводу политических убийств». Морозов писал, что «борьба по способу Вильгельма Телля и Шарлотты Корде» (Шарлотту Корде он потом прибавил) является «одним из самых целесообразных средств борьбы с произволом в периоды политических гонений».

Статья вызвала переполох. Плеханов по поводу статьи сказал:

— Этот «Листок Земли и воли» — подделка. Я, как один из редакторов, ничего не знаю о его выходе и никогда не допустил бы ничего подобного. Главная цель «Земли и воли» есть не политическая борьба с правительством, а пропаганда социалистических идей и агитация среди крестьян и рабочих.

Когда Морозов встретился с Плехановым, он объяснил, что «Листок», о котором шла речь, не подделка, что его выпустил он, Морозов, но Плеханову не успел показать предварительно, так как два раза приходил к нему и не заставал дома.

Плеханов сказал, что единственное средство уладить

возникшее недоразумение — это созвать съезд всех членов «Земли и воли», а они уже решат, кому быть выразителем программы общества. Морозов тут же согласился. И вот завтра открывается здесь этот съезд, где кого-то, вероятно, будут исключать из «Земли и воли».

Морозов не сказал Вере, что за несколько дней до приезда в Воронеж сторонники террора провели свой отдельный съезд в Липецке. Перед съездом Михайлов и Фроленко ездили в Одессу к известному среди тамошних революционеров Андрею Желябову и убедили его, пропагандиста-народника, принять участие в съезде.

Таким образом, в Липецке собрались Морозов, Александр Михайлов, Фроленко, Желябов, Лев Тихомиров, Мария Ошанина, Степан Ширяев, Квятковский, Гольденберг и еще человек пять.

Михайлов произнес яркую обвинительную речь против царя. Он сказал, что, хотя у Александра Второго в начале его царствования и были некоторые заслуги перед народом (крестьянская и судебная реформы), дальнейшая внутренняя политика императора отличалась крайней реакционностью, он проявил себя как злостный душитель свободы, и для того, чтобы добиться серьезных политических перемен, надо в первую очередь нанести удар по верховной власти, по ее высшему выразителю — царю.

К Михайлову присоединился Желябов. Он сказал, что если правительство самым жестоким образом карает революционеров даже за такие невинные действия, как мирная пропаганда в народе, то не лучше ли приступить к более активным действиям.

Такой решительности от Желябова никто не ожидал. Еще недавно он был сторонником пропаганды и с большим трудом дал согласие Михайлову и Фроленко, что примет участие только в убийстве царя. А потом снова вернется к пропаганде в народе.

Вот почему все удивились, когда Желябов стал настаивать на терроре как на главнейшем способе политической борьбы.

Там же, в Липецке, была выработана краткая программа действий:

«Наблюдая современную общественную жизнь в России, мы видим, что никакая деятельность, направленная к благу народа, в ней невозможна, вследствие царящего в ней правительственного произвола и насилия.

Ни свободного слова, ни свободной печати для действия путем убеждения в ней нет. Поэтому всякому передовому общественному деятелю необходимо прежде всего покончить с существующим у нас образом правления, но бороться с ним невозможно, иначе как с оружием в руках. Поэтому мы будем бороться по способу Вильгельма Телля до тех пор, пока не достигнем таких свободных порядков, при которых можно будет беспрепятственно обсуждать в печати и на общественных собраниях все политические и социальные вопросы и решать их посредством свободных народных представителей.

До тех пор пока этого нет, мы будем считать за своих друзей всех тех, кто будет сочувствовать нам и помогать в этой борьбе, а за врагов — всех тех, кто будет помогать против нас правительству.

Ввиду того что правительство в своей борьбе с нами не только ссылает, заключает в тюрьмы и убивает нас, но также конфискует принадлежащее нам имущество, мы считаем себя вправе платить ему тем же и конфисковать в пользу революции принадлежащие ему средства. Имущества же частных лиц или обществ, не принимающих участия в борьбе правительства с нами, будут для нас неприкосновенными».

Обо всем этом Морозов умолчал в разговоре с Верой. Он только сказал, что может так получиться, что в организации возникнет новая организация. Тогда Вере придется подумать, с кем идти дальше.

Уходя от нее, он задержался в дверях и сказал, помявшись:

— Да, ты знаешь, что Ольга Любатович бежала из ссылки?

— Слышала.

— Так вот, как бы это сказать... Мы теперь с ней вроде бы одно целое.

— Вы поженились? — удивилась Вера.

— В церкви не венчались, — усмехнулся Морозов. — Но ведь это и не обязательно.

Лодка шла вниз по течению. Вера с Морозовым сидели на корме, Фроленко молча взмахивал веслами.

— Далеко еще? — спросила Вера, чтобы как-то разговорить его.

— Недалече, — буркнул Фроленко, и замолчал.

И Морозов нынче тоже неразговорчив. Вот доедут до места, а там ему, Морозову, ответ держать перед товарищами: кто прав — он или Жорж Плеханов? А от того, кого признают правым, зависит и дальнейшая судьба общества «Земля и воля», а стало быть, и судьба революционного движения. И если общество пойдет за Плехановым, то уже без него, без Морозова. А как же быть Вере? Она пока выслушала одну сторону, надо выслушать и другую. И дело даже не в Морозове и Плеханове — дело в тенденциях. Раз возникли такие споры, значит, есть для них основания. Не на пустом месте они возникли. В конце концов, если б один кто-то не согласился с программой общества и даже вышел бы из него, еще полбеды. Хуже то, что за одним стоит группа людей и за другим стоит группа. А это грозит расколом.

День выдался прекрасный. Солнце светит, тихо, вода как зеркало. Плывут мимо лесистые берега. Вера опустила руку за борт — вода теплая, приятная. Вот бы сейчас окунуться, а потом на песок и лежать, подложив руки под голову.

— Михайло, — нарушил молчание Морозов, — что ты молчишь? Рассказал бы что-нибудь.

— Например?

— Например, как ты Стефановича, Дейча и Бохановского на глазах у всех из тюрьмы вывел.

— А что рассказывать? Устроился надзирателем в Киевскую тюрьму, вошел в доверие к начальству, вот и вывел.

И опять молчание, только всплескивает вода и поскрипывают уключины. Прошла мимо четырехвесельная лодка, в ней — подвыпившие купчики с девицами.

— Господа, на буксир не хотите ли?

— Благодарствуем, — степенно отвечает Фроленко. — Авань и сами доберемся до места. — И стал налегать на правое весло, заворачивая в отходящий от реки узкий рукав с берегами, поросшими камышом.

— Эй, перевозчик! — какой-то человек в соломенной шляпе стоит на берегу в просвете между зарослями камыша. В одной руке удочка, в другой ботинки, штанины подвернуты до колен.

— Ау! — отозвался Фроленко.

— Не подвезешь ли?

— А отчего бы не подвезти? Подвезем, коли запла-тишь по-божески.

Фроленко повел лодку к берегу.

— Вы с ума сошли! — испугалась Вера. — Разве можно?

— Хорошего человека можно. — Фроленко хитро подмигнул Морозову.

— Зд-дравствуйте! — весело поздоровался со всеми рыбак, вскакивая в лодку, а затем уже одной только Вере сказал: — Вот в-видите, я же вам говорил, что мы еще будем встреч-чаться.

24 июня 1879 года. В роще под Воронежом собрался съезд общества «Земля и воля». Съезд? Не слишком ли громко сказано? Два десятка молодых людей собрались на полянке, раскупорили бутылки... Может быть, просто пикник? Нет, все-таки съезд. Молодые люди спорят, решают, каким путем пойдет дальше революционное движение.

Внимание всех сосредоточено на споре между Плехановым и Морозовым. Вера слушает того и другого.

— Политическое убийство, — говорит Морозов, — это осуществление революции в настоящем.

«Осуществление революции в настоящем». Хорошо сказано. Точно, афористично.

— На кончике кинжала не построишь парламента, — возражает Плеханов.

И это сказано не хуже. А кто прав? Кажется, она сильно отстала за время своего пребывания в деревне. Когда уходила в народ, все казалось яснее ясного. Агитация и пропаганда в народе — вот единственный путь. Потом приехал Соловьев, смутил ее душу. Тогда она одобрила его решение. Но что из этого получилось? Покушение не удалось, Соловьев погиб. А сколько людей арестовано, сослано! Не вызовут ли новые покушения бесполезную гибель многих людей?

Вера переглядывается с Перовской. Перовская давно занимает ее воображение. Они познакомились два года назад в Петербурге. Дочь бывшего столичного губернатора, убежденная народница, Софья Львовна принимала участие и в горячих делах. Участвовала в попытке вооруженного освобождения Войнаральского. Сделала она сейчас свой выбор? Нет, кажется, тоже колеблется. В чем же все-таки дело? Разве землевольцы раньше не применяли оружия? Разве не они убили шефа жандар-

мов Мезенцева, харьковского генерал-губернатора Кропоткина, шпионов Шарашкина и Рейнштейна? Кстати, Рейнштейна убил Михаил Родионович Попов, а теперь он же вместе с Плехановым выступает против террора. Как же это понять?

— П-понять это можно просто, — говорит Михайлов. — Раньше мы занимались п-пропагандой в мало подходящих для этого условиях и иногда с оружием в руках об-боронялись от наших врагов. Теперь мы от об-бороны переходим в наступление. Почему? Я хотел бы н-напомнить вам этапы нашего развития и наши ошибки. Мы видели, что достигнутые в Европе п-политические свободы ни к чему хорошему не привели. Буржуазия использовала их для еще большего экономического закабаления масс. Исходя из правильной оценки явления, мы делали неправильные выводы. Мы говорили, что наша цель — разрушение существующего строя, уничтожение экономического н-неравенства, составляющего корень всех страданий человечества. Поэтому п-политические формы сами по себе для нас совершенно безразличны. Сейчас я вам зачитаю короткую выдержку из брошюры Кравчинского. — Михайлов раскрыл свою записную книжку: — «Не политическое рабство порождает экономическое, а наоборот. Мы убеждены, что с уничтожением экономического неравенства уничтожится народная нищета, а с нею вместе невежество, суеверие и предрассудки, которыми держится всякая власть. Вот почему мы как нельзя более склонны оставить вас в покое, правительствующие. Наши настоящие враги — буржуазия, которая теперь прячется за вашей спиной, хотя и ненавидит вас, потому что вы ей связываете руки. Так посторонитесь же! Не мешайте нам бороться с настоящими нашими врагами, и мы оставим вас в покое».

— Сильно написано, — говорит с места Попов.

— Сильно, но неверно. Работая в народе, каждый из нас мог убедиться, что никакого экономического равенства без п-политического переустройства быть не может. Поэтому п-политические перемены — необходимое условие для достижения нашего идеала, а путь к этим переменам в наших условиях только один — удар по п-правительствующей верхушке, и в первую очередь по царю.

— Позвольте и мне сказать слово. — Рослый, темно-

бородый, похожий на цыгана человек поднялся, отряхнул брюки.

— Кто это? — шепотом спросила Вера Перовскую.

— Желябов, — шепнула Перовская. — Из Одессы.

— Помню, после «процесса 193-х», — не спеша начал Желябов, — попалась мне на глаза английская «Таймс» с отчетом об этом процессе. Корреспондент писал из Петербурга, что вот уже два дня сидит на процессе и ничего не может понять. Одного судят за то, что он читал Маркса, другого за то, что читал Лассаля, третьего за то, что передал кому-то какую-то книгу. И действительно, давайте сопоставим, что мы делаем и что за это получаем. Вся наша деятельность сводится к тому, что мы, действительно, читаем книжки, ведем разговоры между собой и иногда среди народа. А нас за это отправляют в ссылку, в тюрьму, на каторгу, лишают молодости, здоровья, жизни. Нас убивают, и мы будем отвечать тем же. Власти должны знать, что кончилось то время, когда нас травили безнаказанно. Если уж война, так пусть будет война с двух сторон, или, как вы там говорите, по способу Вильгельма Телля. Пусть будет так. История движется слишком медленно, ее надо подталкивать.

Вера переводит взгляд с одного лица на другое. Кто же прав? Морозов, выдвинувший новой программой общества политические убийства, и с ним Михайлов, Фроленко, Желябов, Тихомиров? Или Плеханов, не принимающий этой программы, и с ним Попов... и это, кажется, все.

И снова споры, объяснения, споры.

— И неужели ты считаешь этот самый способ Вильгельма Телля единственно правильным? — возмущенно говорит Плеханов Морозову.

— Нет, но я считаю его вынужденным. Он вполне допустим в периоды политических гонений, когда всякие иные способы борьбы с произволом становятся невозможны. Разумеется, как только будет обеспечена свобода и низвергнут абсолютизм, необходимость в терроре отпадет, поскольку можно будет действовать одним убеждением.

— Господа, это ли наша программа? — голос Плеханова срывается от волнения.

Все молчат. Даже Попов опускает голову.

— Ну что ж, господа, в таком случае мне здесь делать нечего.

Он берет свой пиджак, перекидывает через плечо:
— Прощайте, господа.

Вера вскакивает на ноги.

— Вера, в-вы куда? — спрашивает Михайлов.

— Надо его удержать.

Но ее решительность тут же гаснет под взглядом Михайлова.

— Оставьте его.

— Но это же Плеханов!

— Знаю, — холодно ответил Михайлов. — И все же п-пусть уходит. Если он не с нами — п-пусть уходит.

Глава десятая

Страшно... Все уехали в Петербург, оставив ее одну в этом дачном поселке Лесное, в этом нелепом и неуютном скрипучем доме, в котором все время слышны какие-то неясные звуки, где-то что-то пищит, скребется и ухает.

С вечерним поездом должна приехать Соня Иванова (или, как все ее зовут, Ванька), но до вечернего поезда далеко, а уже темно, и идет дождь, и кажется кто-то тяжелый разгуливает по крыше.

Вера зажгла лампу, но тревога не проходила. Тени отошли и затаились в углах. На лицах святых, оправленных золотом, появилось злобное выражение. Снаружи кто-то стукнул палкой по стене. Раз, другой... Вера глянула в окно и застыла от ужаса. К стеклу с обратной стороны приникло чье-то лицо.

— Кто там? — испуганно спросила она.

Лицо не ответило. Она напряженно вгляделась и увидела, что на нее смотрит ее же собственное отражение.

«Господи, — подумала она. — Какая же я трусиха! Вся в мать».

Когда-то, когда она была еще совсем маленькая, они жили в лесу, в Мамадышском уезде Казанской губернии. Отец служил лесничим, и дом их стоял посреди леса, окруженный глухим забором. Мать рассказывала детям страшные сказки. Мужик отрубил у медведя лапу и отнес жене. Ночью жена варит медвежье мясо, а медведь, приставив деревянную ногу, идет по деревне.

Детям страшно, и матери страшно не меньше. Перед сном она берет свечу и в сопровождении дворни обходит

комнаты, заглядывая во все углы, за сундуки, под кровати. И в каждом темном углу чудится ей страшный мужик, разбойник с большим ножом. И она готова в любую секунду закричать на весь дом.

«Трусиха, — ругает себя Вера. — Я должна воспитывать в себе смелость. Ведь я сознательно вступила на путь, где быть трусихой невозможно».

Да, за последнее время в жизни Веры многое переменялось. Совсем недавно вступила она в общество «Земля и воля», а вот уже этого общества и нет. Расколосось. Плеханов, не согласившись с решениями воронежского съезда, уехал в Петербург и стал собирать своих сторонников. Плеханов — фигура популярная, и за ним пошли многие. Стефанович, Дейч, Бохановский... Вернувшаяся из-за границы Вера Ивановна Засулич тоже встала на сторону Плеханова. Это было обидно. Покушение на Трепова сделало Веру Ивановну любимицей молодежи. Куда пойдет Засулич, туда пойдет и молодежь. Вот почему сторонникам нового направления хотелось привлечь ее на свою сторону.

Теперь те, кто избрал новое направление в Воронеже, собрались здесь, в Лесном, под Петербургом. Встречались в сосновом парке, иногда под видом подгулявшей компании, и тем избегали внимания любопытных. Постепенно положение прояснилось. Стало ясно, что воронежский съезд не устранил, а только затушевывал разногласия. Одни по-прежнему ратовали за работу в народе, другие настаивали на царубийстве. Тем и другим было тесно в одной упряжке, и раздел все-таки стал свершившимся фактом. Разделили все: принадлежавшее «Земле и воле» имущество, деньги и даже название. Пропагандисты стали «Черным переделом», террористы — «Народной волей». Теперь дело пошло быстрее. Для руководства партией «Народная воля» избран был Исполнительный комитет, который начал вынашивать конкретные планы царубийства. Осенью Александр II будет возвращаться из Крыма. Крушение царского поезда — наиболее реальный путь к успеху. Не откладывая дела в долгий ящик, техники Ширяев, Исаев и Кибальчич принялись за изготовление динамита. Осталось только самым надежным образом употребить его в дело.

Вспоминяя недавнее, Вера невольно усмехнулась. Какая резкая перемена в ее судьбе! Два месяца назад она была еще убежденной сторонницей пропаганды в

народе. Еще только прошлой зимой с ужасом внимала она словам Соловьева. Нет, она не осуждала его. Напротив, одобряла и восхищалась. И в то же время знала, что сама никогда не смогла бы поднять руку на человека, хотя бы это был даже враг. Но теперь это все позади. Теперь она член Исполнительного комитета «Народной воли» (эмблема: перекрещенные топор, кинжал и револьвер).

Член Исполнительного комитета... Но об этом не должен знать никто, кроме самих членов комитета. Для других, пусть даже самых близких людей, и для полиции (в случае ареста) она только агент комитета. Это, кажется, придумал Тихомиров. Все люди, привлеченные комитетом к террористической деятельности, называются его агентами. Первой степени — с меньшим доверием, второй степени — с большим. Член Исполнительного комитета называется агентом третьей степени. Третьей, а не наоборот, не первой. Чтобы никто не знал, сколько степеней впереди.

Вступая в Исполнительный комитет, она поклялась:

1) отдать все духовные силы свои на дело революции, забыть ради него все родственные узы и личные симпатии, любовь и дружбу;

2) если это нужно, отдать и свою жизнь, не считаясь ни с чем и не щадя никого и ничего;

3) не иметь частной собственности, ничего своего, что не было бы вместе с тем и собственностью организации...

Требования велики. Но на меньшее она бы и не согласилась. Только так. Всю себя. Не наполовину, не на две трети, не на три четверти, а целиком, без остатка.

Мосты сожжены, и нет путей к отступлению. Теперь если ей поручат... А ей непременно поручат самое важное и самое опасное дело.

...Царь, окруженный жандармами и шпионами, идет по дорожке Летнего сада. На дорожке появляется женщина в черном платье и в черной шали. Под шалью — револьвер. Царь останавливается, как вкопанный. «Кто вы?» — спрашивает он в ужасе. «Я — Вера Фигнер, ваше величество, но теперь это для вас не имеет значения...»

Что-то заскрежетало и ахнуло. Вера вздрогнула и очнулась. Нет царя, нет жандармов, нет дорожки Летнего сада. Есть эта старая страшная дача. Со скрежетом растворились узорчатые двери стальных часов. Выскочи-

ла кукушка и, сверкая злобным стеклянным глазом, закричала пронзительным металлическим голосом:

— У-у! У-у! У-у! — И так десять раз подряд.

«Господи, — содрогаясь, подумала отчаянная террористка. — Если сейчас же никто не придет, я здесь умру от страха».

Теперь уже явственно казалось, что кто-то ходит по крыше и кто-то стучит палкой по наружной стене. «Здесь никого не может быть. По крыше стучит дождь, а по стене...» Она взяла лампу и пошла в соседнюю комнату. Так и есть. Ветер хлопал неприкрытой форточкой.

— Дура, трусиха! — вслух сказала себе Вера.

Она решила больше не трусить, но все же закрыла дверь на палку, потом пошла в коридор и проверила замки и задвижки. «Это на всякий случай, — мысленно сказала она, разбирая постель, — но я ничего не боюсь».

Последний поезд должен прийти в начале одиннадцатого. Через полчаса Ванька будет здесь. Вера поставила лампу на стул возле кровати, легла и стала читать рассказ Глеба Успенского в «Отечественных записках»...

Проснулась она от стука. Вскочила. Кто-то беспорядочно молотил в дверь кулаком. Это стучал чужой человек. Свои стучат не так. Для своих есть условный стук. Два раза, пауза, один раз, пауза и еще два раза. Это не может быть вор, потому что воры, насколько она себе представляла, стараются вести себя тихо. Так бесцеремонно ночью может стучать только полиция. Вера вдруг удивилась, что ей совершенно не страшно. Пугает всегда непонятное. Реальную опасность она готова встретить открыто. Жаль только, что нет револьвера.

В дверь продолжали стучать. Вера взяла лампу и вышла в коридор.

— Кто там? — громко спросила она, приложив ухо к войлочной обивке.

— Это я, Соня! — раздался нетерпеливый голос.

Вера всполошилась, загремела задвижками.

— Соня, милая, что случилось?

— Ничего абсолютно. Ванька не смогла приехать и попросила меня.

Она стояла на пороге, насквозь промокшая и босая, туфли держала в руках.

— Почему же ты не постучала, как условились?

— Стучала, — улыбнулась Соня. — Много раз. Да тебя разве добудишься! — Она посмотрела на лужу, ко-

торая натекла с ее платья. — Верочка, найди мне что-нибудь переодеться.

Потом они сидели за столом в одинаковых полотняных рубашках и пили чай с малиновым вареньем. Перед Верой лежал паспорт на фамилию Лихаревой. С завтрашнего дня она под этой фамилией и Квятковский будут жить в Петербурге. Адрес: Лештуков переулок, дом 13, квартира 22. Эта квартира станет местом для собраний.

— И только? — обиделась Вера. — Но я же просила комитет дать мне самое опасное задание.

Соня погладила ее по голове:

— Не спеши, Верочка. Опасностей еще хватит на всех.

Отнесли самовар на кухню, легли, погасили свет.

— Соня, — шепотом призналась Вера, — стыдно сказать, но почему-то сегодня я здесь ужасно трусила. С тобой, наверное, такого не бывает. Скажи, ты боишься хоть чего-нибудь в жизни?

— Мышей, — тоже шепотом ответила Перовская.

Глава одиннадцатая

Пропал железнодорожный сторож Семен Александров, служивший на четырнадцатой версте близ Одессы. Пропал, не взяв ни расчета, ни паспорта. Пропал вместе с женою, страдавшей туберкулезом. Как прикажете понять такой казус?

Жандармский офицер Георгий Порфирьевич Судейкин сидел за служебным столом, разноцветными карандашами чертил на плотной бумаге какие-то геометрические фигуры и пытался сопоставить события последних дней.

Итак, 14 ноября в Елисаветграде задержан неизвестный человек иудейского вида с грузом в полтора пуда динамита и билетом из Одессы в Москву.

19 ноября на третьей версте Московско-Курской железной дороги от взрыва мины взлетает на воздух поезд со свитой императора, возвращающегося после летнего отдыха из **Крыма** в Москву.

Разумеется те, кто подкладывал динамит, рассчитывали взорвать не этот поезд. Тот поезд, который им был

нужен, прошел раньше. Тот вез священную особу его императорского величества.

При обследовании места взрыва под развороченным полотном железной дороги был обнаружен подкоп. Обшитая досками минная галерея привела к дому, стоящему на значительном удалении от дороги. Дом был недавно куплен неким Сухоруковым, проживавшим здесь вместе со своей женой. В доме были найдены груды сырой земли, бутылка с нитроглицерином, лопаты и кирки. Хозяева дома исчезли и больше не появлялись. Оставленная в доме засада не дала никаких результатов.

24 ноября в Петербурге арестованы Чернышев и Побережская. В их квартире обнаружена динамитная мастерская. Госпожа Лихарева, ранее проживавшая по тому же адресу, скрылась в неизвестном направлении еще в сентябре.

Но какое отношение ко всему этому имеет сторож, курский мещанин Семен Александров? На первый взгляд никакого. Но если учесть, что:

а) задержанный под Елисаветградом неизвестный вез динамит именно из Одессы;

б) по первоначальным слухам, в Одессу на пути из Крыма в Петербург должен был заехать государь;

в) пропавший мещанин Александров очень упорно добивался места сторожа на железной дороге вблизи Одессы, а затем покинул его поспешно и, видимо, без всякого сожаления...

Если учесть и сопоставить все эти соображения, то вполне можно предположить, что не только забота о здоровье туберкулезной жены влекла к чистому воздуху железной дороги пропавшего, но и некоторые другие надежды, которые очень хотелось бы разгадать Судейкину.

— Так-так, господин Семен Александров, — вслух обратился Судейкин к воображаемому собеседнику. — Прошу садиться. — Доброжелательным жестом он указал на пустой стул перед своим столом. — Вы, Семен Александров, воробей, безусловно, стреляный и, я думаю, не первый раз оставляете в конторах фальшивые документы. Но и мы ведь, — несколько подбоченился Судейкин, — тоже не лыком шиты. Вот, прошу вас, обратите внимание на эту картину. — Он выдвинул разрисованный лист бумаги на середину стола. — Вот этот синий кружочек означает город Одессу. Этот — Елисаветград, где

14 ноября задержан неизвестный. А этот черный паровозик и под ним красное пламя означают взрыв под Москвой 19 ноября. Эта — черная решеточка, за ней черные же фигуры — Чернышев и Побережская, будем их пока что так называть. Тут в стороне маячит еще неизвестная под вуалью — госпожа Лихарева, она исчезла еще раньше. Попробуем подсчитать. В руках у нас неизвестный с динамитом, господин Чернышев и госпожа Побережская. Исчезли вы, господин Александров, ваша супруга, госпожа Лихарева, купец Черемисов из Александровска, супруги Сухоруковы из Москвы. И во всем этом клубке, господин Александров, надо разобраться. А я ведь не гений! Я просто скромный жандармский офицер. — Судейкин задумался, покачал головой и продолжал не очень уверенно: — А может, и гений. Это мы потом увидим. Вы, господин Александров, на мой скромный мундир не смотрите. Ведь Наполеон тоже начинал не с генерала Да, господин Александров, трудную вы задали мне задачу, но интересную. И я не жалуюсь.

В дверь просунулась голова с усами.

— Ваше благородие, пришел по повестке господин Щигельский. Просить?

— Просить, — согласился Георгий Порфирьевич.

Вошел франтоватый господин средних лет. В руках трость с костяным набалдашником. «Бабник и пьяница», — определил Георгий Порфирьевич, поднимаясь навстречу.

— Господин Щигельский! — воскликнул он с отчаянным дружелюбием и даже всплеснул руками. — Очень рад! Очень рад! — говорил он, подводя гостя к стулу, на котором только что сидел воображаемый Семен Александров. — Прошу, прошу! Располагайтесь и почувствуйте себя как дома. Если, конечно, вы можете себя так чувствовать в жандармском управлении.

Затем он вернулся на свое место и, подперев подбородок ладонями, умильно посмотрел на гостя. «Пытается держаться самоуверенно, однако ужасно трусит, — отметил он про себя. — Коленка дрожит, и в глазах настороженность».

— Так, господин Щигельский, стало быть, вы состоите на службе в должности начальника дистанции. Я правильно осведомлен?

— Вполне, — напряженно улыбнулся Щигельский.

— И вам нравится ваша служба?

Щигельский пожал плечами:

— Служба как служба.

— Я вас понимаю. Есть свои и хорошие, и дурные стороны. Так же, собственно, как и во всякой службе, например в моей. Но я не об этом, я о другом...

Не договорив, Судейкин придвинул к себе стопку чистых листов бумаги и стал что-то быстро писать, часто макая перо в бронзовую чернильницу. О своем посетителе он, казалось, забыл. Щигельский сидел неподвижно, не решаясь напоминать о своем присутствии. Потом он заерзал. Потом кашлянул. Вдруг Судейкин неожиданно бросил на стол перо, отодвинул от себя бумагу, посмотрел на своего посетителя, подмигнул ему и сказал вопросительно:

— Ну-с?

— Что-с? — вздрогнул Щигельский.

— Рассказывайте-с, — обаятельно улыбнулся Судейкин.

— Что-с рассказывать-с-с-с-с? — застряв на этом последнем «с», он сипел, как чайник, и никак не мог остановиться.

— А вы не сыскайте, — еще обаятельнее улыбнулся Судейкин. — Вы просто расскажите, когда, при каких обстоятельствах вы вступили в так называемую русскую социально-революционную партию, что вас к тому побудило, кто ваши сообщники, под какими фамилиями и где проживают?

Со светлой улыбкой Судейкин наблюдал за переменами в лице собеседника.

— Милостивый государь! — поднимаясь, медленно багровел начальник дистанции. — Я, милостивый государь... Вы милостивый госуда-да-да-да... — не договорив, он подогнул колени и во всем своем великолепии рухнул на пол вместе со стулом, за который в последний миг схватился.

— Черт побери, однако, — пробормотал Судейкин, с любопытством глядя на распростертое тело, — как одно слово может действовать на нервного человека! Эй, кто там есть! — крикнул он в сторону двери.

Просунулся тот же усатый жандарм.

— Поднять и привести в чувство! — приказал Судейкин, кивая на Щигельского.

Жандарм одной рукой поднял стул, другой схватил за ворот господина Щигельского, без особых усилий во-

друзил на прежнее место, пошлепал ладонью по щекам и отошел.

Щигельский открыл глаза и недоуменно огляделся, как бы не понимая, где он находится. Потом взгляд его остановился на Судейкине, он кое-что вспомнил и виновато улыбнулся:

— Я, кажется, немного того...

— Да, немного вздремнули, — охотно поддержал Судейкин. — Вы уж, господин Щигельский, ежели что, так на нас не сердчайте. Полицейская служба предполагает и всяческие полицейские уловки. А что поделаешь? Положение в нашем царстве-государстве, как бы это сказать помягче... сложное. Рыскают повсюду разные лохматые нигилисты, пуляют из револьверов, взрывают мины. Небось кое-что в газетках читали. В меня самого, господин Щигельский, стреляли; не знаю, как жив остался. Вот и этот ваш Семен Александров.

— Неужто нигилист? — недоверчиво покосился Щигельский.

— А то кто же? Нигилист чистой воды.

— А на вид такой скромный, тихий.

— Волк в овечьей шкуре. Ведь у некоторых людей, господин Щигельский, есть представление, что нигилисты какие-то особенные люди. А они обыкновенные, вроде нас с вами. Согласитесь, человеком часто движут обстоятельства. И при некоторых обстоятельствах самый благонамеренный индивид может схватиться за револьвер или бомбу. При иных обстоятельствах и вы могли бы стать таким же. Только вы, господин Щигельский, прошу вас, больше в обморок не падайте, это же я говорю только в порядке предположения. Да что вы, я сам, если бы судьба повернулась иначе, тоже мог бы стать на эту дорожку. Ведь я вам скажу, каждому хочется как-то проявиться, заявить возможно большему количеству публики: «вот он я». А как заявить? Не у каждого есть талант достичь успеха на военном поприще, либо в литературе, либо на сцене. На государственной службе подняться по служебной лестнице и вовсе трудно. Надо являться в присутствие, делать черную работу да еще лебезить перед начальством. А тут бомбу кинул или из пистолета пальнул — и вот ты весь на виду. И даже как будто и жизнь оправдана. Именно такое честолюбие, господин Щигельский, и движет многими нашими молодыми людьми. А поскольку все люди честолюбивы, то и

нигилиста можно подозревать в каждом. Почему, господин Щигельский, я и подумал, уж не заодно ли вы с ними. Тем более и улики, извините, говорят против вас. Вы только, пожалуйста, не волнуйтесь, но сами рассудите: как я должен понимать такой факт, что вы взяли на работу отъявленного революционера?

— Стало быть, вы меня и сейчас подозреваете?

— Что вы, господь с вами! — запротестовал Судейкин. — Я только говорю, что обстоятельства складываются таким образом, что можно на вас подумать... Где вы взяли этого самого Александрова и кто вам его рекомендовал?

— Одна дама.

— Дама? — удивился Судейкин. — Шерше ля фам. И кто же была эта дама?

— Брюнетка.

— Гм... Ценное сведение, — иронически заметил Судейкин. — А еще что вы о ней можете сказать?

— Одета была в бархатное платье, черное с белым воротничком и манжетами, в черной шляпе с пером.

— Так. Прекрасно. Теперь я был бы вполне вам признателен, если бы вы мне еще сообщили фамилию этой дамы, где она живет и чем занимается.

— Где она живет я не знаю и чем занимается тоже. А фамилия ее то ли Войницкая, то ли Новицкая, забыл.

— И напрасно, господин Щигельский, напрасно, — сладко промурлыкал капитан. — Ведь, прямо вам скажу, лучше вам сразу вспомнить, самому. Вспоминать с нашей помощью не все любят.

— Вы, господин офицер, забываетесь! — вспылил Щигельский. — Я двадцать пять лет служу верой и правдой царю и отечеству, имею многие благодарности от вышестоящего начальства, и я не позволю...

— Простите, господин Щигельский, виноват. Но посудите сами, что я могу о вас подумать? Приняли на службу государственного преступника по рекомендации дамы, о которой сказать ничего не можете. Скажите, откуда взялась эта дама, и я вас оставляю в покое.

Щигельский помолчал, поковырял пальцем обивку стула, посмотрел в окно.

— Ко мне ее прислал барон Унгерн-Штернберг, — сказал он неохотно.

— Барон Унгерн-Штернберг? — равнодушно переспросил Судейкин.

— Да, он.

— Почему же вы сразу не сказали?

— А потому, господин офицер, что ежели вы его притянете к этому делу, ему ничего не будет, а меня он уволит со службы. А я двадцать пять лет верой и правдой...

— Слышал, — оборвал Судейкин. — А по какому случаю барон прислал к вам эту таинственную записку?

— Откуда мне знать? Пришла, принесла от барона записку.

— Она у вас сохранилась?

— Нет.

— Допустим. И что же было в этой записке?

— В этой записке барон просил, если есть вакансия, устроить дворника этой дамы, поскольку жена дворника больна туберкулезом и нуждается в свежем воздухе.

— В свежем воздухе, — усмехнулся Георгий Порфирьевич. — В динамите нуждалась она, господин Щигельский.

Судейкин снова уткнулся в свои бумаги, что-то там писал, поправлял, подчеркивал. Потом поднял голову, удивился:

— Вы все еще здесь?

— Разве я могу быть свободным?

— Пока можете.

Щигельский вскочил на ноги и с несолидной поспешностью кинулся к дверям. — «Эк, какой пряткий!» — усмехнулся Судейкин.

— Господин Щигельский, минуточку, — остановил он. — Так как же все-таки фамилия этой дамы, Войницкая или Новицкая?

— Иваницкая, — счастливо вспомнил Щигельский. — Поверите, совсем было запамятовал, а тут вы неожиданно спросили, и сразу вспомнил.

— Вот видите, — улыбнулся Судейкин. — Значит, действительно с нашей помощью можно кое-что вспомнить. До свидания, господин Щигельский. Желаю удачи.

Барона Унгерн-Штернберга Судейкин не стал к себе вызывать, сам явился к нему с визитом. Отослав швейцара со своей карточкой, Георгий Порфирьевич расхаживал по тесной приемной. Барон принадлежал к известной дворянской фамилии, был одним из влиятельных

лиц на Юго-Западной железной дороге, зятем генерал-губернатора Тотлебена. Готовясь к предстоящему разговору, Судейкин даже несколько волновался. Собственно, в данном случае трудно было не волноваться. В этом занятом деле с пропавшим Семеном Александровым некоторые нити вели к барону Унгерн-Штернбергу. Георгий Порфирьевич не то чтобы сразу всерьез заподозрил барона в связях с террористами, более того, он в это даже вовсе не верил, но надежда, слабая надежда все же была. Расхаживая по приемной, Судейкин сопоставлял известные ему факты и все ближе подходил к мысли, что было бы совсем недурно уличить зятя одесского генерал-губернатора в терроризме. Чем крупнее фигуры, участвующие в заговоре, тем крупнее сам заговор. А чем крупнее заговор, тем крупнее заслуга, тем крупнее вознаграждение. Впрочем, его интересовало не только вознаграждение в буквальном смысле. Разумеется, он желал и прибавления жалования, и повышения в чине. Но не только ради этих мелких благ старался наш Георгий Порфирьевич, его поступками двигало и другое. Дело в том, что он имел прирожденную страсть к полицейскому сыску. Георгий Порфирьевич трудился на избранном поприще, в первую очередь, по велению своего сердца. В данном случае и то и другое счастливо совпадало.

— Их превосходительство заняты, просили обождать, — сказал, вернувшись, швейцар.

— Ах вот как! — удивился Судейкин. Отодвинув его в сторону, он распахнул дверь, обитую желтой кожей, и застал барона врасплох — тот чистил ногти.

Барон вскинул удивленные глаза на слишком смело-го посетителя.

— Прошу прощения, барон, — расшаркался Судейкин, — но вынужден вас потревожить.

— Разве вам не передали мою просьбу обождать?

— Передали, — кивнул головой Судейкин. — Однако ожидать окончания вашего важного дела, — сказал он, бросая красноречивый взгляд на набор маникюрных инструментов, — не имею возможности.

— Однако ж не кажется ли вам, что вы слишком бесцеремонны, — пробормотал барон. — Вы забываете, с кем имеете дело.

— Не забываю. О ваших родственных связях вполне осведомлен. Однако, имея особые полномочия, нахожу нужным настаивать на немедленной аудиенции.

— Садитесь, — кивнул барон на кресло перед столом.

У барона Судейкин пробыл недолго. Во время разговора он выяснил следующее. Как-то осенью к барону явилась неизвестная ему молодая дама просить за своего дворника, жена которого якобы страдает туберкулезом и так далее. Барон, по его словам, принял просительницу хмуро, сказал, что устройством каждого сторожа он не ведает и что ей надо обратиться к кому-либо непосредственно нанимающему сторожей, а именно к кому-нибудь из начальников дистанций. Однако дама оказалась очень настойчива и упростила барона черкнуть записку к Щигельскому, что, собственно говоря, он, барон, и сделал, без особого, впрочем, энтузиазма. Он действительно написал такую записку, но в очень осторожных выражениях, давая Щигельскому понять, что записка эта его ни к чему не обязывает.

Покуда Судейкин наводил в Одессе справки насчет Семена Александрова, из Петербурга пришло сообщение, что под фамилиями Чернышева и Побережской скрывались члены недавно организованной партии «Народная воля» Александр Квятковский и Евгения Фигнер. Задержанный под Елисаветградом неизвестный иудей тоже открыл свое имя — Григорий Гольденберг, убийца харьковского генерал-губернатора князя Кропоткина. Истинных фамилий участников подкопа и взрыва царского поезда под Москвой покуда открыть не удалось, однако по некоторым сведениям есть основания подозревать, что роль хозяйки дома Сухоруковой играла Софья Перовская, дочь бывшего петербургского губернатора. Все эти сообщения косвенно подтверждали догадку Судейкина насчет дамы, которая так настойчиво хлопотала об устройстве Семена Александрова с его больною женой. Уж не та ли это самая Лихарева, которая скрывалась из Петербурга?

В сейфе Судейкина была особая полочка. На ней лежали одинаковые синие папки, содержащие сведения о лицах, которые особенно разжигали любопытство Судейкина. Порывшись на этой полке, он извлек и положил перед собой на стол папку с надписью: «Вера Николаевна Филиппова-Фигнер». В папке хранилось несколько

листочков, к первому из которых была аккуратно припиlena желтая фотографическая карточка.

— Недурна, — самому себе сказал Судейкин. — Очень недурна.

— Ну что ж, Вера Николаевна, — продолжал он, обращаясь к пустому стулу, — рад, чрезвычайно рад знакомству. Наслышан, начитан, однако, — капитан развел руками, — в вашей, так сказать, биографии есть несколько неясных моментов. Что нам известно? Дворянка, родилась в Казанской губернии, окончила Родионовский институт, вышла замуж за судебного следователя господина Филиппова. Типичная судьба дворянской девицы. Затем начинается нетипичное. Поехала в Швейцарию, училась в Цюрихе, затем в Берне, недоучилась, вернулась, развелась с мужем, работала фельдшерницей в Самарской и Саратовской губерниях; после покушения Соловьева отбыла в неизвестном направлении и теперь нигде не значится. Как же так, милейшая? — Судейкин поднял брови и изобразил на своем лице выражение крайнего удивления. — Как же это может быть, чтобы в нашем государстве человек нигде не значился? Теперь далее. Есть несколько вопросов, на которые хотелось бы получить ответ. По имеющимся у нас сведениям, вышеупомянутый Соловьев посетил вас там же, в Саратовской губернии, в Петровском уезде. Для чего? Ну и, наконец, ваша сестра Евгения Николаевна, к которой я лично отношусь с великим почтением и которая проживала вместе с вами в Петровском уезде, ныне арестована с подложным паспортом на имя Побережской в Петербурге. В квартире обнаружены нелегальная литература и запасы динамита. Интересно? Очень. Вместе с Побережской арестован господин Чернышев, он же Квятковский, а вот госпожа Лихарева, ранее проживавшая с ним в одной квартире, испарилась. И это еще не все, уважаемая Вера Николаевна. — В голосе Георгия Порфирьевича зазвучала торжествующая нотка. — Словесное описание внешности госпожи Лихаревой, полученное от дворника и пристава, вполне совпадает с вашим портретом. Таким образом, я, почти не боясь ошибиться, пишу на вашей папочке: «Вера Николаевна Филиппова-Фигнер, она же Лихарева, она же...». Насчет того, кто «она же» еще, у меня тоже есть некоторые соображения, о которых я, однако, пока, — Судейкин хитро подмигнул стулу, — умолчу-с. Да-с. А за сим, Вера Ни-

колаевна, позвольте пожелать вам доброго здоровья и пожалуйста на свое место, надеюсь, до скорой встречи. — Он завязал на папке шелковые тесемочки и положил ее в сейф поверх других папок.

Вечером того же дня к хозяйке мебелированных комнат в доме 66 по Екатерининской улице явился весьма приличный человек в пальто с енотовым воротником и спросил, не может ли он снять здесь комнату или две с отдельным входом и кухней. Видя в пришедшем солидного клиента, хозяйка провела его во второй этаж, где у нее как раз недавно освободилась квартира из двух комнат. Клиент оказался довольно капризным, он придирчиво оглядел обе комнаты, заглядывал под кровати, в платяной шкаф, заявляя, что терпеть не может клопов и мышей. При осмотре кухни клиента заинтересовало большое жирное пятно на столе. Это пятно посетитель долго разглядывал, потом, наклонившись, понюхал и, уловив запах нитроглицерина, поморщился.

— Чем пахнет? — строго спросил посетитель.

Хозяйка наклонилась, понюхала и улыбнулась посетителю:

— Ничем не пахнет.

— Смертью пахнет, — сказал посетитель и, стукнув кулаком по столу, закричал: — Говори, старая вобла, где прячешь нигилистов?

По тону хозяйка сразу определила служебную принадлежность посетителя и заняла плаксивым голосом, прикладывая батистовый платочек к глазам:

— Не знаю я никаких гилистов. Тут две людены жили, чоловік с жинкой, и обое дворяне.

На вопрос, куда делись, хозяйка отвечала, что две недели назад неожиданно выехали, заплатив за месяц вперед, потому что зимой постояльцев найти очень трудно. Куда уехали, она не знает. Посетитель продолжал стучать кулаком по столу и кричать. Вконец перепуганная хозяйка отвечала сбивчиво и невпопад, но в предъявленной ей фотокарточке опознала свою жилищу. Что касается мужа жилищи, то хозяйка сказала, что он «на личность такой чернявый» и любит апельсины.

— С бородой? — спросил Судейкин (а это, конечно, был он).

— Та вонь уси с бородами.

— Кто «уси»?

Хозяйка сказала, что приходили еще несколько чело-

век, но надолго не задерживались, в поведении их ничего подозрительного не замечалось.

— Був ще одын жидочек, — сказала хозяйка. — Прихав з малым чемойданом, а уезжав з великим. Чижолый був чемойдан.

— Откуда ж ты знаешь, что он был тяжелый? — насторожился Судейкин.

— Та це ж каждому видно! Он нес його, на бик перехлявсь. А потом у другу руку визьме, на другой бик перехляется. Я у викно дывылась и ще подумала: чи золото вин несе, чи шо?

Впоследствии Георгий Порфирьевич Судейкин выяснит, что под именем Семена Александрова скрывался член Исполнительного комитета «Народной воли» Михаил Фроленко, тот самый Фроленко, который, устроившись надзирателем в Киевскую тюрьму, вывел из нее среди бела дня сразу трех опаснейших государственных преступников: Стефановича, Дейча и Бохановского, тот самый Фроленко, который принимал участие в дерзкой попытке освобождения революционера Войнаральского, тот самый, который впоследствии... Впрочем, впоследствии выяснится многое. Выяснится, что роль жены Александра исполняла Татьяна Лебедева, тоже член Исполнительного комитета, что жильцом меблированных комнат на Екатерининской улице, который любил апельсины, был не кто иной, как Николай Кибальчич. А пока Георгий Порфирьевич был доволен и малым и, возвратясь к себе в кабинет, достал опять синюю папку и дописал к совсем еще небольшому списку фамилий Фигнер: «она же Иваницкая».

Глава двенадцатая

То, что так хотел знать капитан Судейкин, знал задержанный под Елисаветградом Григорий Гольденберг. Он знал, что Исполнительный комитет только что организованной партии «Народная воля», приняв решение о цареубийстве, немедленно приступил к делу. Предполагалось, что царь из Крыма отправится пароходом в Одессу, а уже из Одессы поездом в Петербург. Поэтому именно Одесса и была избрана первым пунктом. Фигнер, уехав в сентябре из Петербурга, вместе с Николаем Кибальчичем держала теперь нелегальную квартиру на

Екатерининской улице, где Кибальчич изготавливал динамит. Фроленко и Татьяна Лебедева устроились на железную дорогу. Здесь они должны были произвести подкоп, заложить динамит и взорвать царский поезд. В ноябре в Одессе появился Гольденберг. Он привез известие о том, что царь поедет из Симферополя и в Одессу не заедет, взял динамит и повез в Москву, но по дороге был арестован. Вторым местом намеченного покушения был Александровск. Здесь под видом купцов Черемисовых, желающих открыть кожевенное производство, поселились Желябов и Анна Васильевна Якимова. Им помогали рабочие Иван Окладский¹ и Макар Тетерка. В ноябре на четвертой версте от Александровска были заложены две мины с магнезиальным динамитом.

16 ноября (этого уже не знал и Гольденберг) из Симферополя приехал Андрей Пресняков и сообщил, что царский поезд проследует через Александровск 18 ноября.

18 ноября Желябов, Окладский, Пресняков и Тихонов выехали в поле в телеге, на которой лежала гальваническая батарея и спираль Румкорфа. При приближении царского поезда они соединили провода, идущие от мины, с батареей. Как только поезд подошел к тому месту, где была заложена мина, Желябов соединил концы проводов, но взрыва почему-то не произошло, и поезд благополучно проследовал дальше.

Теперь вся надежда была на Москву. Именно здесь, а точнее, на третьей версте Московско-Курской железной дороги под видом супругов Сухоруковых поселились Лев Николаевич Гартман и Софья Львовна Перовская. Из купленного ими дома Лев Гартман, Степан Ширяев, Александр Михайлов, Николай Морозов и некоторое время Гольденберг в течение двух месяцев вели грандиозный подкоп. Работали в невыносимых условиях, стоя, а иногда и лежа в ледяной грязи. Осень была дождливая, подкоп заливало, приходилось вычерпывать тысячи ведер воды. А наверху, в доме, дочь бывшего петербургского губернатора готовила пищу и держала при себе револьвер. В ее обязанности входило, если ворвется полиция, выстрелом из револьвера взорвать бутылку с нитроглицерином и похоронить всех под обломками. Несмот-

¹ Иван Окладский стал впоследствии провокатором, в течение 37 лет сотрудничал с царской охранкой и был судим советским судом в 1925 году.

ря на то что все делалось своими руками, на сооружение подкопа было потрачено около сорока тысяч рублей.

Вечером 19 ноября 1879 года от взрыва мины потерпел крушение поезд, с большой скоростью подходивший к Москве. Но это был не тот поезд, к встрече которого так долго готовились супруги Сухоруковы и их гости. И третья, труднейшая попытка окончилась неудачей.

О взрыве под Москвой Вера узнала из газет, а потом уже подробно от товарищей.

Покуда дотошный Георгий Порфирьевич Судейкин наводил о ней справки, она жила тут же, в Одессе. После несостоявшегося здесь покушения Фроленко, Лебедева и Кибальчич уехали из города, а она только перебралась на другую улицу. Исполнительный комитет поручил ей вести пропаганду среди здешней молодежи.

Некто Батышков, крестьянин Олонецкой губернии, вот уже несколько месяцев служил в Зимнем дворце столяром. Он был искусный мастер, и ему поручали самые сложные работы, даже в царской столовой. Столяр работал добросовестно и с удивлением наблюдал окружающую его жизнь. Пока император пребывал в Ливадии, в столичном дворце царил неслыханный беспорядок. Если через парадные двери могли пройти только самые высокопоставленные лица, да и то лишь после тщательной проверки, то через черный ход проходил кто угодно, пользуясь малейшим знакомством с любым из слуг. Во дворце процветало воровство: слуги тащили вино и другие припасы из царских погребов и прямо здесь устраивали праздники, свадьбы и просто попойки. Воровство здесь было настолько общепринято, что и Батышкову пришлось подворовывать, чтобы не навлечь на себя подозрений. Вскоре он стал здесь совсем своим человеком, к рождеству ему было выдано сто рублей премии, а жандарм, следивший за столярами, узнав, что новый столяр холост, делал к нему всяческие подходы, желая выдать свою дочь за хорошего человека. Если бы жандармы потрудились проследить, с кем Батышков встречается вне дворца, они могли бы сделать весьма любопытные наблюдения. Они могли бы выяснить, что скромный столяр встречался с государственным преступником Квятковским. Именно у Квятковского Батышков получал динамит. После ареста Квятковского Батышков стал встре-

чатся с другим человеком, которого называл Тарасом. Они встречались, и Тарас при каждой встрече передавал Батышкову новую порцию динамита. Батышков каждый раз был недоволен, требовал еще.

— Хватит, — однажды сказал Тарас. — Уже почти четыре пуда.

— Мало, — настаивал Батышков. — Нужно еще.

— Нужно, — сказал Тарас, — думать о людях. Там солдаты, они ни при чем. Лишних жертв нам не надо.

— Надо! — Батышков сердился, и румянец пылал во всю щеку. — Надо, чтоб было наверняка. Так ахнуть, чтобы на всю Россию.

— Хватит, хватит, — успокоил Тарас. — Хватит и на Россию, и на Европу. Когда ждать?

— Не знаю, — помрачнел столяр. — Жандарм сидит неотлучно. Но ничего-о! — В голосе столяра прозвучала угроза. — Все равно устроим. Такого треску наделаем, такого дыму напустим...

После этого разговора каждый вечер в один и тот же час они встречались на улице. Батышков проходил мимо Тараса мрачнее тучи и нервно бросал:

— Не удалось. Невозможно!

Но 5 февраля он появился веселый и быстро сказал:

— Готово!

В тот же момент из окон Зимнего вырвалось пламя и раздался оглушительный треск. Свет во всех окнах погас, и на площади стало темно.

Со всех сторон раздался крики, и люди, видевшие, что произошло, кинулись ко дворцу. Батышков тоже рванулся туда. Он стоял в толпе и жадно смотрел, как выносят из дворца раненых и убитых. По толпе расползались первые слухи. Говорили о гибели всей царской семьи. Что касается солдат конвойного Финляндского полка, называли разные цифры. Сто... Двести... Пятьсот... Звеня в колокольцы, прикатили пожарные. С трудом разыскав Батышкова в толпе, Тарас, он же Андрей Желябов, взял его за локоть. Столяр инстинктивно рванулся.

— Это я, — шепнул Желябов. — Пошли отсюда, и как можно скорей.

В конспиративной квартире на Большой Подьяческой их встретила маленькая женщина с горящей папирской — Анна Якимова.

— Все в порядке, — ответил Желябов на ее вопроси-

тельный взгляд. — Дай чаю и постели, ему надо отдохнуть.

— Ладно, — сказала Якимова и вышла из кухни.

— Нет, — запротестовал Батышков. — За мной сейчас придут! Дайте револьвер! Я ни за что не дамся живым!

— Не бойся, — успокоил Желябов. — Видишь банки в углу? Это динамитные бомбы. На всех хватит, на нас и на них.

Когда Якимова вернулась из кухни с самоваром, столяр уже спал. Во сне он стонал и скрипел зубами. Якимова осторожно поставила самовар на стол, раскурила погасшую папироску и села спиной к столу, задумчиво глядя на спящего Батышкова.

Впрочем, какой там Батышков! Степан Халтурин, вот кто был перед ней.

В тот же вечер, немного позднее, стали известны некоторые подробности. Взрыв произошел в тот самый момент, когда царь со всей семьей и со своим гостем принцем Гессенским входили в столовую. В помещении этажом ниже было убито и искалечено около полусотни конвойных солдат. В столовой попадала посуда, но все, кто там находился, отделались легким испугом. Судьба и на этот раз пощадила монарха.

Глава тринадцатая

Его вызвали на допрос после завтрака. Два жандарма (один спереди, другой сзади) провели арестанта по длинным, зигзагами, коридорам, затем первый из них открыл обитую коричневой кожей дверь и отступил, пропуская его. Арестант переступил порог и зажмурился. За время долгого сидения в тюремной камере он отвык от яркого света. Открыв глаза, он увидел перед собой широкий стол, покрытый зеленым сукном, и огромный портрет государя, изображенного во весь рост в мундире, ослепительно начищенных сапогах и белых перчатках. На фоне этого величественного портрета особенно невзрачно выглядел маленький человек в вицмундире судебного ведомства. Человек выкатился из-под портрета и, став несколько крупнее, с приветливой улыбкой пошел навстречу.

— Очень и очень рад! — от души сказал он. — Позвольте представиться: прокурор Добержинский.

Приветливо протянутая рука прокурора повисла в воздухе.

— Ах, да, простите, — глядя на руки арестанта, пробормотал он. — Я совсем забыл. — И повернулся к конвойным: — Снимите, пожалуйста, это и выйдите.

Должно быть, даже произносить слово «наручники» прокурору было неприятно.

— Черт подери, — сказал он, когда конвойные вышли, — как-то до сих пор у нас не могут без этого. Я понимаю, конечно, у них, — прокурор как бы отделял себя и арестанта от «них», — свои инструкции, но это уж усердие не по разуму.

Он вернулся на свое место под портретом и жестом указал арестанту на стул по другую сторону стола:

— Прошу садиться. Желаете чаю, папирос?

Арестант усмехнулся:

— С жандармами не имею привычки ни пить, ни курить.

Добржинский удивленно посмотрел на него и болезненно поморщился:

— Да, я понимаю. Разумеется, я, в виду моей принадлежности к определенному ведомству, не могу рассчитывать на ваше расположение. Однако не скрою, у меня есть надежда разрушить хотя бы частично эту преграду. Кстати, вы, вероятно, этого не знаете, но могу вам сказать почти с уверенностью, что корпус жандармов будет упразднен в самое ближайшее время.

Сообщение подействовало, арестант поднял голову и недоверчиво посмотрел на прокурора.

— Не верите, — устало улыбнулся Антон Францевич. — Действительно, трудно поверить. Но, как ни странно, это так. И вообще, с приходом к власти графа Лорис-Меликова, вы знаете, многое меняется на глазах. Но коренные перемены впереди. Да, — вздохнул он, — много было глупостей наделано в прошлом, теперь с этим пора кончать. Правительство наконец-то поняло, что социальное движение родилось не от прихоти отдельных людей, а в результате исторической необходимости. Правительство, насколько мне известно (а мне известно многое), готово пересмотреть свою политику. Но как? Разве можно производить какие бы то ни было преобразования в такой обстановке? Выстрелы, взрывы, убийства. Разве может правительство проводить в жизнь серьезные реформы в то время, как оно должно постоянно

обороняться от ваших товарищей? Да, — грустно покачал головой прокурор, — понимаете, Григорий... Извините, что я называю вас по имени. Мой возраст дает мне это право. Я просто как отец... вы понимаете, жаль, что все так складывается. Происходит ужасная трагедия. Есть честные люди в правительстве, есть честные в среде революционеров, и вместо того, чтобы объединиться для пользы отечества, они воюют друг с другом, и льется напрасно кровь. Скажу прямо, если б я знал, где находятся ваши товарищи... нет, я бы их не стал выдавать... я пошел бы к ним и сказал: «Господа, ради бога, остановитесь! Подождите немного, дайте правительству спокойно осуществить все то, чего вы хотите добиться бомбами». Да, жалко людей. Идет бессмысленная война. Гибнут люди. Гибнут молодые, способные, достойные лучшей участи... Их можно спасти. Для этого надо избавиться от предрассудков. Надо соединить свои усилия.

— И изловить революционеров, — насмешливо сказал арестант. — Напрасно вы стараетесь, господин прокурор. Ваши уловки мне известны, и не надо разыгрывать передо мной весь этот спектакль. Ведь я все равно не верю ни одному вашему слову. Все вы врете, господин прокурор.

— Вот как? — прокурор обиженно посмотрел на собеседника. Потом порылся во внутреннем кармане куртки, вынул и положил перед арестантом выцветший дагерротип, на котором изображены были две девочки, две одинаковые малышки в белых платьицах с белыми бантиками.

— Вот, — сказал прокурор волнуясь. — Если я их обманываю, то как я потом посмотрю им в глаза? Эх, Григорий! — Он встал и, заложив руки за спину, прошелся по кабинету. — Жаль, очень жаль, что мы с вами не можем найти общего языка. Но мы еще поговорим.

А почему бы, собственно, и не поговорить? Прокурор живет не в одиночной камере, а в своей прекрасной квартире. И, вызывая арестанта каждое утро к себе в кабинет, он ведет неторопливый проникновенный разговор и вносит смятение в душу своего собеседника.

А разговор все о том же. Правительство готово пойти на самые серьезные социальные преобразования. Но оно не может идти на них под угрозой насилия. Если нигилисты действительно озабочены судьбой России, они

должны сложить оружие. Для того чтобы правительство могло действовать на благо отечества, оно должно знать, что представляет собой социально-революционная партия, ее состав, ее планы. Нет, не для того чтобы расправиться с ней. Правительство вовсе не намерено казнить нигилистов. Правительство состоит не из кровожадных зверей. Оно устало от крови и хочет мира, и только мира. Но для достижения мира оно должно знать размеры опасности. Сообщить все, что ему известно о партии, — не предательство, а мужество и долг арестанта...

Арестант пока молчит. Молчит в кабинете прокурора, потому что не верит ему. Но своему соседу по камере Федору Курицыну, который выдает себя за революционера и единомышленника, он верит и многое рассказывает ему, а тот — прокурору. А прокурор, не проявляя своей осведомленности, продолжает изо дня в день вести доверительный разговор по душам. Охотно рассказывает о себе, о своих малышах. Понимая тяжелое положение арестанта, приказывает удлинить прогулки. Даже разрешает матери пожить с сыном в камере. Конечно, это против всех правил. Но Добржинский не только прокурор, но и человек. Отчего бы и не облегчить чужие страдания, если это в его силах! И на мать он производит самое лучшее впечатление. Удивительно: прокурор, а с какой трогательной заботой, с каким беспокойством говорил о ее сыне!

И арестант не остается равнодушным к усилиям прокурора. В смятенную душу вкрадываются сомнения. В том, что говорит прокурор, есть какой-то резон. Может, действительно, тот путь, о котором он говорит, есть единственная возможность соединить все усилия для блага России? Благо России... Ради него он жертвовал своей жизнью, теперь пожертвует и своим добрым именем. Пусть его проклянут товарищи. Но когда-нибудь они поймут, что так было надо.

И арестант делает новый шаг к пропасти:

— Велите отвести меня в камеру, дайте бумагу, чернил, я подумаю.

Делопроизводитель Третьего отделения собственной его величества канцелярии Николай Васильевич Клеточников укладывал обработанные бумаги в разноцветные папки и аккуратными бантиками завязывал шелковые

тесемки, когда его вызвал к себе господин Кириллов, начальник 3-й экспедиции.

— Николай Васильевич, — сказал Кириллов виновато, — опять придется задержаться. Надо срочно переписать важный материал для царя, а, кроме вас, поручить некому.

Николай Васильевич снискал уважение начальства своим каллиграфическим почерком и тем, что с одинаковым прилежанием относился к любой работе. Клеточников был одинок, слаб здоровьем, не пил, не увлекался женщинами, и, если его просили остаться вечером для срочной работы, он не отказывался.

Получив от Кириллова нужные бумаги, Клеточников вернулся на свое место. Сосед его, запиравший ящики, сочувственно посмотрел на Николая Васильевича:

— Опять?

— Опять, — вздохнул Клеточников.

— Слишком старательный ты, Николай. Оттого на тебе и воду возят.

Клеточников ничего не ответил. Подождав, покуда сосед уйдет, он выпил бутылку молока с французской булкой, очинил перья, положил слева от себя бумаги, полученные от Кириллова, а прямо перед собой стопку чистой гербовой бумаги. И своим четким каллиграфическим почерком начал вычерчивать букву за буквой:

«...Зовут меня Григорий Давидов Гольденберг, от роду имею 24 года, вероисповедания иудейского, еврей, сын купца 2-й гильдии, родился в Бердичеве, в последнее время постоянного местожительства не имел, определенных занятий не имел, жил средствами революционной партии, холост, родители занимаются торговлей сукна в Киеве, где имеют свой магазин...»

Букву за буквой, слово за словом переписывал Клеточников срочную бумагу. Он только один раз оторвался, чтобы зажечь лампу, потер занемевшую в запястье руку и снова склонился над столом.

«...Воспитывался в киево-подольской классической прогимназии на счет родителей, выбыл из четвертого класса, оставив заведение по собственному желанию; за границей не был; формально к дознанию не привлекался, но в 1878 году меня допрашивали в Киеве по подозрению участия в покушении на убийство товарища прокурора Котляревского; судим по этому делу не был, а выслан административным порядком 13 апреля 1878 года в город

Холмогоры Архангельской губернии, откуда 22 июня того же года бежал...

...Я решился на самое страшное и ужасное дело: я решился употребить такое средство, которое заставляет кровь биться в жилах, а иногда и горячую слезу выступить на глазах. Я решился подавить в себе всякое чувство озлобления, вражды (к чему призываю всех своих товарищей) и привязанности и совершить новый подвиг самоотвержения для блага той же молодежи, того же общества и той же дорогой нам всей России. Я решился раскрыть всю организацию и все мне известное и таким образом предупредить все то ужасное будущее, которое нам предстоит в виду целого ряда смертных казней и вообще репрессивных мер.

Решившись дать полные и обстоятельные показания по всем делам, в которых я обвиняюсь, я руковожусь не личными видами и не стремлюсь путем сознания достигнуть смягчения собственной участи. Я всегда был далек от личных интересов, находясь вне тюремных стен, и теперь я далек от эгоистических побуждений...

Во всяком случае, я твердо уверен, что правительство, оценив мои добрые желания, отнесется спокойно к тем, которые были моими сообщниками, и примет против них более целесообразные меры, чем смертные казни, влекущие за собой только одни неизгладимо тяжелые последствия для всей молодежи и общества. Я верю, что правительство исследует беспристрастно причины, вызвавшие революционное движение, и по возможности спокойно отнесется к виновникам печальных событий, в которых, однако, они шли под влиянием своих гражданских убеждений, а не под влиянием каких бы то ни было личных выгод.

Переходя к фактической стороне дела, я изложу сведения, относящиеся к тем преступлениям, в которых я принимал участие, причем для последовательности начну с убийства князя Кропоткина...»

С Петром Ивановичем Клеточников встречался только у Натальи Оловенниковой на Васильевском острове. Следующая встреча была назначена на воскресенье, а нынче был понедельник. До воскресенья ждать долго, а дело спешное. Как быть? Клеточников вспомнил, что в прошлый раз Петр Иванович говорил о том, что в поне-

дельник собирается пойти к известному писателю Константину Семеновичу. Дом Константина Семеновича всегда был открыт для всех. По вечерам в гостиной толклись самые разные люди: литераторы, артисты, адвокаты, нигилисты, офицеры... Бывал там раньше и Николай Васильевич, но сейчас... запрет нарушать нельзя, это он понимал. Но, не видя другого выхода, все же отправился вечером к писателю. Как он и ожидал, народу в доме было очень много. Клеточников подошел к одной группе, потом к другой, где был и Петр Иванович, не обративший на Клеточникова внимания, наконец, отошел в сторону и сел в кресло перед столиком, на котором были разбросаны шашки.

— Помилуйте, — роняя пенсне, возмущался пожилой господин. — Я все понимаю. Щедрин в форме сказок пишет сатиру на наши порядки и прочее. Но какое отношение это имеет к литературе?

— Не могу согласиться, — донесся голос Скурлатского. — По-моему, Михаил нашел прекрасную форму для того, чтобы говорить правду тем, кто ее не любит слушать. — (Пожилой господин вздрогнул и опять уронил пенсне). — Я и сам подумывал о чем-то подобном, впрочем, мы с Михаилом неоднократно обсуждали эту идею, и вот...

Что помешало Скурлатскому осуществить эту идею, Клеточников уже не расслышал, потому что его заслонил хозяин дома, прогуливающийся по зале с высоким, лысым, шишковатоголовым профессором медицины, который, как говорили, изобрел универсальное средство от рака и, как светило первой величины, был желанным гостем всех салонов. Профессор убеждал своего собеседника написать что-нибудь о врачах, потому что до сих пор о людях этой благороднейшей из профессий написано до обидного мало.

Подошла женщина с папироской и, сев напротив Клеточникова, пустила облако дыма прямо ему в лицо. Клеточников сморщил нос и закашлялся.

— Мне знакомо ваше лицо, — сказала дама. — Вы тоже литератор?

— Я? В некотором роде... То есть нет, — смешался Клеточников.

— Нет? — удивилась дама. — А кто же вы?

— Я, собственно говоря, никто. Просто пришел.

— Вы где-нибудь служите? — продолжала она назойливо допытываться.

— Да, служу.

— И где же?

— В Третьем отделении, — неожиданно для самого себя выпалил Клеточников.

Дама подавилась дымом и уставилась на него с ужасом. Но потом, осмыслив сказанное, улыбнулась и кивнула головой:

— А вы остроумный человек. Хотя я таких шуток не понимаю.

Дама продолжала благожелательно разглядывать своего визави. Клеточников смущенно молчал и отводил глаза. Молчала и дама. Наконец подошел Петр Иванович, и Клеточников облегченно вздохнул. Петр Иванович поклонился даме и предложил Николаю Васильевичу сыграть в шашки.

— С удовольствием, — сказал Клеточников.

— Петр Иванович, — сказала дама. — Ваш знакомый говорит, что служит в Третьем отделении. Правда, остроумно? Ха-ха, — как-то ненатурально засмеялась она.

— Очень остроумно, — сказал Петр Иванович, двигая вперед угловую шашку. — Николай Васильевич вообще очень остроумный человек. Вам бить, Николай Васильевич, а то, пожалуй, возьму «за фук».

Первую партию Клеточников проиграл. Стали играть вторую.

— Я вам не мешаю? — спросила дама, наблюдая за игрой без всякого интереса.

— Мешаете, — сказал Петр Иванович.

— Извините. — Обиженно передернув плечами, дама отошла.

Выждав, пока она удалится на достаточное расстояние, Петр Иванович сердито глянул на Клеточникова:

— Кто вам разрешил сюда приходить?

Клеточников сделал очередной ход и сказал вполголоса:

— Гольденберг дает показания.

Рука Петра Ивановича с поднятой шашкой вздрогнула.

— В-вы не ошибаетесь? — спросил Петр Иванович, он же Александр Дмитриевич Михайлов.

— Показывает все, что ему известно, — сказал Клеточников.

Глава четырнадцатая

В то время как Судейкин прослеживал путь подозреваемой в государственных преступлениях Филипповой-Фигнер, она продолжала жить в Одессе. Но уже не на Екатерининской, а на Ямской, и была она уже не Иваницкая, а Головлева Антонина Александровна.

Антонина Александровна вела пропаганду среди молодежи. Через здешнего писателя Ивана Ивановича Сведенцева она познакомилась с подполковником Пражского полка Михаилом Юльевичем Ашенбреннером. Очень скоро подполковник проявился вполне своим человеком. Впоследствии он станет одним из руководителей военной организации «Народной воли».

С рабочим Василием Меркуловым Вера познакомилась по рекомендации Николая Колодкевича. Меркулов часто приходил на Ямскую давать Вере уроки резьбы по камню.

— Не знаю, Вера Николаевна, зачем вы влезли в эту революцию, — говорил он, размеренно взмахивая молотком. — Работа эта трудная, даже потруднее, чем резать камень, а вы к черному труду не привыкли, потому что вы — интеллигенция. Вам нужны удобства, если вас лишить всяких удобств, то вы тут же и забудете всю вашу революцию.

— Да почему же я забуду?

— А потому, что вам всякие лишения кажутся красивыми только издалека, а к настоящим трудностям вы не приспособлены. Вот сравните ваши руки и мои. Вы не успели взять резец, у вас уже водянка на ладонях. А у меня мозоли вековые, и у отца моего были, и у деда. Нет, Вера Николаевна, если б от меня зависело, я бы интеллигенции запретил заниматься революцией. Потому что вы стоите за равенство, пока вас в это равенство не поставили, а как дойдет до дела, сразу от нас откажетесь. Революция нужна рабочим.

Если бы это говорил кто-нибудь другой, Вера наверняка бы обиделась. На Меркулова она не обижалась. «Он настоящий пролетарий, — думала она. — Всю жизнь прожил в нужде, всю жизнь его угнетали, и естественно, что он относится к таким, как я, с недоверием».

Она считала его честным и преданным делу человеком и поэтому однажды поручила ему поселиться на Со-

фийской улице, напротив канцелярии статс-секретаря Панютина, бывшего правой рукой генерал-губернатора графа Тотлебена.

— Вам поручается, — сказала она, — узнать, как выглядит Панютин, выяснить, в какое время он приходит в канцелярию и в какое время уходит. Делает ли прогулку среди дня, и кто его охраняет.

Меркулов загорелся:

— Панютина надо убить?

— Там видно будет, — уклончиво сказала Вера.

Догадаться, зачем нужно следить за Панютиным, Меркулову было нетрудно. Вся Одесса говорила об этом человеке, достойном выученике Муравьева-вешателя. Это он возглавил в Одессе облаву на всех, кто хоть сколько-нибудь подозревался в антиправительственных настроениях. Пошли повальные аресты среди учителей, литераторов и студентов. Он устроил грандиозный «процесс 28-ми» и отправил на виселицу пять человек. Он отличался грубым отношением к арестованным и их родственникам. Это он закричал беременной жене одного арестанта: «Убирайтесь! Вы, пожалуй, вздумаете родить здесь!» В одном из номеров «Народной воли» были подробно описаны дела этого страшного человека. Вот почему было решено с ним покончить.

Николай Саблин появился в Одессе в конце марта или в начале апреля 1880 года. Следом за ним приехала Перовская.

— Панютина отставить! — передал он решение Исполнительного комитета, принятое после отъезда Фигнер. — Есть птица поважнее: двуглавый орел собирается спуститься на эту землю.

— Александр едет в Одессу? — спросила Вера.

— Да. Во всяком случае, есть такой слух, и, кажется, вполне достоверный.

Вера заволновалась. Какое радостное известие! Какая неожиданная удача! Наконец-то настоящее дело, главное дело! Конечно, жалко отступить от Панютина. Уже все подготовлено. Но в конце концов черт с ним, с Панютиным! Не до него. Кто он такой по сравнению с Александром? Мелкая сошка.

Саблин был, как всегда, весел, беспечен, сыпал островами и анекдотами, читал в большом количестве свои стихи, правда почти все незаконченные.

Стихи, конечно, были хорошие, Вера всегда восхища-

лась талантом Саблина, но теперь хотелось слушать не стихи, а новости. Там, в Петербурге, происходит так много событий, о которых она знает только из газет и по слухам. Арест Квятковского, взрыв в Зимнем дворце, разгром типографии... С жадностью набросившись на Николая с расспросами, она чувствовала уже знакомое прежде волнение: только вот после таких неожиданных встреч с друзьями понимаешь, как стосковалась здесь, вдалеке от своих, как трудно быть одной, оторванной от них и от главного дела, когда все помыслы связаны только с ним. И, охваченная этим волнением, боясь пропустить слово, Вера слушала своего петербургского гостя...

Вслед за Саблиным и Перовской прибыли в Одессу Якимова и Григорий Исаев. Пригласили участвовать в деле и Меркулова. Два года спустя Меркулов станет предателем и даст подробные показания, которые будут изложены в обвинительном акте:

«...В начале 1880 года в гор. Одессе Меркулов при посредстве неразысканной до настоящего времени Веры Филипповой, урожденной Фигнер, сошелся с ...Софьей Перовской и с обвиняемым по настоящему делу Львом Златопольским, а затем познакомился с Григорием Исаевым, известным ему в то время под именем «Григория», с проживавшей с ним под видом жены Анной Якимовой и с... Николаем Саблиным. Весною того же года Перовская и Саблин под именем уманских мещан Петра и Марии Прохоровских наняли в доме № 47 по Итальянской улице лавку, в которой открыли торговлю бакалейным товаром. Из этой лавки при участии посещавших Саблина и Перовскую Меркулова, Исаева, Златопольского, Якимовой и Филипповой предположено было провести подкоп под полотно Итальянской улицы, с каковою целью в своем помещении, где производилась торговля, в левом углу за прилавком, в том месте, где ветхие половицы, зачиненные новыми досками, могли быть подняты без повреждения пола, была выкопана яма, из которой участники преступления намеревались с помощью бурава просверлить самый канал для мины. На этом, однако, и остановилось осуществление злодейского умысла, так как полученное известие о прибытии государя императора в Одессу через три дня заставило злоумышленников прекратить работы, которые не могли быть доведены до конца в столь короткое время. Вследствие этого вырытый уже вертикальный колодезь был засыпан, и затем,

24 мая, Прохоровские оставили нанятое ими помещение, отметившись выбывшими в гор. Полтаву...»

Итак, преждевременный приезд царя, новая неудача.

24 мая 1880 года Перовская и Саблин, закрыв свою лавочку, выехали из Одессы. Следом за ними и в том же направлении отбыли Якимова и Исаев. В июле в Петербург отправилась и Вера. Отправилась, не дождавшись назначенного ей на смену Тригопи.

Михайлов, к которому Вера явилась, встретил ее весьма сдержанно.

— Стало быть, приехали? — сказал он язвительно. — Очень хорошо, поздравляю от всей души. И что же вы здесь собираетесь делать?

— Что прикажет комитет, — скромно сказала Вера.

— А что вам комитет? — пожал плечами Дворник. — Когда вы уезжали из Одессы, вы не спрашивали мнение комитета и не стали дожидаться Тригопи.

— Дворник, милый, — Вера приложила руку к груди, — поймите, я там не могла больше оставаться ни секунды. Почти целый год я была оторвана от всех вас, совсем одна, не знала, что происходит. Это трудно.

— Ах, в-вам трудно! — возмутился Михайлов. — Тогда извините. У нас институт б-благородных девиц временно з-закрит. На ремонт.

— Дворник! — Она нетерпеливо топнула ногой. — Как вам не стыдно?

Михайлов посмотрел на нее с любопытством.

— Значит, не зря вас зовут Топни-Ножка, — улыбнулся он. — Эх, Верочка, милая, ч-черт знает что происходит, ни с кем нет никакого с-сладу. Один не хочет п-печати вырезать, потому что считает себя для этого слишком значительной фигурой, другая не хочет сидеть в Одессе, потому что ей трудно. Я на эти вещи смотрю иначе. П-поручит мне организация ч-чашки мыть — буду мыть чашки. И с таким удовольствием, как будто это самый интересный, т-творческий труд.

Глава пятнадцатая

Теплый осенний вечер. По узким кронштадским улочкам идут Фигнер и Желябов. Андрей идет уверенно, видно, что не первый раз здесь.

— Сейчас ты его увидишь, — говорит Андрей. — Дер-

жи себя в руках, чтобы не влюбиться с первого раза. Сня моя влюбилась. Я, конечно, ревную, но понимаю. Я и сам влюбился. Прекрасной души человек.

— Андрей, — улыбается Вера, — ты не замечаешь, что у тебя все люди прекрасные, замечательные и удивительные?

— Они такие и есть, — уверенно говорит Андрей. — Во всяком случае, те, кто с нами, все замечательные. Сама увидишь. Взять хотя бы того же Штромберга. Из ваших, из дворян. Барон. А уже сейчас готов на все. С Сухановым как раз труднее. Жизнь свою положить согласен, а вот террором заниматься не хочет. Хотя и колеблется. Употребил все свои женские чары. Он стоит того. — Желябов помолчал, улыбнулся. — Помню первую сходку. Заранее договорились, что в воскресенье Суханов соберет у себя несколько офицеров. Приходим с Колодкевичем. В гостиной десятка два морских офицеров. Я отзываю Суханова, спрашиваю: «По какому принципу вы собрали гостей?» — «По принципу порядочности. Не знаю, получатся ли из них революционеры, но, что не донесут, ручаюсь». — «И за это спасибо. Посторонних ушей не будет?» — «Нет. В этой комнате две капитальные стены, две другие выходят в комнату вестового. Он татарин, по-русски не понимает». Хорошо. Офицеры посматривают на нас настороженно, но с любопытством. Отрывочные разговорчики, остроты, смешки, общая неловкость. Видно, думают, что сейчас мы вроде чернопредельцев начнем с ними что-то туманное о пользе народной. Ну, ладно, думаю, сейчас я вам покажу, кто мы такие. Подмигиваю Колодкевичу, киваю Суханову, тот встает: «Вот, господа, позвольте вам представить моих товарищей Бориса и Глеба. Они хотят с вами поговорить. Я думаю, что, если даже разговор наш ни к чему не приведет, он будет полезным. Борис, начинай». Встаю я и сразу беру быка за рога: «Так как Николай Евгеньевич передал мне, что вы интересуетесь программой и деятельностью нашей партии, борющейся с правительством, то я постараюсь вас познакомить и с тою и с другой. Мы, террористы-революционеры, ставим своей целью...» Смотрю, мои слушатели сразу оторопели. Некоторые уже поглядывают на дверь, как бы поскорее смыться. А я жму дальше: «Мы боремся с существующим строем, мы верим в неизбежность революции. Если вы, отбросив предубеждения, посмотрите правде в глаза, вы увидите, что наши

требования честны и справедливы. Вы увидите, что средства, которые мы употребляем в нашей борьбе, единственно возможные». Вижу, мои слушатели загораются. И вот уже дошли до такого состояния, что, позови их, немедленно с оружием в руках выйдут на улицу. На другой день некоторые поостыли. Суханов мне говорил, один к нему прибежал, трясется от страха: «Я у тебя не был, ничего не видел, ничего не слышал, и больше меня на такие встречи не зови». Но другие, Верочка, уже почти все наши. Вот только террором не хотят заниматься. Призвать матросов к восстанию — пожалуйста. Встать на баррикады — с удовольствием. Но террор — фи, какая бяка! Так вот, Верочка, тебе надо закончить начатое. Мне от этого дела придется пока устраниваться.

Подойдя к одному из подъездов, Желябов оглянулся, нет ли «хвоста», и пропустил Веру вперед:

— Проходи.

В неуютной передней маленький, с воспаленными красными глазами матросик чистил пуговицы на офицерской шинели.

— Здравствуй, брат, — сказал Желябов. — Барин дома?

Матросик поднял голову, без удивления посмотрел на гостей и молча кивнул головой.

Вера прошла вслед за Андреем во вторую комнату, где жил сам хозяин. За столом пыхтел самовар. Хозяин дома, высокий моряк с усиками, с большими, несколько навывкате глазами, поднялся навстречу гостям.

— Все свои? — поздоровавшись, огляделся Желябов.

— Все свои, — подтвердил хозяин квартиры.

— В таком случае, позвольте представить. Елена Ивановна. Поскольку я вынужден заняться другими делами, связь между вами и Исполнительным комитетом будет осуществлять она.

— Ну, если Исполнительный комитет располагает и такими силами, — улыбнулся хозяин квартиры, — то тогда...

— Вот, собственно говоря, наш кружок. Эспер Александрович Серебряков, Александр Павлович Штромберг...

Беседа поначалу не клеилась. Но потом разговорились.

— Скажите, — волнуясь, спросил Веру розовощекий

молодой офицер. — А вы сами участвуете в террористических актах?

Вера растерялась, посмотрела на Желябова. Тот улыбнулся и незаметно подмигнул ей. Этим он давал понять, что его дело сторона, выкручивайся, мол, как знаешь.

— Может быть, я не должна вам этого говорить, — начала она, — но оставить ваш вопрос без ответа тоже не могу. Отвечу вам так: я никогда не стала бы призывать других к тому, в чем не участвовала бы сама.

Желябов засмеялся.

— Видали, какие у нас женщины? — весело спросил он сидевших в комнате. — То-то же. Ну, — он поднялся, — я вижу, почва для разговора найдена, мне здесь больше делать нечего.

Желябов ушел. Вера осталась.

С тех пор встречи с офицерами происходили регулярно. Здесь, в Кронштадте, а потом в петербургской квартире Суханова, на Николаевской улице. Офицеры стали ее любимыми товарищами. Энергичный и стремительный Суханов, немногословный, хрупкий телом, но твердый характером барон Штромберг, силач и красавец Рогачев, умный Буцевич, рассудительный и мягкий Похитонов, деятельный и настойчивый в достижении целей Дегаев. За чашкой чая, за бутылкой вина изо дня в день велись разговоры о том о сем, но все били в одну точку.

Ах, господа, вы не хотите заниматься террором, вы хотите честной открытой борьбы? Но вы хорошо знаете, что честная открытая борьба с правительством, у которого армия и полиция, невозможна. Так не являются ли ваши слова просто красивыми фразами? Не желаете ли вы просто уклониться и говорите о пути, который заранее невозможен? И это в то время, когда наши товарищи гибнут на виселицах и в тюрьмах. Кстати, сейчас — вам, полагаю, известно — Петербургский военно-окружной суд рассматривает «дело 16-ти», и некоторым из них грозит виселица.

Капля камень точит. И вот из кронштадских моряков и петербургских артиллеристов создана военная организация, поставившая себя в подчинение Исполнительному комитету. Николай Евгеньевич Суханов из противника террора становится его страстным защитником. И когда при обсуждении устава военного кружка кто-то из офи-

церов поинтересовался, каковы будут их права и обязанности, Суханов ответил:

— Бомба — вот ваше право! Бомба — вот ваша обязанность!

«Дело 16-ти» слушалось в Петербургском военном окружном суде с 25 по 30 октября 1880 года. Как Вера и предполагала, нескольким подсудимым был вынесен смертный приговор. Впрочем, некоторым из них была оказана монаршья милость: смертную казнь заменили каторгой без срока. Но по отношению к двоим — Александру Квятковскому и Андрею Преснякову — приговор был оставлен без изменения. Проходившая по этому процессу Евгения Фигнер отделалась сравнительно легкой карой — ссылкой на поселение. «Я смеюсь, — писала она Вере после приговора, — что мы идем крещендо: Лида — на житье, я — на поселение, а мисс Джек-Блек угодит на каторгу, но да сохранит ее бог подольше от такой напасти — слишком тяжело расставаться с волей...»

Тяжело расставаться с волей. Но расставаться с жизнью еще тяжелее. 4 ноября были повешены Александр Квятковский и Андрей Пресняков. Их казнь повлекла за собой гибель Александра Михайлова. Михайлов, желая сохранить для потомков образы погибших товарищей, отнес в фотографию на Невском их карточки для переснятия. Придя в следующий раз за готовыми снимками, Михайлов попал в засаду и был арестован. Это случилось 28 ноября 1880 года.

Глава шестнадцатая

8 февраля 1881 года Вера Фигнер, а по паспорту Кохановская, быстрым шагом шла к себе на квартиру у Вознесенского моста, где жила теперь вместе с Григорием Исаевым. Холодно. Ветер швыряет в лицо охапки колючего снега. Веру пробирает насквозь, она бежит, воротником заслоняя лицо. А настроение хорошее. Ничего не скажешь, славно позабавились! Может, это и легкомысленно. Дворник наверняка был бы против. Но Дворника нет, а Андрей — человек горячий, не может терпеть, когда вокруг ничего не происходит. «Студенты слишком пассивны, надо их как-то расшевелить». И расшевелили. Собрались в актовом зале университета четы-

ре тысячи человек и — пошло-поехало. Профессор Александр Дмитриевич Градовский зачитал отчет университетского начальства, составленный из сплошных обещаний: студенты правы, им нужно дать больше свободы; система обучения нуждается в серьезном пересмотре; все это будет, но надо выждать, надо проявить благоразумие. И тогда-то появился этот студент на хорах:

— Господа! Из отчета ясно: единодушные требования всех университетов оставлены без внимания. Нас выслушали для того, чтобы посмеяться над нами!

Шум, гам, крики:

— Долой!

— Тише!

— Дайте послушать!

— Нечего слушать! Заткните ему глотку! — визжал рядом с Верой какой-то благонамеренный студент.

— Что он кричит? — Вера повернулась к стоявшему тут же Суханову.

— Бог его знает. — Суханов протиснулся к студенту. — Послушайте, господин хороший, вы что, служите в Третьем отделении?

Тот, увидев перед собой импозантного офицера, растерялся:

— Нет. А с чего вы это взяли?

— По манерам видно, — отрезал Суханов. — И вы лжете, что вы там не служите.

Благонамеренный попятился и скрылся в толпе.

А с хоров неслось:

— ...Вместе с насилием нас хотят подавить хитростью. Но мы понимаем лживую политику правительства, ему не удастся остановить движение русской мысли обманом!..

Дальше пошла полная неразбериха. На сцене появляется сам Сабуров — министр просвещения.

— Господа, зачем же так волноваться?

— Долой!

— Вы же воспитанные люди!

— К черту!

Какой-то студент подбегает к министру и дает ему такую оплеуху, что ее слышно, несмотря на шум, всему залу. Щека министра багровеет. На мгновение зал стихает. Из толпы возникает лицо Желябова:

— Быстро расходимся по одному, — кидает он, проталкиваясь к выходу.

Вера спешит. До дома уже недалеко. А там жаркий камин (уж Исаев наверняка позаботился). Хорошо сесть к огню, вытянуть ноги...

Навстречу идет господин. Дорогая енотовая шуба, трость... Какая знакомая походка. Боже мой, неужели?

— Вера! — господин кидается к ней.

Нет, нет, они незнакомы. Вера спешит дальше. Господин — за ней. Вера ускоряет шаг, он тоже. Тяжело ему небось в енотовой шубе.

— Вера, ну остановись, ну я тебя прошу. Хоть на минутку. Ведь это же ты.

Вся нелепость положения в том, что признаваться вроде бы нельзя, а не признаться глупо. Она замедляет шаг.

— Допустим, я. Ну и что?

— Ничего. — Господин в шубе торопится все высказать. — Я просто очень рад. Я был уверен, что обязательно тебя где-нибудь встречу. И вот... Ты очень спешишь?

— Очень. — Но в голосе ее уже сквозит неуверенность. Все-таки господин в енотовой шубе ей не совсем чужой, в некотором роде родственник, хоть и бывший. А он уже уловил ее неуверенность.

— Да зайдем хоть на минутку в какой-нибудь трактирчик, чайку попьем, согреемся...

— Ну что ж, — решается она. — Зайдем.

В трактире Алексей Викторович спросил отдельную комнату, велел подать чаю, вина, конфет и китайских орешков.

— Ты их когда-то любила, — улыбнулся он Вере.

— Разве? — Она такого не помнила.

Сидели не раздеваясь. Алексей Викторович предложил ей снять пальто, она отказалась. Надо согреться.

— Здесь жарко, — сказал он.

— Ничего. Пар костей не ломит. — Пальтишко на ней неважное, под ним платье из сатина — уж лучше не раздеваться.

— Как угодно, — согласился Алексей Викторович.

Он шубу тоже снимать не стал, только расстегнул верхние пуговицы, а шапку положил на свободный стул.

— О чем же мы говорили? Да. Так вот. Думаю перебраться в Петербург. Казань, конечно, город большой, но все же провинция. А тут мне обещали место в мини-

стерстве юстиции. Кроме того, девочек пора учить. Да, я тебе не сказал, что женился. Со своей женой я еще до тебя был знаком. Впрочем, ты ее, может быть, помнишь, Лиза, дочка Ивана Пантелеевича.

— Как же, — усмехнулась Вера.

— Лиза — верная жена и преданный друг. — Алексей Викторович сделал вид, что не заметил иронической усмешки. — У нее жизнь тоже... — Он поморщился, подумав, что, наверное, зря сказал слово «тоже»... — сложилась не совсем удачно. Вышла замуж за офицера, он погиб во время турецкой кампании, осталась с дочкой... Мы снова встретились. Теперь у нас есть общая дочка. Вот... — Он вынул из бумажника фотографию и протянул Вере.

На карточке были изображены Алексей Викторович, две девочки и полная дама в мехах. Эта расплывшаяся дама мало напоминала ту затянутую девицу, которую Вера видела на балу в Казани.

— Между прочим, дочку я назвал Верой, — сказал Алексей Викторович, пряча карточку.

— И Лизи, — Вера нарочно произнесла это имя на английский манер, — не была против?

— Нет, — сказал Алексей Викторович. — Она все понимает.

В комнате было жарко натоплено, и клонило в сон. Алексей Викторович говорил тихим печальным голосом.

Маленькой Верочке нет еще четырех годиков, но она очень способная, уже сейчас довольно бойко говорит по-английски и играет на фортепьяно.

Да, в казанском высшем свете теперь его зовут англоманом, забавно, но он не против. Живет он неплохо. И жалованье, и доход с двух имений (кстати, Иван Пантелеевич умер в прошлом году), но начальство затирает. До сих пор не могут забыть дело Анощенко. В провинции такие вещи долго не забывают. Вот и еще одна причина, по которой ему хочется перебраться в Петербург.

Вера смотрела на него и думала: «Неужели этот маленький робкий чиновник был когда-то моим мужем, с которым мы говорили о Писареве и Чернышевском, с которым мечтали поселиться в деревне и устроить бесплатную больницу для бедных? Дорогая шуба, перстень с изумрудом, лицо сытое, но до чего же он при всем этом жалок! Куда делись все те возвышенные представления о жизни и благородные намерения, которые были — ведь

были! — в молодом человеке». И ей было жалко до слез, что этот человек сам, своими руками погубил все лучшее, что в нем когда-то было.

Алексей Викторович рассказывал, а сам все поглядывал на Веру. Боже мой, как она плохо одета! Ботики худые (должно быть, промокают), пальтишко потертое, холодное. И все это ради каких-то несбыточных фантазий. А ведь могла бы жить в полном достатке, иметь свою семью, детей, бывать в свете.

— Кстати, я не спрашиваю, чем ты занимаешься, это дело твое. Но меня вызывали в жандармское управление, приезжал из Петербурга некий господин Судейкин, интересовался, не знаю ли я чего-нибудь о твоём местопребывании.

— И что же ты ему ответил? — спросила Вера.

— Я ответил, не знаю, что и соответствовало действительности. Впрочем, если б и знал...

— Не донес бы, — сказала Вера.

Алексей Викторович побагровел.

— Вера, — упрекнул он, — как тебе не стыдно?

Теперь покраснела Вера:

— Извини. Я неудачно пошутила. Однако мне пора.

— Вера, — сказал Алексей Викторович волнуясь. — Я понимаю, что я для тебя чужой человек, но все же... то, что между нами было, обязывает меня... короче говоря, если ты в чем-нибудь нуждаешься... в жизни все может быть... я, будучи обеспечен...

— Ты хочешь предложить мне денег? — улыбнулась она. — Спасибо, Алеша, я ни в чем не нуждаюсь.

Спустились вниз. Алексей Викторович расплатился.

— Ну вот и повидались, — сказала Вера на улице.

— Неужели мы больше никогда не увидимся? — спросил он.

— Вряд ли, — сказала она. — Впрочем, ты где остановился?

— На Малой Садовой, дом Менгдена.

Она вздрогнула и переспросила:

— Где?

— В доме Менгдена, — повторил он. — А что? Ты знаешь этот дом?

В доме Менгдена, в доме Менгдена... Если произойдет то, что задумано... Сказать ему, чтобы он оттуда съехал? Но это наведет его на разные ненужные размышления... Но если с ним что-то случится, сможет ли она себе про-

стить?.. И все же нет, она не может рисковать делом. Она не щадит ради этого дела себя, не имеет права щадить и других.

— Нет, не знаю, — сказала она. — Прощай, Алеша.

И без лишних церемоний повернулась, пошла не оглядываясь своей торопливой походкой. А господин в енотовой шубе стоял, глядя ей вслед, и вспоминался ему чужой город, маленькая группка воздушных созданий, которые шли, распевая тонкими голосами: «Вперед без страха и сомненья...»

Глава семнадцатая

7 января 1881 года на Малой Садовой улице в подвальном помещении дома графа Менгдена крестьянин Евдоким Кобозев вместе со своей женой открыл магазин по продаже сыров.

Евдоким Кобозев оформил аренду помещения по всем правилам и выложил управляющему домом тысячу двести рублей наличными — плату за год вперед.

И никто не замечал, что не все покупатели, входящие в лавку, выходят обратно. Некоторые оставались здесь на ночь. Их проводили в комнаты, где жили торговец сырами и его жена. В одной из этих комнат стена, выходящая на улицу, была заделана от пола до окна досками и оклеена обоями, как будто от сырости. Но эта обшивка легко сдвигалась: она скрывала широкое отверстие в цементированной стене. Этим отверстием начинался подкоп под Малую Садовую улицу.

Впоследствии выяснилось, что под фамилией Кобозевых торговлей сырами занимались активнейшие члены Исполнительного комитета Юрий Николаевич Богданович и Анна Васильевна Якимова. Работали в подкопе Желябов, Суханов, Исаев, Саблин, Ланганс, Фроленко, Дегаев, Тригопи, Меркулов, Баранников и Колодкевич.

Много труда пришлось затратить на то, чтобы без особого шума пробить стену. Потом дело пошло быстрее, пока не наткнулись на водопроводную трубу. Обойдя ее, наткнулись на другую трубу, водосточную. Эта труба была деревянная, сечением аршин на аршин. Возникла серьезная проблема. Обойти трубу сверху — может провалиться мостовая, а вместе с ней и все предприятие. Обходить снизу тоже опасно, можно докопаться до подпоч-

венных вод, которые все затопят. В конце концов выяснили, что труба заполнена наполовину, в верхней части сделали вырез и двинулись дальше. После этого в подкопе распространилось такое благоухание, что даже в респираторах из ваты, пропитанной марганцем, можно было работать только в течение очень короткого времени без риска потерять сознание.

Одновременно в подкопе работали по два человека. Вынутую землю в одной комнате сыпали на пол, закрывая соломой, рогожей и коксом для топки печей, в другой комнате складывали в пустые бочки из-под сыра. Работа велась каждую ночь и была закончена в двадцатых числах февраля.

План был такой: во время одного из воскресных проездов царя в Михайловский манеж взорвать под его каретой мину сильного действия. Если взрыв не даст желаемых результатов, в дело вступают Николай Рысаков, Тимофей Михайлов, Игнатий Гриневицкий и Иван Емельянов с метательными снарядами. На случай и этой неудачи оставался Желябов с кинжалом.

Первоначально террористы планировали осуществить покушение в воскресенье 15 февраля.

15 февраля карета императора, окруженная шестью конными жандармами, благополучно проехала по Малой Садовой — подкоп был готов, но мину заложить не успели.

И тогда Исполнительный комитет назначил новую дату — первое марта.

Вера и Григорий Исаев под именем супругов Кохановских держали квартиру у Вознесенского моста. Она состояла из трех холодных и неудобных комнат, но имела два выхода и еще была удобна тем, что во дворе была баня, ввиду чего частое появление во дворе незнакомых людей не вызывало у дворника подозрений.

Квартира была снята для нужд Исполнительного комитета и была известна только его членам.

28 февраля, когда кроме хозяев в квартире были еще несколько членов комитета, явилась Перовская и сказала, что вчера Желябов ушел к Тригони, снимавшему комнату на Невском у госпожи Миссюра, и ночевать не вернулся.

В тот же день Суханов принес известие, что Желябов и Тригоны арестованы.

Не успели опомниться от этой новости, пришел Богданович и сказал, что только что у него в магазине сыров был произведен «технический осмотр» помещения.

Осмотр производили техник, участковый пристав, околоточный надзиратель и дворник. Видимо, у полиции не было оснований для серьезных подозрений, и поэтому осмотр был поверхностным. Однако техник попался до тошный и, осмотрев магазин, попросил показать ему и жилые комнаты. Подойдя к одному из окон, он облокотился на деревянную обшивку, а потом сильно дернул ее рукой. Обшивка не сдвинулась с места, а сердце хозяина магазина сжалось и провалилось куда-то вниз.

— Зачем эта обшивка? — поинтересовался техник.

— От сырости, — равнодушно ответил Богданович.

Ответ удовлетворил техника, но он все еще сомневался, крутил головой, потом обратил внимание на мокрое пятно под одной из стоящих у входа бочек. В этих бочках хранилась земля из подкопа.

— И здесь тоже сырость? — спросил он, подойдя к бочке.

— Сметану на масляной пролили, — не моргнув глазом, ответил хозяин.

Прошли в другую комнату. Там тоже была земля, вынутая из подкопа, но не в бочках. Здесь она была просто свалена в углу и кое-как прикрыта.

И все-таки обошлось.

Теперь Богданович был даже доволен:

— Они убедились, что в лавке ничего нет, и в ближайшее время нас трогать не будут.

Остальные не разделяли его оптимизма. Обыски и аресты показывали, что полиция идет почти по пятам. Перовская сказала:

— Наше дело висит на волоске. Если мы протянем еще неделю, все может сорваться. Надо торопиться. Завтра воскресенье, и царь может проехать по Малой Садовой. Завтра все должно быть исполнено. Гриша, — она повернулась к Исаеву, — можешь ты заложить мину до завтрашнего утра?

— Я постараюсь, — спокойно сказал Исаев.

— Постарайся. А что делать с бомбами? Они ведь тоже не готовы.

— Заниматься и минами и бомбами я не смогу, —

сказал Исаев. — Пусть это делают Грач и Кибальчич.

— Я тоже могу помочь, — сказал Суханов, — хотя не знаю, стоит ли этим заниматься в такой спешке. Мы даже не сможем эти бомбы проверить.

— У нас нет другого выхода, — сказала Перовская. — Обязательно завтра. Мины, бомбы или только одни бомбы, но завтра все должно быть кончено. Кроме того, мне нужна чья-нибудь помощь, чтобы очистить нашу с Андреем квартиру.

— Я помогу, — снова вызвался Суханов. — Вы идите к себе, а я возьму кого-нибудь из наших офицеров, и мы все сделаем.

После этого стали расходиться. Исаев ушел закладывать мину, Перовская пошла к себе, Суханов — за помощниками.

Было 28 февраля, суббота, около трех часов дня.

Через два часа в квартиру у Вознесенского моста вернулись Суханов и Грачевский, а с ними Кибальчич. Потом пришла Перовская. Она была такая усталая, что едва держалась на ногах.

— Сонечка, — сказала Вера, с жалостью глядя на нее, — ты совершенно измучена. Ляг поспи.

— Нет, — сказала Перовская, — я буду помогать.

— Справимся и без вас, — сказал всегда невозмутимый Кибальчич.

Она все же рвалась помогать, но ее кое-как уговорили, она ушла в соседнюю комнату, прилегла на кушетку.

Остались вчетвером. Вера то помогала Кибальчичу отливать грузы, то вместе с Сухановым обрезала жестяные банки из-под керосина, которые должны были служить оболочкой для бомб. Работа продолжалась всю ночь. Горели лампы и жарко пылал камин.

К двум часам ночи Вера тоже пошла отдыхать, так как ее помощь была уже не нужна.

Женщин разбудили в восемь утра. Два снаряда были готовы, Перовская сложила их в сумку и пошла к Саблину и Гесе Гельфман на Тележную улицу. Следом за ней ушел Суханов. Через час были наполнены динамитом и две остальные жестянки. Их вынес Кибальчич.

В квартире был полный разгром. На полу валялись обрывки бумаги, жестяные обрезки и много прочего хлама. Все это следовало убрать до прихода прислуги или дворника с дровами, но сил не было. Вера погасила свет, подошла к окну и раздвинула шторы.

О чем думала она сейчас, на заре нового дня? Надеялась ли на успех? Собирала ли в себе силы накануне решительного дня? Подводила ли итоги? За окном было уже светло — наступило утро первого марта.

Глава восемнадцатая

За окнами Зимнего густо шел сырой снег, и невзрачные сумерки тянулись до бесконечности, словно день не мог оторваться от ночи. От такой погоды клонило ко сну. В кабинете императора было светло. Хозяин кабинета сидел у камина в кожаном кресле и думал о том, что он уже стар, что ему хочется отдохнуть, но он вынужден изо дня в день, без праздников и выходных, принимать бесчисленное множество лиц, присутствовать на приемах, выслушивать доклады министров и пропускать через свои руки нескончаемый поток бумаг, прикладывая к ним высочайшее: «Так!», «Согласен», «И я». Все это мог бы проделывать чиновник средней руки или даже какая-нибудь механическая кукла, однако сложившийся порядок был таков, что на всякую малость нужна была резолюция верховного управителя.

В камине весело трещали березовые чурки, было приятно сидеть, ощущая жар на щеках и на полуприкрытых набрякших веках.

Камердинер просунул голову в дверь сообщить, что явился с докладом министр внутренних дел граф Лорис-Меликов.

Государь выслушал сообщение, приоткрыв один глаз, и едва заметно наклонил голову:

— Зови!

Вошел Лорис-Меликов в эполетах и аксельбантах.

— Возьми, граф, кресло, сядь погрейся. На улице холодно?

— Не холодно, противно, — живо отозвался граф, с грохотом двигая по паркету тяжелое кресло. — Дрянная погода, ваше величество.

Он поставил кресло сначала далеко от государя, потом, подумав, придвинул ближе. Расстояние должно было быть достаточно почтительным, но не настолько, чтобы государю в разговоре приходилось напрягать голос.

— Есть новости? — спросил Александр, выдержав паузу.

— Есть, государь, и хорошие.

— Ну?

— Арестован Желябов.

Пытаясь вызвать в памяти названную фамилию, император покосился на собеседника:

— Из нигилистов?

— Называет себя агентом Исполнительного комитета, на самом же деле, по имеющимся данным, один из главнейших заправил, если вообще не главнейший. Арестован под фамилией Слатвинского, опознан прокурором Добржинским, знавшим его еще по «процессу 193-х». Сообщники, из тех, кто давал показания, отзываются о нем высоко. В частности, Гольденберг в свое время характеризовал его как личность чуть ли не гениальную.

— Пушкина не читал, — буркнул Александр.

— Не понял, ваше величество, — поднял брови Михаил Тариелович.

— Я говорю, что кабы твой Гольденберг читал Пушкина, то знал бы, что гений и злодейство несовместны.

— Ах, в этом смысле, — Лорис засмеялся. — Это верно. Между прочим, вместе с Желябовым арестован еще некий Тригони, судя по всему, тоже из главарей. Таким образом, если прибавить их к ранее арестованным Михайлову и Баранникову, смело можно сказать, что так называемый Исполнительный комитет, по существу, обезглавлен и в настоящее время прежней опасности не представляет.

Государь посмотрел на него недоверчиво:

— Твоими бы устами, Михаил Тариелович... А что с этим... как его... который проник в Третье отделение?

— Клеточников? Дает показания. Говорит, что... — Михаил Тариелович запнулся и посмотрел на государя, как бы колеблясь, продолжать дальше или не продолжать.

— Ну! — требовательно сказал Александр.

— Говорит, ваше величество, что таких прохвостов, как в Третьем отделении, никогда не встречал. Они, мол, готовы за деньги продать родного отца и на кого угодно могут наплести любые небылицы, лишь бы получить награду.

Александр поморщился.

— Самое ужасное, — сказал он, помолчав, — что так оно и есть.

— Но вы, ваше величество, упразднили Третье отделение, — напомнил Лорис.

— Не упразднил, а сменил вывеску. По твоей сказке. Но от этого суть не меняется. Тайная полиция всегда была, есть и будет учреждением безнравственным. К сожалению, одними нравственными мерами государство держаться не может. И с этим ничего не поделаешь. Но меня сейчас интересует вот что. Из всего, тобою сказанного, следует ли, что теперь я могу чувствовать себя в безопасности? — Он внимательно посмотрел на собеседника.

Лорис-Меликов взгляда не отвел.

— Государь, — сказал он твердо. — Для вашей безопасности сделано все, что в человеческих силах.

— Ну-ну. — Александр недоверчиво усмехнулся. — Для моей безопасности всегда делалось все, однако трижды в меня стреляли из револьвера и дважды пытались подорвать динамитом... Нынче в Михайловском манеже развод, так княгиня Юрьевская¹ заклинает не ехать, поостеречься. Вот до чего дошло! Император в своей столице не может чувствовать себя в безопасности. Этот Клеточников прав. Третье отделение, пожалуй, и меня за деньги продаст террористам. Ну да хватит об этом. Там, — он кивнул в сторону стола, — твой проект Общей комиссии. Я его подписал. Насчет выборов от губерний много непонятного, но надеюсь, что это не будет *Etats généraux*².

— Ваше величество, — поднялся Лорис, — мне известно, что некоторые мои недоброжелатели внушают вам мысль, будто я, пользуясь вашим всемиловиднейшим ко мне расположением, пытаюсь протащить конституцию...

— Среди некоторых, — с улыбкой перебил Александр, — и мой дядюшка германский император Вильгельм. В последнем письме он умоляет меня не давать России конституции, а если я в своих реформах зашел слишком далеко, то, по крайности, не разрешать будущим палатам обсуждать бюджет, международные вопросы и участвовать в личном выборе министров. Я ответил

¹ Морганатическая жена императора.

² Генеральные штаты (франц.)

ему: De mon vivant ça n'aura jamais lieu!¹ Ты согласен со мной?

— Ваше величество, — сказал Лорис, стоя в почтительной позе. — Предлагаемые меры к тому и направлены, чтобы парализовать стремление известной, хотя и незначительной, части общества к конституционному правлению.

— Это я уже слышал, — наклонил голову государь. — Возьми на столе свой проект, четвертого числа обсудим на Государственном совете, а там и в печать. Ступай.

Михаил Тариелович взял со стола тонкую пачку испанской бумаги, несколько листов, заключающих в себе то, к чему «диктатор сердца» стремился последнее время.

К дверям он шел сперва прямо, потом боком, потом спиной, так что лицо его было все время обращено к императору. Не глядя на него, возможно, даже забыв про него, государь стал подбрасывать в камин мелкие чурки березовых дров, чтобы поддержать затихавший огонь.

«Господи! — горячо подумал Михаил Тариелович. — Сохрани его для России!»

Около десяти утра у Веры в квартире у Вознесенского моста, как было условлено, появился Фроленко, запороженный снегом. В руках он держал что-то завернутое в газету. Перехватив Верин вопросительный взгляд, он сказал:

— Это не бомба.

Положил сверток на старый скрипучий стул, снял шапку и стал бить ее об колено, стряхивая снег. Затем шапкой обмахнул пальто, повесил то и другое на вешалку и только после этого спросил:

— Все в порядке?

— Да.

— Сколько?

— Четыре.

Четыре бомбы было сделано сегодня за ночь. Два часа назад последние две были унесены на Тележную улицу.

— Не густо. — Фроленко взял сверток, прошел с ним в гостиную. Вера проверила задвижку и постояла, прило-

¹ При моей жизни этого никогда не будет! (франц.)

жившись ухом к двери. На лестнице было тихо. Войдя в гостиную, она увидела Фроленко за столом. Перед ним была бутылка вина, французская булка и колбаса, которую он резал ножом.

— Что вы собираетесь делать? — спросила Вера почти с ужасом.

— Я еще не завтракал, — спокойно ответил он. — У вас найдется какая-нибудь посуда для вина?

Она ушла на кухню, достала тонкий стакан. Сегодня, если все пройдет, как намечено, через два часа Фроленко замкнет провода, соединяющие гальванические батареи с динамитом, заложенным под Малой Садовой. При этом сам Фроленко, вероятнее всего, погибнет под обломками магазина сыров.

Она вернулась в комнату и поставила стакан перед гостем.

— А себе? — спросил он.

Она покачала головой и спросила, не выдержав:

— Неужели вы сейчас можете есть?

— Пока жив, могу. — Он наполнил стакан вином. Оно было темно-красного цвета. Фроленко посмотрел на Веру и сказал, как бы оправдываясь: — Сегодня трудный день, и я должен быть в полном обладании сил.

Вера смотрела на него, и глаза ее наполнились слезами. «Какое мужество! Какое самообладание! Даже в такую минуту он думает только о деле».

Отхлебнув вина, Фроленко отложил кусок булки, положил на нее колбасу и стал медленно жевать. Снова посмотрел на Веру и усмехнулся: — Сейчас шел к вам, возле Аничкова моста привязалась цыганка: «Золотой, дай погадаю». Смеха ради протянул ей руку. Дальняя дорога, казенный дом, насчет Малой Садовой ни слова. «Ну ладно, — говорю, — а вот скажи-ка мне, долго ли проживу?» Посмотрела на ладонь внимательно. «Точно, — говорит, — не скажу, золотой, но доживешь до глубокой старости». — Фроленко улыбнулся. — Добрая душа. За пятиалтынный обещает долгую жизнь. А осталось из того, что она обещала... — он достал из кармана часы, откинул крышку. — Часа два, а может, и того меньше.

— Вы в этом уверены?

— Во всяком случае, я надеюсь на это. — Отодвинув край занавески, он посмотрел за окно. — Народ в баню валит. Завидно. Я бы сейчас тоже попарился.

Задвинув шторы, он доел колбасу, смахнул в ладонь крошки, посмотрел, куда высыпать.

Вера все смотрела на него, и сердце ее сжималось от боли.

— Бросьте на пол, — сказала Вера, — я уберу.

— Зачем же оставлять после себя мусор? — Он пошел на кухню, потом в прихожую, надел пальто с вытертым бобровым воротником и, остановившись перед дверью, мял в руках рыжую шапку. И вдруг широко шагнул к ней:

— Ну, Верочка, не поминайте лихом.

Уткнувшись носом в его широкую грудь, она не выдержала и разрыдалась. Вот уходит еще один. Она провожала многих на опасные дела, но провожать прямо на смерть не приходилось еще никого.

— Ну-ну, — гладил Фроленко ее вздрагивающие плечи, — это уж совсем, Верочка, лишнее. А впрочем, почему бы вам и не поплакать. Ведь вы все же женщина. Вы очень красивая женщина. Вам бы быть хозяйкой дома, рожать детей... А, ладно! — Он резко притянул ее голову к себе и поцеловал в губы. — Будьте, Верочка, здоровы. На том свете свидимся, если он есть.

Так же резко он оторвал ее от себя и вышел за дверь. Она вернулась в гостиную, но делать ничего не могла, опустила в старое деревянное кресло и плакала до изнеможения.

В это же время на квартире Саблина и Геси Гельфман за круглым обеденным столом сидели кроме хозяев Перовская, Кибальчич и четыре метальщика: Рысаков (кличка — Николай), Гриневицкий (Котик), Тимофей Михайлов (Михаил Иванович) и Емельянов (Сугубый). Софье Львовне, судя по ее виду, нездоровилось. Арест Желябова, напряжение и переживания последних дней отразились на ее лице: оно было бледное, утомленное, под глазами круги. Но говорила она ровным спокойным голосом.

— Обычно он едет в Михайловский манеж к двенадцати, без четверти двенадцать все должны быть на месте, но при этом стараться не мозолить глаза шпикам и жандармам.

Она взяла лежавший на столе конверт и начертила план Малой Садовой. Рука, державшая карандаш, едва заметно дрожала.

— Котик и Михаил Иванович станут здесь, на углу

Малой Садовой и Большой Итальянской. Котик на четной, Михаил Иванович на нечетной стороне улицы. Сугубый — на углу Малой Садовой и Невского, а Николай у памятника Екатерины. Он едет по Невскому, поворачивает на Малую Садовую. Первым в дело вступает Михаил Иванович, затем Котик. Если этого почему-то не происходит или взрыв оказывается неудачным, то Сугубый и Николай, каждый со своей стороны, бросают бомбы. В остальном действуйте по обстоятельствам, но помните: сегодня все должно случиться во что бы то ни стало. Может быть, больше никогда такой возможности не представится.

Все слушали серьезно. Кибальчич был, как всегда, невозмутим. Тимофей Михайлович морщил лоб. Только Рысаков сказал:

— Не беспокойтесь, Софья Львовна, сделаем такую отбивную, что любо-дорого.

Перовская поморщилась и посмотрела на Рысакова.

— Не надо так говорить, — тихо сказала она. — И вообще, Николай, я вас очень прошу, особенно сегодня, когда вы выйдете на улицу, не ходите с видом «что-то знаю, но не скажу». — Помолчав, снова перешла к делу: — Последний раз я хочу уточнить. Прошу на меня не обижаться, но каждый из вас должен помнить, что сегодняшний день для каждого может оказаться последним. Поэтому, кто не чувствует себя в силах...

Потом позавтракали, выпили чаю, и Перовская велела всем выходить по одному и собраться на тех местах, которые были указаны.

— Там ждут, — сказала она. Но кто ждет и кого, не сказала.

По-прежнему валил сырой снег, но тут же раскисал и таял под ногами прохожих.

В магазине Кобозева на Малой Садовой Фроленко появился около двенадцати часов дня. Он должен был сменить Богдановича, соединить провода с гальванической батареей и, если останется жив, уйти, воспользовавшись суматохой. На это, правда, надежда была небольшая.

Без десяти двенадцать Якимова заняла место у окна, чтобы наблюдать за улицей. Вскоре на улице появились конные жандармы и перекрыли движение. Малая Садо-

вая опустела. С минуту на минуту появится царская карета в окружении конвоя. Якимова волновалась и курила папиросу за папиросой. Фроленко сидел в углу и, ожидая сигнала, держал в каждой руке по проводу с оголенными концами.

— Ну, что там? — не выдержал он наконец. Голос его был хриплым.

К залепленному снегом жандарму, который неподвижно застыл на той стороне улицы, подъехал офицер в белом башлыке и что-то сказал. Жандарм кивнул головой и махнул пикой, давая какой-то знак остальным. Те почувствовали себя свободнее и стали подъезжать друг к другу, закуривать, переговариваться.

— Кажется, он не поедет, — сказала Якимова не обращиваясь.

— Почему вы так думаете?

— Потому что жандармы стали вести себя слишком раскованно.

— Вот что, — помолчав, сказал Фроленко. — Вы пойдете на улицу и посмотрите, в чем дело, а я пока посижу здесь один. Заприте меня снаружи.

— Снаружи? — переспросила Якимова. — А если... — она не договорила.

— Если будет «если», тогда будет все равно.

Якимова загасила папиросу и вышла. Три конных жандарма собрались возле магазина, курили и разговаривали. Не глядя на них, Якимова прошла в сторону манежа, надеясь встретить Перовскую или кого-нибудь из метальщиков, но никого из них не увидела. Однако подъезды к манежу усиленно охранялись, и на всех углах площади торчали конные жандармы. По тротуарам снова шли люди, которые слишком старались походить на обыкновенных прохожих. Значит, царь был уже в манеже, но проехал другой дорогой. Обрато он никогда не ездил по Малой Садовой, но на всякий случай следовало подождать. Когда она вернулась, Фроленко все так же сидел, держа в руках провода с оголенными концами, и даже не обернулся.

— Ну, что? — спросил он.

— Можете опустить свои провода, он поехал другой дорогой, — сказала Якимова, швыряя шляпку на табурет возле дверей.

— Черт бы его подрал, — сказал Фроленко, обматы-

вая концы проводов тряпкой, чтобы они не замкнулись случайно.

Потом подошел к Якимовой:

— Дайте закурить.

Когда зажигал спичку, руки его дрожали. Даже его железные нервы не выдержали. Якимова сидела на лавке, обхватив голову руками.

— Скажите честно, Михаил, — неожиданно спросила она, — вы рады?

— Чему? — удивился Фроленко.

— Тому, что это не произошло. Потому что, если б это случилось, вас сейчас не было бы в живых.

— И вас, вероятно, тоже, — заметил Фроленко.

— И меня тоже, — согласилась Якимова.

— Скажу вам совершенно честно: я не рад, я огорчен. К этому дню я готовился долго и хотел, чтобы это сегодня произошло наверняка. Боюсь, что другой случай представится нескоро. Всех нас могут сцапать каждую минуту. Я желал бы лучше погибнуть вместе с ним, чем отдельно.

Николай Рысаков с газетным свертком под мышкой стоял на улице и пытался вникнуть в смысл объявления, наклеенного на столбе. Но буквы, частично расплывшиеся от мокрого снега, прыгали перед глазами, не желая соединиться в слова. «Что это со мной происходит? — вслушался в себя Рысаков. — Может быть, я боюсь?» И всем своим существом почувствовал, что действительно боится, что во рту пересохло, а в коленях появилась противная слабость, о которой он раньше слышал, но самому испытывать не приходилось.

Не далее как на позапрошлой неделе бестужевка Надя сказала ему, что не может вступить с ним ни в какие отношения, выставив основной причиной то, что он слишком беден и плохо одет.

— Когда мы идем рядом по улице, все смеются, — сказала она.

— Ну, ладно, — сказал он ей. — Ты об этом еще пожалеешь.

— Мне уже три человека говорили, что я пожалею, ты четвертый, — сказала Надя.

— Хоть я и четвертый, — хмуро настаивал он на своем, — но ты все равно пожалеешь.

— Что ж, интересно, такое случится, что я пожелаю? — любопытствовала Надя.

— А случится то, что меня узнает вся Россия! — неожиданно для самого себя выпалил он и, подумав, добавил: — А может быть, и не только Россия.

Эти его слова Надю порядком развеселили, и она долго и жестоко смеялась, не заботясь о том, чтобы хоть сколько-нибудь смягчить причиняемую ему боль. Потом поинтересовалась, на каком конкретно поприще собирается он прославить в веках свое пока неприметное имя. Если он думает написать гениальную поэму, то Надя просит не забывать о ее скромном вкладе, ибо неразделенная любовь способствует поэтическому творчеству.

— Поэму! — вскричал он, закипая от ярости. — Да я такую поэму напишу, что кровь в жилах заледенеет у тех, кто будет ее читать!

С этими словами он хлопнул дверью, фигурально хлопнул, потому что объяснение происходило в Летнем саду.

И вот сегодня его поэма должна прозвучать в полную силу. Завтра во всех газетах и у всех на устах будет его фамилия. Рысаков! Рысаков! Рысаков!.. Да, он умрет, умрет во цвете лет. Но он умрет за Народ, за Отечество, за Свободу. Нет, умрет не он, умрет его тело, а он, Рысаков Николай Иванович, девятнадцати лет от роду, станет бессмертен.

Самообладание вернулось к нему, и теперь, несмотря на размытые буквы, он прочитал объявление: «По случаю отъезда недорого продается ученый попугай Ганнибал. Говорит слово «дурак» и по-французски просит пардону».

Он стал думать, что попугаи обычно легко произносят слово с буквой «р». Если б ему досталась эта заморская птица, он непременно научил бы ее говорить «Ррысаков!»

Проходившая мимо женщина кинула на ходу:

— Кондитерская Андреева!

Он не сразу понял, что это относится к нему и спохватился, увидев удаляющуюся по Невскому фигурку Перовской. И тогда он осознал, что сегодняшнее дело почему-то не вышло, и, к удивлению своему, почувствовал в душе признаки радости. Бессмертие — вещь, может быть, неплохая, но и реальная жизнь тоже чего-то стоит. Даже если не все в ней идет как надо.

Рысаков посмотрел на другую сторону Невского. Емельянов, изображавший терпеливого влюбленного, пропал, стало быть, и ему надобно торопиться. И он пошел по проспекту вслед за Перовской, прижимая под мышкой сверток и внимательно глядя под ноги, как бы не поскользнуться.

В кондитерской Андреева народу набилось порядочно, и в ожидании свободного столика пришлось постоять.

— Где Михаил Иванович? — спросила Перовская, когда наконец все устроились в углу.

Рысаков только сейчас увидел, что нет Тимофея Михайлова, удивился, но ничего не сказал. Промолчали и остальные.

— Подождем, — сказала Софья Львовна и повернулась к Емельянову. — Закажите пока что-нибудь.

— Человек! — крикнул Емельянов.

Подбежал половой с полотенцем через плечо.

— Четыре пары чая, ватрушки и пироги с орехами.

— Слушаюсь.

Половой убежал.

Перовская молча смотрела прямо перед собой и комкала в руке белый платочек. За окном нескончаемой вереницей торопились по своим воскресным делам прохожие, месили ногами сырой грязный снег, похожий на серые опилки, которыми был усыпан пол кондитерской.

Половой принес на деревянном подносе восемь стаканов чая, горку ватрушек и пирогов.

Рысаков, обжигаясь, пил жадными глотками. Он был еще возбужден. Ему хотелось сделать что-нибудь из ряда вон выходящее. Например, дать половому свою жестяную банку и попросить разогреть на плите содержимое. Перовская и Емельянов к чаю не притронулись. Гриневицкий с видимым удовольствием кусал ватрушки и пил, наливая чай в глубокое блюдо.

Перовская сказала шепотом:

— Если Михаил Иванович не придет, первым будет Николай.

Рысаков поперхнулся и посмотрел на Перовскую:

— Разве сегодня еще что-то будет?

— А ты как думал? — Гриневицкий, допив свой чай, придвинул к себе стакан Емельянова.

— Опять на Малой Садовой? — спросил Рысаков.

— Нет, — сказала она. — Без четверти два всем собраться на Екатерининском канале возле поворота на

Инженерную. Я буду стоять на другой стороне у Казанского моста. Как только он появится на Инженерной, махну вот этим платком.

После развода его величество Александр Николаевич заехал в Михайловский дворец навестить великую княгиню Екатерину Михайловну.

— До меня дошло, что вы подписали проект Общей комиссии, — сказала Екатерина Михайловна. — К чему бы это ни привело, я вас поздравляю.

— Поздравьте меня вдвойне, — сказал он. — Лорис известил меня, что последний заговорщик схвачен и что травить меня больше не будут.

Он стоял уже в передней, и лакей держал на растопыренных руках его шинель.

Он покидал Михайловский дворец в самом веселом расположении духа. Во всяком случае, причин для этого было достаточно. Террористы разгромлены, развод в Михайловском манеже прошел, как всегда, торжественно и красиво, дело с Общей комиссией решено. Корабль, который называется Россия, идет точно намеченным курсом, капитан его в добром здравии и крепко держит руки на штурвале.

Ворота Михайловского дворца распахнулись, карета повернула, и лучшие в России лошади сразу перешли на хорошую рысь. Рядом с каретой, сверкая пиками, весело скакали всадники конвоя его величества, и их башлыки развевались при быстром аллюре.

В этот веселый момент никому не было никакого дела до скромно одетой молодой женщины, которая, стоя на той стороне Казанского моста, достала из потертой муфты платочки и махнула кому-то.

...На углу Инженерной улицы и Екатерининского канала сани слегка занесло, и сопровождавший государя полицмейстер Дворжицкий предупредительно подставил плечо, помогая царю преодолеть центробежную силу.

— Сколько вам лет, полковник? — спросил Александр.

— Тридцать восемь, ваше величество, — живо отозвался полковник.

— Ну, что ж, к сорока станете...

«Генералом» — мыслью опередил полицмейстер от-

вет государя. И в самый этот момент под санями раздался оглушительный треск...

Дьявольская сила сорвала полковника с места, поволокла вперед и ударила головой о стенку кареты... Очнувшись, он обнаружил, что лежит на неловко выбирающемся из-под него государе. Крыши над ними нет, и в карету сыплет густой мартовский снег...

Все вдребезги! Рысакова сзади держали за руки, били кулаками по голове, лезли в карманы, вытаскивая из одного револьвер, из другого кинжал.

Несмотря на все это, он был счастлив. Счастлив, что пересилил свой страх, что бросил, что попал. И так удачно, что даже остался жив. (В горячке он не понимал, что в его положении остаться живым — не самая большая удача.) Теперь внимание всех окружающих обращено на него. Кто таков? Что за отчаянный безумец? Что за богатырь, вступивший в единоборство с вышними силами?

Царская карета была разбита. Казак, секунду назад сидевший на козлах, теперь лежал на снегу и, поджав под себя колени, казался, корчилсЯ от разбиравшего его смеха. На боку лежала и крайняя лошадь. Из срезанной чуть выше бабки задней ноги была вверх красная тугая струя. Возле лошади лежала лакированная дверца. Другая дверца, перекосившись, болталась на одной петле. Из глубины кареты, неправдоподобно медленно, опираясь на руки, вылезал на мостовую человек, не очень похожий на свои портреты. Император и самодержец всея Руси и на этот раз был невредим. Следом за ним выскочил на мостовую жандармский полковник и стал хватать императора за руки.

— Ваше величество, надо немедленно дальше.

— Оставьте меня, — сказал царь, вырывая руки. — Где преступник?

— Я преступник! — дерзко сказал Рысаков. (Посмотрела бы сейчас Надя, как он лично и на равных говорит с императором!)

Александр подошел вплотную к Рысакову и стал смотреть на него с каким-то странным любопытством.

Появился все тот же жандармский полковник:

— Ваше величество, вы не ранены?

— Я? — Император стал оглядывать себя и сказал неуверенно: — Я, слава богу, пока цел, но вот... — Он показал рукой на казака, который все еще корчилсЯ на снегу.

— Посмотрим еще, слава ли богу, ваше величество! — вырвалось у Рысакова. Он видел, как, отделившись от решетки канала, медленно приближается к месту происшествия Гриневицкий, а за ним, чуть приотстав, Емельянов.

— Дурак! — сказал царь и, резко повернувшись, пошел один наискосок через набережную.

«говорит слово «дурак» и просит по-французски пардону», — мелкнуло во взбудораженной памяти Рысакова.

Царь шел, а навстречу ему с блуждающей улыбкой и руками, заложенными за спину, двигался Гриневицкий. Расстояние между ними сокращалось. Это видел Рысаков, это видел полковник Дворжицкий, это видели жандармы, прохожие и зеваки. Но все стояли, оцепенев, никто не сдвинулся с места, не нашлось второго Комиссарова, который когда-то отвел в сторону револьвер Каракозова.

Царь заметил Гриневицкого, когда между ними осталось не больше шести шагов. Александр остановился, посмотрел на своего визави недоуменно, словно пытаюсь понять, чего хочет от него этот человек, и вдруг все понял и закричал. Гриневицкий поднял руки над головой, и в них мелькнул такой же газетный сверток, какой был до этого в руках Рысакова.

Сверкнуло пламя, и затрещали перепонки в ушах. Когда дым рассеялся, на снегу повсюду лежали раненые, слышались стоны и крики о помощи. Какой-то человек, держась за щеку, волчком крутился на месте. Неизвестно как очутившийся на льду канала кривоногий казак, подхватив руками полы шинели, с криком «война!» бежал к противоположному берегу.

Гриневицкий лежал на тротуаре. Рядом с ним, прислонившись к решетке канала, в нелепой позе сидел император. Шапка слетела, шинель разорвана в клочья, ноги раздроблены. Одной рукой он опирался о снег, другой размазывал по лицу красную жижу. Вокруг дымилась разбросанная лохмотья. На набережной стоял крик, шум, галдеж, кто-то кинулся к императору, кто-то кричал:

— Сани, скорее!

Придя в себя, Емельянов понял: этой суматохой можно воспользоваться и увести Гриневицкого. Сверток, в котором лежала его бомба, Емельянов положил на тро-

туар и кинулся к товарищу. Гриневицкий тяжело дышал и широко раскрытыми глазами смотрел в серое небо.

— Котик, — быстро зашептал Емельянов, — вставай! Еще можно скрыться.

Кто-то больно сжал Емельянову руку выше локтя и резко поднял его с земли. «Схватили», — равнодушно подумал Иван. Перед ним стоял офицер.

— Что вы здесь возитесь? — закричал он в оглохшее ухо Ивана. — Этого потом. В первую очередь государя!

Смысл сказанного не сразу дошел до Емельянова.

— Да, да, сейчас, — пробормотал он и кинулся к саням, на которые укладывали Александра.

Когда стало ясно, что искусство лейб-медика Сергея Петровича Боткина уже бессильно, к умирающему императору был допущен протоиерей придворного собора Рождественский с запасными дарами. В три часа тридцать пять минут пополудни, не приходя в сознание, император скончался в своем кабинете.

Его убийца Игнатий Иоакимович Гриневицкий вместе с другими ранеными был доставлен в ближайший придворный госпиталь. Он долго находился в бессознательном состоянии и только ночью пришел в себя.

— Как ваше имя? — спросил дежурный у его постели следователь.

— Не знаю, — ответил Гриневицкий и умер.

Глава девятнадцатая

Хотя полиция и подозревала, какую роль играл Желябов в партии «Народная воля», у нее не было никаких доказательств его непосредственного участия в происшедшем. Но 2 марта, узнав о цареубийстве, Желябов попросил в камеру чернила, перо, бумагу и написал заявление.

«Если новый государь, получив скипетр из рук революции, намерен держаться в отношении цареубийц старой системы; если Рысакова намерены казнить, было бы вопиющей несправедливостью сохранять жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшего физического участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности. Я требую приобщения себя

к делу 1 марта и, если нужно, сделаю уличающие меня разоблачения. Прошу дать ход моему заявлению.

Андрей Желябов.

2 марта 1881 г. Д. пр. Закл.

Р. С. Меня беспокоит опасение, что правительство поставит внешнюю законность выше внутренней справедливости, украся корону нового монарха трупом юного героя лишь по недостатку формальных улик против меня, ветерана революции. Я протестую против такого исхода всеми силами души моей и требую для себя справедливости. Только трусостью правительства можно было бы объяснить одну виселицу, а не две.

Андрей Желябов».

Желябов не знал, что Рысаков, потрясенный всем, что произошло, запуганный жандармами, начал уже давать показания. Вооруженные этими показаниями, полицейские рыскали по Петербургу, охотясь на народовольцев.

2 марта вечером в 1-й участок Александро-Невской части явились два чиновника в вицмундирах судебного ведомства и с ними жандармский майор. Старший чиновник, пожилой, сухопарый, с седыми подстриженными усиками, оказавшийся товарищем прокурора судебной палаты, предъявив дежурившему в тот вечер старшему помощнику пристава Рейнгольду свои полномочия, приказал немедленно собрать все наличные силы и следовать на Тележную улицу в дом номер 5 для обыска в квартире номер 7 и арестования всех, кто будет в ней находиться. В ночь на 3 марта три полицейские кареты остановились напротив указанного дома. Двое городских были поставлены у входа в дом, двое — во дворе, один был послан за дворником. Остальные поднялись на второй этаж. На лестнице было темно. Рейнгольд поднял над головой «летучую мышь», и латунная табличка с номером 7 тускло сверкнула над дверью, обитой рваным войлоком.

— Эта? — Рейнгольд покосился на товарища прокурора.

Тот кивнул головой, и Рейнгольд резко крутнул ржавый барашек звонка с надписью: «Прошу повернуть». За дверью слышались легкая суматоха, потом чьи-то осторожные шаги, и мужской голос спросил:

— Кто тут?

— Пристав и прокурор! — громко ответил Рейнгольд. После короткой паузы защелкали за дверью задвижки и заскрежетал ключ, запирая замок на второй оборот.

— Господин пристав, они, кажись, запираются! — прошептали сзади.

— Открывайте! — крикнул Рейнгольд и грохнул в дверь кулаком.

За дверью снова послышались шаги, на этот раз они удалялись.

— Позвольте, господин пристав.

Околоточный надзиратель Зезюкин взялся за ручку двери, уперся ногой и — отлетел вместе с ручкой.

— Сила есть, ума не надо, — насмешливо сказал жандармский майор.

Привели заспанного мужичонку с всклокоченной бородой. Мужичонка тарашил глаза и трясся от страха.

— Кто такой? — спросил Рейнгольд.

— Дворник, господин пристав, — ответил приведенный мужичонку городовою.

— Дворник? — Рейнгольд переглянулся с товарищем прокурора. — Пьяный?

— Никак нет, — оправился дворник от немоты, — не пьяный я, ваше благородие. Окромья чаю, ничего не пил.

— А отчего ж ноги дрожат?

— От страху, ваше высокоблагородие.

— Топор есть?

— Как же, ваше превосходительство! — приходя в себя, дворник повышал пристава в чинах. — В нашем деле без топора что без рук.

— Тащи сюда, да поживее!

Вслед за первым же ударом топора в квартире номер 7 послышались выстрелы. Один, другой... Товарищ прокурора отшатнулся от двери, жандармский майор попятился и стал за спиной Рейнгольда. Рейнгольд считал вслух:

— Три, четыре...

Пятым выстрелом пробило дверь, после шестого все стихло.

Выждав паузу, Рейнгольд приложился ухом к двери.

— Рубить дальше? — услужливо спросил дворник.

— Погоди, — отмахнулся Рейнгольд. — Кажется, кто-то идет.

Снова защелкали задвижки, дверь растворилась, и

женщина, оказавшаяся на пороге, слабым голосом попросила:

— Доктора! Очень нужно!

— Задержать ее! — крикнул Рейнгольд кому-то наступавшему сзади и первым ворвался в квартиру.

Во второй комнате, направо от входа, в расплзающейся на полу луже крови лежал мужчина среднего роста, на вид лет тридцати двух, с темно-русой окладистой бородой, в кумачовой рубашке и серых триковых брюках немецкого покроя. Левый глаз выбит, руки раскинуты в стороны, возле правой лежал револьвер. Обойдя растекшуюся лужу, Рейнгольд взял руку лежащего у запястья и подержал.

— Убит?

Рейнгольд поднял голову и увидел стоявшего над ним сухопарого товарища прокурора.

— Наповал, — сказал Рейнгольд, разгибая колени.

Покуда один из околоточных рылся в книгах, другой, Зезюкин, снимал с подоконника цветы.

Взял с подоконника большой фикус и грохнул об пол. Та же участь постигла горшок с настурцией.

— Зачем это? — спросил Рейнгольд.

— Смотрю, нет ли чего в горшках, — ответил околоточный, носком сапога разгребая рассыпавшуюся землю и черепки.

На окне стояли еще две банки, завернутые в газету и перевязанные цветными бумажными платками. Зезюкин взял одну из них и высоко поднял, чтоб грохнуть об пол.

— Погоди, Зезюкин, — подошел Рейнгольд. — Дай-ка сюда.

Сорвав газетную обертку, он заглянул в банку. Она была наполнена какой-то массой, в которой торчал кусок свернутого сукна, пропитанный жидкостью. Рейнгольд осторожно принялся. В нос ударило резким неприятным запахом. Пристав поморщился и посмотрел на Зезюкина.

— Чего там? — спросил с любопытством Зезюкин.

— Ничего, кроме динамита и пироксилина, — усмехнулся Рейнгольд. — Из тебя, Зезюкин, мог бы неплохой бомбист получиться.

Он осторожно поставил банку на прежнее место и, бросив брезгливый взгляд на тело, распростертое на полу, вышел в переднюю.

Судебный следователь сидел на крытой зеленым вы-

тертым бархатом кушетке рядом с хозяйкой квартиры и, держа в руках раскрытый блокнот и карандаш, задавал вопросы тихим бесстрастным голосом. Товарищ прокурора стоял чуть поодаль, перебирая пачку прокламаций за подписью «Исполнительный комитет».

Остальные прокламации были сожжены. Груда бумажного пепла лежала на табуретке перед круглой зеленой печью.

— Стало быть, вы не желаете назвать ваше имя, фамилию, звание и род занятий? — Следователь занес над блокнотом остро отточенный карандаш.

— Не желаю.

— Так, хорошо. — И карандаш повторил в блокноте этот ответ: «Не желаю». — Что вы можете сказать о личности убитого?

— Оставьте меня в покое.

— Вы напрасно отказываетесь давать показания, — проскрипел сухопарый. — Приговор суда, который вам предстоит, будет во многом зависеть от вашего теперешнего поведения.

Она подняла на товарища прокурора темные глаза и усмехнулась. «Где-то раньше я видел эту еврейку, — подумал Рейнгольд. — Где-то я ее видел».

Из второй комнаты вышел Зезюкин, держа в руках черный бумажник.

— Что нашел? — спросил Рейнгольд.

— Документы, ваше благородие.

— Дайте сюда! — быстро сказал сухопарый.

Он вытащил из бумажника паспорт и стал рассматривать. Рейнгольд заглянул в паспорт через плечо сухопарого. С другой руки подошел следователь.

— Навроцкий... Коллежский ассессор, — прочел вслух товарищ прокурора. И повернулся к хозяйке квартиры: — Вот видите. А вы запирались.

— Дозвольте поглядеть, господин прокурор. — Рейнгольд взял паспорт и поднес ближе к свету. — Фальшивый документ. Хотя работа неплохая.

И тут же вспомнил. Четыре года назад, состоя в конвое при подсудимых на «процессе 50-ти», он видел эту женщину на скамье подсудимых. «Постарела», — подумал он, разглядывая хозяйку. Но фамилию ее он так и не вспомнил, узнал потом из печати: Гесья Мироновна Гельфман. Застрелившимся, как выяснилось впоследствии, оказался скрывавшийся под фамилией Навроцкого

агент Исполнительного комитета второй степени доверия Николай Алексеевич Саблин.

3 марта около двух часов дня на квартире у Вознесенского моста кроме ее хозяев Веры и Исаева собрались Тихомиров, Ланганс, Перовская, Якимова, Суханов и Грачевский. Обсуждали, стоит ли обращаться к новому императору.

Пришел Кибальчич. Не будучи членом Исполнительного комитета, он не имел права сюда приходить, но никто его в этом не упрекнул.

— Только что я был на Тележной и чуть не попался, — сказал Кибальчич с порога. — Квартира взята полицией. Гесья арестована, Саблин застрелился. Тимофей Михайлов пришел и попал в засаду, тоже арестован.

— Господи! — вырвалось у Перовской. Она обхватила руками голову.

— Кроме того, — продолжал Кибальчич, — есть сведения, что Андрей потребовал приобщения его к делу Рысакова.

Все молчали, думая об одном и том же.

— Зачем он это сделал? — нарушила молчание Вера.

— Это было необходимо, — с трудом сказала Перовская. — Процесс против одного Рысакова вышел бы слишком бледным.

Ее измученное лицо было белым как мел. Желябов для всех значил много, но для нее больше, чем для всех.

— Да, — она с трудом вышла из оцепенения. — Но как открыли квартиру на Тележной?

— Кто-то выдает, — сказала Якимова. Закуривая папирску, она нервно ломала спички.

— Дворник всегда был против того, чтобы привлекать к делу слишком юных и неокрепших духом, — сказал Тихомиров с намеком.

Все посмотрели на Тихомирова, на его рукав, перехваченный траурной лентой.

— Я думаю, ты ошибаешься, если имеешь в виду Рысакова, — сказала Перовская. — То, что он сделал позавчера, отводит от него подозрения.

— Скоро все узнаем, — уклончиво сказал Тихомиров. — Но некоторые квартиры надо бы очистить, и как можно скорее. И в первую очередь это касается магазина сыров.

— Рысаков в магазине никогда не был, — сказала Якимова.

— Не был, но это еще не значит, что он о нем не слышал, — неожиданно поддержал Тихомирова Грачевский.

— Магазин ликвидировать нельзя, — сказала молчавшая до сих пор Вера. — Мы ничего не знаем о наследнике. А вдруг он тоже любит разводы?

— Вдруг, вдруг! — разозлился Тихомиров. — Мы свое сделали. Хватит бессмысленных жертв.

— Это трусость! — вспыхнула Вера.

Сказанное слово прозвучало как пощечина. Тихомиров побледнел.

— Ты не смеешь так говорить, — сказал он с трудом.

Вера смутилась. Тихомиров был старый товарищ. За ним было десять лет революционного стажа, из них четыре года тюрьмы.

— Ладно, — сказала она отворачиваясь. — Беру свои слова обратно. Но магазин бросать нельзя.

— Нет, Верочка, — мягко возразила Перовская. — Шансы на удачу ничтожны, а риск слишком велик. Баска, — повернулась она к Якимовой, — немедленно смени в магазине Богдановича, пусть уезжает с первым же поездом. Ты уйдешь после закрытия магазина. Оставишь полиции записку, чтобы во избежание ненужных жертв не взорвали ненароком мину. По-моему, так будет правильно?

Роль, которую Перовская исполнила 1 марта, сделала ее авторитет непререкаемым. Большинство согласилось с Перовской. Вера подчинилась. Стали по одному расходиться. Перовская, уходя, задержалась в коридоре.

— Верочка, если ты не возражаешь, я приду к тебе сегодня ночевать.

— Соня! — обиженно вскинулась Вера. — Как ты можешь об этом спрашивать?

— Я спрашиваю потому, — она вымученно улыбнулась, — что, если меня найдут здесь, тебя повесят.

— Сонечка, милая, — обняла ее Вера. — У меня под подушкой всегда лежит револьвер. Если придет полиция, с тобой или без тебя я буду стрелять.

Глава двадцатая

Литератор Скурлатский сидел в своем кабинете за просторным столом в просторном темном халате, окантованном шелковым шнуром. В этом халате он выглядел как настоящий крупный писатель, выглядел даже более настоящим, чем самые настоящие писатели. Сегодня он наконец-то дорвался до стола и мог приняться за грандиозный, давно задуманный им роман. До этого всегда что-нибудь мешало. Утренние два часа уходили на чтение петербургских и московских газет. Затем надо было посетить знакомых, с тем чтобы узнать, что происходит в мире (потому что газетам верить нельзя). Потом повидать других знакомых и пересказать им то, что слышал от первых знакомых. Побывать во всех редакциях, набрать заказов и, наконец, провести вечер в каком-нибудь модном салоне. Без такого общения жизнь писателя невысказима. И так проходил день за днем в суете, в беготне. Скурлатский возвращался домой усталый и огорченный, недовольный собой. Опять прошел день, и опять не нашлось времени взяться за свое главное сочинение. Он пододвинул к себе стопку чистой бумаги, очинил перо, обмакнул его в чернила и задумался. Черт подери, отчего же так происходит? — думал он. — Отчего так получается, что самые разнообразные (иногда просто гениальные) мысли приходят ему где угодно: во время прогулки по Невскому, в гостях, в кабинете знакомого редактора, но только не за столом.

— Скажите, не страшно ли вам наедине с листом чистой бумаги? — когда-то спросила его одна поклонница.

Страшно, да еще как, очень страшно. Та поклонница, Евдокия, давно стала его женой. Но ему по-прежнему было страшно перед листом чистой бумаги. Пока он обо всем этом думал, чернила на перо высохли, пришлось его снова обмакивать. Он знал, что настоящий роман начинается с первой фразы. Стоит написать удачную первую фразу, и мысли польются одна за другой, а уж остальное будет делом времени. Но как раз именно первая фраза ему и не удавалась. Она бы, может быть, ему и удалась, но в то время, когда эта фраза забрезжила в его сознании, на кухне что-то грохнуло. «Никогда не дают работать!» — раздраженно подумал Скурлатский и вышел на кухню. Там он застал кухар-

ку Пашу, крепкую деревенскую девушку. Она мыла посуду.

— Пелагея, — сказал строго Скурлатский, — сейчас же прекрати греметь посудой, ты мне мешаешь.

— Барин, мне немного осталось домыть, — виновато сказала Пелагея.

— Завтра домоешь. А пока подай мне в кабинет чаю и покрепче.

Чай, как известно, бодрит и освежает. Но на этот раз его действие не ощущалось. После чая Скурлатский просидел еще некоторое время над листом, и как раз в это время в дверь позвонили. Он посмотрел на часы, было довольно поздно. «Опять кого-то несет на ночь глядя», — подумал он недовольно, но с облегчением. Запахнув халат, он вышел, но за дверью никого не оказалось. И тут только обнаружил он конверт, видимо, подсунутый кем-то под дверь.

Вернувшись в свой кабинет, Скурлатский поднес конверт к свету и вздрогнул от неожиданности. На конверте неровным почерком (вероятно, левой рукой) было выведено: «От Исполнительного комитета «Народной воли»». «Что за чертовщина?» — подумал Скурлатский.

Минуту спустя он с лампой вошел в спальню жены. Евдокия спала, разметав по подушке свои золотые кудри, в которых седина была почти незаметна.

«Кажется, спит», — подумал Скурлатский.

Осторожно прикрыв дверь, он на цыпочках прошел через спальню и поставил лампу на туалетный столик — не в темноте же ему раздеваться. Но лампу он поставил так, что свет ее бил прямо в левый глаз Евдокии. Евдокия застонала, бормотнула что-то и повернулась к стене.

«Может быть, она все же не спит», — подумал Скурлатский и легко покашлял, как будто у него чуть-чуть запершило в горле.

Евдокия не просыпалась, и Скурлатский снова закашлялся, на этот раз так, как будто у него была чихотка в последней стадии, но и это не подействовало на спящую.

«Спит, — уже с некоторым раздражением подумал Скурлатский. — Так, пожалуй, помрешь от кашля, а она не проснется».

Справившись с кашлем, он стал ходить по комнате, шаркая по-стариковски ногами и задевая за все углы.

Дело кончилось тем, что он свалил стул, который упал с таким грохотом, что на этот раз Евдокия проснулась и села в постели.

— Что такое? Что случилось? — испуганно спрашивала она, пытаясь разомкнуть веки.

— Ты не спишь, Дусенька? — ласково сказал Скурлатский. — А я как раз хотел тебе кое-что почитать, — добавил он, не давая жене опомниться.

— Может быть, завтра? — протирая глаза, робко попросила она.

— Конечно, можно и завтра, — согласился он. — Но ведь ты же все равно не спишь. Тут самая ерунда, всего две странички.

— Ну ладно, читай. — Евдокия снова легла и добросовестно паялила глаза на супруга.

Скурлатский сел рядом с ней на постель, придвинул к себе лампу и с пафосом произнес:

— Ваше величество!

— Что? — вздрогнула Евдокия.

— Это я читаю, — успокоил Скурлатский.

«Ваше величество!

Вполне понимая то тягостное настроение, которое вы испытываете в настоящие минуты, Исполнительный комитет не считает, однако, себя в праве поддаваться чувству естественной деликатности, требующей, может быть, для нижеследующего объяснения выждать некоторое время. Есть нечто высшее, чем самые законные чувства человека: это долг перед родной страной, долг, которому гражданин принужден жертвовать и собой, и своими чувствами, и даже чувствами других людей. Повинуясь этой всеильной обязанности, мы решаемся обратиться к вам немедленно...

Кровавая трагедия, разыгравшаяся на Екатерининском канале, не была случайностью и ни для кого не была неожиданной. После всего происшедшего в течение последнего десятилетия она являлась совершенно неизбежной, и в этом ее глубокий смысл, который обязан понять человек, поставленный судьбою во главе правительственной власти...»

Евдокия добросовестно тарачила глаза, но, ничего не понимая, впадала в забытие и тогда до нее доходили только обрывки фраз.

«...подобные факты... собственным достоинством... покойного императора... вешали правого и виноватого...»

процесс народного организма... крестная смерть Спасителя...»

Не в силах бороться со сном, Евдокия приподнялась на локте и попыталась сосредоточиться.

— «Правительство, — декламировал Скурлатский, — конечно, может еще переловить и перевешать многое множество отдельных личностей. Оно может разрушить множество отдельных революционных групп. Допустим, что оно разрушит даже самые серьезные из существующих революционных организаций. Но ведь все это несколько не изменит положения вещей. Революционеры создают обстоятельства, всеобщее неудовольствие народа, стремление России к новым общественным формам. Весь народ истребить нельзя, нельзя и уничтожить его неудовольство посредством репрессалий; неудовольствие, напротив, растет от этого...»

«Что это он читает? — никак не могла понять Евдокия. — Кажется, он собирался писать роман. Но для романа это начало довольно странное».

— «Страшный взрыв, — продолжал Скурлатский, — кровавая перетасовка, судорожное революционное потрясение всей России завершат этот процесс разрушения старого порядка...»

Сон прошел окончательно. Евдокия встряхнула головой и стала слушать внимательно.

— «...Мы обращаемся к вам, отбросивши всякие предубеждения, подавивши то недоверие, которое создала вековая деятельность правительства. Мы забываем, что вы представитель той власти, которая столько обманывала народ, сделала ему столько зла. Обращаемся к вам как гражданину и честному человеку. Надеемся, что чувство личного озлобления не заглушит в вас сознания своих обязанностей и желания знать истину. Озлобление может быть и у нас. Вы потеряли отца. Мы потеряли не только отцов, но еще братьев, жен, детей, лучших друзей. Но мы готовы заглушить личное чувство, если того требует благо России. Ждем того же и от вас.

Мы не ставим вам условий. Пусть не шокирует вас наше предложение. Условия, которые необходимы для того, чтобы революционное движение заменилось мирной работой, созданы не нами, а историей. Мы не ставим, а только напоминаем их.

Этих условий, по нашему мнению, два:

1) Общая амнистия по всем политическим преступлениям прошлого времени, так как это были не преступления, но исполнение гражданского долга.

2) Созыв представителей от всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни и переделки их сообразно с народными желаниями...

Итак, ваше величество, решайте. Перед вами два пути. От вас зависит выбор, мы же затем можем только просить судьбу, чтобы ваш разум и совесть подсказали вам решение, единственно сообразное с благом России, с вашим собственным достоинством и обязанностями перед родной страной.

Исполнительный
комитет
10 марта 1881 г.»

— Ну, Евдокия, каково? А? — Скурлатский приложил руку к груди, выпучил глаза и захохотал. — Не здорово ли написано? Каков стиль! Какая твердость и в то же время как мудро и сдержанно. Нет, это писал не какой-то бомбист, это писал человек, хорошо владеющий пером!

— Да, написано неплохо! — согласилась жена. — Кто же это мог быть?

— Разумеется, я! — неожиданно для самого себя выпалил Скурлатский.

Евдокия опустила глаза. Она знала все слабости мужа, но привыкла относиться к ним снисходительно.

— Ложись спать, Сергей. Уже поздно, — сказала она.

Между тем разгром партии «Народная воля» продолжался. В руки полиции попадали все новые и новые люди.

10 марта на Невском проспекте околоточным надзирателем Широковым была задержана Перовская.

17 марта на своей квартире был арестован Кибальчич. В тот же день на той же квартире попал в засаду Фроленко.

Особое присутствие правительствующего Сената приняло к рассмотрению дело шести народовольцев, признанных главными участниками в цареубийстве. Суду предавались Желябов, Перовская, Гельфман, Кибальчич, Михайлов и Рысаков.

Председателем был назначен сенатор Эдуард Яковлевич Фукс. Обвинение поддерживал товарищ прокурора Петербургской судебной палаты Николай Валерианович Муравьев.

Итак, жена Скурлатского знала слабость мужа к фантазированию. Однако она полагала, что к утру он выкинет эту выдумку из головы, как это уже с ним неоднократно бывало. Но она ошиблась. Утром, не позавтракав и не просмотрев газет, Скурлатский быстро оделся и поехал к своему другу литератору Козодоеву, которому зачитал письмо Исполнительного комитета и хотя прямо не заявил, что именно он является автором этого письма, но намекнул, что это вполне допустимо. Точно так же он вел себя в редакциях «Голоса» и «Санкт-Петербургских ведомостей», у писателя Глеба Успенского и у доктора Легсафта.

Вскоре по Петербургу пошла молва, что письмо Исполнительного комитета Александру III, большим тиражом отпечатанное в тайной типографии и ходившее по рукам, написал литератор Скурлатский.

Об этом говорили шепотом и по секрету, беря клятву, что никому-никому, а от этого новость распространялась еще быстрее. Престиж Скурлатского в либеральных кругах резко возрос. Он был нарасхват в самых разных домах, где с большим удовольствием рассуждал на общие темы. Говорили, что даже некий тайный советник тайно принял Скурлатского, а также изъявил желание быть ему представленным некий жандармский генерал в отставке (известно, что некоторые жандармские генералы, удаляясь от дел, проявляют большую склонность к либерализму). Слухи о Скурлатском ходили довольно широко и довольно долго, пока не дошли до полиции, узнававшей все в последнюю очередь.

Однажды поздно ночью, проснувшись от непонятного грохота, Евдокия Скурлатская, полуодетая, выскочила в прихожую и увидела, что квартира битком набита полицейскими.

— Что здесь происходит? — спросила Скурлатская. — Что вам угодно? — обратилась она к руководившему операцией молодому жандармскому офицеру.

— Извините, мадам, — офицер щелкнул каблука-

ми, — но у нас есть ордер на обыск в вашей квартире и на арест вашего мужа.

Литератор Скурлатский, слегка побледневший, заложив руки за спину, стоял у стены.

— Евдокия! — выпятив грудь, рявкнул он неожиданно. — Когда приходят жандармы, жена Скурлатского должна быть одета.

— Господин офицер, — взмолилась Евдокия. — Здесь какое-то недоразумение. Мой муж любит пофантазировать, эту его слабость все знают. Если речь идет об этом проклятом письме Исполнительного комитета, то я вас уверяю, господин офицер, я клянусь вам, мой муж не имеет к нему никакого отношения.

— Евдокия! — повысил голос Скурлатский. — Сейчас же оденься! — И когда Евдокия ушла к себе, сказал тоном усталого полководца: — Выполняйте свой долг, господа!

Господа перерыли всю довольно обширную библиотеку Скурлатского и перевернули вверх дном весь дом. В результате обыска было найдено несколько разрозненных номеров «Народной воли», растрепанный, десятилетней давности экземпляр «Колокола», несколько случайных прокламаций. То же самое можно было найти в любом интеллигентном доме.

Затем арестованному было предложено следовать в полицейский участок. Он надел пальто, шапку, перчатки, пошел к выходу, но в дверях обернулся к рыдающей жене.

— Евдокия, — сказал он сурово, но нежно, — береги детей. Передай им, что их отец погиб за свободу.

— Господин офицер! — заливалась Евдокия слезами. — Он все врет, все врет! У него и детей-то никогда не было!

В ту же ночь подозреваемый в особо опасных государственных преступлениях был переведен из полицейского участка в Дом предварительного заключения и помещен в одиночную камеру для особо опасных преступников. Утром его вызвали на допрос. В просторном кабинете с портретом государя императора Александра III Скурлатского встретил подвижной жандармский офицер в новом с иголки мундире, в новых погонах.

— Подполковник Судейкин Георгий Порфирьевич, —

представился он. — Имею честь заведовать отделением охраны и спокойствия при Петербургском градоначальстве.

Задав затем несколько незначительных вопросов, подполковник Судейкин предъявил Скурлатскому письмо Исполнительного комитета.

— Вам знаком этот документ?

— Еще бы! — значительно усмехнулся Скурлатский.

— Вы подтверждаете, что являетесь автором этого сочинения?

— Да, подтверждаю.

— М-да... — Георгий Порфирьевич пробарабанил пальцами по столу что-то победное. Встал. Заложив руки за спину, прошелся по кабинету. — Уважаемый Сергей Станиславович, — сказал он задумчиво. — Видите ли, в чем дело. Признавая свое авторство, вы ставите себя в очень тяжелое положение. Ведь это не просто письмо, а как бы программный документ партии, прославившейся неслыханными злодеяниями. Естественно, что при составлении этого документа такая серьезная организация, как Исполнительный комитет партии «Народная воля», не могла обращаться к посторонним лицам. Письмо составлял кто-то из членов комитета, причем из самых активных. Таким образом, настаивая на своем авторстве, вы признаете, что являетесь членом Исполнительного комитета.

— Разумеется, — с достоинством сказал Скурлатский.

Даже выдавший виды Судейкин заволновался. Теперь он уже не ходил, а бегал по кабинету.

— Но это же невозможно! — вскричал он. — Я не встречал еще ни одного человека, который признал бы себя членом Исполнительного комитета. Даже Желябов и Перовская признают себя только агентами Исполнительного комитета. Желябов и Перовская! Вам знакомы эти фамилии?

— Мои люди, — спокойно сказал Скурлатский.

Судейкин вернулся на свое место и долго, с любопытством разглядывал допрашиваемого.

— Послушайте, Сергей Станиславович, — сказал он проникновенно и даже заискивая. — Ваша супруга и ваши друзья говорят, что вы имеете склонность к каким-то таким... как бы это сказать?... фантазиям, что ли.

— Вы хотите сказать, что я лгу? — побледнел Скурлатский.

— Нет, нет, ни в коем случае. Но посудите сами, ни в каких следственных материалах о деятельности партии «Народная воля», я подчеркиваю, ни в каких материалах нет вашей фамилии. Согласитесь, что это довольно странно. Нам известны все главнейшие деятели этой партии. И те, которые арестованы, и те, которые еще на свободе. И вдруг оказывается, что один из главных членов Исполнительного комитета нам совершенно неизвестен. Как прикажете понимать такое... гм... противоречие?

Скурлатский побагровел.

— Господин подполковник, — грозно сказал он, отшвыривая от себя стул, — ваши намеки кажутся мне оскорбительными. Я прошу немедленно отвести меня в мою камеру.

Судейкин вздохнул и с сочувствием посмотрел на Скурлатского.

— Сядьте, прошу вас. В камеру вы еще успеете. Я вас умоляю, Сергей Станиславович, скажите, что это не вы, что вы просто пошутили, и я прикажу вас тотчас же освободить.

— А я прошу вас отвести меня в камеру, — сказал упрямо Скурлатский.

— Ах, Сергей Станиславович, Сергей Станиславович, — покачал головой подполковник. — Напрасно вы все это затеяли. Очень даже напрасно. Вы знаете, полиция, органы правосудия получили указание о полном искоренении крамолы. Государь лично интересуется каждым, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к «Народной воле» и Исполнительному комитету. Все главные деятели комитета будут наказаны самым строжайшим образом, вплоть до смертной казни. И в это время вы настаиваете на своей, извините, не очень умной выдумке.

— Господин подполковник, — устало сказал Скурлатский, — я еще раз прошу вас: прикажите отвести меня в камеру.

— Ну хорошо, — махнул рукой Георгий Порфирьевич. — Я вам верю. Вы — член Исполнительного комитета. Назовите ваших сообщников, имена, адреса. Что вы можете сказать о деятельности партии и ее задачах?

— Ха-ха-ха, — приложив руку к груди, саркастически расхохотался Скурлатский. — Вы, подполковник, слишком наивны для вашей должности. От меня вы не

услышите, — он поднял вверх тонкий указательный палец, — ни слова. Засим, милостивый государь, я еще раз настаиваю, чтобы меня немедленно отвели в камеру. А если вы не можете этого приказать, то я иду туда сам. Честь имею, господин подполковник.

С этими словами литератор Скурлатский вытянул руки по швам, щелкнул каблуками, резко кивнул головой, круто по-военному повернулся и, выпятив грудь, твердым шагом направился к выходу.

— На место! — вдруг сорвался Судейкин.

— Что-с? — повернулся Скурлатский.

— На место, я вам говорю! Сядьте!

— Ну что ж... — Скурлатский пожал плечами. — Я подчиняюсь насилию.

Он сел.

— Вот так-то, — сказал Судейкин, все еще негодуя и раскаляясь все больше. — Послушайте, вы! — Он встал. — Вы все лжете! Вы лжете как сивый мерин! Но если вы будете упорствовать, это дорого вам обойдется. Вас повесят! Вы представляете, что это значит? Вас приведут на эшафот, сколоченный из нестроганных досок. Тут же перед вами поставят черный гроб. Криволапый палач накинет на вашу тонкую шею петлю из толстой веревки. Вы будете дрыгать ногами, ваш болтливый язык вылезет из вашей глотки...

— Ах, подполковник, — поморщился Скурлатский и покрутил головой. — Перестаньте рассказывать эти ужасы, мне это неприятно.

— Ага, испугались! — оживился подполковник. — Ну, так все в ваших руках! Скажите, что вы пошутили, и я вас сразу же отпущу.

— Нет, — твердо сказал Скурлатский. — Мой долг повелевает мне идти своим путем до конца.

— Вы дурак! Вы осел! — снова взорвался Судейкин. — Черт с вами. — Он грохнул кулаком по столу. — Я вас отпускаю. Идите!

— Куда?

— Ко всем чертям! Куда хотите!

Скурлатский развалился на стуле, положил ногу на ногу и обхватил руками колено.

— Полицейская уловка, — усмехнулся он понимающе. — Шито белыми нитками, господин подполковник. Я отсюда пойду, вы пошлете своих шпионов, чтобы вывить, с кем я встречаюсь. Прикажите отвести меня в

камеру и пускай меня повесят. Я не боюсь! Я плюю на вас!

Скурлатский встал и действительно плюнул в лицо Судейкину. Как ни странно, тот воспринял плевков совершенно спокойно.

— Дурак, — сказал он, утираясь белоснежным платком.

— Сам дурак! — выпучив глаза, закричал Скурлатский.

— Сумасшедший!

— Сам сумасшедший! — все больше накалялся Скурлатский. — Скотина в полицейском мундире! Я бросаю тебе перчатку и, если ты дворянин, завтра же будем стреляться!

Судейкин взял со стола медный колокольчик и позвонил. В дверях возникли два рослых жандарма.

— В камеру его! — утомленно сказал Судейкин. — И заковать в кандалы!

Дальнейшая судьба Скурлатского скрывается совершенно во мраке. Однако если собрать все ходившие о нем слухи и отделить правдоподобное от невероятного, то картина будет выглядеть примерно таким образом.

Показания, данные Скурлатским подполковнику Судейкину, вызвали полный переполох в компетентных сферах. Его допрашивали директор департамента полиции, прокурор судебной палаты и министр внутренних дел. Скурлатского приводили на допросы измученного, но непреклонного. Его настойчивые показания, что именно он был составителем письма к Александру III, не подтверждались смежными расследованиями. Не было подтверждено также и его членство в Исполнительном комитете. Арестованные к тому времени члены террористической партии при предъявлении им на очных ставках Скурлатского уверяли, что видят его первый раз в жизни. Когда допрашивающие требовали у Скурлатского объяснения такого казуса, он с неизменной усмешкой объяснял, что правила, существующие между революционерами, не позволяют им выдавать друг друга на очных ставках. Было примерно против него и еще одно сильное средство. Жена, которую, как говорили, он сильно любил, была допущена к нему в камеру. Всю ночь со слезами на глазах она умоляла его отказаться от возведенной на самого себя напраслины. Скурлатский был с ней мягок, нежен, но после ее ухода проявлял

прежнюю твердость. Дело литератора Скурлатского, как из ряда вон выходящее, попало в конце концов к обер-прокурору Синода Константину Петровичу Победоносцеву, а через него и к Александру III. В сопроводительном письме Победоносцев писал, что хотя показания Скурлатского и являются несомненно плодом его слишком богатого воображения, однако само направление его фантазии свидетельствует о зловредном образе мыслей, почему бывший литератор и должен быть наказан наравне с истинными особо опасными преступниками. Говорили также, что на полях дела Скурлатского собственною его величества рукой было высочайше начертано: «Мерзавца судить и повесить. А.» После этого на высочайшее имя поступило несколько обращений от представителей литературы и медицины, которые, признавая зловредное направление мыслей Скурлатского, указывали, однако, что его показания нельзя объяснить ничем иным, как тяжелым психическим расстройством, признаки которого наблюдались и ранее. В результате этих обращений государь всемилостивейше зачеркнул прежнюю резолюцию и начертил новую: «Поскольку законы империи не позволяют выпороть лгуна розгами, следует отправить его в дом умалишенных впредь до окончательного выздоровления, которое, надеюсь, наступит нескоро. А.» После этого Скурлатский, действительно, был отправлен в психолечебницу, на обитателей которой произвел сильное впечатление, что двое из шести проживавших там Наполеонов стали называть себя Скурлатскими, а один принял двойную фамилию — Желябов-Перовская. Говорят, впоследствии в этой лечебнице психиатрии был открыт новый вид душевного заболевания — коллективная мания величия, когда группа пациентов объявила себя Исполнительным комитетом. Всякий раз с приближением весны члены этой группы начинали испытывать странное беспокойство, собирали пустые консервные банки и рыли землю в самых неподходящих местах. Дошло до того, что однажды 1 марта в столе заведующего лечебницей были обнаружены связанные между собой консервные банки, от которых тянулись и уходили в стену зловещие провода. Больные были немедленно эвакуированы, а лечебницу оцепила полиция. При вскрытии банок оказалось однако, что они набиты самым безобидным материалом — недоевшей пациентами овсяной кашей, а провода ведут в соседнюю

палату к койке одного из Лжескурлатских. Дальнейшая судьба истинного Скурлатского осталась, к сожалению, невыясненной. Не найдя в архивах никаких сведений об этом замечательном человеке, автор до сих пор теряется в различных предположениях.

Глава двадцать первая

1 апреля ушел и не вернулся Исаев. Они условились в эти дни без крайней необходимости не задерживаться нигде дольше восьми, но Григория не было ни в восемь, ни в девять. К десяти Вера забеспокоилась всерьез. В одиннадцать она еще надеялась услышать его шаги на лестнице. К двенадцати поняла, что ждать бесполезно.

Утром 2 апреля начала собирать и упаковывать вещи. Исполнительный комитет приказал ей покинуть Петербург, теперь надо было тем более торопиться.

Около часу дня пришел Грачевский. На нем лица не было.

— Ты еще на свободе? — спросил он.

— Как видишь.

— Все наши убеждены, что ты арестована. Где Григорий?

— Вчера ушел и не вернулся.

Грачевский, не раздеваясь, опустился на стул.

— Говорят, в градоначальство вызывают всех дворников и показывают им какого-то человека. По описанию это Исаев. Поэтому, Верочка, тебе надо спешить. Уходи немедленно.

— А куда деть это? — она показала глазами на сложенные в углу узлы.

— Оставь к черту, не до них.

Она покачала головой:

— Нет, это оставить нельзя. Здесь динамит, типографский шрифт, заготовки документов. Мы не настолько богаты, чтобы делать такие подарки полиции.

Грачевский был взвинчен. Он встал и забегал по комнате.

— Это невозможно! — воскликнул он, нервно потирая руки. — Ты ведешь себя, как девчонка. А если придет полиция и возьмет все это вместе с тобой?

Она поморщилась:

— Грач, не устраивай, пожалуйста, истерик. И так тошно. Если придет полиция, меня она не возьмет. У меня есть револьвер, и живая я не дамся.

Он вздрогнул и остановился:

— Извини, я перенервничал. Соня передала, чтобы мы особенно берегли тебя и Наума.

Вера нахмурилась:

— Надо было ее беречь, а мы не смогли. Кстати, насчет Наума. Отыщи его, и пусть он поможет очистить квартиру.

— Хорошо.

Грачевский ушел, и она снова принялась за упаковку вещей. Когда на душе тяжело, лучше всего заняться каким-нибудь механическим делом. Она укладывала, сортировала. Отдельно книги, отдельно шрифт, отдельно динамит. Банки с динамитом обложила тряпками, как обкладывают для перевозки посуду. Но отвлечься было почти невозможно, и мыслями она была там, в Доме предварительного заключения. В голове неотвязно вертелось:

Завтра казнь. Но без боязни
Он мыслит об ужасной казни...

Завтра казнь... Их посадят на высокие позорные колесницы и повезут через весь город на устрашение народа. И ничего нельзя сделать. Ничего. Нельзя даже выйти, чтобы проститься взглядом: Исполнительный комитет запретил ей подвергать себя ненужному риску. Завтра казнь... Господи, если ты есть, дай им силы перенести эту ночь!

Завтра казнь. Но без боязни
Он мыслит об ужасной казни;
О жизни не жалеет он.
Что смерть ему? желанный сон.
Готов он лечь во гроб кровавый...

Около восьми вечера в сопровождении двух морских офицеров появился Суханов. Поздоровавшись, он сразу приступил к делу:

— Внизу ждет кибитка. Что выносить?

Офицеры подхватили по два узла в каждую руку и вынесли все в три приема. Оставив офицеров в кибитке, Суханов вернулся:

— Верочка, я за вами.

Она покачала головой.

— Нет, Наум, я останусь.

— Останетесь? — Его большие навывкате глаза смотрели на нее с тревогой. — Но ведь за вами могут прийти в любую минуту.

— Не думаю, — сказала она. — Раз до сих пор не пришли, значит, еще ничего не знают. Вечером Исаева допрашивать не будут. А утром я уйду.

— Вам виднее. — Он стоял посреди комнаты. — Слушайте, Верочка, — вдруг быстро заговорил он. — А что, если сегодня за ночь снарядить бомбу и завтра как ахнуть!

— В кого?

— В кого-нибудь. В конвой, в жандармов. Неужели мы можем допустить, чтобы завтра у них все прошло, как намечено? Я понимаю, отбить не удастся, будет слишком сильный конвой. Но сделать хоть что-нибудь, чтоб взбаламутить это болото! Чтоб Соня, Андрей знали: борьба не кончена, а мы за них отомстим.

— Они это знают, Коля, — назвала она его настоящим именем. — Но сейчас мы должны сделать все, чтобы сохранить себя для будущих дел. Прощайте.

Глава двадцать вторая

3 апреля в шесть часов утра пятерых приговоренных разбудили. Подали чай. Затем в особой комнате переодели в специальную одежду: чистое белье, серые штаны, полушубки, поверх них арестантский черный армяк, сапоги и фуражки с наушниками. Одежда Перовской отличалась от других тиковым платьем в полоску, которого, впрочем, не было видно под армяком.

Выйдя во двор, Перовская увидела две телеги. На первой из них сидели Желябов и Рысаков с привязанными к сиденью руками. Рысаков был бледен и, глядя куда-то вперед, кусал губы. Бледным был и Желябов. Увидев Перовскую, он улыбнулся ей какой-то мучительной улыбкой. У Желябова и Рысакова на груди висели черные доски, на которых белым было четко написано: «Цареубийца». Такая же доска висела и на груди Кибальчича, сидевшего во второй колеснице. Над Кибальчичем трудился палач. Ловко работая короткими, поросшими белесым пушком пальцами, он опутал Кибаль-

чича веревками, как паутиной, и теперь натягивал веревку, упираясь ногой в задок колесницы, с таким спокойствием, как будто засупонивал лошадь.

Привязав Кибальчича, палач принялся за Перовскую. Он помог ей подняться на телегу, потом схватил за правую руку, завел за спину и стал крепко прикручивать веревками, пока его помощник делал то же самое с другой рукой.

Говорят, руки Перовской привязали так туго, что она попросила:

— Отпустите немного, мне больно.

Стоявший рядом жандармский офицер, переглянувшись с начальником конвоя, хмуро пообещал:

— После будет еще больнее.

Последним вывели Тимофея Михайлова. Он шел ни на кого не глядя, низко опустив голову. Его посадили рядом с Перовской, и, скосив глаза, она увидела его профиль — широкоскулое простое лицо со вздернутым носом.

И вот преступники усажены на телеги, привязаны. Палач, не дожидаясь своих жертв, отправился к месту казни.

Колесницы с приговоренными выехали из ворот Дома предварительного заключения на Шпалерную улицу в семь часов пятьдесят минут. Народу скопилось видимо-невидимо. Погода была на редкость хороша. Ярко светило солнце, снега почти нигде не было, и робкая зеленая травка пробивалась везде, где могла пробиться.

Увидев выехавшие колесницы, толпа зашумела, стала надвигаться на сдерживавших ее жандармов,

— Я ничего не вижу! — приподнимаясь на цыпочки, говорила бестужевка Надя. — Я совершенно ничего не вижу! Господин, вы не можете снять свою шляпу? Вы же мешаете людям смотреть! Боже, какой противный человек! Я ему говорю, а он делает вид, что не слышит. Валентин, — повернулась она к стоявшему рядом с ней безусому гвардейскому прапорщику, — скажите ему, пусть он снимет свою мерзкую шляпу.

— Наденька! — заволновался поручик. — Позвольте вас посадить.

— Нет, нет, не трогайте меня! Хотя, пожалуй, посадите, только не вздумайте распускать руки. О, господи, да какой же вы растяпа! Вот уже первая телега проехала, а я ничего не увидела. А вон выезжает вторая. Два

мужчины и одна женщина. Вы посмотрите, какой у нее румянец! Неужели ей совсем не страшно. А это мужчина... Что он кричит? Из-за этих баранов ничего не слышно. Вы не слыхали, что он кричал?

— Кажется, он кричал: «нас пытали», — неуверенно сказал прапорщик.

— Неужели пытали? Что же вы меня не держите?

— У меня руки устали, — виновато сказал Валентин.

— Руки устали? — Она обдала его взглядом, полным презрения.

— Мужчина называется, офицер. Давайте побежим, мне хочется посмотреть на тех, которые в первой телеге. Там, говорят, Желябов.

Надя торопливо выбиралась из толпы, ведя за руку сконфуженного прапорщика.

Тем временем огромные толпы народа стекались и к Семеновскому плацу, окруженному казаками и кавалерией, где в полном молчании ожидали прибытия осужденных. Ближе к эшафоту были расположены квадратом конные жандармы и казаки, а еще ближе, на расстоянии нескольких метров от виселицы, пехота лейб-гвардии Измайловского полка.

После восьми часов стало прибывать начальство — градоначальник Баранов, затем прокурор судебной палаты Плевел, прокурор Плющик-Плющевский и прочие.

До Семеновской площади езды было не больше, чем на полтинник, но прапорщик Валентин пообещал извозчику рубль, если доставит без опоздания. Улицы, по которым пролегал маршрут осужденных, были забиты, но извозчик, хорошо зная Петербург, проехал переулками к концу Николаевской улицы. Пройтись дальше было невозможно из-за исключительного стечения народа. Здесь прапорщик разорился еще на целковый, в результате чего получил возможность вместе с Надеей взобраться на крышу кареты. Отсюда открывался замечательный вид на происходящее.

Все пространство Семеновского плаца и Николаевской улицы было запружено морем народа, как стрела, коридор, выходящий непосредственно к эшафоту.

Эшафот представлял собой черный квадратный помост, обнесенный перилами. На помосте три позорных столба с висящими на них цепями и наручниками. Посредине помоста еще два высоких столба с перекладиной в виде буквы «П», а на перекладине шесть желез-

ных колец с веревками (шестая — для Геси Гельфман)¹. За эшафотом стояли две телеги с пятью черными гробами.

Немного в стороне от помоста была сооружена специальная платформа для чинов полицейского и судебного ведомств. Здесь же находились представители русских и иностранных газет и почетные гости. За этой трибуной располагалась группа высших офицеров разных родов войск.

Не успели Надя и Валентин как следует оглядеться, как в толпе произошло движение и раздались возгласы: «Едут! Едут!»

— Держите меня, чтобы я не упала, если мне станет трудно, — сказала Надя своему спутнику, вглядываясь вглубь Николаевской улицы, где действительно появились окруженные конными жандармами две позорные колесницы. Они медленно пробивались сквозь раздвинутую казаками и жандармами толпу.

— Смотрите, Наденька, — возбужденно зашептал Валентин. — Вон на первой колеснице с бородой, это Желябов. Смотрите, он улыбается!

Но Надя не смотрела на Желябова. Она впиалась взглядом в бледное лицо молодого человека с усиками, который сидел рядом с Желябовым. Льяные длинные волосы выбивались из-под арестантского картуза, а на груди висела такая же, как у его товарищей, доска с надписью «цареубийца». Чем ближе подъезжала первая карета, тем больше волновалась Надя. Неужели?

— Послушайте, Валентин, как фамилия того, который рядом с Желябовым?

— Кажется, Рысаков, — сказал Валентин.

Рысаков, Рысаков... Тот говорил, что его фамилия Глазов. И все-таки...

— Это он! — вскрикнула Надя и, предусмотрительно отодвинувшись от края крыши, повалилась в обморок.

Пока встревоженный прапорщик приводил ее в чувство, позорные колесницы приблизились к эшафоту.

Представители власти и чины прокуратуры заняли свои места на трибуне. Палач влез в первую колесницу и, отвязав Желябова и Рысакова, передал их своим помощникам, которые ввели приговоренных на помост.

¹ Казнь Геси Гельфман была отложена в связи с ее беременностью. Она умерла в тюрьме вскоре после рождения ребенка.

Тем же манером были препровождены на помост Кибальчич, Перовская и Михайлов. Желябов шевелил руками и часто поворачивался то к Перовской, то к Рысакову. Стоя у позорного столба, Перовская шарила по толпе глазами, словно кого-то искала, но на лице у нее не шевельнулся ни один мускул, лицо сохраняло каменное выражение. Рысаков, когда его возвели на помост, оглянулся на виселицу, и лицо его исказилось от ужаса.

Гул, прошедший по толпе при появлении колесницы, утих.

Генерал Дризен отдал войскам команду «на караул». Градоначальник Баранов сказал прокурору Плевле, что все готово. Плевле дал знак обер-секретарю Попову, тот вышел вперед и в наступившей полной тишине долго и громко читал приговор.

Михаил Гурьянов, дворник дома номер 25 по Вознесенскому проспекту, придя загодя на Семеновский плац, сумел занять неплохое место неподалеку от эшафота. Не в самой непосредственной близости, не там, где стояла избранная, приглашенная по специальным билетам публика, но и нельзя сказать, чтоб далеко. Отдельные слова приговора долетали даже сюда, но связать их в единую цепь было невозможно из-за купчишки, который, стоя за спиной Михаила Гурьянова, бормотал молитву о спасении душ казнимых злодеев.

— Да замолчи ты! — не выдержав, цыкнул на купчишку Гурьянов. — Дай послушать, что говорят.

Но купчишка, пропустив замечание мимо ушей, продолжал торопливо молиться.

— Между прочим, — ни к кому не обращаясь, сказал господин ученого вида в золотых очках с длинной шеей, укутанной рваным кашне, — повешение является самым гуманным видом смертной казни. Петля, пережимая сонную артерию, прекращает доступ крови к головному мозгу. Наступает помутнение рассудка, и человек впадает в сонное состояние. — Господин снял очки и краем кашне протер стекла. — Смерть через расстреляние может быть гораздо...

Договорить ему не удалось. По прочтении приговора вновь мелкой дробью брызнули барабаны. На помост взошли пять священников с крестами в руках. Осужденные подошли к священникам, поцеловали кресты, после чего священники осенили их крестным знаменем и сошли с помоста. Желябов, Кибальчич и Михайлов поце-

ловались с Перовской. Рысаков не двигался с места и смотрел на Желябова. Палач снял синюю поддевку, оставшись в красной рубаше. Он подошел к Кибальчичу. Надел на него саван с башлыком, закрывающим лицо, затем надел на шею петлю и слегка затянул ее. То же самое было сделано по очереди с Михайловым, Перовской и Желябовым. Рысаков сопротивлялся, и для того, чтоб его обрядить, палачу пришлось прибегнуть к помощи своих подручных...

Барабаны, не уставая, рассыпали по площади мелкую дробь...

Наконец долгие приготовления были окончены. Палач вернулся к Кибальчичу, помог ему подняться на скамью и дернул веревку. Вероятно, смерть Кибальчича наступила мгновенно, потому что тело его, слегка покружившись, застыло без всяких движений и конвульсий. Михайлова веревка не выдержала, и он рухнул на помост.

По толпе прошел ропот. Кто-то крикнул: «Божий знак!» Дескать, по стародавним обычаям, если осужденный срывается, стало быть, воля божья на то, чтобы больше его не казнить.

Однако время шло к двадцатому веку, и кончалось сентиментальное отношение к старинным обычаям.

Палач торопливо приготовил новую петлю, снова возвел Михайлова на скамью, и снова оборвалась веревка.

Прокурор господин Плеве стоял, сжав зубы. Генерал Дризен нервно комкал в руке белую перчатку. Плеве шепнул что-то секретарю Семякину, тот через перила перегнулся к подставившему ухо жандармскому офицеру, офицер подбежал к помосту и что-то крикнул Фролову. Фролов кивнул головой, после чего соединил две петли — ту, на которой уже вешал Михайлова, и одну свободную, предназначенную для Геси Гельфман.

Перовская не стала дожидаться, покуда ее толкнут. Как только палач помог ей подняться на скамью, она оттолкнулась сама, и все было кончено. Рысаков цеплялся за жизнь до последней секунды. Уже стоя на скамье, он противился палачу и пытался удержаться, но помощники вытолкнули из-под него скамью, а Фролов сильно толкнул сзади. И Рысаков затах так же мгновенно, как и преданные им товарищи.

В девять часов тридцать минут барабаны смолкли. Вся процедура заняла всего-навсего десять минут.

Палач и его помощники сошли вниз и стали слева от лестницы, ведущей на помост. Снова оживленно гудела толпа. Через двадцать минут военный врач и два члена прокуратуры освидетельствовали трупы, которые затем были положены в гробы, закрыты крышками и отправлены под сильным конвоем на Преображенское кладбище.

— Нет, вы подумайте, какой мерзавец! — всхлипывала бестужевка Надя, направляясь со своим спутником в сторону Невского. — Он мне еще говорил, что я пожалею. О чем же я пожалею? Если ты хочешь ухаживать за порядочной девушкой, то не надо заниматься такими делами, за которые вешают.

На углу Большой Садовой и Невского с ней случилась истерика — она плакала и смеялась одновременно, но в конце концов успокоилась. Месяц спустя она обвенчалась с Валентином, который к тому времени стал уже подпоручиком.

Глава двадцать третья

— Да что ты, папаша, неужто не признаешь? — Молодой человек за деревянной перегородкой дымил папироской, держа ее в руке, на которой не хватало трех пальцев. Дворник подслеповато щурился, морщил лоб и виновато оглядывался на сидевшего за столом жандармского офицера.

— Не знаком? — спросил офицер.

— Пожалуй, что нет, — неуверенно жался дворник.

— Эх, папаша, папаша, — укоризненно покачал головой молодой человек. — Неужто забыл, как встречались?

— Да и где ж мы встречались? — вконец растерялся дворник.

— Между небом и землей, папаша. Щи вместе лаптем хлебали.

Дворник заискивающе улыбнулся.

— Они шутят, — повернулся он к офицеру, не то спрашивая, не то утверждая.

— Шутят, шутят, — подтвердил офицер. — Шутят с огнем. Иди, дядя, и позови следующего. А вы, молодой

человек, — обратился он к арестованному, — напрасно устраиваете эту комедию. Все равно вас опознаем.

— Бог в помощь, — весело откликнулся молодой человек.

Будучи 1 апреля задержан на улице без документов, он отказался отвечать на вопросы о своем имени, звании и месте жительства. Подозревая в нем одного из деятелей Исполнительного комитета, подполковник Судейкин приказал провести перед арестованным всех дворников Петербурга. Десятки дворников прошли за два дня перед арестованным, и пока безрезультатно. Правда, дворник Самойлов, служивший в доме Менгдена, признал в молодом человеке одного из посетителей магазина сыров, но для установления личности арестованного этого было недостаточно.

— Здравия желаю, ваше благородие! — огромный детина с дворницкой бляхой на брезентовом фартуке вошел и встал по-военному, вытянув руки по швам.

Молодой человек при его появлении вынул изо рта папироску и повернулся спиной.

— Здравия желаю, господин Кохановский! — поздоровался дворник и с ним.

— Господин Кохановский? — Офицер живо вскочил на ноги и подбежал к арестованному. — Что ж вы, господин Кохановский, не отвечаете? — Голос офицера завибрировал. — Невежливо-с.

— Подите к чертовой матери! — не оборачиваясь, сказал Кохановский.

— Ну, это уж совсем ни в какие ворота, — развел руками офицер и повернулся к дворнику: — Стало быть, вы узнаете этого человека?

— Как не узнать, — сказал дворник. — В нашем доме живет. Вознесенский проспект, 25.

Оставив арестованного на дежурного жандарма, офицер немедленно, как было приказано, провел дворника в кабинет к подполковнику Судейкину. Судейкину дворник объяснил, что арестованный Кохановский вместе с женой поселился в доме по Вознесенскому проспекту зимой этого года. Оба поведения смиренного, ни в чем замечены не были, кто у них бывал, сказать трудно, потому что в том же дворе находится баня и народу всякого ходит бессчетно, за всеми не уследишь.

— Ну, а как выглядит госпожа Кохановская? — спросил Судейкин.

— Такая из себя чернявая, худенькая, волосы заплетены в косу, — четко отвечал дворник.

— Так, — сказал Судейкин, расхаживая по кабинету. — М-да, — сказал он, остановившись перед дворником. — Значит, чернявая, и волосы заплетены в косу?

— Так точно! — ответил дворник.

— Интересно, — сказал Судейкин. — Прелюбопытно, — добавил он.

Подойдя затем к железному шкафу, подполковник открыл дверцу, порылся, достал довольно пухлую папку, вернулся к столу.

— Поди-ка сюда, — поманил он дворника. И когда тот подошел, распахнул папку: — Она?

В папке поверх прочих бумаг лежала фотография молодой женщины с темной косой, уложенной вокруг головы.

— Она! — ахнул дворник. И опасливо покосился на Судейкина. — Ваше высокоблагородие, — спросил он с живейшим интересом, — а чего ж это она такое сделала? Ай украла чего? Да вроде бы не похоже.

— Не похоже? — хмыкнул Судейкин. — На Семёновском плацу был нынче?

— Был.

— Видел, как вешали государственных преступников, изменников и царевубийц?

— Видел, ваше высокоблагородие, — сказал дворник, понизив голос, и перекрестился.

— Так вот, и она из этих, виселица по ней давно уже плачет, — сказал Судейкин, захлопывая папку. И дворник, хотя не очень-то был силен в грамоте, успел все же прочитать на обложке фамилию: «Филиппова-Фигнер».

Спустя полчаса четыре экипажа, набитые жандармами, остановились перед воротами указанного дворником дома. Подполковник Судейкин лично руководил операцией. Он велел перекрыть все выходы со двора и в сопровождении шести жандармов и дворника поднялся к дверям квартиры, где жили Кохановские. На звонок никто не ответил. Дворник открыл дверь своим ключом. Войдя в квартиру, Судейкин не обнаружил в ней ничего и никого. Квартира была чисто убрана, в ней не было никаких следов поспешного бегства. Но пустой шифоньер, пустой сундук в коридоре и полное отсутст-

вие всякой одежды говорили о том, что хозяйка покинула квартиру и, по-видимому, навсегда.

— Да-с, — задумчиво сказал Судейкин, стоя посреди гостиной, — птичка упорхнула. — Он подошел к стоявшему на столе самовару и потрогал его. Самовар был еще горячий. — И упорхнула перед самым нашим носом, — добавил Георгий Порфирьевич.

Глава двадцать четвертая

Осенью 1882 года на одной из тихих улиц Харькова поселилась скромно одетая, неприметная женщина, ученица земского повивального училища Мария Дмитриевна Боровченко. Образ жизни вела уединенный, из дому выходила редко, и у себя почти никого не принимала. Это была Вера Николаевна Фигнер. Не та Верочка, заводила и шалунья, в которую влюблялись чуть ли не поголовно все ее суровые товарищи, не та нетерпеливая и несколько даже капризная Верочка, которая получила прозвище Топни-Ножка. Это была усталая женщина, выглядевшая старше своих тридцати лет.

Со времени ее вступления в Исполнительный комитет произошло много событий. Были взлеты. Была ослепительная удача на Екатерининском канале. После этого пошла черная полоса — провалы, аресты, один за другим процессы. И жестокие приговоры. Кому виселица, кому расстрел, кому вечная каторга. А полиция продолжает разыскивать следы Исполнительного комитета, не подозревая, что из всего комитета остался на свободе один человек — Вера Фигнер.

Что она делала эти два года без малого? Переезжала из города в город (Петербург, Москва, Одесса, Харьков, Орел, Воронеж, Киев, снова Москва, снова Одесса, снова Харьков). Пыталась возродить организацию, по собственному ее выражению, «связывала разрозненные нити». Но нити выскальзывали из рук, все рушилось.

Нельзя сказать, что за это время не было сделано ничего. Кое-что делалось. Поддерживалась постоянная связь с границей, хотя и с трудом, доставались необходимые партии средства, в Одессе удалось, наконец, осуществить долго готовившееся убийство прокурора Стрельникова (Халтурин и Желваков, исполнившие приговор Исполнительного комитета, были арестованы на

месте убийства, а затем поспешно осуждены и повешены). В Николаеве и Одессе продолжали действовать под руководством Ашенбреннера два военных кружка. В Одессе же была устроена типография, хозяином которой назначен Сергей Дегаев.

Да, было сделано многое, но не было самого главного: не было центра. Создать этот центр, «воссоздать подобие того, что было разрушено», собрать людей, которые смогут взять на себя эту ответственность в новых, тяжелейших условиях, было главной задачей Веры Фигнер.

«Воссоздать подобие того, что было разрушено». Но возможно ли это? Возможно ли, если народ и общество, вопреки ожиданиям «Народной воли», не оказались потрясенными до самого основания событиями 1 марта и не пришли в движение после смерти царя и казни перво-мартовцев? Возможно ли, если лучшие силы погублены, сосланы, арестованы и из всех членов Исполнительного комитета осталась она одна?

Но с другой стороны, возможно ли и быть бездеятельною и опустить руки или, подобно Тихомирову, уехать за границу, в то время как все оставшиеся революционные силы с надеждой смотрят на нее, находя в ней одной уверенность в возможности продолжения борьбы. (В одном из писем, полученных Верой в то время, какая-то молодая девушка писала ей, что «на темном горизонте ее омраченной души одна светлая звездочка» — Вера Фигнер. После ареста Фигнер она покончила с собой, бросившись под поезд.)

Нет, необходимо сделать все, что в ее силах. И пусть этих сил не всегда хватает, пусть приходят минуты отчаяния — это только наедине с собой. На людях она должна быть спокойной, уверенной в будущем. Это особенно важно сейчас, когда разгромлена московская организация, закрыты типографии в Минске и Витебске...

А ее давно уже разыскивают в Москве и в Петербурге. По Одессе, пытаясь встретить ее на улице, бродит ставший предателем Василий Меркулов.

Пока ей удавалось избежать ареста. Случайность? Может быть, чудо? Может быть, чудо, но полиция идет по пятам, и кажется, все же ей недолго осталось быть на свободе. Велика Россия, а спрятаться негде.

В октябре разыскал ее писатель Николай Константинович Михайловский, писавший когда-то статьи в «Народной воле». Он приехал в Харьков с необычной миссией. Министр императорского двора граф Воронцов-Дашков намекнул литератору Николадзе (а тот в свою очередь Михайловскому), что правительство желало бы вступить в переговоры с партией «Народная воля».

— Правительство, — передал Михайловский слова Воронцова-Дашкова, — утомлено борьбой с «Народной волей» и жаждет мира. Если «Народная воля» решится воздержаться от террористических актов до коронации, то при коронации будет издан манифест, дающий полную амнистию политическим заключенным, свободу мирной социалистической пропаганды, свободу печати. В доказательство своей искренности правительство готово освободить кого-нибудь из осужденных народо-вольцев, например Исаева. Вера Николаевна, я считаю, что это победа!

Вера нахмурилась.

— Не думаю, чтоб это была победа. Обычный полицейский прием. Полиция или хочет обеспечить безопасность коронации, или ухватить нить, за которую можно вытянуть на свет всю организацию.

— Вера Николаевна, — убеждал Михайловский, — а я уверен, что это искренне. Царь до сих пор не решается короноваться и сидит в Гатчине. Правительство действительно устало и боится.

— Наивный вы человек, Николай Константинович. Вспомните Гольденберга. Ему говорили то же самое.

— Ну хорошо, — сказал Михайловский. — Ответьте мне на такой вопрос: способна ли сейчас ваша партия на какие-нибудь террористические действия?

— Нет, — сказала Вера. — Если сказать вам правду, то положение нашей организации не дает надежд на это.

— В таком случае вы ничего не теряете, а выиграть кое-что все же можете.

— Да, это правда, — согласилась она. — Тогда, пожалуй, нужно сделать так. Вы скажите Николадзе, что никого из Исполнительного комитета не нашли, что все за границей, пусть за границей правительство и вступает в переговоры. А я пошлю кого-нибудь к Тихомирову и Ошаниной, предупрежу их. Спасибо вам, Николай Константинович. Получится из этого дела что-нибудь

или нет, не знаю, во всяком случае я очень рада, что вас повидала. — Она проводила его в прихожую и терпеливо ждала, пока он надевал на себя свою роскошную шубу.

— Ну, прощайте, Вера Николаевна.

Она подала ему руку. Он вдруг обхватил ее голову и стал осыпать поцелуями щеки, глаза, нос.

От неожиданности она перепугалась.

— Что вы, господь с вами, Николай Константинович, — отталкивалась она руками.

А он все продолжал ее целовать и бормотал что-то, чего она сначала не смогла разобрать, а потом поняла.

— Бедная, — говорил Михайловский, — бедная, бедная!

Потом так же неожиданно ее отпустил.

— Прощайте, Вера Николаевна. — И, резко повернувшись, вышел.

Некоторое время она стояла в прихожей, не могла опомниться. Потом медленно пошла в комнату. Подошла к зеркалу. Из зеркала на нее смотрело старое осунувшееся лицо. Да, бедная. Она провела рукой по лицу, как бы желая снять усталость, и тут же рассердилась на Михайловского. «Бедная!» Как будто дело в ней! Необходимо возродить партию. После стольких арестов, смертей, пролитой крови, после всего пережитого невозможно, чтобы деятельность партии оборвалась. Нельзя ни уставать, ни жалеть себя и друг друга, нельзя опускать руки — надо бороться.

«Милые, дорогие мои. Письмо ваше получила — оно тронуло меня до глубины души, до слез. Право, я не заслуживаю ни такой любви, как ваша, ни такого уважения, которое высказываешь ты, дорогая Оля. Среди всех несчастий, которые так и сыплются на мою долю, потому что тяжелый, страшно тяжелый период переживает наша партия, отрадно хоть на минуту забыть все тяжелое и мрачное и быть растроганной любовью. Я не могу и не должна вам говорить о том, что я испытывала, переживала и переживаю вот уже год. Вся моя энергия уходит на то, чтобы скрыть свое внутреннее состояние и быть бодрой для других. Есть стороны общественной жизни, которые еще тяжелее простых неудач, — это то психическое состояние, которое создается в обществе

вследствие этих неудач и которое наполняет душу то ужасом, то отчаянием, то гневом... Я чувствую себя несчастной, глубоко несчастной...»

«Я чувствую себя несчастной, глубоко несчастной», — повторил про себя Георгий Порфирьевич и усмехнулся. Ах ты моя радость, ах ты моя прелесть! Она глубоко несчастна. Наша птичка утомилась, у нее ослабли крылышки. Что ж, самый момент, пожалуй, накрыть ее шапкой — и в клетку!

Георгий Порфирьевич был нездоров. Да и как быть здоровым при такой беспокойной службе: вся жизнь на колесах, мотаешься из города в город, спишь в казенных квартирах, нервное напряжение, сквозняки, клопы и нерегулярное питание. Потому и нападают время от времени на подполковника то чих, то кашель, то несварение желудка, иногда по отдельности, а теперь вот нашло все разом. И лежит подполковник Судейкин, наглотавшись порошков, в одесской гостинице в ожидании собственного благополучного выздоровления и читает чужое письмо, которое очень кстати перехватили. Правда, Судейкину доставили копию, а подлинник сразу отправили дальше, чтоб не спугнуть. Судя по почтовому штемпелю, который был на конверте, письмо отправлено из Орла. Впрочем, это ничего не значит. То есть как раз и значит, что отправитель может жить в каком угодно городе, только не в Орле.

«...Я чувствую себя несчастной, глубоко несчастной. Не подумайте, что меня одолевают какие-нибудь сомнения, разочарования. Нет. Я твердо убеждена и в правоте идеи, и в правильной постановке нашего дела, в неизбежности именно того пути, которым мы идем; с этой точки зрения недаром была пролита кровь стольких мучеников. Эта кровавая полоса установила твердо, незыблемо цель и средства, незыблемо до тех пор, пока не изменятся коренным образом условия жизни и нашей деятельности. Но в жизни каждой партии, каждой организации были кризисы, переживать которые мучительно. Такие кризисы были в истории всех заговоров, всех движений к свободе. К сожалению, для переживания таких периодов надо иметь особые личные свойства: тяжесть их прямо пропорциональна чувствительности, нервозности, измученности субъекта. Я видела в прошлом и в настоящем людей, которые отступали под напором обстоятельств и убегали от всех и всего в такие тяжкие вре-

мена, другие гибли, исчезали со сцены. Я же существую, как вечный жид, и бежать не хочу. Если вы хотите добра мне, то пожелайте мужества и силы, чтобы с пользой прожить до момента, когда, приспособившись к условиям, воспользовавшись всеми уроками прошлого и на основании всего раньше сделанного, партия снова начнет свое шествие вперед. Тогда можно с улыбкой идти и на эшафот.

Обнимаю вас, мои дорогие, до первого объятия в тюрьме — лишь бы при лучших условиях для партии».

— Стало быть, «до первого объятия в тюрьме», — вслух обратился Георгий Порфирьевич к Вере Фигнер, как бы представляя ее сидящей у своей постели. — Ну что ж, моя прелесть, вы, я вижу, и сами уже смирились, сами готовы, а мы поможем. Да, — подтвердил он с оттенком осознанного благородства, — это наш долг, и не нужно нас благодарить. Насчет лучших условий для партии ничего обещать не могу, а объятия в тюрьме устроим.

Разговор действительного подполковника Судейкина с воображаемой Верой Фигнер был прерван появлением денщика, который доложил, что вызванный срочно агент доставлен и ждет в передней.

— Прекрасно, — живо отозвался Судейкин. — Пусть войдет.

В комнату вошел невысокого роста человек с несколько настроженным взглядом.

— Желая здравствовать, Георгий Порфирьевич. Как здоровье?

Он старался держаться на равной ноге, старался даже быть фамильярным. Но нет, не получалось у него этого. Не получалось на равной ноге. Не получалось фамильярно.

— Хорошие вести для меня лучшее лекарство, друг мой, — снисходительно сказал Георгий Порфирьевич.

— А есть хорошие вести?

— Почитай.

Посетитель взял из рук Судейкина письмо и стал читать. Судейкин пристально следил за его реакцией и заметил, что на лице агента появилось страдальческое выражение.

— Жалко тебе ее? — резко спросил Судейкин.

— Жалко, — признался агент.

— Что делать, друг мой, что делать! — вздохнул Су-

дейкин. — Дело наше такое, что личные чувства надо отставить. Последняя жертва на алтарь отечества, а потом...

— Не знаю, Георгий Порфирьевич, что будет потом, а пока вы сделали из меня заурядного шпиона.

— Ну уж скажешь тоже — шпиона. Мне и самому, брат, приходится заниматься черной работой. И я тебя понимаю и сочувствую. Ты ведь, кажется, был в нее влюблен?

— Да, она мне нравилась, — с некоторым даже восторгом сказал агент.

— Еще бы, — сказал Судейкин. — Она мне и самому нравится. Хотя я ее никогда не видел. Внешне очень хороша, а характер — камень. Очень сильный характер. Я ведь за ней давно иду след в след. Сколько раз уходила перед самым носом! В Петербурге, когда опознали Исаева и явились на квартиру, самовар еще был горячий. Теперь, думаю, не промахнемся. — Он пытливо заглянул в глаза агента. — Ты не вздумай выкинуть какой-нибудь номер. Ты у меня весь в руках. Если что, все твои показания станут известны. Но я тебя не шантажирую. Я тебя призываю: будь моим товарищем до конца, и мы сотворим такое... Мы весь мир удивим. — Он приподнялся на локте. Пижама раскрылась, обнажив его волосатую впалую грудь. В глазах подполковника появился безумный блеск. — Вот возьмем твою Фигнер и на этом пока закончим. Больше трогать ничего не будем. Во всяком случае, в ближайшее время. И приступим к осуществлению главной части нашей программы. Где-нибудь в Петербурге, допустим в Летнем саду, ты со своими товарищами по партии устраиваешь на меня покушение. Я ранен (конечно, легко), выхожу в отставку. Только я вышел в отставку, умершая уже, казалось, «Народная воля» активизирует свою деятельность. Взрывы, выстрелы из револьверов, несколько удачных покушений и наконец убийство министра внутренних дел графа Дмитрия Андреевича Толстого. Для отечества, я думаю, это будет потеря не очень большая, а для нас — рубикон. Среди окружения его величества начинают поговаривать, что вот, мол, покуда был Судейкин, все было спокойно, Судейкин ушел — опять начались безобразия. У государя складывается отчетливое мнение, что надо призвать Судейкина и назначить... кем? — Судейкин выдержал паузу и, округлив глаза,

сказал шепотом: — Министром внутренних дел. А? Видишь, что мы с тобой вдвоем можем сделать. Но это еще не все. Я не настолько мелок, чтобы стремиться к чину рядового министра. Нет, мы с тобой пойдем дальше. Ты у меня будешь ведать подпольной Россией, я — надпольной. Ты кого-то будешь убивать, я кого-то ловить, всех запугаем до смерти, царя загоним в Гатчину, чтоб он оттуда и не вылезал, и вдвоем (вдвоем, понял) — ты да я — будем править этой страной. — От перевозбуждения Судейкин закашлялся, покраснел.

— Что с вами, Георгий Порфирьевич? — всполошился агент. — Кого позвать? Врача? Денщика?

Захлебываясь в кашле, Судейкин помотал головой. Придя в себя, он лег на спину, смахнул выступившие от напряжения слезы, но еще долго трудно дышал.

— Ничего, брат, — закрывая глаза, сказал он усталым голосом. — Это пройдет. Не обращай внимания. Поезжай с богом и возьми с собой Ваську Меркулова. Сам не раскрывайся.

Глава двадцать пятая

В конце декабря 1882 года из Одессы пришло сообщение: разгромлена типография, организованная Сергеем Дегаевым. Все работавшие в типографии, в том числе и сам Дегаев с женой, арестованы. А спустя месяц, придя к своим харьковским друзьям Тихоцким, Вера увидела за столом Сергея Дегаева. В чистой белой рубашке он сидел перед самоваром и пил чай, наливая его из расписанной цветами чашки в глубокое блюдце.

— Боже мой! — удивилась Вера. — Каким образом? Дегаев шагнул навстречу, обнял ее.

— Бежал, Вера Николаевна, — сказал он волнуясь.

— Как вам удалось?

— Сейчас все расскажу. Да вы садитесь, попейте чаю с морозу.

Они сели. Софья Адольфовна Тихоцкая подала Вере чаю.

— Ну, я вас слушаю, — подняла Вера глаза на Дегаева.

— Ну, значит, было так, — не торопясь, начал Дегаев. — Как вы уже знаете, наша типография была разгромлена. Арестованы Калюжная, Спандони, Суровцев

и я. С самого начала я решил попытаться бежать. Из Одесской тюрьмы бежать никак невозможно, тогда я придумал уловку и говорю следователю, что в Одессе показания давать не желаю, а дам в Кіеве, где жил до Одессы. Жандармы долго не соглашались, но потом видят — не поддаюсь, согласились. На вокзал повезли вечером в пролетке. Один жандарм слева, другой — справа. Едем. Выезжаем на какой-то пустырь, я говорю себе: «Пора!», достаю из кармана горсть табаку и — в глаза жандармам. Полгорсти одному, полгорсти другому, спрыгнул на ходу и — дай бог ноги. Как бежал, не помню. Выстрелы уже потом услышал, когда далеко был.

— Где вы взяли табак? — поразилась Вера. — Вы же не курите?

— Я не курю, — согласился Дегаев, — но табак купил заранее.

Вера была потрясена. В таких ситуациях очень редко кому удавалось бежать. А вот Дегаев ухитрился. Она посмотрела на его измученное лицо:

— А где же вы ночевали?

Дегаев смутился, заколебался, видимо, не хотел отвечать, но потом посмотрел ей прямо в глаза и твердо ответил:

— Я ночевал в нехорошем месте.

Теперь смутилась Вера. Она понимала, что для своего спасения революционер имеет право прятаться везде, в том числе и в публичном доме, но все же было неловко. Она замяла эту тему и стала расспрашивать дальше, как все же удалось ему, разыскиваемому, выбраться из Одессы.

— Дальше все было проще, — сказал Дегаев. — Сначала прятался в Одессе у Крайского, потом в Николаеве. Несколько дней переждал и — сюда. Приехал — ни адресов, ничего. Явился к Гурскому, на имя которого должен был писать вам. Говорю ему, что мне надо с вами увидеться, он уперся и ни в какую, уломать его было труднее, чем убежать от жандармов. — Дегаев улыбнулся: — Но вот я перед вами.

— Ну и слава богу, — сказала Вера. — Я очень была огорчена вашим арестом. Как вы думаете, что навело полицию на ваш след?

— Трудно сказать, — подумав, сказал Дегаев. — Возможно, ящики и сундуки со шрифтом. Когда их перевозили, пришлось нанять носильщиков, а носильщики

удивлялись, что ящики слишком тяжелые. Что, говорят, у вас здесь? Золото, что ли?

— Вы думаете, носильщики и донесли?

— Думать-то я думаю, — сказал Дегаев, — но у меня есть подозрения и похуже. Мне кажется, что выдает кто-то из нелегальных.

— Кто же может там выдавать?

— Я вам говорю: кто-то из нелегальных.

— Да ведь там, кроме вашей жены, Спандони, Суворцева и Калюжной, никаких нелегальных нет. А они люди верные.

— Я ни про кого из них ничего дурного сказать не могу, но, если полиция арестовала всех сразу на разных квартирах, это о чем-то говорит.

В ту ночь она долго не могла заснуть, лежала с открытыми глазами и думала над словами Дегаева. Почему он настаивает на том, что выдает кто-то из нелегальных? Разве можно поверить, что кто-нибудь из них способен на предательство? Но ведь были же случаи, когда самые проверенные товарищи, попав в лапы жандармов, становились на этот путь. Кто мог подумать на Гришку Гольденберга, отчаянного террориста, который всегда был готов участвовать в самых рискованных предприятиях, а вот поди ж ты! А Рысаков... Или Меркулов — сколько было переговорено с ним!

Откуда же берутся предатели? Что принуждает их к этому? Страх? Да, страх. Страх смерти. Страх пожизненного сидения в каменном мешке. Страх каторги.

Но разве раньше, когда они вступали в партию, они не думали о том, что все это может кончиться смертью? Разве не приговорили они себя сами? Приговорили. Так почему же?

Потому, что многие из них, готовые, не задумываясь, отдать свою жизнь в деле, не могли выдержать спора с жандармами, изошренными, изучившими все слабости человека, опытными, знающими, кого пугать смертью, кого пытками, кого издевательствами над родителями, кого соблазнить утерянной свободой (ведь в настоящей мере человек понимает, что такое свобода, только тогда, когда он ее потерял), а кого и просто деньгами.

Гольденберга убедили в том, что, выдав товарищей и таким образом заставив их прекратить борьбу с правительством, он поможет правительству произвести необходимые реформы как раз в том направлении, в ка-

ком и хотела бы партия «Народная воля». И, ставя благо своей страны выше всего, Гольденберг поверил и стал предателем, а потом, поняв, что натворил, повесился.

Жандармы были хитрые, опытные, вооруженные, они играли в искренность, и их противники, люди действительно искренние и потому не способные понять до конца всю степень вероломства, которую может продемонстрировать человек, иногда попадались на эту удочку.

При аресте их подвергали таким испытаниям, которые вообще человек не должен выдерживать. Выдерживали самые сильные, но это были люди выдающиеся.

Вера все лежала с открытыми глазами, думала, вспоминала свой разговор с Дегаевым, и что-то мучило ее, ускользало, снова возвращалось. Какое-то сомнение в том, что говорил Сергей. И вдруг одна мысль пронзила ее: «Почему, когда я удивилась, что он не курит, Дегаев сказал: «Я не курю, но табак купил заранее». Ведь он хорошо знает, что в глаза следует сыпать табак не курительный, а нюхательный».

При следующем свидании, которое произошло через несколько дней, уже в ее квартире, она спросила его об этом.

Он не смутился нисколько:

— Вера Николаевна, да потому я так и сказал, что не курю и не нюхаю табак, и не вижу в нем никакой разницы. Табак был действительно нюхательный, но сейчас я про это уже позабыл.

Вера смутилась. Стало неловко за свой вопрос, который ставил под сомнение рассказ товарища. А товарищ был испытанный. Она знала несколько лет и его, и всю его семью. Может быть, он не был слишком умен, может быть, по характеру был слишком мягок и не мог влиять на других. Но он был очень полезен как человек, легко вступавший в самые разнообразные связи, и был незаменим как посредник между партией, с одной стороны, и военными кружками в Петербурге, Кронштадте, а потом в Николаеве и Одессе — с другой. Вера знала его младшего брата Володю, его сестер, они все так или иначе участвовали в движении. Знала и его жену.

Кстати, сейчас он пришел поделиться своей тревогой:

— Понимаете, я не могу радоваться свободе, пока жена моя остается в тюрьме. Где она, что с ней будет?

— Я вас понимаю, — сказала Вера с сочувствием. — Но надеюсь, ничего страшного ей не грозит. Жандармы скоро разберутся, что она не принадлежит к революционной партии.

Дегаев с сомнением покачал головой:

— Может быть, в этом они и разберутся. Но все-таки она работала в нелегальной типографии, и этот факт никуда не спрячешь.

— Вы неправы, — убеждала Вера. — Совершенно очевидно, что на такое рискованное дело жена ваша пошла исключительно из любви к вам, а жандармы больше всего боятся тех, которые идут по собственным убеждениям.

Она говорила, но словам своим и сама не верила, хорошо зная, что полиция не то место, где будут долго разбираться в мотивах. Ей очень хотелось помочь Дегаеву, и она спросила, где сейчас его родные.

— В Белгороде, — сказал он.

— Давайте договоримся так: я пошлю туда человека, чтобы известить их о случившемся. Пусть мать или Лиза едут в Одессу хлопотать о поруках. Если внести залог, жену вашу обязательно выпустят. Вы согласны?

— Мне в моем положении, — усмехнулся Дегаев, — приходится соглашаться на любые предложения. Спасибо вам. Я всегда знал, что в вас найду поддержку, хотя бы моральную. — Он был растроган и говорил дрожащим голосом. — Вы-то сами здесь в безопасности?

— Да, в полной безопасности, — уверенно ответила Вера.

— Вы уверены в этом?

— Ну да. Разве что Меркулов встретит меня на улице, — сказала она как о чем-то совершенно невероятном.

— Берегите себя, — с чувством сказал Дегаев. — Без особой нужды не ходите по улицам. В котором часу вы обычно выходите из дому?

— Обыкновенно в восемь часов, когда утром ученицы фельдшерских курсов идут на занятия. Ведь я живу по документу одной из них.

— Но все-таки я вам советую: старайтесь поменьше бывать на улице.

Уходя, он спросил:

— Есть ли кроме калитки еще какой-нибудь выход?

— Есть. Через мелочную лавочку, которую держат хозяева, но я через нее никогда не хожу.

Этот разговор состоялся 9 февраля 1883 года.

10 февраля она вышла из дому ровно в восемь часов утра. Надо было срочно устроить одну женщину, приехавшую в Харьков без всяких средств и обратившуюся к ней за помощью. Еще надо было зайти к Тихоцким посоветоваться, кого послать в Белгород для передачи письма матери и сестре Дегаева.

Дул ветер, по обледенелому бульжнику мостовой стелилась поземка. Она подняла воротник и поглубже упрятала руки в муфту. Пройдя несколько шагов, увидела выходящего из-за угла человека. Она еще не узнала его, но почувствовала, что сердце замирает и ноги становятся вялыми. Вот они поравнялись. Меркулов улыбнулся как ни в чем ни бывало:

— Здравствуйте, Вера Николаевна!

Она растерялась и ответила механически:

— Здравсьте!

И пошла дальше все тем же торопливым шагом, отворачивая от ветра лицо. Одна мысль сменяла другую: «Попалась? Кажется, да. Но почему же он не схватил меня сразу? Почему он был один? Почему вокруг не видно ни полиции, ни жандармов? Может быть, это просто случайная встреча. Может быть, еще можно бежать. Скрыться как будто некуда. Ни проходных дворов, ни квартир кого-нибудь из знакомых поблизости нет. Что в кармане? Записная книжка с двумя-тремя фамилиями людей, не имеющих никакого отношения к партии. Почтовая квитанция на деньги, отправленные в Ростов. Надо уничтожить, там указана фамилия получателя».

Она вышла на Екатерининскую улицу. Там за сквером живет токарь Ивашов с женой — очень милые люди. Если резко шатнуться во двор...

— Куда, дамочка?

Перед ней стоял огромного роста жандарм с заиндевевшими усами.

Она инстинктивно отпрянула назад и попала в чьи-то грубые объятия.

— Пустите! — слабым голосом сказала она, понимая всю бессмысленность своей просьбы.

На санях в сопровождении двух жандармов, мертвой хваткой вцепившихся в локти, ее доставили в жандармское управление. Втолкнули в маленькую комнату с ободранными обоями, где уже дожидались две женщины, тут же приступившие к обыску.

— Не трогайте, я вам сама все отдам!

Она вынула из кармана портмоне, выхватила квитанцию и — в рот.

— Клавка! — закричала одна из женщин. — Ты погляди, она чего-то съела.

— Онуфренко! — закричала другая.

Вбежал Онуфренко, тот самый жандарм с усами, и схватил арестованную за горло. Она вырвалась и засмеялась притворно, показывая, что он опоздал. Жандарм отступился. И напрасно. Она никак не могла проглотить сухую бумажку. Потом уж она прожевала ее и проглотила.

После обыска ее ввели в обширный кабинет. За столом сидел хмурого вида жандармский генерал в неопрятном мундире.

— Генерал Турцевич, — представился он. — А вы кто?

Собираясь с мыслями, Вера молчала.

— Я вас спрашиваю, — напомнил Турцевич.

— Если арестовали, то сами должны знать кого.

— Онуфренко, — сказал генерал все тому же, усатому. — Позови.

Онуфренко вышел. Вместо него вошел Меркулов.

— Что, не ожидали? — нахально улыбнулся он.

— Негодяй! — Вера рванулась к нему. Меркулов инстинктивно попятился.

— Перестаньте! — охладил ее генерал. — Что вы проглотили во время обыска?

— Что надо, то и проглотила.

— Что? — Турцевич показал на коричневые крупинки химических чернил, вынутые из ее портмоне.

— Это, — согласилась Вера.

— Это яд?

— Яд, — охотно подтвердила она.

— Онуфренко!

— Я здесь! — Онуфренко выскочил из соседней комнаты.

— Отвести арестованную в замок и дать горячего молока, да побольше. Вызвать доктора, она, кажется, отравилась.

Глава двадцать шестая

Арест Фигнер произвел в Петербурге сенсацию. Его величество Александр III воскликнул: «Слава богу! Эта ужасная женщина арестована!» Он даже заказал портрет «ужасной женщины», который и был выполнен в фотографии Александровского и Таубе на Невском проспекте.

Едва только под усиленной охраной арестованную доставили в Петербург, как высшие сановники изъявили желание взглянуть на нее собственными глазами. Все испытывали любопытство, всем хотелось лично познакомиться с этой легендарной народоволкой, за которой так долго охотилась вся полиция.

Директор департамента полиции господин Плеве Вячеслав Константинович был подчеркнута груб.

Когда ввели к нему арестованную, он, не поднимая глаз, кивнул на ряд стульев:

— Возьмите стул, садитесь.

Голос у него был резкий, скрипучий.

— За последнее время, кого ни арестуешь из учащейся молодежи, от всех только и слышишь: «Фигнер! Фигнер! Неужели вас удовлетворяли подобные восторги? — И вдруг влез в самую душу: — А может быть, вы так устали, что рады тому, что наступил конец?

Вера молчала. Может быть, он был прав. Может быть, теперь она действительно рада. Хотя 10 февраля у нее такого ощущения не было. Плеве откинулся на высокую спинку стула.

— Расследование по вашему делу началось. Ввиду его особой важности им интересуются все, включая государя императора. С вас будут снимать допросы... Я вам советую не заперяться, сообщить все, что вам известно; только чистосердечное признание сможет облегчить вашу участь. В противном случае дело для вас может кончиться плохо, очень плохо. Вы меня понимаете?

— Понимаю, — сказала Вера.

— Тогда назовите мне имена важнейших членов вашей партии, которые еще на свободе.

— Вы надеетесь, что я сразу исполню все ваши желания? — усмехнулась арестованная.

— Почему бы нет? Я вас предупредил, что дело ваше серьезно и только чистосердечное признание...

— ...может облегчить вашу участь, — закончила Вера.

— Вашу, — подчеркнул Вячеслав Константинович. — Итак, я жду. — Он вытащил из кармана золотой брегет и щелкнул крышкой. — Не желаете отвечать на этот вопрос? Хорошо, ответите потом. У нас есть сведения, что в «Народной воле» сотрудничали некоторые известные легальные литераторы. Вы не могли бы мне сообщить их фамилии? — он обмакнул перо в чернила и занес его над бумагой, как бы приготавливаясь писать.

— Не могу, — улыбнулась Вера.

— Ну, хорошо, не можете так не можете, — неожиданно легко согласился Плеве. — Я понимаю, что у вас есть свои понятия о чести, которых я, впрочем, не разделяю, но в таком случае назовите хотя бы их произведения. Те, что они публиковали в легальной печати. А? — Плеве хитро сощурился.

Вера улыбнулась.

— Я думала, — сказала она медленно, — что директор департамента по уровню своего развития стоит выше городского.

Директор департамента залился краской.

— Можете идти. Но запомните: другие с вами будут говорить строже и запирательство вам дорого обойдется.

Министр внутренних дел Дмитрий Андреевич Толстой встретил приветливей:

— Какой у вас скромный вид! Признаюсь, я ожидал совсем другого.

— Например? — поинтересовалась Вера.

— Ну, я думал введут женщину саженого роста с пылающим взором и громоподобным басом, а вы вполне изящное существо интеллигентного вида, и весь ваш облик как-то не вяжется с бомбами, взрывами и убийствами. Вот смотрю я на вас, на молодежь, и скажу вам правду, по-стариковски, жалко мне вас, что силы свои молодые тратите бог весть на что, вместо того чтобы употребить их в служение родине и государю.

— Насчет родины у нас с вами понятия разные, а об государе давайте не будем.

— Ах да, конечно, вы же ниспровергатели. Ваша программа только разрушать, мы хотим строить. А дело

это сложное, с бухты-барухты в таком большом государстве ничего не получится. Надо постепенно. Надо сначала привить народу любовь к образованию. Вы противники царя, противники классического образования. Вам только бы убивать. И насчет меня, я слышал, соответственные намерения имеете. А к чему? Ну, допустим, вам даже удастся меня ухлопать, на мое место другой встанет, такой же, а может, еще и потверже, потому что каждое действие вызывает противодействие. И с царями то же самое: одного убьете, на его место встанет другой. Другого убьете, найдется и третий. Свято место пусто не бывает, не так ли? Жаль нет времени, а то я убедил бы вас, — сказал он почти уверенно.

— Я тоже жалею, — поднявшись, сказала Фигнер. — Надеюсь, я обратила бы вас в свою веру.

— Эх, мадам, мадам, — сочувственно сказал министр. — На краю пропасти, а все шутите.

Вскоре после этого разговора подследственную перевели из департамента полиции в Петропавловскую крепость. Оттуда почти ежедневно в сопровождении капитана Домашнева ездила она на допросы. Допросы были ей в тягость. Все одно и то же. Кто из членов «Народной воли» еще на свободе? Что вы знаете о таком-то и о таком-то?

— Послушайте, — сказала однажды Вера прокурору Добржинскому. — Не теряйте понапрасну времени. Что касается моего личного участия в революционном движении до первого марта, я готова изложить в письменном виде, поскольку мои показания будут касаться событий, которые уже раскрыты, и лиц, которые осуждены. Что касается дальнейшего, то никаких показаний я все равно давать не буду. Поэтому прошу вас больше меня не вызывать, а дать мне в камеру бумаги и чернил, я напишу все, что сочту возможным, и буду сдавать свои показания по мере их написания смотрителю.

На том и порешили.

Прошел еще месяц или полтора.

Однажды дверь в камеру распахнулась, вошел высокий пожилой человек с довольно умным и симпатичным лицом в форме жандармского генерала. Вошел один, без всякого сопровождения и прикрыл за собой дверь.

— Моя фамилия Середя, — сказал он. — По высочайшему повелению я назначен для расследования политической пропаганды в войсках по всей империи. Позвольте вашу руку.

Не понимая, в чем дело, Вера послушно протянула руку. Он взял ее двумя своими и наклонился. Вера хотела отдернуть руку, но он удержал и поцеловал ее.

— Есть указание, чтобы жандармы целовали государственным преступникам руки? — спросила она насмешливо.

— Позвольте сесть, — не ответил на ее иронию генерал.

— Здесь распоряжаетесь вы, а не я.

Он придвинул к себе табурет, сел и посмотрел на Веру, как ей показалось, с сочувствием.

— Вы хороший человек, — сказал он. — Ваше несчастье, что, выйдя замуж, вы не имели детей.

— Думаете, что, имея детей, я вела бы себя иначе? — спросила Вера.

— Думаю, — спокойно сказал Середя. — Говорят, что обязательства перед детьми не должны сдерживать человека в его поступках. Я нахожу это утверждение не только крайне неверным, но и безнравственным, ибо обязанности перед детьми ставлю не ниже обязанности перед отечеством. Человек может располагать своей жизнью, но не жизнью ребенка, который совершенно беззащитен перед волей родителя. Впрочем, ваша судьба так сложилась, что теперь об этом нечего говорить. Просто на некоторые мысли навели меня ваши биографические показания, которые я читал с громадным интересом.

— Надеюсь, что в них вы нашли для себя мало полезного.

— Для вас все жандармы — жандармы. И только, — без обиды сказал генерал. — Советую впредь рассматривать каждого человека как отдельную личность. Я читал ваши записки как исповедь откровенного человека. Жалел, сочувствовал. Можете не верить, но в некоторых местах и прослезился. Я человек пожилой. Моя служба не доставляет мне особого удовольствия. И если бы не те самые обязанности перед семьей, о которых я вам уже доложил, и не многочисленные долги, я бы эту службу оставил. Я вовсе не реакционер и даже не сторонник существующей системы. Я люблю свободу, но

политическим убийствам не сочувствую. Я понимаю борьбу на баррикадах, но не удар кинжалом из-за угла.

— Вы предполагаете устроить шумный процесс и сделать на этом карьеру?

— Нет, создавать большого дела я не намерен. Суду будут преданы лишь самые деятельные. Откровенно говоря, единственное, что утешает меня в моей службе, — это то, что я, возможно, сумею смягчить взаимную озлобленность с той и с другой стороны, сузить круг преследуемых лиц и облегчить в какой-то мере их участь. Этого, к сожалению, я не смогу сделать в отношении вас. Меня одинаково возмущает жестокость властей, с одной стороны, и неразборчивость в средствах — с другой...

Наступила неловкая пауза. Молчала арестантка, молчал и генерал. Чувствуя, что неловкость усиливается, он встал:

— Прошу прощения.

Снова поцеловал руку и вышел.

На Веру это посещение произвело впечатление. Генерал Середя отличался от других жандармских чинов, с которыми она встречалась до этого. Он ничего не предложил, ничего не выпытывал. Тем более что и дело как будто было уже закончено.

Весной 1884 года спокойствие Фигнер снова было нарушено, ее вызвали в канцелярию. Здесь ее ожидали прокурор Добржинский и генерал Середя. Середя при ее появлении встал и поклонился. Добржинский небрежным кивком головы указал на стул:

— Прошу вас.

Лица у обоих были усталые и серьезные. Добржинский переглянулся с Середой и положил перед Верой переплетенную тетрадку, густо исписанную мелким почерком.

— Вы узнаете этот почерк?

Почерк показался ей знакомым, но на всякий случай она отодвинула от себя тетрадку.

— Нет.

— Ну хорошо, тогда я покажу вам, кому она принадлежит.

Он перевернул тетрадь и показал ей подпись на последней странице: Сергей Дегаев.

— Ну и что? — Вера внимательно посмотрела на прокурора.

— Это имя, надеюсь, вам знакомо?

— Первый раз слышу.

— Вот видите, первый раз. А говорите, что никогда не лжете. Ладно. Я предлагаю ознакомиться частично с содержанием сего документа. — Он перелистывал за страницей страницу. — Так, здесь о первом составе Исполнительного комитета. Александр Михайлов, Желябов, Перовская. Это вам, может быть, уже и неинтересно. Пойдем дальше. Смотрите сюда. «Осенью 1882 года по поручению Фигнер в Одессе совместно с другими я организовал нелегальную типографию, о чем впоследствии имел честь донести г. Судейкину. По поручению господина Судейкина я также сошелся с офицерами Одесского и Николаевского военных кружков, а именно с Ашенбреннером Михаилом Юлиевым, подполковником Пражского полка...» И дальше шли фамилии, много фамилий!

Добржинский зорко следил за ее реакцией.

— Хватит! — Она отшвырнула от себя тетрадь и вскочила со стула. Не обращая внимания на следивших за ней чиновников, нервно ходила по комнате взад и вперед. Теперь сомнений не было, Дегаев — провокатор. И конечно, это его почерк, теперь она его вспомнила, мелкий, аккуратный, с завитушечками. Какая подлость! И какую глупость проявила она! Ведь весь его рассказ о побеге был шит белыми нитками, а она, опытная революционерка, столько раз сталкивавшаяся с предательством, привыкшая подозревать при малейших несовпадениях, попалась, как наивная дурочка. И ведь чувствовала она, что здесь что-то неясно, думала об этом, но побоялась оскорбить подозрением. И вот результат деликатности: переплетенная тетрадь, густо исписанная фамилиями, адресами, явками, паролями, кодами для зашифровки писем. Правительству выданы не только видные представители партии, но и малозначительные, те, кто просто помогал деньгами или предоставлял свою квартиру. Полностью раскрыты военные кружки, их программа, подробно описана их деятельность.

Она опомнилась, увидев перед собой стакан воды, протянутый Середой.

— Успокойтесь, прошу вас, — мягко сказал он.

Вера жадно глотала воду...

Откуда-то издалека донесся голос Добржинского:
— Теперь, я надеюсь, и вы сможете дать более подробные показания.

Она подняла на него умоляющие глаза:

— Прошу вас, оставьте меня в покое.

24 сентября 1884 года в Петербургском военно-окружном суде началось слушание дела по обвинению четырнадцати человек, членов партии «Народная воля», в особо опасных государственных преступлениях. Суд проходил при закрытых дверях. Публику изображали несколько должностных лиц, начиная с министра юстиции господина Набокова и кончая начальником Дома предварительного заключения Ерофеевым. Газетам было дозволено печатать лишь скупые официальные сообщения без каких бы то ни было комментариев. Среди подсудимых шестеро военных, восемь гражданских лиц, из которых три — женщины.

Процесс был длинным и скучным. Зачитывались показания свидетелей обвинения, из которых ни один не был вызван в суд. Участие свидетелей защиты и вовсе не допускалось. На столе вещественных доказательств лежала груда папок в синих обложках.

И вот день последний.

— Подсудимая Фигнер, вам предоставляется последнее слово.

Председательствующий устремил взгляд на скамью подсудимых. Подняли головы подсудимые, задвигала стульями «публика», жандарм, стоявший возле дверей, переступил с ноги на ногу.

Слово предоставлялось главной участнице процесса, последнему члену Исполнительного комитета, той самой непоколебимой, неуловимой Вере Фигнер, за которой несколько лет безуспешно гонялась полиция.

Со скамьи подсудимых поднялась женщина тридцати двух лет от роду, с правильными чертами бледного, изможденного полуторагодичным предварительным заключением лица, с темной косой, аккуратно уложенной вокруг головы.

Она обеими руками взялась за перила загородки, отделявшей скамью подсудимых от остальной части зала, и некоторое время молчала, подбирая слова. Весь ее вид говорил о том, что она устала, что ей не хочется го-

ворить и что по отношению к своей дальнейшей судьбе она испытывает сейчас, может быть, полное безразличие. Но она должна была говорить, в этом состоял ее последний долг перед партией. Она заговорила, и в глухом ровном голосе трудно было уловить хотя бы оттенок волнения:

— В настоящее время рассмотрению суда подлежат мои действия начиная с 1879 года. Прокурор в своей обвинительной речи выразил удивление как по отношению к их качеству, так и по отношению к количеству. Но эти преступления, как и всякие другие, имеют свою историю. Они находятся в неразрывной логической связи со всей предыдущей моей жизнью. Во время предварительного заключения я часто думала: могла ли моя жизнь идти иначе, чем она шла, и могла ли она кончиться чем-либо иным, кроме скамьи подсудимых? И каждый раз я отвечала себе: нет!

Я начала жизнь при очень благоприятных обстоятельствах. По образованию я не нуждалась в руководителях: меня не нужно было водить на помочах. Семья у меня была развитая и любящая, так что борьбы, которая так часто бывает между старым и молодым поколением, я не испытывала. Материальной нужды и заботы о куске хлеба или об экономической самостоятельности я не знала. Когда я вышла 17 лет из института, во мне в первый раз зародилась мысль о том, что не все находятся в таких благоприятных условиях, как я. Смутная идея о том, что я принадлежу к культурному меньшинству, возбуждала во мне мысль об обязанностях, которые налагает на меня мое положение по отношению к остальной некультурной массе, которая живет изо дня в день, погруженная в физический труд и лишенная того, что обыкновенно называется благами цивилизации. В силу этого представления о контрасте между моим положением и положением окружающих, у меня явилась первая мысль о необходимости создать себе цель в жизни, которая клонилась бы ко благу этих окружающих.

Русская журналистика того времени и то женское движение, которое было в полном разгаре в начале 70-х годов, дали готовый ответ на запросы, которые у меня возникли, они указали на деятельность врача как на такую, которая может удовлетворить моим филантропическим стремлениям.

Тогда женская академия в Петербурге была уже открыта, но она с самого начала отличалась той хилостью, которою отличается и до сих пор, постоянно борясь между жизнью и смертью; а так как решение мое было твердое и я не хотела в силу случайности сойти с раз принятого пути, то я решилась отправиться за границу.

И вот, значительно перекроив свою жизнь, я поехала в Цюрих и поступила в университет. Заграничная жизнь представляет большое различие с русской. Явления, которые я там встретила, были для меня вполне новы. Я не была подготовлена к ним тем, что раньше видела и раньше знала; не была подготовлена к правильной оценке всего того, что встретила. Идея социализма была воспринята мной первоначально почти инстинктивно. Мне казалось, что она есть не что иное, как расширение той филантропической идеи, которая у меня возникла раньше. Учение, которое обещает равенство, братство и общечеловеческое счастье, должно было подействовать на меня ослепляющим образом. Мой горизонт расширился: вместо каких-нибудь тетюшан у меня явилось представление о народе, о человечестве. Кроме того, я приехала за границу в такой период, когда только что совершившиеся события в Париже и происходившая тогда революция в Испании вызвали сильный отклик во всем рабочем мире Запада. Между прочим, я познакомилась с учением и организацией Интернационала. Я могла только впоследствии оценить, что многое из того, что я видела тогда, было лишь казовым концом. Кроме того, я не смотрела на рабочее движение, с которым познакомилась, как на продукт западноевропейской жизни и считала, что то же учение пригодно для всякого времени и для всякого места.

За границей, увлекшись социалистическими идеями, я вступила в первый революционный кружок, в котором участвовала моя сестра Лидия. Его организация была весьма слабая: каждый член мог приступить к деятельности когда угодно и в какой угодно форме. Деятельность же состояла в пропаганде идей социализма, в радужной надежде, что народ, в силу бедности и своего социального положения, уже социалист, что достаточно одного слова, чтоб он воспринял социалистические идеи.

То, что мы называли тогда социальной революцией, имело скорее характер мирного переворота, то есть мы

думали, что меньшинство, враждебное социализму, видя невозможность борьбы, принуждено будет уступить большинству, сдзавшему свои интересы, так что о пролитии крови не было и речи.

Я оставалась за границей почти четыре года. Я отличалась всегда некоторым консерватизмом в том смысле, что принимала решения небыстро, но, раз приняв их, отступала уже с трудом. Поэтому, когда весной 1874 года кружок почти весь отправился в Россию, я осталась за границей, чтоб продолжать изучение медицины.

Моя сестра и другие члены сообщества кончили свою карьеру весьма бедственно. Два-три месяца работы на фабриках в качестве работниц и рабочих повлекли двух- и трехлетнее предварительное заключение, а затем суд, который приговорил некоторых из них на каторгу, а других — в Сибирь на поселение и житье. Когда они находились в тюрьме, то сделали призыв: мне предложили явиться в Россию с целью поддержать дело кружка. Так как я получила уже достаточно медицинских знаний и думала, что получение звания доктора медицины и хирургии будет удовлетворять только тщеславию, то и отправилась в Россию.

Тут мне пришлось на первых же порах испытать кризис: движение в народ уже потерпело поражение. Тем не менее я нашла достаточное количество людей, которые казались мне симпатичными, которым я доверяла и с которыми сошлась. Вместе с ними я участвовала в выработке той программы, которая известна под названием программы народников.

Я поступила в земство как фельдшерница.

В очень скором времени против меня составила целая лига, во главе которой стояли предводитель дворянства и исправник, а в хвосте — урядник, волостной писарь и т. п. Про меня распространяли всевозможные слухи: и то, что я беспаспортная, тогда как я жила по собственному виду, и то, что диплом у меня фальшивый, и прочее. Когда крестьяне не хотели идти на невыгодную сделку с помещиком, говорили, что виновата я; когда волостной сход уменьшал жалованье писарю, утверждали, что виновата в этом опять-таки я...

Я видела, что против меня нет никаких фактов, что меня преследуют собственно за дух, за направление: подозревали, что не может быть, чтоб человек, не лишен-

ный образования, поселился в деревне без каких-нибудь самых ужасных целей.

Таким образом, я была лишена возможности даже физического сближения с народом и не могла не только делать что-нибудь, но даже сноситься с ним по поводу самых обыденных целей...

До этого момента мои задачи были общественно-альтруистические: они не затрагивали моих личных интересов. Теперь мне в первый раз пришлось на самой себе испытать неудобство нашего образа правления...

Моя предыдущая жизнь привела меня к убеждению, что единственный путь, которым данный порядок может быть изменен, есть путь насильственный. Мирным путем я идти не могла: печать, как известно, у нас несвободна, так что думать о распространении идей посредством печатного слова невозможно. Если бы какой-нибудь орган общества указал мне другой путь, кроме насилия, быть может, я бы его выбрала, по крайней мере испробовала бы. Но я не видела протеста ни в земстве, ни в суде, ни в каких-либо корпорациях; не было воздействия и литературы в смысле изменения той жизни, которую мы живем, — так что я считала, что единственный выход из того положения, в котором мы находимся, заключается в насильственной деятельности.

Раз приняв это положение, я пошла этим путем до конца. Я всегда требовала от личности, как от других, так, конечно, и от себя, последовательности и согласия слова с делом, и мне казалось, что, если я теоретически признала, что лишь насильственным путем можно что-нибудь сделать, я обязана принимать и непосредственное участие в насильственных действиях, которые будут предприняты той организацией, к которой я примкнула. К этому меня принуждало очень многое. Я не могла бы со спокойной совестью привлекать других к участию в насильственных действиях, если б я сама не участвовала в них: только личное участие давало мне право обращаться с различными предложениями к другим лицам. Собственно говоря, организация «Народная воля» предпочитала употреблять меня на другие цели — на пропаганду среди интеллигенции, но я хотела и требовала себе другой роли: я знала, что и суд всегда обратит внимание на то, принимала ли я непосредственное участие в деле, и то общественное мнение, которому

одному дают возможность свободно выражаться, обрушивается всегда с наибольшей силой на тех, кто принимает непосредственное участие в насильственных действиях, так как я считала прямо подлостью толкать других на тот путь, на который сама не шла бы.

Вот объяснение той «кровожадности», которая должна казаться такой страшной и непонятной и которая выразилась в тех действиях, одно перечисление которых показалось бы суду циничным, если бы оно не вытекало из таких мотивов, которые, во всяком случае, мне кажется, не бесчестны.

В программе, по которой я действовала, самой существенной стороной, имевшей для меня наибольшее значение, было уничтожение абсолютистского образа правления. Собственно, я не придаю практического значения тому, стоит ли у нас в программе республика или конституционная монархия. Я думаю, можно мечтать и о республике, но воплотится в жизнь лишь та форма государственного устройства, к которой общество окажется подготовленным, так что вопрос этот не имеет для меня особенного значения. Я считаю самым главным, самым существенным, чтоб явились такие условия, при которых личность имела бы возможность всесторонне развивать свои силы и всецело отдавать их на пользу общества.

И мне кажется, что при наших порядках таких условий не существует.

— Вы сказали все, что хотели? — спросил председатель.

— Да.

Она села, и никакие силы не могли бы заставить ее говорить дальше. Она все сказала, она подвела черту. Теперь дело за судьями.

Председатель произносил слова четко и внятно:

«...лишив всех прав состояния, подвергнуть смертной казни через повешение».

— Какой варварский приговор! — вырвалось у кого-то из защитников.

Варварский приговор! Она приняла его без страха и возмущения. В конце концов, она сделала все, что могла, и даже сверх того, что могла. Она устала. Устала бороться, устала жить.

На следующий день пришел надзиратель и сказал,

что ее ожидают мать и сестра Ольга, которым разрешено свидание.

Во время следствия ей не раз разрешали свидания с матерью, и все они были тяжелы. Но на это свидание она шла, как на пытку. Сидеть и ощущать на себе скорбный взгляд матери, знающей, что это последняя в жизни встреча, — что может быть ужаснее?

И вот они сидят рядом в углу, а напротив, возле дверей, как полагается, два жандарма. Может быть, их присутствие даже к лучшему, при посторонних труднее предаваться своему горю.

Сидели молча. Того, о чем думали, не говорили. Неожиданно мать сказала:

— Газеты пишут, что Николенька выступает с большим успехом.

За годы, пока она училась в Швейцарии, готовила покушения и скрывалась от полиции, младший брат Николенька стал морским офицером, вышел в отставку, учился пению в Неаполе и там же дебютировал. Пел в Мадриде, Бухаресте. Знаменитый оперный певец. Сколько раз она пыталась представить себе его на сцене, но не могла и почему-то представляла всегда таким, каким видела в Казани, перед отъездом в Цюрих, — маленького, ушастого, в гимназической форме... Она задумалась и не слыхала, что говорит мать, ухватила только конец фразы:

— ...все так делают...

— Что?

— Я говорю, — повторила мать, — адвокат считает, что ты должна подать прошение о помиловании.

Она посмотрела на нее с упреком:

— Мамочка, я вас прошу, не говорите мне об этом.

— Я ничего, ничего, Верочка, — смешалась мать. — Я только передаю то, что сказал адвокат.

До последнего дня мать не вмешивалась в дела дочерей, не пыталась навязывать свою волю. Но сегодня...

Два дня назад, когда они виделись в перерыве между заседаниями суда, мать вдруг сказала:

— Дай мне слово, что исполнишь мою просьбу.

— Никогда не дам, не зная, в чем дело, — ответила Вера. — Уж не хотите ли вы взять обязательство, что я не покончу с собой?

— Нет, — сказала мать. — Я знаю, что могут быть обстоятельства, когда смерть — наилучший исход.

Теперь вопрос о самоубийстве отпал сам собой.

Старший из сидевших у двери жандармов посмотрел на часы и равнодушно сказал:

— Дамочки, пора прощаться.

— Сейчас, сейчас, — поднялась мать. — Дитя мое. — Она перекрестила дочь и стала целовать, пристально вглядываясь, как будто хотела навсегда запомнить каждую черточку ее лица.

— Если бы я могла вместо тебя!..

Не договорив, она махнула рукой и, не оглянувшись, вышла быстро, боясь разрыдаться.

Теперь пришла Олина очередь, и она уткнулась лицом в грудь несчастной старшей сестры.

— Барышня, — хватал ее за плечо жандарм. — Пора вам уже, пора. А то смотритель ругаться будет.

— Иду. — Оля наконец оторвалась. — Верочка, — сказала она, пятась к двери. — Я с тобой не прощаюсь. Я знаю, что царь тебя помилует. Дойдет до него — такие дела мимо него не проходят, — и он помилует.

Она задержалась на пороге и теперь молча смотрела на сестру с пронзительной жалостью.

«Уйди, не могу больше», — взглядом сказала Вера.

Дверь захлопнулась. Еле передвигая ноги, Вера дошла до своей камеры и свалилась на набитый соломой тюфяк в беспамятстве...

Она проснулась от ощущения, что кто-то стоит рядом. Вера вскочила. Перед ней стоял смотритель Дома предварительного заключения, морской офицер в отставке.

— Что вам нужно? — спросила она.

— Военные, приговоренные к смертной казни, решили подать прошение о помиловании. Но барон Штромберг колеблется и просил узнать ваше мнение.

— Скажите Штромбергу, — ответила она, — что я никогда не посоветую другим делать то, чего ни при каких условиях не сделала бы сама.

— И это все? — смотритель не уходил.

— Все!

— Какая вы жестокая! — смотритель вышел.

Она снова легла, подложив руки под голову. Какое отвращение вложил в свои слова смотритель! Что ж, пускай. Ему никогда не понять, что она чувствует. Да, жестокая. Но жестокая в первую очередь к себе самой. Да, она была строга к людям, требовала от них многого, но и себе не давала поблажки. Никогда и ни

в чем. С тех самых пор, когда дала клятву сестре, никогда и ни в чем не отступала от своих убеждений, шла путем прямым, как стрела. Отказалась от всех соблазнов, отказалась от личной жизни, от любви, от семьи, от родных. Не позволяла себе лишний раз съесть конфету или надеть нарядное платье (если, конечно, не нужно было для дела). А теперь... Разве она попросила хоть какого-то снисхождения для себя? Наоборот, самым подробнейшим образом рассказала суду о своем личном участии во всех крупных делах, о своей связи с Соловьевым, о двух попытках покушения под Одессой, о своем участии в деле 1 марта, о своей роли в подготовке убийства Стрельникова. Военных приговорили к смертной казни. Но и ее, женщину, приговорили к тому же. И она взойдет на эшафот. Без улыбки (на улыбку нет сил), но достойно, и ни намек на просьбу о пощаде не услышат от нее палачи. Так может ли она в ее положении предлагать другим сделать то, на что не согласна сама?

На другой день ее перевели в Петропавловскую крепость. Отобрали собственную одежду, взамен выдали тюремную: холщовая рубашка, платок, огромные коты с портянками, суконная, изъеденная гусеницами юбка и пропитанный жиром, потом и грязью суконный халат с желтым тузом на спине.

Через неделю после суда пришел врач справиться о здоровье. Власти проявляли гуманность. Если насморк, то сперва вылечат, а потом уж повесят.

— Ничего, — сказала она равнодушно.

На восьмой день в сопровождении нескольких офицеров в камеру вошел старый генерал, комендант крепости. Приблизив к глазам бумагу, которую подал ему один из офицеров, генерал произнес скрипучим голосом:

— Государь император всемилостивейше повелел смертную казнь заменить вам каторгой без срока.

Генерал со своей свитой давно вышел, а она все еще стояла посреди камеры, не в силах осознать услышанное.

«Государь император всемилостивейше повелел...»

Была ли она этому рада? Пожалуй, нет. В душе было полное равнодушие к своей судьбе и тупое оцепенение. «Всемилоствейше повелел...»

До этого казалось: все, что она могла в своей жизни сделать, сделано, теперь осталось только дожидаться

конца и встретить его достойно и без ненужной бравады.

Теперь ее лишали этой возможности и оставляли заживо погребенной в беспросветном мраке одиночной камеры, оставляли навсегда...

29 сентября 1904 года от Шлиссельбургской крепости отошел пароход «Полундра». На борту в окружении жандармов стояла изможденная женщина пятидесяти лет от роду. Она жадно всматривалась в берега, освещенные тусклым осенним солнцем.

— Вера Николаевна, — предупредительно сказал жандарм, — сойдемте в каюту, простудитесь.

Вера Николаевна! Впервые за двадцать с лишним лет ее назвали по имени-отчеству. Двадцать с лишним лет у нее не было ни имени, ни отчества, ни фамилии. «Заключенная номер одиннадцать» — только так, соблюдая инструкцию, называли ее жандармы.

И вот пароход везет ее в Петербург. Еще несколько дней в Петропавловской крепости, а там — свобода. Правда, свобода неполная, свобода в виде ссылки в Архангельскую губернию, но по сравнению с одиночным заключением все же свобода. Думала ли Фигнер, что когда-нибудь доживет до этого дня? Ведь ее заточили в крепость без срока, то есть до самой смерти. «Отсюда не выходят, а выносят», — говорили тюремщики. Ее посадили в одиночную камеру, запретив переписываться с родными, чтобы она не знала ничего ни о ком, чтобы о ней не знал никто ничего.

— Вы узнаете о своей дочери, когда она будет в гробу, — сказал когда-то ее матери товарищ министра внутренних дел.

Жестокая реальность лежала в основе этого мрачного предсказания. Мало кому из соратников Веры Фигнер удалось перенести бесчеловечные условия одиночного заключения. Мрачные сырые камеры, скудное питание, и в результате — цинга, чахотка и смерть. Уми­рали и слабые, и сильные. За два года сгорели слабосильный Клеточников и силач Баранников. Четыре года продержался Александр Михайлов, пять — Григорий Исаев и семь — Юрий Богданович. Некоторые сходили с ума, другие кончали самоубийством. Михаил Грачевский облил себя керосином из лампы и сжегся.

«Отсюда не выходят, а выносят!» Жандармы знали, что говорили. Тюремщики ставили своей задачей сломить заключенных не только физически, но и морально. Прощение о помиловании могло привести к сокращению срока. Но подать такое прошение Вера Николаевна не могла «ни при каких условиях». А когда за нее это сделала мать (и новый царь Николай II заменил бессрочную каторгу двадцатилетней), она готова была порвать всякие отношения с матерью. Только неизлечимая болезнь, а вскоре и смерть Екатерины Христофоровны примирила с ней ее непреклонную дочь.

Двадцать с лишним лет одиночного заключения! Сменялись поколения жандармов, сменялись и поколения заключенных. (При ней в Шлиссельбурге казнили революционера, который родился 3 апреля 1881 года, в день казни первоартовцев.) Двадцать с лишним лет она поражала своей стойкостью тюремщиков и восхищала товарищей. «...Все взоры, — вспоминал потом М. Ю. Ашенбреннер, — невольно обращались к ней, ожидая от нее слова, знака или примера».

...Пароход «Полундра» взбивал колесами мутную воду Невы. Вечерело, и беспечными огнями расцветал в отдалении стольный град Петербург. Пожилая женщина стояла на борту парохода, вглядываясь в расплывчатые очертания берегов. Два дня назад она спросила товарища, освобождавшегося вместе с ней:

— Чувствуете ли вы дуновение предстоящей свободы? Чувствуете ли, что стоите на рубеже светлого перелома в жизни?

— Нет, — отвечал он, — ничего не чувствую, я словно деревянный.

Не то же ли самое чувствовала сейчас и она? После долгих лет одиночества трудно вновь приспособиться к жизни среди людей. Для некоторых это новое испытание окажется непосильным, и они кончат жизнь самоубийством. «...Свобода моя, — напишет через несколько месяцев Фигнер, — похожа на деревянное яблоко, лишь снаружи искусно подделанное под настоящее: мои зубы впились в него, но чувствуют нечто совсем не похожее на фрукт».

Вынеся столь долгое заключение, она вынесла и испытание свободой. Она прожила еще много лет, занимаясь общественной и литературной деятельностью.

Вера Николаевна Фигнер умерла в 1942 году в возрасте 90 лет.



ПУТЕМ ВЗАИМНОЙ ПЕРЕПИСКИ

Повесть

В наш авиационный истребительный полк пришло письмо. На конверте, после названия города и номера части, значилось: «Первому попавшему». Таким оказался писарь и почтальон Казик Иванов, который, однако, письмом не воспользовался, а передал его аэродромному каптёрщику младшему сержанту Ивану Алтыннику, известному любителю «заочной» переписки.

Письмо было коротким. Некая Людмила Сырова, фельдшер станции Кирзавод, предлагала неизвестному адресату «взаимную переписку с целью дальнейшего знакомства». Вместе с письмом в конверт была вложена фотография размером 3×4 с белым уголком для печати. Фотография была старая, нечеткая, но Алтынник опытным взглядом все же разглядел на ней девушку лет двадцати — двадцати двух с косичками, аккуратно уложенными вокруг головы.

Письмо Алтынник положил в стоящий под кроватью посылочный ящик, где у него уже хранилось несметное количество писем от всех заочниц (числом около сотни), а фотографию спрятал в альбом, но прежде написал на обратной стороне мелкими буквами: «Сырова Людмила, ст. Кирзавод, медик,



г. рождения —?». Потом достал из того же альбома свою фотокарточку размером 9×12, где он был изображен в диагональном кителе, со значком классного специалиста (чужим) и в такой позе, как будто именно в момент фотографирования он сочинял стихи или же размышлял над загадками мироздания.

Фотографию эту положил он на тумбочку перед собой и принялся за ответ. Надо сразу сказать, что своими изображениями Алтынник особенно не разбрасывался. Бывало и так, что для смеху вкладывал в конверт фотографию, сорванную с доски отличников учебно-боевой и политической подготовки. Но над Людмилой Сыровой подшучивать не захотелось — она произвела на него хорошее впечатление. К тому же некоторый запас карточек у него еще был.

2

Писание писем было для Алтынника второй, а может быть, даже первой профессией. Во всяком случае, этому делу он отдавал времени гораздо больше, чем основным служебным обязанностям. Где бы он ни находился — в каптёрке, в казарме или в наряде, как только выдавалась свободная минута, пристроится, бывало, на тумбочке, на бочке с гидросмесью, на плоскости самолета — на чем попало, и давай лепить букву к букве, строку к строке своим замысловатым кудрявым почерком, которым весьма гордился и был уверен, что многими своими успехами (заочными) у женщин в значительной степени обязан ему.

Писал он легко и быстро. Одно слово тянуло за собой другое, Алтынник едва успевал запечатлеть его на бумаге и при этом размахивал свободной рукой, бормотал что-то под нос, вскрикивал, всхлипывал, мотал головой и только изредка останавливался, чтобы потереть занемевшую руку, перевести дух и лишний раз подивиться, откуда в одном человеке может быть столько таланта. Вот только никогда не знал он, где и какой ставить знак препинания, но это обстоятельство его мало смущало, и он эти знаки разбрасывал наобум, по возможности равномерно.

Взявшись за письмо Людмиле Сыровой, передав ей, как обычно, «чистосердечный пламенный привет и массу наилучших пожеланий в вашей молодой и цветущей

жизни», Алтынник, не теряя даром времени и чернил, перешел к деловой части:

«Письмо ваше, Люда, я получил через нашего почтальона Иванова Казимира, который дал мне его и сказал: ты, Иван, давно хотел переписываться с хорошей девушкой, и вот я даю тебе письмо и адрес, а почему даю тебе, а не другому, потому что ты самый грамотный из рядового и сержантского состава, хотя и не имеешь высшего образования. Я тогда распечатал письмо ваше и фото, и личность ваша мне, Люда, очень понравилась как в смысле общего очертания, так и отдельные части наружности, например глаза, нос, щечки, губки и т. д. К сожалению, фото вы прислали маленькое, на нем ваш облик рассмотреть внимательно трудно, так что если будет такой момент и возможность, пришлите большое, я вам свое высылаю. Если же не хотите прислать в полный рост, то пришлите хотя бы в полроста, а что касается красивой фигуры, Люда, то на это я не смотрю, потому что красота и фигура, такие качества человека, которые могут быть утеряны в дальнейшей жизни, а я смотрю на ум, характер человека...»

Дальше Алтынник подробно описал свою жизнь, и по этому описанию выходило, что автор письма — круглый сирота, воспитывался в детском доме у чужих людей, с детства привык к лишениям, унижениям и физическому труду.

Все это у него получалось складно да гладко, хотя и не имело никакого отношения к его действительной биографии, ибо жил он не хуже многих, воспитывался в нормальной рабочей семье и во время войны отец его даже не был на фронте, потому что болел бронхиальной астмой. В прошлом году отец умер, но мать и поныне была жива и здорова, работала на заводе формовщицей, правда, в эту осень собиралась уже на пенсию в сорок пять лет из-за вредности производства.

Но сказать, что Алтынник врал, было бы не совсем справедливо, просто давал он волю своей руке, зная, что она его не подведет, и она действительно не подводила. Перед потрясенным автором во всей своей широте разворачивалась картина такого несчастного, лишенного радостей детства, что ему до слез становилось жалко себя и искренне хотелось, «чтобы после стольких, Люда, мучений и терпения всевозможных обид от злых людей, которые, Люда, еще встречаются и в нашей

стране, найти самостоятельную девушку, работающую и с веселым характером, не с умыслом чтобы над ней подшутить или же посмеяться, а совсем с другой целью: или замужество, или женитьба после непродолжительного знакомства».

Что Людмила Сырова из этого письма поняла, трудно сказать, но ждать себя не заставила, и ответ от нее пришел ровно через столько времени, сколько понадобилось почте, чтобы пройти от места расположения части до станции Кирзавод и обратно.

Переписка завязалась.

Алтынник, получая письма от новой своей знакомой, всегда внимательно их прочитывал да еще подчеркивал красным карандашиком сообщения о том, что у Людмилы есть свой дом, огород, корова, что она (Людмила, а не корова) любит петь, танцевать, уважает веселое общество, может и сама пошутить и посмеяться, когда шутят другие. Красным карандашом Алтынник пользовался и при переписке с другими своими корреспондентками. Полученные сведения выписывал на отдельные карточки, а потом раскладывал, сопоставлял. И не для какой-то корысти, а потому, что любил в каждом деле порядок. Всерьез он не рассчитывал ни с кем из этих заочниц встретиться и вел эту переписку просто так, от нечего делать.

И вероятно, он никогда бы не встретился с Людмилой Сыровой, если бы вдруг поздней осенью не вызвал его к себе командир эскадрильи майор Ишты-Шмишты.

Ишты-Шмишты была не двойная румынская фамилия, а прозвище майора Задачаина, который все свои сильные чувства — радости, огорчения, удивления или гнева — выражал превратившимся в прозвище словосочетанием: «Ишь ты! Шмишь ты!»

С майором Ишты-Шмишты мы еще познакомимся ближе. Пока скажу только, что майор приказал Алтыннику немедленно отправляться в командировку за получением аэродромного имущества.

И как ни странно, станция Кирзавод была по той самой дороге, по которой должен был ехать Алтынник. Впрочем, странного в этом было немного, потому что заочные подруги нашего героя жили по всем без исключения железным, шоссейным и частично проселочным дорогам, и неизвестно, что сулила ему любая другая из этих дорог.

Но ему выпала эта.

По этой же дороге, через два пролета от станции Кирзавод, была еще одна станция, и там тоже жила заочница — Наташа. Иван на всякий случай дал телеграммы обеим.

3

В Москве была у него пересадка. Никогда раньше в столице он не бывал, хотя и надеялся, и теперь наметил обязательно сходить в Мавзолей и посетить, если успеет, Третьяковскую галерею. В галерею он не попал, зато съездил на сельскохозяйственную выставку и даже сфотографировался на фоне фонтана «Золотой колос».

Погода была противная. Сыпал мелкий дождь, и дул ветер. Алтынник мотался из одного конца города в другой то на троллейбусе, то на метро и к концу дня настолько свыкся с эскалатором, что уже не прыгал с него с вытаращенными глазами, боясь, что утянет в щель, а сходил свободно и даже небрежно, как заправский москвич.

4

Устроился Алтынник на третьей полке, потому что солдату срочной службы, хоть бы он даже ехал до Владивостока, плацкартных мест по литеру не положено. Еще спасибо проводник попался хороший, разрешил взять свободный матрац без простыней и подушки. Но подушка Алтыннику была не нужна, у него был мягкий чемодан польского производства. Этот чемодан Алтынник очень выгодно выменял у старшины Ефремовского на старые хромовые сапоги без головок. К слову сказать, у старшины тоже было свое прозвище — его звали де Голлем за высокий рост и внешнее сходство.

Хотя проводник и обещал его разбудить, Алтынник не понадеялся и все ворочался на своей верхней полке, боясь проспать, и жег спички, чтобы посмотреть на часы, и спавшая внизу толстая тетка с ребенком, думая, что Алтынник курит, демонстративно вздыхала:

— О-ох!

А Алтынник ее передразнивал и тоже делал так:

— О-ох!

Он не курил. Он думал. Он обдумывал свою предстоящую встречу. Хорошо, если Людмила придет встречать и он ее сразу узнает. А если будет много народу и он ее в толпе не найдет или вовсе она не выйдет, а он слезет с поезда? Потом пока дождешься следующего! Но, допустим, она придет, и сразу они узнают друг друга, тогда как с ней встречаться? За руку поздороваться или обниматься? Этого Алтынник не знал.

В казарме после отбоя, когда заходил разговор про женщин, Алтынник выступал как крупнейший знаток вопроса. Ни у кого из его слушателей не возникало сомнения, что уж кто-кто, а Алтынник все знает про женщин. Где что у них как устроено и что с ними нужно делать. Но если сказать правду, то до сих пор никаких иных отношений с женщинами, кроме заочных, у него не было.

Была у него перед армией одна девчонка — жила в соседнем дворе. Она занималась художественной гимнастикой и носила очки, что Алтынника особенно подкупало. Он ходил с ней два раза в кино и четыре раза стоял в подъезде. Говорили на разные посторонние темы, а он все думал, как бы к ней подступиться, и однажды набрался храбрости и сказал:

— Знаешь, Галка, я чего тебя хочу спросить?

— Чего? — спросила она.

— Только ты не обидишься?

— А чего?

— Нет, ты скажи — не обидишься?

— Я ж не знаю, что ты хочешь сказать, — уклонялась она.

— Ну, в общем, я тебя хочу спросить, ну это... ну... — Он набрал полные легкие воздухом и ляпнул: «Можно я тебя поцелую?»

Она отодвинулась в угол и спросила испуганно:

— А зачем?

А он не знал зачем. Он думал, что так нужно.

Спустя некоторое время она вышла замуж за демобилизованного моряка, и уж наверное он ей все объяснил, потому что ровно через девять месяцев (Алтынник служил уже в армии) мать написала ему, что Галка родила девочку.

Вспоминая Галку и думая о предстоящей встрече с Людмилой, он все же не выдержал и заснул. Но проводник не подвел и разбудил его, как обещал, в чет-

верть второго. Иван слез, помотал головой, чтобы совсем проснуться, стащил чемодан и пошел к выходу.

Проводник сидел на боковой скамеечке напротив служебного купе. Перед ним стоял незажженный электрофонарь.

— Что, батя, скоро этот самый Кирзавод? — спросил Алтынник.

— Еще минут десять, — зевнул проводник.

Алтынник сел напротив проводника, небрежно выбросил на столик пачку «Казбека», купленного в Москве.

— Кури, батя, скорей помрешь.

— Некурящий, — отказался проводник.

Алтынник вынул папиросу, помял ее, но в вагоне курить было неудобно, а в тамбур выходить не хотелось. Глянул в окно, а там мельтешит что-то белое. Удивился:

— Снег, что ли?

— Снег, — подтвердил проводник.

— Ты смотри, а? В Москве дождь, а тут километров триста проехали, а уже снег. Старшина говорил мне: «Возьми шапку», а я, дурак, пилотку надел. Хорошо еще, что шинелку взял, а то ведь и околеть можно, скажи, батя.

— Да уж, — согласился батя. Он привык поддакивать пассажирам.

Алтынник помолчал, повздыхал, решил поделиться своими сомнениями с проводником.

— Вот, батя, еду я на эту самую станцию Кирзавод, так, а встретят меня или не встретят, не знаю. Если бы это я к матери ехал, так она бы, конечно, встретила. В любое время дня и ночи. А я, батя, к бабе еду. Познакомился с ней путем переписки, так вроде по карточке она ничего, из себя видная, но на личность я ее не видал, ничего сказать не могу. Она вообще-то писала — «приезжай». Я, конечно, и не думал, а тут как раз вышла командировка, ответственный груз. Кого в командировку? Меня. Ну вот еду. Отбил ей телеграмму — встречай. Получила она телеграмму или нет, я, батя, не знаю, ответа ж не получал. Теперь возникает другой вопрос: если даже и встретит, она меня первый раз видит в глаза, может не согласиться. Скажет, распишемся, тогда хоть ложкой, а мне, батя, расписываться сейчас ни к чему. Я еще молодой. После службы в техникум пойду, а потом, может, и в институт. Хочу, батя, диплом полу-

чить, чтобы в рамке на стенку повесить, пускай каждый видит: у Алтынника — это у меня фамилия такая, Алтынник, — высшее образование. А у меня, батя, через две станции еще одна живет баба — Наташка. Тоже заочница. Ну та, правда, хроменькая. Сама написала: «Ваня, я должна вас сразу предупредить, что имею физнедостаток, левая нога у меня в результате травмы короче правой на два сантиметра, но если надена чуть выше каблук, это почти незаметно». Ну тут заметно или незаметно, а ломаться, я думаю, не должна, потому что хоть какой там каблук ни подставляй, а хроменькая есть хроменькая, никуда не денешься. Хотя я, батя, конечно, не осуждаю и не смеюсь, потому что это с каждым может случиться. Вот, скажем, ты стоишь на перроне, поезд тронулся, ты на ступеньку — рраз! поскользнулся — и лежишь без обеих ног. Но, с другой стороны, недостаток свой она должна понимать, я-то хоть и сочувствую, но я не хромой, вó, посмотри, — Алтынник встал и прошел три шага к тамбуру и обратно. — Видишь. Не хромаю. Значит, ты уже будь поскромнее, чего дают, не отказывайся, а то и того не получишь. Ну и вот, значит, батя, не знаю, то ли мне здесь слезать, а она еще неизвестно как будет ломаться, то ли ехать дальше к Наташке, но она вот хромая. Ты как, батя, считаешь?

— Да уж это тебе видней, — сказал проводник. — Я про эти дела давно позабыл. У меня в эту осень внук в школу пошел.

— Да, батя, — посочувствовал Алтынник, — так на личность ты еще молодой. А я, батя, решил так: до сорока годов поживу, погуляю, а потом сразу — веревку на шею, и с приветом к вам Сергей Есенин.

— Доживи сперва, — усмехнулся проводник. — Помирать никогда не хочется.

— Это я понимаю, — сказал Иван, боясь, что обидел проводника. — Это я для себя только так решил. Думаю, до сорока годов доживу, ну до сорока пяти от силы, и хватит. А то это, знаешь, все ходи, мучайся. То поясницу ломит, то ревматизм на погоду болит. Эх...

Алтынник огорченно махнул рукой и, глядя в окно, задумался, попытавшись представить себя жалким и больным стариком, но представить ему это было почти невозможно, и мысли его тут же сбились на другое — он опять заволновался, встретит его или не встретит Людмила. Была ночь с субботы на воскресенье.

На станцию Кирзавод поезд прибыл точно по расписанию. Проводник открыл дверь, и на Алтынника, стоявшего в тамбуре с чемоданом, дуло сырым холодом. Шумел ветер, густо валил и вспыхивал в свете единственного на станции фонаря лохматый снег. Под фонарем стояли дежурный в красной фуражке и маленькая, залепленная снегом фигурка. «Она», — догадался Алтынник. И действительно, фигурка побежала вдоль поезда, шаря по вагонам глазами и отыскивая того, кого ожидала. Алтынник отошел в глубь тамбура и следил за ней одним глазом. Он все еще колебался.

— Как, батя, советуешь — слезать или не слезать? — в последний раз понадеялся он на проводника.

— Слезай! — махнул рукой проводник и отступил в сторону, освобождая проход.

— Была не была, — решился Алтынник. — Будь здоров, батя, и не кашляй.

И соскочил на мокрый перрон.

Когда они встретились, Алтынник понял, что его жестоко обманули, — фотография, которую хранил он в альбоме, по крайней мере, десятилетней давности.

— Здравствуйте, Ваня, — сказала Людмила, протянув ему руку.

— Здравствуйте. — Поставив чемодан, переминался он с ноги на ногу, переживая сомнения. — Людмила? — спросил он на всякий случай, еще надеясь, что это не она, а, допустим, старшая сестра.

— Ага, — беспечно согласилась она. — У нас часы стали. Ночь, время спросить не у кого. Пришла за час до поезда. Ну, пойдемте. — Она наклонилась к чемодану, как будто хотела взять.

— Сейчас, — сказал Иван и чемодан придержал. И стал быстро соображать, не сесть ли ему, пока не поздно, обратно на поезд.

Дежурный в красной фуражке ударил в колокол. Поезд шумнул тормозами и тронулся медленно, без гудка. Алтынник все еще колебался. Остаться или на ходу вскочить на подножку?

Медленно проплыл мимо последний вагон, и проводник с грохотом опустил откидную площадку. Решать было уже нечего.

— Ладно, пойдем, — вздохнул Иван и нагнулся за чемоданом.

Дул ветер, в глаза летел сырой снег, Алтынник шел боком. В правой руке он держал чемодан, а левой прижимал к уху воротник шинели, чтоб не продуло. Дома и заборы неясно чернели по сторонам, нигде ни огня, ни звука, хоть бы собака пролаяла.

Людмила молча шла впереди, ее залепленная снегом спина то исчезала, то вновь возникала перед Алтынником. Поворачивали направо, налево, опять направо. Иногда ему казалось, что они кружат на одном месте. В какой-то момент стало страшно: мало ли слышал он разговоров, как какого-нибудь доверчивого чудака женщина заводила в темное место, а там... Ведь никто же не знает, что в роскошном его чемодане ничего нет, кроме смены белья да портянок. В крайнем случае, можно, конечно, чемодан бросить и дать волю ногам. Но куда побежишь, когда мокро, скользко и незнакомое место? И как назло под ногами ни камня, ни палки.

— Далеко еще? — спросил он подозрительно.

— Нет, недалеко, — ответила Людмила, не оборачиваясь.

— Ну у вас и погодка, та́ еще, — громко сказал Алтынник. Все-таки когда говоришь, не так страшно. — А я ваш адресок товарищу оставил, он утречком должен подскочить. Не возражаете?

Насчет товарища он сейчас только придумал: пусть знает, если что — адрес известен.

— Пожалуйста, — сказала Людмила.

Ее согласие Ивана несколько успокоило, и он не стал излагать следующую придуманную им версию, что, в случае чего, его, Ивана Алтынника, как военнотружачего и необходимого в данный момент стране человека, будут разыскивать всюду, и, если что, перероют всю эту вшивую станцию. Потом сообразил, что их видел вместе дежурный по станции, и это успокоило его окончательно.

Еще раз повернули направо и остановились перед забором из штакетника.

Людмила перекинула руку через забор и звякнула щеколдой.

Скрипнув, отворилась калитка.

— Проходите, — сказала Людмила.

— Собаки нет? — осторожно спросил Алтынник.

— Нет, — сказала Людмила. — В прошлом годе был Тузик, так брат его из ружья застрелил.

— За что же? — удивился Алтынник.

— Ружье новое купил. Хотел проверить.

— И не жалко было?

— Кого? — удивилась Людмила.

— Да Тузика.

— Так это ж собака.

Маленьким кулачком в шерстяной варежке долго она колотила в закрытую дверь, потом, утопая в свежем сугробе, пролезла к окну. Качнулась в сторону занавески, показалось расплывающееся в темноте чье-то лицо.

— Мама, откройте, — негромко сказала Людмила.

За окном вспыхнул электрический свет. Послышались негромкие, но тяжелые шаги, дверь распахнулась, и на пороге появилась крупная старуха в валенках, в нижней полотняной рубахе. В руке она держала зажженный китайский фонарик.

— Проходите, — еще раз сказала Людмила Алтыннику и сама пошла вперед, показывая дорогу. Старуха, посторонившись, светила фонариком. Тускло сверкнули коромысло и ведро, развешенные на стенах. В нос ударил запах квашеной капусты.

Пройдя через сени, Алтынник очутился в комнате, жарко натопленной и освещенной лампочкой без абажура.

Он поставил чемодан у порога и нерешительно топтался, осматриваясь.

— Раздевайтесь, — предложила Людмила, и сама подала пример. Размотала пуховый платок и сняла пальто с серым воротником из искусственного каракуля. Теперь на ней было темное шерстяное платье с глубоким вырезом. Алтынник посмотрел на нее и вздохнул. Там, на перроне, он, пожалуй, ошибся. Карточка была не десятилетней давности, а постарше.

Он повесил шинель на гвоздь возле двери и расправил под ремнем гимнастерку.

Вернулась старуха, положила на табуретку фонарик.

— Мама, познакомьтесь, — сказала Людмила.

Старуха вежливо улыбнулась и протянула Алтыннику черную искривленную руку.

— Иван Алтынник, — громко сказал Иван.

— Чудная фамилия, — не называя себя, покачала головой старуха.

— Чего же в ней чудного? — обиделся Алтынник. — Фамилия самая обыкновенная, происходит от слова «алтын». Слышала такое слово?

— Нет, не слышала, — отказалась старуха.

— Как не слышала? — изумился Алтынник. — Алтын, в старое время деньги такие были.

— Эх, милый, — вздохнула старуха. — У нас денег не то что в старое время, а и теперь нету.

— Полно вам прибедняться, — возразила Людмила. — Живем не хуже людей. Ваня, наверное, маланец. Правда, Ваня? — она повернулась к Алтыннику и улыбнулась.

— Кто, кто? — не понял Алтынник.

— Маланец.

— Угу, маланец, — согласился Алтынник, чтобы не спорить, хотя все же не понял, что это значит.

— Ох-хо-хо, — вздохнула старуха и, скинув валенки, полезла на печку.

Положив руки в карманы, Алтынник прошел по комнате, осмотрелся. Комната была самая обыкновенная — деревенская. Ведра с водой на лавке возле двери, тут же рукомойник, дальше на стене портрет Кагановича, под ним рамочка с налезаящими одна на другую фотографиями. Красноармеец в довоенной форме с треугольничками на петлицах, старик в очках, ребенок на столе голый, масса каких-то людей группами и в одиночку, и среди них кое-где Людмила. Была здесь и та фотография, которую знал Алтынник, и другие, последнего времени. Прислала бы Людмила одну из последних, сейчас бы Алтынник уже обнимался на перроне с хроменькой Наташей.

Продолжая осмотр, наткнулся он на косо повешенное полотенце, где была вышита плоская девушка в трусах, лифчике и с одним глазом. Девушка лежала, задрав ноги, на животе и держала в руках что-то похожее на раскрытую книгу. Подпись под картиной гласила: «На курортах». Алтынник отступил на шаг и прищурил сперва один глаз, потом другой.

— Вы вышивали? — спросил он уважительно.

— Я, — скромно сказала Людмила.

— Ничего, — оценил он. — Так это вообще... — он подумал, но нужного определения не нашел и махнул рукой.

Без интереса скользнул взглядом по темной иконе

в углу — религиозные предрассудки не уважал, сквозь полуоткрытую дверь заглянул в горницу, но там было темно. Тут ему послышалось чье-то посапывание за выцветшей ситцевой занавеской, отделявшей пространство между печью, куда залезла старуха, и дверью.

Алтынник резко шагнул к занавеске и отдернул ее. Здесь увидел он белобрысого парня лет четырнадцати, который спал лицом к стене на железной кровати с шпешечками.

— Кто это? — Алтынник строго посмотрел на Людмилу.

— Сын, — сказала Людмила и стыдливо потупилась.

— Внуков нет?

— Что вы, — обиделась она, — я еще молодая.

— Юная, — поправил Алтынник, отошел к стоявшему у окна столу, сел и положил локти на скатерть с бледными, вышитыми гладью цветами. Девушка «на курортах» висела на противоположной стене и единственным своим глазом смотрела не в книгу, а на Алтынника. Он достал свой «Казбек» и, не спрашивая разрешения, закурил. Поинтересовался:

— Когда будет следующий поезд?

— У нас только один поезд, на котором вы приехали, — сказала Людмила. — Другие не останавливаются.

— Угу. Так-так. — Он побарабанил по столу пальцами. — И чего ж делать будем? — поднял голову и нахально посмотрел на Людмилу.

Она смешалась и покраснела. «Ишь ты, еще краснеет», — про себя удивился Алтынник.

— Ну, так я спрашиваю: чего делать будем? — повторил он свой вопрос, чувствуя, что сейчас может сказать все, что хочет.

— Кушать хотите? — не поднимая глаз, тихо спросила Людмила.

— Кушать? — понимающе переспросил Алтынник и посмотрел на часы (было без пяти три). — Чего ж делать? Давайте кушать.

В одну минуту Людмила стащила со стола скатерть, постелила клеенку, и не успел Алтынник оглянуться, на столе стояли пол-литра водки, теплая еще жареная картошка с салом и пироги с грибами.

— Со знакомством, — сказал Алтынник, подняв стакан.

— Со знакомством, — кивнула Людмила.

Надеялся Алтынник, что сразу же опьянеет, но выпили всю бутылку, а ему хоть бы хны. Несмотря на то что с утра ничего не ел, кроме двух пирожков с мясом, купленных на Курском вокзале. Но в груди потеплело, и настроение стало лучше. Он снял сапоги, ремень и расстегнул гимнастерку. Чувствовал себя легко, свободно, закусывал с аппетитом и все благожелательнее поглядывал на Людмилу.

Людмила от водки тоже оживилась, на щеках выступил румянец, глаза блестели. Она уже казалась Алтыннику не такой старой, как при первом взгляде, а вполне привлекательной. Теперь он не сомневался в том, что хорошо проведет эти сутки в ожидании следующего поезда, а большего он и не хотел. И то, что Людмила была не самой первой молодости, Алтынник теперь расценивал как факт положительный: очень надо ему иметь дело с молоденькими дуручками вроде Галки, которые строят из себя черт-те что. Перед ним сидела женщина настоящая, не то что недоросток какой-то, уж она-то знает, зачем люди целуются и что делают после. Губы ее и глаза обещали Алтыннику многое, и он знал совершенно точно, что теперь своего не упустит и таким лопухом, как тогда с Галкой, не будет. И от уверенности в том, что все будет, как он себе наметил, было ему сейчас весело. Давно уже он умял всю картошку и принялся за пироги, которые показались ему особенно вкусными.

— Пироги ну просто замечательные, — сказал он, чтобы сделать хозяйке приятное, и потому, что неудобно было за свой неумеренный аппетит. — А то ведь в армии у нас пища какая: шрапнель, конский рис и кирза. Хоть бы, вот я говорю, сливочного масла дали кусочек солдату, так нет, не положено. А как же. Друзей всех кормим. Но солдат — тоже ведь человек, ты на нем хоть верхом ездий, а кусочек маслица дай. От этой кирзы только живот дует, а калорий и витаминов почти никаких. А вот грибы уважаю. Хоть сушеные, хоть свежие. Потому что высокие вкусовые качества — раз! — Алтынник загнул один палец. — И по калорийности не уступают мясу — два!

— Это точно, — подтвердила Людмила. — Мы во

время войны, когда голод был, одними грибами спасались. Бывало, пойдешь в лес, наберешь корзинку...

И как начала она с этих грибов, так и пошла дальше, перескакивая с темы на тему, без остановки, рассказывать Алтыннику свою жизнь с того времени, как в сорок четвертом году, осенью, вышла замуж за парня, работавшего на станции электриком, и прожили они вместе до декабря, когда его взяли в армию и он успел дойти до самого Бёрлина живой и невредимый, но на обратном пути в поезде застудил голову и умер, а она осталась жить для ребенка и никого близко к себе не подпускала, хотя многие добивались, потому что знали ее как женщину самостоятельную, чистую, и ее все уважали, не только соседи, но и по работе, некоторые врачи даже из института приходят и с ней советуются, ведь сколько ни учи, но теория — это одно, а практика — другое, и ни у одного врача, приходящего из института, такой практики нет и быть не может; тут на станции не то что в большом городе в поликлинике, где есть отдельно хирург и отдельно терапевт или невропатолог, здесь хоть зубы лечить, хоть роды принимать, все бегут к ней; вчера, например, ночью прибежали с другого конца станции, там старуха с печки упала, старухе будет в обед сто лет, а ты поднимайся ночью, беги, потому что народ несознательный, считает, что фельдшера можно поднимать в любое время, сам восемь часов отработал и свободен, а тут никакого внимания, уж лучше рабочим на производстве или бухгалтером, как ее брат Борис, который живет в районном городе, двадцать километров отсюда, у него там тоже свой дом, жена Нина и дочка Верушка, которой на прошлой неделе исполнилось два годика, живут, правда, плохо; несмотря на то что Нинка кончила техникум, но такая неряха — когда в дом ни придешь, всегда грязи по уши, посуда не мыта, не то что за ребенком, за собой следить не умеет; уж она, Людмила, ничего Борису, конечно не говорит, сам женился, самому жить, но все же обидно — родной брат, младше ее на три года, вместе росли, а потом, когда она выучилась и ему помогала учиться, каждый месяц пятьдесят рублей посылала, отрывая от себя и ребенка, чего Борис теперь уже не помнит (все люди неблагодарные), приезжает каждое воскресенье домой и хоть бы матери-старухе к дню рождения или на Восьмое марта подарил ситцу на платье или сто граммов конфет, дело не в

деньгах, конечно, хотя знает, что фельдшеру много не платят, несмотря на выслугу лет; так он еще, как придет, требует каждый раз, чтобы она ему пол-литра поставила; мужчина, известно, за пол-литра мать родную продаст, как, например, сосед-учитель, который до того допился, что и жена от него ушла, и дети родные отказались, только название одно, что мужчина, а на самом деле настоящее горе, уж лучше век одной вековать, чем с таким связывать свою жизнь...

Алтынник слушал сперва терпеливо и даже поддакивал и охал в подходящих местах, но потом стал морщиться и отвлекаться. Ему давно уже было неинтересно ни ее прошлое, ни будущее, он приехал вовсе не для того, чтобы изучать ее биографию, а совсем для другого дела, на что он и хотел как-нибудь намекнуть, но невозможно было прорваться, она все сыпала и сыпала на него свои рассказы, как из мешка, один за другим, и все в такой жалобной интонации, что уже ничего не хочется, а хочется только спать (время позднее), но приходится вежливо таращить глаза да еще делать вид, что тебе это все безумно интересно. Но когда речь дошла ко учителя, он все же не выдержал и сказал:

— Извините, Людмила, я вас перебыю, но как бы мы бабушку не разбудили.

— Да ничего, над ней хоть из пушки стреляй, — успокоила Людмила, порываясь рассказывать дальше. — Значит, про что это я говорила?

Но Алтынник потерял нить, не помнил и не хотел помнить, про что она говорила. Он хмуро смотрел перед собой и вертел за горлышко пустую бутылку.

— Может, вы еще выпить хотите? — догадалась Людмила.

— А есть?

Хотя, конечно, и хотелось спать, все же он помнил, зачем сюда приехал, а в распоряжении одни только сутки, и если не сейчас, то когда?

— А как же. — Она пошла в горницу и тут же вернулась с плоским флаконом, широкое горло которого было заткнуто газетой.

— Самогон? — спросил Алтынник.

— Спирт.

— Спирт?

— Я же медик, — улыбнулась Людмила.

— Спирт я люблю, — одобрил Алтынник, хотя чис-

тый спирт ни разу в жизни не пробовал. — Мы у себя пьем ликер «шасси».

— Ликер чего? — не поняла Людмила.

— То есть гидросмесь, — пояснил Алтынник, — которая заливается в стойки шасси. Семьдесят процентов глицерина, двадцать спирта и десять воды.

— И ничего?

— Ничего, — сказал Алтынник. — Правда, потом понос бывает, но вообще-то пить можно.

Разбавили спирт водой, выпили, закусили.

— Да, так я вам про учителя не рассказала, — вспомнила Людмила.

Алтынник посмотрел на нее и попросил:

— Не надо про учителя.

— А про что? — удивилась Людмила.

— А ни про что, — сказал он и вместе со стулом придвинулся к ней. Положил руку ей на плечо. Она ничего. Погнул слегка ее голову к себе. И она без всякого сопротивления вдруг повернулась и впилась в его губы своими.

Это было так ошеломительно, что Алтынник в первый миг растерялся, а потом ринулся навстречу тому, что его ожидало, и дал волю рукам, жалея, что их у него только две, что они короткие и что нельзя все сразу. Людмила, не отрываясь от его губ, прижималась к Алтыннику грудью, коленями, вздрагивала и дышала, изображая такую сумасшедшую страсть, как будто сейчас помрет, и вдруг резко его оттолкнула, так, что он ударился локтем об стол. Алтынник схватился за локоть и удивленно посмотрел на Людмилу.

— Ты... чего? — спросил он, с трудом выдавливая слова, потому что дыхания не хватало.

— Ничего. — Людмила загадочно усмехалась.

Видимо, спирт наконец подействовал: Алтынник смотрел на Людмилу и не мог понять, что она хочет.

— Эх ты, герой! — засмеялась она и легонько стукнула его по голове. — Думаешь, если женщина однакая, так у нее сразу можно всего добиться?

— А разве нельзя? — удивился Алтынник.

— Вам всем только этого и нужно, — вздохнула она. — Все мужики как собаки, честное слово. Ни поговорить ничего, только про свое дело и думают.

Алтынник смутился.

— Так мы ж говорили, — неуверенно возразил он и пообещал: — Опосля еще поговорим.

— Дурак, — сказала она и положила голову на стол.

Алтынник задумался. Видно, он сделал что-то не то, потому что она сперва вроде бы поддалась, а теперь заартачилась. А скорее всего просто дурочку валяла.

Алтынник попытался ее снова обнять, но она его опять оттолкнула и приняла прежнюю позу.

— Людмила, — помолчав, сказал Алтынник. — Ты чего из себя это строишь? Ты же не девочка и должна знать, зачем ты меня приглашала и зачем я к тебе приехал, и не за тем, чтобы над тобой посмеяться или пошутить, а чтоб по-товарищески сделать тебе и себе удовольствие. А если ты из себя будешь девочку строить, то надо было сразу или сказать, или намекнуть, потому что время у меня ограничено, сама понимаешь — солдатское положение.

Она молчала. На печи негромко всхрапывала и чмокала губами во сне старуха. Алтынник посмотрел на часы, но спяну не мог разобрать — то ли половина четвертого, то ли двадцать минут шестого. Людмила сидела, положив голову на руки. Иван еще посидел, повздыхал, почесал в голове. Было обидно, что зря потратил столько времени и не выспался.

Нагнувшись, достал он под столом сапог, вынул из него портянку и стал наматывать на ногу. Задача эта оказалась нелегкой, потому что стоило ему задрать ногу, как он терял равновесие и хватался за край стола, чтобы не свалиться с табуретки. В конце концов с этим сапогом он кое-как справился и полез за вторым. Людмила подняла голову, и удивленно посмотрела на Алтынника:

— Ты куда собираешься?

Он пожал плечом:

— На станцию.

— Зачем?

— А чего мне здесь делать? Поеду.

— Куда ж ты поедешь? До поезда еще целые сутки.

— Ничего, подожду, — сказал он, принимаясь за второй сапог.

— Обиделся?

Он молчал, сосредоточенно пытаясь попасть ногой в голенище.

— Эх ты, дурачок, дурачок, — Людмила вырвала у него сапог и швырнула обратно под стол.

Он только хотел рассердиться, как она схватила его и стала целовать, и он снова все позабыл, и опять не хватало рук и нечем было дышать.

— Подожди, — шепнула она, — сейчас свет погашу, пойдем в горницу.

Он с трудом от нее отлепился. Он мог подождать, но недолго. Поцеловав его, она на цыпочках прошла к двери и щелкнула выключателем. Свет погас.

Алтынник ждал ее нетерпеливо, чувствуя, как беспорядочно колотится сердце, словно дергают его за веревку. Людмила не возвращалась.

— Людмила! — позвал он шепотом.

— Сейчас, Ваня, — отозвалась она из темноты тоже шепотом.

Он поднялся и, чувствуя, что ноги его не держат, хватался за край стола и тарачил глаза в темноту, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. Но, ничего не увидев, осторожно оторвался от стола и, как был в одном сапоге, направился туда, где, по его мнению, находилась Людмила.

Он шел бесконечно долго и в конце своего пути напоролся на табуретку, повалил ее, чуть не свалился сам и сильно зашиб колено. Табуретка упала с таким грохотом, что ему показалось: сейчас он поднимет весь дом. И действительно, старуха на печи коротко вскрикнула, но, должно быть, во сне, потому что тут же опять захрапела и зачмокала губами. Он понял, что забрал слишком сильно вправо, и пошел дальше, стараясь держаться левее, и наткнулся на какую-то тряпку и догадался, что это занавеска, за которой спал сын Людмилы. Он отшатнулся, но занавеска оказалась и сзади. И слева и справа. Чтобы освободиться от нее, он стал делать над головой такие движения руками, как будто отбивался от целого роя пчел, запутался окончательно и, не видя иного способа вырваться, дернулся что было сил в сторону. Где-то что-то затрещало, Алтынник рухнул на пол и на этот раз ударился головой. «Господи! — подумал он с тоской. — Так я сегодня и вовсе убьюсь».

Он попытался подняться, но никаких сил для этого не было. Тогда он пошарил вокруг себя руками, наткнулся на какой-то веник, подложил его под голову и уснул.

8

Проснулся он оттого, что стало больно глазам. Солнце светило прямо ему в лицо сквозь полузамерзшие стекла. Слегка повернув голову, он увидел, что лежит в комнате, совершенно ему незнакомой, на широкой кровати, и под ним мягкая перина и огромная пуховая подушка. За круглым столом посреди комнаты между окном и зеркальным шкафом сидел парень лет четырнадцати в старой школьной форме. Должно быть, считалось, что парень сейчас делает уроки, на самом же деле он одну за другой зажигал спички, совал их, зажженные, в рот, а потом перед зеркалом шкафа выдыхал дым и делал страшные рожи. Алтынник стал за ним следить через зеркало. Парень чиркнул очередной спичкой, раскрыл рот и в этот момент встретился с отраженным в зеркале Алтынником. Он вздрогнул, закрыл рот, а спичку зажал в кулаке и, наверное, обжегся. Потом повернулся, и они оба бесконечно долго разглядывали друг друга.

Парень первый нарушил молчание.

— Мамка побегла в магазин, — сказал он.

— У-у, — промычал Иван в знак того, что все ясно, хотя ему ничего не было ясно.

— Ты в каком же классе? — спросил он парнишку.

— В восьмом.

«Ничего себе», — удивился Алтынник. Сам он кончил только семь классов.

— А зовут тебя как?

— Вадик.

— Молодец, — похвалил Алтынник и прикрыл глаза. Побаливала голова. То ли оттого, что он вчера немного перебрал, то ли оттого, что он, кажется, обо что-то вчера ударился. Было у него еще такое ощущение, будто из его памяти выпало какое-то очень важное звено, но он не мог понять, какое именно. Смутно помнилось, вроде он ночью что-то искал, не нашел, улегся на полу. Но как он попал в кровать? И в мозгу его слабо забрезжило воспоминание, что будто бы Людмила под-

няла его с пола и положила к себе в постель и между ними как будто что-то было, а она его потом спросила:

— Почему же ты говорил, что маланец?

А он спросил:

— Что такое маланец?

— Еврей.

— А почему ж маланец?

— Ну, сказать человеку «еврей» неудобно, — пояснила Людмила.

Теперь никак он не мог припомнить, приснилось ему это все или было на самом деле. Но думать не хотелось, и он вскоре уснул.

9

Когда он открыл снова глаза, Вадика в комнате уже не было. Решив, что уже поздно, Алтынник встал, надел штаны (они вместе с гимнастеркой висели на спинке стула перед кроватью), сунул ноги без портянок в сапоги и вышел в соседнюю комнату.

Старуха в разорванном под мышками ситцевом платье (нижняя рубаха выглядывала из-под него) стояла спиной к Алтыннику возле печи и, нагнувшись, раздувала самовар.

Алтынник подошел к старухе сзади и крикнул в самое ухо:

— Бабка, где тут у вас уборная?

— Ой, батюшки светы! — вскрикнула старуха и подняла на Алтынника перепуганные глаза. — Ой, напужал-то... Ты чего кричишь?

— Я думал, ты глухая, — махнул рукой Алтынник. Он поморщился. — Ой, бабка, мутит меня что-то, и голова вот прямо как чугун, честное слово.

— Похмельиться надо, — сочувственно улыбнулась бабка.

— Что ты, бабка! Какое там — похмельиться. Мне это вино и на глаза не показывай, и так там, внутри, как будто крысу проглотил, честное слово. Чего-нибудь бы холодненького испить бы, а, бабка?

— Кваску, — нараспев сказала старуха.

— А холодный? — оживился Алтынник.

— А как же. Чистый лед!

Алтынник обрадовался.

— Давай, бабка, быстрее, не то помру, — заторопил он.

Старуха сбегала в сени и вернулась с трехлитровой бутылкой красного свекольного кваса. Алтынник хватил целую кружку.

— У-уу! — загудел он довольно. — Вот это квас! Аж дух зашибает. Погоди, бабка, не уноси. Сейчас я сбегаяю по малому делу, еще выпью, а то уже некуда, под завязку.

На улице было морозно и солнечно. Жмурясь от слепящего глаза снега, Алтынник пробежал через огород к уборной и обратно, ворвался в избу немножко оживший, выпил еще квасу, попробовал закурить, не пошло — бросил. Поинтересовался у старухи, не пришла ли Людмила.

— Да еще не верталась. — Старуха все возилась у самовара.

— А Вадик где же?

— Гуляет.

— А ну-ка, бабка, подвинься, я дуну, — сказал Иван и отодвинул бабку плечом.

У него дело пошло лучше, и скоро самовар загудел.

— Вó как надо дуть, — не удержался и похвастал Алтынник. — Три раза дунул — и порядок. У меня, бабка, легкие знаешь какие. Смотри, как грудь раздувается. — Он действительно набрал полную грудь воздуха да еще и выпятил ее до невозможности. — Поняла? Ты, бабка, не смотри, что расту среднего. Я на гражданке лабухом был. В духовом оркестре учился. На трубе играл. Она маленькая, а играть потяжелше, чем на басу. На басу просто, хотя и здоровый. Знай только щеки раздувай побольше, ума не надо. А на трубе, бабка, губы покрепче сожмешь и вот так делаешь: пу-пу-пу. И звук получается, бабка, чистый, тонкий. Бас, он мычит все равно что баран: бэ-э, бэ-э, а труба... — Алтынник взял в руки воображаемую трубу и стал перебирать пальцами, словно нажимал клавиши. Но только собрался изобразить он, какой звук издает труба, как во дворе заиграла гармошка и, приблизившись к дому, смолкла. В сенях загремели тяжелые чьи-то шаги. Дверь распахнулась, и на пороге появилась фигура огромного мужика в синем зимнем пальто и валенках, подвернутых у колен. На груди у него висела маленькая для его роста

гармошка. Алтынник все еще держал руки, как будто собирался играть на трубе.

Вошедший, не обращая ни на кого внимания и не здороваясь, снял и поставил гармошку на лавку рядом с ведрами, взял в углу веник и стал не спеша обмахивать валенки.

— Ох, погодка хороша, — сказал он, видимо обращаясь к старухе.

— Один приехал? — спросила старуха.

— Один. Верушка простыла, температурит, ну Нинка с ней и осталась. — Бросив веник на прежнее место, он прошел мимо Алтынника и сел к столу.

— А в прошлое воскресенье чего не приехал?

— А этого хоронили... как его... Ваську Морозова, — сказал он все в той же своей бесстрастной манере.

— Ай помер? — удивилась старуха.

— Ну. С прорабом своим древесного спирту нажрался. Прораб ослеп на оба глаза, а Васька... в среду это они, значит, выпили, а в четверг утром, Райка евоная рассказывает, на работу собирался. Нормально все, встал, умылся, завтракать она ему подала. Он сел, все как положено. «Радио, — говорит, — надо включить, время проверить». И потянулся к приемнику, а приемник от его так примерно с метр, нет, даже меньше, ну сантиметров девяносто... Так потянулся он и вдруг как захрипит, да брык со стула. Райка ему: «Вася, Вася», а Вася уже не живой.

— О господи! — вздохнула старуха. — Райка-то, чай, убивается?

— Сука, — махнул рукой мужик. — Она ж с этим... с Гришкой-милиционером путалась. Вся улица знала. Да и Васька сам знал. Уж он, бывало, бил ее и к кровати привязывал, никакого внимания. А теперь, конечно, убивается. Невдобно ж перед людьми.

Алтынник постоял немного и тоже сел. Исподволь стали друг друга разглядывать. Алтынник заметил, что у мужика много сходства с Людмилой, и догадался, что это, наверное, тот самый брат, который убил собаку. Оба неловко молчали. Старуха возилась у печки.

— А это кто? — неожиданно громко спросил мужик у старухи, показывая кивком головы на Алтынника, как будто Алтынник был для него какой-нибудь шкаф или дерево.

— А это к Людке приехал, — равнодушно объяснила старуха.

— Где ж это она его нашла?

— По переписке.

— А-а.

Мужик неожиданно шумно вздохнул, поднялся, шагнул к Алтыннику и протянул ему свою огромную лапу.

Алтынник вздрогнул, посмотрел на мужика снизу вверх.

— Чего? — спросил он, заискивающе улыбнувшись.

— Познакомимся, говорю.

— А-а. — Алтынник вскочил, пожал протянутую руку: — Иван.

— Очень приятно. Борис, — назвал себя ответно мужик.

Сели на свои места, постепенно стали нащупывать тему для разговора.

— В отпуск едешь? — спросил Борис.

— В командировку.

— Виатор? — уважительно не то спросил, не то просто отметил для себя Борис. — Я виацию не люблю. Шумит больно. Я служил в войсках связи поваром. Служба хорошая, только старшина вредный был.

Для любого солдата тема старшины неисчерпаема. Людмила вернулась как раз в тот момент, когда Алтынник, ползая по полу на карачках, показывал, как именно старшина де Голль учил молодых солдат мыть полы.

10

Людмила принесла с собой бутылку «Кубанской», сели завтракать. Как ни противно было Алтыннику смотреть на водку, пришлось пить. Бабка поставила на стол ту же жареную картошку, крупно нарезанные соленые огурцы и вчерашние пироги с грибами. Людмила села рядом с Иваном, вела она себя так, как будто ничего не случилось. Он искоса поглядывал на нее, пытался и не мог понять, было между ними что или просто ему приснилось.

Борис разлил водку — себе и гостю почти по полному стакану, сестре половинку, а матери самую малость для компании.

Иван этой водкой чуть не захлебнулся, выпил, прав-

да, до дна, но потом стал долго и стыдно кашлять и морщиться.

— Не пошла, — с пониманием отнесся Борис.

— А ты закуси, Ваня, пирожком, — сказала Людмила и подала ему пирог. — Понравились ему твои пироги, — сказала она матери.

— Кому ж они не нравятся, — сказал Борис. — Фирменное блюдо. Вообще у нас, Ваня, жизнь хорошая. Грибов этих самых завал. Вот приезжай летом, возьмем два ружья, пойдем в лес. Грибов наберем, зайцев настреляем.

— Уж ты настреляешь, — засмеялась Людмила. — Ты за всю жизнь, кроме как в Тузика, ни в кого не попал, да и то потому, что он был привязанный.

— Ты ее не слушай, Ваня, — убеждал Борис. — Мы живем хорошо. Овощ свой, мясо — кабана вот скоро зарежем, — свое молоко... Корову видал?

— Нет, — сказал Алтынник, — не видал.

— Пойдем покажу, — Борис вышел из-за стола.

— Да куда ж ты человека тянешь? — возмущилась Людмила. — Чего он — корову не видел?

— Твою не видел, — стоял на своем Борис. — Пойдем, Вань.

Алтыннику идти не хотелось, но и отказываться было вроде бы неудобно. Он встал.

— Борис! — повысила голос Людмила.

— Ну пушай посмотри, — не сдавался Борис. — Может, ему интересно. Он же городской. Он, может, корову в жизни своей не видел, на порошковом молоке вырос.

— Ну что пристал к человеку, — поддержала Людмилу старуха, — сядь, тебе говорят.

— Ну ладно, — сдался Борис. — Давай, Ваня, допьем, а им больше не дадим.

Разлил остатки в два стакана, выпили.

— Мама, вы говорили, что он маланец, а он не маланец, — вдруг сказала Людмила и подмигнула Ивану.

Кровь бросилась Алтыннику в голову. Значит, все, что ему смутно припоминается, было на самом деле, не приснилось.

— Это он сам тебе сказал? — не поверила бабка.

— А он мне паспорт показывал, — сказала Людмила и бессовестно засмеялась.

Борис намека не понял и сказал:

— А у солдат паспортов не бывает. У них служебные книжки. Ваня, у тебя есть служебная книжка?

— А как же, — сказал Иван. — Вот она. — Он растегнул правый карман и протянул документ Борису.

Борис взял служебную книжку и стал ее перелистывать. Людмила не удержалась и тоже заглянула через плечо матери.

— А чего это здесь написано? — удивилась она.

— А это размер ног, головы, — объяснил Борис и перелистнул страницу. — Особых отметок нету, — сообщил он и повернулся к Алтыннику: — Чего ж так? Хочешь, сейчас в поссовет пойдем, там Катька секретарем работает, и штампик тебе поставим?

— Еще чего — штампик, — возразил Алтынник. — Дай сюда.

Он забрал служебную книжку и положил на место в карман.

— Мне и без штампа хорошо, — сказал он. — Молодой я еще для штампов.

— Сколько ж тебе годов будет? — поинтересовалась старуха.

— Двадцать три.

— Молодой, — недоверчиво сказала старуха. — Молодой не молодой, а семьей надо обзаводиться, детишками. Это ж какая радость — детишки.

— Людмила, — сказал Борис, — у тебя спирту нет?

— Нет, — сказала Людмила. — Немного оставалось, вчера выпили.

— Поди-ка сюда. — Борис отозвал ее в соседнюю комнату и о чем-то с ней говорил, судя по всему, просил денег, а Людмила отказывала. Потом они вместе вышли.

— Пойдем, Ваня, прогуляемся, — предложил Борис. — Посмотришь наш поселок, а то ж ночью небось ничего не видал.

— Пойдем, — согласился Иван.

В небольшом магазине напротив станции выпили они еще по полстакана водки и по кружке бочкового подогретого пива. Зашли на станцию проверить расписание и выпили там в буфете по стакану красного. На

обратном пути завернули опять в магазин, взяли еще по кружке пива. Бутылку «Кубанской» Борис зачихал в левый внутренний карман пальто.

— Вó, Настёнка, — похлопав себя по тому месту, где выпирала бутылка, — сказал Борис продавщице, — грудь побольше, чем у тебя. Еще б сюда бутылку — и можно в самодеятельности бабу играть.

— А чего ж не возьмешь еще? — спросила Настёнка.

— Время не хватает, — пошутил Борис и пошевелил пальцами, словно пересчитывая деньги.

Назад пошли напрямую, по тропинке через какие-то огороды. Тропинка была узкая, левой ногой Алтынник шел нормально, а правой попадал почему-то в сугроб. «Видно, обратно косею», — подумал он безразлично.

Вернувшись, сели опять за стол. Алтынник выпил еще полстакана и после этого помнил себя уже смутно.

Почему-то опять разговор зашел насчет возраста.

— А мне вот скоро тридцать пять годов будет, — сказала Людмила, — а никто мне моих годов не дает. Двадцать шесть, двадцать восемь от силы.

— Еще взамуж десять раз выйдешь, — сказал Борис

— А у нас Витька Полуденов, — вмешалась в разговор бабка, — со службы пришел, взял за себя Нюрку Крынину, а она на двадцать лет его старше и с тромя ребятами. И живут меж собой лучше не надо.

Алтынник насторожился. Он понял, куда клонит бабка. Ему стало весело, и он сказал:

— Ишь, бабка-хитрюга. Думаешь, я не понимаю, к чему ты все это гнешь? А хошь вот я, — он хлопнул ладонью по столу, — на тебе женюсь? — Он повернулся к Борису: — А, Борис? А ты меня будешь звать папой и будешь нам с бабкой платить алименты по старости лет.

Эта мысль показалась ему настолько смешной, что он долго не мог успокоиться и трясся от мелкого, может быть нервного, смеха. Но его никто не поддержал, а, наоборот, все трое насупились и недоуменно переглядывались. Поняв, что сказал бабке что-то обидное, он перестал смеяться. Старуха сидела, поджав тонкие губы.

— Что, бабка, обиделась? — удивился Алтынник.

— Еще б не обижаться, — сказал вдруг Борис. — Нешто можно старому человеку глупости такие говорить?

— Фу-ты ну-ты, — огорчился Алтынник. — Что за народ пошел. Мелкий, пузатый, обидчивый. В рожу плю-

нешь — драться лезет. Я ж пошутил просто. Характер у меня такой веселый: люблю пошутковать, посмеяться. Ты говоришь, этот ваш... как его... взял на двадцать лет старше, а я тебе говорю: давай, мол, бабка, с тобой поженимся. Ну, ты, конечно, не на двадцать годов меня старше, потому что у тебя дочь мне все равно как мать. А жениться, бабка, мне еще ни к чему. Я, бабка, еще молодой. Двадцать три года. Можно сказать, вся жизнь впереди. Вот армию отслужу, пойду в техникум, после техникума в институт. Инженером, бабка, буду.

Ему вдруг стало так грустно, что захотелось плакать. И говорил он все это таким тоном, как будто к трудному и тернистому пути инженера его приговорили, и приговор обжалованию не подлежит.

Людмила, сидевшая рядом с Алтынником, на эти его слова реагировала самым неожиданным образом. Она вдруг встала, покраснела и изо всей силы грохнула вилку об стол. Вилка отскочила, ударилась в оконное стекло, но, не разбив его, провалилась на пол между столом и подоконником.

— Ты чего, Людка? — вскочил Борис.

— Ничего, — сказала она и кинулась в соседнюю комнату.

Борис пошел за ней. Бабка молча вздохнула и стала собирать посуду. Алтынник сидел растерянный. В его мозгу все перемешалось, и он никак не мог понять, что здесь произошло, кого и чем он обидел. Бабка собрала посуду и стала мыть ее возле печки в тазу с теплой водой. За дверью соседней комнаты слышен был глухой голос Бориса, он звучал монотонно-размеренно, но ни одного слова разобрать было нельзя, хотя, правда, Алтынник особенно и не пытался. Потом послышался какой-то странный, тонкий, прерывистый звук, как будто по радио передавали сигнал настройки музыкальных инструментов.

— Ну вас! — махнул рукой Алтынник и уронил голову на стол. Но стоило ему только закрыть глаза, как в ту же секунду он вместе со стулом и со столом начал переворачиваться, он хватался за край стола, рывком поднимал голову — и все становилось на место.

Дверь из соседней комнаты отворилась, вошел Борис. Он сел за стол на свое место, взял рукой из тарелки кусок огурца и начал жевать.

— Чего там такое? — спросил Алтынник, не пото-

му, что это ему было действительно интересно, а просто как будто бы полагалось.

— Чего ж чего? — Борис развел руками. — Обиделась на тебя Людка.

— С чего это вдруг? — удивился Алтынник.

— Не знаю, — Борис пожал плечами. — Тебе лучше знать. Вчерась обещал на ней жениться, а теперь и нос в сторону.

— Кто? Я обещал? — еще больше удивился Иван.

— Я, что ли?

— Вот тебе нá! — Алтынник подпер голову рукой и задумался. Неужто вчера по пьянке что-то такое он ляпнул? Да вроде не может этого быть, и на уме такого у него никогда не было. — Ишь ты, жениться, — бормотал он. — Еще чего! Делать нечего. Да если б я захотел... любая девчонка... У меня на гражданке была восемнадцать лет... Художественной гимнастикой занималась. Очки носила минус три...

Борис молча жевал огурец, не обращая никакого внимания на слова Алтынника, и выбивал пальцами на столе барабанную дробь.

Алтынник посмотрел на него, встал и пошел в соседнюю комнату. Людмила лежала поперек кровати животом вниз и тихонько скулила. Именно этот скулеж и показался Алтыннику похожим на сигнал настройки.

— Э! — Алтынник отодвинул ее ноги в сторону, сел и потряс ее за плечо. Она продолжала скулить на той же ноте.

— Слышь, Людмила, перестань, — дергал ее за плечо Алтынник. — Я это самое... не... не... — язык у него заплетался, — не люблю, когда плачут.

— И-и-и-и-и-и-и, — выла Людмила.

— Вот тоже еще завела свою музыку! — Алтынник в досаде хлопнул себя по колену. — Слышишь, что ли, Людмила? Ну чего плакать? Ведь можно и по-человечески поговорить. Ты говоришь — жениться я на тебе обещался?

Людмила перестала выть и прислушалась.

— А я вот не помню. И не помню, было у нас чего или не было, честное слово. Потому что пьяный был. Ну а по пьяному делу, сама знаешь, мало ли чего можно сказать или сделать. Ведь ты, Людмила, взрослая женщина. Ты старше меня, и намного старше, Людмила. Ты, если правду говорить, по существу мне являешься мать.

Услышав последние слова, Людмила выдала такую высокую ноту, что Алтынник схватился за голову.

— Ой, что же это такое! — закричал он. — Людмила, перестань, я тебя прошу, Людмила. Ну, если я тебе обещал, я готов, Людмила, пожалуйста, хоть сейчас, но и ты войди в мое положение, пожалей меня. Я ведь, Людмила, еще молодой, я хочу учиться, повышать свой кругозор. Зачем тебе губить молодую жизнь? Найди себе какого ни то мужичка, подходящего по твоему возрасту, а я еще к семейной жизни не подготовлен, у меня об этом деле никакого понятия...

Не меняя в своей песне ни одной ноты, Людмила поднялась, села на кровати, спустив ноги на пол, и продолжала выть, широко раскрыв рот и бессмысленно пуча глаза в пространство.

Алтынник отбежал в сторону, прижался к стене. Не смолкая ни на секунду, Людмила стала не спеша отрывать от своей кофточки по кусочку кружева, словно лепестки ромашки: любит, не любит... «С ума сошла!» — похолодел Алтынник. Он выскочил в соседнюю комнату. Борис по-прежнему сидел за столом, но теперь он жевал пирог.

— Борис! — закричал Алтынник.

— Чего? — равнодушно спросил Борис.

— Людмиле плохо. Воды!

— Вон налей, — Борис невозмутимо показал глазами на графин.

У Ивана тряслись руки, и половину воды он пролил мимо стакана. Со стаканом вернулся в горницу. Кружевная кофточка Людмилы за это время уже сильно уменьшилась в размере.

— Людмила, — ласково сказал Иван, — на-ко вот, выпей водички, и все пройдет.

Он схватил одной рукой ее голову, а другой пытался влить в рот воду, но оттого, что дрожали руки, только бил ее стаканом по зубам, а вода лилась ей на грудь.

Резким движением она вышибла стакан из его руки, стакан ударился о спинку кровати и вдребезги разбился.

— И-и-и-и-ии!

Терпение Алтынника кончилось. Он выбежал за дверь.

— Всѐ! — закричал он Борису. — Уезжаю. К чертовой матери! Где мой чемодан?

— Где его чемодан? — спросил Борис у матери, под-

метавшей пол тем самым веником, который ночью Алтынник использовал вместо подушки.

— Там, — сказала старуха, махнув веником в сторону двери.

— Там, — повторил Борис.

Алтынник подошел к двери, но у порога остановился. Звук, доносившийся из горницы, вызвал у него дрожь в коленях.

— Борис! — взмолился Иван. — Скажи ей, что я согласный. Что я на ей женюсь прямо сейчас. Как говорится, предлагаю ей руку и сердце. Руку и сердце, — повторил он и засмеялся: эта фраза показалась ему смешной.

И у него вдруг все поплыло перед глазами, закружилось в бешеном темпе, он еле дошел до стула, уронил на стол голову и тут же уснул.

12

— Эй, вставай, что ли!

Кто-то тряс Алтынника за плечо.

С трудом разлепив веки, он увидел перед собой Бориса.

— Вставай, Ваня, пойдем, — ласково сказал Борис.

— Куда? — не понял Алтынник.

— Да в поссовет же.

— Зачем?

— Забыл, что ли? — Борис сочувственно улыбнулся.

Алтынник потер виски и увидел Людмилу. Людмила красила губы перед зеркалом, которое держала старуха. Лицо Людмилы было густо напудрено, особенно под глазами, но следы недавней истерики оставались. Пока Алтынник спал, она еще раз переделалась. Теперь на ней был синий костюм и новая белая блузка под жакеткой, встретишь на улице, подумаешь — из райкома.

Алтынник мучительно пытался и не мог никак вспомнить, куда он собирался идти с этими людьми и какое отношение к нему, военному человеку, имеет их поссовет.

— Пойдем, что ли, — нетерпеливо сказал Борис.

— Пойдем.

Ничего не вспомнив (но раз говорят, значит, нужно), Алтынник встал и, сильно шатаясь из стороны в сторону, пошел к выходу.

— Погоди, — остановил его Борис. — Шинелку надень. Ишь, разбежался. На улице-то, чай, не лето.

Борис подал шинель, и Алтынник долго тыкал руками куда-то, где должны были быть рукава, и все никак не мог попасть. Наконец все обошлось.

— Вот так, — говорил Борис, застегивая на Иване шинель. — Вот застегнем все крючки, теперь ремешек наденем, пилоточку поправим — на два пальца от левого уха. Людмила, поддержи-ка его пока, чтоб не упал. — И, пока Людмила поддерживала, отошел на два шага, оглядел Алтынника критическим взглядом и был удовлетворен полностью. — Ну, теперь полный порядок, хоть на парад на Красную площадь. На параде на Красной площади не был?

— Нет, — сказал Алтынник.

— Будешь, — пообещал Борис.

Вышли на улицу. Борис шел впереди и играл на гармошке, Алтынник в двух шагах держал взглядом спину Бориса и все время водил головой, потому что ему казалось — спина у Бориса куда-то уплывает и он боялся сбиться с дороги. За Алтынником шла Людмила, покрасневшая от вина и от слез и возбужденная предстоящим событием.

То и дело к дороге выходили какие-то люди. Выползали старухи, черные как жуки. Никогда Алтынник не видел одновременно столько старух. Они смотрели на процессию с таким удивлением, как будто по улице вели не Алтынника, а медведя.

— Милок, — спросила Бориса одна старуха, — куды ж это вы его, болезного, ведете?

— Куды надо, — растягивая гармошку, ответил Борис.

Дошли до какой-то избы. Здесь Борис дал Людмиле подержать гармошку, а сам прошел внутрь. Вскоре он вернулся с какой-то девушкой. На ней была новая телогрейка и клетчатая шаль, похожая на одеяло.

— А он согласный? — кинула девушка беглый взгляд на Алтынника.

— А как же, Катя, — заверил Борис. — Чай, не жулики мы какие, сама знаешь. Всю жизнь по соседству живем. Сам приехал, говорит, руку и сердце... Скажи, Ваня.

— Сердце? — переспросил Алтынник. — А чего

сердце? — И вдруг запел: — «Сердце, тебе не хочется покоя...»

— Ну пойдёмте, — сказала Катя.

Дошли ещё до какой-то избы. На ней была вывеска. Пока Катя притопывала от холода и гремела ключами, открывая замок, Алтынник пытался и не мог прочесть вывеску. Буквы прыгали перед глазами, никак не желая соединиться в слова. Тогда он попытался с конца и прочел: «...путатов трудящихся».

— Что такое «путатов»? — громко спросил он у Людмилы.

— Заходи, — сказал Борис, пропуская его вперед.

Пропустив затем и Людмилу, Борис вошел сам и закрыл за собой дверь.

Небольшое холодное помещение было загромождено двумя письменными столами, железным сейфом, закрывавшим половину окна, и рядом сколоченных между собой стульев — вдоль боковой стены.

— Это что здесь, милиция? — спросил Алтынник.

— Милиция, — сказал Борис и, слегка надавив ему на плечи, усадил на крайний стул возле двери.

Людмила стояла возле стола и — то ли от холода, то ли от возбуждения — мелко постукивала зубами.

Девушка открыла сейф, вынула и положила на стол толстую книгу типа бухгалтерской и какие-то бланки. Потыкала ручкой чернильницу, но чернила замерзли.

— На, Катя, — Борис протянул ей свою авторучку.

— Где у него служебная книжка? — спросила Катя.

— Ваня, где у тебя служебная книжка? — ласково спросила Людмила.

Алтынник открыл один глаз:

— Какая книжка?

— Служебная. Ты ж ее вынимал. Борис, не помнишь, куда он ее положил?

— Должна быть в правом кармане, — подумав, рассудил Борис. — В левом — партийный или комсомольский билет, в правом — служебный документ.

Он подошел к Ивану, расстегнул правый карман, и книжка очутилась на столе перед Катей.

Катя долго дула на замерзший прямоугольный штамп, потом приложила его к книжке и с силой придавила двумя руками.

В этот момент Алтынник на миг протрезвел и понял,

что происходит что-то непоправимое, какое-то ужасное шарлатанство.

— Э-э! Э! — закричал он и захотел подняться, но только оторвался от стула, как почувствовал, что пол под его ногами стал подниматься к потолку и одновременно переворачиваться. Алтынник быстро ухватился за спинку стула, сел и махнул рукой. И он не помнил, как подносили ему бумагу, вложили в пальцы авторучку и водили его рукой...

13

Потом справляли свадьбу — не свадьбу, но что-то похожее было. Был стол, выдвинутый на середину комнаты, были какие-то гости. Пили «Кубанскую», красное и разбавленный самогон. Алтынник сидел во главе стола рядом с Людмилой, и гости кричали «горько». Он послушно поднимался и подставлял губы невесте, хотя и было противно.

Борис играл на гармошке. Толстая, лет сорока пяти баба плясала и дергала за веревку спрятанную под юбкой палку и выкрикивала частушки похабного содержания. Потом какой-то парень, дружок Бориса, в косынке и переднике изображал невесту. Гости смеялись.

Мать Людмилы хлопотала у стола, следя, чтобы всем всего хватило и чтобы никто не взял ничего лишнего.

Потом Людмила плясала с Борисом, и на гармошке играл парень в косынке.

Рядом с Алтынником на месте Людмилы сидел пожилой человек в старом военном кителе без погон. Это был местный учитель, и его имя-отчество было Орфей Степанович.

— Я, Ваня, тоже служил в армии. — Он придвинулся к уху Алтынника. — До войны еще служил. Да. Людей расстреливали. Мне, правда, — он вздохнул, — не пришлось.

— А чего ж так? — удивился Алтынник.

— По здоровью не прошел, — Орфей Степанович развел руками. — А у меня, Ваня, дочь тоже замужем за майором. В Германии служит. Вот китель мне подарил. А с женой я развелся. Ушла она от меня, потому что я пьяница. Суд был, — сказал он уважительно.

— А трудно разводиться? — поинтересовался Алтынник.

— Ерунда, — сказал Орфей Степанович и уронил голову в тарелку с салатом.

Потом Алтынник каким-то образом очутился на огороде за баней, и его рвало на белом, как сахар, снегу. Черная облезлая собака тут же все подбирала, и Алтынник никак не мог понять, откуда взялась эта собака.

Потом появилась откуда-то Людмила. Протянув руку Алтынника через свое плечо, она пыталась его сдвинуть с места и ласково говорила, как маленькому:

— Тебе нехорошо, Ваня. Пойдем домой, постелим постельку, ляжешь спатки. Тебе завтра рано вставать.

— Уйди! — Он мотал головой и хватался за живот. Его еще мучили спазмы, но рвать уже было нечем, а собака, не зная этого, отбежав на два шага, виляла хвостом и голодными глазами с надеждой смотрела Алтыннику в рот.

— Пошла вон! — топнула ногой Людмила.

Собака отбежала еще на шаг и теперь виляла хвостом с безопасного расстояния.

Потом Людмила тащила его на себе через весь огород, а он вяло перебирал ногами. На крыльце он все-таки задержался. На улице вдоль забора стояли и смотрели на него, Алтынника, черные, похожие на ту собаку за баней, старухи. Они заискивающе улыбались, надеясь, что если и не пригласят, то по крайности, может быть, вынесут угощение. Не потому, что были голодные, а ради праздника.

На крыльце Алтынник оттолкнул от себя Людмилу.

— Эй, бабки! — закричал он, делая руками какие-то непонятные круговые движения. — Валите все сюда! Гулять будем! Алтынник женится!

Он попытался изобразить что-то вроде ритуального индейского танца, но потерял равновесие и чуть не свалился с крыльца, спасибо, Людмила вовремя подхватила.

Старухи дружно загомонили и тут же повалили в калитку, словно прорвали запруду.

— Да куды ж вы, окаянные, лезете! — закричала Людмила, подпирая Алтынника плечом и подталкивая к двери. — Стыда на вас нету!

— Хозяин приглашает, — округляя «о» в слове «хозяин» и ставя ногу на крыльцо, упорствовала возглав-

лявшая шестивие маленькая старуха с выдвинутым вперед подбородком.

— Хозяин, хозяин, — прездразнила Людмила. — Хозяин-то вон на ногах не стоит, а вам лишь бы попить да пожрать на чужой счет, бессовестные!

Она втокнула Алтынника в сени и захлопнула дверь перед самым носом маленькой старухи, и за дверью слышен был еще глухой недовольный гомон.

В комнату Алтынник вполз чуть ли не на карачках. Из круговорота множества лиц, сливающихся в одно, выплыл со стаканом в руке Орфей Степанович.

— Выпей, Ваня, винца, полечает, — говорил он, тыча стаканом Алтынника в нос.

От одного только вида водки Алтынника перекосило всего, он зарычал по-звериному и отчаянно замотал головой.

— Уйди, ненормальный! Уйди! — закричала Людмила учителю и ткнула в лицо ему маленьким своим кулачком. Из носа Орфея Степановича хлынула кровь и потекла на китель. Орфей Степанович неестественно задрал голову вверх и пошел как слепой к столу, в вытянутой руке держа перед собой стакан.

Появились Борис и Вадик. Вдвоем подхватили они Алтынника под руки, втащили в соседнюю комнату. Людмила забежала вперед, сдернула с кровати одеяло, и Алтынник повалился в пуховую перину, как в преисподнюю. Последнее, что он помнил, это как кто-то стаскивал с него сапоги.

14

Не успел он заснуть, как его разбудили.

— Ваня, вставай. — Над ним стояла Людмила.

Под потолком горела лампочка без абажура. За окном было темно.

— Сейчас утро или вечер? — спросил Алтынник.

— Полвторого ночи, — сказала Людмила. — Скоро поезд.

Он послушно спустил ноги с кровати. Одеваться было трудно. Болела голова, жгло в груди, и дрожали руки. А когда наклонился, чтобы намотать портянку, так замутило, что чуть не упал. Кое-как все же оделся и вышел в другую комнату. Старуха, босая и в нижней рубашке, хлопотала возле стола.

— Позавтракай, Ваня, — сказала она.

На столе стояла сковородка с яичницей, пироги, полбутылки водки.

Алтынника передернуло.

— Что ты, бабка, какой там завтрак.

Он встал под рукомойник и нажал затылком штырек. Вода медленно текла по ушам и за шиворот. Потом он отряхнулся, как собака, и вытер лицо поданным ему бабкой полотенцем. Выпил ковшик воды из ведра. Вода была теплая и пахла железом. И от нее как будто он снова слегка захмелел. Повесил ковшик на ведро и долго стоял, бессмысленно глядя на стену перед собой.

— Пойдем, Ваня, — тронула его за рукав Людмила.

Он надел шинель, нахлобучил пилотку, тронул рукой — звездочка оказалась сзади, но поправлять не хотелось, каждое движение давалось с трудом. Взял чемодан. Бабка сунула ему узелок из старой, но чистой кофты.

— Чего это? — спросил он.

— Пироги с грибами. — Бабка заискивающе улыбнулась.

— Ой, бабка, — скривился Алтынник, — на кой мне эти ваши пироги?

— Ничего, ничего, в дороге покушаешь, — сказала Людмила. Она взяла у бабки узел и отворила дверь.

Алтынник помотал головой, протянул бабке руку.

— До свиданья, бабка. — И первым вышел на улицу.

На улице потеплело и стоял густой липкий туман. Иван шел впереди, ноги расползались в отмерзшей под снегом глине, он осторожно переставлял их, думая только о том, чтобы не упасть — потом не встанешь.

Людмила сзади старалась ступать след в след.

На станции Людмила едва успела сбегать к кассирше прокомпостировать билет — подошел поезд. Алтынник поднялся в тамбур, встал рядом с проводницей у открытой двери.

— Возьми пироги, — Людмила подала ему узел.

Он вздохнул, но взял.

Людмила стояла внизу, маленькая, жалкая и, держась за поручень, смотрела на Ивана преданными глазами. Он молчал, переминался с ноги на ногу, ожидая, когда дадут отправление.

Дежурный ударил в колокол. Зашипели тормоза, по-

езд тронулся. Людмила, держась за поручень, осторожно, боясь поскользнуться, пошла рядом.

— Уж ты, Ваня, не забывай, пиши почаще, — сказала она, — а то мы с мамой будем волноваться. А если что будет нужно из еды либо одежды, тоже пиши.

Алтынник поколебался — сказать, не сказать. Потом решил: была не была, наклонился и прокричал:

— Ты меня, Людмила, не жди! На том, что вы со мной сделали, я ставлю крест и больше к тебе не вернусь.

— Ах! — только успела раскрыть рот Людмила, но тут же ей пришлось отцепиться — поезд убыстрял ход.

15

Прошло, может быть, месяца три с тех пор, как Алтынник с тяжелой головой покинул станцию Кирзавод, выполнил свое командировочное задание и вернулся в родную часть. О том, что с ним за это время произошло, Алтынник никому не рассказывал, и никто не заметил в нем никаких перемен, кроме, пожалуй, Казика Иванова, который обратил внимание на то, что Алтынник совершенно перестал писать письма, но сам Казик никакого значения своему открытию не придал.

Письма от заочниц Алтыннику еще поступали. Некоторые от просматривал, другие выбрасывал не читая. Не писал он, конечно, и Людмиле, и она тоже молчала.

На октябрьские праздники демобилизовались последние однополчане, кому вышел срок в этом году. Теперь Алтынник стал самым старослужащим, вышел, как говорят, на последнюю прямую. Последний год стал он тяготиться службой, надоело, считал дни, а дней оставалось неизвестно сколько, могут отпустить пораньше, а могут и задержать. Работу на аэродроме последнее время он избегал, все время старался попасть в наряд — дежурным по летной столовой, по штабу или, в худшем случае, по эскадрилье. Так и кантовался он — лишь бы день до вечера, сутки в наряде, сутки свободен и снова в наряд.

О женитьбе своей среди хлопот армейской жизни он иногда забывал, иногда она казалась ему просто кошмарным сном. Но убедиться в том, что это ему не приснилось, было совсем нетрудно, стоило только достать

из кармана служебную книжку и открыть на странице «особые отметки».

Конечно, можно было протестовать против незаконного заключения брака, но Алтынник не верил, что жалобами можно чего-либо достичь. Как бы не было еще хуже, потому что он трижды и грубейшим образом нарушил армейские законы. Во-первых, сутки фактически пробыл в самоволке, а самовольная отлучка свыше двух часов считается дезертирством. Во-вторых, напился пьяный, что тоже запрещено. И в-третьих, женился без разрешения командира части.

Пытался он свести штамп вареным яйцом — не получилось, думал залить чернилами — побоялся, что посадят за подделку документов.

Оставалось ему ждать, что рано или поздно обман раскроется или что доживет он как-нибудь до демобилизации, а там сменит служебную книжку на чистый паспорт — и прощайте, Людмила Ивановна.

16

Однажды, вскоре после Нового года, был он в наряде дежурным по эскадрилье. Был понедельник, вегетарианский день (солдаты называют его итальянский) и день политзанятий. После завтрака эскадрилью построили и увели в клуб смотреть тематический кинофильм «Защита от ядерного нападения». Двух дневальных после уборки старшина де Голль увел на склад ОВС получать белье для бани. Алтынник еще раз обошел все комнаты казармы, проверил заправку постелей, поправил сложенные треугольником полотенца и вышел в коридор. Дневальный Пидоненко возле входа в казарму сидел верхом на тумбочке и ковырял ее вынутым из ножен кинжалом.

— Пидоненко, — сказал ему Алтынник, — смотри, Ишты-Шмишты должен зайти, попутает, что сидишь, двое суток влепит без разговоров.

— Не бойсь, не влепит, — сказал Пидоненко. — Приказ командира дивизии — техсостав не сажать.

— Это летом, — возразил Алтынник, — когда много полетов. А сейчас полетов нет, кому ты нужен.

Однако настаивать он не стал, да и Пидоненко его

не очень-то бы послушал. В авиации и офицеров не больно боятся, а о младшем сержанте и говорить нечего.

Алтынник ушел к себе в комнату и, расстегнув верхний крючок шинели, прилег на свою койку на нижнем ярусе, шапку сдвинул на лоб, а ноги в сапогах пристроил на табуретку. В казарме было жарко натоплено, клонило в сон. Но только он закрыл глаза, как в коридоре раздался зычный голос Пидоненко:

— Эскадрилья, встать! Смирно! Дежурный, на выход!

Трахнувшись головой о верхнюю койку, Алтынник вскочил, быстро поправил постель, шапку, застегнул крючок шинели и, опрокинув табуретку, выскочил в коридор.

Пидоненко по-прежнему сидел верхом на тумбочке, болтал ногами, и лицо его выражало полное удовлетворение, оттого что так ловко удалось провести дежурного.

— Дурак, и не лечишься, — сказал Алтынник и покрутил у виска пальцем. Он хотел вернуться в казарму, но Пидоненко его окликнул:

— Алтынник!

— Чего? — Алтынник смотрел на него подозрительно, ожидая подвоха.

— Тебе Казик письмо принес.

— Ну давай заливай дальше.

— Не веришь, не надо. — Пидоненко вытащил из-под себя мятый конверт, стал вслух разбирать обратный адрес: — Станция... не пойму. Пивзавод, что ли?

— Дай сюда! — кинулся к нему Алтынник.

Если б он просто сказал, равнодушно, Пидоненко бы отдал. А тут ему захотелось подразнить дежурного, он соскочил с тумбочки, отбежал в сторону.

— Нет, нет, ты сперва спляши. Кто это? «Алтынник, — прочел он. — Л. И.». Жена, что ли?

— Дай, тебе говорят! — Расставив руки, Алтынник пошел на него. Началась беготня. Опрокинули тумбочку. В конце концов договорились, что Пидоненко отдаст письмо за четыре (по числу углов на конверте) удара по носу. С красным носом, выступившей слезой и конвертом в руках Алтынник вернулся в свою комнату и у окна дрожащими от волнения руками вскрыл письмо.

«Привет со станции Кирзавод!!!

Здравствуй, дорогой и любимый супруг Ваня, с приветом к вам ваша супруга Людмила, добрый день или вечер!

Настоящим сообщаю, что мы живы и здоровы, чего и вам желаем в вашей молодой и цветущей жизни, а также в трудностях и лишениях воинской службы.

У нас, Ваня, все хорошо. Учитель Орфей Степанович, которого видели вы на нашей свадьбе, в нетрезвом виде попал под поезд, в виду чего на похороны приехала его дочь Валентина из Германской Демократической Республики. Она плакала и убивалась. На Октябрьские зарезали кабана, так что теперь живем с салом и мясом, одно только горе, что вы живете не по близости и ничего нам не пишете вот уже целых три месяца. Мама все спрашивает, когда конец вашей армейской службе, а Вадик мне говорит: мама, можно я дядю Ваню буду называть папа? А вы как думаете, а????!

О себе кончаю.

Погоды у нас стоят холодные, много снега. Старики говорят, что урожай будет обильный. Борис вступил в партию КПСС, потому что перевели его на должность главным бухгалтером и работа очень ответственная.

К сему остаюсь с приветом ваша любимая супруга Людмила.

P. S. Ваня, при ежайте скорее, мама на пекла пирогов с грибами, они вас до жидаются».

Не желая откладывать этого дела, Алтынник тут же примостился на тумбочке и составил ответ:

«Людмила, во первых строках моего маленького послания разрешите сообщить вам, что наш законный брак считаю я недействительным, потому что вы с вашим братом Борисом (а еще коммунист!) обманули меня по пьяному делу, ввиду чего я считаю брак недействительным и прошу больше меня не беспокоить.

С приветом не ваш
Иван.

P. S. А насчет пирогов, кушайте их сами».

Фамилию адресата написал он не Алтынник, а Сырова.

Письмо это он отдал Казику Иванову, но попросил при этом отправить его через гражданскую почту доплатным.

После этого затаился и стал ждать возможных неприятностей. И через две недели получил новое письмо. Людмила писала так, как будто ничего не случилось:

«Ваня, ваше письмо по лучили, большое спасибо. У нас все по-старому. Мама не много болели верхним катаром дыхательных путей, теперь поправились. Соседа нашего Юрку Крынина ударило током, когда он по чинял телевизор. Наши мужики за копали его в землю, а надо было делать искусственное дыхание рот в рот, в результате чего летальный исход не избежен.

Ваня, я хочу сообщить вам огромную радость, которая переполняет всю мою душу и сердце. У нас будет... ребенок!!! Как вы на это смотрите, а???»

Алтынник на это посмотрел так, что в глазах у него потемнело. В своем ответе он написал:

«Людмила, вы эти свои шутки бросьте, потому что мы были с вами только один раз и то еще не известно. Отчего вы должны были предохраняться, если на себя не надеялись. Тем более, что с незнакомым мужчиной, с которым до этого не были лично знакомы, а знакомство было на основании взаимной переписки, куда вы подложили фото, где вы снимались до Революции. А если у вас будет ребенок, то он будет не мой, что может показать судебная экспертиза, вы являетесь Медиком по здоровью населения и должны это хорошо себе знать и зарубить на своем носу. А от пирогов ваших меня давно тошнит, к чему и остаюсь не ваш Иван».

Это письмо он также отправил доплатным. Несмотря на это, она продолжала регулярно писать, аккуратно отделяя приставки от остальных частей слова и сообщая Алтыннику станционные новости, с кем что случилось. И даже когда Алтынник перестал отвечать на ее письма и перестал их читать и, не читая, вкладывал в конверт и отправлял доплатным, Людмила не отчаялась, не опустила руки, а продолжала писать с завидной настойчивостью. 23 февраля получил Алтынник от нее поздравительную телеграмму, а на 1 мая пришла посылка, которую он получать отказался и не заинтересовался, что в ней находится, но думал, что там пироги с грибами, и, наверно, не ошибся.

Летом полк переехал в лагерь в деревню Граково.

Сезон начался с лётных происшествий. Один летчик заблудился в воздухе, израсходовал керосин и сел в чистом поле за сорок километров от аэродрома с убранными шасси.

Самолет списали.

Другой летчик сломал на посадке переднюю ногу шасси, выворотил пушки, одна из которых пробила керосиновый бак. Когда взломали заклинивший фонарь кабины, летчик сидел по горло в керосине, хорошо, что еще не загорелся.

Для расследования происшествий приезжала высокая комиссия во главе с генералом. Целыми днями генерал в длинных синих трусах лазил с бреднем по местной речке Граковке, а по ночам играл в преферанс со старшими офицерами. Проиграл, говорят, четыре рубля.

Что касается происшествий, то по ним комиссия составила заключение, что виной всему слабая воинская дисциплина. За то, что летчики не умеют летать, досталось больше всего, конечно, срочной службе. Рядовой и сержантский состав лишили на месяц увольнений. Правда, ходить все равно было некуда: в деревне одни старухи, а несколько молодых девчонок, которые там еще оставались, все работали в части поварами и официантками в летной столовой. Официантки солдатами и сержантами пренебрегали, летом им хватало и офицеров.

Но километрах в трех от деревни была станция — тоже Граково, и совхоз «Граково». Там у Алтынника была знакомая девушка по имени Нина. Ей было семнадцать лет, и она училась в десятом классе. У Алтынника были на Нину серьезные виды, и он нетерпеливо ждал, когда кончится этот проклятый месяц и можно будет вырваться в увольнение.

И вот наконец этот день настал. В субботу после полетов семь человек выстроились на линейке перед палатками. Старшина де Голль, заложив руки за спину, прошел перед строем, проверяя чистоту подворотничков, блеск пуговиц и сапог. Остановился напротив Алтынника и долго его разглядывал. Алтынник весь напрягся: сейчас старшина к чему-нибудь придерется.

— Алтынник, — сказал старшина, — комэска тебя вызывает.

— Зачем? — удивился Алтынник.

— Раз вызывает, значит, нужно.

Майора Ишты-Шмишты нашел он в беседке напротив штаба, где у летчиков бывал разбор полетов, а у механиков политзанятия. На восьмигранном столике перед майором лежали шлемофон с очками, планшет и толстый журнал, куда майор, высунув от напряжения язык, записывал сведения о последнем летном дне.

Если бы Алтынник встретил майора на улице в гражданском костюме, он никогда не поверил бы, что этот тучный, обрюзгший, с бабьим лицом человек летает на реактивном истребителе и считается одним из лучших летчиков во всей дивизии. Впрочем, многие считали майора дураком, потому что он ездил на велосипеде, в отличие от других летчиков, имевших автомобили.

Отпечатав, как положено, три последних шага строевым, Алтынник вытянулся перед майором и кинул ладонь к пилотке.

— Товарищ майор, младший сержант Алтынник по вашему приказанию прибыл.

На секунду оторвавшись от журнала, майор поднял глаза на Алтынника и покачал головой.

— Ишь ты, шмиш ты, надраился, как самовар. В увольнение собираешься?

— Так точно, товарищ майор! — рявкнул Алтынник.

— Пьянствовать думаешь? — майор склонился над журналом.

— Никак нет!

— А может быть, у тебя свидание с девушкой?

— Так точно! — Алтынник интимно улыбнулся в том смысле, что, дескать, мы, мужчины, можем понять друг друга. Но майор этой улыбки не видел, потому что писал.

— Так-так. — Майор перевернул страницу и стал строчить дальше. — А служебная книжка у тебя с собой?

— Так точно! — механически прокричал Алтынник и тут почувствовал, как сердце в груди заныло. Он понял, что то, чего он долго боялся, пришло.

— Положи сюда, — свободной левой рукой майор хлопнул по столу, показывая, куда именно Алтынник должен положить служебную книжку. При этом, не поднимая головы, он продолжал писать.

Алтынник расстегнул правый карман, нащупал твердую обложку документа, но вынимать медлил, как будто мог думать, что майор забудет.

— Давай, давай, — сказал майор и, не глядя на Алтынника, протянул руку.

Замирая от страха и от предчувствия беды, Алтынник положил книжку на край стола. Майор сгреб и подвинул ее к себе. Продолжая что-то писать в журнале, он одновременно перелистывал страницы книжки и перебрасывал взгляд с одного на другое, так что Алтынник, как ни был напуган предстоящим, а удивился: здорово это у него получается, и тут и там успевает. Так, перелистывая служебную книжку, майор дошел до того места, где стоял злополучный штамп. Майор глянул на штамп, дописал еще какую-то фразу, поставил точку, отодвинул в сторону журнал вместе с планшетом и шлемофоном и придвинул к себе служебную книжку.

— Ишь ты, шмиш ты, — удивленно сказал он, разглядывая книжку как-то сбоку. — «Зарегистрирован брак с Сыровой Людмилой Ивановной». Что это такое? — он отодвинулся от книжки и тыкал пальцем в штамп с такой брезгливостью, словно это был какой-нибудь клоп или таракан.

Не зная, что сказать, Алтынник молчал.

— Я вас спрашиваю, что это такое? — майор грохнул кулаком по столу так, что планшет с шлемофоном подпрыгнули.

Алтынник не реагировал.

— Алтынник! — распалялся майор. — Я вас русским языком спрашиваю, где вы нашли эту Людмилу Сырову? Кто вам давал право жениться без разрешения командира полка?

И тут Алтынник почувствовал, как все, что у него накопилось за это время, подступило к горлу комком и вдруг вырвалось каким-то странным и диким звуком, похожим на овечье бляенье.

— Вы что — смеетесь? — удивился майор.

Но тут же он понял, что Алтынник совсем не смеется, а схватился за столб и колотится в истерике.

— Алтынник, ты что? Что с тобой?

Перепуганный майор подбежал к Алтыннику, схватил за плечи, заглянул в лицо. Алтыннику было стыдно за то, что он так воет, он хотел, но не мог сдержаться.

— Алтынник, — тихо, чуть ли не шепотом сказал

майор, — ну перестань, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Я не хотел тебя обижать. Ну встретил ты там какую-то женщину, полюбил, решили жениться, пожалуйста, никто тебе не мешает. Но ты хоть предупреди, хоть скажи, чтоб я знал. А то вдруг ни с того ни с сего получаю вот эту писульку. — Он достал из планшета лист из тетради в клеточку, и Алтынник, все еще всхлипывая, но уже гораздо спокойнее увидел знакомый почерк: «В виду не устойчивого морального облика моего мужа Алтынника Ивана, прошу не отпускать его в увольнение, что бы из бежать случайного знакомства с женщинами легкого по ведения и сохранить развал семьи, более не желательные по следствия. К сему...» И какая-то закорючка, и в скобках печатными буквами: «Алтынник».

Дочитал Алтынник этот документ до конца, задержал взгляд на подписи и почувствовал, как губы его опять поползли в разные стороны, и он снова заплакал, да так безутешно, как не плакал, может быть, с самого детства.

18

В сентябре отпускали первую очередь демобилизованных. Оказалось их в эскадрилье всего восемь человек, в том числе и Алтынник. Накануне вечером Ишты-Шмишты произнес перед строем торжественную речь и каждому из восьми выдал по грамоте.

Пришел он и утром после завтрака, когда демобилизованные вышли на линейку с чемоданами. Явился в парадной форме, которую за два десятка лет службы носить так и не научился. Ремень на боку, фуражка на ушах. Алтынник, как старший по званию, скомандовал «смирно».

— Вольно, — сказал майор. Прошел перед строем. — Ишь ты, шмиш ты, собрались. Рады небось. Надоело. — Воровато оглянувшись, он сказал шепотом: — Да мне, если честно сказать, самому надоело. Вó! — ребром ладони провел он себе по горлу.

Демобилизованные засмеялись, и вместе со всеми Алтынник, и, может быть, первый раз за все время он понял, что Ишты-Шмишты, в сущности, неплохой мужик и что, как видно, ему, несмотря на то, что он май-

ор, летчик первого класса, получает кучу денег, здесь тоже несладко.

Майор пожал каждому руку, пожелал всего, чего желают в таких случаях. Алтынник скомандовал «налево» и «шагом марш», и демобилизованные пошли к проходной не строем, а так — кучей.

Машину им, конечно, не дали. Вчера, говорят, Ишты-Шмишты поругался из-за этого с командиром полка. А идти до станции предстояло километра три с вещами.

Уже подходя к КПП, встретили Казика Иванова с сумкой. Кинулись в последний раз к нему — нет ли писем.

— Тебе есть, — сказал Казик Алтыннику.

— От кого?

— Из Житомира.

— Возьми его себе, — махнул рукой Алтынник.

— Договорились, — засмеялся Казик и поманил Алтынника в сторону: — Слушай, там тебя на КПП баба какая-то дожидается.

— Какая баба? — насторожился Алтынник.

— Не знаю какая. С ребенком. Говорит: жена.

— Вот... твою мать. — У Алтынника руки опустились. — Ребята, вы идите! — крикнул он остальным. — Я сейчас догоню.

Подумав, он решил двинуться через дальнюю проходную, бывшую в другом конце городка. Но когда вышел за ворота, первый человек, которого он увидел, был Борис. В новом синем костюме, в белой рубашке с галстуком Борис разговаривал с часовым. Увидев Алтынника, Борис заулыбался приветливо и пошел навстречу. Алтынник опустил чемодан на землю.

— Ты чего здесь делаешь? — спросил он хмуро.

— Да это все Людка панику навела, — Борис засмеялся. — Пойди, говорит, там покарауль, а то он, может, не знает, что мы здесь стоим. — Он повернулся в сторону главной проходной и, приложив ко рту ладонь, закричал: — Людка! Давай сюда!

Алтынник растерялся. Что делать? Бежать? Да куда побежишь с чемоданом! Догонят.

А Людмила с белым свертком, перевязанным синей лентой, уже приближалась.

— Не плачь, не плачь, — бормотала она на бегу, встряхивая сверток, — вот он, наш папочка дорогой. Вот он нас ждет. Не плачь. — Она перехватила сверток в ле-

вую руку, а правую, не успел Алтынник опомниться, обвила вокруг его шеи и впиалась в его губы своими. Не резко, но настойчиво отжал он Людмилу от себя, отошел в сторону и рукавом вытер губы.

— Чего это? — спросил он, кивая на сверток.

— «Чего», — хмуро передразнил Борис. — Не «чего», а «кто». Это человек.

— Это твой сынок, Ваня, — подтвердила Людмила. — Петр Иванович Алтынник.

Из свертка послышался какой-то писк, который, по всей вероятности, издал Петр Иванович. Людмила снова стала подбрасывать его и бормотать:

— Ну-ну, не плачь, Петенька, птенчик мой золотой. Твой папка тут, он тебя не бросит.

Алтынник прошелся вокруг чемодана.

— Вот что, Людмила, — сказал он негромко, — ты меня ребенком своим не шаржируй, потому что я не знаю, откуда он у тебя есть, и никакого к нему отношения не имею. Что касается всего остального, то я нашу женитьбу ни за что не считаю, потому что вы завлекли меня обманом в виде нетрезвого состояния.

Он взял свой чемодан и решительно направился в сторону дороги, ведущей на станцию.

— Ой, господи! Ой, несчастье! — запричитала и засемила рядом Людмила. — Обманули! — закричала она неожиданно тонким и противным голосом. — Обманули!

Алтынник прибавил шагу.

— Петенька! — закричала Людмила свертку. — Сыночек! Обманул тебя папка! Бросил! Родной папка! Сиротинушка ты моя горемычная.

Алтынник не выдержал, остановился. Оглянулся на проходную, там уже высыпали и с любопытством смотрели свободные солдаты из караульного помещения.

— Людмила, — сказал он проникновенно. — Я тебя прошу, оставь меня в покое. Ты же знаешь, что я тут ни при чем.

— Да как же — ни при чем? — подошел Борис. — Ведь ребенок весь в тебя, как вылитый. У нас вся деревня, кому ни показывали, говорит: капля воды — Иван. Да ты сам погляди. Людка, не ори, дай-ка сюда ребенка.

Он взял у сестры сверток и развернул сверху. Алтынник невольно скосил глаза. Там лежало что-то крас-

ное, сморщенное, похожее скорее на недозрелый помидор, чем на него, Ивана Алтынника. Но что-то такое, что было выше его, шепнуло ему на ухо: «твой». И сжалось в тоске и зануло сердце. Но сдаться для него сейчас — значило смириться и поставить крест на всем, к чему он стремился.

— Не мой, — сказал Алтынник и облизнул губы.

— Ах, не твой? — вскрикнула Людмила. — Вот тебе! — И Алтынник не успел глазом моргнуть, как сверток очутился в пыли у его ног. — Забери его, гад ненормальный! — закричала Людмила и побежала в сторону станции. — Борис! — позвала она уже издали. — Пойдем отсюда, чего там стоишь?

— Я сейчас, — сказал Борис виновато и сперва нерешительно, а потом бегом кинулся за Людмилой. Догнал ее, остановил, о чем-то они коротко между собой поспорили и пошли, не оглядываясь, дальше.

С чемоданом в руках и с раскрытым ртом Алтынник долго стоял и смотрел им вслед.

— Уа! — послышался у его ног слабый писк. — Уа!

Он поставил чемодан и опустился на колени над свертком. Отвернул угол одеяла. Маленькое красное существо, у которого не было ничего, кроме широко раскрытого рта, закатывалось от невыносимого горя. И казалось непонятным, откуда у него столько силы, чтоб так кричать.

— Эх ты, Петр Иванович! — покачал головой Алтынник. — Ну чего орешь? Никто тебя не бросает. Вот возьму отвезу к матери, к бабке твоей. Ей делать нечего, пусть возится.

19

Солнце приближалось к зениту. Поезд, к которому торопился Алтынник, давно ушел, а он все еще был на полдороге. Жара стояла такая, как будто бы не сентябрь, а середина июля. Сняв ремень и расстегнув все пуговицы гимнастерки, спотыкаясь в пыли, Алтынник шел вперед и ничего не видел от слепящего солнца и пота, заливающего глаза. Все чаще он останавливался, чтобы передохнуть. Во рту было сухо, в груди горело. Чемодан оттягивал правую руку, а сверток левую. Ребенок давно уже выпростал из узла свои маленькие кривые ножки, сучил ими в воздухе и нещадно орал, но-

рвя выскользнуть целиком. Алтынник подбрасывал его, поправляя, и шел дальше.

В какой-то момент он обратил внимание, что ребенок перестал кричать, посмотрел и увидел, что держит его за голову. «Задохнулся», — в ужасе подумал Алтынник, бросил чемодан, стал трясти ребенка двумя руками и приговаривать:

— А-а-а-а-а.

Ребенок очнулся, закричал, и тут же из него потекло, да так много, как будто лопнул большой пузырь. Алтынник и вовсе растерялся, брезгливо положил сверток на траву возле дороги, и сам отошел и сел на стоявший в стороне чемодан. Ребенок продолжал надрываться.

— Кричи, кричи, — сердито сказал Алтынник. — Кричи, хоть разорвись, не подойду.

Он отвернулся. Вокруг была голая степь, и уже далеко чернели искаженные маревом аэродромные постройки. Было пусто. Хоть бы одна машина показалась на пустынной дороге. Алтынник закурил, но в горле и без того першило, а теперь стало совсем противно. Он со злостью отшвырнул от себя папиросу. Вспомнил про ребенка, неохотно повернул к нему голову и обомлел. Большая грязная ворона мелкими шагами ходила вокруг свертка и заглядывала в него, скосив голову набок.

— Кыш ты, проклятая! — кинулся к ней Алтынник.

— Карр! — недовольным скрипучим голосом прокричала ворона и, тяжело взмахнув крыльями, поднялась и полетела к стоявшему вдалеке одинокому дереву.

Ребенок, перед этим притихший, снова заплакал. Алтынник неохотно приблизился, осторожно двумя пальцами развернул одеяло, потом пеленки: увидел, что несчастье больше, чем он ожидал.

Преодолевая брезгливость, стал вытирать ребенка сухим краем пеленки, потом отошел в сторону и бросил ее на траву. Достал из чемодана новые, не разрезанные еще байковые портянки, стал заворачивать в них Петра Ивановича.

— Алтынник! — услышал он сзади, вздрогнул и обернулся.

На дороге с велосипедом в руках стоял майор Ишты-Шмишты. Не отдавая себе отчета в том, что делает, Алтынник вытянулся и встал так, чтобы загородить собой ребенка.

— Твой, что ли? — с сочувствием спросил майор. Положив велосипед на землю, он подошел, заглянул в сверток. — Ну до чего ж похож! — умилился он. — Просто вылитый.

Этим словам Алтынник одновременно и обрадовался и огорчился. А майор уже, как заправская нянька, хлопотал над ребенком.

— Кто же так заворачивает? — сокрушался он. — Это хоть и портянка, но ведь не ногу завертываешь, а ребенка. Вот смотри, как надо. Сперва эту ручку отдельно, потом эту. Теперь ножки.

И действительно, майор, не умевший толком одеть сам себя, упаковал ребенка так плотно и так аккуратно, как будто всю жизнь только этим и занимался.

— Держи! — он протянул сверток Алтыннику, и тот принял его на растопыренные руки.

Так, с растопыренными руками, он стоял перед майором в нелепой позе.

— А где жена? — спросил майор, помолчав.

«Жена!» От этого слова Алтынника покорило. Ему захотелось объяснить майору, что никакая она не жена, и рассказать, как его, пьяного, привели в поселковый Совет и совершили над ним неслыханное мошенничество, но, не найдя в себе таких сил, он только повел головой в сторону станции и сказал:

— Там.

— Ну давай я тебе помогу.

Майор взял чемодан, повесил ручкой на руль, и они пошли рядом дальше.

И тут Алтыннику первый раз за этот несчастный день повезло. Сзади послышался шум мотора. Алтынник и майор оглянулись. По дороге, приближаясь к ним, пылил шестнадцатитонный заправщик. Майор встал посреди дороги и поднял руку. Заправщик остановился. Из кабины с любопытством высунулся солдат, к счастью, не знакомый Алтыннику.

— Браток! — кинулся к нему майор. — Будь друг, подвези товарища.

— Пожалуйста, товарищ майор. — Шофер распахнул дверцу.

— Ну вот, Алтынник, видишь, как хорошо, — обрадовался Ишты-Шмишты. — Давай-ка ребенка, я подержу, а ты полезай в кабину.

Когда Алтынник устроился, майор подал ему чемодан. Шофер выжал сцепление и включил скорость.

— Подожди! — махнул ему рукой майор и влез на подножку. — Алтынник, ты вот что... — он вдруг замялся, подыскивая слова. — Если тебе первое время будет трудно, напиши, может, я смогу как-то помочь, денегат немножко подкину, взаимобразно, конечно. Ты не стесняйся, я зарабатываю хорошо, мне тебе немножко помочь ничего не стоит. Так что пиши. Адрес и фамилию знаешь, а зовут меня Федор Ильич.

Алтынник хотел сказать «спасибо», но язык не повиновался, и опять, как тот раз в беседке, стали дергаться губы.

Майор соскочил с подножки и махнул рукой. Шофер тронул машину.

— Федор Ильич, — сказал он и засмеялся. — Твой командир, что ли? — он скосил глаза на Алтынника.

— Ага, — сказал Алтынник.

— Чудной какой. — Шофер покрутил головой и засмеялся: — Сразу видно, что чокнутый.

Алтынник ничего не ответил и высунулся в окно. Грузный майор сидел на таком хрупком для него велосипеде и старательно нажимал на педали. На Алтынника он не смотрел.

20

Шофер довез Алтынника до самой станции.

— Спасибо, друг, — проникновенно сказал Алтынник, выбираясь с ребенком из кабины.

— Ничего, не стоит. — Шофер подал ему чемодан, посмотрел и опять засмеялся: — Бывай здоров, папаша.

Хлопнул дверцей, поехал дальше.

Людмилу и Бориса Алтынник нашел без труда. Они сидели в привокзальном скверике на траве, закусывали разложенными на газете пирогами и по очереди отхлебывали из открытой бутылки крушон. Алтынник молча сел рядом, а ребенка положил на колени. Брат и сестра встретили его так, как будто ничего не случилось.

— Скушай пирожка, Ваня, — предложил Борис.

— Не хочу, — отказался Иван.

— Кушай, ты же любишь с грибами, — ласково сказала Людмила.

От одного только напоминания про эти грибы он по-

чувствовал легкую тошноту. Он сглотнул слюну и очень спокойно сказал:

— Вот что, Людмила, я решил так. Не хочешь брать ребенка, я оставляю его у себя. Отдам матери, она сейчас на пенсию вышла, пушай побалуется.

Людмила жевала пирог и ничего не ответила, только посмотрела на Бориса.

— Тоже выдумал — матери. — Борис отхлебнул крошону, тыльной стороной ладони вытер губы и стряхнул с пиджака крошки. — Сколько твоей матери годов?

— А на что тебе ее года? — враждебно спросил Алтынник.

— Интересно, — сказал Борис. — Грудью она кормить его сможет?

Алтынник задумался. Насчет груди как-то он не подумал. Людмила, не сдержавшись, прыснула в кулак, и, видимо, крошка попала ей в дыхательное горло. Выпучив глаза, она покраснела, стала задыхаться и кашлять, а Борис колотил ее по спине ладонью. «Может, подавится», — с надеждой подумал Алтынник, но, к сожалению, все обошлось.

Разбуженный шумом, проснулся и заплакал ребенок.

— Дай сюда, — Людмила взяла сына к себе, положила на колени и вынула грудь. Грудь была белая, густо пронизана синими жилками. Вид ее подействовал на Алтынника точно так же, как пироги с грибами, — он отвернулся.

Посидел, помолчал. Потом встал, взял чемодан.

— Ну, ладно, — сказал он, не глядя на своих собеседников. — Не хотите, не надо, я пошел. — И не спеша направился к зданию вокзала.

Но, пройдя шагов десять, услышал он за спиной страшный нечеловеческий крик и оглянулся. С болтающей снаружи грудью и зверским выражением на лице Людмила бежала к нему и выкрикивала какие-то слова, из которых он разобрал только три: «сволочь» и «гад несчастный». Алтынник побежал. Из боковой двери вокзала выскочил милиционер. Алтынник не успел вернуться, милиционер подставил ему ногу, оба растянулись в пыли. Чемодан от удара раскрылся, и из него вывалились на дорогу зимняя шапка, зубная щетка и мыло. Милиционер опомнился первым. Он надел на Алтынника и скрутил за спиной ему правую руку.

— Пусти! — рванулся Алтынник и тут же почувствовал невыносимую боль в локте.

— Не трепыхайся, — сказал милиционер, тяжело дыша. — Хуже будет. Вставай.

Алтынник поднялся и стал стряхивать свободной рукой пыль со щеки.

— Ага, попался! — злорадно закричала Людмила. — Заберите его, товарищ милиционер!

— Что он сделал? — строго спросил милиционер.

— Бросил! — Людмила спрятала грудь и завывала. — С маленьким ребеночком... с грудным...

— А-а, — разочарованно протянул милиционер, явно сожалея о том, что он зря участвовал в этой свалке. — Я-то думал... Это вы сами разбирайтесь.

Отпустив Алтынника, он отряхнул колени и пошел к себе.

Алтынник нагнулся над выпавшими из чемодана вещами.

С ребенком на руках подошел Борис. Нагнувшись, поднял зубную щетку.

— Помыть ее надо, — сказал он.

— Дай сюда! — Алтынник вырвал щетку и бросил в чемодан. Потом долго боролся с замком.

Людмила стояла рядом и тихонько подвывала точно так же, как она это делала у себя на станции в день женитьбы.

— Не вой, — с отвращением сказал Алтынник, — я с тобой все равно жить не буду, и не надейся.

— И правильно сделаешь, — неожиданно поддержал Борис.

Алтынник опешил и посмотрел на него. Людмила завывала сильнее.

— Сказано тебе — не вой, значит, не вой! — закричал на нее Борис. — Возьми ребенка и иди на свое место!

Людмила растерялась, сразу притихла и, взяв ребенка, пошла туда, где перед этим сидела.

— Ссука! — сказал, глядя ей вслед, Борис и смачно сплюнул. — Ваня, — повернулся он к Алтыннику, — давай с тобой поговорим как мужчина с женщиной.

— Давай валяй, — хмуро сказал Алтынник.

— Ваня, я тебя очень прошу, — Борис приложил руку к груди, — поедem с нами.

— Еще чего! — возмутился Алтынник и взялся за

чемодан. — Я думал, ты чего-нибудь новенькое скажешь.

— Нет, ты погоди, — сказал Борис, — ты сперва послушай.

— И слушать не хочу, — сказал Иван и пошел к вокзалу.

— Ну, я тебя прошу, послушай, — Борис забежал вперед. — От того, что я тебе скажу, ты ж ничего не теряешь. Ну, не согласишься — дело твое. Но я тебе как другу советую: ехай с нами. Людка, она ж, видишь, не при своих. Она тебя все равно не отпустит. Она тебе глаза выцарапает.

— Ну да, выцарапает, — усмехнулся Иван. — А вот видал, — он поднес кулак к носу Бориса. — Врежу раз — через голову перевернется.

— Что ты! — замахал руками Борис. — И не вздумай! Хай подымет такой, всю милицию соберет, всю жизнь будешь по тюрьмам скитаться. Я тебе советую, Ваня, от всей души: ехай с нами. Поживешь пару дней для вида, а потом ночью сядешь на поезд — сам тебе чемодан донесу — только тебя и видели.

— Да брось ты дурочку пороть, — сказал Алтынник. — Куда это я поеду и зачем? У меня литер в другую сторону, меня мать ждет. У меня денег столько нет, чтобы тратиться на билеты туда-сюда.

— Насчет билета не беспокойся, — заверил Борис. — Туда тебе билет уже куплен, и оттуда — за мой счет, вот даю тебе честное партийное слово. А насчет матери, так что ж. Отобьешь ей телеграмму два дня еще подождет. Больше ждала. Ведь Людка, я тебе скажу, баба очень хорошая. И грамотная, и чистая. И в обществе себя может держать. А сумасшедшая. Влюбилась в тебя прямо до смерти, и хоть ты ей что хошь, а она долбит свое: «Хочу жить с Иваном, и все». Уж, бывало, и я и мать говорим ей: «Куда ж ты к нему набиваешься? Ведь не хочет он с тобой жить. Разве ж можно так жизнь начинать, если с самого начала никакой любви». — «Нет, — говорит, — я его все одно заставлю — полюбит». Поехали, Ваня. Погуляешь у нас пару деньков, отдохнешь и, как только она чуть-чуть успокоится, садись на поезд и рви обратно.

Алтынник задумался. Скандальить тут, когда могут появиться знакомые солдаты из части, ему не хотелось. Ехать к Людмиле, конечно, опасно, но ведь, в самом де-

ле, удрать он всегда успеет. В крайнем случае бросит чемодан, там ничего особенно ценного нет.

— Ну ладно. — Он перебирал еще в уме варианты, и по всему выходило, что потом ему удрать будет легче, чем сейчас. — Значит, деньги на обратную дорогу точно даешь?

— Ну сколько ж я буду божиться! — даже несколько оскорбился Борис. — Как сказал, так и будет.

— Ну гляди, — на всякий случай, пригрозил Алтынник, — если что, всех вас перережу, под расстрел пойду, а жить с Людкой не буду.

21

Года четыре назад, будучи в командировке, попал я случайно на станцию Кирзавод. Ожидая обещанной мне машины, чтобы ехать в район, сидел я на деревянном крылечке избушки на курьих ножках, которая именовалась вокзалом, курил сигареты «Новость» и думал: где я слышал это название — Кирзавод?

Маленькая площадь перед вокзалом была покрыта асфальтом, а все дороги, которые к ней подходили, — сплошная пыль. Посреди площади — железобетонный постамент памятника кому-то, кого не то недавно снесли, не то, наоборот, собирались поставить. В тени постаменту копошилась рыжая клуша с цыплятами, пушистыми, как одуванчики, а вокруг катались на велосипедах двое мальчишек лет по двенадцати и молодой милиционер в брюках, заправленных в коричневые носки.

Улица, пересекавшая площадь, была пустынна. Один раз проехал по ней маленький экскаватор «Беларусь» с поднятым ковшом, потом пробежал теленок с привязанными к хвосту граблями; а за ним в туче пыли ватага ребят от старшего дошкольного до старшего школьного возраста. Мальчишки, которые катались по площади, устремились на велосипедах туда же, за ними поехал милиционер, но потом раздумал, вернулся на площадь и продолжал трудолюбиво выписывать на велосипеде круги и «восьмерки». Тут на ступеньку рядом со мной опустился какой-то человек, на которого я сначала даже не посмотрел. Видимо, желая завязать разговор, он вздохнул, покашлял и сказал:

— Да-а, жара.

— Угу, — согласился я, подумав, что сейчас он попросит закурить. И действительно.

— Закурить не найдется? — спросил он, считая, что знакомство наше для этого достаточно упрочилось.

— Пожалуйста. — Наблюдая за милиционером, я протянул ему пачку.

— Ух ты, с фильтром! — удивился он. — А две можно?

— Можно.

— Спички я тоже дома забыл, — сказал он, сознавая, что дошел почти до предела. И потянулся ко мне прикурить. Тут я в первый раз взглянул на него и узнал:

— Алтынник!

И конечно, сразу вспомнил, где я слышал это название — Кирзавод.

— Не узнаешь? — спросил я.

— Что-то не признаю, — пробормотал он, вглядываясь в мое лицо.

Я назвал себя.

— А-а. — Он успокоился, но никакого восторга не проявил. — Я у тебя еще сигаретку возьму. На вечер.

— Бери, — сказал я. — Бери все. У меня еще есть.

— А цельной пачки нет?

В чемодане нашлась и «цельная».

Потом мы стояли в чашке, маленьком магазине напротив вокзала. Толстая продавщица в грязном халате налила нам по сто пятьдесят и по кружке пива. Я свою водку выпил отдельно, а Алтынник смешал. Мы стояли возле окна, привокзальная площадь была перед моими глазами, и пропустить машину я не боялся.

Толковали о том о сем. Вспоминали свою службу, майора Ишты-Шмишты, старшину де Голля и прочих.

О теперешней его жизни я Алтынника особенно не расспрашивал, но кое-что все же узнал.

Приехав на станцию вместе с Людмилой и Борисом, он задерживаться и не думал, а собирался усыпить бдительность Людмилы и удрать, как наметил, но Людмила была начеку. Днем устраивала такие скандалы, что нечего было даже и пытаться, а ночью просыпалась от каждого шороха. Он все выбирал момент, выбирал, пока она снова не забеременела. Пробовал заставить ее сделать аборт — куда там. И податься теперь вроде бы

некуда. Кто возьмет мужика, у которого треть зарплаты на алименты высчитывают? Да и к первому ребенку за это время привык.

— А сколько у тебя всего? — не удержался я и спросил.

— Трое, — застеснялся Алтынник. — Не считая, конечно, Вадика.

— А Вадик вместе с вами живет?

— Нет, в Ленинграде. Институт кончает железнодорожный, — сказал он не без гордости.

— А кем ты работаешь?

— Кем работаю? — Он помедлил, не хотелось ему говорить. А потом бухнул даже как будто с вызовом: — Сторожем работаю. На переезде. Поезд идет — шлагбаум открываю, ушел — закрываю. Возьми еще по кружке пива, если не жалко.

Только мы сменили на подоконнике кружки, дверь в магазин распахнулась, и на пороге появилась женщина в красном сарафане. Живот под сарафаном у нее выпирал, как футбольный мяч, на лице были характерные пятна, глаза блестели.

— А, вот ты где! — закричала она на Алтынника. — Я так и знала, что ты здесь, гад несчастный, детишкам обуться не во что, а он тут последние копейки пропивает!

Алтынник весь как-то съезжился, как будто стал меньше ростом.

— Да ты что, Людмила, — попробовал он возразить. — Я ж вот товарища встретил. В армии вместе служили. Познакомься.

— Ну да, еще чего не хватало, знакомиться с каждым пьяницей.

— Ну брось ты позориться, Людмила, — упрашивал Алтынник. — Это ж он меня угощает.

— Так я тебе и поверила, — не отступала Людмила. — Да во всем Советском Союзе, кроме тебя, таких дурачков нет, чтоб чужих людей угощали.

— Людмила, правда он платил, — бесстрастно подтвердила толстая продавщица.

— Ты еще тут будешь, сука противная, — повернулась Людмила к ней. — Сама только и знаешь, что на чужих мужьев глаза свои грязные таращишь.

И не успела продавщица ответить, а я опомниться, как Людмила выволокла мужа на улицу, и уже оттуда

слышался ее противный и дикий визг на всю станцию.

Когда я вышел наружу, они были уже далеко. Алтынник, пригнув голову, шел впереди, Людмила левой рукой держала его за шиворот, а маленьким кулачком правой изо всей силы била по голове. По другой стороне улицы на велосипеде медленно ехал милиционер в брюках, заправленных в коричневые носки, и с любопытством наблюдал происходящее.

1968

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Не очень достоверный рассказ
об одной исторической
вечеринке



Этот дом стоял за известным всему миру высоким забором из красного кирпича. В доме было много окон, но одно из них отличалось от всех прочих хотя бы тем, что светилось во всякое время суток. И люди, собираясь по вечерам на широкой площади перед забором, вытягивали шеи, до слез напрягали глаза и взволнованно говорили друг другу:

— Вон, видите, оно светится. Он не спит. Он работает. Он думает о нас.

Любям было лестно, что он думает именно о них, а не о чем-нибудь постороннем.

Если кто-нибудь из провинции ехал в этот город или должен был остановиться проездом, ему наказывали обязательно побывать на той знаменитой площади и посмотреть — горит ли окно. И ошачливленный житель провинции, возвращаясь домой, авторитетно докладывал на закрытых и общих собраниях: да, горит, да, светится и, судя по всему, он действительно не спит и думает о нас.

Конечно, уже и в те времена некоторые люди злоупотребляли доверием своих коллективов: вместо того, чтоб смотреть на окно, мотались по магазинам — где бы чего достать. А по возвращении все рав-



но докладывали: светится, и попробуй скажи, что нет.

Окно, конечно, светилось. Но того, про кого говорили, что он не спит, за тем окном никогда не бывало. Его заменяло гуттаперчевое чучело, сделанное лучшими мастерами, да так искусно, что пока не потрогаешь, ни-почем не поймешь, что оно не живое. Чучело повторяло основные черты оригинала и держало в руке изогнутую трубку английской работы, к которой при помощи специальных устройств подавался в определенном ритме табачный дым.

Что касается его самого, то он трубку курил только на людях, а усы носил накладные. Жил он совсем в другой комнате, в которой не было не то что окон, но даже дверей, а был потайной лаз, через сейф с дверцами на две стороны, стоявший в официальном его кабинете.

Он любил эту комнату, где можно было быть самим собой: не курить трубку, не носить усы и вообще жить просто и скромно, соответственно обстановке, состоявшей из железной кровати с полосатым, набитым соломой матрацем, таза с теплой водой для умывания и старенького патефона с набором пластинок, на которых он собственноручно отмечал: хорошо, посредственно, замечательно, дрянь.

Здесь, в этой комнате, проводил он лучшие часы своей жизни тихо, спокойно; здесь, втайне от всех, жил иногда со старушкой-уборщицей, которая через тот же сейф пролезала к нему по утрам с веником и ведром. Он звал ее к себе, она по-деловому ставила веник в угол, отдавалась, а затем снова продолжала уборку. За многие годы он не обмолвился с ней ни словом и даже не знал толком одна это старушка или каждый раз разные.

Но однажды с ней произошел странный случай: она вдруг стала закатывать глаза и шевелить беззвучно губами. Он испугался и спросил:

— Ты чего?

— Да вот я думаю, — с безмятежной улыбкой сказала старушка. — Плименница ко мне приезжает, братни-на дочка. Угощение надо приготовить, а денег всего три рубля. То ли купить на два рубли пошена, а на рупь масла, то ли на два рубли масла, а на рупь пошена.

Его тогда глубоко тронула эта народная мудрость, и он написал записку на склад, чтобы старухе выдали сколько надо пшена и масла. Старуха, не будь дура, отнесла записку не на склад, а в музей Революции, где

получила такую сумму, что купила под Москвой домик, коровку, ушла с работы и, по слухам, до сих пор возит молоко на Тишинский рынок.

А он, вспоминая тот случай, часто говорил соратникам, что настоящему диалектическому мышлению надо учиться у народа.

Как-то, проводив старушку и оставшись один, он завел патефон и под музыку думал о чем-то великом. И под музыку вспомнилось ему далекое детство в маленьком кавказском городке, вспомнилась мать, простая женщина с морщинистым скорбным лицом, и отец, упорным и каждодневным трудом достигший заметных успехов в сапожном искусстве.

«Сосо, из тебя никогда не выйдет настоящий сапожник. Ты хитришь и экономишь на гвоздях», — говорил, бывало, отец, ударяя его колодкой по голове.

Это все не прошло даром и теперь, в позднем возрасте, его часто мучили жестокие головные боли. Если бы отца воскресить и спросить: разве можно бить ребенка колодкой по голове? Как ему хотелось, как страстно хотелось воскресить отца и спросить...

Но сейчас его волновало другое. До него доходили мрачные слухи, что Адик, с которым он в последнее время крепко подружился, собирается изменить дружбе и перейти границу. Он считал себя самым вероломным человеком на свете и не мог поверить, что есть человек еще вероломнее. Его призывали приготовиться к защите от Адика, он эти призывы расценивал как провокацию и ничего не делал, чтобы не обидеть Адика напрасной подозрительностью. Самый подозрительный человек на земле, в отношениях с Адиком он был доверчив, как дитя.

Все же, чем ближе была самая короткая ночь, тем тревожнее было у него на душе. Боязно было оставаться в ту ночь одному.

Вечером, накануне самой короткой ночи, он надел свой выцветший полувоенный костюм, приладил под носом усы, раскурил трубку и стал тем, кем его знали все, то есть товарищем Кобой. Но прежде, чем выйти в люди, он обратился к большому зеркалу, висевшему на

стене против его кровати. С трубкой в руке мягкой походкой прошел он перед зеркалом туда и сюда, искоса поглядывая на свое отражение. Отражением он остался доволен. Оно передавало некоторую величественность отражаемого объекта, если не вглядываться слишком подробно. Но кто же позволит себе разглядывать товарища Кобу подробно? Усмехнувшись, товарищ Коба кивнул своему отражению и обычным путем, через сейф, пролез к себе в кабинет. Здесь он сел за стол и принял такую позу, словно работал, не отрываясь, целые сутки. Не меняя позы, нажал кнопку звонка. Вошел личный его секретарь товарищ Похлебышев.

— Послушай, дорогой, — сказал ему товарищ Коба, — что ты все ходишь со своими бумажками, как какой-то бюрократ, честное слово. Собери лучше наших ребят, пусть придут после работы, надо как-то отдохнуть, поболтать, повеселиться в дружеском тесном кругу.

Похлебышев вышел и вернулся.

— Все собрались и ждут вас, товарищ Коба.

— Очень хорошо, пускай подождут.

Он уже успел увлечься интереснейшим делом — вырезал из свежего номера «Огонька» портреты передовиков производства, мужские головы приклеивал к женским туловищам и наоборот. Получалась прелюбопытная композиция. Правда, заняла она у него довольно много времени.

Наконец он появился в той комнате, где его ожидали. На столе в три ряда стояли бутылки «Московской», «Боржоми» и сухого вина «Циндалли». Закуски тоже хватало. Ребята, во избежание путаницы, занимали за столом свои места в алфавитном порядке: Леонтий Ария, Никола Борщов, Ефим Вершилов, Лазер Казанович, Жорж Меренков, Опанас Мирзоян и Мочеслав Молоков. При появлении Кобы все поднялись из-за стола и приветствовали вошедшего бурными аплодисментами и возгласами: «Да здравствует товарищ Коба!», «Слава товарищу Кобе!», «Товарищу Кобе ура!»

Товарищ Коба обежал глазами лица ребят и удивился, заметив свободное место между Вершиловым и Казановичем.

— А где же наш верный соратник товарищ Жбанов? — поинтересовался он.

Похлебышев выступил из-за его спины и доложил: — Товарищ Жбанов просил разрешения задержаться. Его жена умирает в больнице, ей хочется, чтобы последние минуты он побыл рядом с ней.

Товарищ Коба нахмурился. По лицу его пробежала легкая тень.

— Интересное получается положение, — сказал он, не скрывая горькой иронии, — мы здесь собрались, ждем, а ему, видите ли, женский каприз дороже внимания товарищей. Ну что ж, подождем еще.

Сокрушенно покачав головой, он вышел и вернулся к себе в кабинет. Заниматься было вроде бы нечем, все картинки из «Огонька» он вырезал, остался только кроссворд. Он сунул кроссворд Похлебышеву.

— Ты читай, а я буду отгадывать. Что там у нас по горизонтали?

— «Первая грузинская нелегальная газета», — прочел Похлебышев и сам же закрычал: — «Брдзола!» «Брдзола!»

— Что ты мне подсказываешь? — рассердился Коба. — Я и сам мог бы угадать, если б подумал. Ну ладно, теперь читай по вертикали.

— «Крупнейшее доисторическое животное», — прочел Похлебышев.

— Это очень просто, — сказал товарищ Коба. — Самое крупное животное — слон. Почему не пишешь «слон»?

— Не подходит, товарищ Коба, — робея, сказал секретарь.

— Не подходит? Ах да, доисторическое. Тогда пиши «мамонт».

Похлебышев склонился над кроссвордом, потыкал острием в клетки, поднял на товарища Кобу отчаянные глаза.

— Опять не подходит? — удивился Коба. — Да что же это такое? Разве может быть животное крупнее, чем мамонт? Дай-ка сюда. — Посасывая трубку, смотрел, считал, размышлял вслух. — Десять букв. Первая буква «бэ». Может быть, бармалей, нет? Нет. Баран, бурундук — все это довольно мелкие животные, как я понимаю. А что, если позвонить нам нашим видным ученым-биологам? Что нам гадать, пусть ответят научно: было животное на «бэ» крупнее, чем мамонт или же не было. А если не было, то автору этого кроссворда я не зави-
дую.

Поздно ночью в квартире академика Плешивенко раздался резкий телефонный звонок. Хриплый и властный голос срочно потребовал академика к аппарату.

Сонная жена академика сердито сказала в трубку:

— Товарищ Плешивенко не может подойти к телефону. Он нездоров и спит.

— Разбудить! — последовал короткий приказ.

— Как вы смеете! — возмутилась жена. — Вы знаете, с кем говорите?

— Знаю, — нетерпеливо ответил голос. — Разбудить!

— Но это безобразие! Я буду жаловаться! Я позвоню в милицию!

— Разбудить! — настаивал телефон.

Но академик и сам уже пробудился.

— Троша, — кинулась к нему жена. — Троша, ты слышишь?

Троша недовольно взял трубку и услышал:

— Товарищ Плешивенко? Сейчас с вами будет говорить лично товарищ Коба.

— Товарищ Коба? — Плешивенко словно ветром сдуло с постели. В одних кальсонах, босой, стоял он на холодном полу. Жена со смешанным выражением счастья и ужаса стояла рядом.

— Товарищ Плешивенко, — раздался в трубке знакомый голос с кавказским акцентом, — извините, что звоню вам так поздно...

— Что вы, товарищ Коба, — захлебнулся Плешивенко. — Я так счастлив... Я и моя жена...

— Товарищ Плешивенко, — перебил Коба, — я вам, собственно говоря, звоню по делу. Тут у некоторых наших товарищей родилась довольно-таки смешная и необычная мысль: а что если в целях поднятия производства мяса и молока вернуть в нашу фауну крупнейшее доисторическое животное... черт, никак не могу вспомнить название. Помню, что из десяти букв, на «бэ» начинается.

— Бронтозавр? — подумав, неуверенно спросил Плешивенко.

Коба быстро прикинул на пальцах:

— Бэ, рэ, о, нэ... — прикрыл трубку ладонью и, подмигнув лукаво, шепнул Похлебышеву: — Запиши: «бронтозавр». — И громко сказал в трубку: — Совершенно

верно. Именно бронтозавр. Как вы относитесь к этой идее?

— Товарищ Коба, — растерялся Плешивенко, — это очень смелая и оригинальная идея... То есть я хотел сказать, что это просто...

— Гениально! — очнувшись от оцепенения, ткнула академика кулаком в бок жена. Она не знала точно, о чем идет речь, она знала, что слово «гениально» в таких случаях никогда не бывает лишним.

— Это просто гениально! — решительно заявил академик, тараща глаза в пространство.

— Для меня это просто рабочая гипотеза, — скромно сказал товарищ Коба. — Сидим, работаем, думаем.

— Но это гениальная гипотеза, — смело возразил академик. — Это величественный план преобразования животного мира. Если только вы разрешите нашему институту взяться за разработку хотя бы отдельных аспектов проблемы...

— Мне кажется, об этом еще надо очень крепко подумать. Еще раз извините, что так поздно вам позвонил.

Плешивенко долго стоял с трубкой, прижатой к уху, и, напряженно вслушиваясь в далекие частые гудки, шептал благоговейно, но громко.

— Гений! Гений! Какое счастье, что мне довелось жить с ним в одну эпоху!

Академик не был уверен, что его слушают, но надеялся, что не без этого.

Когда товарищ Коба вернулся в общую комнату, все было в порядке: Антона Жбанова успели доставить и водворить на отведенное место. Леонтий Ария разлил водку в большие фужеры, товарищ Коба провозгласил первый тост:

— Дорогие друзья, — сказал он, — я пригласил вас сюда для того, чтобы в дружеском тесном кругу отметить самую короткую ночь, которая сейчас наступила и самый длинный день, который придет ей на смену...

— Ура! — крикнул Вершилов.

— Не спеши, — поморщился Коба. — Ты всегда спешишь поперед батька в пекло. Я хочу провозгласить тост за то, чтобы все наши ночи были короткие, чтобы все наши дни были длинные...

— Ура! — крикнул Вершилов.

— Тьфу, ты мать твою так! — товарищ Коба, рассердившись, плюнул ему в лицо.

Вершилов смахнул плевков рукавом и ослабился.

— Я также хочу провозгласить тост за самого мудрого нашего деятеля, за самого стойкого революционера, за самого гениального...

Вершилов на всякий случай хотел еще раз крикнуть «ура», зная, что каши маслом не испортишь, но товарищ Коба на этот раз успел плюнуть прямо в открытый для выкрика рот.

— ...за великого нашего практика и теоретика, за товарища... — Коба выдержал многозначительную паузу и четко закончил: — Молокова.

В комнате стало тихо. Меренков переглянулся с Мирзояном, Борщев расстегнул ворот украинской рубахи, Ария хлопнул в ладоши и схватился за задний карман, из которого выпирало что-то угловатое.

В дверях появились и застыли две безмолвные фигуры.

Молоков, бледнея, отставил фужер и, поднявшись на ноги, вцепился в спинку стула, чтоб не упасть.

— Товарищ Коба, — упрекнул он коснеющим языком, — за что? Зря обижаете. Вы же знаете, что я недостоин, что у меня и в мыслях ничего похожего не было. Вся моя скромная деятельность — только отражение ваших великих идей. Я, если можно так выразиться, только рядовой проповедник кобизма, величайшего учения нашей эпохи. Я, если прикажете, готов отдать за вас все, даже жизнь. Это вы самый стойкий революционер, вы — великий практик и теоретик...

— Гений! — провозгласил Ария, поднимая фужер левой рукой, так как правая лежала еще на кармане.

— Замечательный зодчий! — констатировал Меренков.

— Лучший друг армянского народа, — вставил Мирзоян.

— И украинского, — добавил Борщев.

— А ты, Антоша, что же молчишь? — обратился Коба к грустному Жбанову.

— А что говорить мне, товарищ Коба? — возразил Жбанов. — Товарищи очень хорошо осветили вашу разностороннюю роль в истории и в современной жизни. Мы, может быть, еще слишком мало об этом говорим, может быть, слишком стесняемся высоких слов, но ведь

это же все правда, все это действительно так, и сама наша жизнь повседневно дает нам много наглядных примеров того, что кобизм все глубже и глубже проникает в сознание масс и становится поистине путеводной звездой для всего человечества. Но мне, товарищ Коба, хотелось бы здесь, в непринужденной товарищеской обстановке, напомнить еще об одном громадном таланте, которым вы обладаете и о котором с присущей вам скромностью не любите говорить. Я имею в виду ваш литературный талант. Да, товарищи, — возвысив голос, сказал он, обращаясь уже ко всем. — Недавно мне довелось еще раз перечитать старые стихи товарища Кобы, которые он подписывал псевдонимом Соселло. И я должен сказать со всей прямоотой, что стихи эти, как драгоценные жемчужины, могли бы украсить сокровищницу любой национальной литературы, всей мировой литературы, и если бы был жив сейчас Пушкин...

И тут Жбанов заплакал.

— Ура, — крикнул Вершилов, на этот раз тихо и безвозмездно.

Обстановка разрядилась. Леонтий хлопнул в ладоши — две безмолвных фигуры возле дверей испарились. Товарищ Коба смахнул со щеки набежавшую внезапно слезу. Может быть, он не любил, когда ему говорили такие слова. Но еще больше он не любил, когда ему таких слов не говорили.

— Спасибо, дорогие друзья, — сказал он, хотя слезы мешали ему говорить. — Спасибо за то, что вы так высоко цените мои скромные заслуги перед народом. Я лично думаю, что мое учение, которое вы так удачно назвали кобизмом, действительно хорошо не потому, что оно — мое учение, а потому, что оно передовое учение. И вы, дорогие друзья, вложили немало сил для того, чтобы сделать его действительно таковым передовым. Так выпьем же без ложной скромности за кобизм.

— За кобизм! За кобизм! — подхватили товарищи.

Хлопнули по фужеру, потом еще. После четвертого фужера товарищ Коба решил поразвлечься и попросил Борщева сплясать гопака.

— У тебя, хохол, это очень хорошо получается, — поощрил он.

Борщев с места пошел вприсядку, Жбанов аккомпанировал на рояле, остальные прихлопывали в ладоши.

В это время бесшумный помощник принес Жбанову

телеграмму, в которой сообщалось, что жена Жбанова скончалась в больнице. Это сообщение рассердило Жбанова.

— Не мешайте мне, — сказал он помощнику. — Вы же видите, что я занят.

Помощник удалился. Пока еще твердой походкой подошел лично товарищ Коба. Шершавой мужской ладонью погладил он верного соратника по голове.

— Ты настоящий большевик, Антоша, — сказал он проникновенно.

Жбанов поднял на учителя преданные и полные слез глаза.

— Играй, играй, — сказал товарищ Коба. — Из тебя мог бы получиться очень большой музыкант. Но все силы, весь свой талант ты отдаешь нашей партии, нашему народу.

Коба отошел к столу и сел напротив Молокова, Мирзояна и Меренкова, которые о чем-то толковали между собой.

— О чем беседа? — поинтересовался товарищ Коба.

— Мы говорим, — охотно отозвался Молоков, сидевший в центре, — что контракт с Адиком, заключенный по вашей инициативе, был весьма мудрым и своевременным.

Коба нахмурился. В свете поступавших сообщений меньше всего ему хотелось вспоминать об этом проклятом контракте.

— Интересно, — сказал он глядя в упор на Молокова, — интересно мне знать, Моча, почему ты носишь очки?

Снова запахло грозой. Жбанов стал играть несколько тише. Борщев, приседая, поглядывал то на Молокова, то на Кобу. Меренков с Мирзояном на всякий случай отодвинулись, каждый к своему краю стола.

Молоков, белый, как полотно, поднялся на непослушные ноги и, не зная, что сказать, молча смотрел на товарища Кобу.

— Так ты не можешь сказать мне, почему ты носишь очки?

Молоков молчал.

— А я знаю. Я очень хорошо знаю, почему ты носишь очки. Но я тебе этого пока не скажу. Я хочу, чтобы ты сам подумал своей головой и сказал мне правду, почему ты носишь очки.

Погрозив Молокову пальцем, Коба вдруг уронил голову в тарелку с зеленым горошком и тут же заснул.

— Надо ноги размять, — бодро сказал Мирзоян и с независимым видом вылез из-за стола. Вылез и Меренков. Пользуясь бесконтрольностью, Вершилов и Казанович сели в угол сыграть в картишки. Борщев, не получивший разрешения на отдых, все еще плясал под аккомпанемент Жбанова, но уже халтурил и не приседал, а лишь слегка подгибал ноги.

Ария играл сам с собой в ножичка.

Эта мирная картина неожиданно рухнула. Вершилов вдруг размахнулся и врезал Казановичу звонкую оплеуху. Казанович не стерпел и с визгом вцепился ногтями в лицо Вершилова. Покатились по полу.

Разбуженный шумом, поднял голову лично товарищ Коба. Заметив это, Борщев с новой силой пустился вприсядку, Жбанов заиграл в более быстром темпе, а Меренков и Мирзоян в такт музыке снова стали прихлопывать.

— Хватит, — сердито махнул рукой Коба Борщеву. — Отдохни.

Никола, шатаясь, подошел к столу и выпил фужер «Боржом».

Вершилов и Казанович, рассыпав карты, все еще катались по полу. Казановичу удалось схватить противника за правое ухо, Вершилов же норовил ударить Казановича коленом ниже живота. Коба подозвал Арию.

— Послушай, Леонтий, что это за люди? Это наши вожди или же гладиаторы?

Ария, отряхнув колени, стоял перед Кобой с кривым кавказским кинжалом, тем самым, которым он только что играл в ножичек.

— Разнять, что ли? — мрачно спросил Ария, пробуя лезвие ногтем.

— Будь добр. Только, пожалуйста, убери кинжал. Не дай бог, случится несчастье.

Леонтий засунул кинжал за пояс, подошел к дерущимся и дал пинка сперва одному, а затем и другому. Оба вскочили на ноги и предстали перед товарищем Кобой в весьма неприглядном виде. Вершилов размазывал по лицу кровь, Казанович осторожно трогал наливающийся под левым глазом синяк.

— Ну и ну! — покачал головой Коба. — И этим лю-

ням наш народ доверил свою судьбу. Во что это вы играли?

Враги смущенно потупились.

— Ну, я вас спрашиваю.

Казанович исподлобья глянул на Кобу.

— В буру, товарищ Коба.

— В буру?

— Просто так, товарищ Коба. Просто ради шутки.

— Не понимаю, — товарищ Коба развел руками. — Кто здесь находится? Вожди? Руководители? Или просто блатная компания. И что же вы не поделили?

— Жид передергивает, — выступил вперед Вершилов.

— Что это за слово такое «жид»? — сердито спросил Коба.

— Извиняюсь, еврей, — поправился Вершилов.

— Глупый человек, — вздохнул Коба. — Антисемит. Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты бросил эти свои великодержавные замашки. Даю тебе неделю сроку, чтобы ты изучил все мои работы по национальному вопросу. Ты понял меня?

— Понял.

— Иди. А ты, Казанович, тоже ведешь себя не совсем правильно. Вы, евреи, своим вызывающим поведением и своим видом создаете самую лучшую почву для антисемитизма. Я уже устал от борьбы с антисемитами, и когда-нибудь мне эта борьба надоест.

Он хотел развить эту мысль, но появился Похлебышев.

— Товарищ Коба, поступило донесение: войска Адика подошли вплотную к границе.

От этих слов неуютно стало товарищу Кобе.

— Подойди сюда, — сказал он секретарю. — Наклони голову.

Он взял со стола погасшую трубку и стал выбивать ее о лысеющее темя Похлебышева.

— Адик — мой друг, — сказал он, как бы вколачивая эти слова в голову секретаря. — У нас на Кавказе существует обычай горою стоять за друга. Можно простить, когда обижают сестру или брата, можно простить, когда обижают отца или мать, но когда обижают друга, простить нельзя. Обижая моего друга, ты обижаешь меня.

Он бросил трубку на стол и пальцем поднял подбо-

родок Похлебышева. По лицу Похлебышева текли крупные слезы.

— О, ты плачешь! — удивился товарищ Коба. — Почему же ты плачешь, скажи мне?

— Я плачу потому, что вы так трогательно говорили о дружбе, — сказал Похлебышев, всхлипывая и дергая носом.

Товарищ Коба смягчился.

— Ну ладно, — сказал он потеплевшим голосом. — Я знаю, что ты хороший человек, ты только с виду такой суровый. Пойди отдохни и скажи доктору — пусть помажет тебе голову йодом. Не дай бог получится заражение.

После этого товарищ Коба собрал всех к столу и предложил выпить за дружбу.

— Товарищ Коба, — спросил Молоков, — мне тоже можно выпить с вами? — Коба ничего не ответил, пропустил вопрос мимо ушей. Молоков подержал фужер с водкой и, ни на что не решившись, поставил на место.

Затем товарищ Коба выразил желание немного помузицировать. Он подошел к роялю и, аккомпанируя себе одним пальцем, исполнил известную частушку следующего содержания:

Я на горке была,
Я Егорке дала...
Не подумайте плохого,
Я махорки дала.

Все дружно засмеялись и зааплодировали. Товарищ Жбанов в короткой речи отметил высокие художественные достоинства произведения. Вершилов, достав из кармана блокнот и огрызок химического карандаша, попросил разрешения тут же списать слова.

— Я тоже спишу, — сказал Борщев. — Жинке завтра спою. Вот будет смеяться.

— Пускай посмеется. — Коба вернулся на свое место за столом, сел и, подложив под голову руки, тут же заснул.

Наступал самый ранний в то лето рассвет. За окном постепенно светлело, словно чернила понемногу разбавляли водой. На фоне светлевшего неба все резче очерчивались и становились все выпуклее золотые маковки церквей.

Выпито было немало, вся компания слегка притомилась. Товарищ Коба спал за столом. Ария, держась за задний карман, полулежа дремал на диване. Мирзоян громко храпел под столом, упираясь подошвой в щеку Меренкова. Молоков с каменным лицом, не рискуя пошевелиться, сидел перед товарищем Кобой. Казанович с Вершиловым, помирившись, играли в карты. Жбанов в другом углу, упершись лбом в холодную стену, пытался блевать. Один только Борщев тихо бродил по комнате с таким сосредоточенным видом, словно что-то потерял и хотел найти. Он, кажется, протрезвел, и теперь голова болела с похмелья и наполнялась неясными мрачными мыслями. Сочувственно морщась, он постоял возле Жбанова и порекомендовал ему старое народное средство — два пальца в рот. Жбанов промычал что-то неопределенное и помотал головой. Борщев подошел к картежникам и стал следить за игрой просто из любопытства, но Вершилов его вскоре прогнал. Борщев посмотрел на Леонтия и, убедившись, что тот спит, подсел к Молокову, соблюдая однако некоторую дистанцию. Стремясь обратить на себя внимание соседа, шумно вздохнул. Молоков, не поворачивая головы, скосил глаза на Борщева. Тот подмигнул в ответ и сказал шепотом:

— Ты бы очки снял покамест. Товарищ Коба в последнее время нервный ходит и ты его не дражни. Потом забудет, обратно наденешь. — Он схватил со стола огурец, надкусил и выплюнул, огурец был горький. Покосился на Кобу и снова вздохнул. — Трудно с им, конечно, работать. Ведь не простой человек — гений. А я-то тут при чем? Я ведь раньше на шахте работал, уголь долбал. Работа нельзя сказать, чтобы очень чистая, но жить можно. А теперь вот в вожди попал и портреты мои по улицам перед народом носят. А какой из меня вождь, если все мое образование — три класса да ВПШ. Вы-то все люди выдающие. Теоретики. Про тебя в народе слух ходит, будто двенадцать языков знаешь. А я вот, к примеру, считаюсь будто как украинец и жил на Украине, а языка ихнего, хоть убей, не понимаю. Чудной он какой-то. По-нашему, скажем, лестница, а по-ихнему драбына. — Словно впервые пораженный странностями непонятого ему языка, Борщев засмеялся.

Улыбнулся и Молоков. Слухи о его познаниях в ино-

странных языках были сильно преувеличены. Просто товарищ Коба когда-то для поднятия авторитета вождей наделил их достоинствами, о которых они раньше не подозревали. Так Меренков стал крупнейшим философом и теоретиком кобизма, Мирзоян коммерсантом, Казанович техником, Ария психологом, Вершилов замечательным полководцем, Жбанов специалистом по всем искусствам, Борщев украинцем, а он, Молоков, зная несколько чужих слов и выражений, полиглотом.

Ничего этого Молоков своему собеседнику, естественно не сказал, а сказал только, что и ему здесь живется не сладко.

— Да я нешто не вижу, — вздохнул Борщев. — Это ж надо совесть какую иметь из-за очков придирааться. Почему, мол, носишь очки. А может, тебе так нравится. Да я бы на мой характер, — загорелся Никола, — ему за такие слова в рожу бы плюнул, не постеснялся.

В это время товарищ Коба пошевелился. Борщев замер, холодея от ужаса, но тревога оказалась напрасной — товарищ Коба пошевелился, но не проснулся. «Вот дурак-то, — с облегчением подумал про себя Никола. — Вот уж, правда, язык без костей. Да с таким языком, ой как вляпаться можно!» Он решил больше не разговаривать со своим опальным коллегой, но не удержавшись, снова склонился к уху Молокова.

— Слушай, Мочеслав, — зашептал он, а что если попроситься у него, чтоб отпустил? Ведь ежели он гений, так пушай сам все и решает. А мы-то ему на кой?

— Ну да, — сказал Молоков. — А жить на что?

— А в шахту пойдем. Уголь долбать я тебя научу — дело простое. Снизу пласт подрубаешь, сверху отваливаешь. Заработки, конечно, не то, что у нас, но зато ж и риску меньше. Завалить-то может, но это ж один раз, а тут каждый день помираешь от страха.

Он вздрогнул и выпрямился, услышав сзади чье-то дыхание. Сзади стоял Ария. Почесывая за ухом рукояткой кинжала, он переводил любопытный взгляд с одного собеседника на другого.

— О чем, интересно, такой увлекательный разговор? — спросил он, подражая интонации товарища Кобы.

«Слышал или нет?» — мелькнуло у обоих одновременно.

«Слышал», — решил Молоков и тут же нашел самый верный выход из положения.

— Да вот товарищ Борщев, — сказал он с легким сарказмом, — предлагает мне вместе с ним отстраниться от активной деятельности, уйти во внутреннюю эмиграцию.

Но Борщев был тоже парень не промах.

— Дурак ты! — сказал он, поднимаясь и расправляя грудь. — Я тебя только пощупать хотел, чем ты дышишь. Тебе все равно никто не поверит, все знают, я очки не ношу, я ясными глазами смотрю в глаза товарища Кобы и в светлые дали прекрасного будущего.

— Вот именно, что «будущего», — передразнил Молоков. — Ты бы русский язык сперва подучил, а потом...

Фразу он не закончил. К счастью для обоих, в комнату ворвался Похлебышев с перебинтованной головой.

— Товарищ Коба! Товарищ Коба! — закричал он с порога, за что тут же получил по уху от Леонтия.

— Ты разве не видишь, — сказал Леонтий, — что товарищ Коба занят предутренним сном? Что там еще случилось?

Похлебышев трясся от необычайного возбуждения и повторял одно слово: «Адик». С большим трудом удалось из него выжать, что войска Адика хлынули через границу.

Тут же состоялось экстренное, специальное и чрезвычайное заседание. Председательствовал Леонтий Ария. Почетным председателем был избран спавший тут же товарищ Коба. Стали думать, как быть. Вершилов сказал, что необходимо объявить всеобщую мобилизацию. Казанович предложил немедленно взорвать все мосты и вокзалы. Мирзоян, взяв слово для реплики, заметил, что хотя они собрались своевременно и в деловой обстановке, нельзя не учитывать факта присутствия и одновременно отсутствия товарища Кобы.

— Мы, — сказал он, — конечно можем принять то или иное решение, но ведь не секрет, что никто из нас не гарантирован от серьезных ошибок...

— Но ведь мы представляем собой коллектив, — сказал Казанович.

— Коллектив, товарищ Казанович, состоит, как вам известно, из отдельных личностей. Если одна личность может совершить одну ошибку, несколько личностей мо-

гут совершить несколько ошибок. Безошибочно мудрое и правильное решение может принять только один человек. Этот человек — товарищ Коба, но он, к сожалению, занят сейчас предутренным сном.

— Что значит «к сожалению», — вмешался Леонтий Ария. — В этом вопросе я должен поправить товарища Мирзояна. Это большое счастье, что в такое трудное для всех нас время товарищ Коба занят предутренным сном, накапливает силы для дальнейшего принятия самых мудрых решений.

В порядке ведения слово взял Меренков. Он сказал: — Целиком и полностью поддерживаю товарища Арию, который вовремя одернул за непродуманное выступление товарища Мирзояна. По всей видимости, товарищ Мирзоян не имел преступного умысла и данное его высказывание следует считать простой оговоркой, хотя, конечно, иногда бывает довольно затруднительно провести достаточно четкую грань между простой оговоркой и продуманным преступлением. В то же время, я думаю, было бы целесообразно признать правоту товарища Мирзояна, считающего, что только товарищ Коба может принять правильное, мудрое и принципиальное решение по поводу вероломного нападения Адика. Однако в связи с этим встает и другой вопрос, требующий незамедлительного разрешения, вопрос, который я предлагаю немедленно обсудить: будить ли товарища Кобу сейчас или подождать, пока он проснется сам.

По этому вопросу мнения товарищей разделились. Некоторые полагали, что надо будить, другие предлагали подождать, потому что товарищ Коба сам знает, когда ему нужно спать, когда просыпаться.

Товарищ Жбанов, несмотря на только что сообщенную ему смерть жены и нездоровье от отравления алкоголем, принял активное участие в прениях и сказал, что прежде, чем решать вопрос о том, будить ли товарища Кобу, необходимо решить предыдущий, так сказать, подвопрос, насколько серьезны намерения Адика и не есть ли это только провокация, направленная к перерыву сна товарища Кобы. Но решить серьезное это нападение или же провокация, может опять-таки только лично товарищ Коба.

В конце концов были поставлены на голосование два вопроса:

1. Разбудить товарища Кобу.

2. Не будить товарища Кобу.

Результаты голосования по обоим вопросам были такие:

Кто за? Никто. Кто против? Никто. Кто воздержался? Никто.

В протоколе было записано, что решения по обоим вопросам приняты единогласно. Товарищу Мирзояну было указано на непродуманность некоторых его высказываний.

После составления протокола неожиданно в порядке дополнения взял слово товарищ Молоков. Он понял, что спасение его сейчас только в активных действиях и сказал, что ввиду сложившейся ситуации он намерен немедленно разбудить товарища Кобу и взять на себя ответственность за все последствия своего поступка. После этого он решительно подошел к товарищу Кобе и стал трясти его за плечо.

— Товарищ Коба, проснитесь!

Товарищ Коба, не просыпаясь, мотал головой и дрыгал ногами.

— Товарищ Коба, война! — в отчаянии крикнул ему Молоков в самое ухо и на этот раз так потрянул, что Коба проснулся.

— Война? — переспросил он, обводя лица соратников ничего не понимающим взглядом. Вылил себе на голову бутылку «Боржоми» и остановил взгляд на Молокове. — С кем война?

— С Адиком. — Молокову терять было уже нечего.

— Значит, война? — товарищ Коба приходил постепенно в себя. — И когда же она объявлена?

— В том-то и дело, товарищ Коба, в том-то и вероломство, что война не объявлена.

— Не объявлена? — удивился Коба, набивая трубку табаком из папиросы «казбек». — Интересно. Откуда же вам известно, что она есть, если она не объявлена?

— Получено донесение, — отчаянно докладывал Молоков. — Адик пересек границу.

— Но если война не объявлена, значит, ее нет, значит мы, кобисты, ее не признаем и не принимаем, ибо принять то, чего нет, значит — скатиться в болото идеализма. Не так ли, товарищи?

Товарищи были поражены. Ни одному из них не могла придти в голову такая блестящая мысль. Никто из

чих не мог бы решить такой сложный вопрос с такой гениальной легкостью.

— Ура! — смело крикнул Вершилов.

— Ура! — поддержали его остальные.

— А теперь я хочу спать, — решительно заявил товарищ Коба. — Кто меня понесет?

Молоков и Казанович подхватили учителя под мышки. Вершилов кинулся тоже, но не успел.

— Кричишь больше всех, — заметил неодобрительно Коба, — а когда доходит до дела, не успеваешь. В другой раз будешь порасторопнее. А ты, Моча, — он похлопал Молокова по щеке, — настоящий стойкий боец и кобист, и я скажу тебе прямо, почему ты носишь очки. Ты носишь очки потому, что у тебя не очень хорошее зрение, но каждый человек, у которого не очень хорошее зрение, должен носить очки, чтобы зорко смотреть вперед. Ну, поехали!

Возле кабинета он отпустил своих носильщиков и заперся изнутри. Прислушавшись, убедился, что Казанович и Молоков удалились, и только после этого обычным способом, через сейф, пролез в свою комнату. Здесь он бросил в угол трубку, а затем сорвал и швырнул туда же усы. Он был совершенно трезв. Он отдавал себе отчет в том, что происходит. Он не спал, когда Похлебышев сообщил о нападении Адика, он не спал, когда заседали товарищи, он играл спящего пьяного человека, и играл хорошо, потому что из всех талантов по-настоящему он обладал одним: он был артистом.

Теперь играть стало незачем, не было зрителей. Товарищ Коба сел на кровать, стянул сапоги, расстегнул штаны и задумался. Как-то нескладно все получается. Никому никогда не верил, один раз поверил и вот результат. После этого и доверяй людям. Надо, однако, искать какой-то выход из положения. Ведь ты в этой стране один, который думает за всех, но никто из всех за тебя не подумает. Что делать? Обратиться с воззванием к народу? А что сказать? Извини, дорогой народ, я кажется чуть-чуть обоср... ой, едва не сказал неприличность. Попросить военной помощи у американцев? Или политического убежища для себя? А что? Поселиться где-нибудь в штате Флорида, написать мемуары «Как я был тираном». Если, конечно, получится. А может быть, скрыться в Грузии и жить там под видом простого сапожника?

«Сосо, — говорил ему, бывало отец, — из тебя никогда не выйдет настоящий сапожник.»

Товарищ Коба поднял глаза и увидел у противоположной стены жалкого безусого старика. Машинально растирая худые колени, он сидел на железной кровати в штанах, упавших на щиколотки. Товарищ Коба горько усмехнулся.

— Ну вот, — сказал он старику, — вот видишь. Ты думал, что ты самый хитрый и коварный. Ты не слушал ничьих советов и предостережений. Ты вырывал каждый язык, который пытался говорить тебе правду. Но тот, единственный в мире, кому ты доверился, оказался хитрей и коварней тебя. Кто теперь тебе поможет? На кого сможешь ты опереться? На народ? Он тебя ненавидит. На своих так называемых соратников? Ха-ха, соратники. Кучка придворных лгунов и подхалимов. Они первые продадут тебя, как только появится такая возможность. Раньше хотя бы шутам и блаженным разрешалось говорить правду. Кто скажет ее теперь? Ты требовал лжи, теперь ты можешь в ней захлебнуться. Тебе лгут все: твои газеты, твои ораторы, твои разведчики и доносчики. Но есть еще один человек, у которого хватит мужества сказать тебе правду в глаза. Он сидит сейчас перед тобой. Он видит тебя насквозь, как самого себя. Ты, возомнивший себя сверхчеловеком, посмотри на себя. какой ты сверхчеловек? Ты маленький, ты рябой, у тебя все болит. У тебя болит голова, болит печенка, твои кишки плохо переваривают то, что ты жрешь, тот кусок мяса, который ты отнял у своего голодного народа. Почему же, если ты сверхчеловек, у тебя вылезают зубы и волосы? Сверхпаразит, зачем ты убил столько народу? Меншевиков, большевиков, попов, крестьян, интеллигентов, детей, матерей... Ради чего ты разорил хозяйство и обезглавил армию. Ради светлого будущего? Нет, ради личной власти. Тебе нравится, что тебя все боятся, как чумы. Но, создатель империи страха, не есть ли ты самый запуганный в ней человек? Чего только ты не боишься! Выстрела в спину, яда в вине, бомбы под кроватью. Ты боишься своих соратников, охранников, поваров, парикмахеров, своей собственной тени и своего отражения. Гонимый собственным страхом, ты выискиваешь всюду врагов народа и контрковбистов. Тебе не надо искать их. Посмотри на себя, ты и есть главный враг народа и главный контрковбист.

Коба говорил, а лицо старика хмурилось и становилось все более злобным. Видно, ему, как всегда, не нравилась правда. В ответ на бросаемые ему упреки он морщился, гримасничал и размахивал руками. Произнося последние слова, Коба невольно стал тянуть руку к подушке. Он заметил, что и старик делает то же самое. Его следовало опередить. Коба резко рванулся и выхватил из-под подушки лежавший там пистолет. И в то же мгновение в руках старика сверкнул точно такой же. Но Коба уже нажал на спусковой крючок.

Стрельба в закрытых помещениях всегда производит много шума. Один выстрел, другой и рябое лицо старика треснуло, извилистые полосы пересекли его во всех направлениях. Пахло горелым ружейным маслом, колебались барабанные перепонки, мерзкая рожа лопалась, расплзалась и выпадала кусками, создавалось ощущение, что там действительно корчится и гибнет живой человек.

И вдруг все стихло. Кончились патроны. Коба посмотрел напротив, там не было уже никого.

— Все, — грустно и значительно сказал Коба неизвестно кому. — Я избавил народ от его палача. — С этими словами он отшвырнул ненужный уже ему пистолет.

Впоследствии выяснилось, что выстрелов никто не слышал. Не следует удивляться — стены Кобиной комнаты были настолько глухими, что не пропускали даже звуков большой силы.

Старуха, пришедшая утром убрать помещение, увидела, что по всей комнате рассыпаны осколки зеркала. Хозяйина комнаты нашла она в постели, лежащим навзничь. Левая нога его была на кровати, правая со штанами, зацепившимися за щиколотку — на полу. Правая рука безжизненно свисала, не достигая пола. Сперва, решив по ее словам, что товарищ Коба «застрелимшись», старуха хотела поднять тревогу, но убедившись, что на теле лежащего нет никаких разрушений, решила погодить, чтобы не призвали в свидетели. Она положила на кровать его руку и ногу, стащила совсем штаны и укрыла товарища Кобу верблюжьим одеялом, заботливо подоткнув его под разные части тела. После чего принялась за уборку стекол, надеясь, что к завтраму товарищ Коба непременно проспится. Но он не проснулся ни завтра, ни послезавтра и, как показывают заслуживающие доверия источники, провел следующие десять дней в ле-

таргическом сне. Вот в эти десять дней старуха как раз, говорят, и уволилась, и отнесла записку насчет пшена в музей Революции. Но я так не думаю. Я думаю, что в эти десять дней записка несколько упала в цене, а потом снова возвысилась. А старуха эта, видать по всему, была не такая уж дура, чтобы носить куда попало записку, не дождавшись подходящей цены. Впрочем, насчет старухи существует много разноречивых суждений. Сторонники прокобистского направления в нашей исторической науке, не отрицая самого факта существования старухи, сомневаются, что она снимала с товарища Кобы штаны, ибо они были несъемные. Эти ученые указывают нам, что товарищ Коба, как родился в мундире генералиссимуса, так в нем и жил, никогда не снимая. Приверженцы же контркобистского направления, напротив, утверждают, что товарищ Коба вообще был гол, но покрыт густой шерстью. Ее-то современники и принимали издали то за простую солдатскую шинель, то за мундир генералиссимуса. Не присоединяясь ни к одной из этих версий, я признаю, что каждая из них по своему интересна.

1967

Р. С. Данный рассказ написан только на основе авторского вымысла. Возможное сходство некоторых персонажей с реальными лицами случайно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВААП

т. Б. Д. Панкину в ответ на его интервью,
опубликованное «Литературной газетой»
26 сентября 1973 года

Уважаемый Борис Дмитриевич!

Правду сказать, до появления в газете Вашего интервью я волновался, не понимая, в чем дело. Вдруг какой-то совет учредителей создал какое-то агентство по охране каких-то авторских прав.

Для чего?

Авторские права внутри нашей страны порою своеобразно, но все-таки охранялись и раньше. А за рубежом...

Именно это меня всегда волновало. Кто, думал я, больше всего может беспокоиться об охране своих авторских прав за рубежом? Вероятнее всего, те, кто больше других там издается. Например, А. Солженицын, В. Максимов, академик А. Сахаров и прочие так называемые диссиденты, извините за модное слово. Было бы естественно предположить, что именно они и вошли в совет учредителей. Но, узнав, что председателем совета избран товарищ Стукалин, я сразу отменил это предположение. Нет, сказал я себе самому, товарищ Стукалин такой совет никогда не согласится возглавить.

Ваше интервью кое-что прояснило, а кое-что еще больше запутало. С одной стороны, конечно, приятно, что в совет учредителей от писательской общественности вошли такие крупные творческие индивидуальности, как Г. Марков, Ю. Верченко, С. Сартаков и т. д. С другой стороны, непонятно, почему именно они больше других заботятся об охране авторских прав? Ведь на их авторские права за пределами нашего отечества, думается, никто особенно не посягает.

Мне приходили в голову самые нелепые мысли. Я даже подумал, что, может быть, пока я не следил за творчеством этих писателей, они создавали небывалые по силе шедевры, над которыми нависла угроза попасть в Самиздат, в «Посев» или, например, к Галлимару. А может быть, они бросились на защиту чужих авторских прав из чистого альтруизма?

Я попытался уяснить себе цели агентства, которое указанные товарищи учредили, а Вы возглавили.

В своем интервью Вы говорите, что деятельность Вашего агентства будет направлена на «усиление обмена подлинными достижениями в различных сферах человеческого духа». Слово «подлинными» подчеркнуто не было, но я его все же заметил. Я подумал, что определять подлинность достижений в сферах человеческого духа — дело довольно сложное. Иногда на это уходили годы, а то

и столетия. Надо надеяться, что теперь подлинность достижений будет определяться немедленно.

Кем же? Вашим агентством?

Хотелось бы знать, по каким признакам. Можно ли считать подлинными достижения А. Солженицына? Или теперь подлинными будут считаться достижения товарища Верченко?

В тексте своего интервью Вы справедливо замечаете, что автору того или иного произведения заниматься охраной собственных прав «хлопотно и неэкономично». В подтексте Вы намекаете, что автору станет и вовсе хлопотно, если он, издаваясь за границей, не возьмет в посредники Ваше агентство. В таком случае автор, видимо, считается нарушителем государственной монополии на внешнюю торговлю и автоматически переходит в разряд уголовных преступников.

Это богатая идея. Она таит в себе ряд любопытных возможностей. Например, такую. Передав свое достижение за границу, автор сам становится объектом охраны. Охрану авторских прав вместе с носителем этих прав следует признать самой надежной. В связи с этим, мне кажется, было бы целесообразно возбудить перед компетентными инстанциями ходатайство о передаче в ведение Вашего агентства Лефортовской или Бутырской тюрьмы со штатом охранников и овчарок. Там же можно было бы разместить не только авторов, но и их правопреемников. А поскольку Ваше агентство обещает гражданам государств — участников Всемирной конвенции те же права, что и собственным гражданам, то такую же форму охраны можно было бы распространить и на них.

Меня, однако, смущает следующее обстоятельство. Ваше агентство, судя по всему, является общественной, а не государственной организацией. Но поскольку монополия на внешнюю торговлю принадлежит именно государству, и только ему, то не грозит ли Вашему агентству риск самому быть подвергнутому уголовному преследованию. Если агентство станет объектом охраны, то как оно сможет охранять что-то другое? Над этим, пожалуй, стоит подумать.

И еще одно предложение.

Поскольку Ваше агентство намерено само определять, когда, где и на каких условиях издавать то или иное произведение или не издавать его вовсе, то эта правовая особенность агентства должна, очевидно, отразиться в его названии. Предлагаю впредь именовать его не ВААП, а ВАПАП — Всесоюзное агентство по присвоению авторских прав.

Всего одна лишняя буква на вывеске, а насколько точнее становится смысл!

Развивая это предложение, можно считать естественным присвоение вместе с авторскими правами и самого авторства. В дальнейшем Ваше агентство должно произведения советских авторов издавать от своего имени и нести ответственность за их идейно-художественное содержание.

Желаю внести личный вклад в это интересное начинание, прошу автором данного письма (и, естественно, носителем авторских прав) считать агентство ВАПАП.

Примите мои уверения в совершеннейшем к Вам почтении.

В. ВОЙНОВИЧ

2 октября 1973 г., Москва

Я не приду на ваше заседание, потому что оно будет происходить при закрытых дверях, тайне от общественности, то есть нелегально, а я ни в какой нелегальной деятельности принимать участия не желаю.

Нам не о чем говорить, не о чем спорить, потому что я выражаю свое мнение, а вы — какое прикажут.

Секретариат в нынешнем его составе не является демократически избранным органом, а навязан Союзу писателей посторонними организациями. Ни весь секретариат в целом, ни каждый из его членов в отдельности не могут быть для меня авторитетами ни в творческом, ни тем более в нравственном отношении. Два-три бывших писателя, а кто остальные? Посмотрите друг на друга — вы же сами не знаете, что пишет сидящий с вами или напротив вас. Впрочем, про некоторых известно, что они ничего не пишут.

Я готов покинуть организацию, которая при вашем активном содействии превратилась из Союза писателей в союз чиновников, где циркуляры, написанные в виде романов, пьес и поэм, выдаются за литературные образцы, а о качестве их судят по должности, занимаемой автором.

Защитники отечества и патриоты! Не слишком ли дорого обходится отечеству ваш патриотизм? Ведь иные из вас за свои серые и скучные сочинения получают столько, сколько воспеваемые ваши хлебобобы не всегда могут заработать целым колхозом.

Вы — союз единомышленников... Один ограбил партийную кассу, другой продал казенную дачу, третий положил кооперативные деньги на личную сберкнижку... За двенадцать лет своего пребывания в союзе я не помню, чтобы хоть один такой был исключен.

Но стоит сказать честное слово (а иной раз просто промолчать, когда все орут), и тут же следует наказание по всем линиям: набор книги, над которой ты работал несколько лет, раскидают; пьесу запретят; фильм по твоему сценарию положат на полку. А за этим вполне прозаическое безденежье. И вот ты год не получаешь ни копейки, два не получаешь ни копейки, залез в долги, все, что мог, с себя продал, и когда дойдет до самого края и если ты за эти два года слова неосторожного не сказал, к тебе, может быть, снизойдут и подарят двести — триста рублей из Литфонда, чтобы потом всю жизнь попрекать: «Мы ему помогали, а он...» Не надо мне помогать, я не нищий. У меня есть читатели и зрители. Не стойте между ними и мной, и я в вашей помощи нуждаться не буду.

Я не приду на ваше секретное заседание. Я готов полемизировать с вами на любом открытом собрании писателей, а если хотите, рабочих, от имени которых вы на меня нападаете. В отличие от большинства из вас, я сам был рабочим. Одиннадцати лет я начал свою трудовую жизнь пастухом колхозных телят. Мне приходилось пахать землю, месить на стройке раствор, стоять у станка на заводе. Четыре года я прослужил солдатом Советской Армии. На открытом собрании я хотел бы посмотреть, как вам удастся представить меня акулой империализма или агентом иностранных разведок.

Ложь — ваше оружие. Вы оболгали и помогли вытолкнуть из страны величайшего ее гражданина. Вы думаете, что теперь вам скопом удастся занять его место. **Ошибаетесь!** Места в великой

русской литературе распределяются пока что не вами. И ни одному из вас не удастся пристроиться хотя бы в самом последнем ряду.

В. ВОЙНОВИЧ

19 февраля 1974 г., Москва

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО!

МИНИСТРУ СВЯЗИ СССР

т. ТАЛЫЗИНУ Н. В.

Уважаемый Николай Владимирович!

С глубочайшей тревогой довожу до Вашего сведения, что в возглавляемой Вами отрасли народного хозяйства скрывается враг разрядки международной напряженности, захвативший ответственный пост начальника Московской городской телефонной сети.

Вот как мне удалось его обнаружить.

20 сентября сего года, решив воспользоваться услугами, предоставляемыми телефонной сетью своим абонентам, я позвонил в г. Бостон (США) своему личному другу, поэту Науму КОРЖАВИНУ и провел с ним разговор, содержание которого передаю при-близительно.

— Алло, — сказал я поэту Коржавину.

— Хеллоу, — отозвался он.

— Как живешь?

— Ничего. А ты?

— И я ничего.

В столице нашей Родины был день. Светлый день десятой пятитетки. Наши люди в порыве трудового энтузиазма возводили новые здания, управляли различными механизмами, варили сталь и давали стране угля.

В то же самое время в городе Бостоне была, естественно, ночь. Под покровом темноты орудовали шайки гангстеров, пылали факелы ку-клукс-клана, дымилась марихуана, неудержимо падал курс доллара, потерявшие надежду безработные загодя выстраивались к бирже труда в такие длинные очереди, какие у нас бывают только за коврами и колбасой.

Очевидно, подавленный этой гнетущей обстановкой, а может, просто спросонья поэт Коржавин на мои вопросы отвечал вяло и невпопад.

— Как Люба? — спрашивался я о здоровье его жены.

— Люба? — переспрашивал он с бестолковостью, соответствовавшей его отсталому мировоззрению. — Люба спит. А как Ира?

Думаю, Вам приятно будет узнать, что руководимая Вами система работала превосходно. Слышимость была такая, как будто сонный поэт Коржавин сидит не на противоположной стороне планеты, а где-то совсем рядом. Наш разговор, сам по себе не представлявший никакого интереса для постороннего уха (так мне казалось), был тем не менее красноречивым подтверждением того, что мы живем в эпоху разрядки международной напряженности, когда сближаются континенты, когда контакты и обмен информацией (пусть даже пустяковой) между людьми стали не только доступны, но и поощряются странами, подписавшими соглашения в Хельсинки.

Увы, торжество разрядки длилось недолго.

Утром следующего дня, сняв телефонную трубку, я с огорчением отметил, что она молчит как рыба. «Что-то сломалось», — сказал я себе и пошел к ближайшему автомату.

— 151-28-53? — очаровательным женским голосом переспросило бюро ремонта. — Это ваш телефон?

— Мой.

— Выключен за хулиганство.

Я растерялся и положил трубку. Но потом позвонил опять:

— Простите, может быть, я ослышался... за что выключен?

— Это ваш телефон? — снова спросили меня.

— Нет, не мой, — ответил я на этот раз.

— Выключен за неуплату.

Вопреки репутации хулигана я старался быть вежливым:

— Только что вы назвали другую причину. Пожалуйста, подумайте и ответьте поточнее, за что выключен мой телефон.

Кажется, она была смущена. А может, и нет.

— Ваш телефон выключен по распоряжению сверху.

— С какого примерно верху?

— А то вы не знаете?

— Я не знаю.

— Странно. — Она мне явно не верила. — Тогда позвоните по телефону такому-то, там вам скажут.

Я позвонил по телефону такому-то, а потом еще по какому-то, а потом еще, еще и еще. Лица, с которыми я говорил, отказывались называть мне свои должности и фамилии, отвечали загадками и намеками на то, что я сам все хорошо понимаю (хотя я не понимаю), и вообще у меня было такое ощущение, что я звоню не на телефонный узел, а в какую-то подпольную организацию. С невероятным трудом мне удалось все-таки выяснить, что телефон мой отключен по распоряжению начальника Московской городской телефонной сети Виктора Фаддеевича ВАСИЛЬЕВА. Но за что?

Вот сижу я, любезнейший Николай Владимирович, в своей отрезанной от всего мира квартире и задаюсь этим самым вопросом: за что?

Ну, насчет неуплаты — это, конечно, ложь. Услуги, оказываемые мне органами связи, я оплачиваю всегда самым аккуратнейшим образом. Мой портрет как одного из самых примерныхплательщиков Вы могли бы смело повесить в своем кабинете или даже на улице перед зданием Вашего министерства.

Хулиганство? Но почему тогда меру наказания определяет не суд, а телефонный начальник? И что будет, если его примеру последуют начальники электричества, лифта, газа, водопровода, канализации? Это же курам на смех! Это же может просочиться в газеты. Это может стать достоянием падких на сенсации западных «голосов» и армянского радио.

И в чем выразилось мое хулиганство? Поэту Коржавину я ничего хулиганского не сказал. Вы можете позвонить ему и проверить, если, конечно, не боитесь, что и Ваш телефон после этого замолчит. (Впрочем, я думаю, у Вас есть несколько телефонов и, если даже один из них окажется отключенным, Вы сможете временно пользоваться другим.) Может быть, хулиганством считается сам факт разговора с другой страной? Для чего же тогда представляются абонентам подобные хулиганские услуги?

Ответ «сами знаете» также не кажется мне удовлетворительным. Я не знаю, Николай Владимирович.

Даже при свойственной мне самокритичности я не могу усмотреть в своих действиях ничего хулиганского. А вот то, что Ваш подчиненный Васильев подслушивает чужие разговоры, лжет сам, заставляет лгать других и лишает людей возможности общаться между собою, это и есть самое настоящее хулиганство. Ну, можно подобрать и другие определения: беззаконие, произвол, самодурство — не знаю, что Вам больше по вкусу.

Дело, однако, не в определениях. Дело в том, что существуют (может быть, Вы слышали) так называемые права человека, согласно которым человек имеет право не только, как поется в песне, «на учебу, отдых и на труд», но также и на другие мелочи. В частности, и на такие, как свободно выражать чего кому вздумается, обмениваться информацией, идеями и вступать друг с другом в контакты. Я с Вами или с поэтом Коржавиным, или Вы с поэтом Коржавиным, или еще с кем Вам захочется, не испрашивая на то разрешения подчиненного Вам Васильева. И вот эти наши с Вами права считаются в цивилизованном мире настолько неотъемлемыми, что соблюдение их является одним из важнейших условий международной разрядки. Они упомянуты в различных международных соглашениях и торжественно провозглашены в тех самых Хельсинкских, подпись под которыми от имени Советского государства поставил лично Леонид Ильич БРЕЖНЕВ. Поэтому, отключая мой телефон, Васильев не только себя позорит как хулиган, но пытается посеять сомнения в искренности усилий Советского Союза по развитию процесса разрядки и ставит в неловкое положение лично товарища Брежнева.

Не мне Вам говорить, Николай Владимирович, что врагов разрядки во всем мире еще немало. Хорошего же они помощника нашли себе в нашей стране! Ведь никому из них, даже пресловутому Джорджу МИНИ, не удалось еще выключить ни одного телефона. А Васильеву удалось. Слышал я, что делает он это не впервые, что телефонный террор под его руководством достиг небывалых масштабов.

Не знаю, как Вам, Николай Владимирович, а мне положение кажется угрожающим. Захватив телефонную сеть, враги разрядки могут пойти и дальше. А если они возьмут в свои руки еще и почту, телеграф, радио и телевидение, то тогда... Вы сами знаете, что бывает в подобных случаях.

Чтобы уберечь нашу страну от столь неприятных последствий, я прошу Вас безотлагательно отстранить Васильева от занимаемой им должности, а новому начальнику МГТС приказать включить мой телефон.

Примите мои уверения в совершеннейшем к Вам почтении.

Владимир ВОЙНОВИЧ
10 октября 1976 г., Москва

ЧЛЕНАМ ЛИТЕРАТУРНОГО КЛУБА «БРИГАНТИНА»

Году, может быть, в 1973-м я получил письмо от учеников средней школы № 7 города Артемовска Ворошиловградской области. Школьники писали, что ими основан литературный клуб «Бри-

гантина», для которого меня просят прислать мои книги. Я послал им две только что вышедших книги. И тут же получил ответ, в котором юные авторы сердечно меня благодарили и сообщали, что избрали меня почетным членом их клуба, в котором уже состоят такие крупные писатели, как Анатолий Софронов, Николай Грибачев, Евгений Пермяк, а почетным председателем у них Сергей Сартаков. Я был несколько удивлен, что попал в такую компанию, хотел сообщить школьникам, что, прежде чем выбирать, надо спросить согласие, но тут у меня возникли всякие неприятности, когда мне стало не до «Бригантины». Я им попросту не ответил, но их это не охладило. Регулярно на праздники — к Новому году, к 23 февраля, к 1 и 9 мая, к 7 ноября — стал я получать то открытки, то письма с горделивыми сообщениями о текущих успехах и достижениях клуба. Из этих сообщений я узнал, что музей клуба насчитывает 480 книг, подписанных авторами из 87 городов, 1550 писем экипажу «Бригантины» от разных писателей. Почти всегда эти сообщения заканчивались пылкими заверениями в любви и преданности к адресату: «Приезжайте к нам, и вы увидите, как бригантинцы любят вас и ваши книги». Письма неизменно заканчивались пожеланиями «хорошего здоровья и творческих успехов».

Наступили времена, когда моя почта резко сократилась. Кто-то стал опасаться мне писать, чьи-то письма просто не доходили. Но письма бригантинцев продолжали регулярно поступать к каждому празднику. Время шло, мои корреспонденты заканчивали школу и покидали «Бригантину», но приступали к делу новые «экипажи», и в мой адрес шли новые приветствия и пожелания, иногда даже такие: «Желаем вам оставаться всегда таким, каким мы вас знаем». И вдруг письмо такого содержания:

«Гр-ну Войновичу В. Н.

Из передачи зарубежного радио и из сборника Союза писателей мы узнали, что Вы исключены из Союза писателей за антисоветскую деятельность. Мы также возмущены Вашим «творчеством» и считаем Вас недостойным быть членом литературного клуба «Бригантина». О чем ставим Вас в известность».

Письмо подписали директор (неразборчиво), члены клуба «Бригантина» (12 детских подписей).

В то время я получал и оставлял без ответа очень много знаков нерасположения ко мне разных лиц и организаций. Но это письмо было подписано детьми. А детям — я так решил — надо непременно ответить. И ответил так:

Ребята!

Я получил ваше письмо, адресованное «гр-ну Войновичу» и написанное таким тоном, как будто вы уже со школьной скамьи готовитесь в тюремные надзиратели. Я бы вообще не стал на него отвечать, будь оно написано людьми взрослыми. Но вы — дети, вам еще многое предстоит узнать и понять, и именно поэтому я отвечаю.

Ни из какого сборника Союза писателей вы о моей «антисоветской деятельности» узнать не могли, потому что такого сборника не существует в природе. И ваш директор очень плохой педагог, если заставляет детей ставить подписи под заведомой ложью. Вы поступите справедливо, если перестанете за это его уважать. Узнать о моей деятельности, которую вы по подсказке дирек-

тора называете антисоветской, вы могли только из упомянутых вами передач зарубежных радиостанций или других источников, известных директору.

Я действительно исключен из Союза писателей за деятельность, которую правильнее назвать литературной и общественной, то есть за то, что стараюсь писать по способностям, а жить по совести. Я исключен, в частности, за то, что много раз выступал в защиту несправедливо преследуемых людей, и вам советую это делать, когда подрастете или даже уже и сейчас. И не по подсказке директора, а по своему собственному разумению. Я исключен из Союза писателей за то, что в числе других людей своими слабыми силами пытался не допустить возрождения в нашей стране порядков, характерных для времени, скромно называемого ныне «периодом культа личности».

Когда вы подрастете и узнаете о том времени больше, чем знаете сейчас, у самых совестливых из вас волосы встанут дыбом. Вы узнаете, что миллионы людей (в том числе, может быть, и ваши бабушки и дедушки) погибли, обвиненные в «антисоветской деятельности».

Вы узнаете также, что такие писатели, как Цветаева, Ахматова, Булгаков, Платонов, Зощенко, Пастернак, были либо замучены в лагерях, либо затравлены иными способами, что взрослые дяди и тети по глупости или по злобе писали им письма, подобные вашему. Вы узнаете, что теперь эти писатели (и, увы, только они) являются гордостью нашей литературы.

К сожалению, преследования писателей не ограничились тем давним периодом. Если уж вы слушаете зарубежное радио (куда смотрит ваш директор?), то вы и сами сможете составить список писателей (а заодно и музыкантов, танцовщиков, художников, шахматистов и прочих), которые представляют нашу сегодняшнюю литературу с гораздо большим основанием, чем почетные члены вашего клуба. Именно эти писатели, изгнанные из страны или подвергающиеся преследованиям на родине, являются лучшими из ныне живущих и рано или поздно будут признаны благодарными потомками. Впрочем, зачем потомками? Уже и сейчас их книгами, переходящими из рук в руки, зачитываются тысячи людей в нашей стране и миллионы за рубежом.

Недавно кто-то из вас писал мне: «Мы любим Вас таким, какой Вы есть». А теперь пишете: «Мы также возмущены Вашим «творчеством» (беря последнее слово в кавычки). Так каким же вы меня любили? И чего стоила ваша «любовь» (теперь я ставлю кавычки), если она кончилась, едва вы узнали о моем исключении из Союза писателей? Видимо, эта ваша «любовь» была просто казенным мероприятием.

Мои книги оттого, что я исключен из Союза писателей, хуже не стали. Они переведены более чем на двадцать языков, о них написаны тысячи хвалебных статей в мировой прессе, включая коммунистическую. Я вам с гордостью скажу, что тысячи читателей в нашей стране не отреклись от меня, они берегут мои книги, перечитывают, а иногда и переписывают от руки. Эти читатели мне дороги, а такие, как вы, извините, нет.

Да и вообще настоящий читатель не тот, кто пишет членам Союза писателей, всем без разбору, поздравления к праздникам и ставит галочку в отчете, а тот, кто читает книги, деля их на интересные и неинтересные. Тот, кто зачитывается интересными кни-

гами, плачет над ними или смеется, набираясь ума, доброты и сочувствия к людям.

Мои книги сейчас не печатаются в СССР, но виноват в этом не я. В. И. Ленин (может быть, он является для вас авторитетом), по словам В. Бонч-Бруевича, мечтал, что наступит время, «когда мы, наконец, воссоединим литературу, которая создавалась по ту и другую сторону границ самодержавной России, когда мы, наконец, будем в состоянии изучать ее всю целиком и полностью и обратим самое серьезное внимание на то, что многие авторы должны были волей-неволей печататься за границей».

Надеюсь, что когда-нибудь мечта Ленина все-таки сбудется и в числе многих книг, пока что вам недоступных, дойдут до вас и мои. И некоторым из вас станет стыдно за то, что вы подписали письмо, сочиненное вашим директором.

В. ВОЙНОВИЧ

2 ноября 1977 г., Москва

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»

Позвольте через вашу газету выразить мое глубокое отвращение ко всем учреждениям и трудовым коллективам, а также отдельным товарищам, включая передовиков производства, художников слова, мастеров сцены, героев социалистического труда, академиков, лауреатов и депутатов, которые уже приняли или еще примут участие в травле лучшего человека нашей страны — Андрея Дмитриевича Сахарова.

Владимир ВОЙНОВИЧ

28 января 1980 г., Москва

БРЕЖНЕВУ

Господин Брежнев,

Вы мою деятельность оценили незаслуженно высоко. Я не подрываю престиж советского государства. У советского государства благодаря усилиям его руководителей и Вашему личному вкладу никакого престижа нет. Поэтому по справедливости Вам следовало бы лишить гражданства себя самого.

Я Вашего указа не признаю и считаю его не более чем филькиной грамотой. Юридически он противозаконен, а фактически я как был русским писателем и гражданином, так им и останусь до самой смерти и даже после нее.

Будучи умеренным оптимистом, я не сомневаюсь, что в недалеком времени все Ваши указы, лишаящие нашу бедную родину ее культурного достояния, будут отменены. Моего оптимизма, однако, недостаточно для веры в столь же скорую ликвидацию бумажного дефицита. И моим читателям придется сдавать в макулатуру по двадцать килограммов Ваших сочинений, чтобы получить талон на одну книгу о солдате Чонкине.

Владимир ВОЙНОВИЧ

17 июля 1981 года,

Мюнхен

СОДЕРЖАНИЕ

5

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

7

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ

87

ДВА ТОВАРИЩА

193

ХОЧУ БЫТЬ ЧЕСТНЫМ

251

**РАССТОЯНИЕ
В ПОЛКИЛОМЕТРА**

269

ВЛАДЫЧИЦА

321

СТЕПЕНЬ ДОВЕРИЯ

611

**ПУТЕМ ВЗАИМНОЙ
ПЕРЕПИСКИ**

671

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

694

ОТКРЫТЫЕ ПИСЬМА

Редактор Г. Кондрашев
Художник П. Храмцов
Технический редактор Т. Луговская
Младший редактор М. Грушецкая
Корректор О. Поливанова

Сдано в набор 28.01.98. Подписано к печати
11.06.93. Формат 84×108^{1/32}. Бумага офсетная.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 36,96. Уч.-изд. л. 38,45. Тираж
75 000 экз. Заказ № 52.

Издатель ПОО «Фабула». 117218, Москва, ул.
Красикова, 27.

Изготовлено в книжной типографии Министерства
печати и информации России.
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7.